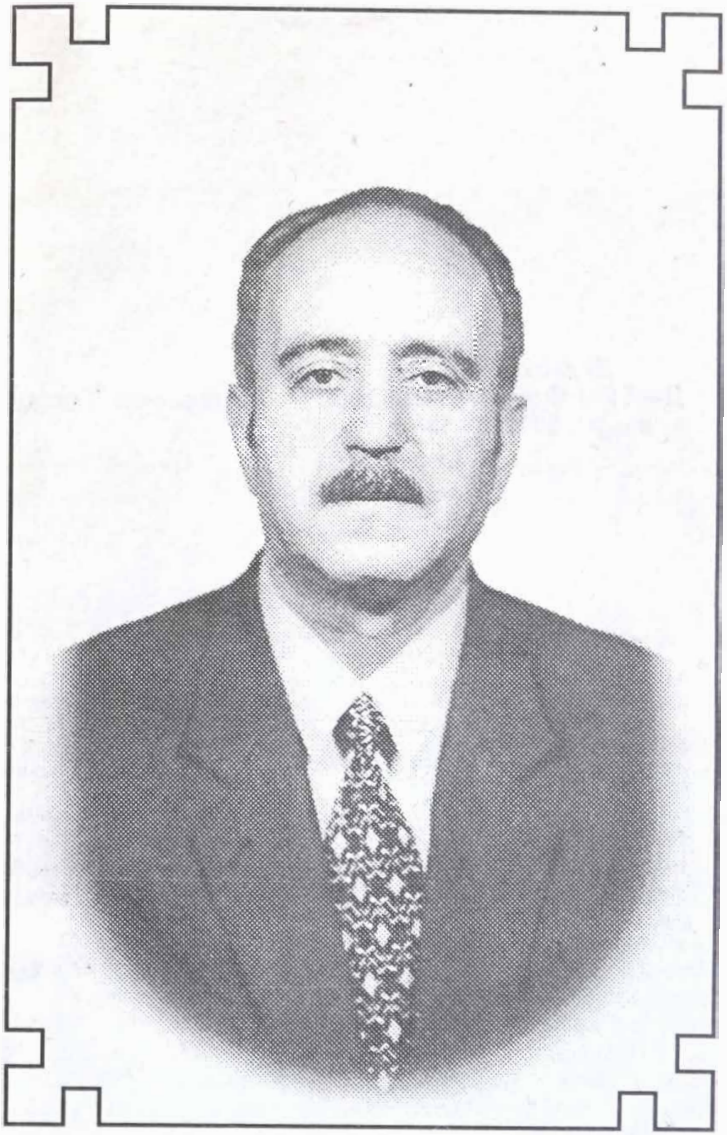
МИХАИЛ ДАДАШЕВ

СУДЬБА

МИХАИЛ ДАДАШЕВ

СУДЬБА

Дагестанское книжное издательство
Махачкала 2000 г.



ББК 84.4 Тат.

Дадашев Михаил.
Д—14 Судьба. Избранное. — Махачкала: Даг. кн. изд-во, 2000. — 520 с.

Михаил Дадашев — член Союза писателей СССР, тат по национальности, автор ряда повестей, рассказов и пьес. Живет в древнем Дербенте — втором по величине городе Дагестана.

Литературная деятельность в семье Дадашевых традиционна: известным дагестанским поэтом был его дядя Манувах Дадашев, его прадед — Хизгия-эми Дадашев был первым татским сказителем.

В настоящую книгу вошли роман «Братья», повесть «Судьба», рассказы и притчи. В своих произведениях писатель размышляет о нелегком пути человека к счастью, о вечной борьбе добра и зла, о непреходящих ценностях — долге, чести, верности, любви.

ББК 84.4 Тат.

Д $\frac{4702010000—15}{М\ 123—2000}$ 14—2000

© М. Дадашев, 2000.

ISBN 5—297—00—979—3

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ

Каждый пишет как может. А писать сегодня могут все. И пишут: стихи и рассказы, повести и романы...

Чаще всего то или иное произведение, утешив самолюбие автора своим появлением в свет, со временем становится однодневкой — начисто забывается читателем. Другие же произведения, пленив раз сердца читателей, продолжают будоражить их еще многие-многие годы.

В чем дело?

Дело, наверное, не только в высоком профессионализме автора, но и в богатстве его душевного потенциала, широте духовных исканий и силе нравственного заряда, заложенного в повести или рассказе.

Чем интереснее и содержательнее человек, тем привлекательнее и значимее его творение.

С автором этой книги, Михаилом Дадашевым, я познакомился раньше, чем с его произведениями. Наши не такие уж частые общения всегда оставляли потребность в очередной встрече: он был интересен мне как человек со своеобычным взглядом на мир, с отзывчивой и доброй душой, умением воспринимать людей такими, какие они есть, не навязывая им свой образ жизни, деликатно намекая (через притчу, быль, анекдот) на возможность выбора лучшего пути в сложившейся ситуации.

Как-то раз я сказал ему, что неплохо было бы попробовать себя в литературе, он слегка улыбнулся и назвал книги, изданные на татском языке.

С тех пор он издал еще не одно произведение на татском и русском языках. В предлагаемую книгу вошло лучшее из написанного. Говорить о художественных достоинствах или просчетах книги считаю неэтичным: читатель сам в состоянии разобраться в этом.

Но даже по одному беглому перечню рассказов и повестей можно судить о диапазоне жизненно важных проблем, волнующих автора, — «Братья» (роман), «Судьба» (повесть), рассказы: «Болезнь», «Долг платежом красен», «Истина», «Цена слова», «Сельский Хемингуэй», «Исповедь», «Гений» и др.

Я рад, что читателя ждет увлекательная встреча с высоконравственной и умной книгой моего друга.

МАГОМЕД-РАСУЛ
Народный писатель Дагестана

БРАТЬЯ

Роман

ГЛАВА I

На смену непривычно суровой для этих мест, и к тому же тревожной зиме, весна 1920 года пришла рано. Если прежде миндаль — предвестник весны расцветал в начале апреля, то нынче его яркий бело-сиреневый цвет вспыхнул уже в середине марта. Соловьи и все поющее птичье братство, разбуженные ярким солнечным лучом, зеленью трав и полевым разноцветьем, запели вдруг свои сокровенные песни, словно сама природа радовалась тому, что вместе с весной пришли, наконец, долгожданные свобода и братство, и что все это принесла уставшему и вконец замученному люду древнего Дербента Советская власть.

Велеречивые, ласковые на язык, много обещавшие, но в то же время разбойные турки вначале, кровожадные грабители Деникина вкупе с англичанами впоследствии, за последние два года немало мук и слез принесли жителям города: разоряли и грабили их дома, уводили скот, насиловали женщин и даже малолетних девочек. Особенно страдали бедные и немощные. Почти не было семьи или дома, откуда бы смерть не унесла одну или две жизни. Бесчинства распоясавшихся разбойников, страх получить шальную или направленную пулю в бесконечных перестрелках на улицах города, загоняли людей в дома и порой вынуждали их хоронить своих близких прямо у себя во дворе или в подвале.

Независимо от наличия в городе мусульман, иудеев и христиан, ненависть к оккупантам была общей, так

уж водится — у людей труда и братство, и ненависть не имеют национальности.

У ворот своего маленького глиняного домика, опустив руки на колени, понурив голову, удрученный и бледный, словно только-только выздоравливающий больной, подставив себя утренним лучам горячего майского солнца, в раздумье сидел Шолум. Месяц назад, так и не сумев купить нужных больной лекарств, он потерял мать. Сознание этого делало его еще более опустошенным и не давало покоя.

Двадцати пяти лет от роду, высокий, малость полноватый, с широким лицом, на котором, ниже черных вьющихся волос, выделялся низкий лоб с одной горизонтальной морщинкой почти во всю длину, с небольшими, под широкими черными бровями, карими глазами, средним чуть с горбинкой носом, под которым вслед за ямочкой шли пухлые, полуприкрытые губы, почти всегда простодушно растянутые в улыбке, выражающей затаенную сущность их хозяина. Однако человеку несведущему Шолум мог показаться степенным, толковым и рассудительным.

В невеселых думах он не заметил, как рядом с ним тихо, без шума присел его дядя Овроом. Известный не только в городе, но даже в Москве и Петербурге, Овроом, несмотря на запреты царской власти в России, первым среди иудеев города за большую взятку получил звание купца первой гильдии и право беспрепятственного проживания и осуществления своей деятельности в любом городе, вплоть до самой столицы государства. Хозяин огромного состояния, в былые времена Овроом внушал окружающим трепет и уважение, как говорится, земля дрожала под его ногами. Сейчас же тише воды и ниже травы, будто и ростом стал меньше, ходит с оглядкой, крадучись, малость согнувшись, словно вор, с опаской, как бы его, не дай Бог, не заметили.

— О, дядя Овроом?! — Шолум от удивления даже подскочил, заметив, наконец, присевшего рядом богача.

— Тише, сынок, не кричи, — схватив Шолума за локоть, оглядываясь, шепотом говорит ему Овроом. — Успокойся и пойдем в дом.

Еще раз оглядевшись кругом, Овроом вслед за племянником скрывается за воротами.

— Ты что, мой дорогой, все еще с горем своим? Я уже тебе говорил и снова повторяю — мертвую не вос-

кресишь, а себя искалечишь. Это не дело, сынок. Что делать, мой дорогой, все мы смертны, — растроганно, будто сам немало опечален случившимся, продолжал Овроом. — Конечно, тяжело терять мать, невосполнима потеря... А сына потерять? Ты знаешь, на наших глазах убили моего сына... Мне что делать? — с болью в сердце вскричал он. — Что делать, терплю, зажал язык между зубами, чтобы стона моего никто не слышал, чтобы слова лишнего не сказать... Терплю, сынок, времена другие... времена неудач и невезений, тяжкие времена... Но когда я думаю, что завтра может быть еще хуже и все, что создано, собрано, — ох, не легко создано и собрано, — какие-то босяки пустят по ветру, ибо для всего на свете хозяин нужен, у меня кровь стынет в жилах, волосы дыбом встают... — Овроом разволновался, нервно встал, сжал кулаки, глаза остекленели от ненависти, но потом, опомнившись, сел на место и сокрушенно добавил: — Эх, кончились счастливые времена...

Однако мысли Шолума текли совсем в другом направления, он не слышал рассуждений дяди Овроома, будто был не рядом, а в другом мире, кроме последних слов... «Счастливые времена?» Была ли его жизнь радостной и счастливой? Ну, хорошо, допустим, он еще молод, у него все впереди, а мать? Бедная мать, она ушла из жизни, так и не познав ни радости, ни счастья, ни благополучия, всегда в нужде, в трудах и невзгодах...

Что же теперь дяде нужно? Пришел выразить сочувствие, соболезнование?.. Или что-то другое привело, какой-то тайный замысел? Пришел, наверное, для отвода глаз, мол, как говорится, «пусть и тетя в обиде не будет...». Да, да, когда надо, дядя, как тот хитрец, всегда готов пустить слезу...

Однако справедливости ради надо сказать, что в последнее время дядя о нем не забывает. Хотя и боится лишний раз выходить из дома, все же его навещает, вот недавно денег дал на расходы, справил новую одежду, купил сапоги хромовые, о которых он давно мечтал, в общем всячески старается сделать ему приятное, можно сказать, прилип, как муха к меду. Снизошел даже до того, что раза два рассказывал о своих путешествиях, о поездках в Варшаву и Турцию, о дорогих гостиницах Москвы, о фонтанах Петергофа... В то же время Шолу-

ма не переставали удивлять навязчивость дяди, его неожиданное появление после смерти матери, забота и внимание, его старания казаться самым близким родственником, можно сказать, единственным близким человеком на всем свете, ибо он хорошо знал повадки и характер дяди. О его суровости не только к чужим, но и к своим, в городе ходили легенды. И потому, несмотря ни на что, он не кинется в его объятия, не раскроет ему своего сердца, будет держаться на расстоянии, не пригласит даже на чай, да и не до приглашений ему сейчас...

После того, как отметили семь дней со дня смерти матери, перестал приходить и Ошир — младший брат, очередная размолвка окончательно увела их в разные стороны.

Вот уже пятый месяц Шолум нигде не работает и это безделье угнетает все больше и больше. А куда идти, что делать, если кругом разруха и неразбериха. Знакомые попрятались, хозяина, у которого он работал осмотрщиком на виноградниках, посадили в тюрьму. Правда, хозяин выгнал его еще раньше, до этих событий, однако у него теплилась надежда, что все образуется. Идти рабочим, как предлагает Ошир? Да ни за что на свете! И если признаться, отвык он от тяжелого физического труда. Ничего, не всегда так будет, его представительная внешность поможет ему устроиться, да и дядя Овроом теперь рядом...

Овроом, коренастый, среднего роста пятидесятилетний мужчина, по повадкам и характеру был схож с дубом, поднятым из глубины земли могучими корнями. Темная как смоль чеховская бородка, быстрые пронзительные зеленоватые глаза, от одного взгляда которых люди порой не знали куда спрятаться, темпераментный, и в то же время поразительно целеустремленный. В достижении своей цели он был беспощаден и жесток. Он старался идти в ногу со временем: в виноделии и на рыбных промыслах внедрял различные недорогие технические новшества, хорошо разбирался в строительстве и архитектуре, и потому построенные им в городе дома отличались красотой и изяществом. Не отставал Овроом и от моды, выезжая за границу или в большие города, надевал европейский костюм, белую рубашку с откидным воротником, галстук под цвет костюма: его блестящие офицерские туфли с маленькими шпорами

на каблуке и шляпа вызывали восхищение горожан. В родном же городе он неизменно носил красивое чухо из атласа или гобо из ластика и высокую бухарскую папаху, от чего казался еще выше и величественнее. А его трость и трубка работы унцукульских мастеров лишний раз доказывали, как высоко ценил и понимал он настоящее искусство. Его величественный вид невольно вызывал уважение окружающих.

Кстати, о трубке — это была уникальная работа большого мастера, подлинное искусство насечки металлом по дереву. Сам технологический прием— насечки тончайших мельхиоровых, золотых и серебряных полосок и точек по дереву, определил и орнаментальный строй декора. Здесь были голова змеи и солнце, излучающее свет, здесь — частички кубачинских перстней с бирюзой, усыпанные лалами, жемчугами и алмандинами браслеты, и свободно, легко, динамично переплетающиеся стилизованные ветви, листья и стебли, и тут же роспись балхарских мастериц на уникальных кувшинах, и орнаменты ковров табасаранок. Короче, в рисунках на трубке были отражены вся красота и многоликость народного творчества Дагестана, и надо ли удивляться, что она была предметом особой гордости хозяина. Рассказывают, что чуть ли не до смерти избили вора, польстившегося на эту трубку.

Обнажив большой крутой лоб и поседевшую голову, Овроом снял бухарскую папаху, положил ее на стол и, вынув трубку изо рта, повернулся к племяннику с намерением что-то сказать ему, однако тот, увидев обнаженную голову дяди, предостерегающе воскликнул:

— Дядя, что вы делаете? Не смотрите, что на дворе солнце, здесь прохладно, кругом сквозняки, можно простудиться, наденьте же папаху, прошу Вас...

— Эх, не папаха голову сохраняет, нет, сынок, жарко мне... Горю весь, огонь горит в моем сердце... Думы ни голове, ни сердцу не дают покоя, — он вымученно погладил грудь. — Надоело воровски прятаться, как мышь, надоело быть изгнанником в своем родном городе, вечно искать нору, где бы скрыться от этих большевиков. Ты мне не чужой, мой родной племянник, можно сказать, родная кровь, и потому, не таясь, говорю

тебе: я ненавижу большевиков, ненавижу всем сердцем, всей душой...

Овроом, сжав кулаки, заскрипел зубами.

— Мало того, что они отобрали мое богатство, по-бандитски, варварски лишили меня собственного имущества и дома, они убили... убили свет моих очей, моего единственного сына... — он вдруг остановился, устало опустил плечи, побледнел и сделал судорожный глоток. — За что? Убить-то за что? Только за то, что он сказал, что эти облеченные властью бандиты не имеют права отнимать наш кров, наш дом... Нет, это не власть, у такой власти не может быть будущего!

Он убежденно махнул рукой в знак полного отрицания власти большевиков, потом, взглянув на молчаливого племянника, подсел ближе к нему.

— Ты знаешь, сынок, мы — евреи всегда тише воды, ниже травы, лояльны в отношении всякой власти. Нам что надо? Чтобы власть, если не всегда на деле, хотя бы на словах, обеспечивала нам равноправие с другой частью населения...

В этот момент Шолум поднял голову и удивленно посмотрел на Овроома, а тот, по-своему поняв этот взгляд, вдруг спохватился и добавил:

— Ну, если не равноправия, хотя бы защиты таких, как мы... А что творится сейчас? Любой босяк может взять и убить... И никакой защиты, полная свобода разбоя! Скажем, не понравились мы с тобой, не дай Бог, какому-нибудь голодранцу, он нас шлеп, и все. Он, видите ли, пролетарский босяк, нынче хозяин, ему все можно, а мы с тобой, так сказать, есть «кровопийцы народа», а потому бесправны... Да, кстати, ты не забыл о моем предложении? — будто невзначай, прервав ход своих размышлений, спросил Овроом племянника.

— Нет, но я никуда уезжать не хочу, — не поднимая головы, тихо ответил Шолум.

— Что? Что? — удивленно вскочил со своего места Овроом. — Вот тебе и благодарность. Я ему битый час толкую, что оставаться здесь опасно, что на этом волчьем пиру человек беззащитен, а он, несмышленыш,— «не хочу». Недаром говорят: «Молодо-зелено». Ты что же, сынок, не хочешь быть вольным и свободным, как горный орел, не хочешь избавиться от вечной нужды и зависимости? Может, ты считаешь, что «земля отцов» хуже этой поруганной и разграбленной земли? Если ты

не видишь и не слышишь, что творится кругом, ты хотя бы меня послушай...

Он остановился в задумчивости и, словно найдя нужные аргументы, продолжил:

— Мудрые говорят: «Береги железо от ржавчины, а одежду от моли». Большевистские ржавчина и моль разъели все и ушел берекет из этого дома, дальше здесь оставаться бессмысленно...

Эх, если бы мог он сейчас встать во весь рост, если бы мог заговорить во весь голос! Вместо этого, Овроом, вновь сжавшись в комок, словно кто-то давил на него сверху, умолк, снова подсел поближе к племяннику, положил ему руку на плечо и стал шептать тому на ухо:

— Ты знаешь, сынок, что ждет Дагестан завтра? Разруха, царство тьмы и бесправия. Нам уже здесь жизни не будет, нутром это чувствую. А потому, пока есть возможность, надо бежать, спасаться надо, сынок...

Шолум, как сидел отрешенно, с опущенной головой, так и остался на своем месте, словно все, о чем говорил дядя Овроом, его не касалось. Да, он и на самом деле не знал, как реагировать на его слова, как быть, кому верить: дяде Овроому или брату Оширу. Однако в главном, в том, чтобы уехать в другую страну, на «землю отцов», как предлагал дядя, он не был согласен, его сердце не давало на это свое добро. А в самом деле, думал он, что ему, бедному человеку, там делать, что он там потерял?

Овроом, великолепный психолог, видя раздумья племянника, его молчаливый протест на его предложение, начал вновь его обрабатывать, предпринял еще один отчаянный штурм его «крепости».

— Ты подумай, сынок, еще раз внимательно взгляни на все, что происходит: по чьей вине гибнут сегодня в Дербенте ни в чем не повинные люди, хотя бы, скажем, наш сосед, бедный Содуг со своей семьей: женой и детьми? В чем была вина его жены и детей? Что они сделали плохого новой власти? Только то, что Содуг на митинге заявил, что его детям нечего надеть и он не знает, чем их кормить? Или же кто отобрал мои дома, виноградники, сады и рыбные промыслы? Я что, украл их или кого ограбил? Разве не большевики сделали все это? Разве не они устроили этот пир во время чумы,

этот дикий разгул, грабеж достойных семей этого города: Ахундовых, Дадашевых, Гайдаровых, Ханукаевых? Конечно, большевики! — вдруг забывшись, повысил голос Овроом. — И сколько их, людей благородных, настоящих хозяев этой земли, бежали в эти дни в другие страны. Ты знаешь об этом? Как ты думаешь, они, что, дурнее нас? Не-е-т, борьба еще не окончена, мой дорогой, нас, правда, свалили, но, слава Богу, всех не убили, мы еще последнего слова не сказали... — он вдруг замер, будто испугался собственных слов, чуть сгорбился, прислушался, оглянувшись вокруг, словно тигр, приготовившийся к броску, потом расслабился и продолжил: — Хотя меня и лишили многих богатств, сынок, однако, не стану от тебя скрывать... не чужой ты мне, моих кровей, от твоей боли и мое сердце стонет, так вот, есть еще у меня столько, сколько большевикам и не снилось, чуть трону карман — звон на весь город будет... Поэтому, сынок, в это тревожное время нам надо быть вместе, в одном ряду. — Овроом понял, что наступил момент, когда надо сказать главное, выдать, как говорится, основной козырь. — Вот в этих рядах богатых, солидных людей вместе со мной будешь и ты, нас ждет обеспеченное, прекрасное будущее. Иначе здесь, не дай Бог, умрешь, о тебе никто и знать не будет...

Шолум снова задумался. «Ну скажи, пожалуйста,— снова спрашивал он самого себя,—чего я должен бояться? Что я сделал, какое преступление совершил, чтобы меня могли убить? Не воровал, не грабил, не убивал, не хитрил, не обманывал. Что такое я совершил против большевиков, чтобы они могли меня преследовать или убить?»

Шолум вновь стал вспоминать наставления дяди Овроома, от которых ему стало не по себе. Да, верно, в течение последних двух лет в городе было много убийств и арестов. Верно и то, что многие богачи в спешке бежали, а их дурными не назовешь, они свое дело хорошо знают. Так, может, прав дядя Овроом? Может, стоит бросить все и бежать с ним, тем более, обещает целое состояние, обеспеченную, хорошую жизнь?.. Но... как же бросить здесь единственного брата и бежать? Даже если он меня не всегда понимает? Нет, он не может на это пойти...

— Если мы убежим, дядя, Ошир здесь останется?— прервав свои мысли, вдруг спрашивает Шолум.

— Что ты, конечно, нет! —, поняв, что племянник, наконец, клюнул на приманку, восклицает Овроом. — Вы оба мне дороги, мы одной крови... По мне, так нам всем троим здесь оставаться не надо, моих денег, моего состояния нам всем хватит, надо только их унести... Да, как хорошо, что ты об этом заговорил. Я был бы счастлив, если бы ты уговорил брата последовать нашему примеру!

— Я?.. Я не сумею... — тихо, словно извиняясь, ответил Шолум.

— Что значит «не сумею»? Надо! — будто приказал Овроом. — Очень даже надо именно тебе с ним поговорить, убедить, доказать, что нам ничего другого не осталось, как только бежать!

ГЛАВА 2

Хотя весенняя ночь и вступила в свои права, было не темно. Однако случайному человеку, оказавшемуся в это время на улицах города, могло показаться, что он вымер — улицы были пустынны, ни души, ни звука, словно, устав от поисков пищи, заснули даже голодные собаки. Лишь тихо журчала в узких уличных арыках вода, стекавшая к морю с высокой части города. Испуганные жители, позакрывав двери и окна на засов, непременно занавешивали их так, чтобы даже тусклый свет горящей лампы, не дай Бог, не просочился на улицу. Но в домах не спали, люди постоянно были начеку: кто знает, что произойдет через несколько минут — постоянный страх за жизнь сделал их задумчивыми и неразговорчивыми.

Шолум, пугливо озираясь по сторонам, торопливо шагал по темным, словно безжизненным, улицам ночного города. Казалось, даже они, эти тихие улицы, притаились в ожидании чего-то. От страха и быстрой ходьбы он, споткнувшись, раза два чуть не упал, но еще больше ускорил ход, словно кто-то неотступно гнался за ним. Однако ему незачем было бояться, да и кому нужен он, бедный, ничем не приметный молодой человек? Конечно, никому. Шолум и сам понимал это, но страх настолько захватил его, что он, не отдавая отчета, от быстрой ходьбы невольно перешел к бегу. Запы-

хавшись и утомившись, он остановился, наконец, у нужного дома. У него слегка дрожали колени. Постучав, он в нетерпении замер у двери. Услышав привычный стук, хозяин открыл дверь, и, увидев Шолума, крайне удивился.

— Ты? В такой поздний час? Что-нибудь случилось? — пропуская брата в комнату, озадаченно проговорил Ошир: высокий, стройный, 23-летний голубоглазый молодой человек. Открытый взгляд, дружелюбие, стремление всегда прийти на помощь нуждающимся снискали ему уважение и любовь молодежи города.

Однако «нежданный гость» вначале не ответил, а потом, отдышавшись и придя в себя, стал так разглядывать убогую комнатку младшего брата, словно его нежданно схватила зубная боль.

— Ты так живешь? — вырвалось у него с усмешкой.

— Как «так»? — переспросил Шолума Ошир.

Шолум язвительно улыбнулся, как улыбается мудрец над непутевым учеником, с чувством развел руками и воскликнул:

— И ты считаешь это жизнью?!

Ошир хотел было сказать ему пару крепких слов и отправить туда, откуда пришел, однако, набравшись терпения, строго взглянул на брата и сказал:

— Да, мне пока и этого хватает. Есть где спать, есть одеяло и матрац, да и столик этот, хотя и на одной ножке, на нем я ем. Много ли человеку надо на первых порах...

Одноногий стол?! Вот уж невидаль! Шолум с ухмылкой рассматривал его со всех сторон и не мог не обратить внимания, как его брат, уперев одну сторону доски в стенку, под другую ее сторону, словно опору, подставил палку.

— Этот столик я сделал сам, — все еще терпеливо, не обращая внимания на полный сарказма взгляд Шолума, говорил Ошир. — Хотя он вызывает у тебя смех, я, сидя за этим столом, читаю, думаю о нашем житье-бытье да и о том, каким будет наш завтрашний день... Да, да, брат, верно, мой быт пока не устроен, у меня нет даже паласа и матрац приходится стелить прямо на глиняный пол, и прочих трудностей немало, но ведь так будет не вечно, жизнь наша войдет в колею, потихоньку преодолеем и трудности. Обязательно будет

лучше, главное, сохранить веру в это, не теряться, не киснуть... я верю, что наш завтрашний день будет счастливым!

— И когда же будет этот «завтрашний день»?

— Малость терпения, брат, — снова не обращая внимания на ухмылку Шолума, продолжает Ошир, — ведь мы хозяева своей Родины, вот нам своим трудом и надо приближать это завтра...

— Так значит ты — «хозяин Родины»?

— Да, и я тоже...

Шолум был ошарашен, он ничего не понимал, он вообще не понимал брата. В этой комнате, где даже мыши чувствовали себя неуютно, жил слепой человек. В то время как кругом были смерть и разруха, он витал в небесах, называл себя «хозяином Родины»... Вот уж поистине: «На людях форсит, а в животе урчит».

— По-твоему, если есть кусок хлеба и работа, так человеку больше ничего и не надо? Ты что, на самом деле так думаешь, или, став «хозяином Родины», больше ничего не хочешь? — криво усмехнулся Шолум.

— Не ухмыляйся, брат, я не шучу, — тихо, но твердо ответил Ошир. — Да, придет время и мы будем жить значительно лучше, я верю в это... Ты же хочешь, чтобы все это пришло без труда, по мановению волшебной палочки, как в детской сказке. Нет, в жизни так не бывает, она далека от сказочной скатерти-самобранки.., — он тяжело вздохнул и с сочувствием посмотрел на брата. — Чувствую, нутром чую, что кто-то заморочил тебе голову и ты теперь не знаешь, что делать, к кому примкнуть. Что тебя тревожит, какие думы не дают покоя? Откройся мне... Иначе ты бы не пришел сюда в полночь...

— Открыться? Ты действительно этого хочешь?

— Да, скажи, брат, не прячься...

— Хорошо, раз просишь... Я вижу, что ты, словно слепой и безумный, ничего не видишь и ничего не понимаешь, — запальчиво заговорил Шолум. — Ты в полном неведении. Знаешь ли ты, сколько человек убито в Дербенте и среди них семья бедного Содуга?

— Да, я обо всем этом знаю, — кивнув головой, ответил Ошир.

— Если тебе это известно, тогда ответь мне, кто во всем этом виноват?

— Отвечу, конечно, нам известны подлинные винов-

ники этих погромов, а три дня назад арестованы двое известных в городе богачей, которые с целью провокации организовали убийства тех, кто не шел у них на поводу, не танцевал под их дудку. Эти люди из мусаватистов и дашнаков, а также примкнувшие к ним представители еврейского национального комитета «Сион». Сейчас они, забыв о религиозных различиях, о некогда разных программах, объединились в борьбе против большевиков. Кстати, среди них небезызвестный нам дядя Овроом, и на его руках кровь невинных людей...

— Замолчи! — словно взбесившись, закричал Шолум и стал нервно ходить по комнате. — Надо же! Как у тебя только язык поворачивается говорить такое!? Я даже не знаю, что тебе сказать после этого!...

Ошир не стал сразу возражать. «Пусть выскажется, — подумал он про себя, — пусть скажет обо всем, что накопилось. Видно, заморочили парня так, что теперь не может друга от врага отличить. Интересно, что ему пообещали, какие «золотые горы» посулили, что он так бездумно поверил им. Прямо волком на меня смотрит...»

— Тебе не стыдно говорить такое про дядю Овроома? — чуть успокоившись, заговорил Шолум. — Так даже враг не мог сказать... Разве ты забыл, как после смерти отца, не кто-нибудь другой, а он дал нам работу, одел, обул во все новое, окружил заботой и вниманием? И что же? Вместо благодарности ты стал ему врагом. Я удивляюсь, как ты можешь обвинять дядю Овроома в убийстве и, главное, наших соплеменников, если он за людей своей национальности готов отдать не только свое богатство, но и собственную жизнь? Для него нет разницы: богат ты или беден, главное, что мы все одной веры...

Шолум недовольно и в тоже время победоносно взглянул на Ошира, мол, «ну что теперь ты скажешь?»

— Что, нечего сказать? — воскликнул он, приняв затянувшееся молчание брата за бессилие найти необходимый ответ. — Конечно, тебе действительно нечего сказать, здесь и без слов видно, на чьей стороне правда. Правда всегда на стороне таких, как дядя Овроом, об этом все знают...

Ошир понял, что теперь все ясно, все, что хотел сказать Шолум, он высказал. Он прямо посмотрел брату

в глаза, как боец перед атакой, и четко, словно выговаривал нашкодившему мальцу, произнес:

— Теперь послушай мою правду. Еврейский национальный комитет «Сион» и его боевая группа созданы богачами, в числе которых и дядя Овроом. Ты, наверное, об этом знаешь...?

— Ну и что же? Пусть будет по-твоему: создали, помогали своим... Кто же тогда причастен к убийствам многих наших соплеменников?

— Я тебе уже объяснял, и снова повторяю: и наших соплеменников, и других горожан убивали по указанию трех известных тебе объединившихся националистических групп, чтобы вызвать недовольство новой властью. Ради достижения этой цели они не жалеют ни денег, ни людских жизней. Купленные за большие деньги разбойники и живодеры убивали тех, кто словом и делом защищали новую власть, свою власть, они старались внушить людям, что эти грабежи и убийства — дело рук большевиков. Мол, смотрите, какие большевики кровожадные, мол, у них глаза настолько заплыли жиром, что уже не различают, где бедные, а где богатые, что это власть убийц и грабителей... Какую цель преследуют такие, как дядя Овроом? Заморочить людям головы, ввергнуть город в хаос, беспорядки и, таким образом, вызвать недовольство и возмущение народа и, в конечном итоге, снова взять все в свои руки... Но когда эти благодетели поняли, что их провокации не достигают цели, они, словно мыши, попрятались в свои норы...

— Дядя Овроом... — Шолум хотел что-то сказать, однако Ошир, прервав брата, с не меньшим жаром продолжал:

— И дядя Овроом, если еще не убежал, поверь мне, тоже сбежит как крыса с тонущего корабля, сбежит за своими дружками, ибо их связывают общие преступления, кровь ни в чем не повинных людей...

— Я об этом ничего не знаю и не верю в это.., — заметил Шолум, теперь уже малость сбавив тонор.

— В том-то и дело, брат. Если бы ты знал обо всем этом, то знал бы и то, что среди стольких убитых нет ни одного богатого, ни одного из представителей антибольшевистского подполья.

«Ну, допустим, это так, — тем временем думал про

себя Шолум, — но при чем здесь еврейский национальный комитет «Сион», он помогает людям!»

— Мне кажется, — после недолгого молчания говорит Шолум, — дядя Овроом никому плохого не сделал, наоборот, всем помогал, добро делал...

— Добро делал? — пронзительно взглянул на брата Ошир, — По-твоему, все это «добром» называется?..

— Да, вспомни, сколько хорошего он нам...

— Да, — ухмыльнувшись, прерывает Шолума Ошир, — дядя Овроом, что уж говорить, и хлебосол, и добр, и справедлив, прямо ангел небесный... На пасху нам и обновки справлял. Ну почему не справить?! Если мы как ишаки работали на него, на виноградниках вкалывали, увеличивая и без того набитый золотом его тугой кошелек... Как ты думаешь, дядя Овроом мог это сделать, если бы мы не приносили ему пользу, если бы ему было невыгодно? Подожди, подожди.., — заметив, что Шолум хочет что-то сказать, остановил его Ошир, — я еще не все сказал. Я не рассказал тебе, что за человек дядя Овроом, дай скажу, может быть, тогда ты узнаешь, наконец, этого благодетеля...

Да, нам точно известно, что дядя Овроом был щедр, дал много денег... гачагам-разбойникам для грабежей и убийств. Кстати, семья бедного Содуга умерщвлена тоже за счет этих денег.

— Что ты говоришь? Ты что, сумасшедший? — вскричал Шолум.

— Нет, я не сумасшедший, брат, я говорю то, что есть, так, как все происходит. Однако тебе почему-то эта правда не нравится. Что делать, врать не могу. — Ошир удрученно вздохнул и вдруг, вспомнив о чем-то, продолжил: — В 1916 г., будучи на фронте под Смоленском, когда в лютый мороз мы рыли окопы, я много чего узнал от друзей своих — русских солдат, я узнал правду о революции, о ее необходимости, которая принесет человеку труда радость и свободу, избавление от проклятой бедности. Я и за это должен благодарить дядю Овроома, который меня — 18-летнего мальчика, дав большие деньги, послал на войну вместо своего сына Ильягу. Да, брат, я немало повидал, страдал от адского холода, до седьмого пота гнул хребет, голодал... Правда, теперь многое забылось, однако уроки прошлого, долгие беседы с дорогими моему сердцу

друзьями остались здесь, в моем сердце, — Ошир положил ладонь себе на грудь. — Я держу все это в памяти своей и, конечно, «доброту» дяди Овроома тоже не забыл... Теперь меня уже не переделать, даже если кому-то это очень захочется... Да, кстати, я все же никак не могу взять в толк, что тебя привело в этот поздний час, я почему-то считал, что мы с тобой обо всем переговорили и окончательно, не поняв друг друга, остались при своем... И в тот, другой вечер, если память тебе не изменяет, когда дядя Овроом стремительно бежал, ты и тогда со мной не соглашался, ругался, чуть с кулаками не полез...

Вспомнив тот скандальный вечер, Шолум искоса взглянул на Ошира и, махнув в сердцах рукой, направился к выходу:

— А если дядя Овроом вовсе не бежал?...

— Тому, кто новой власти не причинил вреда, она, естественно, ничего плохого делать не собирается. Это правда, как свет. Вот, возьми дядю Милиха, свояка дяди Овроома, хотя и богач, все же человек мирный, не стал воевать против большевиков, пошел не против, а в ногу с революцией. Все сады, лишние дома, магазины — все отдал в пользу народа. А дядя Овроом? С первых дней революции, еще в 1918 году, встал на борьбу против нее, богатство, которое не успел спрятать, сжег, уничтожил, даже сына своего не пожалел, послал на верную смерть. Нам недавно стало известно, что связным мусаватистов, дашнаков, а также еврейского комитета «Сион» с разбойниками в горных лесах был именно Ильягу, сын дяди Овроома, это он передавал лесным убийцам наши тайны... К чему удивляться, что Советская власть отобрала все, что тому принадлежало и то, что осталось, тоже заберет. Кроме того, за все свои злодеяния он и его сообщники должны ответить перед судом, перед народом, никто им ничего не простит...

Шолум, ухмыльнувшись, ответил:

— Я, конечно, знал, что у тебя прямо-таки материнская любовь к новой власти, однако надеялся, что один, без меня, ты здесь не останешься и поедешь со мной в Иерусалим, на «Родину отцов»...

Ошир недовольно покачал головой:

— Я вижу, тебя вконец заморочили и ты, забыв обо всем, готов бежать с новыми «друзьями»...

— Да что ты говоришь? — Шолум криво ухмыльнулся. — Как же я могу тебя оставить и уехать?...

— Не насмехайся, я не дал тебе повод для этого! — прервав брата, сердито сказал Ошир. — Меня удивляет другое, казалось, мы от одного отца и одной матери, они нас вырастили, и бедность, и трудности были общими, как стало, что тебе захотелось без труда стать сразу богатым, жить без забот.

— Да, я хочу радости, счастья, жить в достатке, что здесь плохого? — запальчиво воскликнул Шолум.

— Нет, я как-то по другому представляю себе жизнь. Радость и счастье только тогда могут быть таковыми, когда они завоеваны трудом, а ты сразу захотел... Это что, если два-три месяца назад дядя Овроом дал тебе немного денег и купил одежду, ты обо всем забыл и сразу захотел стать богатым? Ты вдруг захотел жить на всем готовом и решил, сломя голову, не зная куда и зачем, уехать на несуществующую «Родину отцов». Тебе пообещали золотые горы, молочные реки и кисельные берега, мол, ты там сразу станешь богачом. Эх, брат, не ищи правды в том, в ком добра мало, не обожгись об эти горячие обещания...

— Дядя Овроом был в Иерусалиме! Почему я ему не должен верить? Он постоянно говорил, что кроме нас с тобой у него никого нет, все свое состояние отдает нам. Что же тебе нужно? Я верю, что он нам только добра желает, никогда плохого не сделает, почему не верить ему?

— Я ни в чьей благотворительности не нуждаюсь! И запомни одну непреложную истину: «съевший вишню у хана — косточкой подавится». Знаю и другое — народ сегодня живет в крайней нужде: голоден, не одет, не обут. Но эти трудности временные, мы сами, своим трудом, своей энергией и энтузиазмом преодолеем их, сделаем нашу жизнь радостной и счастливой. Вот в этом и есть смысл человеческой жизни. А вот с тебя за эту одежду и обувь, за крохи, что тебе сейчас подбросили, они потом втрое взыщут, потребуют долги вернуть, шкуру сдерут... Вот тогда ты опомнишься, но будет поздно!

Шолум, потеряв всякое терпение, вконец рассердился и, доведенный до отчаяния, вскрикнул:

— И в кого ты такой упрямый пошел? Наши отец и мать были послушными, мирными людьми, даже тени

своей боялись, а ты... Сколько в тебе злости! Ты посмотри, что сегодня в Дербенте делается, не слепой, слава Богу. Ты знаешь, сколько людей уехало в другие страны? И большинство в Иерусалим. Дядя Овроом очень хотел помочь тебе, уберечь от опасности, а ты...

— Если дядя Овроом так печется о нас, так хотел сделать нас счастливыми, где же он был до сих пор? Почему, когда он был хозяином огромного состояния, одним из самых крупных богачей города, не помогал нам, не дал денег купить лекарство для больной матери? Где он был, когда мы жили в бедности? Ну, ответь мне! Теперь он, видите ли, загорелся благотворительностью, наконец, якобы, понял, что мы его единственные родственники. И, как видно из твоих слов, в случае, если мы убежим вместе с ним, он обещает отдать нам свое состояние? Во-первых, где он и почему так щедро обещает, из каких шишей? Во-вторых, почему мы должны бежать, если ни ты, ни я новой власти никакого вреда не нанесли, да и она нам вреда не желает? Нам бежать никакого резона нет, а вот дяде Овроому захватить тебя с собой, видимо, есть резон, какая-то хитрость, ведь он никогда и никому так просто ни одного своего рубля не даст...

Несмотря на то, что спор затянулся и не было видно конца, Шолум решил сделать еще одну попытку убедить брата:

— Не будь попугаем, постарайся меня понять. Ни дяде Овроому, ни нам с тобой здесь оставаться больше нельзя, опасно и бессмысленно. Кроме того, даже сегодня, если дядя Овроом тряхнет своей мошной, он может прокормить десятка два таких бедняков, как ты и я...

— Вот как? По всему видать, наш «благодетель» все еще здесь, морочит таким, как ты, головы и мошной трясет? — пробормотал Ошир последние слова.

Будучи в возбужденном состоянии, Шолум не понял или не придал значения последнему замечанию Ошира. Он, не обращая внимания на слова брата, продолжал говорить:

— Если ты хочешь знать, у дяди Овроома даже в Иерусалиме есть свой большой дом, в зарубежных банках есть солидные вклады. Он же ведь все это, в конце концов, с собой в могилу не возьмет, все останется нам. И потому, если бы я был на твоем месте, сказал бы:

«Знаешь что, брат, пойдем найдем нашего дядю и вместе уедем отсюда. Пусть хотя бы наши дети, наши внуки не живут в бедности, как мы, пусть и мы, как нормальные люди, поживем в достатке». Ну, что скажешь, почему молчишь?

— Я устал говорить, — безнадежно ответил Ошир.

— Совсем не то, что нужно! Недаром тебя упрямым большевиком называют! — сердито и с обидой крикнул Шолум.

— Да, я был бы счастлив стать большевиком. И потому я побираться не буду и не хочу. Понял? И отсюда даже шага туда, куда ты меня зовешь, не сделаю. Моя Родина, мое сердце, моя радость и счастье здесь, на этой земле, здесь я родился и рос, здесь похоронены мои отец и мать, весь мой род, если память тебе изменила...

— Ну что ж, оставайся, оставайся с этими головорезами, а мы...

— Вот как?«Мы», значит? Дядя Овроом все еще играет на зурне, а такие как ты, танцуете под его музыку, — громко, с обидой в голосе говорил Ошир. — Неужели ты потерял стыд и совесть? Вспомни, сколько мук и обид перенес наш отец, как он до последнего гнул спину и безвременно, совсем молодым покинул этот мир. Если бы был он сейчас здесь, он бы спросил нас: «Что с вами, дети мои, почему вы вступили в спор, какое богатство вы не можете разделить?» — Ошир еще раз остро взглянул на брата. — Вот тогда я бы ответил ему: «Отец, твой сын, Шолум, забыл обо всем, запамятовал, как в голодные и холодные дни наши, никто нам не помог, ни богатый дядя Овроом, ни не менее богатый брат нашей матери, ни даже тетя Бетие с огромным состоянием, оставленным ей умершим мужем. А теперь, вдруг, ни с того ни с сего, у нас объявился «благодетель» — дядя Овроом...?

— Я... я...

— Нет, не перебивай, а скажи, что бы ты ответил отцу?...

— При чем здесь отец?... — опустив голову, исподлобья взглянул на Ошира Шолум.

— Как при чем? Именно об отце и надо тебе напомнить сейчас, — снова сердито заявил Ошир. — Именно отец рассказал бы нам сегодня, как еще тогда, когда он был болен и нуждался в помощи, этот самый дву-

рушник, этот двуликий Янус — дядя Овроом вместо того, чтобы протянуть руку помощи своему родному брату, ограничился подлой «маккиавелевской» фразой, мол, «все от Бога: и богатство и бедность». Ты подумай, хотя бы малость, ведь они были братьями, понимаешь, братьями, один богат, другой беден. Мало того, что не помог, он даже заработанные отцом на его виноградниках деньги умудрялся полностью не отдавать...

И убедившись, что все его старания оказались тщетны, от обиды и горечи Ошир задохнулся и стал кашлять. В нерешительности, не зная что делать, стоял и Шолум.

— А теперь иди, — даже не посмотрев в сторону Шолума, словно устав от этого долгого спора, заключил Ошир. — Иди и подумай, если, конечно, ты вконец не потерял эту способность... И дядя Овроом далеко не уйдет...

Шолум, безнадежно махнув рукой, повернулся и покинул брата.

ГЛАВА 3

Словно загнанный волк, Овроом не знал в эти дни, куда спрятаться. Страх попасться кому-нибудь на глаза и быть узнанным приводил его, человека деятельного, в такое подавленное состояние, что порой накатывали уныние и тоска. Он знал, шкурой чувствовал, что оставаться в городе для него смерти подобно, однако оставить свое добро и начатое дело тоже не мог. Необходимо было найти такое место, которое бы обеспечило ему хотя бы на короткое время тихое, незаметное проживание, чтобы затем стремительно, словно его здесь и не было, скрыться. Он перебирал множество адресов, не забыл даже незаметный, малость перекосившийся домик симпатичной вдовушки, услугами которой иногда пользовался. Однако отвергал их, ибо боялся, что его могут схватить именно в местах привычных. Поэтому, в конце концов, выбрал дом свояка — Милиха. Мол, хитрый Милих обеспечил себе в отношении новой власти полное алиби, на рожон не лезет, но и связей с

«Сионом» не теряет. В его доме, если не считать двух случаев за всю жизнь, он раньше не бывал, так что вряд ли его будут там искать, значит, надо использовать легальное положение хозяина.

— Да будет благословенна земля Иерусалима! Конечно, сынок, мы не чужие, — ласково, словно губы его источали мед, говорил Милих, обращаясь к Шолуму.— Верно, дорогой, сегодня нам особенно надо поддерживать, помогать друг другу. Недаром говорят: «Орел силен своими крыльями», а вы, молодые, и есть наши крылья...

«Что правда, то правда, — думал про себя Овроом, видя, как Милих с завидной обходительностью говорил с Шолумом. — Трудные времена наступили, если даже таких, как Шолум приходится обхаживать... Что делать, в нашем деле каждый человек, даже такой, как Шолум, на вес золота. Надо собирать силы, по крупицам, по зернышку, чтобы в нужный момент ударить неожиданно, больно, насмерть, отобрать и вернуть виноградники, промыслы, дома и другое богатство Векиловых, Ханухових, Дадашевых, Ахундовых и других наших друзей. Что делать... босякам и голодранцам удалось взять верх, даже наши совместные усилия не увенчались успехом. Да что наши! — в отчаянии продолжал казнить себя Овроом. — Если даже Бичерахов и Деникин вкупе с англичанами не сумели перебороть большевиков. Эта трагическая весна никогда не изгладится из памяти...»

Овроом вышел из потайного угла и тихо, бесшумно приближаясь к говорящим Милиху и Шолуму, думал свою горькую думу:

«Да, тяжкие времена настали. Теперь уже делать нечего, как думать о том, что предпринять завтра, чтобы сохранить себя, оставшиеся силы... Шолума бояться не надо, он в наших руках...»

— А ты, дорогой, кого ждешь, — почему не торопишь себя? — стараясь быть спокойным, с достоинством, как умудренный жизнью мудрец, к несмышленышу обращается Овроом к Милиху. — Почему испытываешь время?..

Милих, сорокапятилетний, низенький, круглый, словно винная, бочка, лупоглазый здоровяк, сумел в эти

тревожные времена проявить незаурядные способности конспиратора. Южное солнце придавало смуглость большинству обитателей древнего города, не щадя даже женщин, Милих же сумел сохранить белизну кожи лица, на котором особенно четко выделялись щегольские черные, как смоль, тонкие миниатюрные усики. Точно так же Милих, за счет сладкого, как мед, языка, спокойствия, умения льстить, ладить даже с врагом, сумел, отдав Советской власти видимую часть своих богатств, сохранить остальную, большую. При этом он так источал дружелюбие и доброжелательность представителям новой власти, что им и в голову не могло прийти, что за всем этим скрывается ничуть не меньшая, чем у Овроома, смертельная ненависть к ним. Немногим было известно, что бывший середняк Милих за последние несколько лет незаметно для постороннего глаза стал хозяином большого богатства. Вот и сейчас он не торопится сразу ответить нетерпеливому Овроому.

Судьбе было угодно быть к Милиху благосклонной, ценой огромных усилий, а порой и преступлений, ему удалось нажить солидное состояние, что помогло ему попасть в круг самых крупных богачей города, а став свояком Овроома, еще больше приблизиться к ним. Но несмотря на это, Овроому всегда не нравилась этакая рабско-льстивая манера Милиха. Он считал для себя унижением даже сидеть со слащавым свояком за одним столом, ибо хорошо знал, что за лисьей услужливостью Милиха скрывается волчья хватка. Может быть, этим и объяснялось его крайнее нежелание оказаться в доме Милиха, которого Овроом считал «выскочкой», привитой «дикушей», человеком низкого сорта.

Иногда он нарочно искал повод, чтобы как-то задеть Милиха, унизить, высмеять, но делал это искусно, мастерски, по-барски. Мол, если человека назвать дураком, он может обидеться, а если ему сказать: «дурачок ты мой дорогой», обозвав все-таки дураком, это не только не вызовет обиды, а наоборот, улыбку удовольствия. В былые времена он всячески мешал Милиху попасть в их круг, считая его недостойным своего общества.

Милих же все это терпел, делал вид, что не замечает пренебрежительных жестов богатого свояка, не обращал внимания на его издевки, словно все это к нему никакого отношения не имело. Не выходил из себя, не грубил, всегда оставался ровным, улыбчивым, однако от намеченной цели — стать одним из самых состоятельных людей города, урвать где-то больше, отхватить кусок из рук таких, как Овроом, нанести им урон, не отступал. И надо сказать, ему это удавалось все больше и больше.

И потому Милих особой дружбы со свояком не искал, к общению с ним не тяготел, постоянно подстегивая себя потайной мыслью, мол, погодите малость, я вам еще покажу, каков Милих на самом деле, вы еще извиняться будете за свои выходки...

Да, Милих терпел, ждал своего часа, когда самонадеянный, властолюбивый и хвастливый Овроом будет вынужден унизиться, придет к нему за помощью. И хотя Милих ждал унижения Овроома не в такой форме и не при таких обстоятельствах, все же он был рад, торжествовал победу. Но эта радость была с горечью, с тайной болью, как нежданные заморозки в весеннюю пору. Все это не принесло ему удовлетворения, ибо поражение Овроома было связано с их общей тревогой, общей бедой, общим поражением.

— Я спрашиваю тебя, почему ты до сих пор путаешься в ногах у большевиков? — не дождавшись ответа, на правах старшего родственника повысил голос Овроом.

— Подожди, дорогой, не нервничай, наберись терпения, — заметив, наконец, горячность Овроома, ответил Милих. — «Твоих криков сегодня только мыши боятся», — с иронией подумал он про себя, а вслух сказал совсем другое: — Надо малость подождать, все собрать, подготовить, да и новой власти надо малость подольстить, отвести от себя подозрения, усыпить, так сказать, бдительность.

— Да, да, иди им еще одно место лизни! — возмущенно говорил Овроом. — Да разве ты не знаешь, что большевики, несмотря на все твои ухищрения, в один момент шлепнут тебя!

— Меня? Да будет благословенна земля Иерусалима! — повторив молитву, словно нарочно, удивляется Милих. — За что им меня убивать? — однако, заметив,

как напыжился от возмущения свояк, как он, словно пузырь, вот-вот лопнет, Милих решил малость раскрыться. — Если ты очень уж хочешь знать, я к большевикам тоже не питаю «материнской любви», — выпучив круглые карие глаза, непривычно твердо заметил он. — Мне богатство досталось не на блюдечке, не так легко, как тебе и твоим друзьям, кровью сердца и потом тела досталось оно мне, и потому у меня тоже есть свои счеты... Но без шума, без крика, без угроз, умно, взвешенно, целенаправленно, втихую, улыбаясь, да ножом в спину!

Последние слова он сказал так тихо, что их не услышал даже сидевший невдалеке Шолум.

— Ты что же, в одиночку хочешь все это сделать? — ухмыльнулся Овроом.

— Почему в одиночку? Всем вместе, общими усилиями, собрав все в один кулак, — уверенно ответил Милих. — Недавно, когда тебя не было в городе, до нас дошли сведения, что такие известные царские офицеры как Гоцинский, Алиханов, Джафаров и Пиралов подняли в Андах и Гунибе антисоветский мятеж, с помощью англичан и турок собрали большие силы и вместе с войсками Врангеля направляются к нам. Через наших друзей в горах мы обещали им помощь золотом. Если Богу будет угодно — это поможет вернуть наши богатства, если же нет, решим по-иному... — А вот тебя я хочу спросить, чего ты добился тем, что с первых дней, как всегда, шумно, во всеуслышание объявил войну большевикам? Лишь одного, сидишь в своей норе, нос боишься высунуть! Почему? Да потому, что сегодня они сильнее, власть у них в руках, понял? Поэтому, я думаю, от слов «иду на вы!», надо перейти к борьбе тихой, исподтишка, но чувствительно, ибо плевать против ветра, — себя же испачкать... И еще, все, что было под рукой, так сказать, на виду, большевики у нас забрали, кое-что и мы отдали, а вот главная часть нашего состояния осталось с нами, вот ее-то, да благословенна земля Иерусалима, и надо унести.

— Ты настолько ограниченный, что дальше собственного носа не видишь! — запальчиво заговорил Овроом. — Если их именно в данный момент, не дожидаясь еще большего усиления, немедленно и каждый день не бить, если их систематически не беспокоить, потом их победить будет вооб-

ще невозможно. Тогда и твои и мои спрятанные деньги и золото будут не нужны, они нас просто уничтожат. И было бы тебе известно, что, если не считать денег, спрятанных здесь, в городе, у меня в несколько раз больше уже за границей... Дело не в этом, я вновь и вновь заявляю, что большевики, разнюхав вскорости о твоих секретах, оставят таких умников как ты с носом, а может, и без носа...

Овроом в пылу спора забыл даже о том, что рядом сидит Шолум, он хорошо знал, был убежден, что Шолум для него опасности не представляет, ибо он накрепко связал свою жизнь и судьбу с его богатством, с тем райским достатком, который ему обещан и о котором мечтает в последнее время. И потому, не обращая внимания на присутствие Шолума, Овроом не скрывая, продолжал:

— У меня в Баку есть друзья, имеющие прочную связь с англичанами. Надо эту связь использовать и, не теряя времени, бежать...

«Да, — с гордостью подумал Шолум, — дядя Овроом действительно могучий человек. Где только ни бывал, в каких только городах и странах ни имеет друзей... — Он вдруг вспомнил, как дядя рассказывал о своих путешествиях в Тифлис, в Баку, и при этом, щелкая пальцами, добавлял: — Человек ни в чем себе не должен отказывать, жить да кайфовать!»

Шолум, словно потерянный, задумчиво смотрел сейчас на своих богатых родственников и мысли снова уносили его к недавнему спору. Кто же из них прав? Эти двое или брат Ошир? Дядя Овроом, кроме него, племянника, уговаривает бежать и других, мол, большевики как отобрали богатство, так же легко лишат их и жизни. А вот там, на «родине отцов» будем, мол, жить, как в раю. «Моего богатства, — не раз говорил дядя Овроом, — нам на всех хватит, не чужие мы, одна семья...» Так-то оно так, — снова перебивает он ход своих мыслей, — но почему, в таком случае, он здесь, в Дербенте, не даст, хотя бы мне, части своих денег? Бежим да бежим... — постоянно повторяет он. А вот Ошир утверждает, что не надо торопиться, все образуется, бежать нет необходимости, что в скором времени люди станут жить лучше, что трудности эти не вечны. Восстановим, мол, разрушенные промыслы, заработают как прежде мельницы, депо и коньячный завод, вот

уже и виноградари вышли на перекопку садов, значит, и здесь будем с урожаем. Ошир не устает повторять, что теперь богачей не будет, власть большевиков враждебна к ним, но в то же время она — друг трудящихся. Однако, как же так, какая же это жизнь, если не будет богатства, достатка, благополучия, кому нужна такая жизнь? Правда, у него самого никогда богатства не было, но все помыслы, весь смысл жизни видел в том, чтобы стать богатым, иметь возможность жить в кайфе, в избытке. Из-за этого он и не нашел общий язык с братом, разошлись их дороги, но зато сошлись с дядей Овроомом, ибо он мудрее, Шолуму нравятся его образ мыслей, его рассказы о путешествиях, о других городах и странах.

— Шолум, мой дорогой, когда ты в последний раз видел своего брата? — неожиданно, прервав рассуждения Шолума, спросил Милих.

— Вчера вечером, у коньячного завода...

— У коньячного завода? — задумчиво переспросил Милих. — Если мне не изменяет память, он работает в депо, что же он делал у коньячного завода?

От горьких дум, охвативших Милиха, у него на лбу собрались морщины. Он очень хорошо помнил и знал, что в каменном двухэтажном здании у коньячного завода размещался отдел особого назначения — ЧК и это насторожило его вдвойне.

«Конечно. Ошир бывает и там, — понял Овроом из настороженного вопроса свояка. — По всему видать, поддерживает с ними тесные связи, во все дырки сует свой грязный нос, негодяй! Этот орешек не прост, ему, а не нам, удалось разобщить молодежь с «просветителями», увести их от влияния последних. Я так на это рассчитывал! Теперь он, в поддержку власти Советов, задумал создать союз трудящейся молодежи... Ко всему еще, этот неосторожный разговор Шолума с братом, когда он догадался о моем пребывании в городе. Надо же было меня угораздить... Недаром говорят: «Дай дураку Богу молиться, он себе и лоб расшибет».

— А Ошир видел тебя там? — заинтересованно спросил Овроом племянника.

Шолум вначале хотел ответить утвердительно, но затем, немного подумав, сказал:

— Мне кажется...

— Тебя невозможно понять, — недовольно пробур-

чал Овроом, — он знает о моем пребывании в Дербенте или нет?

— Может, и знает... — неуверенно ответил Шолум.

— Как тебя понять? — рассердился Овроом.

— Да откуда я знаю! — растерявшись, ответил Шолум, но потом, заметив настороженность и крайнюю озабоченность свояков, успокоительно добавил: — Я же вам рассказывал, дядя, что Ошир тогда подумал, что мы с вами на следующий день уезжаем из города и как-то невзначай, перед самым моим уходом бросил реплику, что, мол, и дядя Овроом далеко не уйдет...

— Так, так... потом ты его видел у завода, — в задумчивости, многозначительно взглянув на свояка, сказал Овроом.

Милих сразу уловил тревожные нотки в его словах, он понял, что теперь уже не только над Овроомом, но и над ним нависла угроза, что надо немедленно что-то делать, искать выход...

— Встань и быстро, не теряя времени, сходи к нам домой! — будто не говорил, а приказывал Овроом племяннику. — Передай жене, что если вдруг меня кто-либо спросит, пусть ответит, что, мол, два дня назад, как бы мимоходом заехал домой и тут же уехал снова, а куда — не знает. Понял?

Шолум встал, попрощался и собирался уже уйти, когда у самых дверей его остановил Милих:

— Выходя из дома, оглянись кругом, посмотри, нет ли любопытных, не высматривает ли кто, что делается в доме... Сейчас, сынок, никому доверия нет, надо быть осмотрительным. Да, скажи, пожалуйста, дочке, Тозегюль, чтобы нам чай принесла.

«Даже чая не предложили, — недовольно подумал Шолум. — Как что не по ним, так сразу меняются: ни тебе «здравствуй», ни тебе «дорогой», будто ты чужой...»

Тозегюль, ступая бесшумно по коврам, поставила на низенький столик поднос с разлитым в армуды-стаканы чаем, и в тот самый момент, когда хотела закрыть за собой дверь, неожиданно услышала слова отца:

— Видать, дела наши неважные, Овроом?

Двадцатилетняя Тозегюль на стройной и тонкой шейке носила поразительно красивую головку: черные в кольцах локоны, обрамленные черными бровями, вы-

разительные нежно-карие глаза, с незаметной горбинкой маленький носик, а под ним, словно раскрытый розовый бутон, алые губы. Бог не обделил ее и характером, подарив тихий, ласковый голос, такую же божественную походку, нежность и доброжелательность к людям и ко всему этому, будто в дополнение, наделил недюжинной волей. Большинство девушек ее возраста уже давно были замужем, узнали прелесть материнства, однако Милих не торопился с этим, он помнил, что красавицу-дочь не раз приходили сватать, много интересных молодых людей готовы были, как говорится, предложить ей руку и сердце, особенно когда она в числе первых девушек-горянок окончила реальное училище, однако у Милиха и в этом деле были свои расчеты. Милих мечтал найти дочери достойную пару из очень богатой семьи, и, когда он стал замечать обращенные к дочери восторженные взгляды Ильягу, сына свояка, он обрадовался, что мечты его, наконец, сбываются, как охотник, в капкан которого попала редкая дичь. Он радовался этому вдвойне, когда узнал, что выбор сына не по душе его горделивому отцу.

Однако подобная перспектива не устраивала Тозегюль. Она не любила Ильягу, этого некрасивого не только внешне (после перенесенной в детстве оспы его лицо было усыпано уродливыми шрамами), но и внутренне, известного своими дурными поступками, молодого человека. В сердце этой хрупкой на вид девушки давно, еще с детства, занял свое место образ Ошира. Все свои мечты, тайные помыслы души она связывала с этим голубоглазым парнем, с которым за последние четыре года она виделась лишь один раз, когда Ошир, как ангел-хранитель, в самый трагический момент ее жизни, снова оказался рядом и спас ее от насилия и позора...

Судьбе было угодно, чтобы родились они в соседних домах, на одной улице и много лет, будучи детьми, вместе играли в лапту, в прятки и каждый год, за две недели до пасхи, разжигали костры, пекли в них картошку и каштаны, весело танцевали и пели вокруг них, таким образом отмечая праздник весны. Они оказывались всегда в одной группе еще и потому, что их семьи отличались одинаковым отсутствием особого достатка, ибо изворотливый Милих не всегда был богат. Открытая, отзывчивая Тозегюль часто бывала в доме Ошира,

давала ему читать интересные библейские книги, тяжело переживала, когда умер его отец. Не раз и не два бывал у них и Ошир, он видел, как по-матерински к нему относилась мать Тозегюль, окружала его заботой и вниманием, понимая, что у его почти всегда больной матери не всегда есть на это время и силы.

Тозегюль тянулась к доброму и всегда готовому помочь Оширу, как мотылек тянется к свету. Ошир, перефразируя ее имя, ласково называл ее «Цветочком». Дружба их была взаимной и настолько чистой, что они вверяли друг другу свои маленькие и большие секреты. Однажды, когда Тозегюль упала во время игры и вывихнула ногу, Ошир, хотя и был всего на три года старше, на руках принес ее домой, и тогда, благодарная за это, двенадцатилетняя девочка обняла своего друга за шею и доверчиво прижалась к нему. Конечно, это было далеко не проявление взрослых чувств, но детская любовь, словно молодое деревце, посаженное в удобренную почву, дает потом превосходные плоды.

Так оно и случилось, став взрослее, Тозегюль искала с Оширом встреч, хотя уже тогда отец ограждал ее от подобных действий. Но когда она через посыльного мальчика узнала, что Ошир уезжает на фронт, ночью, украдкой, пробралась в их двор и, забыв о возможном позоре, если бы тогда ее кто-нибудь увидел, бросилась к нему, стыдливо обняла, прикоснулась губами к его щеке и тихо, взволнованно произнесла:

— Этот платочек тебе, в подарок, чтобы не забыл..

Ошир взял платок и также тихо, с хрипотцой ответил:

— Спасибо, Цветочек, не забуду... никогда.

— Вот и хорошо, — весело, спрятав горячий взгляд, ответила она и, убегая, добавила: — Возвращайся...

После возвращения Ошира с войны им ни разу не удалось встретиться, и может быть, это случилось бы не скоро, если бы не тот случай...

В конце июня 1918 года в Дербенте установилась Советская власть. Немедленно было конфисковано и передано народу имущество мусульманского национального комитета, а также богачей, помогавших контрреволюции. Те же, в свою очередь, стали использовать все возможности, чтобы отстоять, не уступить своей власти.

Через четыре дня большевистское правительство бы-

ло ошеломлено жестокой провокацией дашнаков, устроивших самосуд над заключенными тюрьмы, свидетельством чего стали одиннадцать трупов. Затем предательски из-за угла стреляли в большевика К. Агасиева, выступившего с разоблачением подобных действий националистов.

Активизировалось и помещичье-клерикальное движение, по их приглашению в город проникли с десяток турецких военнослужащих инструкторов, которые проводили пантюркистскую агитацию.

Затем последовали более масштабные контрреволюционные действия: воодушевленные Антантой банды Бичерахова двинулись со стороны Баку и первые свои удары обрушили на Дербент — колыбель революции в Дагестане. С особой жестокостью расправились с большевиками А. Эрлихом, В. Бешенцевым, И. Кобяковым, Г. Канделаки, которых сразу после взятия города арестовали и расстреляли. Потом были схвачены и убиты Г. Таги-Заде и М. Гаджиев.

Если Антанта ставила своей целью расчленить Советское государство и захватить нефть Кавказа и Дагестана, то их интересы встретили сопротивление турецких правителей, которые желали осуществления более глобальной идеи — объединить тюркские народы под властью Оттоманской империи. Их эмиссары вели здесь антисоветскую агитацию, пытаясь заставить массы поверить в освободительную миссию турок. И с этой целью двинули на Дагестан свои регулярные войска. 6 октября турки вторглись в Дербент.

Для защиты Советской власти в Дагестане предпринимались огромные усилия. На выручку большевиков Дербента в числе других был направлен и Царицынский полк, в котором служил Ошир. Однако когда стало ясно, что власть большевиков пала и надо временно отойти на север, в район Кизляра, по указанию портпетровского комитета большевиков Ошир в числе трех дербентцев был направлен в город на связь с ушедшим в подполье руководителем большевистского комитета К. Агасиевым.

Но предательство Горского правительства развязало руки турецким башибузукам, особенно каймаку Кюринского округа Такаютдин-бею, по указанию которого были зверски убиты большевики К. Агасиев, С. Сулейманов, Г. Мурсалов, Л. Рахманов и другие.

В один из вечеров этой тревожной осени вторжения турок Тозегюль, забыв о времени, возвращалась от портнихи домой. И тут дорогу ей преградил турецкий воин-аскер. Схватив девушку за руку, он потребовал:

— Ханум, остановись, мне с тобой поговорить надо,— но увидев лицо девушки, ее красоту, вообще перестал владеть собой, и обняв ее, плотоядно ухмыльнулся. — Ты просто шербет, ханум!

Возмущенная Тозегюль с силой оттолкнула аскера и бросилась бежать, однако в нем заиграла кровь дикого зверя, он бросился за ней, схватил девушку за косу, сильно, до адской боли, потянул к себе и стал бешено домогаться поцелуя. Тозегюль, мертвецки бледная, яростно сопротивлялась желанию аскера затащить ее за угол дома и совершить насилие, но когда, вся исцарапанная, поняла, что силы покидают ее, она из последних сил позвала на помощь...

Видно Богу было угодно, чтобы в этот самый момент, в этот трагический час жизни Тозегюль, рядом оказался Ошир. Услышав женский крик о помощи, он бросился на насильника, с размаха сильно ударил его кулаком по голове и, освободив девушку из объятий негодяя, даже не посмотрев на ее лицо, негромко приказал:

— Беги, я его задержу...

Турок, разъяренный до бешенства, выхватил кинжал и, как волк на овцу, бросился на своего врага. Завязалась потасовка, Оширу удалось перехватить руку аскера с кинжалом, затем он резко дернул его на себя и подставив подножку, свалил на землю. В следующую секунду Ошир увидел, как турок, выронив кинжал, замертво упал с рассеченным лбом. Оказалось, что падая, он виском ударился о край железного чана, в котором варят кир, и сразу умер.

Придя в себя от такого нервного шока, Ошир увидел в трехстах метрах от себя, в конце улицы, трех аскеров, которые, обняв друг друга за плечи, пьяно шатаясь, шли в его сторону. Раздумывать было некогда, как ни были они пьяны, но увидев своего мертвого товарища, конечно же, решат отомстить за него, такая перспектива ничего хорошего не сулила, а потому надо было быстро уносить ноги. Но тут, уже собираясь скрыться, Ошир заметил плачущую рядом девушку и

не раздумывая, молниеносно схватил ее за руку и потянул в темный переулок:

— Бежим, сестра, здесь оставаться опасно!

— Постой минутку, не тяни так сильно, — через минуту, задыхаясь, попросила та жалобно, — у меня болит рука, просто сил нет...

Отпустив ее руку, Ошир удивленно произнес:

— Как ты оказалась в такое время одна на улице? — И взглянув на нее, ахнул от изумления. — Боже, Тозегюль, ты?..

— Ошир?! — в свою очередь удивилась измученная девушка, еле держась на ногах. В изодранном платье, с кровоточащими царапинами на руках, шее и правом плече, с распущенными волосами и смертельно испуганным взглядом, она напоминала в эту минуту сумасшедшую женщину. — Ошир? — снова повторила она, не зная, радоваться ей этой встрече с любимым или, опустив голову, бежать, унести от его взгляда свое изуродованное тело. Но когда она поняла, что опасность миновала, что ее честь и достоинство в надежных руках, она невольно успокоилась, отпустила вожжи напряжения и тихо заплакала.

Увидев состояние любимой, Ошир сам еле удержался от слез, ему захотелось прижать ее к груди, успокоить, поцеловать эти полные слез прекрасные глаза, но не решившись на такое, он лишь положил руку на ее плечо и нежно сказал:

— Ну, что ты, Цветочек, успокойся. — Потом твердо добавил: — Этот изверг Богом наказан... Еще немножко терпения, и мы выкинем этих оккупантов из нашего города.

Выплакавшись, Тозегюль успокоилась и, прикрыв лоскутом платья обнаженное плечо, разрешила Оширу проводить ее до дома. И все, больше ей встретиться с ним не удалось, и на это были причины...

Смерть аскера вызвала новую волну репрессий со стороны турецкого командования, начались повальные обыски и бесконечные аресты ни в чем не повинных людей. Масла в огонь подлила еще старая женщина, которая заявила следователю, что она в окно услышала вначале крик, потом увидела непокрытую чадрой женщину, которая дралась с аскером и, что хотя лицо ее в темноте не разглядела, но если, мол, она встретится

с ней на улице, непременно признает. Этого оказалось достаточно, чтобы арестовывать молодых женщин и издеваться над ними. Особую враждебность проявили турки к иудейскому населению города. По приказу паши они были согнаны в синагогу, и там их бы заживо сожгли, если бы не вмешательство главы мусульманского духовенства города, который недвусмысленно заявил турецкому паше, что этого делать нельзя, что мусульманство берет свое начало от иудаизма, что у тех и других одни и те же пороки, что большой грех — казнить невиновных. Лишь такое заступничество избавило иудеев города от страшной участи.

Весь период пребывания турок, а потом и деникинцев, захвата города англичанами, Оширу приходилось вести себя очень осторожно, ограничив свои передвижения от работы до дома. Интервенты всех мастей арестовывали и зверски расправлялись со всеми сколько-нибудь заметными лидерами из народа.

Тозегюль была вынуждена рассказать родителям о своих злоключениях, утаив лишь имя своего спасителя. Этого оказалось достаточно, чтобы почти год запрещать ей выходить из дома. Увидев ее состояние и испугавшись последствий этой трагедии, Милих, обычно уравновешенный человек, пришел в такое бешенство, что под угрозой жестокой расправы приказал дочери не высовывать носа за пределы ее комнаты. Так Тозегюль оказалась взаперти, но ничто не могло запретить ей любить Оширa, она ничего с собой не могла поделать.

Вот почему желание отца выдать ее за Ильягу вызвало в душе девушки яростный протест, она знала, что Ильягу не только неуч, хотя деньги отца открывали ему все ворота, но пьяница и кутила. У него было много друзей-собутыльников в разных городах, он был на дружеской ноге даже с редакторами некоторых буржуазных газет Москвы и Петрограда, весьма хорошо знаком с корпусными офицерами из Баку и Тифлиса. Уж кто-кто, а Ильягу лучше, чем кто-либо понимал, что революция наносит вред не только отцу, но и ему, его интересам, его будущему. И потому с первых же дней, независимо от пожеланий отца, яро возненавидел большевиков и вступил с ними в жестокую борьбу. В порыве гнева он иногда не мог спрятать своей ненависти, а в пьяном виде даже высказывался об этом вслух. И тогда пара пощечин отца приводила его в чувство, возвращала к

действительности и он в тревоге понимал, что секреты, о которых знал он, не должен был знать никто. Оврооом именно этого и боялся, что, не дай Бог, эти секреты станут достоянием его смертельных врагов.

Еще в 1918 г., когда большевики пришли к власти, в леса Табасарана на связь с гачагами-бандитами в ночь-полночь направлялся именно Ильягу, он обеспечивал их пищей, передавал сведения о необходимости разбойного нападения на тот или иной объект, он приложил немало усилий и загубил немало жизней. И чтобы его никто не узнал, он в такие ночи наряжался в рваную, старую, нищенскую одежду и становился неузнаваемым. Именно это его и погубило...

Два месяца назад, ранним утром, возвращаясь в город с очередного задания из лесов Джалгана, он неожиданно столкнулся лицом к лицу с бывшим рабочим отцовского рыбного промысла, Хасаном.

— О-о, Ильягу!? — удивился Хасан. — Откуда ты в такую рань и что это за шутовской костюм на тебе?

Ильягу хотел вначале накричать на бывшего отцовского слугу и, оставив того без внимания, пройти мимо, однако, подумав, воздержался:

— В селение Мамрач ходил, к нашим кунакам, — нехотя ответил он.

— О.. о...! — пошутил тогда Хасан — Опять к гачагам ходил?...

Ильягу замер от страха. «Неужели этот босяк знает о его связях с гачагами или догадывается?» — подумал он. Однако, придя в себя, по-барски, кичливо, пошел на Хасана и, взяв того за грудки, сквозь зубы прошептал:

— Ты что, собачий сын, шпионишь за мной?

— Убери свои руки! — стараясь вырваться из цепкой хватки Ильягу, сердито сказал Хасан. — Ты, я вижу, недалеко ушел от своего изверга-отца. Убери руки, тебе говорят!

— Ах, так? — Ильягу еще крепче схватил Хасана и, подставив подножку, свалил на землю.—Ты еще, как видно, и моим отцом не доволен?! Ну, тогда это тебе за отца, голодранец! — Ильягу со всей силой ударил Хасана в лицо. — А это тебе от меня! Это тебе...

— Я догадывался, — отбиваясь от Ильягу, стал кричать Хасан. — Разбой в депо неделю назад — тоже твоя работа... я тебе еще покажу...

— «Это конец! — вдруг испугавшись собственной

догадки, подумал Ильягу. — Нет, живым его оставить нельзя». И оглянувшись по сторонам, Ильягу еще сильнее вцепился в Хасана.

— Вот как? Ты еще нам покажешь?! — как сумасшедший повторял Ильягу, и в ту же секунду, одной рукой схватив Хасана за волосы, повернул его голову назад, а другой рукой вытащил из-за пояса нож и вонзил тому в грудь. — Это тебе от гачагов...

Хасан как-то дернулся, на секунду крепко схватил Ильягу за кисть руки, потом резко ослаб и упал лицом вниз.

Может быть, так никто и не узнал бы о причине гибели Хасана, если бы в зажатом кулаке убитого следователь не обнаружил часть браслета, на котором были выгравированы инициалы Ильягу. В пылу борьбы с несчастным Хасаном, который в предсмертную минуту схватил его за кисть руки и оторвал часть браслета, Ильягу не заметил потери. А потом, когда через пару часов увидел, что на руке нет браслета, его охватило беспокойство, он бросился к тому трагическому месту, стал расспрашивать очевидцев и, убедившись, что никто о браслете ничего не говорил и не знал, успокоился. Однако спокойствие это оказалось преждевременным. После семи дней следствия, где причины убийства так и остались неизвестными, революционный трибунал приговорил Ильягу к смерти. И через день приговор был приведен в исполнение.

Хотя похотливые взгляды и ухаживания Ильягу Тозегюль были не по душе, но все же смерти она ему, конечно, не желала, ибо была человеком незлобивым. Но поскольку судьба распорядилась именно таким образом, она воспряла духом и прежние мечты снова, как весенние птицы, угнездились в ее сердце. Радость вновь заискрилась в ее больших глазах, она стала наряжаться в свои лучшие платья, надеясь на чудо, на встречу и объяснение с любимым...

И вот, услышав последние слова отца, Тозегюль както непроизвольно встревожилась и осталась у чуть приоткрытой двери. Она чувствовала, что в последнее время, особенно с приходом дяди Овроома, этого коварного и злого человека, в их доме поселилась тревога. То же самое недовольство она замечала у матери, которая не раз недвусмысленно говорила мужу, что пребывание

Овроома в их доме хорошим не кончится, и что надо ему как-то намекнуть на это...

— Говоришь, дела наши неважные? — как бы продолжая начатый разговор, переспросил Овроом. — Согласен, но боюсь со временем станет еще хуже...

— Бери, пей чай, — в раздумье предложил Овроому Милих, ожидая дальнейших рассуждений свояка, — жалко, остынет...

— Ты догадываешься, почему Ошир оказался у здания ЧК? —не обращая внимания на предложение Милиха, спросил Овроом. — Мне кажется, что после разговора с Шолумом он понял, что я в городе, вот и пошел туда поделиться этим.

Услышав имя Ошира, Тозегюль еще больше насторожилась.

— Надо торопиться, промедление смерти подобно!— решительно заговорил Овроом. — Все необходимое добро надо собрать и бежать отсюда. Вот чем обернулось мое доверие к болтливому Шолуму! А Ошира...

Дальнейших слов Овроома Тозегюль услышать не удалось, однако, подавшись ближе к двери, она уловила:

— ... необходимо убрать!

— Как убрать? — не понял Милих.

— Убить! — твердо ответил Овроом.

Услышав это слово, Тозегюль чуть не потеряла сознание, однако собрав всю волю, устало облокотилась о стенку, а сердце готово было вырваться и бежать, бежать от этого злодея, который так просто, буднично говорил об убийстве. «Что же делать? — лихорадочно думала девушка, — как остановить это злодеяние? Эх, если бы не отец, я бы этим подносом так треснула его по голове...»

В бессильной ярости на Овроома, она крепко сжала свои маленькие кулачки и не могла двинуться с места. Все ее мысли, ее душа в этот момент были с Оширом, с нависшей над ним смертельной опасностью.

Словно рыба, попавшая в сеть, девушка ослабела, горло перехватили нервные спазмы. Лихорадочно работал мозг: «Что же делать? Как помочь Оширу? Выйти из дома нельзя,.. Может быть, попросить Фархада? — вдруг мелькнула у нее спасительная мысль. — — Да, да, не надо терять времени... он мне не откажет... надо послать Фархада!»

Двадцатилетний Фархад после смерти родителей уже восьмой год служил в доме Милиха. Еще совсем недавно худенький и тщедушный мальчик из сел. Хучни, хотя и был постоянно занят работой, вырос за эти годы в рослого, широкоплечего парня. Он обрабатывал участок земли, ухаживал за плодовым садом во дворе, убирал большой дом хозяина, покупал и приносил дрова, рубил их и разжигал плиту, даже продукты приходилось покупать ему. Словом, делал здесь все, что было положено делать слуге. И несмотря на то, что гнуть спину приходилось постоянно, все же ему здесь нравилось, привык: «Что же еще человеку надо, — думал он иногда, — одет, обут и не голоден, слава Богу».

На лице Фархада, под правым глазам, до самого уголка рта, заметно выделялся широкий, на целый сантиметр, шрам. Это был «подарок» Илесефа, сына Милиха. Года четыре назад, возвращаясь ночью с очередной пьянки, он ударил Фархада первой подвернувшейся под руку палкой прямо по лицу за то, что тот не сразу открыл ему ворота. Он и раньше бил его, но в эту ночь превзошел самого себя. Если бы на крик и стоны Фархада не выбежала Тозегюль, ничего не соображавший звероподобный Илесеф мог убить слугу. И потому этот шрам был для Фархада постоянным напоминанием о диком нраве барского наследника.

Фархад был не из робкого десятка, и конечно, мог за себя постоять, но тогда он на это не решился. Однако, когда пьяный Илесеф решил повторить свой опыт совсем недавно, Фархад вырвал из его рук трость и зло взглянув ему в глаза, резко поломал ее о свое колено, ибо события, которые произошли в городе, не обошли и его. С каждым днем он все больше и больше понимал, что новая власть не дает человека труда в обиду, всегда готова встать на его защиту. И потому, когда утром следующего дня он встретил во дворе хозяина, почтительно, но в то же время впервые за всю жизнь твердо, сказал ему:

— Дядя Милих, я вас очень уважаю, однако...

— Да, Фархад, что случилось?

— Ночью, вернувшись домой, Илесеф снова хотел меня избить, — договорил Фархад, — я уже не маленький и могу...

— Вот как? — удивился Милих.— Как же он, бессовестный, мог это сделать? Ну, успокойся, сынок, вы

в одной семье, как братья, а между братьями всякое бывает... Иди, сынок, делай свое дело, я устрою ему свой суд...

Милих был вне себя от ярости. «Этого еще не хватало, — подумал он возмущенно — в собственном доме бунт устроить!... Мало нам неприязни со стороны...» Он зашел в комнату сына и, увидев его, распластавшегося на постели, со слюной на губах, еще больше взбесился:

— Спишь, сукин сын? — заорал он на Илесефа и, схватив висевший на стуле ремень, сильно ударил его.— Это тебе за пьянки, это за Фархада, это за очередную дурость...

Вскочивший от ударов отца Илесеф в первые минуты не мог понять, что произошло, однако от следующего удара взвыл как побитый щенок:

— Что ты делаешь, отец? Убить меня хочешь?

— Ты еще спрашиваешь? — возмутился Милих. — Может, еще добавить? Ты за что снова хотел ударить Фархада, забыл о времени, в котором живем? Мало нам одной революции, теперь ты устраиваешь революцию в собственном доме...

Через два часа, увидев синяк под глазом Илесефа, Фархад понял, что суд состоялся...

— Да, теперь уже делать нечего, к побегу надо готовиться, — сокрушенно вздохнув, продолжал Овроом.— Надо воспользоваться тем, что некоторые сейчас на распутье, не знают, что делать, куда податься. Вот этих колеблющихся и надо прельстить деньгами, золотом, мол, получите целое состояние и, таким образом, уговорить их бежать с нами, помочь унести наше добро, чем больше, тем лучше. Хотя, если признаться, большинство из них готовы сегодня нам глотку перегрызть... Такие, как Ошир и натравливают их на нас, поэтому его надо немедленно...

— Понял, понял, — согласно ответил Милих.

Услышав ответ отца, Тозегюль догадалась, что дядя Овроом убедил его пойти на это преступление. «Этот злодей, словно вампир, пристал к отцу: «убъем да убъем»...

— Да благословенна земля Иерусалима! — повторил Милих свою заветную молитву и обратился к Овроому. — Как ты понимаешь, для такого дела понадобятся деньги, как говорится: «на что спрос, на то и цена».

Тозегюль не раз слышала неприятные разговоры о своем отце, однако не верила им, убеждая себя известной поговоркой, что, мол, «за богатством и зависть плетется». Судачили, что двадцать пять лет назад отец собственными руками придушил свою первую, довольно немолодую, но богатую жену и подстроил дело так хитро, что под суд пошел не он сам, а пожилой слуга, который и в самом деле был неравнодушен к своей хозяйке. Кроме этого, для многих в городе оставалось секретом, отчего вдруг скоропостижно скончался брат Милиха, что давало сплетницам пищу для утверждения, что это было сделано ради того, чтобы прибрать к рукам и вторую часть отцовского наследства.

Тозегюль не верила этим пересудам еще и потому, что отец отличался мирным, кротким нравом, никогда ни на кого не повышал голоса, был тише воды, ниже травы, как человек, что и цыпленка не обидит.

— Без денег такое дело не сделать, — еще раз повторил Милих, намекая свояку, что надо раскошеливаться.

«Неужели отец протянул сейчас свою большую волосатую руку за деньгами?» — ужаснулась Тозегюль своей мысли и закрыла лицо руками.

— Деньги есть, они у меня в кармане, — спокойно сказал дядя Овроом. — А исполнитель есть?

— Да, есть, не беспокойся...

— Кто же он, я должен знать о нем, — настаивал дядя Овроом. — Нам еще надо несколько дней в городе побыть, завершить кое-что...

— Повторяю, такой человек есть, — убеждал его Милих.

— Если ты думаешь, что ты уговоришь на это Шолума, то это бесполезно, — убежденно заявил Овроом, — он, хотя и поругался с братом, но на такое не пойдет, да он и не способен на это...

— Поверь мне, я все сделаю, как ты хочешь...

— Ты сам, что ли? — удивился Овроом.

— Нет, при чем здесь я?! — с обидой проговорил Милих. — Какая тебе разница: с тебя деньги, с меня — организация дела...

— Э-э, нет, — не согласился Овроом. — Я должен знать этого человека...

— Я тебе снова повторяю, что у меня есть такой

человек, мой работник, мой слуга, — убеждал его Милих.

— Фархад?

— Да, Фархад!

— Он пойдет на это? Если что не так, он, не дай Бог, нас не предаст?

— Нет, что ты! Деньги всем нужны, а ему — тем более. Недавно он просил у меня денег на женитьбу, вот тебе и деньги..,—почему-то солгал Милих. — Давай деньги, а дело я решу!

Хотя Милих и назвал Овроому имя Фархада, однако у него в мыслях было совсем другое, он преследовал свою цель. Понимал Милих, чувствовал, что не забыла Тозегюль своего детского дружка и пуще огня боялся этого...

«Нет, ждать больше нельзя, надо срочно найти Фархада», — подумала Тозегюль, но двинуться с места не могла, будто кто-то надел на ноги тяжелые оковы.

Однако, переборов себя, она быстро вышла во двор на поиски Фархада и нашла его за работой в саду. И раньше хозяйская дочь обращалась к слуге с разными поручениями, но никогда его не унижала. Мало того, относилась к нему как к члену семьи, была всегда внимательна, а когда Илесеф бывал в пьяном загуле и набрасывался на слугу, старалась, по возможности, его защитить.

Но сегодня... Фархад заметил, что хозяйская дочь бледна как полотно, очень расстроена и плачет, ей требуется помощь, он сердцем почувствовал, что произошло что-то ужасное и, бросив лопату, подбежал к ней.

— Фархад! Фархад! — всхлипывая, произносила она. — Дядя Овроом хочет, чтобы его убили и хочет, чтобы убил ты...

— Кого убить, госпожа? — ничего не понимал Фархад. — Что случилось? Клянусь могилой родителей, я ничего не понимаю...

— Ошира... — продолжая всхлипывать, говорила Тозегюль.

— Ошира? Это какого же Ошира, городского керосинщика?

— Нет, нет...

— Я что, убийца, госпожа? — еще больше удивился Фархад. — Клянусь могилой родителей, я никого не собираюсь убивать...

Тозегюль от волнения не могла устоять на ногах, силы покидали ее, и если бы не Фархад, который подхватил ее за локоть, она бы упала на землю.

— Посиди, успокойся, госпожа,—услужливо говорил Фархад, усаживая девушку на ступеньки дома. — Скажите мне, что случилось?..

— Ошира, Ошира.., — тихо говорила ослабевшая девушка.

— Ошира, брата нашего Шолума? — наконец сообразил Фархад и, заметив согласный кивок девушки, добавил. — Клянусь могилой родителей, я его очень хорошо знаю...

— Его хотят убить... — застонала Тозегюль.

— Не волнуйся, госпожа, у Ошира много друзей, слава Богу, сегодня у рабочего человека много друзей...

Потом, взглянув в сторону хозяйского дома, откуда не раздавалось ни звука, словно все в нем затаились, тихо добавил:

— Правда, у него и врагов немало.

Окно хозяйской комнаты было наглухо закрыто, там был свой, тайный от чужих глаз, другой мир...

— Дядя Овроом хочет убить Ошира, — уже совсем придя в себя, говорила Тозегюль. — За то, что пошел против него, против его желаний...

— Я сегодня мельком видел его внутри дома... Да, от такого можно всего ожидать, зверем смотрит, — взглянув в сторону дома, сказал Фархад. — Клянусь могилой родителей, не обижайтесь, госпожа, если скажу, что Ошир правильно говорит, что все состояние богачей нашими руками создается...

— Теперь понял, о ком я говорю? — снова спросила Тозегюль.

— Не беспокойтесь, госпожа, для вас я все, что хотите, сделаю, сейчас же все передам Оширу, — успокоил девушку Фархад и выбежал со двора.

ГЛАВА 4

Овроом, опустив голову, в глубокой задумчивости сидел перед следователем. «Да, по-дурацки все получилось, — размышлял он над своим положением, — напрасно доверился и поверил Милиху, не стоило... — Он нервно заскрежетал зубами и сжал кулаки. — Случи-

лось то, чего я больше всего боялся. Допросы, тюрьма, и к стенке... Как же это случилось, как провалился Фархад, кто выдал? Если он не выдержит, заговорит, то нам всем хана. Эх, Милих, Милих... судя по всему, он еще, слава Богу, на свободе и у следователя что-то не клеится, ходит, словно слепой, и натыкается на препятствия... Значит, надо набраться терпения и ждать. Если Милих еще на свободе, то, надо думать, что он, хотя бы ради своего спасения, будет стараться мне помочь, обязан помочь, если не дурак...»

Следователь, молодой человек, выглядел старше своих лет. Худощавый, с широким, крутым лбом, с уставшими, но выразительными серыми глазами, он смотрел сейчас на арестанта и думал над тем, как продолжить допрос. Взять-то Нахшиева они взяли, не стали рисковать жизнью своего молодого друга, но доказательств непосредственной вины арестованного было мало. Правда, были факты его контрреволюционной деятельности за последние два года, были показания других арестованных из национальных комитетов, и все же от того, как он построит допрос, зависело много.

В свое время ему не раз самому приходилось бывать в положении арестанта. Еще юношей, за распространение прокламаций в Петрограде, за активное участие в революционных событиях имел приводы в полицейский участок, подвергался допросам и суду. Потом, когда на молодую республику Советов ополчилась свора Антанты, он возглавил один из конных отрядов особого назначения, много раз принимал участие в схватках с белогвардейцами, а когда вражеская пуля сразила его в одном из боев, врачи чудом спасли его от смерти и категорически запретили верховую езду и участие в боевых действиях — от сильных болей в позвоночнике и головокружений он, в минуты сильных напряжений, терял сознание. Так оказался он в Дербенте и по поручению большевистского комитета города стал следователем ЧК.

— Вы стараетесь меня убедить, что в росте контрреволюции виноваты, мол, мы сами. Так я вас понял?

— Да, — глядя исподлобья, ответил Овроом.

— Интересно, что вы имеете в виду?

— Я имею в виду, что деловой человек или хозяин лоялен к любой власти. При нормальных взаимоотношениях это выгодно и власти, и ему. Что же происходит

нынче у нас? Без всякого основания и права Советская власть отбирает или, как у вас называют, экспроприирует богатство хозяина. Вот это и называется — вызывать огонь на себя. В частности, речь идет обо мне. Я что, извините, украл или кого-то ограбил?

«Да, — подумал следователь, — он не так прост, как казалось на первый взгляд. Его голыми руками не возьмешь...»

— Это не ваше богатство, а народное, он и забрал его у вас...

— Она, а не он, наверное?

— На что вы намекаете? — не понял следователь.

— Я имею в виду власть, а не народ...

— Нет, именно от его имени!

— Вы в этом убеждены? — мягко спросил Овроом, так, чтобы грубым словом не навлечь на себя гнев следователя. — Вас неправильно информировали, ввели в заблуждение. У моего отца было семеро сыновей, все мы — крестьяне и вот этими руками (хотя руки Овроома, которые он показал следователю, давно не знали физического труда, все же изнеженными их назвать было нельзя) мы выращивали марену, виноград и плодовые. Никто нам на блюдечке этого богатства не дал, мы его своим горбом, своим потом заработали. И теперь, когда оно уже накоплено, нас всего этого лишают. Скажите на милость, на каком основании? Если я совершил преступление, то, пожалуйста, есть суд, пусть он и решит... — «В любом случае такой разговор поможет мне тянуть время», — подумал Овроом, а вслух продолжал: — Но так, без суда и следствия, это, мягко говоря, похоже на разбой. Вот вы, хотя и молодой человек, но видно повидали в жизни немало. Скажите, при старой власти могли без суда отобрать у гражданина то, что ему принадлежало?

— Ах, вот вы о чем, о справедливости, значит? — взбодрился следователь. — Вы даже не знаете, как вам повезло, ведь зная о ваших, мягко говоря, деяниях, с вами беседуют, даже позволяют высказывать недовольство, а меня, да было бы вам известно, просто били, били нещадно, хотя было мне в ту пору 18 лет. Вот вам и справедливость любимой вами власти!

— Ну, это исключение из правил, — обронил Овроом.

— Оставим этот никчемный разговор. В прошлый раз

вы утверждали, что собирались покинуть город и уехать в другую страну, — продолжал следователь допрос Овроома. — Если это так, то почему вы остались и решили убить своего племянника?

— Это неправда, — деланно возмутился Овроом,— я никого не собирался убивать, тем более, своего племянника...

— Я еще раз предупреждаю вас, что чистосердечное признание облегчит Вашу участь, — предупредил следователь.

— Мне кажется, меня кто-то оговорил, — осторожно заметил арестант. — Неужели я похож на убийцу?

— Вот как? — усмехнулся следователь. — Допустим, что вы правы. Однако совсем недавно нам стало известно, что Ваш сын-убийца в свое время осуществлял связь с лесными бандитами, которые, благодаря его данным, разрушали наши предприятия и грабили народ. — Следователь сделал паузу и внимательно посмотрел на арестованного, но тот даже не моргнул. — Он, что, это делал в тайне от вас? Далее. После его расстрела, вы вместо того, чтобы по адату сидеть и оплакивать сына, наоборот, спешно и во всеуслышание заявляете, что собираетесь покинуть город. Что может быть причиной такого поспешного бегства? Либо боязнь скорого разоблачения, либо — перегруппировка сил для продолжения борьбы. Последующие события служат тому подтверждением. Тот же Овроом Нахшиев, то бишь, вы, вовсе не скрывается, а намеревается убить своего племянника — комсомольского вожака, своего идейного врага. Именно так бы все и произошло, если бы мы не предотвратили преступление. Что ответите на все это?

— Это все предположения, а не факты, — заметил Овроом, однако от дальнейших замечаний воздержался. «Надо ко всему быть готовым», — подумал он.

— Хорошо, от дальнейшего изложения фактов пока воздержимся, — встал следователь, закрыв дело с документами. — Я дам вам некоторое время на раздумье. Если эти раздумья не приведут вас к правильному пониманию обстановки, к правдивому признанию своей вины, то это сделаем за вас мы и тогда вы сами усугубите свое положение. А теперь идите, — следователь вызвал конвоира и Овроома увели в камеру.

Одиночная камера. Времени на раздумья хоть отбавляй. «Если ему известно больше, — снова и снова думал Овроом, — то почему он тянет, не предъявляет обвинение? Чего ждет? Новых фактов? Хочет связать оборванные концы и собрать все вместе? А если блефует, пугает, нагоняет страх, чтобы я сам, на блюдечке?... Ишь чего захотел! Не выйдет, не на того нарвался... Но ведь могут прижать, заставить, потом выведут и расстреляют... — Овроом, вздохнув, устало сел на табурет и поднял взгляд к маленькому оконцу у самого потолка. — Нет, отсюда живым не выбраться... Ну, ну, успокойся, возьми себя в руки и не распускай нюни. Думай, думай, как выбраться, ищи выход... — встав на табурет, Овроом ухватился за оконную решетку и с силой потянул на себя. — Нет, из этой камеры выход только через железную дверь...»

В то время, когда Овроом в отчаянии искал выход из тупика, в который попал, и готов был взвыть от безысходности, в камеру через оконце, словно заблудший птенчик, влетел маленький бумажный комок. Овроом сперва опешил, опасливо взглянул в сторону двери, за которой только что были слышны шаги часового, затем приблизился к глазку и заглянул в него — нет, часового поблизости не было. Он быстро нагнулся, схватил бумажку, прижался к стене так, чтобы не оказаться в зоне видимости часового и стал читать: «Не беспокойся, возьми себя в руки. Завтра ночью мы тебя освободим». Овроом положил бумажку в рот и съел.

У Ошира сегодня был день отдыха. И потому он, в первую очередь, решил заняться ремонтом вконец прохудившихся ботинок, ибо носить их стало просто невозможно, почти до лодыжек промокали ноги. Взяв сапожную иглу и нитки (в армии ему не раз приходилось самому чинить свою обувь, а заодно и обувь товарищей, и эти сапожные принадлежности остались у него с тех времен), Ошир тщательно и аккуратно пришил оторвавшуюся от верхней, заготовочной части обуви, подошву, положил пару заплат и прибил набойку к каблукам. Через часа полтора, закончив починку, он осмотрел ботинки со всех сторон и остался доволен своей работой. «Хотя и не так красиво, как сделал бы настоящий сапожник, — подумал он, — но носить все же можно, ноги не промочу».

Надев ботинки, он собрался было выйти погулять, как вдруг у порога появился Фархад.

— Заходи, заходи, дружище, — радостно приветствовал его Ошир, — я тебя давно дожидаюсь, чуть было не ушел...

— Ты же знаешь, дорогой Ошир, — почтительно ответил Фархад, — я слуга, а мой хозяин, пока я все дела по дому не закончу, шагу никуда не дает сделать. Клянусь могилой родителей, даже к воротам не разрешает подойти...

— О чем ты говоришь? — удивился Ошир. — Все, дружище, времена хозяев уже ушли, революция навсегда убрала из нашего языка такие слова как «бек» и «хан». Теперь господами становятся те, кто работает на производстве, кто свой труд отдает на пользу народа. Так что оставь своего «хозяина» и иди к нам на работу в депо. Поработай, года через три-четыре и тебе такую, как у меня комнатку дадут, а нет, так живи у меня. Сбрось хозяйские оковы, стань свободным, независимым, и никто теперь не посмеет на тебя крикнуть или обидеть.

Ошир с воодушевлением стал ему рассказывать о работе в депо и своих товарищах.

— Клянусь могилой родителей, я с 12 лет господский слуга, вечно в трудах, вечно с согнутой спиной, а иногда и битым бывал, — Фархад непроизвольно провел ладонью по шраму на лице. — И, признаться, не знаю, сумею ли я в депо работать, ведь я никакой специальности не обучен, — он невесело улыбнулся и развел руками.

— Не трусь, брат, — улыбнулся ему Ошир. — Главное, что ты вообще умеешь работать, не барчук, не белоручка, не лентяй, в конце концов. А специальности научим. Скажем, вначале начнешь с осмотрщика вагонов, а вечерами будешь ходить на курсы, научишься читать и писать, я ведь тоже работаю и учусь... Правда, будет нелегко, с непривычки сначала очень трудно, но ты ведь, я думаю, не испугаешься...?

— Клянусь могилой роди... — он как-то оборвал эту заученную фразу и добавил: — Спасибо дорогой, я никогда тебя не подведу, очень буду стараться, умру, но не подведу!

— Вот и молодец! — воскликнул Ошир. — Седлай своего коня, дружище, и в путь, дорога твоя открыта!

«Удивительный человек! — радостно улыбнувшись, подумал Фархад об Ошире. — У самого за душой ничего нет, даже обувь хуже моей, вся в заплатах, а готов отдать другому душу и сердце, особенно таким как сам, людям труда...»

— Ошир, извини меня, глупого, — прервав ход своих мыслей, неожиданно спросил Фархад, — много раз слышал слово «коммунист»... Ты коммунист?

— Нет, брат, я пока комсомолец. Мы, комсомольцы, помогаем коммунистам в выполнении поставленных ими задач. Среди нас есть люди всех национальностей: русские, азербайджанцы, армяне, евреи и другие, все мы едины в достижении цели, как братья одной семьи. Руководитель комсомольцев Семен Малкин — один из лучших сыновей города, наша гордость. С ним нам черт не страшен. После моего возвращения с войны, он все свое свободное время отдавал мне, учил грамоте и письму на русском языке, приносил интересные книги по истории и различным наукам. Мы вместе, плечо к плечу, в период борьбы за советскую власть с оружием в руках воевали с бандами Деникина, гнали вон с родной земли непрошенных турок. С такими друзьями можно горы своротить... Поэтому, дружище, бросай своего «хозяина» и иди к нам.

— А Милих, мой хозяин, ничего со мной не сделает?

— Нет, конечно, — улыбнулся Ошир, — ничего не бойся. Ты оглянись кругом, все изменилось, пришла новая власть, власть трудящихся. Прежние господа не могут, как прежде, заставить работать на них таких, как ты и я, потому что этого не хотим мы. Понял? Э-х, может ты, привыкнув к куску хлеба хозяина, боишься, что сам своим трудом не заработаешь себе этот хлеб?

— Я? Да я и десятерых прокормлю! Я никогда труда не боялся...

— В чем же тогда дело? Поэтому я и говорю тебе, бросай «хозяина» и становись в наши ряды, — улыбаясь, сказал ему Ошир.

— Клянусь могилой родителей, от твоих слов у меня прямо крылья растут, — обрадованно заявил Фархад. Потом, немного подумав, словно вспомнив что-то, добавил: — А тебе известно, чем сейчас занимается сын нашего хозяина, Илесеф?

Двадцати пяти лет от роду, Илесеф не горел желанием шагать в ногу со временем, наоборот, делал все,

чтобы остановить это время, вставить палки в его колеса. Особенно это желание возросло у него после расстрела Ильягу, двоюродного брата, с которым его связывали не только родственные чувства, но и общая ненависть к большевикам, к их власти. Однако, благодаря отцу, Илесеф свои чувства сдерживал и так же, как отец, старался творить зло, осуществлять поставленную цель не нахрапом, а исподтишка, но основательно, как бы внося порчу в саму основу новой власти. С этой целью, под видом борьбы с неграмотностью и повышением культуры народа, он, по указанию национального комитета «Сион», возглавил группу молодых «просветителей», в основном из богатых семей, которые вместо обучения и просвещения народа, сеяли в умах молодежи националистические идеи, противопоставляли себя комсомольцам, пропагандировали мысль не об объединении молодежи города, а разобщении их на почве религиозных различий. «Просветители» недвусмысленно насмехались над идеей классовой солидарности, противопоставляя ей сионистскую, в основе которой лежала мысль о том, что «и богатые, и бедные — дети одного народа».

Ненависть Илесефа к новой власти росла еще и потому, что под угрозой оказалось богатство отца, с которым он связывал свое будущее, свое благополучие и счастье. Иногда, забываясь, он не скрывал своего превосходства над неграмотной частью молодежи, а порой прямо насмехался над ними. Иудейской части города была известна нашумевшая история о том, как Илесеф, соблазнив Тейло — девушку из бедной семьи, обманул ее и, когда та забеременела, высмеял и бросил на произвол судьбы. В результате обесчещенная и опозоренная девушка наложила на себе руки. И теперь Илесеф, который в глазах большинства молодежи города выглядел человеком без чести и совести, собрав вокруг себя сыновей богатых родителей, старался показать окружающим, что они — активные борцы с неграмотностью, воистину просветители народа.

В своей семье Илесеф больше всех любил отца, старался ему подражать и помогать. Именно отец был вдохновителем идеи «просветительства», в основе которой лежала бомба замедленного действия, которая в нужный момент должна была взорваться, нанося новой власти смертельный удар. И Илесеф понимал это, а по-

тому был всей душой с отцом. Конечно, Илесеф любил и мать, однако терпеть не мог свою сестру Тозегюль за то, что та еще с детства не чуралась бедных, а наоборот, самыми близкими ее друзьями и подругами были дети из бедных и трудолюбивых семей. Илесефу не нравилось, когда сестра с особым уважением относилась к слугам, в том числе и Фархаду, в собственном доме. была к ним справедлива и внимательна, в отличие от нее, он их даже за людей не считал.

Вот почему, когда Фархад назвал при разговоре имя Илесефа, Оширу в самом деле захотелось узнать, чем в данный момент тот занят, что у него на уме.

— Нет, честно говоря, не знаю, — задумчиво ответил Ошир, — но очень хотел бы знать...

— Илесеф в эти дни не знает покоя, весь в трудах, то сам куда-то уходит, то к нему приходят его дружки, о чем-то тихо говорят, шушукаются, мне кажется, они что-то затевают...

— Тебе так кажется?

— Клянусь могилой родителей, да, — убежденно ответил Фархад. — Но меня он близко к себе не подпускает, даже за человека не считает... Может быть, в этом деле она поможет?

— Кто? — не понял Ошир.

— Тозегюль-ханум, сестра Илесефа... Правда, я ее уже второй день не вижу.

— Да, ты прав, — задумчиво ответил Ошир. — Было бы хорошо с ней встретиться...

— Ты тоже так считаешь? — обрадовался Фархад.— Клянусь могилой родителей, она хороший человек, чистая, добрая. Порой кажется, что она вообще не из этой семьи...

— Больше чем уверен, что Илесеф своими тайнами с ней не делится,— задумчиво проговорил Ошир, — однако повидаться с ней и поговорить не помешало бы... Ты помнишь, как Тозегюль через тебя тогда меня известила? Видно, что она не всегда с ними согласна...

— Да, клянусь могилой родителей, ты прав, — убежденно заговорил Фархад. — Я знаю, что она во многом не согласна с Илесефом, ей не нравятся его выходки. И кроме того, хотя она и хозяйская дочь, можно сказать, госпожа, но труда не боится, многое дома делает сама, а брат пьяница и бездельник.

— Ты думаешь, она поможет? — не столько спросил, сколько полуутвердительно сказал Ошир.

— Конечно, поможет, — согласился Фархад.

— Да, все спросить тебя хочу, — вспомнив о чем-то, сказал Ошир.— в эти дни Милих дома ничего об Овроме не говорит, не вспоминает о нем?

— Нет, все молчат, будто Овроома и не было, — ответил Фархад. — Да и самого Милиха дома нет, рано утром куда-то ушел... Сегодня вообще, кроме нашей Тозегюль-ханум, дома никого нет. Вот почему я и сумел выбраться из дома, однако...

Тем временем Ошир думал свою думу. «Дядя Овроом сидит в кутузке, Милих с раннего утра в бегах, Илесеф что-то задумал... Да, да, что-то затевается. Надо срочно повидать Тозегюль».

— Подожди, Фархад, не убегай, — попросил Ошир.

— Клянусь могилой родителей, — стыдливо, опустив голову, сказал Фархад, — если Илесеф, вернувшись, не найдет меня, снова бросится с кулаками...

— Не бойся ни Илесефа, ни его отца, — твердо ответил Ошир, — и вообще никого не бойся, мы тебя всегда поддержим, это, во-первых. Во-вторых, после того, как ты отнесешь туда записочку, которую я тебе сейчас передам для Тозегюль, забери свои вещи и приходи жить ко мне. Теперь ты должен быть в наших рядах. — Ошир быстро написал записку, — Согласен?

— Конечно, согласен, — обрадовался Фархад, — я мигом исполню.

Забрав записку, Фархад в следующую секунду помчался в сторону дома своего уже бывшего хозяина.

* * *

Записка Ошира очень обрадовала Тозегюль. Она хотела тут же откликнуться на его зов, но не знала, как улизнуть из дома. «Что-то Илесеф сегодня сидит дома, будто его кто-то приклеил к нему, — думала она возмущенно, — как только он уйдет, сразу убегу и я...»

Охваченная думами после прочтения записки любимого, она не заметила как рядом с ней оказался Илесеф. Тозегюль сразу спрятала бумажку, однако Илесефу удалось прочитать в ней слово: «Ошир».

— Ну-ка, дай мне эту бумажку! — строго потребовал он у сестры.

— Она не твоя, — возмутилась Тозегюль.

— Сейчас же отдай ее мне! — снова потребовал Илесеф и направился к ней.

— Не дам! — пятясь назад, вскричала Тозегюль.— Не смей мне грозить! — Она встала у противоположной стороны стола, что стоял в центре комнаты. Поняв, что Тозегюль не только не подчиняется ему, но еще старается убежать, Илесеф еще больше взбесился. Он бросил в нее сперва вазочку, которая стояла на столе, потом расписные тарелки из шкафа, все больше распаляясь и громко крича.

— Отдай сейчас же, иначе придушу!

На крики Илесефа в комнату вбежал Фархад. Заметив, как взбешенный Илесеф гонится за Тозегюль и, четко оценив ситуацию, он, будто невзначай, преградил дорогу Илесефу и нагнулся, чтобы собрать черепки посуды.

— Эй, скотина, уберись с моей дороги! — вскричал Илесеф и сильно пнул Фархада ногой. — А-а, идиот, надо было тебе сейчас появиться... — Илесеф с силой швырнул стул, отчего тот разбился на части.

Потом, устав от погони, вышел в коридор и сел на ступеньки.

— Голову тебе оторву, подожди ты, — пригрозил он Тозегюль. — Ты, значит, еще и послания получаешь от этого комсомольского выскочки?! Мало того, что этот негодяй посадил дядю Овроома, теперь, значит, нам в собственном доме покоя не дает... Вот оказывается что, наш враг у нас под боком...

Выбежав во двор, Тозегюль спряталась у ворот. «Если побежит за мной, — решила она мысленно, — выбегу на улицу...»

Тем временем Фархад, собрав осколки посуды, вышел в коридор и натолкнулся на Илесефа.

— Эй, босяк, ну-ка иди сюда, — потребовал Илесеф.

Фархад, обрадованный тем, что Тозегюль удалось убежать, подошел поближе.

— Кто сюда приходил? — возмущенно спросил Илесеф.

— Никто, — был ответ.

— Ты Ошира видел здесь? — снова спросил Илесеф.

— Кто такой Ошир? — притворно удивился Фархад. — Я никакого Ошира не знаю.

— Что же ты знаешь, собачий сын! А что сегодня делал, ты помнишь? — недовольный, вскричал Илесеф.

— Да, конечно, помню, — невозмутимо ответил Фархад, — утром я почистил печку от золы, разжег огень, вскипятил чайник. Затем отнес в синагогу четыре курицы, которые вчера купил на базаре, дал раввину их зарезать, принес домой и почистил. Потом пошел к «Шихсалаху», набрал и принес воды, убрал двор, наколол дров...

— Да замолчи ты, скотина! — вскричал возмущенный Илесеф. — Даже этот босяк разговорился, хитрец поганый! Ты лучше скажи мне, кто принес и передал Тозегюль записку? Если ты все время был дома, ты не мог этого не заметить...

— Какую записку?.. Я ничего и никого не видел,— выбросив осколки в мусорное ведро, невозмутимо ответил Фархад.

Возмущенный Илесеф, поняв тщетность попыток узнать тайну сестры, схватил каталку, которой раскатывают тесто для хинкала, и словно зверь кинулся на Фархада:

— Ты что же, собачий сын, будучи в моем доме слугой, еще смеешь смеяться надо мной?..

Но не успел Илесеф даже поднять каталку, как Фархад молниеносно схватил его за руку, вывернул ее и, с ненавистью взглянув Илесефу в глаза, твердо заявил:

— Хватит! Я долго терпел, но ты, валлах, хуже зверя! — он отобрал у Илесефа каталку. — Ты скажи спасибо, что у меня есть еще терпение и я этой же каталкой не разбил тебе голову! С двенадцати лет я, не разгибая спины, не зная ни дня ни ночи, за такими, как ты, чищу и убираю нечистоты, и вместо благодарности, за кусок хлеба, постоянно получаю тумаки и оскорбления... Ты посмотри на себя, разве ты человек? Да, клянусь могилой родителей, ты даже хуже зверя! Я долго терпел и тумаки, и пощечины, а след от твоего прикосновения у меня до сих пор на лице, но теперь — все!
И провались ты вместе со своим домом!...

Сказав все это, Фархад схватил мешочек со своими вещами и твердо, как человек, принявший решение, направился к воротам.

Илесеф вначале остолбенел, словно человек, у которого пошла кругом голова, затем бессмысленно взгля-

нул на подошедшую Тозегюль, сел на ступеньку и, будто сам с собою, тихо проговорил:

— Ты подожди, сволочь, я тебе покажу, Ошир! Ты думаешь, что арестовав дядю Овроома, ты уже победил? Не-е-ет! Война с тобой у меня впереди, я еще последнего слова не сказал...

И в тот момент, когда Илесеф пробормотал свою угрозу, в дом, запыхавшись, вошла Сироти, его мать.

— Илесеф, что произошло, сынок? Ты что, опять побил Фархада? Ну что ты пристал к этому несчастному? Я никогда его таким не видела, он даже не посмотрел в мою сторону, ушел, словно меня и не было...

— Схватив каталку, он снова хотел избить Фархада, — вмешалась в разговор Тозегюль, — он и меня чуть не избил...

— Тебя? — удивилась мать, с тревогой взглянув на Илесефа. — Что с тобой стало, сынок? Ты что, голову потерял? Если тебе тревог и несчастий в доме недостаточно, ты решил его вообще разрушить?...

— Ее не избить, нет, за то, что она сделала, ее убить мало! — сердито, встав со своего места, заявил Илесеф.

— Что она сделала? — испугалась Сироти. — Что же здесь произошло, может, все-таки скажете?

— Что ты меня спрашиваешь? — с обидой спросил Илесеф. — Ты лучше свою любимую дочь спроси. Пусть скажет, что ее связывает с этим негодяем, Оширом? Какую записку она от него получила?

— Записку? — еще больше удивилась Сироти, взглянув на дочь.

— Не верь, мамочка, — обняв мать, заговорила Тозегюль, — он врет, меня ничто не связывает с Оширом. Вот, я прочитаю тебе эту записку: «Тозегюль, много времени прошло, как мы виделись в последний раз.... Можем ли мы встретиться?» Вот и вся записка. Что здесь такого? Если, мамочка, ты не позволишь, я даже ответа не дам ему...

Но когда Тозегюль обещала «даже ответа не дать» Оширу, она говорила неправду, ибо ее сердце и душа были с ним, она только и мечтала о встрече.

— Кто же принес эту записку? — строго спросила Сироти. — Не сам же Ошир?

— Я и сама не знаю, — опустив голову, ответила Тозегюль, — я нашла ее у ворот. Мне кажется, что

Ошир постеснялся зайти в дом, вот и забросил ее через забор...

— Да, да, ври побольше, лгунья! — взбесившись, вмешался Илесеф. — Такой уж он «стеснительный», душегуб! Видите ли, по следам Лейли ходит влюбленный Меджнун! Но скажи мне, дура, почему он возгорелся любовью именно сейчас, когда арестовали Овроома, когда над нашим домом нависла смертельная угроза? Почему у него именно сейчас появилось желание встретиться с тобой?

— Ну и что из того, что мы встретимся? — смело заявила Тозегюль. — Спасти мою жизнь, подставив под угрозу собственную, можно, избавить меня от позора и насилия можно, а встретиться — нет? Мы с детства знаем друг друга. Я не говорила раньше, но теперь не скрою, мама, что в ту ночь, когда я пришла домой вся истерзанная и полуживая, меня от рук разбойника-турка спас именно Ошир, а мой братец, вместо того, чтобы проводить меня вечером к портнихе и провести обратно домой, пошел пьянствовать!

— Замолчи сейчас же, иначе... — заорал на нее Илесеф.

— Подожди, сынок, чего кипятиться, Ошир нам тоже не чужой, здесь ничего особенного нет, — смягчилась Сироти, обращаясь к сыну, — о чем ты говоришь, с каких это пор Ошир и Шолум стали нашими врагами?

— Э-эх, да что тебе известно? — махнув рукой, с обидой произнес Илесеф.—Не-е-ет! Я этого так не оставлю, здесь обязательно кроется какая-то злая тайна. Мало того, что он посадил дядю Овроома, он, этот змееныш, хочет нас еще больше укусить... Не будет этого, я не позволю!

Однако ни мать, ни дочь последних слов Илесефа не слышали. Обнявшись, они оставили возмущенного Илесефа в коридоре и вошли в комнату. Сироти не раз была свидетельницей лжи и обмана сына, его неудержной дерзости и брани, и потому сейчас она не поверила Илесефу и оставила его объяснения без внимания.

Однако в тот момент, когда Илесеф все еще бушевал и его крики были слышны даже вне дома, во двор в сопровождении незнакомого мужчины вошел Милих. Илесеф, заметив озабоченность отца, сразу умолк.

— Так ты уверен, что можно помочь? — закрыв за собой ворота, спросил Милих своего гостя.

— Я же сказал, что мы нашли выход, — ответил гость, сопровождая хозяина в комнату,—я и раньше бывал там, знаю все досконально...

— Очень хорошо. Садись, отдохнем, — пригласил Милих гостя за стол. — Имей в виду, если эту операцию до конца не решим, погорим мы все, попадем в ЧК...

— Конечно, знаю и понимаю, — согласно сказал гость, — но мы все взвесили и обдумали, осечки быть не должно. В конце концов, мы себе не враги, мы тоже не хотим попасть в руки этих живодеров...

— Дело не только в спасении Овроома, — задумчиво заметил Милих.— Все три национальных комитета города заинтересованы в этом, собрали большие деньги, ибо оставлять Овроома в руках чекистов крайне опасно, он много знает, очень много...

— Мы нашли нужного человека, правда, пришлось долго попотеть, дана огромная сумма, чтобы получить, наконец, его согласие...

«Да, да — ухмыльнулся про себя Милих, — знаю, что большая часть этих денег попала в твои карманы, иначе ты не стал бы так «долго потеть»... Однако вслух сказал совсем другое:

— Я надеюсь, что ты понимаешь, что люди ради дела не остановились ни перед какими расходами, поэтому все должно быть сделано аккуратно. Овроома надо вытащить любой ценой, живому ему там не место. Понятно? Я поручился за тебя, так что не подведи...

— Хм... — понятливо кашлянул гость. — Ваши деньги, наше дело и наша жизнь... Если бы мы не были уверены, поверь, тоже не стали бы подставлять голову под топор...

— Вот и хорошо, — удовлетворенно ответил Милих. — Теперь неторопливо, в деталях расскажи мне, как вы все это собираетесь организовать...

— Пожалуйста, я как раз и хотел это сделать, — ответил гость. — Если ты помнишь, у ЧК, кроме самого здания, есть еще и двор, который с трех сторон окружает забор. Одна из стен забора — общая с соседом. Вспомнил?

— Да, это я помню.

— Теперь слушай дальше... Ты, конечно, понимаешь, что со стороны улицы, где постоянно ходят люди, во двор ЧК попасть практически невозможно, слишком рис-

кованно. Значит, остается общий забор с соседом. Сосед — человек крайне трусливый, хотя, бесспорно, предан нам. Сначала все наши разговоры и уговоры были безрезультатными, но, наконец, когда я предложил ему большую сумму, он дрогнул и после твердых обещаний, что ни при каких обстоятельствах его имя нигде не будет фигурировать, сдался. Есть договоренность, что он разрешит мне и моему товарищу попасть во двор ЧК через его забор...

— Только двоим? — удивился Милих. — Ты что, с ума сошел? Ведь во дворе ЧК обязательно будет хотя бы один часовой, и когда вы будете перебираться через забор, он вас тут же прихлопнет. Боже мой, какой позор... — схватился за голову Милих.

— Да подожди ты впадать в панику! — успокоил Милиха гость. — Потерпи и дослушай до конца... Я ведь тебе еще самого главного не сказал. У нас там...— гость пригнулся ближе к хозяину и тихо добавил: — В ЧК есть наш человек, тоже мусаватист, заброшен нами с первых дней организации ЧК...

— Вот как? — облегченно произнес Милих. — Выходит...

— Теперь дошло?

— И этот человек завтра ночью будет там?

— Да, мы так договорились, много раз обсудили время смены часовых внутри двора. Ровно в десять ночи он выйдет во двор...

— Почему в десять?

— Да, подожди ты, нетерпеливый! — возмутился гость. — Прямо не знаю, как ты девять месяцев в утробе матери выдержал? Дело в том, что смена часовых во дворе происходит в девять часов тридцать минут, затем в 11 часов, и так через каждые полтора часа, поэтому для освобождения арестанта у нас всего один час: с десяти до одиннадцати. Кроме того, тебе должно быть известно, что попасть внутрь здания ЧК практически невозможно, ибо там слишком много красноармейцев, ко всему еще к дверям Овроома приставлен специальный часовой, и потому, чтобы освободить арестанта через здание нам и десяти человек не хватит...

— А как же тогда быть? — снова удивился Милих.

— Поэтому наш человек, будто по нужде, ровно в десять выйдет во двор, приблизится к часовому и неожиданно, без шума его убьет, ибо тот и не заподозрит

своего в намерении напасть. Потом он, сразу же как ни в чем не бывало, вернется в здание, а мы переберемся во двор ЧК...

— Постой, постой, — снова не удержался Милих,— если вы в здание ЧК войти не сможете, как же спасете Овроома?

— И об этом сейчас скажу. Если ты помнишь, еще когда это здание принадлежало князю Абдуллаеву, ты, наверное, тогда не раз там бывал, так вот, прямо у соседского забора был туалет, а сейчас там камера Овроома.

— Ну и что же, стена есть стена... — недовольно заявил Милих.

— Нет, год назад дверь того туалета была заложена камнями на глиняном растворе, я это знаю, потому что работу эту делали мои люди. Поэтому, не теряя времени, возьму заранее прихваченный лом и быстро постараюсь выбить три-четыре камня. Из образовавшегося проема мы вытащим Овроома, потом вновь переберемся через забор соседа и обеспечим ему свободу.

— И это можно сделать без шума? — недоверчиво спросил Милих. — Ты уверен в этом?

— Да, я в таких делах привычный, — самодовольно ухмыльнулся гость. — Не беспокойся. И после того, как мы с Овроомом будем уже вне опасности, мой товарищ с канистрой керосина влезет на крышу здания ЧК и, совершив поджог, уйдет таким же путем...

— Если ты считаешь, что операция по спасению Овроома пройдет успешно, — все еще не совсем до конца поняв задуманное, спросил Милих, — зачем же еще рисковать с поджогом? Оправдан ли этот риск?

— Да, оправдан, ибо это одно из звеньев всей цепи. Дело в том, что с начала до конца операции пройдет около часа, то есть придет время новой смены часовых. Первое, что бросится в глаза, это мертвый часовой, второе — пожар. Чекисты сперва даже не догадаются, что все это связано с Овроомом, ибо внутрь здания никто не заходил, они бросятся тушить пожар и искать убийцу часового. И к тому часу, когда откроется исчезновение Овроома, у него будет достаточно времени уйти далеко от города. — Гость ненадолго задумался, а потом, прямо взглянув на хозяина дома, добавил: — Я понимаю, что жизнь не всегда можно спланировать, она порой может подкинуть всякие сюрпризы, как гово-

рится, от слова до дела большая дорога, поэтому я не исключаю возможную неожиданность и, если такое произойдет, мы предусмотрели еще один вариант...

— Какой? — деланно удивившись, спросил Милих.

— То, о чем ты заметил вскользь, нами не оставлено без внимания. В случае неудачи мы Овроома уберем...

— Я надеюсь, что до этого дело не дойдет, — сделав вид, что это его очень расстроит, сказал Милих.

— И мы так думаем, — ответил гость, вставая, — ну, мне пора...

— Куда? Подожди, пообедаем.

— Нет, нет, спасибо, — сказал гость, — мне пора уходить, надо кое-что еще довести до ума.

— Ну что ж, да поможет вам Аллах!

Милих понимал, что оставлять Овроома в ЧК крайне опасно, эту тревогу разделяли с ним руководители мусаватистов, дашнаков и «Сиона». Все три дня, что Овроом был там, у них тряслись поджилки, ибо они хорошо знали об эгоизме и нетерпеливости Овроома, понимали, что когда Овроом почувствует опасность для своей жизни, тут же потянет за собой всю цепочку, никого не пожалеет. Больше всех думал и старался Милих, ибо угроза нависла не только над ним, но и над всей его семьей...

Увидев состояние отца, его крайнюю задумчивость, Тозегюль успокоилась, страх оставил ее. «Сейчас отцу не до этой записки, — думала она. — Проводив гостя, почему-то опять ушел в свою комнату, и по всему видать, так скоро выходить не собирается. Да, после ареста дяди Овроома отца просто не узнать, все время о чем-то думает... Конечно, Илесеф не дурак, он не станет советоваться к отцу по поводу этой записки, под горячую руку тот может наговорить ему всякие неприятные вещи....»

В полночь Милих, покинув дом, осторожно, крадучись, оглядываясь по сторонам, пробирался к дому свояка Овроома. Не жалея времени, неторопливо, но довольно основательно он объяснял свояченице и Шолуму, который в эти дни оставался в доме дяди Овроома, чтобы те, забрав все драгоценности, как говорится, оставив тяжелое и взяв легкое, собрались к 11 часам ночи на кладбище, куда доставят Овроома и откуда они тотчас должны бежать... А что касается остальных

вещей и ценностей, к тому времени, пока они дойдут до границы страны, мол, Милих сам соберет все и доставит.

Получив записку, с нетерпением ждал своего освобождения и Овроом. Каждый стук и звук открываемых и закрываемых камер не оставляли его равнодушным, он постоянно вскакивал и подбегал к дверям, однако ночь, будто вступив с ним в спор, никак не наступала. За эти несколько дней, что он провел здесь, ему немало пришлось подумать, осмыслить и переоценить многие ценности. Перед его взором, день за днем, прошла вся его жизнь и он еще раз пришел к печальному выводу, что Советская власть не простит ему всех его злодеяний, по крупицам соберет все еще неизвестные факты его преступлений и тогда, конечно, расстрел неизбежен... И вина его не только перед властью, но и перед людьми велика. Когда все это откроется, горожанам станет известно его и его друзей-богачей пособничество в убийстве семьи Содуга, в зверском издевательстве над двумя комсомольцами, в разорении коньячного завода и виноградных садов, их тесное сотрудничество с бандами Бичерахова и Деникина, и многое другое. Кроме того, народ узнает о руководстве и финансировании ими «просветителей», о злобной антисоветской пропаганде, о призыве молодежи города к борьбе против большевиков, к свержению новой власти. Овроом понимал, что даже за десятую часть этих преступлений его приговорят к расстрелу. Вот почему тяжесть этих злодеяний не давала ему покоя, и вот почему от маленькой записки, брошенной в окно камеры, у него вдруг затеплилась надежда. Так целый день надежда поднимала его на гребень волны, а тяжкие грехи уносили на дно судьбы, так целый день, до самой ночи он то бледнел, как смерть, то на его лице появлялись признаки жизни.

В эти часы Овроом все больше и больше походил на загнанного в клетку зверя, он, словно маятник, ходил все время взад и вперед. Иногда под тяжестью дум он, сжавшись в комок, садился на табуретку и, обхватив руками колени, словно безумный, устремлял взгляд в угол камеры. Потом, спохватившись, вскакивал и снова начинал ходить.

«Что с тобой? — успокаивал он себя. — Возьми себя в руки. Есть надежда, друзья не оставят в беде, за-

писка тому подтверждение... Сегодня ночью они меня непременно спасут, и как только это произойдет, я не пожалею никаких денег на борьбу против большевиков... Ну, где же они до сих пор? Уже ночь, а их все нет!»

Упавшие из рук часового ключи издали глухой металлический звук, словно затвор винтовки. Часовой поднял ключи, заглянул в дверной глазок и, заметив свернувшегося в комок арестанта, злорадно усмехнулся и снова закрыл глазок.

«Глаз не спускают, негодяи! — вздрогнув, подумал Овроом и устремив взгляд на толстые стены и железные двери своей камеры, безнадежно вздохнул. — Нет, отсюда уйти невозможно, это конец...»

Его сердце снова тревожно забилось, вновь, в который раз, перед ним пронеслись самые яркие картины его жизни: рождение сына и его глупая смерть. «Эх, сынок, сынок, не сберег я тебя и себя, как видно, тоже...» — из суровых и жестоких его глаз невольно скатились две слезинки. Да, даже на слезы этот человек был скуп, немилосердно жаден.

«Да, был беспощаден, — рассуждал он, — особенно к тем, кто становился поперек дороги, верно, этих просто безжалостно растаптывал. Но и себя не щадил. Во имя обогащения не останавливался перед любыми трудностями, не знал покоя и сна, не чурался и собственного труда, был дерзок с конкурентами и знал цену техническим новшествам. Собрать как можно больше золота и драгоценностей? Да, но ведь это так естественно. Отдать все это только потому, что этого захотели какие-то босяки? Нет, никогда, не позволю!»

В этом водовороте жизни он не имел жалости и к собственному брату. Пустив в дело отцовские деньги, он нашел возможным выделить брату из этих средств только небольшую сумму для его свадьбы. В той ситуации он посчитал нецелесообразным расходовать больше, а младший брат, будучи человеком гордым, никогда в будущем у него своей доли отцовских денег не просил, даже тяжело заболев, даже тогда, когда очень нуждался. Что касается Овроома, он был настолько возмущен подобным отношением брата, его независимым и гордым характером, что в течение всей жизни ни разу не посетил его, не пришел даже тогда, когда тот умирал в крайней нужде. Мало того, в отместку за

молчаливый протест младшего брата, он, в надежде возмутить и все же вынудить его хотя бы с претензиями обратиться к нему, несколько раз недоплачивал за работу на виноградниках. Нет, брат так и ушел из жизни, оставив неудовлетворенным его самолюбие, со взглядом, полным насмешки и презрения. Это его еще больше возмутило и свою нелюбовь к брату он перенес впоследствии и на его детей.

Не была исключением и ставшая недавно вдовой его сестра, Бетие. Отлично зная, что она, двадцатилетняя девушка, всячески отказывалась выйти замуж за богатого, но пожилого человека, он, как старший в семье, все же вынудил ее дать согласие на этот брак. Правда, Бетие постеснялась тогда признаться старшему брату в своей любви к другому (под страхом смерти девушки не могли нарушить адат и признаться в этом). Овроом не внял никаким ее мольбам и сделал все по-своему...

Даже собственного сына, плоть и кровь свою, не пожалел этот сухой и беспощадный человек. Это по его указанию сын стал заниматься смертельно опасным делом, это из-за него он принял смерть. Теперь у него нет и сына, он словно одинокое сухое дерево посреди высохшей степи, и, осознав эту потерю, он стонал и выл, как раненый и загнанный волк. А жену свою, некогда красивую женщину, он так и не полюбил и никогда за человека не считал...

«Эти босяки, звери в человеческом облике лишили меня всего, даже сына, — с горечью подумал он, подводя итог своей жизни. — Теперь настала и моя очередь, не будет Овроома Нахшиева, ничего не будет, все кончено...» Непрошенная слеза снова покатилась по его щеке.

Вдруг в стене камеры раздался недолгий, глухой удар. Овроом вздрогнул и взглянул в сторону двери, хотя удар раздался за спиной. Глазок не открылся, не было слышно и шагов часового. Последовал второй удар, такой же глухой и короткий, отчего со стены посыпалась штукатурка и заметно сдвинулся с места камень...

«Вот оно, спасение», — вытерев непрошенные слезы, с радостью и надеждой подумал Овроом. Приблизившись к стене, он протянул обе руки к пошатнувшемуся камню и с силой толкнул его...

Вот наконец пришла и ночь. Золото и драгоценно-

сти давно зашиты и спрятаны в одеждах. Все, представляющее ценность, тоже собрано в чемоданы. Принаряженные в пеструю одежду, затянутые широкими поясами, с наброшенными тяжелыми бухарскими халатами, стояли наготове Шолум и жена Овроома. Если бы их сейчас малость потрусить, то с них посыпались бы, как осенние листья, редкие драгоценности. Глядя на дорогую и несуразную одежду совсем недавно бедного парня, незнакомый человек не узнал бы в нем Шолума. Преображение было разительным. Где-то к одиннадцати легкий фаэтон без шума доставил их к городскому кладбищу...

Провожал их лишь только один Милих. Для больших разговоров времени не было. Объятое пламенем, горело здание ЧК — бывший дом князя Абдуллаева. Скоро, совсем скоро там узнают, что из этого «факела» сбежал опасный преступник, поэтому мешкать нельзя, надо уходить...

— Я на тебя надеюсь? — пожимая руку Милиха, глухим голосом сказал Овроом.

— Да будет благословенна земля Иерусалима, конечно, не волнуйся, будь спокоен. Как только ты пошлешь своего человека, я остальное в целости и сохранности отдам ему, — спокойно отвечал ему Милих, а сам, тем временем, думал: «Да, да, держи карман шире, я потому и жил так долго в страхе, чтобы тебе все отдать, дружочек, не дождешься!»

Шолум знал причину волнений дяди Овроома, его тревогу и желание как можно скорее покинуть город. И именно сейчас, в эти минуты бегства, вдруг понял он глубину допущенной ошибки, необдуманность, а еще больше — глупость совершенного им шага. Да, у дяди Овроома были причины для беспокойства за свое будущее, страшится новой власти, ибо он немало навредил ей, а теперь еще сбежал из-под стражи... Он бежит, ибо никого здесь не оставил, все его родственники — это он сам и его жена. А он, Шолум, куда и почему бежит? Чего испугался? Почему оставляет единственного брата? Почему? Эти драгоценности, что пришиты к его костюму, вовсе не его, они принадлежат дяде Овроому и при первом его требовании будут переданы ему. Да, да, почему он бежит, неужто, в самом деле, потерял рассудок?.. Эх, дурак, не послушался брата! А теперь дрожишь от страха. Зачем, что мешало тебе, как де-

лают другие, пойти на работу, жить в спокойствии, рядом с братом? Шолуму хотелось в эти минуты снять с себя эту шутовскую одежду, эту непривычную тяжесть и выбросить вон, и пока не поздно, уйти от этой затравленной пары и вернуться домой, к брату, обнять его и попросить прощения... От нахлынувших мыслей он вдруг задохнулся и, словно в удушье, с глухим криком обратился к Милиху:

— Дядя Милих!..

— Что, сынок? — спросил Милих,

Овроом торопился, он боялся, что чекисты уже ищут его и могут закрыть все дороги из города. А потому заметив, что Шолум тянет с отъездом, хочет еще что-то сказать, он недовольно вскричал:

— Что случилось, Шолум? Здесь не место для бесед, надо торопиться!

Тяжело вздохнув, Шолум как-то безнадежно опустил голову, понурил плечи и тихо проговорил:

— Ничего, дядя, ничего..,

ГЛАВА 5

Хозяйкой пришла нынче в город весна. Все преобразилось вдруг, словно по мановению волшебной палочки. Набухли почки на вчера еще, казалось, безжизненных деревьях, заблестела под солнцем зеленая травка, задышала, мягче стала влажная, суглинистая земля. Преобразились даже горожане, особенно молодежь, которая вдруг почувствовала в этом пробуждении природы перемены и обновление своей жизни. Радость переполняла их сердца, что вот, наконец, стали отступать трудности, что жизнь обернулась к ним своей светлой стороной, что эта весна не похожа на все уже прошедшие... Весна, которая господствовала во дворе, стала весной победы труда, мужества и героизма, весной новых надежд!

Радостью переполнено и сердце Ошира. И причиной этому — Тозегюль, которая стоит сейчас перед ним, устремив на него полный счастья взгляд. Как она прекрасна, как мила в своей девичьей застенчивости. Ошир растерян, не может оторвать взгляд, ищет и не может найти, что сказать, как начать разговор с любимой.

Наконец, преодолев растерянность, он произносит:

— Как хорошо, что ты пришла, Цветочек! Я так хотел тебя видеть, спросить, как ты живешь...

— И я этого хотела, уже давно... — спрятав счастливый взгляд, отвечает Тозегюль. — Я... я жизнью обязана тебе... если бы ты тогда не спас меня от рук того аскера-турка.., нет, я бы этого не вынесла... Получив твою записку, я только и думала, как встретиться,— бесхитростно призналась она. — Наконец, сегодня, преодолев стыд, я, вот, пришла прямо к тебе домой. Фархад сказал мне твой адрес...

— Ты просто молодец! — восторженно говорит Ошир. — Я так рад, очень рад! Спасибо тебе, Цветочек...

— Не ты, я должна тебя благодарить!

— О чем ты говоришь? — удивляется Ошир. — Моя благодарность безмерна! Мой «любимый» дядюшка, мало того, что всю жизнь преследовал семью моего отца, хотел еще и меня убить.

Ошир вдруг бьет себя по лбу и с улыбкой произносит:

— Видишь, что значит жить одному, совсем забыл, что дама на ногах, а я тут разболтался. — Ошир быстро схватил единственный табурет и предложил девушке. — Садись, садись, пожалуйста, нам о многом надо поговорить... — Затем, вспомнив о чем-то, добавил: — Хотя совсем не с этого хотел начать, но уж больно одна мысль, как заноза, не дает мне покоя: как тогда, убив часового и еще устроив пожар, удалось убежать дяде Овроому?

Тозегюль села на предложенный ей табурет и стала задумчиво осматривать убогую квартиру Ошира. Она не знала, что ему ответить. Заметив растерянность на лице любимой, Ошир тут же сменил тему разговора.

— Да ладно, черт с ним, все образуется, и с этим разберутся. Расскажи-ка мне, Цветочек, как ты живешь, чем занимаешься? Я горю от любопытства. С твоим характером сидеть дома просто невозможно?!

Опустив голову, Тозегюль тихо произнесла:

— Чем я занимаюсь? Ничем! Правда, после ухода Фархада, всю работу по дому приходится делать мне, а так... как в клетке. Но, если честно, если бы была какая работа по мне, так я с удовольствием...

— Работа по тебе? — задумчиво переспросил Ошир.

— Нет, нет, ты меня не понял, — заторопилась она объяснить сказанное. — Тебе показалось, будто я из богатой семьи и работу хочу, так сказать, в соответствии. Нет, поверь, я даже не думала об этом, мне это и в голову не пришло, — она мило и застенчиво улыбнулась. — Хотя меня иногда и называют госпожой, но я никогда не забываю ни наше детство, ни свое прошлое. У нас в училище была учительница истории, Саксой Вера Семеновна, жила она на Губернаторской, не знаю почему, но она мне доверяла и тайком давала интересные книги Фурье, Сен-Симона, Смитта, Маркса, я одну книжку и Ленина читала. К сожалению, в последнее время я Веру Семеновну не видела и не знаю, где она. Я почему тебе это рассказываю? Чтобы объяснить, что я кое-что понимаю, со многими переменами в жизни согласна, и хотя по некоторым вопросам в голове сумбур, но я твердо поняла и согласна с тем, что: «Кто не работает, тот не ест»...

Тозегюль ненадолго задумалась, ее взгляд устремился в сторону окна, будто она у дневного света, у солнца во дворе хотела найти ответ на свои мысленные вопросы, а затем тихо добавила:

— Да, правда, что я живу на всем готовом, в богатой семье, от этого никуда не уйдешь, но... я и сама не могу себе ответить, почему мои симпатии на стороне людей труда, почему мое сердце болит за них... Да, я выросла в богатой семье, но я же не виновата в этом?— она смело посмотрела на Ошира, будто у него хотела найти ответ на давно мучивший ее вопрос. — Есть такая пословица: «Зачем мне сережки, если от них болят уши», вот и у меня так же... Мы же вместе росли, ты помнишь? Я всегда мечтала с тобой обо всем поговорить...

Ошир от удивления не знал, что сказать. Да, он помнил бойкую задиристую, но всегда справедливую девчонку, он искал ее общества, всегда всем делился с ней, а когда Тозегюль из тоненькой, как тростинка, девчушки стала нежной, милой девушкой, прилип к ней сердцем, и все эти годы носил ее образ как и ее платочек, в своей груди. Он любил ее такой, какой она была! Но сейчас она предстала перед ним совершенно в новом свете, на него пытливо смотрели два прекрасных глаза не только любимой девушки, но друга, готового стать в твои ряды, разделить твои думы и чаяния...

— Если ты хочешь знать, — видя задумчивость Ошира, продолжала Тозегюль, — отец, сперва дав согласие, потом не хотел, чтобы я училась. Он постоянно твердил, мол, зачем тебе учеба, женщине, девушке учиться необязательно, главное: выйти замуж и родить детей, тебя, мол, и без учебы замуж возьмут...

Она рассказывала и мило улыбалась, весь ее вид, все ее существо выдавало, что именно в эти минуты она безгранично счастлива. Ошир видел, как от волнения чуть порозовели ее щеки и губы, как искрились любимые глаза и подумал: «Да, она прекрасна, мой цветочек, как было бы хорошо, если бы мы чаще виделись...»

— Но мама, — продолжала свой рассказ Тозегюль, — она, видно, на собственном опыте убедилась в его неправоте и не согласилась с отцом, настояла на том, чтобы я училась и закончила училище...

Устремив свой взгляд на Тозегюль, Ошир внимательно слушал ее. Потом вдруг, опомнившись, застыдился и отвел взгляд. Тозегюль же, оценив это по-своему, вдруг вскочила с места и виновато сказала:

— Я, наверное, заморочила тебе голову, разболталась сегодня...

— Нет, нет, Цветочек, говори, пожалуйста! — улыбнувшись, проговорил Ошир, — я так рад всему, о чем ты говоришь, что ты здесь, рядом со мной. Ты мне напомнила о счастливых годах нашего детства...

— Людей с образованием сейчас, как тебе известно, не так много, вот почему я подумала, может, пригожусь на что-нибудь.., — задумчиво, словно решаясь на что-то, продолжала Тозегюль. — Помочь в этом мне некому, а что касается моего брата и его лживых друзей-«просветителей», они мне вообще не нравятся..,

— Вот как, почему? — сделав вид, что удивился, спросил Ошир. Он решил еще глубже и полнее понять ее.

— Как почему? Мне кажется, что они не только не думают о просвещении народа, они склонны к тому, чтобы еще больше заморочить им головы. Под видом борьбы с безграмотностью, они сеют семена национализма, не объединения всех горожан, а еще большей их разобщенности. У них на устах только одно слово— Иерусалим, да еще целыми днями сидят и до чертиков напиваются...

— В самом деле?

— Ты что, мне не веришь?

— Верю, Цветочек, конечно, верю, — улыбаясь, заверил ее Ошир. — Они тебе действительно не нравятся?

— Конечно, — убежденно ответила Тозегюль. — Что же в них может понравиться: постоянные пьянки или же их разглагольствования о «земле отцов», о какой-то никому не известной родине...

— Спасибо, Цветочек, ты так меня обрадовала...

«За что он меня благодарит? — подумала Тозегюль. — Будто я что-то доброе, хорошее сделала... Удивительный человек, прямо всем готов отдать свое сердце, всех одарить своим участием и теплом. И ничего не боится, да, он всегда был таким», — она вдруг с радостью вспомнила, как, когда они были еще детьми и играли в лапту, она уронила в глубокую яму мяч и никто не решался достать его, кроме Ошира. Он смело спустился в яму и с трудом карабкаясь, все же вылез и принес ей мяч. Разве только это? Сколько раз он защищал ее от грубых мальчишек, не раз сам вступал с ними в драку. Он всегда нравился ей, рядом с ним чувствовала себя защищенной, но... о тайне своего сердца она никому не сказала...

— Мне кажется, что у моего брата и его друзей «просветителей» на уме что-то нехорошее, — после недолгих раздумий проговорила она. — По-моему, они хотят открыть еврейский театр, чтобы еще больше заморочить людей...

— Наслышан об этом, — оживился Ошир, потом, вспомнив о чем-то, спросил: — Извини, пожалуйста, как же моя записка попала в руки Илесефа?

— Вот это да! — радостно воскликнула Тозегюль. — Мы в унисон, в один и тот же миг подумали об одном и том же, я как раз хотела тебе об этом рассказать.

«Опять улыбнулась, — радостно подумал Ошир, любуясь ею, — до чего же прекрасна ее улыбка! На румяных щеках появляются ямочки, в глазах — солнечный блеск, будто купаются в них нежные виноградные ягодки...»

— Когда Фархад передал мне записку, я прошла в комнату и стала ее читать, как вдруг за моей спиной, незаметно, крадучись, оказался Илесеф. Записку я, правда, спрятать успела, но последнее слово, твое имя,

он прочитать все же смог и, возмутившись до бешенства, кинулся за мной, Я испугалась, что забрав у меня записку, он воспользуется ею и причинит тебе какой-либо вред, и побежала. Он за мной, стал бросать в меня посуду: вазы, тарелки, вслед раздавались звуки расколовшегося стекла, топот его ног, но я... все же выбежала во двор. А он, запыхавшись от усталости, все же дают о себе знать частые выпивки, вышел в коридор и, потеряв надежду поймать меня, сел на ступеньку и продолжал посылать в мой адрес новые проклятия.

«В самом деле, что бы случилось, если бы моя записка попала в руки Илесефа? — неожиданно подумал Ошир. — Конечно, об этом узнали бы мои друзья и они, так же, как и сейчас, подумали о том, имею ли я право дружить с Тозегюль, девушкой из богатой семьи, из враждебного класса? Наверное, нет, ведь я же комсомолец...»

Оба замолчали, оба думали одну и ту же думку, ибо ошибиться в этом было нельзя. Их выдавали нежные взгляды и ласковые слова. Они думали друг о друге, о долгой дружбе, которая незаметно для них переросла в любовь, это чувство приносило им радость, уносило их в великий мир блаженства и взаимного притяжения. Они были уверены, что это чувство не безответно, но ни он, ни она не знали, как открыть другому свое сердце...

«Прежде всего, — подумав, твердо решил Ошир, — мне надо познакомить с ней своих товарищей и друзей. Им надо рассказать о ней подробно, что она и убеждениями, и сердцем с нами. Несмотря на то, что она из богатой семьи, она не разделяет взглядов брата и, кроме того, непременно они должны знать, что из лап смерти его спасла именно она. К богатству равнодушна, тяготеет к человеку труда, да и сама труда не чурается...»

— Если ты желаешь, я поговорю о тебе с нашим комсомольским вожаком, — прямо посмотрев на нее, сказал Ошир. — Ты хочешь у нас работать?

— Да, дорогой,— невзначай вырвалось у нее слово «дорогой», отчего она пришла в замешательство. — Конечно, хочу. Я задыхаюсь от безделья, прошу тебя, спаси меня еще раз, поверь мне, я буду тебе верной помощницей!

— Я верю тебе, — Ошир застыдился ее горячно-

сти, — я очень рад, Цветочек, очень...—Потом, немного подумав, добавил:

— Хочешь, я расскажу тебе о нашей работе, о целях и проблемах нашей борьбы?

— И ты еще спрашиваешь? — укоризненно спросила Тозегюль. — Конечно, я хочу знать от тебя все: о твоих делах, думах и чаяниях, как ты живешь... Что же ты стоишь, — вдруг спохватилась она, — садись и ты на эту табуретку, я подвинусь, — и она освободила Оширу часть табуретки.

— Нет, нет, — устыдившись, запротестовал Ошир.— Сиди, на этой табуретке и одному неудобно.

Поняв смысл своего предложения и услышав ответ Оширa, Тозегюль вдруг покраснела: ей никак не удавалось спрятать ни своих желаний, ни тайных помыслов.

— Не волнуйся, Цветочек, я сяду сюда, — успокоил ее Ошир, усевшись на свернутую на полу постель. — У Советской власти один непреложный закон — работать должны все. Кто отказывается работать, хочет жить за счет чужого труда, тот наш враг . Мы хотим, чтобы все трудящиеся жили хорошо, чтобы работа приносила им радость.

Тозегюль ждала, что Ошир будет рассказывать не только о своей работе, но и о себе, о своих думах, мечтах, что он думает о ней самой, как они будут жить дальше, однако Ошир, будто был далек от ее дум и желаний, постоянно обходил эти вопросы. Все, о чем говорил он сейчас, она слышала и читала не раз, однако, чтобы не задеть его самолюбия, только говорила:

— Да, верно, я с этим согласна...

— Работы у нас много, очень много, — продолжал свою мысль Ошир, не замечая ее вожделенных ожиданий. — Нам многое надо изменить в этой жизни, многое нас не устраивает, согласись, разве можно считать нормальной жизнь, если тот, кто работает, живет в постоянной нужде...

Ее взгляд был полон понимания. В то же время Ошир чувствовал, что Тозегюль сейчас нужны не эти слова, нет, она ждет откровений из самых глубин его сердца. «Что ты тянешь? — подсказывало ему переполненное счастьем, учащенно бьющееся сердце. — Скажи, что ты любишь ее, что жизни без нее не представляешь, не жди, откройся, не так часто выпадают минуты, когда

вы вместе. Она сразу даст согласие, она ждет твоих объяснений, она жаждет их, как в зимнюю стужу мечтает больной о кисти винограда».

Однако, снова успокоив рвущееся из груди сердце, Ошир продолжал:

— Я сделаю все, жизни не пожалею, да и мои друзья и товарищи тоже, чтобы защитить завоевания революции. Конечно, нашим врагам это не нравится, они спят и видят, как бы нас уничтожить, вернуть прошлое. Вот почему, Цветочек, нам нужны верные товарищи, которые, несмотря ни на что, на наши многочисленные трудности, — Ошир развел руками, показывая свою комнату, — пойдут за наше дело до конца... Честно тебе признаюсь, я буду очень рад, безмерно счастлив, если ты перейдешь в наши ряды.

— А мне поверят? — смело взглянув Оширу в глаза, спросила Тозегюль.

— Мне кажется, да, должны, обязаны поверить! — убежденно ответил Ошир. — Я постараюсь...

— Спасибо! — искренне ответила Тозегюль. — И у меня есть одно сокровенное желание, не стану скрывать, я хочу быть тебе полезной, во всем и всегда!

— Спасибо, Цветочек! — пряча предательскую влажность в глазах, глухо ответил Ошир. — Ты сумеешь послезавтра прийти ко мне?

— «Чего ты боишься? — кричало его сердце. — Трус несчастный! Девушка ясно дает тебе понять, что любит тебя, так чего ты ждешь? Почему не скажешь, что тоже любишь ее...?» Два-три дня тому назад он нетерпеливо ждал этой встречи, приготовился сказать любимой много ласковых, нежных слов, вспомнить недалекое детство, сказать слова признательности и благодарности за то, что спасла его от нависшей над ним беды. Он понимал, что если бы Милих или Илесеф узнали об этом, ее ждали неминуемые истязания, а может, и смерть, однако она всем этим ради него пренебрегла, не испугалась...

Девушка чувствовала нерешительность Ошира, его юношескую стыдливость, и потому непременно пришла бы к нему еще не раз, если бы даже он не пригласил ее. Что делать с сердцем, которое любит, для которого нет никаких запретов, если оно способно толкнуть на самые неожиданные, порой безрассудные действия. Выросшая в среде, где адаты шариата строго запрещают

женщине поддаваться зову сердца, идти на поводу своих чувств, в отношении мужчин всегда соблюдать дистанцию, она пренебрегла этим. Даже мимолетная встреча с мужчиной, ставшая достоянием сплетниц, могла покрыть ее позором, послужить причиной дикой ненависти сумасбродного брата и родственников, что же говорить о ней, если сейчас она сама готова вырвать свое сердце и отдать его любимому! Да, Тозегюль, эта хрупкая на вид, но сильная духом девушка, умела пылко, самозабвенно, не зная страха, любить. Эта любовь была не минутной, не с первого взгляда, не свечой, которая вдруг зажглась и могла сразу потухнуть даже от маленького ветра. Нет, это был факел многолетней детской дружбы и беззаветной преданности, благодарности и верности, вечного зова двух любящих сердец. Если бы в эти счастливые минуты Ошир предложил ей остаться с ним, она без раздумий осталась бы. Ее любовь готова была к самопожертвованию. Она готова была не только сидеть на этой маленькой табуретке, но даже на глиняном полу, лишь бы не расставаться с любимым. Да, самым дорогим и родным человеком для нее был Ошир.

— Почему именно послезавтра? — не поняла Тозегюль.

— Я хочу поговорить с руководителем нашего союза молодежи насчет тебя. Хочу предложить ему использовать тебя там, где нужны грамотные и толковые люди.

— Хорошо, я обязательно приду... Извини, теперь я пойду, а то, небось, заморочила тебе голову своим разговором, хотела обо всем сразу сказать... — Тозегюль встала и, подойдя близко к Оширу, улыбаясь, протянула ему руку. Лица оказались рядом, глаза в глаза. Вот они, совсем рядом бутончики алых, как спелая вишня, губ. Ошир, потеряв контроль над собой, не давая отчета своим действиям, вдруг, не отпуская ее руки, притянул девушку к себе, обнял и припал к ее губам, как припадает к роднику жаждущий путник. Он почувствовал податливое тело любимой, раскрытый для поцелуя рот и радостно-удивленный взгляд, который будто спрашивал: «Ты все же решился, любимый? Как я счастлива!»

Объятия их становились крепче, он все еще пил и не мог напиться из живительного родника, как вдруг постучали в дверь. Тозегюль мгновенно отстранилась от

Ошира и, поправляя волосы, села на табуретку. Ошир глухим от волнения голосом спросил:

— Кто там?

— Ошир, это я, Фархад! — послышалось за дверью.

Переглянувшись, влюбленные обрадовались, что это свой, и успокоились.

— Да, да, — радостно ответил Ошир и, улыбаясь, открыл дверь, — заходи, Фархад. Как видите, в моей каморке двоим просторно, а троим — тесно...

— Если сердца открыты, и маленькие комнаты покажутся большими, — улыбаясь, заметила Тозегюль. — Не так ли, Фархад?

— Клянусь могилой родителей, правильно сказали, ханум, — радостно ответил Фархад. — Я всегда говорил, что вы совсем не похожи на госпожу...

Ошир смотрел на говоривших и удивлялся способности Тозегюль находить общий язык даже с бывшим слугой, говорить с ним заинтересованно, как с равным, ничуть не кичась ни своими познаниями, ни положением. А он беспокоился, что Тозегюль не впишется в ряды его товарищей, покажется «гадким утенком» в рабочей среде, что она, будучи дочерью дербентского богача, не сумеет найти общий язык с представителями рабочего класса. И видя сейчас, как задушевно говорили они, Ошир понял, что все его страхи напрасны.

— Ну, как твои дела, Фархад? — с интересом спрашивала Тозегюль. — Ты рад повороту своей судьбы?

— Да, ханум, спасибо, — вежливо отвечал Фархад. — Клянусь могилой родителей, я самый счастливый человек. Работаю под руководством Ошира, нашего мастера, надсмотрщиком вагонов. И живу я здесь, тоже с разрешения Ошира. И дела мои идут хорошо, и учеба тоже, я уже научился писать первые буквы алфавита...

— Однако побегу из нашего дома ты обязан мне! — улыбаясь, сказала Тозегюль. — Не так ли?

— Клянусь могилой родителей, вы правы, ханум, — радостно отвечал Фархад. — Если бы вы меня в тот день не послали к Оширу, я бы так и остался в прошлом, так и не сумел бы перейти границу новой жизни, не нашел бы в лице Ошира нового друга. Скажу вам честно, знаю, что вы не обидетесь на мои слова, так как вы совсем другой человек, наш человек, уж больно опостылела мне жизнь в вашем доме.

— Я знаю, — задумчиво ответила Тозегюль, — ты поступил правильно, и я очень рада видеть тебя счастливым.

— Мне кажется, ханум, — признался ей Фархад, — что я только родился, что у меня крылья выросли. Дайте немножко времени, и вы увидите, как изменится наша жизнь: и жить будет где, и одежда будет более приличной, и радостно наполнятся наши дни, не так ли Ошир, друг мой?

— Конечно, так и будет, — радостно отвечает Ошир, — все будет именно так, как ты мечтаешь!

Тозегюль встала со своего места и взволнованно произнесла:

— Ну, мне пора... У меня такое чувство, что я вдруг ушла в свое детство и вернулась из него. Спасибо!

— Подожди, я провожу тебя, — накинув на плечи фуфайку, сказал Ошир. — На улице уже темно.

Они вместе вышли из дома и каждый думал о своем, но все сводилось к тому, что они были счастливы, что наконец, после нескольких лет разлуки, снова и навсегда нашли друг друга. Недалеко от ее дома, Ошир снова обнял любимую и крепко поцеловал.

— Спокойной ночи, родная, — тихо сказал ей на ухо Ошир. — Я с нетерпением буду ждать тебя послезавтра.

— Спокойной ночи, любимый, — нехотя освободилась она из его объятий и твердо пообещала: — Я непременно приду!

ГЛАВА 6

— Доброе утро!

— Здравствуй, здравствуй!..

— Как дела?

— Нормально, слава Богу!

Так каждое утро встречают друг друга рабочие депо. Разноязычными голосами, смехом и шутками наполнены два цеха, в которых несколько дней назад полностью закончился ремонт и теперь, после нескольких месяцев простоя, люди, наконец, приступили к своим непосредственным делам. Работа идет споро, с энтузиазмом, как говорится, от всей души.

Такова походка времени! Рабочие поняли и поверили, что их труд отдается не господам, а впервые в жизни они работают на себя. И потому в цехах не слышно окриков мастеров и надсмотрщиков, нет страха, что за малейшую провинность, а иногда и просто по прихоти власть имущих, могут выкинуть с работы. Сознание этого удесятеряет силы и желание сделать все быстро и хорошо.

Ошир работает мастером ремонтного цеха. Работы много. Если бы можно было растянуть время, дел хватило бы на полные сутки. Да, все, что могли поломать, вывести из строя бывшие хозяева и их холуи, разрушили и уничтожили. Хотя многие станки старые, часто ломаются, все же люди работают, не останавливаются, восстанавливая их, как говорится, на марше. Повсюду чувствуется подъем, и Оширу верится, что с такими людьми они преодолеют все трудности и выполнят поставленные задачи.

Не успел Ошир зайти в цех, как к нему примчался рабочий Сархадов.

— Мастер, дорогой, ты обещал помочь мне починить станок?!

— Да, друг мой, помню, малость потерпи, сейчас мы починим другой, а потом приду к тебе... Ты же знаешь, какое наследство нам оставили бывшие хозяева...

Трудно, ох, как трудно! Конечно, одного желания и энтузиазма недостаточно, чтобы все сразу привести в порядок, нужно время. И Сархадов, и другие рабочие цеха понимают, что всем сразу мастер помочь не может, хотя и работает за пятерых. Хороших специалистов, мастеров мало. Однако, как бы ни было тяжело, другого выхода нет, дело надо делать. И Сархадов помогает Оширу в разборке станка. Ошир привычно открывает «гитарную» часть и тут же находит знакомый почерк злоумышленника — у двух сменных шестеренок из четырех выбиты зубья.

— Что будем делать? — удрученно спрашивает Сархадов.

Ошир задумался, во всех поломках — метка одной руки, почерк одного врага, почти у всех станков из строя выведены сменные шестеренки, без которых станок работать не может. Но враги просчитались, воля и труд рабочих людей все равно возьмут верх.

— Видишь, вот шестеренка, у нее должно быть че-

тыре зуба, а остались два... — показывает Ошир Сархадову. — Они так искусно поломаны, что незнающий человек долго будет мучиться. Вначале, правда, и я немало ломал голову, но теперь... Сейчас я возьмусь расточить другую, обещаю сегодня твой станок завести. Идет?

— Конечно, друг, спасибо! — радостно ответил Сархадов. — Да ты иначе спать не сможешь, я же знаю твой характер...

Растачивая деталь для станка Сархадова, Ошир вдруг вспомнил, что ему надо было срочно пойти в горком комсомола. Накануне на заседании горкома ему поручили возглавить работу Дома культуры рабочей молодежи, там предполагалось пропагандировать идеи революции, классовой солидарности, учить своих товарищей умению распознавать классового врага, разоблачать происки «просветителей», которые за хитросплетениями слов распространяли среди молодежи идеи национализма и национал-патриотизма, бесхребетности и боготерпимости. Перед комсомольцами ставилась задача не дать «просветителям» потянуть молодежь города за собой.

Однако, не дождавшись Ошира, секретарь горкома комсомола Семен Малкин сегодня сам пришел в депо. Увидев своего друга за станком, вдохновенно, самозабвенно работающего, с капельками пота на лбу и на верхней губе, он приблизился к нему и, улыбнувшись, сказал:

— Привет, Ошир! Вижу, что у вас горячо?!

— Здравствуй, дорогой! Да, остывать нельзя! — в тон ему отвечает Ошир. — Хотел пустить станок своего друга. Это уже пятый с одной и той же поломкой, — не поднимая головы, Ошир сосредоточенно заканчивал расточку детали.

— У нас мастер золотой! — восхищенно говорит Сархадов.

— Знаю, но мастер чего-то о нас забыл, — улыбаясь, заметил Малкин, — и поэтому, когда Магомет не идет к горе, гора сама пришла к Магомету...

— Признаюсь, — улыбаясь, ответил Ошир, снимая расточенную шестеренку. — Хотел завести станок Сархадова и пойти к вам...

— В таком случае, вину с тебя снимаем, — шутливо заметил Малкин, направляясь с Оширом к станку Сар-

хадова. — Делай свое дело и слушай. «Просветители», как тебе известно, уж больно активизировались, пользуясь школой по борьбе с неграмотностью, они стараются переманить молодежь на свою сторону. Делают это искусно, мастерски, как говорится, комар носа не подточит. Предстоит большая борьба...

— Я понимаю, — продолжая работу, заметил Ошир.

— Да, ты понимаешь, другой понимает, но этого мало. Необходимо, чтобы это понимала вся рабочая молодежь. Из разговора с отдельными ребятами я понял, что некоторая часть молодежи находится в плену идей «просветителей», а потому нам необходимо усилить разъяснительную работу именно среди этой части, им надо рассказывать о наших идеях, о революции, о враждебности просветительской идеи национал-патриотизма, и т. д.

— Сегодня мы договорились с пропагандистами встретиться в Доме культуры, непременно обсудим и этот вопрос.

— Хорошо, — дружески положив руку на плечо Ошира, сказал Малкин. — Теперь покажи свой цех, что вы тут изменили.

— О-о! — воскликнул Ошир, не отрываясь от работы. — Мы тут многое переделали, но я прошу, потерпи еще пару минут!

— Нет, терпеть не хочу, — улыбнулся Малкин и поднял рукава рубашки, — ты так заразительно работаешь, что мне самому захотелось... можно, я помогу тебе?

Малкин стал к станку и вместе с Оширом, в четыре руки, стал его настраивать. Через минуту станок заработал.

— Вот это да! — восхищался Сархадов. — У тебя, товарищ секретарь, легкая рука. Сразу чувствуется работа бывалого мастера. Спасибо!

— Ты спасибо Оширу скажи, дело он сделал, а не я... Да, кстати, — вытирая руки, проговорил Малкин,— ты что-то давно не был у нас?

— Поверь, замотались, так много работы, что порой на ночь остаемся здесь и спим прямо в цехе, — ответил Сархадов.

— О том, что работы много, я и сам знаю, но комсомольские обязанности забывать нельзя, — заметил

Малкин, — работа никогда не кончится, но есть еще дело не менее важное, а может быть, если учесть, что враг от экономических диверсий теперь переключился на идеологические, еще более важное — это их разоблачение. В верхней части города активизировались «муссаватисты», работают хитро, исподтишка натравливают одну национальность на другую, сеют семена раздора. Нам нельзя с этим мириться, оставаться в неведении, мягко говоря, спать. Понял?

— Да, товарищ секретарь, — с пониманием ответил Сархадов, — я обязательно буду у вас, есть о чем поговорить. Враги наши едины, только говорят они на разных языках...

— Совершенно верно, — с воодушевлением согласился Малкин. Потом, заметив вытиравшего руки Ошира, подозвал к себе. — Ты мне очень нужен и пришел я сюда, если хочешь знать, ради встречи с тобой. «Просветителей» нельзя оставлять без внимания. В подтверждение твоей информации, из некоторых источников нам стало известно, что в ближайшие дни они намерены организовать с комсомольцами диспут, для чего хотят пригласить молодежь в синагогу и там принародно нас опозорить, мол, они намного ученее и нас заткнут за пояс. Что ж, мы решили вызов принять и добиться их разоблачения. Надо, чтобы рабочая молодежь стала свидетелем их позора. Сумеете их победить?

— Разоблачить-то этих выскочек, мы, конечно, разоблачим, но некоторые наши товарищи не хотят туда идти, — ответил Ошир задумчиво.

— Почему? — не понял Малкин.

— Дело в том, что они не хотят быть там, где находятся раввины, будет слишком скованная обстановка.

— Вот как? — с удивлением спросил Малкин, а потом, подумав, сказал. — Хорошо, я переговорю в горкоме партии, а потом и решим. Договорились?

— Да, согласен, — ответил Ошир. — О принятом вами решении вы мне скажете завтра в горкоме, я обязательно зайду...

* * *

На следующий день, побывав в горкоме комсомола, Ошир уже подробнее рассказал Малкину о жизни

иудейской части молодежи города, об их энтузиазме в труде и тяге к учению и культуре.

Выслушав своего друга, секретарь горкома комсомола сказал:

— Теперь давай подумаем, как нам организовать и провести встречу с «просветителями». Я имел основательную беседу в горкоме партии и там считают, что «просветители» представляют большую опасность, их голыми руками не возьмешь. Дело в том, что на словах они друзья, так сказать, выполняют роль просвещения народа, а на деле — наши закоренелые враги. И потому нам дано указание раскрыть их подлинную сущность, объявить им непримиримую войну.

Обычно улыбающийся Малкин в эти минуты выглядел угрюмым.

— Не имеет значения место диспута: в Доме культуры или в синагоге, пожалуйста, на выбор «просветителей». Необходимо снять с их лица маску «друзей народа», рабочая молодежь должна увидеть их двуличие, их тайные замыслы, их вражескую сущность, мы обязаны это сделать!

— Я тоже так думаю, — с воодушевлением ответил Ошир. — «Просветители» в последнее время по всем линиям перешли в атаку, вертят хвостом, как сытая собака, и потому мы воспользуемся их приглашением, если даже они хотят эту встречу провести в синагоге.

Некоторое время оба молчали, каждый думал свою думу. Потом Малкин продолжил:

— Им кажется, что в синагоге будет легче, мол, в родном доме и стены помогают. Не знаю, как стены, но то, что раввины втихаря им помогают, нам известно. Однако, вы ничего не бойтесь, будьте раскованнее, будьте самими собой. Надо помнить, что там будут и люди старшего возраста, немало бедняков, которые все еще живут верой и надеждой на Бога, они еще не знают двуличия и обманчивости обещаний раввинов. Там и такие будут. Поэтому разговор ведите так, чтобы люди поняли ваши мечты и пожелания народу, ваши помыслы и стремления. Не прячьте своих трудностей, не закрывайте глаза на то, что все еще нет у нас в достатке хлеба, не всегда живем в тепле, не бойтесь, бедная часть населения нас поймет. Знайте и то, что среди «просветителей» есть люди ушлые, которые за словом в карман не полезут, поэтому заранее распределите,

кто из вас о чем будут говорить. Правду сказать легче, чем постоянно врать. Правда — ваша сила, а ложь всегда ложь, она рано или поздно раскроется. Расскажите людям, как за несколько месяцев вы восстановили разрушенное производство города, как распустились почки на виноградниках, значит, будет богатый урожай!

— Я все понял, друг мой, думаю, что не подведем. Да и они, небось, готовятся...

— Конечно, нам нельзя забывать указание вождя о том, что врага нельзя недооценивать. Но надо помнить еще и о том, что они тоже будут говорить высокопарные слова о пользе и защите народа, они будут из кожи лезть вон, чтобы доказать, что они не враги, а друзья народа...

Вы расскажите, как большевики проводят политику классового братства всех народов, как они стараются сделать жизнь людей лучше, как все вы: иудеи, мусульмане и христиане единой братской семьей работаете в депо.

— Хорошо, товарищ секретарь, не волнуйся, мы сделаем все, как нужно, не подведем!

— В таком случае, спасибо и будь здоров, — Малкин встал и протянул Оширу руку, но, вспомнив что-то, остановился: — Да, как Фархад?

— Лучше не может быть, работает за троих и учится хорошо. А живет у меня.

— Спасибо тебе, друг мой. Очень хорошо! Некоторое время будет трудно, но и это пройдет. Да, кстати, а почему не пришел Сархадов?

— Вот-вот и он подойдет, у него немного работы оставалось.

Ошир собирался покинуть кабинет секретаря, однако какая-то сила не давала ему это сделать. Малкин знал своего друга не первый день, он понял, что Ошир хочет сказать ему еще что-то, что на сердце у него какая-то тайна, и потому без обиняков спросил:

— Вижу, что-то спросить хочешь. Давай, выкладывай, не стесняйся.

— Не тебе говорить, что впереди у нас немало трудностей, — начал Ошир издалека, — враг еще не успокоился, нет-нет, да и укусит. Вот почему я хотел спросить тебя, может ли комсомолец в такое время

дружить с девушкой, любить ее? Мне кажется, что не может, а ты как думаешь?

— Я думаю, в любое время, какие бы трудности нас ни одолевали, ничто не может помешать любви двух молодых сердец, кто бы ни были эти молодые.

Оширу не понравилось, как секретарь комсомола, не задумываясь, сразу ответил на вопрос, который давно не давал ему покоя и не находил ответа, поэтому он снова повторил его:

— Ведь впереди еще много трудностей и борьбы?

— Ну и пусть...

— У нас еще много работы, борьба еще впереди, — не унимался Ошир.

— Любви никто и ничто помешать не может! — улыбаясь, ответил Малкин.

— Можно ли половину сердца отдать любви, а вторую половину делу? Мы и сегодня в состоянии войны, а если один из них погибнет?

— И так может случиться, однако жизнь от любви отделить невозможно, наоборот, они друг без друга и быть не могут. Кроме того, любящий молодой человек становится героем, еще более трудолюбивым, у него словно крылья вырастают, и в борьбе, и в преодолении любых трудностей он становится сильнее. И потому, мой друг, ничто не может помешать любви: ни смерть, ни жестокость, ни страдания... Правда, при одном условии, если это любовь настоящая. Любовь и жизнь — две неразлучные сестры...

«Однако, моему другу не известны другие обстоятельства», — подумал Ошир и решил пойти, как говорится, ва-банк, рассказать все без утайки.

— Я все это понял, спасибо тебе за ответ, однако, если этот комсомолец влюбился в дочь богача, как тогда быть?

— Очень плохо! — сразу, не подумав, воскликнул Малкин. Но потом, взглянув на сразу осунувшееся лицо друга, добавил: — Что-то я ничего не пойму, ты все время говоришь загадками. Скажи мне честно, о ком идет речь?

— Понятно, — быстро ответил Ошир с сожалением. — Комсомольцу, и в самом деле, не гоже влюбляться в дочь богача, а потому этому правилу надо подчиниться...

— Вот как? — обратив внимание на его последние

слова, удивился Малкин. — Мне кажется, что этот безымянный комсомолец, не кто иной, как мой друг, Ошир? Не так ли?

— Да.., — опустив голову, ответил Ошир.

— Раз так, садись, и, не торопясь, расскажи обо всем, и кто эта девушка, в том числе...

Ошир знал и понимал, что Малкину, при его огромной занятости, сейчас не до этих разговоров, однако откладывать свою проблему он тоже не мог, ибо она назрела и требовала своего решения. Ошир обязан был получить ответ: имеет ли он право дружить, а еще больше, любить Тозегюль. И потому он, не таясь, рассказал Малкину о том, что они с детства знакомы, давно дружат, как Тозегюль через Фархада предупредила, что Овроом намеревался убить его. Не забыл он рассказать и о том, как Тозегюль уважительно относилась в доме к слугам, с какой любовью, в свою очередь, слуги относятся к ней. И как, кроме всего этого, она хочет оставить дом своего отца, примкнуть к комсомольцам и оказывать им помощь.

— Подожди, не торопись, — удивился Малкин, — она хочет уйти из дома отца?

— Да!

— Мне кажется, в это можно поверить. Ты представляешь, образованная девушка хочет уйти от богатых родителей! — воскликнул Малкин задумчиво. — И куда? К рабочим, в их ряды...

— Да, да! — с воодушевлением ответил Ошир. — Потому, что ей не нравится все, что делают отец и брат, она терпеть не может «просветителей», всем сердцем тянется к людям труда.

— Это и тревожило тебя все время? — удивленно спросил Малкин. — Ты очень хорошо сделал, что рассказал обо всем этом, нам как раз такие друзья и нужны. Можешь познакомить меня с ней?

— Конечно, могу. Честно говоря, я знал, мое сердце давно подсказывало, что не надо трусить, следует открыться, но никак не решался...

Малкину была понятна тревога друга, ибо он знал, что чистый душой Ошир все еще не был готов к пониманию глубоких идей основоположников научного коммунизма, однако был убежден, что понадобится немного времени для того, чтобы такие, как Ошир, стали образованными людьми, убежденными большевиками.

Секретарь горкома комсомола встал, подошел к другу и, взяв его за руку, произнес:

— Мы, мой дорогой друг, таких, как эта девушка, ищем, как говорится, днем с огнем. И если можно, еще раз прошу тебя скорее познакомить меня с ней. Образованные люди нам очень нужны!

* * *

Небо заволокло серой дымкой. И потому ночь наступила тихо и незаметно. Шомоил-«кучер» возвращался домой с работы на виноградниках. Кучером на фаэтоне он работал давно, с детства, ибо работа эта передавалась в их семье по наследству, от отца к сыну. До революции Шомоил был кучером на фаэтоне хозяина, Овроома, он возил того по виноградникам, на рыбные промыслы или туда, куда тот приказывал. Однако, когда пришла Советская власть, Шомоил, не раздумывая, без промедления вместе с фаэтоном бросил и своего деспотичного хозяина, и пошел работать перекопщиком на виноградники.

Сегодня, увлекшись работой, он и не заметил, как исчезли вечерние сумерки и наступила ночь. В вечернее время, когда палящее дневное светило идет к своему закату, работается легко и споро. Вот почему, закончив работу и переодевшись, Шомоил домой возвращался уже в темноте. Ближе к городу, как-то незаметно, словно из-под земли, дорогу Шомоилу преградила «веселая» группа Илесефа, которая на двух фаэтонах устроила себе увеселительную прогулку.

— О-о, Шомоил! — согнувшись в шутовском поклоне, воскликнул Илесеф. — Добрый вечер или уже ночь! Как хорошо, что мы тебя встретили. Мы мечтали сегодня повстречать доброго труженика и выпить с ним. Ну-ка, ребята, налейте нашему «другу», Шомоилу.

— На, держи стакан! — один из друзей Илесефа насильно заставил Шомоила принять стакан с вином.

— Пей, Шомоил! Пей, Шомоил! — со всех сторон орали подвыпившие барчуки.

— Нет, я пить не хочу, — категорически отказался молодой человек. — Оставьте меня в покое...

— Что...о? Ты не хочешь с нами выпить? — с угрозой заявил друг Илесефа Шенде.

— Да...а, — с иронией произнес один из барчуков, — теперь с нами и выпить не хотят, теперь нас и за людей не считают... Что ж, если ты за наше здоровье пить не хочешь, выпей за свое... Ха... ха....

Шомоил нагнулся, поставил стакан на землю и намеревался покинуть этих разгулявшихся нахалов, но один из них двинулся на него и с угрозой произнес:

— В таком случае мы сами поможем ему выпить!..— и с этими словами четверо пьяных негодяев, словно звери, накинулись на Шомоила и, скрутив ему руки за спиной, связали и стали силой вливать вино ему прямо в рот. Это продолжалось до тех пор, пока Шомоил, обессилев и окончательно задохнувшись, не упал на землю. Ничто не остановило их, ни просьбы, ни мольба умирающего молодого человека. И только тогда, когда Шомоил замертво упал на землю, эти изверги в человечьем обличье вдруг обратили внимание на смертельную бледность своей жертвы и посчитали его уже мертвым. Вмиг протрезвев от содеянного, и чтобы скрыть следы своего преступления, схватили клочок бумаги и корявым почерком, подражая не особенно грамотному человеку, написали, что сделали это комсомольцы...

— Боюсь, что мы переборщили... — заметил Илесеф задумчиво. — Как бы потом все не окончилось плачевно...

— Да ладно тебе ныть... — улыбаясь во хмелю, ответил Шенде.

Встревоженные долгим отсутствием Шомоила, чего с ним никогда раньше не бывало, домочадцы забеспокоились и вышли ему навстречу, однако того нигде не было. И лишь ближе к полуночи отец Шомоила, Мушаил-кучер нашел полумертвого сына на развилке дорог у въезда в город, на краю канавы, с едва заметными признаками жизни. Родственники, положив Шомоила на отцовский халат, с трудом донесли его до дома. От него разило вином, словно тот выкупался в нем. Все были удивлены, а особенно отец, который очень хорошо знал, что Шомоил никогда, даже на свадьбах, вина не пил и довести себя до такого состояния не мог. Он тут же заподозрил неладное и, пошарив в карманах Шомоила, нашел бумагу, и, протянув ее дрожащими руками дочери, с тревогой сказал:

— Сенем, дочка, ну-ка, прочти, что здесь написано.

И та прочитала:

«Эх, Шомоил! Как тебе не стыдно напиться до такого состояния и валяться на земле? Ты позоришь нас, комсомольцев, и потому мы не только тебя не подобрали, а наподдав вдобавок тумаков, оставили тебя на всеобщее посмешище. Таким, как ты, не место в наших рядах.

Комсомольцы».

* * *

— Негодяи! Бездушные сволочи! Теперь вы показали свое истинное лицо! Обманщики, на словах утверждаете, что комсомольцы за рабочего человека, а на деле издеваетесь над ними, готовы на любую пакость. Нарочно напоили моего сына, Шомоила, а потом, избив до полусмерти, бросили на дороге! Мой маль...чик..., — весь в слезах возмущался Мушаил, — его чуть не убили! За что? Что он плохого сделал вам, негодяи? Ведь он же в одном ряду с вами, работает за двоих... Как вы могли так поступить с моей семьей?

Собравшаяся в Доме культуры рабочая молодежь была крайне удивлена. Они ничего не могли понять: ни возмущений старого человека, ни его заклинаний. Было понятно лишь одно, что кто-то напоил его сына, Шомоила, а потом, избив, бросил где-то на дороге. Всхлипывая и не стесняясь своих слез, плакал дядя Мушаил, весьма трудолюбивый и добрый человек. Не давая никому сказать, он снова и снова бросал проклятья в адрес комсомольцев.

Приблизившись к старому кучеру, Ошир успокоительно произнес:

— Дядя Мушаил, успокойтесь, ради Бога, и скажите толком, что произошло, почему вы ругаете комсомольцев, кто напоил и избил Шомоила?

— А что я еще должен вам объяснять, если твои комсомольцы моего сына чуть не убили, если в мою семью пришла такая беда?

Сказав эти слова, Мушаил в сердцах махнул рукой и с явным намерением покинуть клуб направился к двери. Однако Ошир, твердо решивший разобраться в этом деле, преградил старику дорогу:

— Остановитесь, дядя Мушаил, прошу вас...

— Прочь с моей дороги, негодяи! — еще больше

разозлился кучер, — я не стану больше с вами разговаривать, я знаю, как вас надо судить!

Молодежь окружила старика плотным кольцом, а Ошир миролюбиво сказал:

— Так же нельзя, дядя Мушаил, вы нас обвиняете, а мы не знаем, за что. Еще раз просим вас: объясните, что произошло, мы не меньше вас осудим того негодяя, который обидел вашего сына.

— Да оставьте меня в покое! — согнувшись от упавшей на него беды, в сердцах ответил старик.

— Нет, нет, дядя Мушаил, скажите же...

— И это вместо извинений, бессовестные? Вы меня еще спрашиваете! — Старик полез в карман, вытащил злосчастную записку и протянул Оширу: — Вот тебе свидетельство ваших злодеяний!...

Ошир вначале тихо, про себя, затем все громче и громче прочитал записку. И как только она была прочитана, все собравшиеся почти в один голос воскликнули:

— Это дело рук наших врагов!

— Это могли сделать только сынки толстобрюхих!

— Стойте, ребята, не кипятитесь, — подняв руку, остановил своих друзей Ошир. — Нам непременно надо в этом деле разобраться!

Увидев возмущение молодежи, старик малость успокоился и задумался...

— Дядя Мушаил, вы прожили большую жизнь и умом не обделены, но как вы могли поверить этой записке, как вы могли заподозрить нас, комсомольцев, что мы со своим товарищем, с нашим другом, комсомольцем, могли так поступить? Разве вы нас первый день знаете? Разве мы не чувствуете, ваше сердце не подсказывает, что такое могли сделать наши и ваши враги? Если среди нас есть такой негодяй, то он наш враг до конца жизни, и мы знаем, как с ним поступить! А что сам Шомоил говорит?

Старый кучер понял, что произошла ошибка, что не могли эти рабочие парни совершить подобное злодеяние, он хотел поверить Оширу, но так было написано в записке...

— Да, в самом деле, дядя Мушаил, а что говорит сам Шомоил, кто с ним так поступил?

— Он даже говорить не может, — устало, со слезами

на глазах произнес старик. — Еле живой, лежит без движения, с ночи даже глаз открыть не может...

— Мы откроем эту злую тайну!

— Непременно узнаем!

— Если Шомоил назовет кого-либо из наших рядов, то знайте, дядя Мушаил, мы его будем судить сами, особым судом. Так я говорю, друзья? — спросил Ошир.

— Да, так и будет! — в один голос заявила молодежь.

Тяжело ступая, опустив голову, старый кучер покинул Дом культуры.

ГЛАВА 7

Была суббота. С левой стороны большого зала синагоги, в стенных шкафах лежат десятки тора и слегка завязанные шелковыми нитями старые свитки, а в центре, под огромным висячим семисвечием, украшенный атласом и шелками, стоит амвон.

К концу дня каждой субботы, к тому времени, как раввин (раби) начинает читать тору или произносит молитву (кадиш), вспоминая по просьбе верующих имена усопших родственников, здесь собираются верующие: одни, чтобы вместе с раввином читать священные книги, невесть каким образом завезенные сюда миссионерами, а в последние годы из Каунаса и Вильнюса, а другие, чтобы их послушать. Раби Шемей, с раскрасневшимся от выпитого вина лицом, читает тору. Прочитав главу, он ненадолго замолкает, а потом второпях, скороговоркой, словно его кто-то гонит, начинает бессвязно, порой просто непонятно, переводить прочитанное на свой родной, татский язык.

— Безбожникам, богохульникам худо и смерть посылает не легкую, а мучительную и тяжкую. Их душам нет места ни на земле, ни на небе, ибо худо предал их анафеме и забыл о них. Мы — дети Израиля, народ, избранный самим худо, ибо из всех народов мы к нему ближе всех. Вот почему Создатель оберегает и защищает нас.

Одни слушают внимательно, другие же смотрят на говорящего раввина, однако мыслями далеки от него, ибо столь велики ежедневные проблемы бедной части

населения, что иногда не до разглагольствований священнослужителя. Кроме того, многое из того, о чем рассказывает раби Шемей, неграмотному труженику не понятно. Но слушать надо, хотя бы делать вид, что слушаешь, ибо так приучены они с самого детства до самой смерти.

Однако нынешняя суббота не похожа на все оставшиеся в прошлом, она особенная тем, что сюда, в этот большой молитвенный зал синагоги должны прийти две группы молодежи города, на спор, на выяснение отношений, с целью показать одна другой, что правда на ее стороне, что именно они идут верной дорогой. «Просветители» пригласили комсомольцев . Первые уверены, что они грамотнее, обладают большими познаниями, кроме того, они заранее знают, что на их стороне глава синагоги — раби Шемей и еще богатая часть верующих, а что касается бедноты, то эта, мол, «голытьба» не посмеет ослушаться уважаемого раввина, ибо они не приучены говорить что-либо ему наперекор. «Просветители» уверены, что верующая беднота, как всегда, молча выслушает их спор, так и не сдвинувшись с насиженных мест.

Милих сидел по правую руку от раби Шемея. Он артистически кивал головой, поднимал и опускал брови, всем видом и действиями показывая, что он внимательно слушает уважаемого раввина и прекрасно его понимает. Однако, на самом деле, ни слухом, ни мыслями он не был с «досточтимым» богослужителем, его совершенно не интересовала болтовня раби Шемея. Он преследовал лишь одну цель — доказать собравшемуся люду, особенно бедной, трудящейся его части, что он богопослушен и что никакие катаклизмы жизни не сведут его со святой дороги худо и тора.

Стороннему наблюдателю могло показаться, что в стенах этого святого дома только и знают, что молятся. На деле же здесь происходили события, весьма далекие от его истинного предназначения. Раби Шемей и его подручные по указанию национального комитета «Сион» вели среди верующих антисоветскую, антибольшевистскую пропаганду, сеяли среди иудейской части населения города семена вражды против власти, недоверия к ней, неверия в лучшую жизнь в будущем. Они открыто пропагандировали идеи, якобы превосходства иудеев над другими народами, их богоизбранности, за

что якобы все другие иудеев и ненавидят. А отсюда вывод о том, что наша родина не здесь, а в Израиле, и что нам всем надо уехать туда.

Комсомольцы и их товарищи собрались во дворе синагоги и ждали, пока их пригласят. «Просветители» в качестве хозяев святого дома должны были в назначенный час провести их к месту диспута. Однако время уже пришло, а «хозяева» что-то запаздывали. Наконец, с улицы донеслись звуки саркастического смеха «сытых детей» и они группой вошли во двор синагоги.

Илесеф размашистой походкой приблизился к рабочей молодежи и, словно не к ним, а к стенке, обратился:

— А-а, пришли? Здравствуйте!

— Как видишь! — за всех ответил Ошир.

— О...о, судя по воинственному ответу, настроены вы по-боевому, одним словом, герои!

Друзья Илесефа снова саркастически, громко засмеялись.

— Что ж, в таком случае, пойдемте! — словно не сказал, а приказал Илесеф, входя в молитвенный зал.

Все двинулись за ним. Илесеф со своими друзьями, как хозяева, приблизились к раби Шемею и его приближению и приветствовали их:

— Шобот шолом!

Естественно, в сторону остальных верующих, бедной части населения, они даже не повернулись, для них они не существовали.

Комсомольцы же, войдя в зал, в первую очередь поздоровались именно с теми, кого не признали друзья Илесефа.

— Извините, уважаемый раби Шемей! — громко и торжественно произнес Илесеф, обращаясь к главе синагоги. — Если вы закончили субботнее чтение тора, то можно ли, с вашего разрешения, нам открыть свой диспут?

Раби Шемей сперва повернулся в сторону Милиха, словно спрашивал его согласия, затем, заметив его легкий кивок, произнес:

— Да, дети мои, разрешаю, — вежливо, будто во всей этой затее он скорее сторонний наблюдатель, чем активный участник, ответил раби, — вы дети одного народа, братья, сыновья Израилевы, говорите...

— После революции во всех городах Дагестана, с

разрешения властей, была создана организация «Просветители», — начал говорить Илесеф. — В Дербенте она организована при отделе народного образования. Наша работа на глазах народа и для народа. Кстати, у нашей организации есть и своя печать, она выдана нам Советской властью, вот она, — Илесеф вынул из кармана печать, высоко поднял ее над головой и показал собравшимся. — Какова же наша главная цель? Это, прежде всего, просвещение народа, в первую очередь, молодежи. Мы должны научить людей грамоте, вывести на светлую дорогу знаний, и мы уже многого добились...

— Кроме этого, какую еще цель вы преследуете?— использовав передышку, спросил Ошир.

Милих нагнулся к раби Шемею и тихо на ухо ему сказал:

— Брат Шолума, Ошир. Тот, который в свое время засадил Овроома...

Раби Шемей узнал Ошира.

— Да, знаю этого нечестивца. С ним надо быть осторожным, — также шепотом ответил раби.

— Что ты этим хочешь сказать? — недовольно взглянув на Ошира, спросил Илесеф. — Наши дела на виду у народа, нам незачем прятать свои добрые деяния, вот возьми даже своих ребят, скольким из них мы помогли научиться грамоте!

— Да, помогли, научили грамоте, однако вместе с этим постоянно вливали им в душу желчь, неприязнь к той самой власти, которая дала вам ту самую печать, которую вы с таким воодушевлением показывали. У вас на устах постоянно «народ» да «народ». Если вы так горячо любите этот самый народ, то возьми вот сейчас, принародно, так сказать, и объясни, в чем вы видите разницу между вами и нами?

— Илесеф, сынок, — обращается раби Шемей, словно он в полном неведении, — разве вы не из одной группы?

— Нет, здесь есть и комсомольцы....

— Как же так? — недовольно пробурчал раби Шемей. — Кто бы ты ни был, в этом святом доме надо уважать присутствующих, уважать его правила...

— Что? — удивился Ошир. — Выходит, что мы сами напросились прийти сюда? Да было бы вам известно, что вот уже целый месяц ваш Илесеф твердит, что

якобы народ жаждет нас услышать. Получается, что он, как всегда, обманул нас и устроил этот балаган, чтобы показать, какие, мол, мы неотесанные безбожники? И теперь, раби, вам не нравятся наши разговоры и вы готовы нас выдворить отсюда? А ведь вы всего пять минут назад заявили, что мы братья, что мы дети одного народа, что же произошло за эти пять минут?— ухмыльнулся Ошир.

— В этом доме нельзя находиться без головного убора, — стараясь уклониться от прямого ответа, заявил раби Шемей, — наденьте головные уборы, не нарушайте традиции отцов....

— Мы их сняли из уважения к сидящим здесь нашим отцам и братьям, таким же трудящимся, как и мы. — Потом, взглянув в сторону Илесефа и его друзей, подумал: — «Нет, никогда нам не понять друг друга...» — Вместо того, чтобы говорить о дружбе между людьми разных вероисповеданий и языков, вы, наоборот, сеете семена вражды между ними, исподтишка настраиваете людей против порядков и идей новой власти. А что поется в вашей любимой сионистской песне: «Удло овдо тиков тену!» Если перевести их с древнееврейского на наш родной язык, то это означает: «Мы еще не потеряли надежды!» Понятно, друзья? — Ошир обращается ко всем собравшимся. — В этой песне нет ни слова о нашем освобождении от рабского, унизительного труда, о нашем светлом будущем? Не так ли? Уважаемый раби?

— Язык «родины отцов» богом данный язык! — не обращая внимания на вопрос Ошира, заявил раби Шемей.

— Если это так, уважаемый раби, почему вы даже сейчас, в святом доме, говорите не на языке «родины отцов», а на родном? — смело спрашивает Ошир и, заметив, что раввин не знает, что ему ответить, сам добавляет: — Да потому, уважаемый раби, что этого языка здесь никто не знает и вас никто не поймет. Как же тогда можно его называть языком «родины отцов», если люди этого языка не знают? Ваша неправда видна даже в этом. Однако «просветители» с пеной у рта это доказывают и стараются любой ценой научить людей именно этому языку. Почему, с какой целью? А лишь с одной: чтобы внушить людям, что хотя сегодня мы

разрешения властей, была создана организация «Просветители», — начал говорить Илесеф. — В Дербенте она организована при отделе народного образования. Наша работа на глазах народа и для народа. Кстати, у нашей организации есть и своя печать, она выдана нам Советской властью, вот она, — Илесеф вынул из кармана печать, высоко поднял ее над головой и показал собравшимся. — Какова же наша главная цель? Это, прежде всего, просвещение народа, в первую очередь, молодежи. Мы должны научить людей грамоте, вывести на светлую дорогу знаний, и мы уже многого добились...

— Кроме этого, какую еще цель вы преследуете?— использовав передышку, спросил Ошир.

Милих нагнулся к раби Шемею и тихо на ухо ему сказал:

— Брат Шолума, Ошир. Тот, который в свое время засадил Овроома...

Раби Шемей узнал Ошира.

— Да, знаю этого нечестивца. С ним надо быть осторожным, — также шепотом ответил раби.

— Что ты этим хочешь сказать? — недовольно взглянув на Ошира, спросил Илесеф. — Наши дела на виду у народа, нам незачем прятать свои добрые деяния, вот возьми даже своих ребят, скольким из них мы помогли научиться грамоте!

— Да, помогли, научили грамоте, однако вместе с этим постоянно вливали им в душу желчь, неприязнь к той самой власти, которая дала вам ту самую печать, которую вы с таким воодушевлением показывали. У вас на устах постоянно «народ» да «народ». Если вы так горячо любите этот самый народ, то возьми вот сейчас, принародно, так сказать, и объясни, в чем вы видите разницу между вами и нами?

— Илесеф, сынок, — обращается раби Шемей, словно он в полном неведении, — разве вы не из одной группы?

— Нет, здесь есть и комсомольцы....

— Как же так? — недовольно пробурчал раби Шемей. — Кто бы ты ни был, в этом святом доме надо уважать присутствующих, уважать его правила...

— Что? — удивился Ошир. — Выходит, что мы сами напросились прийти сюда? Да было бы вам известно, что вот уже целый месяц ваш Илесеф твердит, что

якобы народ жаждет нас услышать. Получается, что он, как всегда, обманул нас и устроил этот балаган, чтобы показать, какие, мол, мы неотесанные безбожники? И теперь, раби, вам не нравятся наши разговоры и вы готовы нас выдворить отсюда? А ведь вы всего пять минут назад заявили, что мы братья, что мы дети одного народа, что же произошло за эти пять минут?— ухмыльнулся Ошир.

— В этом доме нельзя находиться без головного убора, — стараясь уклониться от прямого ответа, заявил раби Шемей, — наденьте головные уборы, не нарушайте традиции отцов....

— Мы их сняли из уважения к сидящим здесь нашим отцам и братьям, таким же трудящимся, как и мы. — Потом, взглянув в сторону Илесефа и его друзей, подумал: — «Нет, никогда нам не понять друг друга...» — Вместо того, чтобы говорить о дружбе между людьми разных вероисповеданий и языков, вы, наоборот, сеете семена вражды между ними, исподтишка настраиваете людей против порядков и идей новой власти. А что поется в вашей любимой сионистской песне: «Удло овдо тиков тену!» Если перевести их с древнееврейского на наш родной язык, то это означает: «Мы еще не потеряли надежды!» Понятно, друзья? — Ошир обращается ко всем собравшимся. — В этой песне нет ни слова о нашем освобождении от рабского, унизительного труда, о нашем светлом будущем? Не так ли? Уважаемый раби?

— Язык «родины отцов» богом данный язык! — не обращая внимания на вопрос Ошира, заявил раби Шемей.

— Если это так, уважаемый раби, почему вы даже сейчас, в святом доме, говорите не на языке «родины отцов», а на родном? — смело спрашивает Ошир и, заметив, что раввин не знает, что ему ответить, сам добавляет: — Да потому, уважаемый раби, что этого языка здесь никто не знает и вас никто не поймет. Как же тогда можно его называть языком «родины отцов», если люди этого языка не знают? Ваша неправда видна даже в этом. Однако «просветители» с пеной у рта это доказывают и стараются любой ценой научить людей именно этому языку. Почему, с какой целью? А лишь с одной: чтобы внушить людям, что хотя сегодня мы

здесь, завтра все должны быть в Иерусалиме, вот, мол, какую надежду мы еще не потеряли...

— Нет, это неправда! — возмутились Илесеф и его друзья.

— Хотите вы этого или нет, мы все равно будем говорить на том языке, на котором говорим, ибо он и есть наш родной язык, мало того — это язык наших отцов, — твердо заявил Ошир.

— Никто не знает, что нас ждет впереди, — задумчиво ответил Илесеф, — к языку «родины отцов» мы все равно вернемся. И вообще, кому это мешает?

Испугавшись поворота событий, раби Шемей вначале посмотрел в сторону молодежи, потом на Милиха, однако тот сидел, словно спор его вовсе не касался. Иногда он ,как умудренный жизнью человек, подмигивал знакомому крестьянину, мол, видишь, какие дети у нас растут? Он не торопился, он был похож на полководца, для которого исход сражения давно известен. Однако в душе у него скребли кошки: «Да, недооценили мы Ошира! Подумать только: как держится, какое достоинство, да, конечно, именно за ним и пойдет молодежь, вожак! Жаль, вовремя не удалось ему заткнуть рот... а заткнуть надо...»

Милих невольно вспомнил отца Ошира, покойного Сави. Хотя и не было у него богатства, как у брата, Овроома, а ,наоборот, жил очень скромно, можно сказать, даже бедно, все же людей не обижал, жил с достоинством, не унижался. Потому и любили его люди, тянулись за помощью или советом. Трудолюбивый, спокойный, уравновешенный, он всегда старался, по возможности, помочь. На какие только ухищрения и издевательства ни шел Овроом, однако согнуть и подчинить себе Сави он так и не сумел. Перед смертью Сави долго болел и однажды, заметив больного брата своего хозяина, сгорбившегося у дороги, Шомоил-кучер посадил его на фаэтон, с намерением отвезти домой, как вдруг, словно из-под земли, появился Овроом и с криком притворного возмущения, будто не узнал родного брата, накинулся на кучера:

— Кто посадил этого человека на фаэтон господина? Кто посмел это сделать? — и Овроом стал кнутом хлестать мальчика-кучера. — Разве, нечестивец, ты не знаешь, что там, где сидит господин, другому не место?

— Остановись Овроом, не бей ребенка, — слезая с

фаэтона, сказал Сави. — Он не виновнат. Я себя плохо почувствовал и попросил скорее доставить домой...

Однако Овроом снова поднял кнут, чтобы отхлестать кучера, но Сави, схватив его за руку, жестко взглянул на брата:

— Не забудь этот день, он и тебя не минует...

Воспоминания Милиха были прерваны возмущенным возгласом раби Шемея:

— Не мы, а вы делите целое на части, один народ на богатых и бедных, вы вносите разлад в жизнь людей!

— Вот как? — с возмущением переспросил Ошир. — Значит, это мы сеем семена вражды между людьми? А вы, значит, хотите, чтобы все были братьями, и богатые и бедные, скажем, и Милих, и Мушаил-кучер, и волк, и заяц?...

По рядам верующих пробежал тихий смешок.

— Если так, — продолжал Ошир, — если братские чувства живут в сердцах богатых, то почему же ни один из них, видя обездоленных, раздетых и голодных детей бедных, не протянул им руку помощи, не дал им даже одного абаси? Я что-то такого благородства за богатыми не замечал. Но зато видел, как богатый господин хлестал кнутом своего слугу, пинал его ногами, унижал и издевался над ним. Что же это за братство? Точно такое же братство ожидает тех, кто, поддавшись пропаганде «просветителей», собирается уехать в Иерусалим.

По рядам верующих на этот раз пробежал уже неприкрытый смех.

Илесеф и его друзья, будто онемевшие, не знали, что сказать, они уже поняли и признали свое поражение и хотели лишь одного — как можно скорее завершить этот спор.

— Замолчи, нечестивец! — с возмущением произнес раби Шемей. — Ты все перевернул с ног на голову, здесь не балаган, веди себя достойно!

— Остановитесь, дети мои, не торопитесь обвинять друг друга, наберитесь терпения, — произнес Милих, оценив ситуацию. Он понял, что именно сейчас ему надо сгладить острые углы спора, ибо опоздать с вмешательством — это значит полностью потерять свое влияние на бедную часть населения.

«Этот хитер, — подумал Ошир, с интересом приглядываясь к Милиху, — хитер, способен сухим из воды вылезти. Понимает, что если мы с друзьями сейчас оставим их в этом шоке и покинем зал, за нами непременно последуют те верующие, которые давно подозревали служителей Бога в обмане и нечестности, тогда их сюда и силой не затолкаешь...»

— Остановитесь, не торопитесь, — снова произнес Милих, преградив дорогу Оширу. — Извини, сынок, можно ли спросить тебя, почему ты по поводу или без него всегда обвиняешь меня? Да, не скрою, я был богат, однако всему городу известно, что я все свое богатство отдал государству: два рыбных промысла, все виноградники, четыре каменных дома. Я отдал все это сам, по собственному желанию, так как мои интересы не расходятся с интересами власти, хотя и я когда-то жил в нужде, и богатство досталось мне не легко. В это трудное время моя помощь власти бесценна! А что дал ты новой власти, что хорошего сделал ты ей? Я, конечно, понимаю, что ты молод, как говорится, молодо-зелено, и потому не всегда видишь, где друг, а где враг. И потому нельзя весь народ считать врагом, наоборот, он в помощи нуждается...

Милих прервал свою речь, будто не хотел больше говорить о вполне понятных вещах, как многоопытный человек проявляет недовольство на глупые высказывания собеседника. Однако через несколько секунд, еще больше распалившись, продолжал:

— Если мы с тобой вместе пойдем в горком, кому больше поверит новая власть, тебе, Оширу, брат которого бежал с бандитами, или мне? Кто знает, почему ты не бежал с братом, с какой целью остался здесь. может быть, специально, чтобы вредить власти? Кто знает?...

Илесеф и его дружки сразу приободрились и каждый со своей стороны громко говорил:

— Да, он враг народа!

— Надо сообщить об этом в горком!

Однако большинство верующих, особенно бедная часть, начали смеяться над словами Милиха, уж кого-кого, а Оширa в городе знали хорошо.

— Кто...о? Ошир — враг Советской власти? — высмеивая Милиха, заговорил один из верующих, известный в городе весельчак, — ха... ха...

— Что здесь смешного? — возмущенно накинулся на того Милих.

— От твоих слов, Милих, не только смеяться, от них икать хочется! — глядя ему в глаза, смело заявил весельчак. — Ты, Милих, в свое время допустил одну большую ошибку. Когда отдавал Советской власти богатство, не отдал впридачу и свое коварство, свою лисью хитрость. Ты что думаешь, мы настолько дураки, что не можем отличить друга от врага? Глубоко заблуждаешься, Ошира мы знаем, ему мы верим, ибо он с головы до пят предан этой власти. И все твои попытки облить его грязью, очернить, ничего тебе, кроме нашей общей неприязни, не принесут. Теперь ты понял, почему я смеюсь над твоими «мудрыми» словами?

— Меня здесь все знают, — обращаясь к верующим, заявил Ошир, — что касается моего брата, он не сбежал, нет, ему заморочили голову, обманом увезли отсюда. Одно время я верил, что вы на самом деле решили стать на сторону Советской власти, изменили образ мыслей, но сегодня убедился, что глубоко ошибался — вы опаснее открытого врага! Да, вы не соврали, что часть своих богатств отдали государству, сохранив большую. Не скрою — хитрый ход. У вас большой опыт не жалеть денег, когда надо обойти трудности. Так было и тогда, когда мы с оружием в руках защищали эту власть от врагов разных мастей, от банд Деникина и разбойников-турок. Вы делали тогда все, чтобы эта нелюбимая вами власть не выдержала, пала. Вы что думаете, мы забыли об этом?

Поняв, что обстановка вышла из-под его контроля, что разговор складывается не в его пользу, Милих испугался и стал незаметно пробираться к дверям. Однако Ошир, увидев это, преградил ему дорогу и неожиданно спросил:

— Какое свое богатство вы отдали государству?

— Как, какое? — удивился Милих. — Да будет благословенна земля Иерусалима, все знают, что я отдал...

— Промыслы, виноградники, дома? — спросил Ошир. — Разве все это ваше?

— Да, а чье же?

Ошир улыбнулся и твердо заявил:

— Нет, это было не ваше, а народное, ибо все это было создано трудом и потом трудящихся. И по праву перешло к подлинному хозяину. В 1916 году, когда мы

воевали под Смоленском, чем занимались вы? В 1918 г., когда большевики, мобилизовав всех трудящихся, выступили против деникинцев и целой контрреволюционной своры, чтобы спасти в том числе и Дербент от оккупантов, что делали вы? Что же вы молчите? Если вам нечего ответить, я за вас скажу. Нас, бедных, беззащитных людей вы тогда отправили на войну, а сами стали богатеть. И теперь вы удивляетесь тому, что мы многое узнали, можем открыто, не боясь, высказать это вам прямо в лицо. Ибо школой нашей была сама жизнь, суровая, голодная и холодная, среди пуль и снарядов, беспощадная, закалившая нас как сталь. И рядом с нами были тогда наши русские братья, такие же бедные, как мы. Это они учили нас распознавать врага в личине друга, бить его до полного уничтожения. Это они научили нас строить новую свободную, счастливую жизнь будущего...

Милих не знал, что ответить, он растерялся и искал, где бы спрятаться, но спрятаться здесь было негде. Илесеф с друзьями, видя затруднительное положение отца, старались прийти ему на помощь, то тут, то там раздавались их выкрики против Ошира, мол, не дает никому говорить, но собравшиеся тут же затыкали им рты и вновь требовали:

— Говори, Ошир! Мы тебя слушаем!

— Говори смело, не таясь, об всем!

— Ты прав, брат, мы знаем!

— Вы думаете, — снова обращается Ошир к Милиху, — что мы не догадываемся о вашем двурушничестве! Нет, мы уже давно не те забитые «овечки», которых вы знали раньше. Мы теперь уже многое понимаем. Комитет «Сион» очень старается внушить нам, что наша родина не здесь, а в Иерусалиме, и, мол, поэтому надо немедленно уезжать туда. Почему они так стараются? А потому, чтобы весь рабочий люд уехал, работать здесь было некому, и таким образом вредить Советской власти. Они настолько ненавидят новую власть, что готовы ради этого отдать и спрятанные деньги и золото. Да, у вас большие аппетиты, господа... Если вы хотите знать, товарищи, — обратился Ошир к верующим, — точно такие же мысли вынашивает и мусульманский «Национальный комитет». И у них одна цель — свержение Советской власти. На первый взгляд кажется, что у «Сиона» и мусульманского «Национального комитета» раз-

ные программы, разные задачи, а на деле у них одна цель. Забыв о своих программах и разногласиях, они сегодня объединились для борьбы против власти большевиков. Они согласны на все, даже на создание «мусульманской республики», лишь бы не Советская власть...

— Неправда, мы никогда об этом не думали! — раздался голос одного из «просветителей».

— Вот как? Неправда, значит? — Ошир обвел взглядом собравшихся. — Нет, мы неправду не говорим, мы изо дня в день все больше и больше раскрываем ваши тайные замыслы... Пройдет совсем немного времени, и мы окончательно докопаемся, кто же все-таки совершил поджог в здании ЧК, кто помог сбежать заклятому врагу Советской власти Овроому. Будьте уверены, обязательно докопаемся...

— О чем ты говоришь? — вскричал Милих. — Причем здесь я? Я в полном неведении!

Потом, убедившись, что его протесты никого не трогают, Милих задумался: «Да, этот мальчишка стал просто невыносим. Жаль, в свое время убить его не удалось. Теперь уже я сам приведу этот приговор в исполнение, не откладывая в долгий ящик. Я не позволю этому сопляку унижать себя, не позволю...»

«Из-за Тозе-юль, главным образом, ради нее, я тогда пожалел Милиха, не назвал его имени в ЧК, однако этот намного опаснее своего нетерпеливого свояка Овроома, с ним надо постоянно держать ухо востро, — подумал Ошир, в упор разглядывая Милиха, — он — настоящий враг...»

— Отвечай же, Милих! — воскликнул бывший его слуга.

— Отвечай! — строго потребовали другие.

Старые и молодые, вскочив со своих мест, окружили Милиха. Если бы в эту минуту у него в руках оказался пистолет, он непременно выпустил бы в Ошира всю обойму. От тяжелой ненависти к нему, безысходности своего положения, его вдруг пробрал холод. А Ошир, еще больше успокоившись от сознания своей правоты, продолжал:

— И Илесефа, сына своего, вместо того, чтобы учить быть преданным, вы, наоборот, хотите вырастить врагом новой власти. Это такие, как вы под видом обучения масс направляют «просветителей» на враждебные

действия, на выполнение целей и задач националистического комитета «Сион». Однако ваши попытки обречены на провал, ибо с каждым днем мы становимся опытнее и мудрее. Вот, посмотрите, — с этими словами Ошир приблизился к Илесефу и молниеносно, схватив за лацкан его пиджака, повернул наизнанку. На груди Илесефа заблестел шестиугольный значок, в центре которого было высечено слово «Сион». — Что теперь скажете? Если вы не таите враждебные мысли, почему же ваш сын носит этот значок?

Милих стоял, словно окаменевший, он не мог произнести ни единого слова. Если Ошир знает даже такие секреты, то он представляет крайнюю опасность не только для дела, но и лично для его жизни, а потому уничтожить его —задача номер один. А Илесеф — простофиля, настолько далек от реальной опасности, что даже на этот диспут пришел со своим значком. Надо же, как все глупо вышло! Теперь Ошира не остановить...

— Какую же задачу ставит перед собой национальный комитет «Сион», в который входите и вы? — продолжал свою речь Ошир. — Вы хотели бы с помощью своего верного рупора — «просветителей» заморочить людям головы, особенно молодежи, внести в их ряды раздор, разлад, натравить людей одной национальности на другую, делается попытка внушить иудеям, что мы одно целое, и бедные и богатые и должны поддерживать друг друга, мол, для нашего народа люди других национальностей, в том числе и русские, не могут быть друзьями, а лишь только врагами... Можно ли с вами согласиться? Конечно, нет, мы не можем идти у вас на поводу, не будем танцевать под вашу зурну, ибо такая мысль враждебна нам, она противоречит нормальному духу человека. Мы хотим мира и спокойного труда, а вы хотите, чтобы мы убивали друг друга. Не бывать этому!

— Не бывать! Никогда не позволим! — Так с разных сторон поддержали Ошира его друзья.

Молчал и раби Шемей. «Боже мой! — думал он, слушая Ошира — зачем мне надо было лезть в этот спор, как говорится: «Айран выпил — живот разболелся». А этот, хотя и молод, но умен, все с раскрытыми ртами слушают его...»

— Оставьте свои козни, дайте людям делом заниматься! Мы — молодые, во главе с большевиками, здесь,

на этой земле, именно на Родине наших отцов и дедов, своим созидательным трудом построим новую жизнь. Нам Иерусалим не нужен. Вы видите, хотя, вероятно, и не чувствуете: многие из нас живут не сытно, а порой и голодно, не одеты, многое разрушено и требует восстановления, во многих семьях дети и женщины остались без отцов и мужей. И вместо того, чтобы помочь им в это трудное время, вы, наоборот, натравливаете их друг на друга, еще более осложняя им жизнь. И еще хочу сказать, что вашим тайным планам никогда не осуществиться! Поэтому оставьте нас в покое. Нам нужно немного времени, чтобы преодолеть эти трудности и дать, наконец, людям то, чего они лишены. — Сказав эти слова, Ошир повернулся к раби Шемею. — И вы, раби, задумайтесь обо всем этом... Вам нелишне подумать над тем, что прихожан в эту обитель с каждым днем становится все меньше и меньше, ибо люди убеждаются в вашей двуликости, двурушничестве. На сторону Советской власти приходят даже те, кто вчера были раввинами. Вот, далеко ходить не надо, рядом со мной стоит бывший раби, а ныне один из лучших наших пропагандистов, уважаемый Евдо. Сейчас он обучает детей грамоте на родном языке. Вот это и есть настоящая борьба с неграмотностью. В наших рядах есть и сыновья бывших раввинов: Мушоил — замечательный комсомольский пропагандист, Шебетей — рабочий депо, Бирхие — сапожник...

Доселе молчавший Илесеф неожиданно произнес:

— И мы немало сделали!

— На меня не надейся! — заявил вдруг один из группы Илесефа, перейдя на сторону рабочих ребят.

— И на меня тоже! — заявил и второй из этой же группы.

Ошир от радости не сумел сдержать улыбки. Его окрылило то, что прямо здесь, в этом большом зале синагоги стали редеть ряды «просветителей», еще немного, и Илесеф останется один. Именно так и должно было случиться, таким должен быть финал всякого дела, основанного на лжи и обмане...

Раби Шемея душила злость, он весь напрягся, лицо стало красным, и в глазах вспыхнули огни такой ярости, что появись у него в эти минуты возможность, он бы придушил Ошира собственными руками. «Смотрика, как разошелся, никому и сказать не дает...» — ду-

мал он свою нерадостную думку.

Не находил себе места и Милих, не знал, как убежать и спастись от назойливых обвинений Ошира. «Ну и дела-а...! Ну и времена настали! — невесело думал Милих. — Сын бедняка, который, можно сказать, вчера еще моей тени боялся, ишачил, гнул спину за кусок хлеба, грязная сволочь, теперь загнал нас в клетку!» Милих уже ничего не хотел, ни тайной, ни открытой борьбы, лишь одного: собрать все свои богатства, добавив к ним то, что оставил в Овроом, и бежать, куда угодно, в любую страну, только бы не жить при этой ненавистной власти...

— Стыдитесь, дети мои! — тихо и дружелюбно заговорил Милих, будто все, о чем здесь говорилось, было не о нем, будто не он был свидетелем той жестокой правды, которая обрушилась на него. — Здесь божественный дом, сюда люди пришли помолиться, они заслуживают уважения...

Один из комсомольцев, Евдо, не смолчал:

— Мы сюда не по собственному желанию пришли, если мы надоели тебе и раби Шемею, мы можем и уйти, — с усмешкой заявил он.

— Ты?! — удивленно спросил раби Шемей, обратившись к Евдо, который совсем недавно был одним из самых талантливых и образцовых раввинов города. Перед ним стоял не тот тихий и богопослушный раввин, а освобожденный от оков, окрыленный жизнью молодой человек.

— Да, это я, — ответил Евдо, — спасибо, что узнали, а то я было подумал, что вас стала память подводить.

По залу прошелся дружный смех. Раби Шемей, возмущенный таким поворотом дела, обиженно взглянул на Милиха, будто хотел сказать ему: «Вот что вы наделали!»

— Да, да, молодежь правильно говорит, мы сюда не по собственному желанию пришли, — твердо заявил Евдо, показывая на Илесефа и все еще верных его друзей. — Это они нас сюда пригласили, пригласили с надеждой нас опозорить, над нами посмеяться. Однако они просчитались и никогда не сбыться их мечтам, ибо они основаны на лжи. Я знаю, раби, что вам мои слова будут не по душе, так как я в свое время с вами вместе таким вот бедным людям немало головы морочил.—Он

обратился к верующим — Извините меня, братья, я виноват перед вами. Я под руководством вашего раби Шемея забивал вам головы, хотя сам во все это не верил. Я благодарю Советскую власть за то, что она избавила меня от такой двуликости, от лжи и обмана, в котором я жил. Хотите, я вам кое-что расскажу?

В зале раздался смех одних, недовольство других, и за этим шумом нельзя было услышать даже соседа. Высоко подняв руку, Ошир призвал молодежь к порядку:

— Давайте дадим нашему другу сказать свое слово!

— Дядя Милих, — строго взглянув на Милиха, заговорил Евдо, — вы помните, как однажды, я, как раввин, был приглашен к вам домой резать барана, а он оказался нечистым, харамным? Не помните? Ну, конечно, подобные вещи вы не любите запоминать... Помнится, вы тогда мне пригрозили, чтобы я молчал, а мясо этого барана поели не только сами, но и угостили своих гостей. Вы знали, что по законам шариата, харамное мясо есть грешно, а угощать других крайне бессовестно? Конечно, знали, однако вы знали и то, что соблюдение подобных законов — глупость, что все это не для вас, а для забитых и безграмотных людей, над которыми довлели никому не нужные адаты шариата. Вы, как всегда, на словах призывали других, а сами эти адаты не соблюдали...

— Уйди вон, безбожник! — заорал на Евдо раби Шемей.

Милих тоже хотел отрицать этот факт, однако, поняв, что за возникшим в зале шумом его никто не услышит, спрятался за людьми и промолчал.

— Однако вы решили выступить в защиту «просветителей». — Евдо показал в сторону Илесефа и его друзей. Вы считаете, что «просветители» более грамотны, более культурны. В таком случае, где же их культура? Я думаю, что культурный человек не может быть лжецом, не имеет права быть против свободы и независимости личности. Нет, вы не культурные, а блюдолизы, подхалимы. — И заметив, что собравшиеся внимательно слушают его, Евдо продолжил: — В этом зале я был свидетелем многих бессовестных и преступных деяний этих, так называемых, богослужителей. Хотите расскажу?

— Да, да, мы слушаем!

— Конечно, расскажи!

— Вон отсюда, безбожник!

— Бог покарает тебя!

— Расскажи, не обращай внимания на раби Шемея!

— Вижу, что многие хотят узнать правду, в таком случае, слушайте...

— Слушаем!

— Говори!

Ошир был счастлив успехами своих товарищей, а ведь он боялся, что они с друзьями не сумеют одолеть «просветителей», хотя верил в силу своих убеждений. Теперь же, тех будто и нет в зале, а Милих и раби Шемей, словно мыши, ищут, в какую бы нору спрятаться. Очень хорошо, что не отказались от приглашения!

— Вы, раби, — начал свой рассказ Евдо, — всегда говорили мне, что, мол, людям другой национальности доверять нельзя, что они не могут нам быть друзьями, что мы — евреи должны друг другу помогать, так сказать, крепить свои связи. Но когда вы поняли, что не можете противостоять революционным силам, сразу же «подружились» с национальными комитетами мусаватистов и дашнаков. Выходит, вам дружить можно, а нам нет? Вы, богатые представители разных верований и национальностей, объединились с твердым намерением убить большевика Рахмилова за то, что он узнал о тайных намерениях «Сиона». И, если бы я его тогда не предупредил о грозящей опасности, вы его обязательно бы убили. Где же тогда ваше так называемое «братство»? Справедливости ради надо сказать, что с того времени ряды ваши поредели, но цели и задачи остались те же. И теперь, раби, и я знаю, и все мы знаем, кто для богатых друг, а кто враг. Вы, богатые и раввины, — подлинные враги рабочего человека! Рабочие всех национальностей и всех стран — братья, и это братство, раби, победить нельзя!

— Вот вам и «братство»! — смеясь, заключил один из молодых прихожан, обращаясь к удрученному раби Шемею.

В зале раздался смех.

— Пошли, Милих, я смотрю, у этой молодежи не осталось ни стыда, ни уважения к старшим, — обиженно заговорил раби Шемей, приглашая Милиха последовать за ним к выходу. — А тех, кто забыл об этих истинах, ждет несчастье и божья кара...

Однако Милих с места не двинулся, он прекрасно понимал, что если сейчас же покинет синагогу, то этот шаг окончательно будет воспринят как враждебный и потом смыть с себя это пятно будет невозможно. И потому он мучительно искал выход, как бы не дать этой натянутой струне взаимоотношений оборваться, хотел превратить все в шутку, мол, даже в одной семье бывают разногласия. «Черт возьми! — думал он, сердясь на самого себя, — в такую острую минуту и нужные слова никак не приходят... А что если постыдить сына, Илесефа, мол, как тебе не стыдно из-за какого-то спора обижать друг друга и т. д.?!»

И Милих собрался было приступить к исполнению своих намерений, как вдруг Ошир приблизился к раби Шемею:

— Вам, раби, никто не запрещает выполнять свои обязанности. Каждый вправе распоряжаться собой. Однако в наши дела не вмешивайтесь! В самом деле, что вам до того, как мы хотим жить? Если вам не нравится то, что мы предлагаем, то, пожалуйста, скатертью дорожка, идите, куда хотите... А мы с этими людьми найдем, о чем говорить. Если хорошо подумать, здесь можно было бы открыть клуб рабочей молодежи...

— Нет! Вы не имеете права! — словно сумасшедший, вскричал раби. — Вон отсюда, безбожники! Братья, боговерующие! Теперь вы видите? Мало того, что они здесь наговорили, теперь гонят нас из собственного дома, из божьего дома!..

— Мы не допустим подобного святотатства! — с возмущением вскричал Илесеф. — Даже гачаги-разбойники такого себе не позволяли...

Последние слова застряли в горле у Илесефа, он изменился в лице, словно его внезапно ударила молния. Он побледнел, но затем, придя в себя, стал испуганно оглядываться, медленно подался назад, как мышь в поисках спасительной норки. Однако ни спрятаться, ни бежать возможности не было, его обуял страх и он, как жертва питона, смотрел и не мог отвести взгляда от дверей синагоги...

Все были удивлены этой внезапной переменой в поведении Илесефа. Одни, разглядывая его, старались лучше рассмотреть и понять причину такой метаморфозы, другие же направили взгляд туда, куда смотрел побелевший Илесеф. И не могли не заметить, как Мушаил-

кучер, вытирая заплаканные глаза, входил в синагогу. Заметив испуганный взгляд Илесефа и его стремление спрятаться за кем-нибудь, старик с возмущением направился прямо на него и вскрикнул:

— Куда бежишь, нечестивец! — И, схватив того за ворот пиджака, добавил: — Я и не знал, что эта записка — дело поганых рук твоих дружков. Мол, Шомоила избили комсомольцы и вина лежит на них. Хитро задумано, ничего не скажешь. Ну, а теперь, собачий сын, объясни этим людям, зачем вы это сделали, с какой целью! Говори! — вскричал на него старик. — А не то, клянусь Богом, я сам на этом же месте решу твою судьбу!...

Илесеф, побледнев пуще прежнего, словно загнанный волк, не знал, куда себя деть...

— Не дрожи, негодяй, говори! Я не стану пачкать свои руки о твое поганое тело. Отвечай, тебе говорят!— Но увидев, что Илесеф, словно малярийный, дрожит от страха и не в состоянии что-либо сказать, старик повернулся лицом к собравшимся и рассказал удивленному люду об издевательствах Илесефа и его дружков. — Вначале я чуть было не поверил в эту бессовестную записку, накинувшись на ребят-комсомольцев. Однако час назад сын пришел в себя и рассказал, как эти скоты с ним поступили. А теперь, раби, ответь, кому же мне верить? Вы все время твердите, что комсомольцы —. безбожники, беспутные, никчемные, однако эти человеконенавистники, убийцы, которых вы боготворите, выходит, они лучше?...

— Кого вы спрашиваете, дядя Мушаил? — вступил в разговор Ошир. — Раввин тоже из этой шайки. Подойдите к нам, я вам скажу, что надо делать.

Поняв, что собравшиеся получили яркое подтверждение истинной сути таких, как Милих, Илесеф, «просветители» и раби Шемей, Ошир решил, что наступил момент, когда надо уходить. Он еще раз взглянул на раби Шемея и твердо, как приговор, произнёс:

— Вы постоянно твердите народу, что им не по пути с большевиками, ну а теперь честно скажите людям, хоть один раз честно признайтесь, раби, кто же истинные враги народа?! Только большевики хотят людям добра и справедливости, все свои помыслы, труд и жизнь они отдают делу служения народу. Да, я знаю, вы признаться в этом не можете, не хотите, ибо вы желаете

только одного, чтобы рабочий человек гнул спину за гроши, а настоящий доход за свой труд оставлял вам и вам подобным. И народ, наконец, понял смысл ваших желаний, на какие грязные дела вы и ваши друзья способны, люди открыли глаза и вновь обмануть их вы уже не сможете...

Раздались возмущенные голоса:

— Да, действительно грязные дела!

— Бессовестные, бесчеловечные дела!

* * *

— Это тебе за твой дурацкий спор! Это за Шомоила-фаэтонщика! Это за тупость твоих друзей! — Милих с возмущением наносил Илесефу пощёчины. — Дурак! Кто тебя учил вот так необдуманно, бездарно говорить при народе, да ещё в синагоге? Ты что, потерял бдительность, забыл, в какое время мы живем? Ты что думаешь, нас все любят? Разве ты забыл, что если среди этих босяков нам один друг, то десять — враги! Кто уполномочил тебя завалить такое важное дело? Башка садовая! Сколько же можно тебя учить? Дело надо сделать так, чтобы комар носа не подточил, тихо, исподтишка, в лицо улыбаться, а в спину бить! А вы? Дураки безмозглые! Ну, скажем, решили посмеяться над этим фаэтонщиком, зачем было записку писать?!

Илесеф терпел и молчал, он не знал, что ответить разбушевавшемуся отцу, как сгладить свою вину.

— Ну, что ты, онемел что-ли? Почему не скажешь ничего?

— Я... я думаю...

— О чем же ты думаешь, сынок? — с иронией и возмущением спросил Милих. — Что же это за думы появляются в твоей дурной голове, если ты напрочь забыл о моих уроках? Эх! — в сердцах воскликнул Милих. — Недаром говорят, что «детеныш утки уже в яйце знает воду». Сколько стараний, сколько денег в конце концов, отдано на то, чтобы тебя чему-то научить, а все коту под хвост!

— Я же не один там был, чего же ты меня одного винишь во всем?

— А кого же мне винить, если не тебя — вожака стада баранов? Как же вы, не подумав, не подготовившись, не просчитав каждый шаг и каждое слово, реши-

ли провести такую встречу!? Знаешь ли ты, дурья голова, что вы не только себя покрыли позором, да и нас подставили под огонь? Знай же, сопляк, что если разговор состоялся сегодня, то вред от него мы будем ощущать завтра и еще долго. Я-то, простак, поверил тебе и твоим друзьям, что вы люди грамотные, солидные, все обдумаете, как следует подготовитесь! Если бы я знал, я бы не позволил вам собираться в синагоге.

Возмущению Милиха не было конца. Распаляясь, он то садился, то снова вставал.

— Своими действиями вы из забитого, слепого старика Мушаила, сделали зрячего! Что он знал, кроме того, что как ишак работал да исправно посещал синагогу? А теперь он заговорил, теперь он знает своего врага в лицо. И именно вы делаете таких, как он друзьями новой власти. И Советская власть должна вас за это благодарить. Да что там говорить, всё равно до ваших пустых голов это не дойдёт! Позови-ка Тозегюль, пусть чаю принесёт.

Илесеф обрадовался, что, наконец, отец перестал его пилить. Не успел он покинуть комнату, как увидел, что Тозегюль уже несла отцу чай.

— Неси, неси, отец чаю просит... Только жаль, что сейчас он не в настроении, а то бы я ему непременно рассказал о твоих взаимоотношениях с Оширом.

Тозегюль, не обращая внимания на угрозу брата, молча прошла мимо с подносом в комнату отца. Следом появился и Илесеф.

— Ну-ка, сядьте, — приказал им Милих. — Небось, наслышана о фокусах брата? — обратился он к Тозегюль.

— Да, слышала, — ответила она.

Заметив, что гроза миновала и отец малость успокоился, Илесеф решил, что наступил благоприятный момент, и тут же этим воспользовался.

— Честно говоря, я был довольно навеселе, да и мои друзья тоже, ну и наделали глупостей. Но ведь я не могу за всех отвечать...

Тозегюль даже не взглянула на брата, словно того и не было в комнате, однако на замечание отца отреагировала неожиданно:

— Большинство горожан, отец, живут впроголодь, а они каждый день у всех на виду пьют и гуляют...

Милих замер и, подняв брови, удивленно взглянул на дочь:

— Я что-то не соображу, тебя что тревожит?

— Я говорю о том, что негоже в такое трудное время у всех на виду предаваться веселью. Разве я не права, отец?

«И эта туда же, — недовольно подумал Милих, — революционная зараза и ее не минула», — а вслух заметил:

— Тебя-то почему это тревожит?

— Я же вижу, как людям трудно, отец, есть такие, которые не выдерживают и погибают.

— Это их Бог наказывает за непослушание, за то, что позарились на чужое богатство, — спокойно, словно речь шла не о человеческих жизнях, ответил Милих. — Пусть тебя, дочка, это не тревожит, каждый получает по заслугам.

— Разве мы не часть этого народа? — не согласилась Тозегюль с отцом.

Милих недовольно нахмурился, он ещё раз убедился, что в водовороте будней не заметил перемен в собственном доме, что тревожные события в городе оставили след и здесь, в этом, казалось бы закрытом от мира, особняке.

«Вот это удача! — обрадовался Илесеф, заметив недовольство на лице отца, вызванное словами сестры. — Ты, дорогая, сама лезешь в пасть волку. Если я сейчас этот тлеющий костер залью маслом, он вспыхнет на твою голову...»

— Ну это не твоя забота, — наконец ответил Милих. — О своих гражданах должна заботиться власть, если она таковой является. Тебя пусть это не тревожит, — он словно поставил точку в этом разговоре.

Съежившись будто от удара, Тозегюль опустила голову, она поняла, что легче гору с места сдвинуть, чем убедить отца в чем-то. Поэтому она лишь тихо произнесла:

— Хорошо, отец, я поняла...

— Если поняла, доченька, то это меня радует. А тебе, Илесеф, надо учиться этому у своей сестры, — уже более миролюбиво заметил Милих, обращаясь к сыну.

— Вот как? — ухмыляясь, заметил Илесеф. — Ну тогда пусть она расскажет и о записках, которые получает.

— О каких записках? — непонимающе взглянул Милих на дочь.

— Не знаю, — простодушно ответила Тозегюль.

— Как не знаешь? — словно волк на овечку, ринулся Илесеф на Тозегюль. — Я сам видел у тебя в руках записку от Оши...

— Вон отсюда! — не дослушав последнее слово, вскричал Милих, доведенный до бешенства. — Кому я говорю? Оба немедленно оставьте меня!

Побледнев, но не опустив головы, Тозегюль покинула комнату отца.

— А ты кого ждешь? — с ещё большим возмущением спросил Милих Илесефа, все ещё не торопившегося уходить.

— Сейчас уйду, — ответил Илесеф, но с места не сдвинулся. Его мучила сейчас одна тайная мысль, нет, не связанная с сестрой, о ней он решил поговорить с отцом в более спокойной обстановке. А потому он, словно в раздумье, не торопясь, убирая со стола пустой чайный стакан, сахарницу и поднос, как бы невзначай сказал:

— Извини, отец, то, что случилось, уже случилось, и мы знаем, что допустили ошибку, но подскажи нам, как ее исправить, как притянуть к себе молодежь города и исполнить поставленную задачу?

Милих, как уставший от всего человек, в эту минуту даже говорить не хотел. Однако он понимал, что если сейчас не помочь сыну, не дать ему нужный совет, тот вообще сломается, и общему делу будет нанесён непоправимый урон, хотя уже сегодня «просветители» оказались в изоляции. «Эх, что теперь делать! — удрученно подумал он. — Придется все начинать заново...»

— У вас, что, головы нет? Или выпитое вино ьконец иссушило ваши мозги? Я вам постоянно твержу, что в вашем деле торопливость недопустима, надо потихоньку, исподволь, тайно, не открыто, а втихую доводить до молодёжи, что мы евреи, а потому мы люди особые, непохожие на людей другой национальности, более умные, богоизбранные. Даже это на первых порах надо так говорить, так пропагандировать, чтобы комар носа не подточил: одно слово открыто, вслух, а два — шепотом, чуть слышно. Понял или снова повторить?

— Да, отец, я тебя внимательно слушаю.

— Кроме того, надо донести до сознания нашего на-

рода, что мы, «просветители», не враги им, что мы их братья, одна кровь, так сказать, и что родина наша не здесь, что мы здесь словно в тюрьме, в постоянной тревоге, а потому всем надо стремиться бежать отсюда, бежать на «родину отцов». Вот и всё, всякие другие лишние слова только повредят делу...

— И это я понял, отец, — ответил Илесеф.

— Если ты помнишь, там, во время вашего спора, Ошир ненароком высказал мысль, что, мол, хорошо было бы вместо синагоги открыть клуб?

— Да, помню, — удивленно ответил Илесеф, обратив внимание на поразительную память отца.

— Сказав это, они допустили большую ошибку, и вам надо этим воспользоваться, надо разъяснить людям, что большевики на словах за свободу, а на деле всем затыкают рты, дышать не дают, запрещают даже пропагандируемую самими же свободу вероисповеданий. Но опять же шепотом, втихую, без шума...

— Ты — гигант, отец! — восхищаясь родителем, произнёс Илесеф.

— Ты вчера вскользь заметил, — не обращая внимания на лесть сына, продолжал Милих,—будто комсомольцы хотят в клубе открыть театр?

— Да, в эти дни они усиленно этим занимаются...

— Вот видишь, тебе ещё один урок, вчерашние босяки, безграмотные и бессловесные, дают вам фору! А вы — грамотные, образованные, дальше собственного носа не видите. Деньги у вас есть, знания есть—создайте свой театр, лучший, красивый, привлекательный, поставьте свою пьесу, но опять же хитро: название во славу новой власти, а содержание — против неё. Кроме того, надо вашим людям войти в ряды комсомола, устройте спектакль, мол, двое-трое из ваших на идейной почве вошли с вами в конфликт и ушли от вас. Пусть они вступят в комсомол, не понаслышке, а изнутри узнают, о чем они думают, что замышляют. Противника нельзя недооценивать, сынок... Пойте новые песни, но некоторые слова ,будто случайно, не нарочно, измените так, чтобы все перевернуть с ног на голову.

— Сегодня молодежь города поёт песни о войне, о комсомоле, о коммунизме, — недовольно заметил Илесеф.

— И вы пойте, но только на свой манер, так, как я вам подсказываю. Короче, делайте так: когда смотрите

в лицо — вы друзья, а за спиной — враги, чтобы они никак не могли в вас разобраться. Используйте любую их ошибку, тут же доводите это до людей, но так умно, тонко, приукрашенно, преувеличенно, чтобы, как они сами выражаются, из искры возгорелось пламя.

Войдя в раж, Милих, не таясь, рассказал сыну о своих тайных замыслах. Илесеф восторженно слушал отца.

ГЛАВА 8

Клуб был полон рабочей молодежи, яблоку негде было упасть. Кое-кто, за отсутствием стульев или скамеек, разместился прямо на полу. На импровизированной сцене пока никого нет. Только и слышны разговоры и смех по поводу вчерашнего спора в синагоге.

— Видели бы раввина, — замечает один, — хотел нас из синагоги выгнать...

— Да что там раввин, вы видели состояние Милиха? — говорит другой. — На него было жалко смотреть, он раз десять менялся в лице, то бледнел, то синел, то снова бледнел...

— А Илесеф, этот выскочка, сперва павлином ходил, а потом нашкодившим зайцем...

В эти дни повсюду в городе только и слышны были разговоры о происшедшем в синагоге. Сегодня молодежь и комсомольцы собрались в клубе тоже по этому случаю, их никто специально не вызывал. Как никогда раньше, сюда пришли сегодня и люди постарше.

— Мы раньше думали, дядя Мушаил, — обращается к кучеру-фаэтонщику один из молодых рабочих, — вас даже воробышек не испугается, а тогда в синагоге я своими глазами видел, как Илесеф — этот самовлюблённый барчук, когда вы его схватили за ворот, испугавшись как мышь, искал себе нору...

— Подождите, подождите, вы мне лестью голову не кружите и не делайте из меня героя, — недовольно заворчал старый кучер, — давайте об этом поговорим потом. Я хочу вам выразить свое неудовольствие. Насколько я понимаю, вы комсомольцы?

Все были удивлены подобной реакцией старика Мушаила, никто не понимал причину его недовольства. Однако пострадавший от рук «просветителей» Шомоил, сын дяди Мушаила, недовольно заявляет:

— Что ты говоришь, отец?

— Я знаю, что говорю! Я хотел тогда этому толстопузому барчуку надавать как следует тумаков, отвести душу, а они, комсомольцы, мне помешали, вот поэтому я ими недоволен...

Все засмеялись, поняв намек старика.

— Но ведь так нельзя, дядя Мушаил...

— А им можно? — не согласился он.

— Они совсем другое, у них нет человечности.

— Тогда, где же ваше геройство? — не унимался старик.

— Где бы мы ни были, дядя Мушаил, — ответил один из комсомольцев, — мы прежде всего обязаны проявить человечность, а уж потом, если пойдут против нас, мы проявим и геройство...

Появившийся в этот момент секретарь горкома комсомола подошел к дяде Мушаилу и крепко пожал ему руку, а потом на русском языке спросил:

— Как вам нравится наша молодежь, дядя Мушаил?

— Она прекрасна! Я люблю этих красивых ребят, как своих собственных, — с чувством, немножко на ломаном русском и на родном языке ответил старик. — Я счастлив, что моя дочь Сенем и сын Шомоил в одном ряду с ними.

— Да, они здесь в родной семье, ибо здесь, в основном, дети таких же, как вы, трудящихся, которые своим трудом приближают наше светлое завтра. Я уверен, что в скором времени вы будете еще более счастливы...

Разговоры, разговоры... Молодежь обсуждает различные проблемы, ищет ответы на возникающие вопросы. Семен Малкин, заметив оживленно беседовавшего Ошира, обрадовался. В клубе не только татская молодежь, здесь, как у себя дома, молодые рабочие-азербайджанцы, армяне, русские, из горных сел нет-нет, да появляются лезгинские и табасаранские парни. Одна семья, словно дети одних родителей.

— Извините, пожалуйста,—приблизившись к Оширу, обращается к нему рабочий парень, — вы говорили, если я приду в клуб, то поговорим. А о чем будем говорить?

— Разве нам не о чем поговорить? —улыбаясь, отвечает Ошир, не спуская при этом глаз с Тозегюль. — Тебе нравится здесь?

— Да, я очень рад...

— Есть не только, о чем поговорить, но и что сделать, — вмешивается в разговор Бирхиё. — Конечно, дорогой брат, на все вопросы ты сразу ответа не получишь, но в свободное время приходи в клуб...

Бирхиё здесь завсегдатай, его все знают, он сын бывшего раввина, однако несколько месяцев назад, недовольный действиями отца и его друзей, он покинул семью.

— Ты прав, друг мой, — говорит ему Ошир, — здесь на все вопросы ты сумеешь найти ответ. Поговорим — послушаем, но обязательно найдем правильный ответ. Вот, скажем, Бирхиё, он образованнее нас, и жизненного опыта немало, давайте послушаем его...

— Согласны, рассказывай Бирхиё, особенно о раввинах, — соглашаясь с Оширом, замечает Семен Малкин.

Все понимают, что лучше и больше Бирхиё о раввинах никто из присутствующих не знает.

Бирхиё, будто недовольный собой, вначале опускает голову, но потом, заметив неподдельный интерес собравшихся друзей и товарищей, соглашается и начинает свой рассказ:

— Проповедники иудейской веры — раввины почему-то всегда поддерживают богатых и всегда повторяют мысль, якобы и богатство, и бедность от Бога. Мол, каждому свое. А потому, считают они, никто не должен быть недовольным своей жизнью, однако богатые, во исполнение «божьей милости» иногда должны помогать бедным. Поэтому в субботние дни богачи приглашают к себе во двор бедняков и угощают их оставшейся от своих вчерашних пиршеств едой и одаривают поношенной одеждой. Бедняки немножко поедят, а остальное, спрятав в свои нищенские сумы, уносят голодным и раздетым детям. Однако никогда в эти дни богач с бедняком за один стол не садился, считал это для себя позором. Бедным людям было и невдомек, что так быть не должно, они считали, что и в самом деле Бог одарил их подобной судьбой, будто так на роду у них написано. Поэтому в течение многих веков бедный работает на богатого, ломает спину за него, чтобы еще больше наполнить утробу своего хозяина...

— Да, действительно, так и есть...

— Мы немало гнули спины, обогащая богатых! — Из разных мест раздавались голоса присутствующих.

— Да, друзья мои, вы были не только свидетелями, но и участниками этих издевательств, — соглашается Бирхиё, — однако и сегодня есть люди, которые верят подобным разглагольствованиям раввинов, которые за нищенскую сумму до седьмого пота работают на толстосумов.

— Да, некоторые еще и сегодня находятся в плену религиозных предрассудков и потому не могут освободиться от тенет богачей, — заявил убежденно один из молодых.

— Верно, это ни для кого не секрет...

— Клянусь могилой родителей, вы правильно говорите, — улыбнувшись, заявил Фархад, — если бы не Ошир, я по сей день жил бы в невежестве, не сумел бы освободиться от религиозной кабалы...

Не торопясь, не вмешиваясь в разговор присутствующих, Бирхиё внимательно слушал своих друзей. Он был рад, что они, не таясь, говорили о самом сокровенном. Потом , заметив, что разговор идет к концу, он снова продолжал:

— Поэтому долг всех нас объяснить каждому рабочему, каждому молодому человеку, что люди рождаются одинаковыми, а не богатыми и бедными, как стараются нас убедить. Теперь пусть и богатые, как и мы, зарабатывают на хлеб своим трудом. Кто не работает, тот должен остаться голодным!

— С такими людьми, — на ухо Оширу тихо сказал Малкин, — можно свергнуть не только богачей, но и большие горы...

— Конечно, — ответил Ошир, — однако и нам нужна ваша помощь.

— Что? — с какой-то тайной мыслью переспросил Малкин. — Нет, друг мой, теперь мы сами ждем от вас помощи. Видишь, какие у тебя выросли орлы, как они, убежденные в правоте своего дела, ведут разговоры. Один Бирхиё чего стоит!

— Откуда мы пришли в Дагестан? Раввины на этот вопрос дать ответа не могут, однако, честно говоря, и я тоже ответить затрудняюсь. Но на этой земле, на земле древнего Кавказа родились и умерли наши деды и прадеды. Кто знает, сколько веков живет наш народ здесь и говорит на татском языке, однако «просветители»

вкупе с раввинами делают все, чтобы мы позабыли свой родной язык и говорили на древнееврейском. Вы сами свидетели, в нашем языке из древнееврейского лишь несколько слов, и даже их мы как следует не понимаем. Поэтому раввины читают тора на древнееврейском языке и делают вид, что переводят на наш родной язык. Но чтобы ни делали они, наш народ разговаривает на своем родном татском языке.

Все с огромным вниманием слушали Бирхиё. Семен Малкин тихо на ухо Оширу прошептал:

— Наверное, Бирхиё давно готовился к этому разговору?

— Нет, он много над этим вопросом работает...

— ...Когда бы ни пришли наши люди сюда, они всегда с народами Дагестана жили в дружбе и согласии, в трудную минуту оказывали друг другу помощь,— продолжал свой рассказ Бирхиё. — Однако, кое-кто старается в нашу дружбу вбить клин. Почему, кому это нужно, кому хочется посеять вражду между народами? Раввин, мулла и священник совместно с богачами. И наш долг рассказать всем, независимо от национальности, донести до них правду, что не национальность причина вражды между людьми, лишь богачи являются врагами рабочего класса...

«Жаль, — подумал про себя Ошир, — что мало сегодня в клубе людей старшего поколения, как было бы здорово, если их было бы больше...»

После того, как Бирхиё закончил свой рассказ, молодежь стала задавать ему многочисленные вопросы.

— Как будет в дальнейшем с женами и дочерьми?

— Они тоже, как мужчины, будут работать, — вместо Бирхиё ответил Ошир.

— Как?

— Женщины будут работать в артелях...

— Сказать легко, а что они будут делать там? — спросил Мушаил-фаэтонщик.

— У дяди Мушаила свои заботы, у него в доме целая артель, — заметил один с улыбкой.

Многие улыбнулись.

— Дядя Мушаил совершенно правильно спрашивает, — не приняв иронии, серьезно заметил Ошир, — у него на самом деле несколько взрослых дочерей и от них советской власти сегодня никакой пользы нет. Вот почему городской комитет партии решил открыть в го-

роде артель по производству джурабов и, можешь быть уверен, дядя Мушаил, что женские руки там понадобятся.

— Женщины будут получать там наравне с мужчинами?

— Да, совершенно одинаково, — неожиданно с места высказалась Сенем, сестра Шомоила. Она хотела еще что-то сказать, но ,застеснявшись, опустила голову.

В поддержку Сенем высказался Ошир:

— Ну что же ты остановилась, сестра, не стесняйся, здесь нет чужих, все твои братья и сестры.

— Вчера к нам в город приехала русская девушка из Москвы, — почувствовав поддержку, сказала Сенем. — Она рассказывает, что во многих городах мужчины и женщины вместе работают и вместе учатся...

Радости Семена Малкина не было границ, все, что здесь происходило, было подтверждением правоты партии большевиков, решивших построить новую жизнь. «Однако Ошир чего-то задумчив», — подумал про себя Малкин.

— Что-то случилось, друг мой? — спросил он его.

— Нет, ничего особенного, — ответил Ошир, — признаться, боюсь, что нам не всегда будет так везти...

— Не бойся и не переживай, — обняв друга за плечи, сказал Малкин, — если мы и дальше в таком же темпе будем работать с молодежью, — нам дорогу никому не закрыть... Кроме того, ты совершенно правильно поступил, что пригласил сюда Тозегюль. Она с таким воодушевлением беседует в том углу с девушками, будто знает их уже не один год. Я подумал и решил поручить ей организацию театра и дать место в отделе народного образования, но ей сейчас особенно нужна наша помощь...

— Конечно, мы не имеем права сейчас оставить ее одну, — ответил Ошир, — я уверен в этом! А за работу для нее большое тебе спасибо. Я верю, что она с этой работой справится!

...Хотя ночь перешагнула на вторую половину, из клуба никто не торопился выходить.

— Мне кажется, друзья, что каждый из вас понял наши задачи и проблемы, необходимо вести работу с людьми. Наш клуб будет теперь открыт каждый день, приходите, поговорим, послушаем, дел всем хватит, — пожимая друзьям руки, прощался с ними Ошир.

Не говоря ни слова, Тозегюль весь вечер не отрывала от Ошира глаз. Ей нравилось, как Ошир, не торопясь, разговаривал с людьми и терпеливо их выслушивал.

— Теперь, мой дорогой Ошир,— улыбаясь, заметил Гусейн, — буду приходить и без твоего приглашения..

— Приходите, когда хотите, в любое время. Дня через два будет готова и пьеса, готовится спектакль «Сын бедняка», — в разговор вмешался Бахши.

Сегодня чего-то Бахши больше молчал. Однако его смешные замечания, веселые шутки, интересные каламбуры нет-нет, да вызывали смех у молодежи. Его едких высказываний страшно боялись богачи города. Ошир вспомнил, как однажды Милих, решив посмеяться над Бахши, спросил его с иронией: «Что-то, Бахши, твои волосы постоянно взлохмачены?» Недолго думая, тот молниеносно ответил: «Клянусь твоей головой, дядя Милих, как бы мои волосы ни были взлохмачены, все же не на столько, как твои дела». Это едкое замечание Бахши вызвало хохот собравшихся, и Милиху ничего не оставалось, как, опустив голову, быстро уйти домой.

Молодежь потихоньку расходилась по домам. Как никогда, сегодня в клубе было много народу..

Сердечно попрощался с Оширом и Тозегюль Семен Малкин.

— Мне кажется, что Тозегюль ты проводишь до дому? — улыбнувшись, сказал Малкин.

— Конечно, — ответил Ошир, поняв смысл его слов. — Кроме меня эту дорогу никто не знает.

Хотя время было позднее, они не торопились расстаться. Потом, опомнившись, Ошир с тревогой спросил:

— Тебя родители искать не будут?

— Пусть, — в сердцах воскликнула Тозегюль, — если даже убьют меня, признаюсь тебе, что только сегодня, в эту ночь я поняла, что начинаю жить заново,— потом задумчиво добавила: — Искать, конечно, обязательно будут...

— Они что, не знают, куда ты пошла?

— Нет... Честно скажу тебе, Ошир, если бы была возможность, я бы домой даже не пошла, настолько опротивела мне такая жизнь, — опустив голову, тихо сказала Тозегюль, — но куда идти?

— Потерпи немного, дорогая, — взяв ее руку, отве-

тил Ошир, — найдем какой-нибудь выход. И наш друг Малкин дал слово решить вопрос о твоей работе.

— Да-а? — радостно воскликнула Тозегюль, и, схватив руку Ошира, прижала ее к щеке. — Большое тебе спасибо, мой родной, ты меня очень обрадовал!

Ошир и Тозегюль дошли до ворот ее дома. Он обнял девушку и поцеловал.

— Спокойной ночи, любовь моя! — разомкнув, наконец, объятия, сказал Ошир.

— Спокойной ночи, родной! — ответила Тозегюль.— Будь осторожен, что-то у меня нехорошее предчувствие, сердце мое тревожится...

Ни Тозегюль, ни Ошир, расходясь, не заметили, как где-то рядом спряталась чья-то тень.

ГЛАВА 9

Ошир шел домой не торопясь, с улыбкой вспоминая прекрасные черты своей любимой. Настроение было настолько хорошее, что он с трудом сдерживал себя, чтобы не запеть во весь голос. «Хороша ночь, — подумал он довольный, — небо чистое, кругом тишина и покой...» Однако тревожные думы всё же не покидали его даже в эту наполненную покоем и чистотой счастливую ночь.

... Уже несколько раз с выверенной последовательностью кто-то приносил и закладывал ему под дверь угрожающие записки. Кому-то очень нужно было, чтобы Ошир замолчал. Этот кто-то, предупреждая, с угрозой писал: «Если ты, Ошир не хочешь потерять голову, придержи язык и перестань ходить в клуб. Знай, твои дни сочтены!..» Вспомнив об этой угрозе, Ошир иронически улыбнулся и бесстрашно подумал: «Мы ещё посмотрим, чьи дни сочтены! Собаки воют, ветер дует... Повоете, повоете, да перестанете! Не таких скручивали и вам, «дружки мои», не долго хорохориться... Главное, сегодня это то, что народ прозрел, разобрался в вас и его уже не обмануть. Правда разбойники-гачаги все не угомонятся, всё ещё показывают свой звериный оскал. Вот и вчера в депо предательски, из-за спины, ударом по голове убили комсомольца Тираха. Хороший был парнишка, через несколько дней должен был же-

ниться... Нет, успокаиваться рано, нельзя сидеть и ждать, когда враг успокоится, надо поднимать молодёжь и много таких, как Тирах, встанут в наши ряды».

Он вдруг вспомнил спор в синагоге. Его радовало, что, наконец, удалось снять маски с лиц «просветителей», да, теперь большая часть трудящейся молодежи за ними не пойдёт. Уже заметно, что с того дня они потеряли многих своих приверженцев. Редеть стали их ряды. Надо идти дальше — в ближайшее время в театре поставить свою пьесу. Уверен, к нам придут даже те, кто всё ещё сомневается, не знает, к какому берегу пристать. Это очень важно. Радует и согревает душу ещё и то, что за это взялась Тозегюль. Она постарается, чтобы наш театр был лучшим.

События минувшей недели чередой проходили перед его мысленным взором. Они настолько увлекли его, что он не заметил, как кто-то тайком оказался за его спиной и так же предательски, как перед этим Тираха, чем-то тяжелым ударил его в затылок. Ошир пошатнулся, хотел повернуться и взглянуть на своего врага, однако второй удар свалил его с ног. Враг, увидев распластанное тело, злорадно улыбнулся, приблизился к своей жертве и с силой несколько раз ударил его, полумертвого.

* * *

— Ну, спасибо, друзья мои, пора идти, — вставая из-за стола, стал благодарить Гусейна и Сурию Фархад. — От души наелся, прямо раздулся.

— Куда ты торопишься? — вопрошали гостеприимные хозяева. — Оставайся сегодня у нас, места всем хватит, а утром прямо отсюда пойдете с Гусейном на работу.

— Нет, нет, — решительно отказался Фархад, — я должен идти, что-то неспокойно у меня на душе. Тревожусь я за Ошира, кто-то в последнее время посылает ему записки с угрозами.

— А почему в ЧК не сообщили?

— Что сообщать, если их автор неизвестен.

— Не имеет значения, они найдут.

— Клянусь могилой родителей, — радостно ответил Фархад, — так и надо сделать. Ну, я пошел.

Еще раз попрощавшись с друзьями, Фархад поки-

нул гостеприимных хозяев и направился в сторону дома. Но в 30-ти шагах от дома он заметил распростертого на земле человека. Сердце Фархада тревожно забилось, он ускорил шаги, нагнулся и, узнав рубашку Ошира, повернул его лицом вверх.

— Вай, Аллах! Ошир, друг мой, — с ужасом воскликнул Фархад, с тревогой оглядываясь по сторонам,— какой собачий сын убил тебя?!

Вначале он растерялся и не знал, что предпринять, то прикладывал ухо к груди Ошира, то, как сумасшедший, вставал и бегал вокруг, стараясь найти кого-нибудь, чтобы позвать на помощь. Но когда убедился, что вокруг никого нет, Фархад напрягся, с трудом поднял тяжелое тело друга на руки и, не теряя времени, отнес его в комнату. Нет, Ошир не умер, биение молодого сердца все же с трудом прослушивалось. Однако все его лицо и голова были в крови.

— Что же делать? — положив Ошира на старый, видавший виды матрац, растерянно произнес Фархад.— Даже тряпок нет, чтобы перевязать ему голову. Вай, Аллах, что делать?

Разыскав старое полотенце, Фархад торопливо, кое-как вытер кровь вокруг раны на затылке и обмотал им Оширу голову, потом промыл ему лицо и шею. Хотя Ошир и дышал, но в сознание не приходил.

«Что делать? — в который раз в отчаянии думал Фархад, оказавшись в безвыходном положении, — не могу же я его оставить и уйти за помощью, кто знает, может быть, враг рядом», — с тревогой рассуждал он, лихорадочно шагая из угла в угол.

До утра Фархад не сомкнул глаз и не отходил от Ошира. Он, как мог, сделал раненому легкий массаж сердца, снял свою рубашку, намочил ее и протер ему ноги. После этих процедур Ошир малость пришел в себя. А к утру, открыв глаза и увидев Фархада, еле слышно спросил:

— Ты почему не спишь, заболел что ли?

— Да что я, со мной ничего не будет, — сев рядом с другом, все еще с тревогой ответил Фархад. — Кто тебя ударил?

— Не... не знаю..., — он вновь потерял сознание.

Фархад намочил полотенце, которым ранее обвязал ему голову, протер ему руки, ноги и положил на

лоб. Через некоторое время Ошир, снова придя в себя, тихо произнёс:

— Пойди... быстро... к Семену Малкину и сообщи обо мне...

— Хорошо, сейчас же схожу, — обрадованно ответил Фархад, — а Тозегюль сказать?

Ошир отрицательно покачал головой:

— Нет, не нуж...но...

Фархад в стакан с чаем положил последний кусочек сахара и протянул Оширу:

— Прошу тебя, выпей этот чай...

Ему с трудом удалось уговорить Ошира сделать несколько глотков.

— Теперь иди, друг мой, но Тозегюль ни слова...

— Хорошо, клянусь могилой родителей, я мигом вернусь. Только, прошу тебя, не вздумай встать...

Проводив Фархада взглядом, Ошир притронулся к затылку, застонал от боли и стал вспоминать события прошлой ночи. Он вспомнил, как расстался с Тозегюль, как шел мимо синагоги, как прошел мимо большой чинары, где обычно собиралась на праздники молодежь, потом... он как будто вновь ощутил сильный удар по голове и потерял сознание...

Ошир не чувствовал и не видел, как уже битый час вокруг него, вся в слезах, хлопотала Тозегюль. Намочив холодной водой свой платочек, она протирала ему виски, грудь и ноги. Она стеснялась своих слёз, но ничего с собой поделать не могла. Через некоторое время по просьбе Семена Малкина пришел и фельдшер, который тут же каким-то антисептическим раствором очистил Оширу раны на голове и теле и, наложив на них мазь, сделал перевязку. Дав больному таблетки и, оставив несколько штук на последующие дни, он наказал его не трогать и соблюдать постельный режим.

Услышав плач, Ошир открыл глаза и увидел Тозегюль:

— Ты? А кто... тебе... Ах, Фархад...

— Да, дорогой, это я. Только молчи, фельдшер не велел тебе разговаривать, — поправляя ему подушку и ничуть не пряча своих слез, говорила Тозегюль. — Вот почему тревожилось мое сердце...

— Фархад ушел на работу?

— Да, только что.

— Ему досталось... он всю ночь глаз не сомкнул.

А ты как вчера дошла домой? — с беспокойством спросил Ошир.

— Без всяких происшествий. Кто ударил тебя?

— Сзади, я не заметил..., — с трудом выговорил Ошир, — я всё о тебе думал, беспокоился...

— Если бы не мать, отец чуть не убил меня вчера, — вся ещё в слезах отвечала Тозегюль. — Лучше бы убил... Потом вдруг появился запыхавшийся Илесеф, что-то сказал отцу на ухо и тот, успокоившись, взял его за локоть и увел в другую комнату.

— Илесеф... — словно в забытье произнес Ошир.

Ему стало немного лучше, но он всё ещё был слаб. Хотя он не хотел, чтобы об этом происшествии узнала Тозегюль и расстроилась, всё же он был рад, что она рядом и невредима, ибо с первой минуты, как пришел в сознание, его мучили тревожные вопросы, не случилось ли что с ней тоже. Он сделал попытку приподняться, но тупая боль в затылке заставила его откинуться на подушку.

Заметив это движение, Тозегюль мягким прикосновением попросила его чуть повернуться на бок с тем, чтобы подложить под него шерстяное одеяло. Увидев чужое одеяло, Ошир недовольно спросил:

— Откуда это?

— Это моё одеяло, я принесла. — будто умоляя его быть послушным, ответила Тозегюль.

— Мне чужая вещь не нужна, особенно от богачей.

— Прошу тебя, не обижай меня, — продолжая своё дело, просила его Тозегюль, — повернись чуть-чуть, дай мне подложить его под тебя, ты же лежишь почти на земле, а доктор поручил постелить тебе что-нибудь мягкое.

Ошир недовольно отвернулся:

— Ты меня обижаешь, я потом своим друзьям и в глаза посмотреть не сумею.

— Эти одеяло и подушка принадлежат мне, — я прошу тебя, дорогой, разреши мне постелить их тебе. Неужели ты не видишь, что я уже ничего не стыжусь, ни адатов, ни суда людского, среди бела дня пришла в твой дом, ибо кроме тебя, дороже тебя у меня никого нет. Я не стыжусь сказать тебе, что ты и моя радость, и моё счастье, и моя любовь. Без тебя мне и жизни не надо! — Тозегюль горько заплакала.

— Ладно, не плачь, — увидев слёзы любимой, ответил Ошир. — Стели, раз это всё твое.

Тозегюль только этого и ждала, она быстро, сложив одеяло в два слоя, постелила его Оширу, затем, осторожно приподняв его голову, подложила мягкую подушку.

Ошир теперь уже не отказывал ей ни в чем. Это почувствовала и Тозегюль, она набрала стакан воды из ведра, что стояло в углу комнаты, вышла на улицу и умылась. Отеки под глазами явно говорили о том, что ей пришлось немало поплакать. Вытерев лицо, она взяла тарелку с супом и с довольной улыбкой села рядом с Оширом:

— А теперь надо поесть, небось, голоден со вчерашнего дня?...

— Честно говоря, есть не хочется, — ответил Ошир, заметив принесенную ею еду. «Если откажусь есть, снова обижу её, — подумал он, — если быть до конца честным, она в данной ситуации ни при чем и не может отвечать за отца и брата. Конечно, она все это делает любя, никаких других мыслей у неё нет. Нет, я не имею права её снова обидеть...»

— Хотя и нет аппетита, но есть надо. Тебе надо подкрепиться, дорогой, хотя верю, что иногда больному есть не хочется, — взяв из тарелки ложку супа, Тозегюль поднесла её Оширу.

— Я не ребенок, сам поем, — Ошир сделал попытку приподняться, но Тозегюль решительно остановила его.

— Нет, нет, доктор велел тебе лежать, а потому терпи, друг мой.

Накормив Ошира, Тозегюль своим платком вытерла ему губы и поправила подушку.

Ошир с нежностью смотрел в глаза Тозегюль. Столько было в них любви и доброты, так они звали его ,что Ошир, не выдержав, бессильной рукой взял Тозегюль за плечо, притянул к себе и прильнул губами к её зардевшейся щеке.

— Знаешь что? — с какой-то тайной мыслью спросил Ошир.

— Что? — счастливо улыбнувшись, в свою очередь спросила Тозегюль.

— Во всем мире в эту минуту нет человека счастливее меня!

— И меня! А потому..., — немного подумав, добавила Тозегюль, — теперь уже я домой не вернусь!

— Как? — удивился Ошир, пристально взглянув на неё.

— Час назад, когда здесь был товарищ Малкин, он сообщил мне радостную весть о том, что с завтрашнего дня я перехожу работать в отдел народного образования. Но главная задача — организация работы театра.

— Вот как?! — обрадовался Ошир, однако, подумав, недоуменно спросил: — А где ты будешь жить?

— Где? — Тозегюль вопросительно посмотрела на Ошира. «Если ты меня сейчас позовешь к себе, — подумала она, — я, не раздумывая, останусь с тобой, даже в этой маленькой комнатушке». «Я понимаю, — говорил с собой Ошир, — я бы очень хотел, любовь моя, не расставаться с тобой, но ты же видишь, мне даже не на чем спать, надо немного повременить...»

— Я буду жить у моей подруги Сенем, она согласна. Об этом я говорила и с товарищем Малкиным, он тоже согласен.

— Трудно тебе будет, да и твои покоя тебе не дадут, — задумчиво сказал Ошир. — Ты подумала?

— Да, знаю, — с грустью ответила Тозегюль, — но я так решила и не отступлюсь. Уже сейчас мой братец готов меня убить...

— Не трусь, мы никому не позволим тебя даже пальцем тронуть, я буду рядом, дорогая.

* * *

На рассвете кто-то постучал Оширу в дверь.

— Ошир, друг мой, открой, это я, Фархад.

Впустив его, Ошир встревожился:

— Что случилось, Фархад? Ты весь запыхался.

— Меня послал Малкин, чтобы я сообщил тебе о том, что у здания горкома партии собирается весь актив города, два часа назад разбойники-гачаги убили двух наших товарищей.

У здания горкома партии народу собралось много. Протянув Оширу руку, Семен Малкин тепло поздоровался с ним:

— Чувствуется, что враг не дремлет: три-четыре дня назад до смерти избили возницу коньячного комби-

ната и отобрали хлеб, который он вёз рабочим, вчера убили двух наших товарищей, которые возвращались с работы домой. Пошли, нас пригласил секретарь горкома партии.

— Ты уверен, что это дело рук разбойников-гачагов? — в раздумье спросил Ошир.

— Да, их видели, когда они, совершив преступление, убегали, — ответил Малкин. — Ладно, потом разберемся, пошли, нас ждут.

— Слышал? — протянув Оширу руку, вопросом приветствовал его секретарь горкома партии Шахбазов.— Товарищ Малкин рассказал тебе о преступлениях гачагов? Враг пошел в наступление, а потому нельзя дремать и нам, пора собирать на борьбу с ними боевые отряды. Сорок коммунистов выделил горком партии, два отряда молодежи соберите вы.

— Первым в отряд запишите меня, — горячо предложил свою кандидатуру Ошир.

Шахбазов взглянул на Малкина, будто ждал его согласия и, когда Малкин не возразил, пожал Оширу руку:

— Спасибо, я был уверен, что в такой трудный час ты будешь впереди. Вечером вместе с Малкиным соберите в клубе комсомольцев и рабочую молодёжь, объясните положение.

Клуб был переполнен, яблоку негде было упасть. На трибуну поднялся Семен Малкин:

— Товарищи! Я не буду скрывать от вас, что в городе создалась критическая ситуация. Советская власть в опасности. Народ голоден и раздет. Враги из кожи лезут вон, чтобы вернуть прошлое. По ночам из лесов Табасарана в город проникают разбойники-гачаги, чтобы грабить и без того живущих в нищете граждан, убивать наших братьев, активистов и комсомольцев. Поэтому нам необходимо создать молодежные отряды, как это сделали коммунисты, на борьбу с разбойниками. Полчаса назад первым в молодёжный отряд записался и наш друг Ошир.

— Запиши и нас! — в один голос заявили братья Ашуровы.

— И меня, — подал голос молодой рабочий с коньячного комбината.

— Меня тоже!

— Запишите меня, товарищ Малкин!

Каждый подходил и говорил свою фамилию. Желающих оказалось значительно больше, чем требовалось.

В раздумье сидела рядом с подругой Тозегюль, она очень старалась не выдать Сенем свои тайные тревоги.

— Запишите и меня! — твердо заявил Бахши.

— Нет, ты должен остаться здесь, у тебя и без этого дел по горло! — ответил Ошир.

— Почему же, разве у других их нет? — не согласился Бахши.

Один из весельчаков в шутку заявил:

— Мы наслышаны, что наш брат Бахши настолько труслив, что тени своей боится, поэтому тебя в отряд брать нельзя.

— Нет, ты не прав, братец, — поняв его юмор, весело заявил Бахши, — тень, наоборот, боится моего друга — солнца, как только оно появляется на небосклоне, сразу прячется от меня, как последний трусишка...

Смех прокатился среди молодежи. И в этот момент в клуб вошел товарищ Шахбазов. Увидев известного в городе большевика, молодежь затихла. Секретарь горкома поднялся на сцену и что-то тихо сказал Малкину и Оширу. Ошир поднялся и заявил:

— Товарищи! Несколько слов нам хочет сказать товарищ Шахбазов.

— Товарищи, мои молодые друзья! Каждый раз, когда я прихожу сюда, моей радости нет границ. Именно на вашем примере я вижу, как растут и крепнут наши ряды и потому вера в торжество наших идей крепнет и развивается. Именно вы, не обращая внимания на временные трудности, увеличиваете свои ряды, вносите свой достойный вклад в дело социалистической революции! Я знаю, я убежден, что никто из вас не хочет возврата прошлого. Большое вам спасибо.

— Конечно, не хотим!

— Хватит, натерпелись от толстопузых богачей!

— Не позволим задушить нашу свободу!

Голоса молодых не затихали. Шахбазов, подняв руку, успокоил их и продолжил:

— Когда большевики взяли власть, кое-кто не верил в нашу силу, среди народа распространялся слух, что мы — временные, что наша власть умрет в колы-

бели, как слабый и больной ребенок. Однако мы день ото дня крепнем, ибо главным, основным источником силы новой власти являетеся народ, его вера и поддержка, его верные сыны, такие, как Ошир.

После выступления Шахбазова вокруг него собралась молодежь, задавая вопросы и выслушивая ответы. Ошир показал ему список отряда по борьбе с разбойниками, и Шахбазов остался довольным той большой работой, которую он провел вместе с Малкиным. Потом, после его ухода, Ошир обратился к записавшимся:

— Друзья мои, завтра в 7 часов утра собираемся у здания горкома партии, а тем, кто остается здесь...

— Не волнуйся, мой друг, здесь все будет идти так же, как при тебе! — с улыбкой уверенно заявил Бахши.

— Я так и думал! — обняв Бахши за плечи, сказал Ошир. — Я уверен в нашей победе, друзья мои!

* * *

Ошир и Тозегюль, не торопясь, тихо беседуя, шли домой. Он чувствовал, что она очень расстроена предстоящей разлукой, что беспокоится за него, перестали улыбаться даже её нежные глаза. И как она ни старалась скрыть это, у неё не получалось. Она понимала, что Ошир, как вожак молодежи, не мог, не имел права не быть первым, что быть в отряде — его долг, однако её разум и сердце никак не могли прийти к согласию, разум понимал, а сердце не хотело этого делать.

И Ошир чувствовал и понимал, что в этот труднейший период жизни Тозегюль, когда она, как никогда, нуждалась в нём, оставлять её одну никак нельзя. Мало того, он знал, что Илесеф, её брат, преследовал Тозегюль, шел за ней по пятам, каким-то образом узнал о её местожительстве и работе, а потому представлял для неё очень большую опасность. И это его крайне тревожило.

— Извини меня, родная, — словно читая её мысли, произнёс Ошир, — но я по-другому поступить не мог, слишком многое отдано за нашу власть.

— Разве я против?! — глубоко вздохнув, ответила Тозегюль.

— Ты же видишь, родная, враги совсем распоясались, теперь уже в открытую объявили нам войну.

Вчера убили наших товарищей, завтра и до нас доберутся. Да и добрались, если бы в ту ночь меня Фархад не нашел...

— Ты не волнуйся, со мной ничего не случится. Главное — береги себя, — Тозегюль взяла Ошира под руку и нежно прижалась к нему.

— В течение трёх-четырех дней мы их найдем и обезвредим, нам их логово известно. Мужайся, родная, и жди меня. — Ошир обнял любимую и крепко поцеловал.

Они, обнявшись, гуляли в эту ночь, забыв обо всем, не желая расставаться, но время неумолимо шло вперед...

* * *

В тот период, о котором идёт повествование, улицу, где расположена и сегодня действующая синагога, называли «Большой» или «Глиняной улицей». Домики, что были расположены на ней, представляли собой сараи, покрытые глиняными крышами, а дворики были настолько малы, что образно могли сравниться с «плешивыми пятачками» некоторых мужчин. В дождливую погоду улица превращалась в месиво непролазной грязи и огромных луж. Почему эту улицу, где, в основном, проживали тогда иудеи, называли «Большой», по сей день остается тайной, разве что в насмешку или с надеждой...

Семья Мушаила-кучера жила в одном из таких глиняных домиков, а дворик достался ему в наследство от такого же, как сам хозяин, бедняка-отца. Однако, хотя и домик, и дворик были малы и с трудом вмещали всех домочадцев, всё же были они ухожены и блистали чистотой. Мушаила-кучера отличали трудолюбие и аккуратность, таким же качествам он учил своих детей. Когда бы ни пришлось оказаться у него во дворе, увидеть хозяина праздно шатающимся было нельзя, наоборот, он всегда был чем-то занят, то он с молотком чинил пошатнувшиеся ворота, то с лопатой в руках обрабатывал участочек, что был не больше, чем субботний лаваш. Короче говоря, Мушаил не мог ничего не делать, к этому приучила его трудная и бедная жизнь.

Вот уже четвертый день Тозегюль, воспользо-

вавшись гостеприимством дочери хозяина, Сенем, проживала в этой дружной семье. Родители Тозегюль долго искали её, и, наконец, узнав о местонахождении дочери, её мать, Сироти, вся в слезах устремилась к дому кучера. Вбежав во двор, она, не обратив внимания на хозяйку дома, Марал, громко всхлипывая, воскликнула:

— Так где же моя дочь, Тозегюль?

— Не плачь, дорогая Сироти. Вот уже скоро Тозегюль вернется с работы. Не надо волноваться, Тозегюль жива-здорова, ей ничто не угрожает, — стараясь успокоить нежданную гостью, отвечала Марал.

— Меня не надо успокаивать, — возмутилась Сироти, — мне эти слова не нужны. Я хочу знать, на каком основании вы уже четыре дня прячете здесь мою дочь? С какой целью? Ни ты, ни твоя дочь не достойны моей! Как ты могла пойти на такое? Тозегюль — чистая, как родник, нетронутый цветок, не дай Бог, если она попадёт в руки какого-нибудь негодяя, что же тогда будет?

Марал собрала все свое терпение, чтобы не взорваться. Она понимала состояние женщины-матери, от которой ушла дочь, но в то же время ей было горько незаслуженно принимать обидные оскорбления. Ни она, ни её дочь в этих событиях не виноваты — так решила сама Тозегюль, таково время, когда молодые поступают так, как хотят, не считаясь с адатами, пересудами людей. И все же Марал сдержалась, не ответила на оскорбительные слова Сироти тем же.

— А как она себя чувствует? — вытирая слезы, чуть успокоившись, снова спросила Сироти.

— Как чувствует? Прекрасно...

— Что может быть прекрасного, если она среди этой бедности? — словно сумасшедшая, вскричала Сироти. — Моя дочь потеряла рассудок, если предпочла вас родной матери и моему дому! Вместо мягкой перины спать на этой рвани! — Потом с ненавистью взглянув на Марал, заявила: — Ты знаешь, что было бы с вами при прежней власти за такие дела. В Сибирь бы отправили, бессердечные. Какое вы имели право прятать здесь мою дочь?

Сироти, словно безумная, в течение нескольких минут кричала и ругалась во весь голос, то плакала, то, успокоившись, говорила тихо и виновато.

Марал терпеливо не отвечала на все её оскорбления, но когда Сироти успокоилась, та внятно и твердо заявила:

— Мы, да было бы тебе известно, твою дочь ни воровством, ни обманом к нам не завлекли, и не прятали тоже. У тебя нет основания нас оскорблять, да и права тоже нет! И скажи, пожалуйста, в чем наша вина, если твоя дочь не хочет жить с вами, а предпочитает нас?

— Я не верю твоим словам! — снова, безумствуя, закричала Сироти. — Вы люди без чести, от вас можно всего ожидать!

Терпение Марал кончилось, дальше выносить оскорбления этой обезумевшей женщины она не могла:

— Кто ты такая, кого ты из себя корчишь, что пришла сюда с оскорблениями?! Ты что думаешь, я тебя боюсь!? Уж если говорить о чести и совести, то её нет именно у тебя и твоего разбойного мужа, Милиха! Если бы вы были добропорядочными, дочь бы от вас не ушла. Только она, ваша дочь, и есть лучшее в вашем доме, остальные, да простит меня Бог, мразь и г... Да ,мы бедны, иногда и хлеба досыта не едим, но чести нам не занимать, во имя богатства мы людей не убиваем, есть — едим, нет и суда нет, что делать... привыкли! Как тебе не стыдно? Вместо благодарности ты оскорбляешь нас?! Может быть, такова натура всех богачей?

При последних словах Марал в комнату вошли вернувшиеся с работы Тозегюль и Сенем.

— Свет моих очей, доченька моя, я устала тебя искать, выплакала все глаза, — Сироти кинулась к дочери. — Что ты наделала?

— Успокойся, мама.

— Как я могу быть спокойной, когда ты покинула нас?!

Сироти, забывшись, вначале стала кричать на дочь, потом просить её не оставаться в этой бедности, вернуться домой. Она не останавливалась ни перед чем, оскорбляла хозяина дома, старого Мушаила-кучера, и всех его обитателей, однако никто ей не отвечал. Тозегюль же, увидев, что расшумевшуюся мать не остановить, что на её крик и шум сбежится вся улица, быстро повернулась к матери спиной, подошла к дверям соседней комнаты и вошла в нее.

Марал взглянула на дочь и ее немой взгляд спрашивал, что же, мол, делать дальше. Сенем незаметно моргнула матери, мол, не беспокойся и ничего не говори.

Сироти бросилась за дочерью и уже в закрытой комнате менее агрессивно продолжала:

— Ты подумай, доченька, что ты делаешь?

— Я обо всем подумала, мама, и, пожалуйста, не кричи, успокойся, оставь меня в покое. Я хочу жить так, как мне подсказывает совесть.

— Разве тебе дома нет покоя, разве ты не знаешь, что я люблю тебя больше всех на свете? Кто тебя обижает, чего ты боишься, дочка? Ну, у кого дома не бывает ссор, всяких неприятностей, разве это повод, чтобы уйти из дома?

— Ты этого не поймешь, мама.

— Почему? Я что, ненормальная? — обиделась Сироти. — Это тебе кажется, что я ничего не понимаю, нет, доченька, я многое вижу и понимаю, только боюсь позора, ненужной людской славы. Хоть ты пожалей меня, — готовая вновь заплакать, продолжала она, — в том, что ты ушла из дома, отец винит меня, он готов убить меня за твой поступок. Иди, говорит, и приведи Тозегюль обратно домой, иначе... он, доченька, на всё способен. Не усугубляй ошибку, родная, вернись домой!

— Я знаю, мама, тебе сейчас труднее даже, чем мне. Это понимание разрывает моё сердце, делает мою жизнь горькой и невыносимой. Я люблю тебя, мама, но, если даже отец и Илесеф убьют меня, я обратно домой не вернусь! Это безповоротно, поверь мне, ибо цель моей жизни совсем в другом.

— Говори тише, доченька! Я никому не позволю тебя тронуть или, не дай Бог, убить, но знай и пойми, что тебе не по пути с таким человеком, как Ошир. Он — враг нашей семьи и потому тебе не пристало встречаться с ним, это покроет нас позором.

— О чем ты говоришь, мама? Ты поверила отцу и болтовне моего брата, Илесефа? Если ты хочешь знать, отец и дядя Овроом намеревались убить Ошира и сделали бы это, не предупреди я его. Кроме того, ты, наверное, забыла, что именно Ошир спас меня в ту страшную ночь от насилия турецкого аскера и действительно

от позора. Вот теперь и подумай, кто друг, а кто враг.

— Боже мой, что я слышу? — с тревогой и опаской сказала Сироти, ещё крепче прикрыв дверь. — Если об этом кто-нибудь узнает, твоему отцу не миновать тюрьмы. Пойми, доченька, он ведь твой отец, понимаешь, отец!

— Кто бы ни был, отец ли, брат ли — никому не дано права убивать другого. В глаза улыбаться, а за глаза вредить. Я долго молчала, но теперь не могу!

— Тебя, конечно, всему этому научил Ошир, заморочил тебе голову никому не нужными словами. Зачем молодой девушке все это нужно?

— Да пойми же, мама, никто мне голову не морочил, я не ребёнок. Кроме того, я ... Ошир мне нравится, мы любим друг друга.

— Замолчи ты, бессовестная! Что ты говоришь матери! От такого позора мне только петлю на шею! Неужели и замуж вышла?

— Пока нет, но мы дали друг другу слово через несколько месяцев пожениться.

— Хорошо хоть так, — успокоилась Сироти, — слово не дело, от него и отказаться можно. Кто знает, может, он еще и не вернется вовсе.

— О чем ты говоришь? — забывшись, что говорит с матерью, возмутилась Тозегюль. — Как тебе не стыдно?! Иди домой, мама, нам больше не о чем говорить.

— Да нет, я совсем не это имела в виду, я, не дай Бог, не желаю ему зла. Я просто хотела сказать, что он сейчас, можно сказать, на войне, а такие люди, как Ошир, быстрые, бесстрашные, не всегда себя берегут, бросаются вперед, лезут в самое пекло, а на войне всякое случается.

Сироти старалась сгладить остроту своих слов, умилостивить Тозегюль, лишь бы уговорить вернуться домой. Ибо, если ей не удастся это сделать, быть беде, Милих взбесится. Перед тем, как отправить её к дочери, он прямо так и заявил: «Я еду по делу, дня три не буду дома и, если к моему возвращению ты не вернешь домой дочь, знай, я убью и тебя, и её!» Как говорится, черт с ней самой, ее жизнь и без того беспросветна и испорчена, что будет с Тозегюль?

— Доченька моя, не делай глупостей, поверь мне и вернись домой, не дай беде свершиться!

Шахбазова обрадовало сообщение о том, что Бахши написал пьесу и её готовят для сцены. Он пообещал в течение двух-трех дней найти им и помещение для театра.

— Большое спасибо, мы все сделаем так, как вы посоветовали, — поблагодарили секретаря горкома партии молодые и собрались уходить.

— А теперь, если вы не обидетесь, хочу задать вам один вопрос, — Шахбазов встал со своего кресла и подошел ближе к молодым. — Вам известно о том, что приключилось вчера вечером с вашим товарищем — Тозегюль, когда она возвращалась домой?

Евдо, Бахши и Бирхиё недоуменно взглянули друг на друга, они с утра еще ни с кем из своих товарищей не встречались. Стыдливо опустил голову и Малкин.

— Выходит, вам ничего не известно?

Нет, они ничего не знали, мало того, за текучей работой они несколько позабыли о ней. Правда, Бахши в эти дни несколько раз с ней встречался, однако вопрос секретаря горкома застал и его врасплох.

— Что-нибудь случилось? — не выдержав минутной тишины, спросил Бахши. — Извините, неужели её...?

— Мне известно, что эта девушка, проявив мужество, возмущенная двурушничеством отца и брата, ушла из дома и поселилась у подруги. Мне также известно, что Ошир, наш друг, и Тозегюль очень дружны и близки друг другу. А потому вам, комсомольцам, надо быть к ней особенно внимательными, ценить ее за этот, по существу, подвиг, помогать и оберегать. Ибо тех, откуда она перешла на нашу сторону, бесит ее поступок, они готовы на все, на любую подлость, вначале угрожать, а затем и убить... Вчера, когда Тозегюль возвращалась домой, кто-то подкрался к ней почти вплотную и уже готов был нанести сзади удар, если бы в этот момент ей навстречу не вышла её подруга с братом, которые, заметив шедшего за ней человека, подняли крик... Брошенный убийцей нож чудом пролетел мимо цели, лишь слегка прорезав кожу на ее плече. Мы обязательно найдем того негодяя и воздадим по заслугам, однако оставлять девушку без присмотра одну в это тревожное время нельзя, ибо потом вам самим будет стыдно взглянуть Оширу в глаза, — словно в приказном порядке заметил Шахбазов.

Евдо, Бахши и Бирхиё, стыдливо опустив головы,

покинули кабинет секретаря горкома с твердым намерением часа не оставлять Тозегюль без постоянной охраны и помощи.

* * *

Небо сплошь покрыто темной туманной дымкой и утренние сумерки едва различимы. Прохладно. Сбросив листья, застыли в лесу деревья. Тишина. Вдоль узкой лесной дороги, за деревьями, уже несколько часов стоят Ошир и его друзья, ожидая выезда разбойников— уже под вечер им стало известно о том, что именно по этой лесной тропе пройдут они, чтобы в очередной раз совершить свое гнусное разбойное нападение. Стынут руки и ноги — осенняя изморось пробирает до ниток. Ждать в таком положении невыносимо трудно, но вот послышался топот копыт...

— До моей команды не стрелять! — слышится приказ командира отряда.

Через минуту появились с трудом различимые всадники. Они двигались неторопливо, спокойно, уверенные в том, что и на этот раз им удастся убить двух-трёх заранее намеченных активистов, совершить грабеж народного добра и снова вернуться в свое логово, они были уверены, что об их намерениях никому не известно. Надо отдать им должное — время выбрано удачное.

Как только разбойники приблизились к народным мстителям, раздался выстрел. За ним последовал град пуль. Тишину раннего утра нарушили вдруг ржанье и всхрап раненых и испуганных лошадей, с ними смешались стоны и крики падавших с седел гачагов-разбойников. Узкая тропа не давала возможности маневрировать, и потому раненые оказывались под копытами коней своих же трусливо убегавших «братьев». Однако ускакать далеко они не могли, ибо были окружены со всех сторон. В лице одного из гачагов, который, крадучись, старался улизнуть с места перестрелки, Оширу показалось что-то знакомое, удивительно напоминавшее Милиха, и он, не мешкая, кинулся его догонять, однако командир отряда остановил его:

— Подожди, не торопись, никому не удастся удрать, будь спокоен, они как в волчьем капкане.

— Ты знаешь, что-то уж больно он был похож на

одного знакомого, — задумчиво сказал Ошир, а потом добавил: — Нет, не может быть...

Несколько гачагов, поняв, что окружены и бежать некуда, в отчаянии, собрав все свое мужество, слезли с лошадей и с криком кинулись на Ошира и его друга. Те, в свою очередь, забыв об осторожности, подались вперед, намного оторвавшись от основной части отряда. Заметив это и оценив обстановку, четверо гачагов преградили им дорогу, готовясь внезапным ударом уничтожить их. Однако Ошир сразу разгадал замысел врагов и, повернув голову направо, заметил, как Шелбет Ашуров, один из первых добровольцев в отряд самообороны, перебегая и прячась за деревьями, старался отвлечь их внимание. Ошир с благодарностью подумал о Шелбете: «Спасибо, друг мой!» Однако в следующую секунду он увидел направленное на друга дуло вражеского ружья и выстрелил. Два выстрела раздались одновременно: от разбойной пули, чуть пошатнувшись, упал Шелбет, от пули Ошира — гачаг. Ошир подбежал к Шелбету и, подхватив его за плечи, стал оттаскивать за широкий ствол дуба. Из раны на голове друга стекала кровь, заливая лицо и шею. Оглядываясь по сторонам, Ошир перевязал Шелбета и, услышав его стон, успокоительно сказал:

— Терпи, брат, малость потерпеть надо...

Вдруг с левой стороны, в четырех шагах, словно медведь из берлоги, с земли поднялся огромного роста детина и с кинжалом в руках кинулся на Ошира. Лишь стремительная реакция спасла того от верной смерти, он нажал на спусковой крючок и прямо с колена выстрелил. Гачаг, издав страшный рев, словно подрубленное дерево, замертво упал на землю. В этот же момент Ошир заметил еще одного разбойника, который, словно змея, крадучись, подползал к нему. Он подпустил его ближе и судьба того была решена...

Дождь прекратился. Тучи рассеялись и лесную темноту вдруг озарило осеннее утреннее солнце. Хотя октябрьское утро было довольно прохладным, Оширу было жарко. Пот лился с него ручьём, заливая лицо. Вытерев глаза, он оглянулся по сторонам. Никого: ни своих, ни чужих. Он нагнулся к Шелбету и понял, что тот без сознания. И вдруг Ошир увидел бежавшего к нему Фархада.

— Как хорошо, что я тебя нашел. — не переводя

дыхания, говорил Фархад, — очень боялся за тебя... Вперёд идти нельзя, там за выступом холма засели два гачага и никого к себе не подпускают. Словно озверели, шакалы...

— Спасибо, дорогой! — улыбаясь, отвечал ему Ошир. — Ты тут присмотри за Шелбетом, а я быстро смастерю носилки и вернусь.

Не успел Ошир сделать нескольких шагов, как услышал за спиной звук выстрела, что-то больно обожгло плечо и он, обессиленный, медленно прислонился к дереву. В этот же момент Фархад, заметив выстрелившего гачага, в упор всадил в него две пули. С головы разбойника слетела богатая папаха и он, раскинув руки, упал лицом вверх. Приблизившись к нему, Фархад к своему немалому удивлению узнал Милиха. Тот левой рукой зажав кровоточащую на груди рану, затуманенным взором взглянул на Фархада и правой рукой потянулся к лежавшему рядом пистолету.

— Милих?! — наступив на пистолет, удивленно спросил Фархад. — Как ты сюда попал?!

— Жа...ль.., — с уголка рта Милиха струйкой стекала кровь, — я не у..бил Оши..ра...

И Милих испустил дух у ног своего бывшего слуги.

— Куда тебя ранило? — подбежав к Оширу, обеспокоенно спросил Фархад.

Ошир побледнел и с трудом, сжимая рукой рану, откуда через пальцы стекала кровь, произнес:

— Кажется, плечо... — и медленно, теряя силы, осел к подножию большого дуба.

— Клянусь могилой родителей, сейчас перевяжу, — заторопился Фархад, и, разорвав ему рукав, снял с себя рубашку для перевязки. — Терпи, все будет хорошо.

— Прикончил ты того негодяя? — придя в себя после перевязки, спросил Ошир.

— Да, убил как собаку.

— Ты узнал его?

Фархад ненадолго задумался, а потом ответил:

— Да, клянусь могилой родителей, хитрейший из породы лис был...

ГЛАВА XI

В городе в это время происходили другие события, но ничуть не менее драматичные. У здания большой синагоги «Хивро», на свободной площадке размером в 30 квадратных метров, собирались горожане. Было объявлено, что здесь, на импровизированной, наспех сколоченной из широких и толстых досок, меж двух стен соседних домов, сцене, закрытой занавесом, «просветителями» будет осуществлена постановка пьесы «Адам и Тамара». Скамейками послужили такие же доски, положенные на кубики известкового камня. На спектакль пришла не только молодежь, но и взрослые. Было здесь и несколько женщин. Большинство было в повседневной одежде, ибо другой у них не было.

Однако небезызвестный Илесеф и его друзья, разодетые и надушенные, пришли сюда как на праздник, ибо организаторами этой постановки были именно они. Надо признать, что в жизни маленького, провинциального городка это было событие немаловажное.

Чуть раздвинув занавес, на авансцену вышел Илесеф и, кашлянув в кулак, обратился к зрителям:

— Братья! Нами, «просветителями», впервые за всю историю города осуществлена постановка пьесы «Адам и Тамара», которая состоит из четырех действий. Сегодня будет показано первое действие, а в каждую следующую пятницу, в такое же время — другие. Чтобы помочь нашим артистам преодолеть некоторую скованность и стеснение, прошу вас встретить их аплодисментами...

Он первым зааплодировал, его, в основном, вяло поддержали еще несколько человек, остальные выжидательно смотрели на сцену. Когда открылся занавес, перед глазами зрителей предстал бутафорский зеленый лес, в котором меж деревьями, будто для молитвы, на коленях, чуть ли не лежа, застыли разодетые в черные, белые и красные одежды, разукрашенные артисты. Эта пестрая немая сцена сразу же вызвала смех. Для невежественной толпы это была вполне нормальная реакция, однако одному из «просветителей» этот смех не понравился и он, поднявшись на край сцены, возмущенно выкрикнул:

— Прекратите ржать! Вы мешаете артистам!

— Что ты себе позволяешь, выскочка? — в свою

очередь возмутился Бирхиё. — Люди смеются, что же здесь плохого?

Вокруг раздались возмущенные голоса.

— Кому какое дело?

— Что? И за смех платить надо?

Назревал скандал. Илесефу ничего не оставалось, как снова выйти на авансцену:

— Друзья, друзья, успокойтесь! Всякий громкий смех или шум крайне мешают работе артистов. Прошу вас учесть это и быть терпеливыми.

Он говорил так дружелюбно, с такой вежливой улыбкой, будто это был совсем не тот Илесеф, который еще вчера готов был разорвать большинство сидящих здесь людей. Однако следующее событие на сцене вызвало уже не смех, а бурный хохот. У одного из артистов отклеились и упали на пол усы и борода. И этого оказалось достаточно для нового взрыва смеха.

Обидевшись на такую реакцию, артист-растеряха с криком накинулся на собравшихся:

— Чему смеетесь, нечестивцы? Что здесь смешного? Дайте же нам делать свое дело!

Пьеса была поставлена так хитро, завуалированно, что сразу разобраться и понять ее тайный смысл было нелегко. Многие рабочие покинули свои места сразу после первой картины, другие же стали выражать недоумение выкриками и свистом.

— Друзья мои! — громко обратился Бирхиё к зрителям. — Вы что-нибудь понимаете в этом так называемом спектакле? Мне кажется, здесь одна галиматья!

— Совершенно верно! — согласился с другом Бахши. — Вы знаете, что они нам хотят сказать этой дурной пьесой?

Услышав возмущенные голоса Бахши и Бирхиё, из-за занавеса вышел Илесеф и накинулся на них:

— Что ты раскричался, Бирхиё! Мало того, что тебя как предателя выкинули из синагоги, ты вконец потерял совесть и теперь издеваешься над артистами? Что ты о себе возомнил? Кто виноват в том, что твоя дурная голова не может понять пьесу? При чем здесь остальные? На ее постановку у нас есть официальное разрешение властей!

На помощь Илесефу бросаются его дружки, как воины на призыв своего командира. Мол, мы готовы, говори, что надо делать! Однако Илесеф был в замеша-

тельстве, он впервые был один, без подсказчика-отца, который в любой момент мог дать дельный совет. «Если бы был здесь отец, — с сожалением подумал Илесеф, — он бы сказал, что надо делать...» Он вспомнил, что вот уже третий день, как отец ушел к гачагам, чтобы в очередной раз привести их на разграбление города, но до сих пор не вернулся. Он не знал и не мог знать о той трагедии, которая приключилась с ним на разбойничьей лесной тропе...

Не обращая внимания на возмущенные возгласы Илесефа, Бирхиё поднимается на сцену.

— Друзья! — обращается он сперва к зрителям, а потом к артистам. — Эти так называемые «просветители» хотят нас обмануть. А вас, артистов, они обманывают дважды, ибо исполняя свои преступные роли, вы поплатитесь в первую очередь. А хозяева, организаторы этого спектакля, умоют руки и станут в стороне.

— Заткнись, маньяк, — словно взбесившись, заорал Илесеф. — Вы спите и видите кругом одних преступников!

Он готов был в этот миг разорвать Бирхиё и его друзей на куски, но сдержался. «Нет, не сейчас и не прилюдно, — подумал он, — я каждому из вас воздам должное». Вместо этого он подошел к краю сцены и, снова обратившись к Бирхиё, выкрикнул:

— Лучше было бы, если бы и ты, как Ошир, ушел безвозвратно, негодяй! Пропади вы все пропадом!

* * *

Утром следующего дня Бахши, Бирхиё и Евдо снова пришли в горком, к Шахбазову, и рассказали ему о том, как шла пьеса «просветителей», как её освистали и как Илесеф стал кричать и оскорблять Бирхиё.

В кабинете секретаря горкома партии были также Малкин и Сархадов.

— Как вы думаете, — немного подумав, обратился Шахбазов к Малкину, — не кажется ли вам, что хвост лесных разбойников-гачагов надо искать среди «просветителей»? В сведениях, которые поступили в обком, есть намек и на это.

— «Просветители» и в самом деле никак не уймутся, — ответил Малкин, подумав, — это лишний раз подтверждает народную мудрость о том, что «горб

лишь в земле выровняется». Но, на мой взгляд, торопиться с выводами не следует, надо дождаться возвращения наших отрядов, послушаем, что они скажут.

— Что ж, в этом есть резон, давайте дождемся, — согласился Шахбазов и, обратившись к Бахши, спросил. — Кстати, как продвигается постановка твоей пьесы?

— Все уже готово, товарищ Шахбазов, — скромно ответил Бахши.

— Если так, то и вам надо использовать сцену «просветителей», — заметил Шахбазов. — Я уверен, что ваша пьеса будет встречена благодарным зрителем, ибо она написана о них самих, о их жизни, она близка им. Наша главная задача, я не перестаю повторять это, изо дня в день, всеми возможными средствами разъяснять трудящимся, что Советская власть не разделяет людей по национальностям и вероисповеданиям, что для нее все люди труда равны, что во главе всей деятельности партии стоит идея братской солидарности трудящихся. В решении этой задачи вы всегда найдете поддержку в горкоме партии и в горкоме комсомола. С этой целью я дал указание отделу народного образования выделить для расходов вашему театру небольшую сумму. Кстати, я очень доволен работой Тозегюль, с ее приходом культурно-просветительная работа в отделе значительно улучшилась.

Шахбазов в дружеской форме дал своим молодым товарищам еще несколько советов, после чего те собрались уходить. Но в этот момент в кабинет секретаря торопливо вошел один из работников горкома и протянул ему конверт.

— Подождите, друзья мои! — прочитав сообщение, радостно заговорил Шахбазов. — Получено сообщение, что сегодня на рассвете ликвидирован большой отряд гачагов. Правда, к сожалению, пострадали и несколько наших товарищей. Сведения неполные, как говорится, по горячим следам, однако сообщается, что сегодня ночью или же завтра утром наши товарищи, успешно выполнив свой долг, возвратятся домой.

* * *

У здания синагоги «Хивро», у той самой сцены, где совсем недавно «просветители» пытались показать свою

пьесу, сегодня снова многолюдно. Однако настроение собравшихся приподнятое, веселое, то здесь, то там слышатся оживленный говор и смех. Радость молодых рабочих и комсомольцев связана с тем, что они после долгого напряженного труда покажут товарищам свой спектакль по пьесе любимого ими молодого, талантливого поэта Бахши. Некоторые из них, надев на рукава красные повязки, помогают собравшимся рассесться по местам. Хотя скамеек хватило не всем, молодежь не расстраивается, некоторые, не растерявшись, принесли табуретки из дома.

Илесеф с друзьями вначале делают вид, что они в неведении, куда после их неудачного спектакля подевался занавес, но Тозегюль, к их крайнему удивлению и досаде, нашла его.

— Спасибо тебе, сестра, — сердечно благодарил Бахши раскрасневшуюся от смущения девушку. — Ты просто молодец! Но где ты его нашла?

— Потом расскажу, — улыбаясь, отвечала Тозегюль. — Давай лучше начнем.

Перед началом спектакля на авансцену поднимается Евдо:

— Товарищи! Мы сейчас покажем вам пьесу нашего поэта Бахши «Богач и бедняк». Если вы помните, несколько дней назад, когда на этой же сцене «просветители» ставили свою пьесу, небезызвестный вам Илесеф во всеуслышание заявил, что без них, мол, без их помощи, мы ничего не сумеем сделать, что вообще пропадем. Он сказал тогда, что из рабочей среды не выйдут ни поэты, ни писатели. Сейчас вы лишний раз убедитесь, какие таланты может родить получивший свободу народ.

Собравшиеся слушали Евдо с большим вниманием, ибо все, что он говорил, было им по душе и понятно.

— Пьеса нашего Бахши покажет, как мы раньше жили, какие невзгоды и издевательства богачей испытывал трудящийся человек, как в течение многих столетий трудовой народ боролся за свою свободу и независимость.

Илесефа с друзьями ожидал еще один сюрприз. Они были уверены, что на платный спектакль комсомольцев народ вообще не соберется и они поведут себя по задуманному плану. Однако их попытка пройти на территорию театра встретила сопротивление охраны — ком-

сомольцев с красными повязками на рукавах, которые потребовали входные билеты. Возмущенные «просветители», вынимая из карманов деньги, стали кричать:

— Вот деньги, подавитесь, дайте нам посмотреть спектакль!

Один из комсомольцев, недовольный такой бесцеремонной наглостью, встал напротив Илесефа и в категорической форме заявил:

— Убирайтесь, нам ваши грязные деньги не нужны!

— Подождите! — несколько миролюбиво заявил другой парень. — Пожалуйста, купить билеты и пройти можете, но мест нет, вам придется смотреть стоя.

— Нам? Стоя? — возмутился Илесеф.

— Да. Что делать, мест нет, — разведя руками, сказал тот. — Так пройдете или нет?

— Да, да, — разом заговорили друзья Илесефа, — пойдемте, а то спектакль уже начался.—Они были поражены большому количеству зрителей и установившейся тишине. Сидевший на домашней табуретке старик тихо плакал.

— Вы что, дядя, плачете? — спросил его Илесеф.

— Как не плакать, сынок, — ответил старик, — всё это из моей жизни, подобные издевательства богачей и я не раз испытал...

Илесеф замер, словно его разбил паралич. Он мечтал о том, что у комсомольцев и малограмотной рабочей молодежи ничего не получится, что их затея с театром с треском провалится и это послужит причиной новых насмешек и издевательств над ними со стороны «просветителей». Однако ожиданиям Илесефа не суждено было сбыться. Лица всех собравшихся были обращены к сцене с огромным интересом. Нет, им помешать не удастся!

В перерыве после первой картины началась распродажа лотерейных билетов. Было объявлено, что средства от этого пойдут на подготовку новой пьесы, спектакль по которой состоится ровно через месяц.

Собравшись в кучу вокруг своего вожака Илесефа, «просветители» обсуждали создавшееся положение.

— Мы еще только первое действие показали, — недовольно говорил Илесеф, — а они уже готовятся к постановке новой пьесы. Не стыдно ли нам подобное? У нас и деньги есть, и подготовленные, грамотные артисты, а дело не двигается. Почему?

— Не любит нас молодежь города, они нам уже не верят, — опустив голову, признался один из его друзей.

— Что за глупости! — резко прервал его Илесеф.

— Как глупости? — возмутился тот. — Мы постоянно забиваем им мозги тем, что представители других национальностей не могут быть нашими друзьями, что лишь только иудей иудею друг и брат, а здесь, среди зрителей, как видишь, и армяне-христиане и азербайджанцы-мусульмане...

— Да, и сестра твоя с ними! — заметил кто-то ехидно.

— И Сенем! Просто расцвела, стерва. Хорошо бы ее прижать в каком-нибудь углу, — осклабившись, сказал другой.

Илесеф, кусая губы, нервничал. Потом, решившись, со злостью предложил:

— Давайте выкрадем Тозегюль прямо отсюда!

— Ты о чем говоришь? Охладись малость, успокойся. Они нас четвертуют за нее. Нет, брат, теперь она из их стаи. Да было бы тебе известно, что ее постоянно охраняют два-три человека. Пойти на такое, это значит заранее приговорить себя к смерти...

Илесефа никто из друзей не поддержал. Однако Шенде, сын Шевениё, друга Милиха, вплотную подойдя к Илесефу, на ухо шепнул ему:

— Тозегюль не удастся, а вот Сенем выкрасть можно...

— Как? — сразу сообразив, спросил Илесеф.

— Сегодня она заходила к отцу в магазин покупать материал на платье. Я ей нарочно сказал, что тот материал, который ей нужен, будет завтра. Сейчас я ей шепну, чтобы она зашла за ним часов в 12, а там мы все устроим.

— Отлично, — загоревшись, поддержал его Илесеф. — Давай после спектакля встретимся и поговорим более подробно.

Их никто не слышал, ибо началось второе действие.

— Чем заниматься болтовней, — удрученно заметил один из друзей Илесефа, — лучше посмотрим спектакль, — и пошел к своему месту.

Илесефу ничего не оставалось, как присоединиться к своим разочарованным друзьям. Он еще не знал, что

многие из них уже ему не доверяют, перестали считать его вожаком, разочаровались в нем и вот-вот готовы покинуть его и перейти на другую сторону. Нет, Илесеф думал другую думку. Ему не давало покоя предательство Тозегюль. Да, ни ему, ни отцу с матерью так и не удалось вернуть ее обратно домой. Мало того, эта бессовестная тварь, опозорив честь семьи, сама вышла на сцену. Илесеф исподлобья взглянул на своих друзей. «И эти меня скоро покинут, оставят одного», — со злостью подумал он.

Сознание собственного бессилия выводило его из себя, глаза метали молнии, а зубы скрежетали. Здесь, у этой импровизированной сцены, он пришел к выводу, что одолеть комсомольцев подобным образом, путем идеологической борьбы не удастся, есть только один путь — уничтожить их по одному.

Молодежь и комсомольцы возвращались домой с шутками, смехом и весельем. Многим из них было от чего радоваться — затраченный труд не пропал даром, спектакль удался, лотерейные билеты проданы, собраны деньги для новой постановки. Вместе с ними возвращалась к себе и Тозегюль. Два часа назад ей стало известно о ранении Ошира и его отправке на лечение. «Как ты там, друг мой? — с тревогой думала она о любимом. — Ты бы сегодня вдвойне радовался нашему успеху».

После отъезда Ошира она была в постоянной тревоге за него, ночами он приходил к ней во сне, отчего девушка просыпалась и потом уже до утра заснуть не могла...

Илесеф и Шенде встретились в потайной комнатке последнего, о ее существовании знал лишь один хозяин. Вспомнили о дружбе Милиха и Шевениё, о печальном будущем, которое готовила им новая власть, о готовности бороться с ней до последней возможности и ещё о необходимости и самим продолжать дело отцов, крепить свою дружбу. Шенде, не прячась, признался другу, что у них в семье все ненавидят Советскую власть за то, что она отобрала у них 20 гектаров виноградников, три дома и два магазина, которые они нажили тяжелым трудом. Он не преминул напомнить о своем младшем братишке, Манахиме, которого он воспитывал в том же духе и надеялся, что тот преподнесет Советской власти еще немало «сюрпризов».

Илесеф тоже рассказал о своей тревоге за отца, которого не было уже несколько дней, о предательстве сестры, которую никак не удается приструнить, и о том, что он не был бы против, если бы удалось убрать Сенем — эту верноподданную Советской власти, которая в немалой степени повинна в том, что Тозегюль так решительно покинула дом родителей, опозорив свою семью.

На том и расстались, впервые за все время дружбы отказавшись от выпивки.

ГЛАВА 12

Убедившись, что прямая борьба ни к чему не приведет, что устои Советской власти подобным образом не расшатать, Илесеф с оставшимися друзьями решили действовать по-иному — выискивать в цепи комсомольских дел самое слабое звено, и таким образом, позорить их в глазах народа, нанести новой власти хоть какой урон. Они, путем использования слабых черт характера, подкупа и лести, старались переманить одного-двух комсомольцев на свою сторону, в то же время понимая, что сделать это будет нелегко. Однако, как говорится, «чем черт не шутит», большое стадо не без «плешивой» овцы, думали «просветители».

Илесеф давно приглядывался к Офтуму, двадцатилетнему соседскому парню, влачившему тяжелое сиротское существование. Офтум, хотя и был комсомольцем, все же не оставался равнодушным к роскоши богатого соседа. Он видел и сравнивал свою безрадостную жизнь с жизнью обитателей большого дома Милиха. У него был голод, а там сытость, он ходил в изодранных штанах и дырявых башмаках с чужих ног, а те — в щегольских костюмах. Нет, нет, да завидовал Офтум Илесефу, тому, как тот одевался каждый день, как легко тратил деньги. И потому он очень обрадовался, когда пришла новая власть и пообещала дать бедным людям лучшую жизнь. Однако шли месяцы, заканчивался второй год, а жизнь не только не улучшалась, но стала еще тревожней и трудней.

Желание жить лучше, иметь побольше денег, нарядно одеваться исподволь точило сознание Офтума, не

давая ни сна, ни покоя. При виде больших денег он даже в лице менялся, и эту перемену не раз замечал в нем Илесеф. Вот почему Офтум был избран им объектом обработки. Незаметно, ненавязчиво, он как-то по-соседски пригласил парня к себе, щедро угостил, дал на расходы денег, затем пару своих, хотя и поношенных, но довольно приличных костюмов, рубашки, обувь. И Офтум изменился, ему понравилась дружба с Илесефом, он стал более доверчиво к нему относиться. И когда Илесеф заметил, что сосед, как говорится, уже «созрел», то решил поговорить с ним более откровенно:

— Знаешь, Офтум, ты мне нравишься, я считаю тебя близким себе человеком, недаром говорят, что «близкий сосед лучше дальнего родственника». Будь спокоен, ты на меня всегда можешь рассчитывать, я тебе всегда подмога. Ты же мне веришь?

— Да, спасибо, — стыдливо опустив глаза, отвечал Офтум, — я дорожу нашей дружбой.

— И тебе спасибо, друг мой, за доверие, — ухватился за ниточку Илесеф, — со мной не пропадешь: и деньги будут, да и все остальное тоже.

Такие разговоры повторялись все чаще и откровеннее. Теперь Офтум даже на работу стал ходить в нарядном костюме, а иногда и подвыпившим. Но однажды он превзошел самого себя, навеселе пришел в комсомольскую ячейку и, словно ненужную бумажку, бросил на стол секретаря комсомольский билет:

— Мне теперь ваш комсомол не нужен, и-ик, — икая от избытка принятого вина, произнес он. — Я теперь сам себе хозяин!

Все были удивлены, а один из комсомольцев, не выдержав, спросил:

— Что с тобой стало? Кто дал тебе эту одежду, кому и за что ты себя продал?

А секретарь комсомольской ячейки, возмущенный подобным нахальством, твердо заявил:

— Тебе комсомол не нужен? Так скатертью дорожка! Вон отсюда, предатель, ты еще пожалеешь, да будет поздно!

— А чего мне жалеть? Бедности, от которой я, наконец, избавился? Так я ее вам с удовольствием оставлю... ха... ха...

Офтум дерзко посмотрел на своих недавних товарищей и, хлопнув дверью, покинул их.

* * *

В жизни может произойти всякое, но Ошир, только что вернувшийся в город после двухнедельного лечения, никак не ожидал встретить разодетого Офтума, который, бросив вызов своим товарищам, торопливо шел по улице, размахивая руками и разговаривая с самим собой. Он спешил сообщить Илесефу о своем разрыве с комсомольцами.

— Здравствуй, Офтум! Тебя и не узнать? Как дела? Как там наши ребята? — спросил Ошир, ошеломленно разглядывая неузнаваемого товарища.

— Мои дела хороши, а до других мне дела нет! — дерзко ответил тот.

— Как? — ничего не понял Ошир. — Как ты, комсомолец, можешь так говорить о своих товарищах?

— Ты, знаешь что, эти басни рассказывай своим комсомольцам, а на меня свой пыл не трать, я твоей пропагандой сыт по горло! — злобно выкрикнул Офтум. — Если ты ранен, то, по-твоему, все должны ходить с рукой на перевязи? Да что я с тобой говорю, какое мне до вас дело, хотите, воюйте, хотите, живите, хотите, умирайте! — дерзко закончил он разговор и не обращая больше внимания на Ошира, быстро пошел прочь.

Тот замер как вкопанный. Он никак не мог осознать этой резкой перемены в рабочем парне из бедной семьи. Он не мог понять, как такой юноша ушел из комсомола? Ведь если бы подобные события имели место, Семен Малкин при недавнем посещении больницы не мог об этом умолчать. А Офтума просто не узнать, словно его подменили. Может, он с ума спятил, поддался на провокацию? В таком случае, что-то мы упустили...

Так, в раздумье, Ошир подошел к своему домику. Двери были открыты. Фархад убирал комнату. «Спасибо, брат, — сердечно подумал Ошир о своем друге, — к моему возвращению хочет навести чистоту».

— Можно войти? — притворно, изменив голос, спросил Ошир.

— Добро пожаловать, дорогой брат! — сердечно обняв и поцеловав Ошира, улыбаясь, отвечал Фархад и, не выпуская его из своих объятий, шутливо добавил:— Ты что-то совсем обленился, друг, ну разве можно так долго лежать в больнице, мы все глаза проглядели!

Шутка понравилась, и оба засмеялись. Затем, что-то вспомнив, Ошир спросил:

— Ну, рассказывай, как вы здесь?

Фархад ненадолго задумался и озабоченно ответил:

— Так, как будто, все нормально, но вот беда приключилась.

— Что за беда? Не Офтум ли?

— Что за Офтум? — не понял Фархад. — Нет, я об Офтуме ничего не знаю.

— Так в чем же дело?

— Пропала Сенем!

— Как пропала? — не понял Ошир. — Она же не иголка...

— Как сквозь землю. Где только ни искали... Тозегюль весь город подняла на ноги, ты же знаешь, Сенем для нее как сестра родная.

— Т-а-ак, — задумчиво произнес Ошир. — Выходит, борьба продолжается, лесных гачагов мы уничтожили, а городских еще предстоит. Нет, они так просто не сдадутся, теперь будет тайная война.

Поняв смысл сказанных товарищем слов, Фархад удрученно опустил голову: да, враг еще до конца не сломлен!

— Не тужи, друг мой, — успокоил его Ошир. — И этим недолго осталось нам вредить.

...Вечером Ошир и Тозегюль встретились.

— Ой, какая радость! С приездом, дорогой! — вытирая слезы радости, говорила Тозегюль, не пряча при этом блеска в глазах. — Все глаза проглядела, а тебя все нет и нет!

Ошир, обняв девушку, с улыбкой ответил:

— Я все время был здесь, в городе, разве ты меня не видела?

— Как? — удивилась Тозегюль.

— Очень просто, мое сердце все это время было с тобой, с тобой говорило, с тобой спало, с тобой встречало каждое утро, никогда не оставляло тебя одну. Что же ты еще хочешь, любимая?

Ошир крепко поцеловал девушку.

Была лунная, летняя, прекрасная ночь. Обняв друг друга за плечи, забыв о людях, будто на всем свете были они одни, гуляли они по ночным улицам древнего города. Не торопясь, подробно, Тозегюль рассказывала Оширу о том, как жила эти дни без него, о событиях,

свидетельницей которых была сама или слышала от друзей. Все они радовали Ошира, кроме известия о Сенем.

— Удивительное дело! — не мог понять он. — Среди бела дня, вдруг взять и исчезнуть? Во время сражения — я понимаю, всякое может случиться, но здесь же, слава Богу, не война!

Тозегюль не знала, что ответить любимому, она не знала, как бывает на войне, как люди стреляют друг в друга, убивают. — Она видела лишь, как все еще бледен Ошир, как до сих пор у него на перевязи раненая рука. Да, война была там, в лесу, здесь ее нет, и все же Сенем пропала.

— У меня есть подозрение на одного человека, — вдруг, вспомнив о чем-то, сказала Тозегюль, — однако боюсь оказаться неправой и бросить обвинение на ни в чем не виновного.

— Кого ты имеешь в виду? — сразу спросил Ошир.

— Шенде, сына Шевениё, у которого магазин тканей.

— Шенде... Шевениё.., — стал вспоминать Ошир. — Да, да, тот самый Шенде, который поиздевался тогда над Шомоилом...

— Мне кажется, что они, отец и сын, ярые враги Советской власти. — Послушай, я расскажу тебе все по порядку, иначе ты не поймешь. За день до того, как сгорело здание ЧК, Шевениё приходил к моему отцу, и они в разговоре упоминали имя дяди Овроома. Правда, смысла их беседы я не поняла, однако на следующий день нашему дяде Овроому удалось сбежать. Кроме того, в тот вечер, когда мы ставили спектакль, Шендо как-то невзначай подошел к Сенем и, что-то шепнув ей на ухо, быстро удалился. А накануне Сенем мне сказала, что была в магазине тканей отца Шенде и хотела купить материал на платье, но, мол, нужного ей там не оказалось. Поэтому, когда я увидела эту их мимолетную встречу, я спросила ее:

— Почему Шенде к тебе подходил?

— Да, так, — ответила Сенем, — он сказал, что нужную мне ткань завтра подвезут.

— Как ты понимаешь, — продолжала Тозегюль, — это «завтра» для Сенем оказалось последним, с того дня она и исчезла. Не знаю, насколько верны мои предположения, но уж больно подозрительно все это!

— А этот Шевениё к вам домой раньше часто приходил? — задумчиво спросил Ошир.

— Нельзя сказать, что часто, — вспоминая, ответила Тозегюль, — но на хорошего человека он не похож, лицо такое кровожадное, мне кажется, для него убить человека не составляет труда.

— Как бы там ни было, об этом надо сообщить в ЧК! — уверенно сказал Ошир.

— А если они ни в чем не виноваты? — в раздумье заметила Тозегюль.

— Не имеет значения! Сегодня для нас даже маленький след важен. Если же они ни в чем не виноваты, то с их головы и волосок не упадет. В ЧК все проверят, разберутся, без вины никого трогать не будут.

Было уже около полуночи, когда Ошир довел Тозегюль до места ее жительства, к дому старика Мушаила...

* * *

Ряды «просветителей» редели с каждым днем, внутренние раздоры уводили членов этого и без того малочисленного комитета в разные стороны. Сегодня они собрались в своем постоянном «гнезде», ибо происшедшие события крайне встревожили их. Бледный Илесеф, будто больной с постели, устало опустился на стул и с опаской взглянул на своих товарищей. Час назад им стало известно, что Шенде и его отец, Шевениё, арестованы ЧК. Илесефа охватили невеселые думы. «Слава Богу, — пришло ему на ум, — я в тот злополучный день не сумел пойти в магазин к Шенде. Видно, с Сенем он все же расправился».

Страшная весть пронеслась по городу молниеносно. Здание ЧК в свое время поджег Шевениё! Ярого врага Советской власти Овроома, с помощью предателя в ЧК, спас тоже Шевениё! Но то, что его сын, Шенде, поступил так бесчеловечно, заманил Сенем к себе, связал ей руки, изнасиловал, а потом зверски убил и закопал у себя во дворе — эта весть привела народ города в небывалую ярость!

Вот почему друзья Илесефа тряслись, как в лихорадке. Большая их часть о подобной враждебности «просветителей» к нынешней власти и не подозревала, неко-

торые из них с самого начала не желали идти наперекор установившемуся порядку, однако никто из них никогда не решался сказать Илесефу об этом прямо в лицо.

— Во всём этом ты виноват! — в этот день впервые заявил ему один из «просветителей». — Ты из кожи лез вон, чтобы настроить, а еще лучше, направить нас против новой власти.

Взбешенный таким поворотом, Илесеф как зверь вскочил и бросился на своего бывшего друга, однако в этот момент дверь с треском отворилась и в комнату вошли Ошир, Фархад, Бирхиё и ещё несколько комсомольцев.

— Как вы посмели?! — взорвался Илесеф. — По какому праву?..

— Заткнись и не ори! — не повышая голоса, уверенно ответил Ошир. — Сидите на своих местах и не кричите, будто вас режут.

— Я спрашиваю, кто вам дал право врываться к нам без нашего разрешения?

— Слушайте и зарубите себе на носу! — твердо, выговаривая каждое слово, заявил Ошир. — Бюро обкома партии вынесло решение о приостановлении деятельности «просветителей», ибо от них, кроме вреда, народу ничего нет! Если же вы не станете выполнять этого решения, снова будете продолжать свою грязную, антисоветскую, преступную деятельность, будете собираться здесь или в другом месте, то вас причислят к врагам Советской власти и арестуют!

Илесеф и его друзья как будто окаменели.

— Это неправда, — придя в себя, громко заявил Илесеф. — Мы не враги Советской власти!

— Не утруждай себя! — ухмыльнулся Ошир. Конечно, не открытый враг, а тайный, коварный. Теперь уже многое открылось о преступных делах Шевениё и Шенде! Кстати, ведь Шенде из вашей команды, не так ли?

«Если тот расколется, — подумал Илесеф, — мне крышка. Но... раз еще не взяли, значит парень держится. Молодец!»

— Я об его делах ничего не знал! — бесстыдно и нагло взглянув на Ошира, заявил он.

— В таком случае, заткнись и сиди на своем месте, — заявил Фархад. — И будь спокоен, мы все уз-

наем... Кстати, ты не в курсе, куда подевался брат Шенде, Манахим, этот змеёныш?

— Неужели ты думаешь, что я и с малолетками дружбу вожу? — ухмыльнувшись, ответил Илесеф. — Нет, я его не видел.

— Ну, ну... — задумчиво заметил Фархад,— а люди говорят, что он сегодня утром выходил из вашего дома.

— Люди, о которых ты говоришь, врут!

— Так ли это, или нет, — не унимался Фархад, зная наглый характер своего бывшего хозяина, — а вот то, что этот змееныш позавчера чуть ли не до смерти избил двенадцатилетнего сына Бирхиё, а потом спрятался, это нам известно. Яблоко от яблони недалеко падает.

— Итак, расходитесь, это вам последнее предупреждение! — твердо заявил Ошир и вышел из комнаты.

ГЛАВА 13

Дела Ошира с каждым днем шли все лучше и лучше. Он считал себя самым счастливым человеком, ибо сбывалось все, о чем он мечтал: любовь к Тозегюль крепла день ото дня, теперь они расставались только на ночь; начальник депо, где он работал, узнав о том, что он собирается жениться, вынес решение выделить ему двухкомнатную квартиру и неделю назад он ее получил. Друзья же, собравшись в «спасательную», как они в шутку назвали, бригаду, за несколько дней побелили, покрасили комнаты, а также купили и поставили в них, хоть и старенькие, но все же стол со стульями, кровать и небольшой шкаф.

Трагедия, случившаяся с Сенем, крайне взволновала и лишила покоя Тозегюль, ибо та была ей не просто подругой, а больше чем родной сестрой. Те, которые их близко не знали, так и думали, что они сестры, ибо не было у них друг от друга секретов и жили они душа в душу. Тозегюль знала, что Сенем и Бахши любят друг друга, знала об их мечте — сыграть свою и их с Оширом свадьбы совместно, но видно, злой судьбе было угодно унести из жизни ее любимую подругу...

Тозегюль стыдилась того факта, что ее свадьба состоится так рано после смерти Сенем, мол, еще и года не прошло, не сняли пока траур ни дядя Мушаил, ни

тетя Марал, отец и мать Сенем, а она так мечтала, чтобы эти два человека, которые, по-существу, заменили ей родителей, обязательно присутствовали на ее свадьбе.

Тозегюль понимала, что после того, как у Келе, брата Сенем, родилась девочка, ей надо, как ни жаль, покинуть этот гостеприимный домик. Там и без того было не особенно просторно, а появление нового человека еще больше стеснило всех.

Удивительные вещи иногда происходят в жизни: судьба как бы старается компенсировать потери своими дарами: в тот же день, когда стало известно о зверском убийстве Сенем, в семье ее брата родилась девочка, которую назвали ее именем. Богу было угодно, чтобы Сенем вернулась к жизни!

Тозегюль понимала и то, что дядя Мушаил и тетя Марал не могли принять участия в ее свадьбе, хотя любили ее ничуть не меньше родной дочери. Однако она была крайне удивлена, когда эти два старых человека, несмотря на свое горе, выразили искреннюю радость по поводу осуществления ее мечты. И в тот день, когда Тозегюль навсегда покидала их дом, уходя к своему мужу, старая Марал ласково обняла ее и с любовью сказала:

— Тозегюль, доченька, я желаю тебе счастья до конца твоих дней. Пусть судьба будет к тебе всегда доброжелательна! И по нашему обычаю, когда дочь покидает родительский дом, она получает подарок — вот, дочка, тебе от нас, стариков, отрез материи, сшей себе на радость красивое платье...

И снова обняв и поцеловав девушку, они торжественно проводили ее к посланцам жениха.

Растроганная Тозегюль, расцеловав их в ответ, с чувством произнесла:

— Спасибо, мама! Нет, нет, я не ошиблась, вы действительно стали мне матерью и навсегда ею останетесь!

Девушка невольно расплакалась. Глядя на нее, заплакала и Марал, но потом, спохватившись, она решительно вытерла глаза и обратилась к Тозегюль:

— Хватит, доченька, негоже в такой день плакать! Вытри свои слезы и ни о чем не думай, все от Бога, дорогая.

Хотя осень и вступила в свои права, все же день выдался удивительно солнечным и теплым, будто вместе с людьми радовалась счастью молодых и сама природа.

Друзья Ошира красочно накрыли свадебные столы: гроздья винограда редких сортов «Нарма» и «Тюлоби» искрились на широких подносах, и тут же всякая зелень с морковью и репой, и только что вынутый из тандыра чурек.

Несмотря на то, что в это трудное время было не до богатых столов, все же друзья молодых не пожалели для свадьбы своих небольших сбережений, будто лишний раз хотели подтвердить древнюю, как мир, поговорку, что «истинные друзья познаются не только в беде, но и в радости».

Все они вместе с Семеном Малкиным, Соловьевым — солдатским другом Ошира, Фархадом и многими другими, радостные и веселые, уселись рядом с новобрачными. «Как было бы здорово, если бы и Бахши был здесь,— подумал Ошир о больном друге, который уже третий месяц после смерти Сенем был в глубоком трансе. — Чего-то и Бирхиё не видать...»

Подняв свой стакан с вином, первым поздравил молодых Семен Малкин, пожелав им счастливой и радостной совместной жизни. Тамада хотел еще кому-то дать слово, как вдруг в комнату вошел Бирхиё.

— Братья! Извините меня, грешного, — улыбаясь, обратился он к собравшимся, — делайте со мной, что хотите, но я совершил один проступок...

— Какой проступок? — посыпались вопросы со всех сторон.

— Я пригласил на свадьбу нашего друга, ашуга Халила, вот он!

Все, вскочив с мест, стали приветствовать известного ашуга.

— Но это еще не все! — снова заговорил Бирхиё.— Я повинен еще в одном деле. Я попрошу нашу сестру Тозегюль на секунду закрыть глаза. Друзья, все вместе давайте приветствовать мать невесты!

Тозегюль не верила глазам, она быстро вышла из-за стола, нетерпеливо направилась к матери и порывисто обняла её:

— Мамочка! Спасибо, родная, теперь я действительно самая счастливая на свете!

В течение последних трех-четырех месяцев Сироти чувствовала себя, как говорится, не в своей тарелке, она осунулась и побледнела: побег дочери из дома, отсутствие вестей об исчезнувшем муже, сумасшедшие

выходки Илесефа — все это не давало ей покоя ни днем, ни ночью. А когда сегодня она получила известие о свадьбе Тозегюль, Сироти уже не смогла сдержаться, ею овладела такая безысходность, что она заплакала и тихо завыла, как волчица, у которой украли детенышей. В душе она соглашалась с Тозегюль во многом, но только не с ее побегом из дома, ибо дочь была для нее светом очей, смыслом и счастьем её жизни. Она тяжело переживала сам факт ухода дочери, ее непослушание. И, возмущенная этим, Сироти дала себе слово и на свадьбу ее не ходить, и поручить не допустить дочь на свои похороны. «Что это я? — вдруг спросила она саму себя. — В чем же тогда смысл моей жизни? Зачем я, если жизнь бессмысленна и бесцельна? Уже сейчас меня надо оплакивать...» Вот почему, когда вечером ее посетил Бирхиё, долго и упорно уговаривал, убедил, что именно сейчас, в день свадьбы, она должна быть рядом с Тозегюль, она, забыв обо всех своих угрозах, дала согласие прийти.

Сироти, обняв и поцеловав вначале Ошира, а потом Тозегюль, взволнованно их благословила:

— Будьте счастливы, дети мои! Да исполнятся все ваши мечты и желания!

Такой веселой и радостной свадьбы древний Дербент давно не видел. Она была поистине интернациональной, люди разных языков и вероисповеданий пели, танцевали и радовались, словно братья и сестры одной большой семьи.

Ашуг Халил, взяв в руки свой многострунный саз, приблизился к новобрачным и начал петь:

Тебе, Ленин, друг ражбера-бедноты.
Кому радость и свободу принес ты,
Пою нынче, что у беков землю ты
Отобрал всю и ражберу отдал ты.

Присутствующие начали хлопать в такт музыке, а ашуг, воодушевленный такой мощной поддержкой, продолжал:

Вы прекрасны, молодые, нету слов!
Вам подарить свое сердце я готов,
Ты, Тозегюль, красивее всех цветов,
Ашуг Халил счастлив с вами, нету слов!

Сироти была и рада, и счастлива. Хорошую, веселую свадьбу организовали друзья ее детей, все радуются, все от всего сердца желают молодым счастья. Хотя не богаты их костюмы, но чисты и незапятнаны их сердца и помыслы, нет в их душах зависти, коварства, они не знают, что такое обман и двурушничество, каждый живет своим трудом. Может, и права Тозегюль, что пришла в этот мир, к этим трудолюбивым и чистым душой ребятам, в ряды друзей Ошира.

Уже за полночь, обуреваемая этими мыслями, Сироти вернулась домой, но уже переступив порог, она обратила внимание на резкую перемену вокруг, словно здесь, сметая все на своем пути, прошел страшный ураган или полчища варваров. Повсюду валялась разбитая посуда, истерзанные и выпотрошенные пуховые подушки и ватные одеяла, перевернутые столы, шкафы и стулья. Увидев этот разбой, Сироти схватилась за сердце и потеряла сознание. Падая, она ухватилась за скатерть маленького углового столика, на котором стоял большой антикварный керамический кувшин, потянула ее на себя, тот упал и разбился. Именно этот звук и услышали Бирхиё и Фархад, провожавшие ее до дома и не успевшие далеко отойти. Они тут же вбежали в дом и увидели распростертую на полу Сироти. Фархад, не растерявшись, принес кружку воды, побрызгал ей на лицо, от чего женщина, не сразу, но пришла в себя.

Но раздумывая, Бирхиё попросил Фархада сбегать за Оширом и Тозегюль. Тем временем Сироти, полуоткрыв глаза и не сразу поняв, что рядом с ней Бирхиё, с трудом выговорила:

— Сынок, ты что-нибудь понимаешь? Мне кажется... Это дело рук Илесефа... он снова сошел с ума...

— Не волнуйтесь, тетя Сироти, все образуется, — успокаивал ее Бирхиё. — Мы, молодые, порой о последствиях не думаем.

— Мамочка, родная, не волнуйся! — вбежав в комнату, задыхаясь от быстрого бега, заговорила Тозегюль. — Черт с ними... это только вещи... береги себя, мамочка...

Убирая с пола остатки разбитой посуды и расставляя столы и стулья по местам, Ошир нашел на полу лист исписанной бумаги. Внимательно рассматривая его, он обратил внимание на почерк и сразу узнал схожесть этого письма с теми, которые не раз с угрозами под-

брасывали ему под дверь. — Только сейчас, в ночь своей свадьбы, читая его, Ошир, наконец, узнал своего истинного врага. Ему стало не по себе, словно какая-то неведомая тяжесть навалилась на него, придавила грудь, отчего стало трудно дышать...

Обратив внимание на расстроенных Ошира и Тозегюль, Сироти вдруг спохватилась и все еще с трудом выговорила:

— Да умереть мне у ваших ног! Мои дорогие, что это вы пришли сюда в такую ночь? Сейчас же идите домой, не беспокойтесь, у меня иногда бывает такое, немножко полежу, и все пройдет...

Однако даже в этой суматохе Тозегюль заметила, как Ошир поднял с пола бумагу и как, прочитав, побледнел. Поэтому, обратившись к нему, она тихо спросила:

— Что там? Кто написал?...

В первую минуту Оширу не хотелось показывать этот злополучный листок бумаги, ему очень не хотелось омрачать радостную и счастливую ночь своей свадьбы, однако, подумав немного, он решил не прятать его, ибо все равно, хоть сегодня или потом, его придется показать. О смерти Милиха и его связях с разбойниками он узнал два дня назад. Однако, посоветовавшись с Малкиным, решил накануне свадьбы Тозегюль не травмировать, сказать ей об этом позднее. Но, как видно, судьба распорядилась по-своему...

— На, родная, читай... про себя, — глядя ей в глаза, сказал Ошир и протянул бумагу.

— Нет, читай ты, — не поняв смысла его слов, ответила Тозегюль.

— Что ж, если ты так считаешь, — тихо произнес он, —только прошу вас, мама, наберитесь мужества!

Удивленная Тозегюль в ожидании какой-то неприятности пристально взглянула на него. Однако Сироти в недоумении сказала:

— Что же случилось, сынок? Читай, я уже через все страхи прошла.

— Что ж, в таком случае слушайте:

«Сегодня я узнал, что отец убит в лесу... А поскольку его нет, мне теперь и вы не нужны! Мне теперь здесь делать нечего, я ухожу — и искать меня не надо. Считайте, что с отцом убили и меня! В сущности, ни тебе, ни твоей дочери я не нужен, ибо одна из вас будет

спать в постели лютого врага нашей семьи, а другая будет рядом с ними. Прекрасная картина! Что ж, спасибо, лучшего памятника нашему отцу и не надо! Жаль, я не сумел исполнить своё желание: дважды ударил дубиной по голове Ошира, однако убить этого собачьего сына так и не смог. Брошенный мною в самое сердце Тозегюль нож пролетел мимо, лишь слегка поцарапав ей руку... Мне не повезло! Но знайте, до тех пор, пока в моих жилах будет течь кровь, пока дух мой будет жить — я остаюсь врагом Советской власти, а также Ошира и Тозегюль.

Власть, которая не хочет иметь богатых людей, — недолговечна.

Илесеф».

Сироти, снова потеряв сознание, осталась лежать на месте. Тихо плакала Тозегюль, уж больно много горя шло рядом с ее первой радостью.

ГЛАВА 14

Дядюшка Мушаил Оширу нравился всегда, но сегодня он был особенно рад старику, тот принес ему письмо от больного друга, Бахши.

— Вы что, дядя Мушаил, у Бахши были? — прочитав письмо, участливо спросил его Ошир.

— Да, — несколько удрученно ответил старик, — ходил проведать...

Ошир знал, что он тяжело переживал болезнь жениха трагически погибшей дочери, которого любил не меньше сына.

— Садитесь, дядя Мушаил, чаю попьем, — предложил старику Ошир.

Еще раз перечитав письмо, Ошир усадил старика, налил ему чай. Да, это было не только письмо, это была поэма о любви, ибо каждым словом Бахши оплакивал свою Сенем:

«Не могу поверить, что уже нет тебя,
Не ушла, не ушла, ты жива для меня!»

— После того, как мы с женой прочитали это письмо, не можем заснуть, — удрученно и устало прогово-

рил Мушаил, — вот я и подумал, сынок, что Бахши надо помочь, он сейчас так одинок. Я знаю, что вы, его друзья, бываете у него, беседуете, но чтобы спасти от сердечных мук, его надо из больницы забрать.

— Как? — не понял Ошир. — Вы думаете, врачи не знают, что с ним надо делать?

— Нет, врачи, конечно, свое дело знают, но для лечения его болезни лекарства не нужны. Ему надо дать какую-нибудь работу, какое-то дело, которое отвлечет его, чтобы он забылся, если даже не сразу, то потихоньку, иначе парень пропадет... — старик, не сумев дальше сдержаться, заплакал. Потом, словно устыдившись своих слез, полез в карман, вытащил платок и стал вытирать глаза. — Ты пойми меня, сынок, я много прожил, немало видел таких случаев.

Ошир смотрел на старого фаэтонщика, будто впервые видел его.

— Пейте чай, дядя Мушаил, — успокоил он старика, — я обязательно поговорю с нужными людьми насчет вашего предложения.

— Вот и спасибо, сынок, — обрадовался тот, — и чай выпью, конечно, только не забудь, пожалуйста.

— Нет, нет, я не забуду!

* * *

Когда до Илесефа дошло известие об убийстве отца, он сразу же понял, что это начало конца, что над ним навис меч, что не сегодня, так завтра до него доберутся, и надо как можно скорее бежать. Может случиться, что и Шенде не выдержит на допросах, расколется, тогда уже вообще конец. Нет, времени на раскачку не осталось, надо обрывать концы. А он, глупец, хотел еще посетить мать, рассказать ей о смерти отца, нарочно обвинить в этом Оширa, натравить ее на него и Тозегюль и, таким образом, уговорить уехать с ним. Однако, когда он в тот вечер пришел домой и узнал, что мать пошла на свадьбу сестры, то взбесился так, что остановиться уже не мог. Устроив в доме разгром, а потом собрав драгоценности, деньги и еще сколько-нибудь ценные вещи и упаковав все это в два чемодана, он быстро и со злостью написал то пресловутое письмо-угрозу, которое еще больше усугубило его судьбу. Затем, пригласив своего подручного Офтума,

дал ему большую сумму денег и задание, которое тот обещал обязательно выполнить, и покинул город. Нет, Илесеф совсем не пропал, его тень еще долго будет преследовать Ошира, то исчезая, то вновь появляясь на горизонте его жизни...

* * *

Прошло три месяца после того памятного свадебного вечера. Жизнь в городе будто шла своим чередом, но никому не было известно, что Офтум получил из Москвы от Илесефа письмо, внутри которого был еще один конверт с заявлением насчет Ошира. Это была страшная ложь, но ложь, искусно замаскированная в тогу в общем-то правдивых фактов, ложь, рассчитанная на легковерных, стрела, которая могла поразить насмерть. Илесеф просил Офтума бросить этот конверт с заявлением в один из почтовых ящиков г. Баку, на случай, если будут искать отправителя, пусть пойдут по ложному следу. И еще писал Илесеф своему подручному: «Кроме главной задачи, которую я перед тобой поставил, старайся как можно больше вредить Оширу, ежедневно, ежемесячно, всегда... С оплатой я не задержусь, а по выполнении главной задачи ты будешь жить в роскоши!»

Прочитав это письмо, Офтум сразу же поспешил исполнить приказ Илесефа. Однако он пошел еще дальше, не удовлетворенный данным предписанием. Он добавил в это заявление новые «факты», из которых следовало, что Ошир не кто иной, как самый настоящий враг Советской власти. Расчет был верный — за то время, пока бездушная бюрократическая машина будет проверять все написанное, Ошира будут постоянно допрашивать, разбираться, портить ему нервы, а там видно будет...

Так оно и случилось. Сразу же по поступлении заявления Ошира вызвали в городской комитет партии, где созданная комиссия начала скрупулезно разбираться в каждом «факте». Однако, узнав об этом, первый секретарь не разрешил им продолжать работу, ибо был уверен, что все указанное в заявлении — сплошная ложь, рассчитанная на легковерных, все эти годы он хорошо знал Ошира и не верил ни одному слову этого пасквиля.

Но Ошир был непреклонен, он настоял на том, чтобы комиссия продолжила свою работу и разобралась во всём. В заявлении было написано: «Ошир Нахшиев собрал вокруг себя врагов Советской власти: Евдо — в прошлом раввин, Бирхиё — сын раввина. Они специально устроены учителями в школы, с расчетом, чтобы внушать детям ненависть к новой власти. Сам Ошир, хотя родом из бедной семьи, тайный враг Советской власти, продался богатым, липнет к ним, как муха к щербету, иначе чем объяснить, что он женился на дочери крупного богача, который в свое время имел прямую связь с лесными разбойниками — первыми врагами большевиков. Известная комсомолка Сенем, которая любила Ошира, была по наущению Тозегюль зверски убита другом ее отца, так как она сама хотела выйти замуж за Ошира, с тем, чтобы скрыть своё прошлое и выдать себя за сторонницу новой власти. Мало того, даже жену Милиха, ярого ненавистника большевиков, он приютил в своем доме. Ошир — двурушник, вслух говорит одно, а в душе держит зло на Советскую власть, только и ждёт момента , чтобы навредить ей...»

Некоторые члены комиссии были людьми новыми, Ошира не знали, и потому зачастую не могли разобраться в существе вопроса, не могли отличить правду от лжи, а потому склонялись к мнению вызывать как можно больше людей, расспрашивать их об Ошире. Видя, что работа комиссии затягивается, Офтум начал исподтишка распространять среди населения слухи о том, что, мол, Ошир немало совершил в жизни преступлений, что скоро его засадят в тюрьму, что Тозегюль, узнав о его злодеяниях, подала в суд на развод с ним. Мало того, мол, узнав о нависшей над ним опасности, сбежал Бирхиё, в скором времени снимут с работы и Евдо. Мол, Ошир снова вернулся в свою старую маленькую комнатушку... Но большая часть населения города этой лжи не верила, люди знали или догадывались, что исходит эта ложь действительно от тех, кто яро ненавидел народную власть.

Однако молва есть молва, ее не удержать, она, словно зернышко в земле, дает всходы, если попадет на удобренную почву. Одни, приняв ее то ли от незнания, то ли от зависти, разнесут с обязательной добавкой такой брехни, что трудно потом определить степень ее достоверности, другие же улыбнутся в ответ, мол, и не

такое слышали, как говорится: «Всякая новость через тридцать два зуба проходит в тридцать два рта». Как бы там ни было, но когда эта молва, правда уже сдобренная недругами, вернулась снова в горком партии, к её секретарю, он решил вынести вопрос на обсуждение городского актива. Какую цель преследовал он этим, так и осталось тайной.

Дом культуры был забит до отказа. Многие не были согласны с решением горкома выносить этот вопрос на такое широкое обсуждение, что, мол, чистого и честного человека на посмешище выставляют, другие же высказывались иначе:

— Вот тебе и Ошир!

— Ей-Богу, никому веры нет!

— На глазах друг, за глаза — враг!

Среди собравшихся затесался и Офтум. Он примостился с самого края и внимательно слушал, о чем говорят люди. Подобные высказывания ласкали его слух, поднимая его на вершину блаженства, однако, когда многие рьяно защищали Ошира, он опускал голову и прятал глаза, проклиная и прося Бога ниспослать на голову защитника все беды земные.

Первым на трибуну поднялся Бахши.

— Братья, друзья! Сегодня мы лишний раз убедились в том, что враг не дремлет, он из кожи вон лезет, чтобы нам навредить, ему ненавистен сам факт, что власть Советская крепнет, что жизнь народа улучшается день ото дня. Услышав о сегодняшнем активе, я не вытерпел и приехал из Махачкалы. Вы что, Ошира не знаете? Кто может усомниться в том, что это верный сын партии? Разве вы забыли, как он боролся за Советскую власть, как поднял комсомольцев на борьбу с «просветителями», как он не дал тогда обмануть молодежь города и увести её в обратную сторону, в стан врагов наших? Разве вы забыли, как он и его друзья разоблачили происки сионистской организации, которая делала всё, чтобы разобщить наших людей, натравить одну народность на другую, и таким образом ослабить Советскую власть, а потом её задушить? Об Ошире Нахшиеве я мог бы говорить, не уставая, о нем есть, что сказать. Но я хочу указать на главное — тот, кто написал это заявление, это наш враг, враг Советской власти, лютый враг, которого надо найти.

Раздались аплодисменты, а вслед за ними и возгласы:

— Он прав, этого негодяя надо найти!

— Конечно, никто из нас не забыл, — продолжал Бахши, — как мы жили раньше. Теперь мы осознали свое место в жизни, свою роль в развитии общества, но нашим врагам это не нравится, они не могут примириться с тем, что мы не те, что были раньше. Настроенные враждебно, они ищут, где бы нас больнее ударить, и выбрали Ошира, ибо он нам особенно дорог, а для них — непримиримый враг! Они сейчас как змеи прячутся, действуют исподтишка, но всячески стараются нам навредить. Недаром говорят: «Змея от одежды откажется, а от привычек — нет». Мы должны всегда быть начеку! Ну скажите, пожалуйста, разве виноваты наши друзья Евдо, Бирхиё и Тозегюль, что они из богатых семей, но поняли и всем сердцем приняли новую власть! Разве виноват наш друг Ошир в том, что помогал им открыть глаза и по-новому, взглянуть на мир? Или, разве вы не знаете, кто убил нашу подругу Сенем, и какое это было горе для Тозегюль? Вы все видите, что автор этого письма с начала и до конца клевещет...

— Такое письмо, конечно, мог написать только враг, — встав со своего места, обращается к активу старый Мушаил... — Мне кажется, им хочется нас испытать, будем мы танцевать под их дудку или нет. Вот почему я от имени людей своего поколения хочу сказать этому негодяю, нет, нас не проведешь, мы уже не те темные и забитые, теперь мы уже друга от врага отличаем! Ошир, Тозегюль, Бирхиё и Евдо — верные друзья народа, люди, преданные Советской власти! Ошир, сынок! — обращается вдруг старик к Оширу. — Ты поезжай учиться, ни о чем не беспокойся, к золоту ржа не липнет!

Раздаются бурные аплодисменты. Выступили еще несколько человек и все они говорили о достоинствах Ошира и его друзей, об их энтузиазме и преданности народной власти. Что касается Офтума, то он вначале не мог найти себе места, то бледнел, то краснел от злости. Он настолько съежился, так старался быть незамеченным, что порой готов был залезть под стул, на котором сидел. Был такой момент, когда он уже хотел уйти, как вдруг один из собравшихся, узнав его, возмущенно спросил:

— А ты что здесь делаешь? Сначала комсомолец, потом противник комсомольцев, а теперь кто ты? Вон отсюда, поганец!

И Офтум не заставил себя ждать, он пулей выскочил из клуба и, оглянувшись назад, зло бросил:

— Ничего, ничего, Ошир, это только цветочки!

ГЛАВА 15

Прошли годы. Неузнаваемо изменилась жизнь Ошира и Тозегюль. Закончив медицинский институт, вот уже несколько лет Тозегюль работает врачом в городской больнице. Окончил высшую партийную школу и Ошир. На смену трудностям и невзгодам пришли, наконец, радость и счастье. Безмерно счастлива и Сироти, особенно радуют ее внуки: Севи и Гюльбоор, эти шаловливые непоседы, не дающие бабушке скучать своими проделками.

Накануне завершения учебы в институте Ошира вызвали в областной комитет партии и предложили возглавить политотдел Дербентской МТС.

— Извините, — ответил Ошир секретарю обкома.— Я, правда, в депо раньше работал, но с сельскохозяйственной техникой совершенно не знаком и боюсь, что с работой в МТС не справлюсь.

— Не беспокойтесь, не боги горшки обжигают, — возразил секретарь, улыбнувшись. — А человеку с высшим партийным образованием эта работа по плечу.

— Спасибо. Я сделаю все, чтобы оправдать доверие партии!

— Мы знаем, что первое время вам будет не легко, даже очень тяжело, ибо придется много ездить по колхозам и совхозам, порой по несколько дней не бывать дома, встречаться с разными людьми, среди которых могут быть не только друзья, но и замаскированные недруги, которые спят и видят, как бы навредить нам. Есть подозрения, что таковые имеются. Ибо то тут, то там ломаются тракторы, выводится из строя сельскохозяйственная техника. Вредители кое-где делают все, чтобы сорвать посевные кампании, сбор урожая винограда. Отдельные хозяйства никак не встанут на ноги. Поэтому надо постоянно держать ухо востро.

Вы человек дербентский, знаете людей не только городских ,но и районных. В этом отношении вам несколько легче, поэтому областной комитет партии верит, что вы справитесь с этой работой. Желаю вам успехов! — секретарь обкома крепко пожал Оширу руку. — Если понадобится наша помощь, обращайтесь без стеснения.

— Спасибо! — взволнованно ответил Ошир.

Директор МТС встретил его с большим радушием.

— Да, очень рад, товарищ Нахшиев! — пожимая ему руку, говорил он. — Работы много, как говорится, только поспевай. А для политотдела — по самое горло. Но если честно, то не столько беспокоит работа, как беготня, прямо как белка в колесе: сегодня в одном колхозе, завтра — в другом, и так каждый день. Иначе нельзя, если людей не поднять, не убедить, дело с мертвой точки не сдвигается. Поэтому надо с первых дней выехать в хозяйства, ознакомиться и с людьми, и с делом на местах. Теперь и мне будет легче, вдвоем можно горы свернуть.

— Вы прямо с ходу решили меня нагрузить, товарищ Гасанов, не боитесь, что не сумею понести такую поклажу?

— Э-э, нет, — улыбнулся директор.— Я о вас наслышан, не из робкого десятка.

— Спасибо, думаю, общими усилиями потянем!

Первую неделю Ошир решил посвятить обходу всех хозяйств района. И когда он познакомился с людьми, поговорил с ними, стал вникать в состояние дел каждого колхоза и совхоза, то понял, что Гасанов прав, работы в МТС непочатый край. Чтобы основательно и оперативно решать все дела — не хватит и 24-х часов в сутки.

Вначале он немного даже растерялся, не знал, с какого конца взяться за дела, но, поразмыслив, решил, что прежде всего надо разобраться, почему значительное число колхозников в некоторых колхозах не выходят на работу. Живут, в основном, хорошо, словно колхозная плата и трудности колхоза их и не интересуют.

Техника, будто бесхозная, ржавеет под открытым небом — ну и черт с ней, поле осталось недовспаханное — так и надо. Сразу было видно, что в двух-трех колхозах действуют вредители. «На войне, когда враг стреляет во врага — все понятно, — думал Ошир, —

а здесь попробуй найти его... Нет, так не пойдет, надо собрать народ и поговорить в открытую, надо узнать, кто о чем думает».

Бывали дни, когда ему не хватало времени даже поспать. На многие вопросы он по ночам искал ответы в книгах.

Однажды Тозегюль обратила внимание, что Ошир необычно рано вернулся с работы в крайне удрученном состоянии.

— Что случилось, родной, ты чего-то очень не в духе? — спросила она мужа.

— Знаешь что, — ответил Ошир, — сегодня я видел Офтума, новоиспеченного друга Илесефа.

— Где? — удивилась Тозегюль. — Я думала, что он тогда вместе с Илесефом исчез, мой братец без преданного слуги не может.

— Оказывается, нет. Он здесь, в колхозе «Знамя Октября».

— И что он там делает?

— Кладовщиком устроился. С виду похож на рабочего человека, но не верится, что он может отказаться от своих привычек, от желания вредить колхозу любой ценой. Когда я спросил о нем председателя колхоза, тот стал Офтума взахлёб хвалить, но, как видно, и он от него далеко не ушёл.

— А как дела колхоза?

— Хуже не бывает, ни председателю, ни колхозникам ни до чего дела нет, все разваливается.

— Может, и председатель вредитель?

— Не думаю, — ответил Ошир. — Нет, это человек не того склада, не того воспитания, он колхозу вредить не станет. Однако пьет беспробудно и в таком состоянии забывает обо всем. Поэтому таким, как Офтум, охмурить его ничего не стоит, а там делай, что хочешь!

— Вот это да! — еще раз удивилась Тозегюль. — Кто бы мог подумать, что Офтум, парень из бедной семьи, трудяга, комсомолец, вот так, запросто предаст и себя, и друзей, станет врагом своей, казалось, родной власти?! Как удалось моему братцу этого добиться, не могу себе представить.

— Но скажу еще больше, — решил раскрыться Ошир до конца, — теперь, пожалуй, нет смысла и держать это в тайне.

— О чем это ты? — в недоумении спросила Тозегюль.

— Если ты помнишь, — продолжал Ошир, — много лет назад обо мне в обком поступило заявление?

— Как не помнить?

— Я тогда, прочитав это заявление, сразу узнал почерк Илесефа. А кто сделал приписку, в то время установить не удалось.

— Илесеф?! — в недоумении переспросила Тозегюль.

— Да, — ответил Ошир, — но ты послушай главное. Потом удалось раскрыть и автора последних строчек. И знаешь, кто им оказался? Офтум! Да, да, этот самый Офтум. Поскольку тогда письмо поступило из Баку, мы предполагали, что Илесеф там, но поиски ни к чему не привели. Кроме того, после подобных дел мы предполагали, что Офтум действительно сбежал с Илесефом, но что этот негодяй вот уже несколько лет был рядом с нами, продолжал свою тайную связь с антисоветским подпольем, никто не знал.

— В итоге получается, что Офтум все еще не унимается, продолжает нам вредить, — заметила Тозегюль. — Да, с металла ржавчину убрать можно, а вот с сердца...

Оба задумались и Ошир вспомнил, как однажды в беседе секретарь обкома заметил:

— Бороться надо до конца , ибо отрубить хвост змеи — мало, надо еще и голову отсечь.

На следующее утро Ошир подробно рассказал Гасанову об Офтуме и председателе колхоза «Знамя Октября».

— Насколько мне известно, секретарь парткома этого колхоза человек новый, поэтому рубить с плеча не будем, давайте разберемся, назначим комиссию, а потом решим, что делать.

— Я тоже так думаю, — согласился Ошир, — такого же мнения и политотдел МТС.

Возглавив комиссию, Ошир стал вникать в вопросы выполнения колхозом плановых показателей, очень много беседовал с рядовыми колхозниками, узнал, как проводится агитация, и постепенно понял, что здесь затаилась и работает целая группа вредителей, которая, спаивая председателя, изо дня в день, словно червоточина, разъедает и ведет к гибели колхоз. Кроме того,

стали известны и многочисленные факты приписок, фальшивок, а порой и прямого воровства. Венцом раскрытых преступлений стал факт убийства одного из членов комиссии, который в ходе проверки колхозного склада выявил хищения в особо крупных размерах.

Собрание колхозников, на котором обсуждался акт комиссии, приняло решение очистить колхоз от этой нечисти и дать людям возможность спокойно вздохнуть. На собрании выступил и начальник политотдела МТС Ошир Нахшиев. Коротко рассказав о результатах работы комиссии, он без обиняков заявил, что в том, что произошло в колхозе, повинны сами колхозники, и если бы не было их молчаливого согласия, группа вредителей не могла бы столько натворить. На вопрос одного из колхозников, как удалось Оширу раскрыть группу Офтума, он ответил:

— Офтума я знаю давно, этот человек, еще будучи молодым, во имя денег и личного благополучия предал комсомол, самого себя и своих друзей и вступил в преступную группу. Конец таких, как Офтум, всегда плачевный.

Через месяц колхозникам стало известно, что Офтуму и членам его вредительской группы суд вынес приговор: каждому по пятнадцать лет тюрьмы строгого режима.

Узнав об этом известии, колхозники еще раз убедились, что идти против Советской власти бессмысленно, она, словно ураган, сметает со своего пути всех, кто становится ей поперек. Убедились люди еще в одном: у воровства и обмана конец один — позор и тюрьма.

* * *

В тени широкого дуба, в большом крытом павильоне расместилась чайхана и десятка два любителей этого прекрасного напитка утоляли жажду. Несмотря на жару и немалые габариты своего тела, чайханщик, ловко маневрируя между столиками, в считанные секунды доставлял всем наполненные армуды-стаканчики и колотый сахар. В воздухе витал аромат редких сортов чая Индии и Грузии. Почти за каждым столиком шел разговор о событиях в колхозе «Знамя Октября»

— В общем-то, дураком и простофилей в этих собы-

тиях оказался председатель колхоза, — заметил один из любителей чая, — он погорел за то, что без продыха пил.

— Кто ж ему виноват, — заметил второй, — кто его заставляя устраивать застолья с бандами, и при этом терять голову?

— Спасибо надо сказать Оширу, вот кто молодец — добавил третий. — Говорят, что бандиты эти, чтобы спасти свои шкуры, принесли ему целое состояние, а он вызвал работника милиции и передал ему и деньги, и того, кто их принес... ха... ха...

Участники этой беседы дружно засмеялись.

— Не на того нарвались!

— Ошира за деньги не купишь!

— В подтверждение твоих слов, — сказал один из колхозников колхоза «Путь Ленина», — я расскажу вам одну историю. Однажды секретарь парткома нашего колхоза вместе с Оширом поехали к нашим чабанам на горные пастбища. Перед этим он заехал за Оширом домой и каково же было его удивление, когда в квартире того он, кроме старого паласа, постельных принадлежностей и посуды, ничего не обнаружил. Но еще больше был поражен тем, что в семье Ошира вот уже месяц не ели мяса, да и мука была на исходе. Наш парторг считал, что человеку с таким положением, с высокой должностью, не составляет большого труда, чтобы в семье был избыток, ну, если и не избыток, то, во всяком случае, не жизнь впроголодь. Мол, Оширу было достаточно только намекнуть, и со всех колхозов ему бы несли все, что угодно, а некоторые вороватые руководители так только об этом и мечтали. Но, друзья, у Ошира никогда таких не только намерений, но даже мыслей не было. Он и его семья испытали и голод, и холод, но на народное добро не позарились, его совесть чиста и перед людьми, и перед Богом...

— Ты, по-моему ,увлекся, — заметил сосед рассказчика, — лучше расскажи, как поступил ваш парторг.

— Я как раз к этому и веду разговор,—продолжал тот. — Когда они с Оширом побывали у чабанов, посмотрели, как они живут, поговорили о делах и собирались уже уезжать, парторг, воспользовавшись тем, что Ошир отошел к отаре, отозвал одного из чабанов в сторону и сказал ему: «Знаешь, я сегодня был в доме Ошира и не поверил своим глазам, увидев, в какой бед-

ности он живет. — Его семья давно уже не ела мяса. Дай немного мяса, я им отвезу».

— «А возьмет ли он? — недоверчиво спросил чабан. — Я его давно знаю, не такой он человек, вернёт обратно...»

— «Нет, нет, я постараюсь его убедить, — заверил чабана парторг».

— Короче, друзья мои, этот чабан заворачивает в листья лопуха половину барана и кладет в висевший на лошади Ошира хурджин. Уже на обратном пути Ошир вдруг замечает, что какая-то твердая вещь из хурджина больно упирается в ногу. Обнаружив мясо, он недовольно бурчит, а потом обращается к парторгу:

— Кто положил в мой хурджин это мясо?

— Не обижайся, дорогой, — доверительно отвечает ему тот, — это я сделал.

— Ты? — удивляется Ошир. — Как ты мог это сделать?

— Когда я сегодня утром заехал к вам домой, я невзначай узнал, что ваша семья давно не ела мяса, вот и я и подумал...

— И ты решил дать нам ворованное мясо! Так? — с возмущением заметил Ошир. — Ты просто молодец!

— Не обижайтесь, пожалуйста, — виновато опустив голову, ответил парторг, — я от чистого сердца...

— Значит и воровать можно от чистого сердца? — ещё раз возмутился Ошир. — Если бы я тебя не знал, не снести бы тебе головы! Впредь я ни слов таких, ни дел подобных от тебя слышать и видеть не желаю. Ты опозорил меня перед этими чабанами. — Я не давал тебе подобных поручений! Возвращайся обратно, верни чабанам мясо и извинись от моего имени. А завтра поговорим...

В сердцах подстегнув лошадь, Ошир поехал дальше.

— И как же потом парторг? — заинтересованно спросил один из слушателей.

— Оо-о, не говори! На всю жизнь запомнил.

В самый разгар беседы в чайхану зашел еще один человек — высокий, со смуглым, в оспинках лицом, широкоплечий, с огромными, словно лопаты, мослатыми лапищами. Этого трудолюбивого и на редкость разговорчивого колхозника, большого любителя чая, знали многие, и за глаза звали «Мослатым». Оглядев присутствующих, он направился к друзьям из колхоза «Путь

Ленина». Чайханщик, не мешкая, тут же принес ему ароматный чай.

Усевшись за стол и придвинув к себе стакан, он посмотрел на товарищей и неожиданно спросил:

— Вы не знаете, что произошло?

— Что?

— Вчера Манахима, сына Шевениё-убийцы, поймали...

— Что значит, поймали? За что? Ты знаешь, как все было? — посыпались вопросы со всех сторон.

— В таком случае, слушайте, — начал Мослатый,— честно говоря, с ночи глаз не сомкнул, Ошира отвозил в больницу.

— Какого Ошира? — тут же встрепенулся первый рассказчик. — Не тяни, что произошло?

— Ну, какой еще у нас в Дербенте может быть Ошир, как не начальник политотдела МТС?

— А почему в больницу?

— Вот поэтому я и прошу вас вначале меня послушать, — рассердился Мослатый. — О том, что небезызвестный нам Илесеф, Милиха-гачага сын, в свое время, путем подкупа, направлял Офтума и его группу на вредительство, вы, конечно, знаете. Это нашумевшая история в колхозе «Знамя Октября». Как выяснилось, связи Илесефа с Дербентом на этом не оборвались, свой грязный карающий меч он передал затем в руки Манахима, этого мерзкого типа, который еще мальчишкой отличался особым изуверством, прямо-таки живодерством. Из писем, связку которых нашли у него в кармане, видно, как Илесеф исподволь, в течение длительного времени готовил его к убийству Ошира.

— К убийству Ошира? — не выдержал один из слушателей.

— Да, не перебивай, иначе не смогу рассказать всё в должной последовательности, — снова недовольно заявил Мослатый и, заметив нетерпение на лицах своих товарищей, продолжал: — Этот Манахим все тщательно рассчитал. Если вы помните, дня два-три назад в городе распространился слух, что какой-то негодяй каждую ночь закрывает воду, чтобы колхозные бахчи высохли. Подобное вредительство, естественно, не могло оставить равнодушным никого, а тем более — начальника политотдела МТС Ошира и его друга Гасанова. Они решили установить в двух колхозах ночное дежурство;

Ошир — в колхозе «Путь Ленина», Гасанов — в колхозе «Знамя Октября». Манахим только этого и хотел, спрятавшись у мостика в районе Пинхас-калы, он почти до утра дожидался Ошира. И когда тот, сойдя с лошади, переходил упомянутый мостик, Манахим с револьвером в руке преградил ему дорогу...

— Неужели убил? — вдруг вырвалось у первого рассказчика.

— Как ты только девять месяцев в утробе матери просидел?—возмутился Мослатый.—Потерпи малость... Итак, когда Ошир увидел вооруженного разбойника, он сразу узнал его и оценил обстановку. Ночь вчера была на удивление светлая.

— Манахим? — словно не веря самому себе, удивился Ошир.

— Да, я! — как ангел смерти Азраил со злобной усмешкой ответил Манахим. — Узнал?

— Тебе что, жить надоело? — стараясь затянуть время, спросил Ошир. — Тебя же вся милиция ищет.

— Что же делать? Вот пришел вернуть тебе от имени отца и брата, которых ты убил в свое время, старые долги... ха... ха.., — злобно рассмеявшись, ответил Манахим.

— А почему по-воровски, тайком? — спросил Ошир, а сам потихоньку полез в карман, где лежал револьвер.

— Сейчас не до чести, куда нам..., а долг все равно вернуть надо. Но вначале я у тебя спросить хочу... Стой, близко не подходи! — подняв револьвер, закричал и отступил на три шага. — Иначе я сейчас же выстрелю!

Ошир понял, что если он сейчас же не предпримет какие-либо шаги, этот изверг его убьет. Оглянувшись по сторонам, он никого не увидел, но знал, что где-то рядом, в бахче, ходят поливщики. Нет, в данной ситуации они не подмога. Он нащупал в кармане револьвер и взвел курок...

— Кто тебе тогда сказал, что Сенем приходила к Шенде в магазин? Неужели Тозегюль?

— Следствие все равно пошло бы и по этому следу, — ответил Ошир.

— А... а... значит, все же Тозегюль, — после се-

кундного молчания, произнёс Манахим и поднял револьвер. — Ничего, следующей будет она!

— Выходит, ты сейчас здесь вместо ангела смерти? — нарочно, чтобы успеть вытащить из кармана револьвер, тянул время Ошир. — Я могу тебе ещё кое-что рассказать... Например, о том, как ты помогал отцу поднести к зданию ЧК канистру с керосином, на ней остались отпечатки твоих пальцев, правда, тогда о тебе ничего не было известно, о том, как ты, по заданию дашнаков, изнасиловав дочь активиста Петросова, убил ее, а потом поджег труп. Как ты, накануне этого преступления, зверски избил сына Бирхие так, что он с тех пор стал инвалидом, что ты по заданию Илесефа во-волчьи рыскаешь по колхозам...

— О... о... у меня, оказывается, хороший послужной список, а ты о нем знаешь. Тем более, я должен тебя убить! — Манахим прицелился.

Но не мешкал и Ошир, он выхватил револьвер и два выстрела раздались одновременно. Раненный в грудь, словно подкошенный, упал Ошир. Но не минула пуля и Манахима, она попала ему в кость ноги и он, собрав всю свою волю, побежал, однако силы покинули его и он упал в кусты.

Услышав выстрелы, к месту происшествия подбежали ночные поливщики. Наш Мосластый первым оказался рядом с Оширом, двое других поспешили к другому раненому, однако тот, даже теряя сознание, понял, что для него отдаться в руки этих людей смерти подобно, и застрелился.

Подойдя поближе, колхозники поняли, что он мертв. Они узнали разыскиваемого милицией Манахима.

Раненого Ошира бережно уложили на арбу и увезли в больницу.

ЭПИЛОГ

О Великой Отечественной войне Ошир рассказывать не любит —слишком много горя пришлось повидать на долгом пути от Дербента до Берлина, слишком больно вспоминать все это. Не любит он шеголять и дюжиной орденов и медалей, кроме лишь одного дня, Дня Победы, и то по настоянию комитета ветеранов войны. В

этот великий праздник он, облачившись в полную парадную форму полковника танковых частей, причесав поседевшие, но все еще пышные вьющиеся волосы, малость прихрамывая, отправляется на площадь Свободы древнего города.

После войны в жизни Ошира произошли многие изменения: несколько лет проработал секретарем горкома партии, потом двенадцать лет — председателем колхоза, вслед за этим партия направила его на строительство первенца машиностроения в городе — завода шлифовальных станков, потом он стал директором этого завода и проработал им до самой пенсии.

Однако такому человеку, как он, не знавшему всю жизнь покоя и отдыха, вечно неудовлетворенному собой, находящемуся постоянно в поисках нового, без остатка отдавшему себя служению людям, привыкать к «безделью» было не легко. Отрадой и наградой ему были внуки...

Как-то в воскресенье после завтрака Ошир уговорил одного из них пойти на прогулку в городской парк. Не успел он приодеть его, как постучали в дверь.

— Здравствуйте! — переступив порог, произнесла гостья, незнакомая женщина средних лет. — Извините, пожалуйста, не здесь ли живет Ошир Савиевич Нахшиев?

— Да, это я, — ответил Ошир в недоумении. — Проходите, пожалуйста, садитесь. — И он предложил ей стул.

Женщина, поблагодарив, села. Затем извлекла из сумки сверток и протянула Оширу.

— Я только что приехала из Махачкалы по просьбе вашей тёти Бетиё, которая месяц назад умерла. Хотя она всегда говорила, что по возрасту она вам не столько тетя, сколько сестра. Мы были соседями, и она перед смертью рассказала мне о себе. Убежав из Дербента после смерти мужа, за которого она была выдана по «милости» брата Овроома, она приехала в Махачкалу, нашла того, с которым хотела соединить свою жизнь, родила сына.

— Извините, что же она не дала о себе знать? — удивился Ошир.

— Она призналась, что была несколько замкнутого склада, безграмотная, и думала, что вы в ней не нуждаетесь, — тут же ответила женщина, будто была го-

това к этому вопросу. — Ну, а потом ей не повезло. Во время войны погибли ее муж и сын, она тяжело заболела и много лет страдала от этой болезни. Но знаете, она вас по-своему всегда любила, — голос ее дрогнул, женщина снова полезла в сумку, вынула носовой платок и легким движением вытерла глаза и нос. — Но цель моего визита не только в этом, она просила передать вам письма вашего брата, Шолума, ей их приносил один и тот же человек.

— Чьи? — не сразу сообразил Ошир.

— Бетиё говорила, что эти письма написал ей ваш брат, Шолум, — вновь повторила женщина.

— Большое вам спасибо! — Ошир развернул газету и увидел письма. — Да, они от Шолума, но написаны не по-русски...

Женщина поднялась и сказала:

— Вот и все, до свиданья, я свой долг исполнила.

— Нет, нет, — спохватился Ошир. — Прошу вас, не уходите, выпейте чаю, вы же с дороги. — Тозегюль, выйди к нам, у нас гостья...

Но ни Ошир, ни Тозегюль не смогли уговорить женщину остаться.

— Нет, благодарю вас, времени у меня мало: зайду к родственникам, и обратно домой. Всего вам доброго!

Семья собралась скоро, как по команде: сын, Сави, с женой и детьми, дочь, Гюльбоор, с мужем и детьми. Сави с женой работали врачами в городской больнице, Гюльбоор — учительницей иностранного языка в школе, а муж — инженером на заводе.

Ошир взял оба письма и протянул дочери:

— На, доченька, прочитай, кажется, письма написаны на английском языке.

Письмо первое

«Дорогая... тетя Бетиё! Никак к тебе не подходит слово — «тетя». Да, дорогая, не знаю даже, с чего начать, но одно знаю точно, чем всю жизнь быть несчастным, лучше вообще не родиться.

Извини меня, что я теперь, через много, много лет взялся тебе написать в надежде, что ты ещё жива и здорова —дай-то Бог! Нет, дорогая, я тебя не забыл

и никогда ни тебя, ни Ошира не забывал, просто все эти годы мне было не до писем, судьба бросала меня как щепку в океане. Я как тот корабль, который в пучине свирепого моря никак не мог пристать ни к какому берегу.

Что и говорить, дорогая Бетиё! Умер человек, как говорится, и делу конец, а на чужбине умираешь каждый день! Как я оказался в Америке, в совершенно чужой мне стране, до сих пор понять не могу. Знаю только, что, обуреваемый вечным страхом, дядя Овроом искал пристанище для своего огромного богатства и, как видно, выбрал эту страну.

Без знания языка, без какой-либо специальности, по-существу, немой и глухой среди людей — вот каким я оказался здесь, когда обманутый дядей Овроомом был брошен на произвол судьбы. Потом уже, загнанный в угол, я понял, что нужен был дяде Овроому не как родственник, ему было на меня наплевать, а как носильщик для хранения и перевозки его богатства. Какое же это было горькое разочарование!

Конечно, деньги и драгоценности я ему тогда помог перевезти, но дать на моё обучение хотя бы доллар, он пожалел. Мало того, оставил меня голодным, в старой, почти изодранной одежде, без гроша в кармане, и ушел, скрылся, будто меня и не было. Оказалось, что мы с дядей Овроомом делали одно, а думали о разном: он, авантюрист, добился своей цели, я же, безголовый, поверил ему, его обещаниям, и за это поплатился. Правда, как мне стало известно через несколько лет, Бог его за это тоже не миловал: тогда же какие-то новые его дружки, пообещав ему золотые горы, убили и выбросили его на пути в Калифорнию.

Всё в руках Божьих!

В награду за моё долготерпение Всевышний ниспослал мне чудесную женщину, ангела, доброго друга, способную подарить мне счастье на всю оставшуюся жизнь. Господи, как я был счастлив! Но... через два года судьбе было угодно ещё раз испытать меня: оставив мне годовалую дочь, жена умерла. Я был в отчаянии, мне не хотелось жить и, если бы однажды, в поисках отца, девочка сама не открыла дверь ванной комнаты, где я хотел повеситься на крючке, то...

Да, мне ничего не оставалось, как растить ребенка. Чтобы заработать на жизнь, я не гнушался ничем, де-

лал самую грязную работу: мыл туалеты, полы армейских казарм, окна высотных домов, голодал, холодал, но ребенка берёг, для неё ничего не жалел. Порой бывало до того невыносимо, что я выходил во двор, смотрел вверх, на звёздное небо и молил Всевышнего пожалеть, не лишать меня своей милости...

Прошли годы... Подросла дочь, Глория, вышла замуж. Радости моей не было конца. Вот, наконец, думал я, жизнь повернулась ко мне светлой стороной, но где там... Началась война, гитлеровская Германия, решив завоевать весь мир, напала на Советский Союз — нашего союзника, и моего зятя призвали в армию. День и ночь молили мы Бога сохранить моего мальчика, но он в очередной раз надсмеялся над нами — через шесть месяцев мы получили известие с фронта, что он погиб... «О, Бог! — обратился я мысленно к Всевышнему.—За что, за какие грехи ты постоянно и жестоко бьешь меня?! Я ведь и так несчастен, слаб и немощен. Эх! — возмущался я. — Видно и ты только слабых и бьешь!»

С тех пор меня часто сотрясает мелкая дрожь и я плачу. Врачи говорят, что это от нервного расстройства .Однажды Глория, в очередной раз увидев меня в слезах, подошла ко мне, вытерла платком слёзы и ласково сказала:

— Не плачь, папочка, Бог все равно когда-нибудь услышит тебя. Не надо так убиваться...

— Ты вся в мать, доченька, такая же нежная и терпеливая, — отвечал я, дрожащими руками вытирая слезы. — И ты меня успокаиваешь, мол, если не сегодня, так завтра станет лучше. За всю жизнь, доченька, я был счастлив, лишь живя с твоей матерью... С собой, видно, в могилу заберу её любовь.

Хозяин моей квартиры, кстати, тоже еврей, а их в Америке немало, как-то снизошел до меня и рассказал про государство Израиль, что, мол, теперь туда и из России едут. «Ты здесь кто? — говорил он мне тогда.— Нищий! А вот там приезжим евреям дают землю, тебе — трудяге, мол, там будет лучше, ибо там ты будешь у себя на Родине...» Я, правда, ему не верил, ибо его слова очень смахивали на лживые слова дяди Авроома. Куда мне, думал я, начинать всё сначала, за много лет здесь кое-как научился языку. Но иногда всё же червь сомнения начинал точить меня, задумывался, может, и вправду повезет.

В другой раз хозяин как-то невзначай рассказал, что в Израиле старые люди, как я, молодеют, больные — выздоравливают, что жизнь там человеку в пользу. И дочке, мол, на родной земле будет легче.

Однако сын хозяина, Джон, который меня за что-то очень не любил, называл дураком, слабоумным, считая, что я вовсе не еврей, что на еврея я совсем не похож. Такие оскорбительные слова в свой адрес я здесь часто слышу. Кто же я тогда, спрашивал я себя, если исправно хожу в синагогу, молюсь и совершаю все предписания Бога.

— Для того, кто понимает, о чем я говорю, — не раз внушал мне хозяин, — лучше Израиля страны нет, если и есть на земле рай, так это там.

Однажды я набрался смелости и спросил его:

— Вы так расхваливаете Израиль, а почему сами не поедете туда?

— Ха..., ха..., — ответил он, смеясь. — Чем на чужбине быть королем, лучше на родине быть рабом. Я ведь не о себе речь веду, а о тебе. Америка — моя родина, а не твоя.

Да, он был прав. За все эти годы она так и не стала мне родиной. Помню ещё в далеком детстве, мама, укладывая меня спать, часто пела: «Без гнезда, сыночек, пусть и птичка не будет, без родной земли — человек»... Почему она пела эту песню, живя в родном Дербенте, так и осталось для меня тайной, но одно усвоил я твердо, что здесь у меня действительно нет «ни гнезда, ни родной земли».

Каплей, переполнившей чашу, стала моя встреча с местным раввином. Заметив мои страдания, он как-то участливо сказал мне:

— Пропадешь ты здесь, Шолум, тоска убьет тебя. Ты еще не стар, поезжай в Израиль. Я помогу тебе и дочери купить билеты за счет общины, дам на первое время на расходы. Езжай, там найдешь свое счастье, дома и стены помогают, а там твоя родина, твой дом.

Так и быть, подумал я, видно, пора в дорогу. Собрались и уехали в Израиль.

Глория устроилась на работу сразу, ее знание английского языка и делопроизводства помогли ей. Выяснилось, что такие люди нужны в международном банке. После работы она шесть месяцев учила иврит, и теперь в совершенстве владеет им. За нее, за ее буду-

щее я спокоен, если не дай Бог, еще какая-нибудь каверза не испортит ей жизнь...

Научиться здесь языку я так и не смог, если не считать простых, обиходных слов. Малость подлечившись, в первые годы работал на стройке, потом, когда стало совсем тяжело, устроился сторожем на фабрику...

Материально мы стали жить значительно лучше. У нас теперь своя собственная четырехкомнатная квартира, я, кроме зарплаты, получаю еще и пенсию. У Глории наладилась и личная жизнь, несколько лет назад она вышла замуж, правда, детей что-то еще нет. Все как будто, благодаря Всевышнему, стало на место, будто к старости счастье пришло в мою семью, но не могу не сказать тебе, дорогая Бетиё, что в течение вот уже почти полувека не покидает меня мечта побывать в родном Дербенте, повидать брата своего, Ошира, побывать на могиле дорогих мне людей, поклониться их старым камням... И если смерть возьмет меня именно там, в период моего короткого пребывания, я буду безмерно счастлив. В этом потребность моей души, моего больного сердца, ностальгия по Дербенту...

Дорогая Бетиё! Мне и Глории стоило огромного труда узнать о том, что ты, слава Богу, жива, разузнать твой адрес и через верного друга Глории доставить это письмо. И теперь я прошу, умоляю тебя об одном одолжении (большего мне ничего не нужно): если к тебе обратятся с вопросом, можешь ли ты меня принять на две недели, ответь положительно. Поверь, все расходы я беру на себя.

Далее. Не могу не рассказать ещё об одном человеке и встрече с ним. Но вначале о другом. Когда много лет назад я жил в Дербенте, дядя Овроом и некоторые из его компании при каждой встрече напоминали, что наша Родина — Израиль. То же самое твердили мне богатые евреи в Америке, хотя сами они покидать ее не собираются, а дядя Овроом в свое время вообще в сторону Иерусалима не поехал. Итак, у меня сложилось мнение, что богатые евреи из других стран в Израиль не едут, но делают все, чтобы сюда ехали бедные, обездоленные, короче те, которые в местах недавнего проживания оказались в затруднительном положении. Все это пришло мне в голову в связи с тем, что я недавно, по случаю приезда евреев из Европы, на пристани города Хайфы увидел нашего родственни-

ка, Илесефа, не просто увидел, а столкнулся с ним лицом к лицу. Я и не подозревал, что он здесь депутат кнессета и представляет в правительстве «Херут» — организацию, о существовании которой я ничего не знал.

Увидев меня, он не остановился, не поздоровался, а как-то с омерзением осмотрел меня с ног до головы и направился к трибуне. От имени народа Израиля он приветствовал приезжих, говорил о правильности их шага, мужестве их поступка, а также о том, что евреи должны жить на земле обетованной, что сегодня, когда родина в опасности, они особенно нужны. И тут же прочитал приветственную телеграмму американского миллионера, который расщедрился на большую сумму, но сам не приехал...

Из всего сказанного им я понял, что жить на этой земле должен каждый еврей, что началась новая страница истории Израиля, когда не сегодня, так завтра, сбросив оковы коммунистического деспотизма, сюда, на родину предков, станут приезжать евреи из России, что он, Илесеф, и его организация «Херут» делают всё, чтобы прорвать «железный занавес» и дать возможность евреям осуществить свою заветную мечту.

Он говорил о тяжелом положении евреев в России, о большой безработице среди них, об их дискриминации, о враждебном отношении к ним со стороны правительства. От его слов меня обуял страх, и я вдруг подумал, не совершаю ли я ещё один необдуманный шаг, стоит ли вообще ехать сейчас в Дербент, не забрать ли обратно заявление, с которым я обратился в правительство с просьбой дать мне разрешение на краткосрочную поездку к тебе.

Обуреваемый этими сомнениями, я на следующий день был весьма удивлен, когда ко мне в квартиру пришли три господина из этой самой «Херут» и накинулись на меня с вопросами:

— Ты Шолум Нахшиев?

— Да, — отвечаю, — а что случилось?

— Что это тебе взбрело в голову ехать в Россию? Тебе что, жить надоело?

— Хочу перед смертью повидать своего брата и тетю, почти полвека не видел их.

— Они сами скоро сюда приедут, — с ехидцей заметил один из них.

— Боюсь, что не дождусь, — отвечаю.

— Вполне может быть, — без тени иронии сказал второй и с угрозой продолжал: — Не советуем ехать, это дурной пример, подумайте еще раз.

— Да, что вы, господа, — ответил я им смиренно, — кому я, старый человек, могу быть примером, кому я нужен?!

Они переглянулись, с презрением посмотрели на меня и ушли...

После этого, дорогая Бетиё, я решил, что если даже эта поездка окажется для меня смертельной, я от нее не откажусь. Подводя жизненную черту, каждый вправе делать то, что хочет.

А я хочу, мечтаю встретиться с вами, с самыми дорогими мне людьми, о чем я понял слишком поздно, излить и отвести свою душу, и уйти с этого света с сознанием исполненного долга.

Обнимаем вас.
И да будет с вами Бог!
Шолум и Глория».

Второе письмо

...Прошу вас, тетя Бетиё, это письмо доставить дяде Оширу. Простите меня, но я не знаю, что и как сказать... Три месяца назад, после многочисленных просьб, отец, наконец, получил разрешение на поездку в Дербент. Радости его не было конца, он ходил окрыленный, пел какие-то только ему известные песни, покупал подарки... За два дня до его отъезда мы с мужем пришли его навестить и обнаружили его в окружении соседей и врачей, распростертым на полу квартиры.

«Он умер от какого-то эмоционального стресса»,— сказал мне врач.

«Да, — подумала я, — от радости...»

Но об одном я хочу, чтобы вы знали, дядя Ошир, отец всю жизнь любил вас и ждал встречи с вами!

Теперь у меня нет отца, а у вас — брата...

Ваша Глория».

У Тозегюль на глаза навернулись слезы, а Ошир в задумчивости, опустив голову, думал о хитросплетениях судьбы, несбывшейся мечте брата и бесконечных злодениях Илесефа. По-видимому, борьба еще впереди...

СУДЬБА

Повесть

ГЛАВА 1

На нашей улице праздник! На нашей улице свадьба! Вы слышите, дорогой читатель, зажигательную танцевальную музыку? Это Шемей-портной сегодня женит, наконец, своего сына, своего единственного сына, Шенде.

Поздравляем, желаем счастья! И вам, мой дорогой читатель, от всей души желаем женить сыновей своих, да замуж дочерей отдать, насладиться счастьем и сознанием исполненного долга!

В самом деле, что может быть выше и лучше радости? Разве радость не самое большое богатство? Как прекрасно, когда у человека на губах улыбка, а в сердце — радость. С годами все больше убеждаемся, что человек и приходит-то в этот мир именно за тем, чтобы украсить нашу землю, сделать ее еще щедрее и этим, только этим радовать себя и окружающих!

Человек счастлив, если жизнь в радость. А потому, мой дорогой читатель, всегда приятно, когда сосед ли, друг ли — да кто угодно, встречая тебя ежедневно, с чистой душой и с улыбкой на устах произносит: «Доброе утро!» или «Добрый день!» В этом большой смысл, ибо тот, кто счастлив и радостен, не станет завидовать другому, не обидит и не унизит ближнего, не пожелает ему горя или беды. Может быть, именно этим и мудр мой маленький народ, выразивший глубину своего жизненного опыта пословицей: «Пожелаешь другому добра — и тебе добро дастся».

На нашей улице свадьба! На нашей улице праздник! Родственники жениха, нарядные и веселые: женщины, несущие медные подносы с подарками на головах, мужчины с шомполами шашлыка и сверкающим в четвертях вином, неумолкающие музыканты, дети с яркими факелами в руках — вся эта масса движется к дому невесты, танцуя и напевая, с радостными возгласами, с шутками и смехом.

Незабываемо это факельное шествие, это яркое свечение десятков огненных светильников, которые украшают свадьбу и делают ее загадочной. Недаром сохранилось поверье, что огонь этих факелов, образуя заслон, как бы охраняет свадьбу, чтобы, не дай Бог, не омрачилась она бедой, чтобы черти да дьяволы не сглазили, не навели порчу на молодых.

За факельщиками, кто танцуя, кто с шутками да прибаутками движется уже группа людей постарше. А один из них, высокий худой мужчина, с тремя шомполами шашлыка да с тандырным чуреком в одной руке, с четвертью искрящегося янтарного вина в другой, широко, размашисто раскинув, словно орлиные крылья, занятые руки, пустился в пляс, пригласив на танец полную, довольно красивую женщину. И рядом с ними, словно по команде, вышли танцевать еще десять-двенадцать пар.

А музыканты, хотя и устали от этой бесконечной игры, от желания собравшихся не останавливаться, все же музыку не прекращают, знают, что они — не только веселое настроение свадьбы, но и ее украшение.

И вот за всей этой процессией, за этим кажущимся кавардаком, шла к дому невесты и группа молодых людей, а среди них жених, почему-то понуривший голову...

* * *

Много бессонных ночей, нервов и слез потратили Шемей-портной, а особенно его жена, — Шекер, пока им удалось вырастить до таких лет сына, ибо из семи родившихся детей он один-единственный и остался в живых. Надо ли говорить, что это стало притчей во языцех всех сплетниц города, а особенно сердобольных тетушек и кумушек. Одни считали, что дети знаменитого портного умирали от сглазу сатаны или дьявола в человеческом обличье, другие все сваливали на таинствен-

ную хищную ласку, которая ночью, когда все спали, душила младенцев в колыбели.

А потому доморощенные акушеры посоветовали чуть не лишившимся ума родителям заявить вслух, что, мол, этого ребенка они выбросили, т. е. он «выброшенный»— «Шенде» и тогда нечистые во главе с дьяволом не станут его преследовать.

Шенде, Шенде... — так и стал зваться мальчик, и это прозвище осталось его именем на всю жизнь. Что касается малыша, то он — худенький, что называется «глиста в обмороке», еле-еле, с большим трудом, как говорится, с «божьей помощью», потихоньку приходил в себя, и преодолев кризисную черту, пошел в рост.

Когда Шенде исполнилось семь лет и он должен был через месяц пойти в школу, счастливый Шемей-портной отметил это радостное событие большим торжеством. В городе не осталось хотя бы сколько-нибудь знакомого ему человека, которого Шемей оставил без внимания, не пригласил на свой семейный праздник.

А что касается довольных тетушек да кумушек, то уж их хозяин одарил особенно щедро, преподнес каждой из них отрезы редких тканей на платье или гобо.

Особыми успехами в школе Шенде не отличался, но, при наличии большого достатка в семье, рос не балованным и не кичливым, а потому на родительских собраниях учителя о нем почти всегда умалчивали, не отмечая ни его успехов, ни неудач, так себе, середина на половину.

Но в домашних делах Шенде был незаменим, не пугался ни легких, ни трудных дел: на зиму дрова завозил, колол и укладывал в сарае еще летом, сад во дворе вспахивал и в конце осени, и ранней весной, всегда таскал матери воду, а ее приходилось приносить почти за версту из городского родника. А когда Шемей на попутной арбе посылал домой большие чувалы с мукой, он, легко подбросив на плечо, заносил их в подвал. Естественно, все это радовало материнское сердце Шекер и льстило самолюбию отца. В скором времени Шенде превратился в высокого, черноволосого, зеленоглазого красивого юношу, которым любовались не только родители, но порой не могли отвести взгляд и соседские девушки.

После окончания школы, Шемей-портной, не надеясь на знания и способности сына в учебе, ценой немалых

расходов отвез Шенде в Москву и устроил в институт. Слух об этом разнесся по всему Дербенту, ибо такая возможность выпадала не каждому. Отец мечтал сделать из сына врача. Однако уже по результатам первого семестра стало понятно, о чем недвусмысленно заявил отцу ректор, что учеба в институте сыну не под силу, и его пришлось вернуть домой.

Не смирившись с этим и считая, что к сыну в Москве подошли предвзято, Шемей несколько раз ездил в Махачкалу, старался устроить Шенде хотя бы здесь в институт, но когда понял, что все его усилия напрасны, смирился.

Надо ли говорить, что это был тяжелый удар по самолюбию отца, поскольку Шемей считал себя не только талантливым портным, но и незаурядным человеком. Но делать было нечего, и Шемею ничего не оставалось, как научить сына своему ремеслу.

За все время челночных поездок в столичные города, Шемей ни разу не удосужился спросить Шенде, что же он хочет сам, к чему лежит душа у сына. Шенде же мечтал пойти работать в колхоз, а вечерами учиться в городском сельскохозяйственном техникуме и получить диплом младшего агронома. Но поскольку отец о его желаниях не спрашивал, а юноша сам стеснялся ему об этом сказать, все шло так, как хотел отец. Уважение к отцу, смешанное со страхом, было настолько непоколебимо, что Шенде твердо, по-мужски никогда вопреки желаниям отца не сказал и не сделал ничего...

Рос он степенным и уравновешенным юношей, звезд с неба не хватал, дружбу с молодыми людьми легкого поведения не заводил, ограничился одним-двумя товарищами, с которыми любил иногда проводить время. Особенно ему не нравились балагуры, словоохотливые, шумливые люди, которых он обходил стороной. Сам же шутки любил и чувством юмора обделен не был. Однажды один балагур, под видом шутки, загнул в адрес Шенде такое, что тот, недолго думая, так схватил и зажал шутника, что «весельчак» был вынужден просить о помощи:

— Ради Бога, уберите этого слона, он же меня сейчас раздавит...

И с тех пор с Шенде подобным образом никто не шутил.

Мирвори, соседская девушка, как-то незаметно,

стремительно из вчерашней босоногой девчушки превратилась в очаровательную девушку. Шенде еще год назад в ее сторону даже не смотрел — пострелёнок, и все. Но как-то утром, повстречав ее с кувшином воды за плечом, остановился как вкопанный и не мог отвести глаз, словно в пасмурный день нежданно выглянуло солнышко. Открыв рот от изумления, он не мог поверить, что за короткий срок эта вчера еще озорная, быстроногая девочка вот так сразу приобрела свою, девичью походку, стала миловидной и красивой девушкой. Что касается самой Мирвори, то заметив замешательство красавца-соседа, она стыдливо опустила голову, алые, вишневые губы сомкнулись в улыбке, отчего ямочки ее щек обозначились еще четче, и быстро прошла мимо Шенде, оставив его в недоумении.

С этого дня она запала в душу Шенде. Не мог забыть он ее смеющихся карих глаз, ямочек на яблоневых щеках. Иногда во время работы, словно в забытье, образ милой соседки оказывался рядом с ним и очаровывал его так, что казалось: она зовет его. Но как только протягивал руку за милой шалуньей, она исчезала и Шенде возвращался в реальный мир и отрешенно улыбался.

— У тебя какой-то отсутствующий взгляд, сынок,— однажды заметила мать. — Не заболел ли?

Недаром говорят, что сердце матери, словно чуткий прибор, все видит и все чувствует.

— Нет, мамочка, что ты! — улыбаясь, ответил Шенде. — Просто я вчера попал в неожиданную историю и никак не могу ее забыть. Когда я возвращался домой, у наших ворот повстречалась мне соседская дочь, Дина, которая два года назад вышла замуж и уехала в Махачкалу. «О, Дина, — говорю я ей, — когда ты приехала?» И тут она заразительно засмеялась и ответила, что она не Дина, а ее младшая сестра, Мирвори. Я так удивился, это эта вчерашняя малолетка вдруг так выросла...

— Ничего удивительного, сынок, — сразу сообразив, ответила Шекер, — девушки, словно стебельки, быстро в рост идут. — Как будто ненароком, заметила: — Вокруг столько хороших девушек, дорогой...

Шенде, конечно, слукавил, что эта встреча произошла накануне. К этому времени Мирвори приходила к

нему не только в воображении, но и наяву. Они уже раза два тайком встречались.

Стеснительному, немногословному Шенде девушка нравилась все больше и больше. Немудрено, что разговор с матерью оказался как нельзя кстати, ибо именно вчера Мирвори, как-то невзначай, улыбаясь, сказала ему, что к ним приходили сваты, от чего в душу ему закралась тревога...

В эту ночь Шемей-портной и Шекер до полуночи уснуть не могли. Рассказ жены очень взволновал и обрадовал Шемея. «Наконец, и я дождался своего часа,— подумал он, — видно, пришла пора женить сына». Мысль о том, что в скором времени и он будет нянчить внуков, а потом, взяв их за руки, пойдет гулять в городской парк, еще больше подняла ему настроение. Но когда Шекер тут же стала расхваливать соседскую дочь, Мирвори, Шемей недовольно оборвал ее:

— А вот это уже позволь мне знать. Ни о какой Мирвори не может быть и речи!

— Я не потому сказала, что согласна с ним, — словно оправдываясь, ответила Шекер, — а потому, что мы не можем не считаться с мнением сына...

— С мнением, с мнением.., — с возмущением пробурчал Шемей. — Я что, по-твоему, ему враг? Я ведь тоже не слепой, вижу, что он, слава Богу, еще ни с кем не связан, а мимолетная встреча не в счет, это все баловство. А если всерьез, то тебе небезызвестно, что вот уже треть века я дружу с Бобоилом-жестянщиком. Человек он отменный, уважительный, из известного рода мастеровых, и состоянием обладает немалым. О редкой красоте его дочери знаем не понаслышке, так что для нашего сына такая жена и подойдет. Мало того, еще с молодости мы связаны словом, мол, если у нас будут разнополые дети, мы постараемся их соединить, а у него три сына и последней родилась дочь. Вот почему я завтра же встречусь и поговорю с Бобоилом. А теперь давай спать...

— Но ведь Шенде говорил о Мирвори.., — тихо заметила Шекер, — что, если он не даст согласия на другую? Что, если он любит ее?

— Что...о? Хозяин этого дома пока я! — сев на постели, возмущенно произнес Шемей. — Не было еще в нашем роду случая, чтобы младшие пошли наперекор старшим. И мы были молодыми, и не то, чтобы

сказать слово против, мы даже тени своих старших боялись...Любовь, видите ли! Ни что такое любовь мы не знали, ни чего другого, до свадьбы даже лица невесты не видели. Это все слова... Вот поживут вместе, тогда и любовь будет, и все другое тоже.., — Шемей ненадолго умолк и уже спокойно продолжил. — Я не враг своему сыну, он — моя кровь, моя плоть. Кроме того, знай, что родители никогда своим детям плохого не пожелают...

— Сегодняшняя молодежь.., — хотела что-то добавить Шекер, но Шемей возмущенно прервал ее разглагольствования.

— Молодежь, как и мудрость старости, одинаковая. Все будет так, как сказал я!..

* * *

...Свадебная процессия, танцуя и хлопая в такт музыкантам, приближалась к дому невесты. Жених и друзья его, как этого требует адат, полукругом остановились у ворот невесты. Один из родственников жениха громко обратился к хозяину:

— Дядя Бобоил, где вы там? Выводите нашу невесту! Пора уже, жених заждался!

— Если хотите, — в шутку выкрикнул кто-то из молодых, — мы и от ее тети не откажемся!..

Раздается громкий смех.

Но вот слышатся голоса: «Ведут!» «Ведут!»

Разодетую в подвенечное платье из легкой парчи, сверх головы и лица покрытую белой шелковой шалью с ажурной бахромой, невесту (лица ее до первой брачной ночи кроме жениха никто видеть не должен), взяв под руки с двух сторон, к воротам дома ведут двое близких ее родственников — «поводыри».

Вперед выходит Бобоил. Он приближается к жениху, обнимает и целует его в лоб, затем дрожащим от волнения голосом произносит:

— Поздравляю вас, дети мои! Желаю вам счастья, да внуков нам побольше! А это тебе отцовский подарок, — Бобоил надевает на руку жениха золотой браслет.

Тем временем невесту подводят к жениху и процессия движется в обратную сторону. На головы молодых веером сыпятся рис и конфеты. Мать невесты, Либо,

бросая вслед дочери рис, словно моля Бога о милости, приговаривала:

— Дай вам Бог счастья, дети мои! Да не пожалеть нам о содеянном!..

А теперь все вместе, с женихом и невестой, с ее бессменными «поводырями» да с теми, кто несет вслед приданое невесты: пуховые подушки и матрац, набитый гусиным пером, зажженную керосиновую лампу и большое обрамленное зеркало; с факельщиками и музыкантами, с радостью и весельем, с танцами и шутками двинемся к дому жениха, где в эту ночь гости и родственники с нетерпением ждут на свадьбу всю свадебную процессию.

А ночь была дивная и тихая, ночь любви и трепетных ожиданий, раскинувшая над городом свое волшебное синее покрывало, расшитое ясноликой луной и лукавыми звездами. Это была двадцатая ночь первого летнего месяца 1941 года. Сверкали омытые прошедшим недавно дождем зеленые листья деревьев, что стояли вдоль всей улицы, словно завороженные песнями и танцами неумолкающих музыкантов.

Было прекрасное время года. Колхозники радовались результатам своего труда: на овощных участках стали созревать первые помидоры и огурцы, желтизной покрывались дозревшие дыни, на виноградниках были видны уже зеленоватые гроздья, обещавшие месяца через два превратиться в янтарные ожерелья; наполненные хлебные колосья, словно в раздумье, опустили головы, ибо урожайный стебель не кичлив, всегда с опущенной головой.

Правда, большинство горожан, в недавнем прошлом жители сел, в такое время года свадеб не устраивают, ибо сельскому человеку летом, да еще в самом его начале, в разгар сельскохозяйственной страды, не до свадеб. Другое дело в середине осени, когда хлеб в закромах, а свежее виноградное вино пузырится и рвется в графины к свадебному столу.

Но горожане знали, что Шемей, отец жениха, хоть и не жнец, но отменный швец, а что касается Бобоила, отца невесты, так о нем, как об известном мастере-кровельщике, ходили легенды. Кроме того, у Шемея и Бобоила для ускорения свадьбы были и другие, более веские причины...

* * *

Седеф, словно в предчувствии беды, не находила себе места. Она то садилась, то вскакивала и подбегала к окну, как загнанная в клетку птица. Ожидания настолько истомили ее, что порой, обессиленная, как от изнурительной болезни, она останавливалась на середине комнаты и смотрела в одну точку. Нет, чудо не происходило, Муноша было не видать. Правда, в глубине души Седеф понимала, что Мунош не может в это время быть у ее окна, ибо он — тарист, музыкант, играет нынче на одной из свадеб, куда его как хорошего исполнителя часто приглашают. Но она и сама не могла объяснить, почему ее трепетное сердце ждало и хотело, чтобы Мунош именно сегодня, а точнее сейчас, оказался здесь, рядом. Седеф с надеждой ждала неожиданного появления любимого, словно ее состояние передалось и ему, и он непременно должен был прибежать на ее душевный зов...

Прошел уже год с тех пор, как они встретились в первый раз. Это было на свадьбе, куда отца пригласил его давний друг. И Бобоил впервые решил повести туда и свою дочь, мол, пора уже и себя показать, да и других повидать. Но когда приглашенные на свадьбу молодые люди увидели красоту Седеф, ее стройный, дивный стан, они не могли оторвать от девушки зачарованных глаз: две заплетенные косы черным шелком струились по ее изящной спинке, голубые глаза на милом личике искрились озорством и радостью, как у выросшей на воле юной газели. Да что там говорить, если бы ее увидел поэт, то воскликнул бы в восторге: «Ты божество, ты дивное создание!..»

Заметив немой восторг в глазах молодых людей, Бобоил сделал вид, что недоволен столь пристальным вниманием к дочери, однако в глубине души был рад, что она произвела на окружающих такое сильное впечатление.

— О Бобоил! — обратилась к нему давняя знакомая, женщина средних лет. — Ты что же прятал от нас это сокровище? Нельзя быть таким скрягой! — хитро улыбалась она. — Ну-ка, дай мне тебя рассмотреть..,— обратилась она к Седеф и, приблизив ее к себе, сердечно обняла и поцеловала девушку в щёчку. — Да чтобы глаз выпал у того, кто тебя сглазит, моя красавица!

Желаю тебе счастья, да невестой стать в скором времени на радость отцу и матери! Поверь мне, Бобоил, будь у меня неженатый сын, я бы ее ни дня у тебя в доме не оставила...

Седеф стеснительно опустила голову и отошла к отцу. Но тем временем молодые племянники и другие близкие родственники стали наперебой приглашать ее на танцы. Вначале она взглядом спрашивала позволения отца и, получив его молчаливое согласие, не отказывалась от приглашений. Девушка раскраснелась от танцев и внимания со всех сторон, затем малость расслабилась и в ней пробудилось то мальчишеское озорство, которым отличалось ее недавнее детство и казалось, лишь ненадолго спряталось за внешней стеснительностью.

Выросшая в богатой по тем временам, обеспеченной семье, всегда чувствовавшая защиту и внимание своих трех братьев, Седеф с малых лет была участницей больше мальчишеских игр, нежели девичьих. В устраиваемых на их улице играх в («красных и синих», «лапту», она — пострелепок бегала быстрее всех и зачастую именно благодаря ей их команде доставались «неприятельский флаг» и победа. А в альчики точнее и метче ее не играл никто. Нередко, если чувствовала чью-либо несправедливость, она решительно вступала в мальчишеские драки и, хотя ребята жалели и старались не попасть ей в лицо, все же без синяков не обходилось. По всем признакам ей больше был свойственен шаловливо-задорный, бойцовский характер мальчишки, чем робость, застенчивость и нерешительность девочки. Всегда встающая на защиту обиженной подружки, добивающаяся справедливости в спорах, чистая в помыслах и стремлениях — такой росла Седеф в семье, отчего отец неодобрительно называл ее «несостоявшимся» четвертым сыном. Подруги любили ее за честность и прямоту и тянулись к ней как мотыльки к свету. И теперь, выйдя из детского возраста и став нежной и привлекательной девушкой, Седеф не потеряла своих бойцовских качеств, а лишь стала мягче, терпеливее, чему способствовали еще адат, традиции и время, в котором она жила. Девушка в семье должна была быть трудолюбивой, послушной, без разрешения родителей не имела права лишний раз выйти для прогулки на улицу, просто встретиться и поговорить с молодым человеком, кроме очень близкого

родственника. Сделать что-либо вопреки всему этому считалось неизгладимым позором, бесчестьем не только для нее самой, но и для всей семьи. И бывали случаи, когда отцы или братья до смерти избивали и даже убивали своих дочерей или сестер, омрачивших их семьи подобным бесчестьем. То было время, когда бесправие женщины считалось нормой.

Седеф танцевала. Музыканты продолжали играть ее любимую танцевальную музыку и, раскрепостившись, она с удовольствием шла в круг то с одним, то с другим молодым человеком, грациозно изгибая стан и плавно, словно лебедиными крыльями, взмахивая красивыми руками. И вдруг... музыканты незаметно изменили мелодию танца, сохранив лишь ее такт. Седеф, чутко слушавшая музыку, остановилась в двух шагах от игравшего тариста и, будто она была не на многолюдной свадьбе, а в семейном кругу, тихо, вполголоса попросила:

— Пожалуйста, сыграйте прежний танец...

Ее партнер, не растерявшись, тут же громко повторил ее просьбу, будто не она, а он был инициатором. Молодой человек защитил ее от неприятностей...

Как это случилось, Седеф, ни тогда на свадьбе, ни потом, объяснить не могла. Если бы ее попросили повторить подобное еще раз, напомнив об этом случае, она бы сгорела от стыда, но в ту ночь... Тарист (это был Мунош), стройный черноволосый и черноглазый двадцатипятилетний красавец встал со своего места и, очаровательно улыбнувшись, ответил:

— Хорошо, дорогая!..

И тогда их глаза встретились, всего на несколько секунд. Но что она увидела тогда, о чем, о какой тайне поведал их мимолетный взгляд в этот миг, на это Седеф не могла ответить никогда. Кто знает, о чем мигают друг другу звезды в ночной синеве? О чем шепчут под ласковым майским ветром деревья?

Потом уже... Седеф испуганно, мельком еще раз бросила изучающий взгляд на Муноша и поймала направленные на нее прямые лучи его гипнотических глаз, непривычную зовущую улыбку на его красивом лице. Девушка почувствовала какое-то тревожное волнение, некую искру взаимного влечения и испугалась этого. «Да что это со мной, сейчас же отвернись в другую сторону, не позорь себя», — приказывала она себе, но

вместо этого какая-то неведомая сила вновь заставляла ее смотреть на него... А тара Муноша в ту ночь не играла, нет, она пела, словно не струны инструмента, а струны сердца музыканта звенели в восторге. А песни?!.. Седеф казалось, а может быть, ей так хотелось, чтобы и пылающий взор музыканта и слова песен, которые он пел, были предназначены ей, и потому она стыдливо краснела, будто окружающие тоже догадывались об их душевной тайне.

Потом уже.., когда гости стали расходиться, Муноша вдруг осознал, что «птичка» улетает, и упустить Седеф сейчас, значит, упустить навсегда, и его изворотливый ум искал пути, как сказать девушке хотя бы несколько слов. Отец не оставляет ее даже на миг, при людях подойти к ней тоже нельзя — это значит бросить тень на репутацию девушки, а такое потом не прощается... Да и его репутация «малость» подмочена, о его любовных похождениях знает почти все взрослое население города. Нет, так ничего не получится...

Тем временем Бобоил, взяв Седеф за руку, как делал это в ее детские годы, направился к выходу. Девушка же, забывшись, интуитивно на мгновение повернулась к Муношу и их глаза снова встретились...

— О, Бобоил! Куда ты торопишься? — обняв Бобоила за плечи, обратился к нему хозяин свадьбы. — Ты же не просто гость, а друг и брат, побудь с нами еще...

— Поверь, друг мой, от души отдохнули, а у дочки глаза искрятся от радости, натанцевалась... Дай Бог, чтобы в ближайшее время судьба привела нас на рождение еще одного твоего внука! — душевно отвечал Бобоил на настойчивость хозяина. — Скоро уже утро, а Либо в доме одна с маленьким внуком. Спасибо, дорогой, дай Бог счастья твоему дому!

Наклонив голову, Бобоил вышел из низкой калитки дворовых ворот. Седеф тоже хотела было последовать за отцом, как вдруг какой-то мальчишка-сорванец тайком сунул ей в руку маленький клочок бумаги. Девушка от неожиданности вздрогнула, воровато оглянулась по сторонам, а сердце запрыгало и непривычно ускорило свой бег, будто собиралось покинуть свою обитель.

Потом уже... через два дня, когда стемнело и прохожих на улицах почти не стало, она, сказав, что хочет навестить подругу, пошла на свое первое в жизни сви-

дание. Встретились Мунош и Седеф в затаенном уголке старого сквера у городской стены, в ста шагах от ее дома, где заметить их было почти невозможно. Все предусмотрел хитроумный Мунош.

Боязнь, что ненароком ее могут увидеть, вначале привела Седеф к мысли, что идти на свидание не следует, ибо быть обнаруженной в такое время в безлюдном месте — это значит дать обильную пищу городским сплетницам, которые потом на все лады начнут трезвонить несусветную брехню, пойдут такие толки, суды да пересуды, что и подумать страшно — позора не оберешься. Хорошо еще, если только этим и кончится!

Но сердце не соглашалось с разумом, оно требовало встать и, не раздумывая, мчаться к Муношу, оно будто говорило: «Ты, что это, милая, испугалась, на тебя это не похоже, иди, он ждет тебя...» Вот так, в раздумьях, она как бы невзначай надела туфли и пошла к дверям. Однако какая-то неведомая сила заставила ее снять туфли и вновь вернуться на место. Но сердце оказалось сильнее, оно звало, требовало, давало силы, мол, поговоришь недолго и вернешься домой, иди...

После этой встречи Седеф словно преобразилась: в глазах появился блеск, на лице радость, в движениях целеустремленность — жизнь приобрела смысл, в сердце пробуждалась заря. Хотя ей были непривычны, а порой даже неожиданны нежные слова многоопытного Муноша (ей было всего семнадцать лет), но сердцу они были приятны, оно словно ждало этих слов, ибо сердце и предназначено для нежности и любви.

В течение года им все же удавалось, хотя и урывками, второпях, встречаться в условленном месте еще несколько раз, и каждый раз встречи становились для нее желаннее и теплее. Но на последних свиданиях Мунош из пылкого «влюбленного», как это было вначале, превращался в нетерпеливого, похотливого самца, почувствовавшего запах вожделенной самки.

Для Муноша игра во «влюбленного» закончилась, в нем все больше давал о себе знать зрелый мужчина, и его руки становились неуправляемыми, нахальными и бесстыдными. В таких случаях Седеф высвобождалась из его объятий, стыдливо опускала голову, при этом щеки ее становились пунцовыми — даже влюбленному она этого позволить не могла. И тогда взгляд ее становился укоризненным и твердым.

Муноша вдруг спохватывался и трезвел, он понимал, что заходит слишком далеко. С каждой встречей Седеф нравилась ему все больше и больше, порой он забывал молодую вдовушку — очередную женщину, которой вскружил голову, и нетерпеливо ждал встречи с Седеф. Ему нравились ее чистота, бесхитростность, доверчивость, нескрываемая влюбленность, наконец. Он стал задумываться над тем, не связать ли ему свою судьбу с этой красивой и нежной девушкой, которая со временем могла превратиться в пылкую и страстную женщину. Это тем более могло быть ему выгодно, считал он, так как дочь богатого мастерового могла принести с собой солидное приданое — целое состояние. Но тут же отбрасывал подобные мысли, ибо превыше всего ценил независимость, свободу от супружеских уз, легкую жизнь беззаботного ловеласа. А потому, думал он, не пора ли дать отбой...

А тем временем мысли и душа Седеф были с ним, с Муношем, она не чувствовала фальши с его стороны, ее чистому сердцу были не только не понятны подобные размышления, они претили ей. Своему первому чувству она отдала и чистоту своего сердца, и высоту своих помыслов. Кто застрахован от грязи и подлости, кто заранее знает, идя по дороге жизни, куда она приведет? Кто знает где, в каком затаенном сундуке, спрятана его судьба? Кто знает и может дать ответ, почему юноша или девушка из тысяч-тысяч выбирают лишь одну или одного? Полюбила и все, и никуда не денешься!

Седеф ходила по комнате, ожидая невозможного, ее трепетное сердце билось в предчувствии беды, словно пойманная в ловушку молодая газель. «Что это со мной? — тревожно думала девушка. — Не быть бы беде!» Вот в таком состоянии и застала ее Мирвори, давняя подружка, еще со школьной скамьи. Взглянув на бледное, возбужденное лицо подруги, Седеф удивленно спросила:

— Ты что такая бледная, не заболела ли?

— Нет, не заболела, — оглядывая комнату, ответила Мирвори, потом пристально взглянув на Седеф, спросила: — Ты тоже выглядишь не лучшим образом. Что нового?

— Что тебе сказать?! — неестественно улыбаясь, ответила Седеф. — Как-то мне не по себе сегодня, ни к чему рука не тянется: ни по дому что-либо сделать,

ни вот жураб довязать, словно меня связал кто-то... Хорошо, хоть ты пришла, а то не знала, куда себя девать...

— Как? — удивленно спросила Мирвори. — Тебе ничего не известно?

— Что не известно? — в свою очередь удивилась Седеф. — Ты какая-то непонятная сегодня. Что мне должно быть известно?

— Неужели тебе не известно о том, что час назад твой отец дал согласие выдать тебя замуж?

— Меня... замуж? — совсем удивилась Седеф. — О чем ты говоришь? — и неожиданно для себя добавила. — За кого же?

— За Шенде! — ответила подруга.

— Шенде? Кто это? — побледнев, изменившимся голосом спросила Седеф. Потом, чуть не плача, взмолилась: — Да говори же быстрей, сейчас сердце лопнет...

— Ну, есть такой парень, Шенде, сын нашего соседа, Шемея-портного. Я тебе несколько раз о нем рассказывала. Я совершенно случайно об этом узнала... Часа два назад твой отец в обнимку с дядей Шемеем зашли к ним во двор и там же уселись за стол. У нас с ними общий забор и я все слышала. И тогда дядя Шемей-портной говорит твоему отцу, мол, мы с тобой более тридцати лет словно братья, так давай мы сами, без посторонней помощи, обговорим дела наших детей. Получив согласие твоего отца, тот предложил ему стать не только друзьями, братьями, но и родственниками. Мол, давай данное друг другу в молодости обещание претворим в жизнь — соединим жизнь моего сына, Шенде, и твоей дочери, Седеф...

— И что ответил мой отец? — еще больше побледнев, с надеждой спросила Седеф. — Неужели дал согласие?

Мирвори посмотрела на осунувшееся вдруг лицо подруги, на нескрываемую печаль в ее голубых глазах, дрожащие нежные руки, опустила голову и удрученно ответила:

— Да, Седеф, сегодня к вечеру к вам придут сваты.

Седеф вздрогнула, как неожиданно подстреленная птица, и, охнув, упала на кровать.

— Нет, нет.., — плача говорила она, — вот почему меня мучила тревога, вот почему плакало мое бедное сердце, оно, оказывается, почувствовало беду раньше...

Обняв подругу, плакала и Мирвори...

* * *

— Либо! Где ты там? — войдя во двор, уже с порога крикнул Бобоил.

На зов мужа во двор вышла Либо.

— О мужчина, где ты был так долго? — удивилась жена, зная его привычку обедать всегда вовремя, — Обед уже остыл, а тебя все нет...

— Обед подождет, — бойко, по-деловому ответил Бобоил. — Дай-ка мне попить воды, да и ты подойди, сядь, поговорить надо...

В этот самый момент из комнаты вышла Мирвори и, опустив голову, стремглав выбежала со двора.

— Кто эта девушка? — удивился Бобоил.

— Подружка нашей Седеф, — протягивая ему кружку с водой, ответила Либо, — приходила ее проведать...

— Очень хорошо, что и Седеф дома, — выпив воду, заговорил Бобоил. — Часа два назад меня встретил Шемей-портной и потянул к себе домой. Как выяснилось потом, не без умысла.

— Как? — не поняла Либо.

— Не перебивай, а слушай, — капризно заявил Бобоил и продолжал. — Короче, разговор шел о том, что Шемей предложил выдать нашу дочь, Седеф, за его сына, Шенде.

— Как? — совсем растерялась Либо.

— Как, как! — обиженно перебил ее Бобоил. — Буду краток, в общем, я дал согласие на этот брак. Шенде парень видный, мы его знаем, вырос на наших глазах: с людьми ладит, не кичлив, работящий, за несколько месяцев освоил специальность отца и, слава Богу, в городе почти нет человека, кто свою обновку заказывает на стороне. В доме один и все богатство отца останется ему. Кроме того, сам высок, ладен, красив, прямо создан для нашей Седеф. Поэтому, обдумав, я дал согласие... Теперь же вставай, готовься, вечером придут сваты... мясо, по моему заказу, через час принесут, рис, вино да еще кое-что дома есть, что касается зелени — морковь да редьку я с базара сейчас принесу. Времени нет, займись делом.

— Постой, о мужчина! Куда ты торопишься? — недовольно заявила Либо. — Так скоро такие дела не решаются, надо и Седеф спросить, поставить в известность...

— Не болтай! — приказал, словно отрезал Бобоил. — Человек пять-шесть будут от них, ну, десять-двенадцать наших. Принесут кольцо, часы с браслетом, как это всегда делается, и дело с концом. Что касается обручения и свадьбы, то через месяца два устроим и это. А Седеф... с ней поговори ты сама, это по твоей части...

— Хорошо, я все приготовлю, меня не это волнует, но ты и меня выслушай, я ведь тоже как-никак мать..,— обиженно заявила Либо — Ты ей после семилетки не разрешил продолжить учебу, на работу тоже нельзя, считаешь ты, теперь же, не спросив ее согласия, замуж выдаешь? Разве так можно? Надо ее пригласить, поговорить, уговорить, наконец...

— Вот ты это все и сделай, мне некогда, я пошел на базар.., — схватив корзину, Бобоил вышел со двора.

Шенде, конечно, парень прекрасный, думала тем временем Либо, но дело не в нем... Либо вспомнила, как недавно Седеф доверительно призналась, что нравится ей один красивый молодой человек, но ни имени его, ни рода занятий не назвала. Мать также помнила, как при этом признании светились счастьем глаза дочери, как вообще повзрослела она в последнее время. Она понимала, что сегодняшний разговор с дочерью будет не только не легким, но и довольно печальным, но делать было нечего, надо идти к ней.

Войдя в комнату дочери, Либо была ошеломлена ее видом, напомнившим ей десятилетнюю Седеф, только что вступившую в драку с мальчишкой, непозволительно обидевшим ее любимую подругу.

— Я весь ваш разговор с отцом слышала, — не дав матери заговорить, заявила Седеф. — Но я ни за какого Шенде замуж не пойду! Я не бессловесное животное... — не выдержав, девушка заплакала. — Как вы можете так со мной поступить, вы, что, хотите от меня избавиться?..

— Да о чем ты говоришь, доченька, умереть мне за тебя? — Либо ласково обняла Седеф и прижала ее к себе. — Так уж устроена жизнь, моя радость, девушек, когда приходит время, выдают завуж... А Шенде очень хороший парень: умный, стройный, красивый, из достойной, уважаемой семьи, ты не пожалеешь, доченька...

— Все это может быть и так, мама, только спаси

меня, не дай этому свершиться, я... люблю другого, ты понимаешь это? — вся в слезах говорила Седеф.

— Что ты, что ты, доченька? — оглядываясь по сторонам, испуганно откликнулась Либо. — Не дай Бог, кто услышит это, беды не оберемся. О чем ты говоришь, о какой любви может быть речь? Замолчи сейчас же!

Либо, сама готовая заплакать, села с дочерью на ее кровать.

— Успокойся, доченька, умереть мне за тебя! Твой отец дал слово, моя радость, а вернуть его он уже не может, это будет позором на его голову. Что касается Шенде, так он тебя на руках будет носить, ты идешь в прекрасный дом, в богатый, да и парню, видно, жениться пора...

— А я при чем? — подняв заплаканное лицо, заявила Седеф. — Если ему пора жениться, так пусть возьмет другую, на мне свет клином не сошелся. Вот та же Мирвори, моя подруга, чем она хуже меня?..

— Это судьба, доченька, Богом данная судьба... — гладя ее по голове, ответила мать.

— Мне не нужна такая судьба! — выпалила гневно Седеф.

— Кому здесь ничего не нужно? — возмущенно, громко спросил Бобоил, входя со двора в комнату. — Я уже с базара вернулся, а они, мать с дочерью, все еще кудахчут. Жена, скоро три часа, когда же ты собираешься готовить?

Либо, взяв у мужа корзину, моргнула ему, мол, пару слов и ты скажи ей, и вышла из комнаты. В этот же момент в комнату вошел старший брат Седеф, Симон.

— Меня, дочь, не серди, — все больше возбуждаясь, заговорил Бобоил. — Я тебя любил и лелеял, как никого из своих детей, как золото в вате держу, ни в чем не отказываю. Как ты думаешь, почему? Потому что я хочу, чтобы ты была счастлива, ибо для меня ты всегда была и сыном, и дочерью. А там, в доме твоего будущего мужа, ты и в самом деле будешь счастлива...

— Мне не нужно такое счастье, я за него замуж не выйду, если даже ты убьешь меня, отец! — выкрикнула Седеф.

— А за кого ты хочешь замуж, дура? — вмешался Симон. — Не за Муноша ли, не за того ли негодяя, бабника, который совращает чужих жен, ломает чужие судьбы и семьи?.. Слава Богу, что я случайно узнал...

— Что-о?.. — заорал взбешенный Бобоил. — Мунош-ш? Кто он такой, этот Мунош? — пуще прежнего закричал он и, засучивая рукава чухо, бросился на дочь. — Что ты наделала, сейчас же скажи! Ой, худо, позор на мою седую голову!..

— Ничего она пока не наделала, отец! — успокоил его Симон. — Не успела... я только что имел беседу со сторожем сквера, нашим бывшим соседом, стариком Гасаном, он ее с этим мерзавцем там видел как-то раз...

— Я этими руками придушу тебя, как последнюю тварь, но позорить себя не дам! — зашипел как змея возбужденный Бобоил. — Ты что, с ума сошла?! Как ты могла не то что встречаться, даже думать об этом лживом ублюдке, безжалостном волке в человечьем обличье. Ты — чистая как слеза, а он — грязный, в грехе с ног до головы. Ты польстилась на его красоту? Да знаешь ли ты, дурная, что не все то золото, что блестит! Клянусь своей головой, если ты сегодня, когда придут гости, хоть слово пикнешь мне поперек, тебе головы не снести! А с этим «зиберзигчи» Муношем я завтра разберусь...

— Не трогайте его, он ни в чем не виноват, — смело взглянув на отца, заявила Седеф. — Я не верю тому, что о нем говорят...

— Ах вот оно что! — вновь взбесился Бобоил. — Ты не веришь?! Весь город знает, верит, а ты — нет. Слепая! Ты — моя дочь, стала защитницей этого грехо-водника? И это в моем доме?!

Бобоил схватился за голову и невольно подумал: «Когда же мы ее упустили, недоглядели? Ребенок еще...»

Потом твердо произнес:

— Этот негодяй обманывает тебя, играет с тобой, как с куклой и если ты этого не понимаешь, поддалась его чарам, мы этого не допустим. В скором времени ты сама в этом убедишься, и не смей мне больше перечить!..

Седеф вдруг бросилась к ногам отца и вся в слезах воскликнула:

— Прошу тебя, отец, не выдавай меня замуж, потерпи немного!..

— И не подумаю! Я тебя выдам замуж, когда захочу и за кого захочу! Ты сейчас, как слепой котенок, сама не знаешь, где твое счастье. А я знаю, ибо за

моей спиной целая жизнь, опыт, знание людей. Я тебе счастья желаю, а не бесчестья! Иди, вытри слезы и готовься к вечеру! Иди! — он поднял ее с пола и легко толкнул к двери.

— Что вы со мной делаете? Я что, бессловесное животное? — вытирая слезы, вдруг как-то по-взрослому твердо заявила Седеф. — Я верила вам, а вы...

— Мне верила и правильно делала, я не желаю бесчестья ни своей дочери, ни своей семье! Ты сама скоро все это поймешь.., — с какой-то непонятной хрипотцой в голосе ответил Бобоил. — Иди, дочь, будь послушной! Я дал слово, значит так тому и быть.

— Ваше слово, вам за него и отвечать, отец. Да, сегодня я послушна, но завтра не вы, а я сама во всем разберусь.., — не обратив внимания на чуть было не онемевшего отца, Седеф вся в слезах пулей выскочила из комнаты.

— Я тебе дам «разберусь»! — придя в себя, заорал вслед дочери Бобоил. — Она мне еще зубки показывает! Я тебе их обломаю, стерва! В оковы закую, на цепь посажу, как собаку! Ты у меня получишь свободу!..

Теперь Седеф понимала, почему весь день тревожилось ее сердце, почему она не могла ни спокойно сидеть, ни что-то делать по дому. Не могло ее бедное сердце ни крикнуть, ни заговорить, оно лишь стонало и ныло, как деревья в бурю или загнанная в клетку горлица.

«Так, значит, завтра.., она будет с ним встречаться? — подумал Бобоил, услышав последние слова дочери. — Этого завтра не должно быть...»

В ночь сватовства Седеф не проронила ни слова. Одетая в нарядное платье, в немом оцепенении, положив руки на колени, сидела она на стуле с краю стола, словно парализованная, устремив безразличный взгляд в одну точку.

Лишь однажды она была выведена из этого состояния, когда, по настоянию отца, вынуждена была встать, чтобы сваты, как это принято в таких случаях, могли надеть ей на палец дорогое бриллиантовое кольцо и ажурные, старинной работы серьги вдеть в проколотые мочки ее ушей. Вот тогда она как-то невзначай, бегло взглянула на Шенде, который, опустив голову,

сидел на противоположном конце стола, будто все происходящее не касалось и его.

* * *

Невероятные события этого дня ошеломили и Шенде. Ему они казались не явью, а каким-то безумным сном: его бросало то в бушующее пламя пожара, то в пучину морских волн, а сердце, словно безумец, то смеялось, то замирало и плакало. Еще утром, невзначай встретившись с Мирвори у соседских ворот, они молча взглянули друг на друга, улыбнулись, будто у них была не известная никому совместная тайна, будто все радости мира принадлежали им одним. Девушка все больше нравилась ему, и Шенде казалось, что искорка, которая зажглась от их взглядов, в скором времени превратится в яркое пламя радости, но... вместо этого нежданно-негаданно, как шквал, налетела печаль и не разожгла костер, нет, а, наоборот, потушила даже надежду-искорку, ибо мечты не всегда становятся реальностью, жизнь, словно переменчивый последний осенний день: то ярко светит солнце, то вдруг завоет ветер и принесет с собой холодный дождь со снегом.

Ближе к вечеру отец пригласил к себе Шенде и в двух словах рассказал о том, что через пару часов они вместе пойдут к дяде Бобоилу по случаю сватовства его дочери Седеф.

— Как? — не понял Шенде. — А за кого вы ее сватаете, отец?

— Как за кого? — улыбнулся Шемей. — За тебя, сынок.

— Но ведь.., я слышал, что она уже засватана, это как же получается? — изменившись в лице, выдавил из себя Шенде.

— Ни за кого она не засватана, это все досужие сплетни наших кумушек, — заметив сопротивление сына, сердито ответил Шемей. — Мы с Бобоилом все уже решили, сынок. Седеф — редкая красавица, умная, работящая, из добротной, солидной семьи.., да ты и сам ее не раз видел. Не-е-т, никакую другую невесту я к себе в дом не приведу!

— Ты так говоришь, отец, словно речь идет о другом человеке?! О женитьбе я еще не думал, к тому же

хочу попробовать продолжить учебу.., — не хотел сдаваться Шенде.

— Продолжать учебу? — недовольно вскрикнул Шемей-портной. — Где же ты был раньше, где ты был, когда я, выбросив на ветер огромные деньги, повез тебя учиться в Москву? Почему же ты тогда не учился, а бил баклуши? Теперь же почему ты воспылал любовью к учебе?..

— Ты у меня никогда не спрашивал, чего хочу я, — опустив голову, отвечал Шенде. — Честно говоря, я не хотел быть врачом...

— А кем же ты хотел быть, сукин сын? — уже не скрывая своего возмущения, спросил Шемей, нервно шагая по комнате. — Почему же ты молчал, почему ни разу не сказал о своем желании?

— Я всегда мечтал стать агрономом и решил в этом году поступить в наш сельхозтехникум.., — осмелев, ответил Шенде. — Я давно этого хотел, отец, но боялся твоего гнева...

— Агроном так агроном, — неожиданно миролюбиво согласился Шемей-портной, по-своему расценив ситуацию., — И поступить помогу, сынок, правда... неспокойно сейчас в мире.., — задумчиво и тихо произнес он последнюю фразу, но потом, будто спохватившись, решительно добавил: — Ну да ладно, Бог милостив, может и пронесет. Собирайся, сынок, время не ждет!

Последнее распоряжение Шемей-портной произнес твердо и направился к двери. Шенде так и замер, не зная, как остановить отца от нежеланного ему шага.

— Отец! — выкрикнул он вдогонку строптивому родителю. — Я ведь совсем не знаю Седеф, а здесь, рядом, есть другая, которая мне нра...

— Нет! И слушать не желаю! Невесткой в моем доме будет только Седеф. Запомни это и не серди меня более! Иди и собирайся! — Шемей-портной вышел из комнаты и в сердцах хлопнул дверью.

На этот раз Шенде не решился снова остановить отца, не крикнул ему вслед о своем несогласии, нет, он второй раз в своей только что начавшейся жизни не сумел вовремя сказать и настоять на своем желании...

На следующее утро ему пришлось пройти еще одно испытание, судьба преподнесла ему еще один урок, будто еще раз решила проверить его на прочность духа, решительность, уверенность в себе. Не желая встречи с

соседкой, стесняясь ее, стараясь попасть домой незамеченным, он все же, будто богу это было угодно, лицом к лицу столкнулся с Мирвори.

Девушка вначале опешила, потом прямо взглянула на него полными слез глазами, будто спрашивала: «Что ты наделал?», а потом, опустив голову, вошла в ворота своего двора, словно навсегда исчезла из его жизни. А Шенде, лишний раз убедившись в своем падении, признав непоправимость своей ошибки, похожий на человека, потерявшего что-то очень дорогое, тяжело вздохнул и устало, будто под тяжелой ношей, вошел в свои ворота...

В ночь сватовства он мельком взглянул на Седеф, а потом, словно отрешенный, с опущенной головой так и просидел на своем месте до конца. Затем они взглянули друг на друга еще раз, но уже в самом конце церемонии сватовства, когда родители вынудили его надеть на палец Седеф обручальное кольцо. Он почувствовал, как девушка вздрогнула от его прикосновения, и их настороженные взгляды встретились...

* * *

Проспав до полудня после утомительной для музыканта свадьбы, Мунош, легко позавтракав, побрился, причесался, надел свой единственный выходной костюм и направился в городской сквер у крепостной стены, где намечалась непродолжительная, как всегда, очередная встреча с Седеф. Надо отдать должное Муношу: своему внешнему виду он всегда придавал особое значение, не допускал неопрятности ни в чем — его многострунная тара, инкрустированная перламутром от чашек до грифа, была предметом зависти коллег-музыкантов; его манера разговаривать, проявляя при этом дар весьма неглупого человека, вызывала уважение окружающих, а его черные глаза, как два спелых терна, не могли оставить равнодушной ни одну женщину. И под этой красивой личиной прятались изощренные способности волокиты, соблазнителя женщин, умеющего так искусно играть на чувствах, чтобы потом, ничего не дав, непременно в любом случае остаться с выгодой.

Может быть, сегодня и разыграть выгодную карту, думал Мунош, хватит нянчиться, пора, наверное, сыграть несдержанного пылкого юношу, возбудить не менее

пылкую Седеф, а он знает, как это сделать, и взять, наконец, неприступную крепость. Наговорить, что любит, мол, без нее дня прожить не может, дать понять, что так или иначе хочет жениться на ней, ну, а если ее родители не дадут согласия на их брак, а это вполне возможно, тогда они сбегут из города, что, мол, во имя любви к ней он готов и на это... Да, продолжал он мысленно убеждать себя, надо поставить родителей этой милой девушки перед свершившимся фактом, им потом некуда будет деваться, согласятся как миленькие, не захотят позора... И ему самому пора остепениться, слава Богу, не маленький 26 стукнуло, у его ровесников уже по двое детей... Да, да, да, пришел он к окончательному решению.

Оставить Седеф и уйти он уже не сможет, на смену хитрости и игре пришло к нему какое-то неведомое ранее чувство...

Не знал, не ведал Мунош, что его ждет в этот чудный весенний день. Зло, если оно даже в мыслях, а не в действии, всегда возвратимо.

Сквер у крепостной стены стал для их редких встреч тем укромным уголком, куда в середине дня лишь случайно могла забрести молодая мать с детской коляской или пара старичков, решивших подставить весеннему солнцу свои прозябшие за зиму тела. Местами, меж голых еще, но уже покрытых разбухшими почками деревьев, плешинками пробилась зеленая травка. Весело, оживленно перекликаются птички. Стали просыхать с утра покрытые росой скамейки.

Мунош шел к маленькому гроту в крепостной стене, который служил им замечательным укрытием от посторонних глаз и мог вместить в себя не более двух человек.

Редко кому могло прийти в голову избрать его местом встреч. Мысленно он готовил себя к тому, что сейчас обнимет эту обворожительную девушку, станет целовать ее сладкие губы.., но какая-то тревога не давала покоя, какое-то щемящее чувство навевало тоску, словно просило его остановиться и вернуться назад.

Но Мунош шел к месту встречи и уже был в двух шагах от грота, когда навстречу ему выскочили двое, схватили за руки и, приставив к горлу кинжал, затащили в укрытие. Взбешенные лица Симона и его отца не предвещали ничего хорошего, когда они завязали ему

рот и руки. Мунош вдруг осознал, что эти двое запросто могут его здесь убить и никто об этом не узнает. От этой мысли ему стало не по себе, он побледнел и обмяк.

— Мы сейчас развяжем тебе рот, — предупредил его Симон, — но если пикнешь, это будет твой последний крик, понял?

Мунош в знак согласия кивнул головой.

Повязку со рта сняли.

— Скажи, собачий сын, что ты сделал с моей сестрой, Седеф? — приставив кинжал к его горлу, с угрозой спросил Симон. — Говори правду, иначе тебе не жить!

— Клянусь могилой матери, я ее и пальцем не тронул!.. — заверил их Мунош. — Мы два-три раза встречались здесь, и все, спросите ее, если хотите...

— Как ты, грязная свинья, человек без чести и совести, мог соблазнить такую чистую девочку? Разве тебе мало таких же распутных женщин, как и ты? Разве после всего этого тебе место среди живых? — орал на него, все больше закипая, Бобоил. — Нет, не Симон, а я сам убью тебя, очистив, наконец, город от такой нечисти, — он вплотную приблизил к его ребрам свой острый длинный кинжал.

— Поверьте, я ничего плохого ей не хотел, — придя в себя, заговорил вдруг приговоренный. — Мы познакомились, она хорошая девушка, я ее полюбил и хотел в скором времени послать к вам сватов...

— Ты?.. Сватов?.. — взбесился Бобоил. — Ты, потерявший намус развратник, за тобой остаются разбитые семьи, плач осиротевших детей, как ты мог даже подумать об этом? Нет, я убью тебя! — Бобоил поднял кинжал и судьба Муноша была бы тут же решена, если бы не встрял Симон.

— Погоди, отец, я хочу задать ему последний вопрос, — и обратился к Муношу: — Ты жить хочешь?

— Да, конечно, хочу, — обливаясь потом, ответил Мунош.

— Что ж, ты заварил такую кашу, что будешь расхлебывать ее всю жизнь, — сверкнув глазами, зло заявил Симон.

— Что вы хотите? — чувствуя смертельную угрозу, спросил Мунош, — говорите...

— Что ж, в таком случае ты сейчас же напишешь

Седеф письмо и сегодня же уедешь из города! — решительно потребовал Симон.

— Как? — вначале опешил Мунош, а потом решительно заявил: — Куда же я поеду? Хоть убейте, но у меня нигде никого нет. Вы что, рехнулись? Я же вам сказал, что полюбил Седеф, но, клянусь могилой матери, ее не трогал, я на ней жениться хочу!..

— Нет! — закричал на него Симон. — Или ты немедленно уезжаешь из города, вот тебе деньги на дорогу, — Симон вынул из кармана деньги и вложил в мокрую от пота ладонь бледного, как смерть, Муноша,— или же ты отсюда живым не уйдешь!.. А чтобы ты не ухитрился нас обмануть, я сам посажу тебя на поезд...

— А если не уеду? — стараясь перейти на шутливый тон, спросил Мунош. — Неужели убьете? Вам же тогда тоже крышка.

— Ты еще шутишь, негодяй? — взбесился Симон и вонзил кинжал в бок Муноша. — Еще слово, и ты живым отсюда не уйдешь...

Мунош вздрогнул, видно, кончик кинжала врезался в его тело, вызвав кровотечение. Неприятный холодок пронзил его, и Мунош закрыл глаза. Да, кричать бесполезно, никто не услышит, теперь уже шутки плохи: или уехать неизвестно куда, или этот зверь действительно его здесь прикончит.

— Послушай, Симон, — снова обратился к нему Мунош. — Да, я гулял, но кто из нас в молодости этого не делает? Теперь же я полюбил твою сестру и действительно хочу на ней жениться, прошу тебя, не убивай нашу любовь!

— Все, терпение мое лопнуло! — заорал Симон. — Ты немедленно уезжаешь или...

«А ведь он и убьет, — почувствовав в своем теле острие кинжала, снова подумал Мунош. — Да, видно другого выхода нет... Может, я заслужил это за грехи свои? Теперь не будет постоянных проигрышей в карты, беспутного образа жизни... проклятья, проклятья кругом, люди порой забывали даже о его таланте музыканта. Может, действительно, бросить все и уехать, начать новую жизнь? Вот, на первое время и деньги подсунули?..»

Мунош еще раз взглянул на приставленное к его боку острое лезвие необычайно длинного кинжала разъяренного Симона, тяжело, как приговоренный к немед-

ленной гибели смертник, вздохнул, и, не поднимая головы, хрипло произнес:

— Так и быть, я сотворил это г..., я его и съем. Каждый когда-то должен расплачиваться за содеянное, теперь мой черед. Согласен, диктуйте письмо!..

Симон дал ему тетрадный листок и карандаш, попросил не менее удрученного отца уйти домой, предварительно выглянув из грота, и вплотную придвинулся к Муношу.

Бобоил вышел из укрытия, как-то еще больше согнувшись, и устало направился к своему дому. Тяжелые думы о Седеф, о будущем семьи, о военных событиях на западе, о надвигавшейся на всю страну беде мучительно терзали его сердце и не давали покоя. Каким будет завтра? — вот что беспокоило старого мастера-кровельщика.

— Пиши, — приказал Симон Муношу и добавил: — А как ты его передашь?

— Я знаю, как, — ответил Мунош, заканчивая свое короткое послание.

Через три часа Мунош уехал в сторону Москвы. Весь его багаж уместился в маленьком чемодане, который он держал в одной руке, а в другой — знаменитую на весь город тару, из которой он при всех своих человеческих недостатках, умел извлекать такую сладкую, душераздирающую музыку, будто спешил передать людям всю гамму чувств своей противоречивой души. Ключ от своей маленькой комнатушки он оставил у соседки, чтобы та передала его сестре, Ханум.

Вечером того же дня у окна Седеф оказался тот самый мальчуган, который когда-то на свадебном пиру вручил ей первую записку от Муноша, а потом, в случае необходимости, приносил ей записки еще раза два. Седеф сразу узнала мальчугана и кинулась из комнаты. Ее даже не удивило, что двери, которые весь день были заперты, вдруг оказались открытыми и никто ее не охранял. Оглянувшись по сторонам, Седеф выбежала на улицу и взяла у мальчика письмо.

— Час тому назад он уехал, — опустив голову, сказал мальчик.

— Куда? — не поняла Седеф.

— Он не сказал, сел в поезд и уехал, — ответил мальчик. — Там, в письме все написано...

Седеф взяла письмо, спрятала его за краешком ша-

ли, затем автоматически, ничего не соображая, сказала: «Спасибо!» и быстрым шагом пошла к себе домой. «Седеф! — читала она, маленькое послание Муноша. — Я тебя никогда не любил, обман все равно бы когда-либо раскрылся. Сегодня утром я узнал, что ты засватана за хорошего парня. Поздравляю, я рад за тебя. Мунош».

Седеф сперва опешила, потом бросилась вон из комнаты, помчалась к скверу, к гроту, где они встречались, но там никого не было, лишь старичок-охранник, который и рассказал Симону о встречах Седеф и Муноша, подошел к плачущей девушке и участливо спросил:

— Что случилось, доченька, почему ты плачешь?

Седеф сперва не поняла старика, а потом, продолжая плакать, ответила:

— Ничего, ничего, дяденька, это я так...

Седеф оплакивала свою первую любовь.

* * *

Все ближе приближалась свадебная процессия к дому Шемея-портного, вот уже слышны «Свадебный марш» музыкантов, радостные возгласы мальчишек-факельщиков и танцующих.

— Прибыли! Невеста прибыла! —услышали, наконец, хозяева голоса собравшихся. — Эй, Шемей! Эй, Шекер! Где вы там?..

На голову молодым со всех сторон сыпятся рис, конфеты. Так принято принимать невесту, чтобы жизнь ее в новом доме была доброй и сладкой.

— Проведите невесту во двор! — говорит кто-то из родственников жениха.

— Э-э, нет! — отвечает один из «поводырей» невесты. — Вначале дайте то, что нам положено!

— Двести рублей! — потребовал Илову, дядя невесты.

— У-е-у! — послышались недовольные возгласы родственников жениха.

— А вы что думали?! — став в позу, заявила полная и круглая, как мяч, тетя невесты. — Мы вам отдаем редкую красавицу, жемчужину. Слышишь, Илову, ни рубля меньше!

— Сто рублей дадим, введите невесту! — миролю-

биво заявил дядя жениха. — И вы будьте снисходительны...

— Сто пятьдесят! — смягчился Илову. — Дайте «поводырям» деньги и забирайте невесту. Эй, Шемей, не будь таким жмотом, негоже тебе держать невесту так долго у ворот...

— Не будь такой жестокой, ай, тетя! — в шутку обратился один весельчак к пухлой тете невесты. — Клянусь папой, дядя Шемей и двухсот рублей не пожалеет, если с невестой и ты придешь к нему!

Все смеются. Получив вознаграждение, «поводыри» провели невесту во двор хозяина.

Началась традиционная процедура ввода невесты в дом. Перво-наперво Шекер, свекровь, уже у порога обмакнув пальцы невесты в мед, с радостью их облизнула (чтобы невеста и свекровь никогда не ссорились), а потом, обняв Седеф, заявила:

— Ты вошла сюда не только невестой, но и дочерью, и пусть с твоей ногой в этот дом придет еще больше радости и счастья! Желаю вам, дети мои, сыновей и дочерей!

После этой процедуры Шекер, взяв невесту за локоть, ввела ее в предназначенную молодым комнату, посадила на «кюрси» (кресло), предварительно подложив под нее мягкую подушку. Затем придвинула к ней столик, на котором в маленьких тарелочках лежали сладости: конфеты, шербет, рахат-лукум, изюм (мол, пусть этот дом станет ей сладким и родным). В передней комнате оставили «енге».

...На нашей улице праздник! На нашей улице свадьба! От танцев и музыки, от вкусных угощений хозяина радостно возбуждены гости. Шемей и Либо услужливо ходят от стола к столу, принимая поздравления соседей, близких, друзей и дальних родственников, благодаря их за то, что разделили с ними это счастливое событие и выражая пожелания им здоровья и радостей...

...Уже на рассвете, с радостными возгласами да веселым свистом, друзья жениха во главе с «енгегьо», постучав в окно родителей невесты, получив подарки, вручили Либо «платок невесты» и ушли продолжать свой свадебный пир.

— Благодарю тебя, Бог, за радостную весть! — прижимая платок к груди, радуясь и плача, приговарива-

ла Либо. — Дай Бог, чтобы я всегда получала от тебя радостные вести, доченька! — молилась Либо за Седеф.

ГЛАВА 2

Весть о войне ошеломила многих жителей древнего Дербента, будто в последний месяц весны вдруг нежданно-негаданно подуло холодом и пошел снег. Старики и люди пожилого возраста, которые прошли и испытали «уроки» первой мировой войны, а некоторые оказались и в пекле революционных будней и гражданской войны, опустив плечи, словно от тяжелой ноши, стали печальными и задумчивыми. Были среди них такие, которые по сей день носили следы этого проклятого прошлого, остались калеками: без руки или ноги, или смотрели на мир одним глазом. Это прошлое напоминало им о горе и страданиях, о море крови и никому не нужных потерях близких, родственников и друзей, ввергало их в новые тревоги и волнения.

Что касается молодежи, этих совсем еще недавно жителей сел, то большинству из них были не понятны печаль и тревоги отцов и дедов, ибо сила и энтузиазм молодости делали их гордыми и непреклонными. Они не скрывали своего превосходства и ненависти к врагу и, не раздумывая, толпами шли в военкомат, чтобы немедленно, не откладывая ни на день, их отправили на фронт. Многие из них считали, что фашисты, напавшие на их страну, проявили «близорукость», совершили чудовищную ошибку, потеряли разум, мол, не знают, не ведают они, что победить героическую страну Советов никому и никогда не удастся. И что в недалеком будущем, да, да, буквально через пару недель, враг будет разбит и уничтожен. Вот какие мысли вдохновляли молодежь, и вот почему она торопилась на войну, чтобы иметь возможность собственноручно наказать неразумного фашиста.

Конечно, упрекнуть ее в этом было нельзя, ибо пропагандистская машина вовсю трубила о победах наших доблестных солдат на Халхин-голе и озере Хасан, знаменитой битве на линии Маннергейма, а также геройстве наших сынов в Испании. Все это и в самом деле укрепляло веру народа в непобедимость нашей армии,

в неприступность наших границ. Люди верили, что ворота наших границ закрыты на такие запоры, что ни один мирный житель страны не пострадает.

Уже через два дня после начала войны из города стали отправлять первые отряды новобранцев. Сбор их проходил возле хлебозавода, недалеко от школы им. Горького, у старой крепостной стены, где и по сей день растут два огромных дуба — немые свидетели тех горьких военных лет. Если бы эти деревья могли говорить, они поведали бы нам, как все от мала до велика провожали на войну новобранцев, как в одном углу сборного пункта слышалась музыка, а в другом— плач и рыдания матерей и невест, и как тайны молодых становились явью, как девушки, не выдержав, словно газели из загона, тайком от родителей прибегали сюда, чтобы хотя бы на миг увидеть любимых и пожелать им скорого возвращения.

Молодым новобранцам было не понять старших, их тревог и печалей, ибо мысли их были похожи в эти минуты на вылетевших из клеток птиц, которые, почувствовав вдруг свободу и простор, устремились ввысь, к голубому небосводу — молодость только тогда чувствует сладость и горечь жизни, когда сама соприкасается с ней. Такова истина. Старость всегда оглядывается назад, перебирает прошлое, осмысливает пройденное, ибо большую часть дороги она уже прошла, осталось идти совсем немного, и отведенное для этого время уже истекает. Молодость же назад почти не смотрит, у нее там еще ничего нет, ибо она только в начале пути, можно сказать, только что вышла на дорогу и оглядываться назад ей незачем, у нее все впереди.

Вера в то что война эта будет недолгой, что в скором времени уже в середине лета все вернутся домой, была настолько сильной, что многие новобранцы не взяли с собой даже теплых вещей, словно шли на прогулку в надежде быстро вернуться к своим прежним занятиям. А один из них, двадцатилетний черноволосый красавец, не выдержав палящего солнца, снял пиджак и передал матери.

— На, мама, возьми его и отнеси домой, до зимы далеко, он мне не пригодится...

— Что ты, Обо, да умереть мне за тебя, сынок! —

возразила умудренная жизнью мать, взяла у него из рук вещмешок и, свернув пиджак, положила в него. — Дорога длинная, сынок, кто знает, в какие края Урусиета вам придется ехать. — Завязав вещмешок заново, она повесила его на плечо сына, и смахнув с глаз слезу, добавила: — Счастливого возвращения, сынок! Да чтобы ослепли наши враги!

— Ты за меня не беспокойся, мамочка, — заметив слезы на глазах матери, успокоил ее Обо. — Война долго не протянется, до уборки урожая винограда мы уже вернемся. Не одолеть фашистам нас, мамочка, зубы обломают. И еще я хочу тебя обрадовать вестью о том, что, узнав об окончании мною техникума, председатель нашего колхоза обещал после моего возвращения назначить бригадиром. Так что, мамочка, все будет хорошо.

— Дай-то Бог, сынок! Дай-то Бог! — взмолилась мать Обо, Сироти.

— О, тетя Сироти! — улыбаясь, заметил друг Обо, весельчак и балагур Ирмие, — вы в самом деле не беспокойтесь, для 225 миллионов наших людей даже винтовок не хватит, так что через десять-двадцать дней враг будет наголову разбит и нас, оказавшихся на фронте без нужды, отправят назад...

Хотя весть о войне и дошла до окраин России, все же о зверствах врага еще не было известно. Большинству жителей древнего города не было известно о превращенных в пепелища деревнях, о мертвых матерях, над трупами которых надрывно рыдали чудом оставшиеся в живых дети.

Народу огромной страны еще о многом было не известно.

В одном из уголков сборного пункта отъезжавшего на фронте Шенде окружили родственники: отец и тесть, мать и теща, жены братьев жены, бледная, под цвет шелковой шали на опущенной голове, Седеф. Прошло всего четыре дня после свадьбы, а ей, вопреки адатам, запрещающим показываться людям в течение восьми дней, пришлось прийти сюда, чтобы проводить на войну своего мужа. Так распорядилась судьба, так ей было угодно сыграть с ней еще одну шутку, преподнести еще один урок.

После, как она считала, вероломного отъезда Муноша, его неожиданного предательства, она все еще

продолжала верить, что Мунош не уехал, что ее разыгрывают, что он не мог после всего, что было, вот так бросить ее и уехать. Она несколько дней, как сумасшедшая, в одно и то же время ходила к месту их встреч и в ожидании садилась на скамейку. Потом с помощью подруг нашла мальчика-связного и долго расспрашивала его о том, как уехал Мунош, что еще он сказал перед отъездом, не обещал ли вернуться. Не поверив рассказам мальчугана, она с пристрастием расспрашивала побывавших недавно на свадьбах подруг о музыкантах, чем порой приводила их в замешательство и недоумение. Так перегорев и переболев около месяца, Седеф смирилась наконец с тем, что Мунош ее обманул и предал, и на смену любви в ее юном сердце поселились ненависть и презрение.

Судьба и дальше оставалась к ней немилосердной. Давление со стороны отца и особенно старшего брата, Симона, продолжало расти, и их требования не препятствовать свадьбе переходили уже границы терпения. Был такой момент, когда ей казалось, что жить дальше не стоит, что жизнь потеряла смысл, и Седеф в отчаянии хотела наложить на себя руки. Потом переборола себя, кризис миновал, но на смену пришла какая-то безысходность, безразличие, и Седеф дала, наконец, родителям согласие на свадьбу... Но не знала Седеф, что еще, какие еще сюрпризы приготовила ей ее жестокая судьба...

Узнав о том, что повестка не миновала и Шенде, Бобоил пришел к Шемею и предложил ему пойти с ходатайством к военному комиссару, чтобы Шенде, как единственному сыну, дали льготу и освободили от службы в армии. Старый портной выслушал друга, недовольно покачал головой и тихо, но внятно заявил:

— Нет, друг, я не могу этого сделать. Сегодня, когда твои сыновья, дети многих наших друзей, дети дербентцев всех национальностей едут на войну с ненавистным врагом, мне нельзя так поступать... — Он тяжело вздохнул, видно было, что даются ему эти слова нелегко и добавил: — Как все, так и мой сын, все в руках Бога...

Шекер и Либо не могли скрыть слез. За эти несколько дней им пришлось проводить на фронт Симона и его братьев, сыновей многих родственников и соседей. И каждый раз, провожая этих вчерашних еще

мальчишек, их материнские сердца ныли, испытывая боль и тревогу.

Хотя, после всего пережитого, Седеф и выглядела бледной, хотя в ее нежных голубых глазах и поселилась печаль, все же она стала еще краше, словно какой-то ювелир ,получив кусочек алмаза, вложил в него столько любви, мастерства и изобретательности, что каждая его грань заблестела и заиграла с невероятной силой. Даже в эти минуты всеобщей тревоги некоторые из молодых людей, увидев Седеф, не могли отвести от нее глаз, при виде этой чарующей красоты они останавливались, не в силах вымолвить ни слова. А Седеф, замечая эти восторженные взгляды, еще больше опускала голову и искала уголок, где можно было бы спрятаться.

— Да замолчите вы, наконец! — прикрикнул на плачущих женщин Бобоил. — Негоже плакать на дорогу!

— Береги себя, сынок, — терпеливо, не повышая голоса, говорил тем временем Шемей сыну. Бледный, осунувшийся, он походил в этот момент на долго болевшего человека. — Попусту в огонь не лезь, но и от товарищей не отставай, война, сынок, — это не в игрушки играть... Ну, если предложат подсобить по портновскому делу, не отказывайся.., на войне любое дело в чести...

— Хорошо, отец, — отвечал Шенде, — не волнуйся, я не подведу...

Шенде обратил внимание на непривычно болезненное состояние отца, на желтые проталинки в уголках его глаз и губ, и от предчувствия какой-то беды вдруг защемило в груди. Потом он посмотрел на Седеф...

Уже в вечер сватовства от Шенде не ускользнуло нежелание Седеф связывать с ним свою судьбу. Он заметил, как она вздрогнула, когда он прикоснулся к ее руке и увидел в ее красивых глазах отсутствие чувств, лучше сказать, полную пустоту. Тогда, ошеломленный вестью о сватовстве, он сам был далек от каких-либо чувств к Седеф, для него она была не менее нежеланной. Но через месяца полтора Седеф как-то изменилась, и при его появлении в их доме стала более приветливой, хотя особой теплоты и не было. Говорили они мало, словно им не о чем было говорить, и после нескольких не очень приятных минут он вставал и уходил. Потом их встречи стали более продолжительными, а накануне свадьбы Седеф однажды даже улыбнулась. Но все это

не могло скрыть того, что, независимо от его желания, Седеф все еще оставалась непонятной, чужой, не желающей вылезти из панциря отчужденности, словно вспугнутая черепаха.

Надо сказать, что она нравилась ему все больше и больше. Шенде догадывался, что сватовство было для Седеф, так же, как для него, неожиданным и нежеланным. Возможно, думал он, ей тоже нравился какой-то парень. Но судьбе было угодно соединить их и, если честно признаться, он теперь был рад, что Седеф станет его женой. Шенде дал себе слово стать для Седеф не только мужем, но и другом, помочь ей преодолеть эту отчужденность, любить ее и быть ей верным. И Седеф это видела и чувствовала, особенно после первой брачной ночи...

Вчера, прощаясь с ней, он признался жене, что будет верным ей всю жизнь. Но ни он, ни она не знали, что приготовила им судьба на будущее...

...Паровоз, дав протяжный гудок, потянул за собой цепочку набитых новобранцами теплушек. Это был первый отправленный на фронт эшелон. Потом, в течение войны, с этой старой станции будут отъезжать многие другие эшелоны, набитые парнями и девушками, теми, кто рвался отомстить ненавистному врагу за поруганную молодость, за смерть сынов, братьев, отцов. На этом вокзале пролито немало слез матерей, дочерей, сестер и невест. У многих эти слезы на глазах не высохли по сей день, а некоторые своих солдат ждут до сих пор...

* * *

Не верилось, невосприимчивое сознание не принимало, что враг был уже у ворот Москвы. Зима, словно возмущенная злодеяниями фашистов, собрала в этот декабрь все свои злые холода и метели и пустила их на пролитую кровью подмосковную землю. И вражеские орды, словно стаи вышедших на охоту голодных и замерзших волков, приготовились к очередной атаке, чутко и тревожно прислушиваясь к невероятно хрупкой ночной военной тишине.

Группа разведчиков в маскировочных белых халатах, которую после гибели взводного возглавлял теперь Мунош, где бегом, а где и ползком пробралась к самой границе вражеских расположений и, спрятавшись за

холмиками снега, разглядывала и изучала действия врага. Она обязана сообщать в командный пункт о своих наблюдениях, а в случае внезапной атаки врага отойти не более, чем на полверсты и принять бой. Вот почему эти отважные бойцы в постоянной боевой готовности — автоматы на груди и связки гранат на поясе и в руке. Таков приказ — ни шагу назад, позади Москва! Другого пути нет: или отбросить врага или смерть. Вся Донская дивизия, в состав которой входил и взвод Муноша, дала слово либо погибнуть, либо здесь, у деревни Старая Руза, недалеко от Куликовского поля, где 560 лет назад Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской возглавил вооруженную борьбу русского народа против татаро-монгольских полчищ и наголову разбил завоевателей, так же сразиться с ненавистным врагом и гнать его от Москвы до самого его логова. Здесь, на этом казалось бы, небольшом клочке великой русской земли, где много столетий назад пролилась кровь ее отважных сынов, теперь вырос лес огромных сосен и лип.

Где-то в середине этого леса, словно залысина, образовалась поляна, на которой местные колхозники месяца три назад посадили озимую пшеницу. Теперь она под снегом. На одной стороне этой поляны расположился враг, а на другой — наши солдаты. Это противостояние длится вторые сутки. Обе стороны готовятся к решительному шагу, к жестокой атаке. В середине дня устанавливается такая тишина, словно и нет никакой войны, словно замерло все вокруг в ожидании ночного покоя.

Но все это обманчиво. Как только наступают ночные сумерки и на темно-синем лоскуте занавешенного тучами неба зажигается одинокая звездочка, неожиданно начинает стучать пулемет, выбрасывая из своей пасти сотни трассирующих пуль. Не дремлет враг, знает, что теперь уже народ русский собрался в мощный кулак для решительной борьбы, хотя и ценой огромных потерь, теперь уже готов дать ответный удар. Поэтому нет-нет, словно с испугу, выбросит в небо осветительную ракету, чтобы заметить движение на поляне или опушке леса. Малейшего звука достаточно, чтобы фашисты встрепенулись и открыли стрельбу, не в цель, а так, для успокоения. Вчера, где-то часам к десяти, вражеские дзоты минут десять неумолчно выбрасывали свой смертоносный огонь, простреливая каждую пядь

поляны. Вслед за пулеметами прогрохотали и пушки. Бойцы взвода Муноша были в недоумении, они не могли понять причины яростного обстрела. А потом, разобравшись, долго смеялись над тем, что стало причиной страха, дикой, необузданной стрельбы врага. Оказалось, что одно высокое дерево не выдержало тяжести выпавшего снега, надломилось и рухнуло на ошеломленного врага. В морозную снежную пору в лесах Подмосковья такое иногда случается. И в ночной тишине дерево издает такой шум, что кажется, разверзлась земля. Вот это и испугало настороженных фашистов.

Два часа назад командиру Муноша, капитану Маслову, стало известно, что на рассвете враг перейдет в атаку. В землянке командного пункта дивизии выработали дерзкий план ответных действий: не ждать наступления врага, а воспользоваться знанием местности и расположений огневых точек и уже сегодня, где-то к концу дня, неожиданно обрушить на него шквал огня и броситься в атаку. И с этого момента перейти в наступление до победного конца.

— Товарищ командир взвода! — обратился боец к Муношу. — Вас вызывает командир роты.

Мунош, не мешкая, согнувшись, побежал по выкопанной траншее к командиру.

— Товарищ Худодатов, садитесь, — пригласил Муноша к столу командир. — Час назад в нашу роту влились прибывшие с Кавказа новобранцы. Они, правда, пороха еще не нюхали, но, видать, настроены боевито. Я дал команду разместить их здесь, между твоим и четвертым взводом, — командир показал Муношу точку на карте. — Мне кажется, что в районе этого взвода сопротивление врага может оказаться сильнее, поэтому вашим крайним взводам необходимо им оказывать максимальную помощь, чтобы легче было сломить врага. Поэтому спешно приведите взвод в боевую готовность, но категорически запрещаю раньше установленного часа отвечать на стрельбу врага, если даже они откроют огонь из всех орудий. Понятно?

— Так точно, товарищ капитан! — ответил Мунош. — Могу идти?

— Идите, — дружески пожав Муношу руку, ответил командир роты. — Да, вот еще что, человек вы горячий, без особой надобности не рискуйте!..

Капитан нахмурился и отвернулся.

Были когда-то у капитана Маслова молодая жена, мать и пятилетний сын. И всего этого он лишился в один день, почти в самом начале войны. Вышел из своей квартиры в Молодечно, по тревоге вызванный на батарею, и с тех пор больше не видел ни дома своего, ни сына, ни жены, ни матери. И никогда не увидит. Они все трое погибли по дороге в Минск, в то страшное июньское утро сорок первого года, когда немецкие штурмовики налетели на беззащитных людей — стариков, женщин, детей, уходящих пешком по минскому шоссе от разбойников, ворвавшихся в родную страну.

Об их гибели рассказал капитану Маслову очевидец, его старый товарищ, бывший в это время со своей частью возле шоссе. И хотя он не передавал капитану ужасных подробностей, все же воображение нарисовало картину их гибели, и никогда она его не покидала. Огонь, блеск, взрывы, рвущие воздух в клочья, пулеметные очереди, обезумевшая толпа с корзинами, чемоданами, колясками, узлами и маленький пятилетний мальчик, валявшийся, как окровавленная тряпка, раскинув восковые ручки, у вывороченной из земли сосны.

Несмотря на свои тридцать лет, капитан Маслов немного поседел в висках, стал суше и строже. Мало кто в роте знал о его горе. Он никому не говорил о нем, но, оставаясь наедине с собой, капитан всегда думал о погибшей семье.

Через полчаса, когда от вечерних сумерек посереет белое снежное поле, встанут и пойдут на врага вот эти молодые солдаты, что залегли сейчас с двух сторон от Муноша ,его боевые товарищи. И, возможно, кто-то из них вскрикнет в свой смертный миг: «Мама!» и падет, орошая кровью это белоснежное покрывало, что спрятало под собой зеленые всходы озимого хлеба. «Мама!» — вскрикнут солдаты Родины на разных языках: на русском, молдавском, азербайджанском, туркменском, аварском, татском и многих других. И смешается эта кровь с землей, и буйно пойдут потом в рост и вскинут головы колосья хлеба. И придут на это поле женщины-матери убирать хлеб, ибо их мужья и сыновья сейчас на фронте, и ударит коса по стеблю хлебному. «Мама!» — неслышно вскрикнет надломленный колос. Может быть, этот будет вскрик не их детей, может быть, он будет на незнакомом им языке, — все

равно заболит и защемит материнское сердце, ибо у всех матерей земли сердца бьются в унисон...

* * *

В первую же неделю нового года Шемей-портной серьезно заболел и уже постели не покидал. Болезнь пришла как-то неожиданно, невзначай, как снег в начале мая, она дала о себе знать еще в конце июня прошлого года, через несколько дней после свадьбы сына. Но крепкий и еще не совсем старый Шемей, собрав всю свою недюжинную волю, держался на ногах, иногда даже работал, если подворачивался в это голодное и бедственное время заказчик, не сдавался портной налетевшей на него немощи, не верил, что это так серьезно. Не верил до той поры, пока несколько дней назад не повстречался ему сват, Бобоил-жестянщик, который пристально взглянул на него и спросил:

— Не обижайся, брат, если ненароком обижу словом, мы с тобой не только тридцать лет дружим, немало хлеба и соли съели вместе, но и родственники. Спросить хочу, не заболел ли? Не нравится мне твой вид, может, обратиться к доктору? Может, жена и невестка не оказывают тебе внимания? — пошутил в конце сват, чтобы, не дай Бог, не нанести ему вреда.

И в самом деле, Шемея-портного было не узнать: болезненное желтое лицо его походило на переспелую айву ,а глубоко прорезавшиеся морщины на лбу, у глаз и у рта сделали его лицо непривычно маленьким.

— Что тебе ответить, дорогой друг, — опираясь на палку, неторопливо отвечал Шемей-портной, — не знаю, что со мной происходит. И ем как обычно, ни в чем себе не отказываю, но видит Бог, с каждым днем сгораю и таю, как восковая свеча. А что касается внимания домашних, так моя невестка Седеф, дай Бог ей здоровья, прямо вокруг меня вертится, каждый мой шаг предупреждает. Правда, тоскует и плачет мое сердце, что от Шенде более месяца нет известий, удивляюсь, почему не пишет, ведь раньше в неделю раз письма приходили...

Шемей устало помолчал, от тяжести воспоминаний еще больше сгорбился, а потом продолжил:

— Да что я, черт со мной! Не дай Бог, не случилось ли что с сыном, вот что нас тревожит. Сил уже нет ждать...

— Выбрось из головы тревожные думы, дорогой. Дай Бог, будет наш сын целым и невредимым, — успокаивал свата Бобоил-жестянщик. — Мы с тобой перед Богом чисты, не то, что кому-нибудь во вред, а наоборот, всю жизнь людям добро делали, своим трудом живем. И потому, мой дорогой друг, Всевышний, видя нас с тобой, и мальчика нашего сохранит, ниспошлет ему счастья и домой вернет. Береги себя, дорогой, да и домашних поддержи, наберись терпения...

Вот так Шемей-портной, хотя ему не было и шестидесяти, от тревожных дум и волнений за сына, не подвластный даже стараниям врачей, тихо сгорал в своей постели. Серебристым инеем покрылась некогда черная шевелюра, ввалились глаза и губы, нос вытянулся, четче выделив не так заметную раньше горбинку, лицо стало бескровным и прозрачным, будто светилось оно изнутри... Навещавшие в эти дни больного не могли поверить, что еще совсем недавно сильный и здоровый человек за такой короткий срок мог так измениться.

Бобоил-жестянщик и Либо, его жена, старались сделать все, чтобы поднять его. Каких только врачей и знахарей они ни привозили к больному, что только ни предпринимали, чтобы спасти друга, но состояние больного не только не улучшалось, а наоборот, ухудшалось день ото дня.

Как говорится: «Ты предполагаешь, а Бог располагает». У Бобоила-жестянщика была великая мечта, можно сказать, греза, которой он не преминул поделиться со своим другом и сватом, Шемеем-портным, он хотел через неделю после свадьбы пригласить свою любимую дочь Седеф и дорогого зятя Шенде к себе домой, устроить пир на весь мир, позвать музыкантов, близких друзей и родственников, одарить их подарками, а потом, если Бог даст, через год взять на руки своего внука или внучку и радоваться счастью своих детей. Вместо этого... война разбила их мечты, вместо счастья пришла беда, вместо радости — скорбь и печаль. Война! Чтобы ослепнуть окаянному врагу! Теперь же об одном ничего не известно, ни слуху ни духу, а другой вот-вот отдаст Богу душу, ни сына, ни внука, ничего, словно и не было человека...

В тяжелых раздумьях сидел Бобоил-жестянщик у изголовья своего больного друга, ныло и стонало его сердце не только от этой безысходности, но и по поводу

несчастливой судьбы дочери, Седеф. Нет, не такой участи желал он своей любимице, не такой...

После долгих уговоров и настойчивой просьбы Шекер, утром следующего дня в дом пригласили тетушку Тозегюль, которая умела снимать страх, лечить от стресса — кто его знает, решили собравшиеся на совет родственники, может быть, именно страх свалил Шемея-портного в постель. Тетушка Тозегюль —низенькая, полная, словно колобок, женщина без возраста с широким, всегда потным лицом, масляными губами и маленькими щелками глаз, пыхтя и с трудом передвигая кривыми, словно ее в детстве посадили и долго не снимали с бочки, пудовыми ногами, приблизилась к больному, положила ладонь ему на лоб, почему-то просчитала до семи и уселась в подставленное ей кресло. О возрасте этой женщины хотя бы приблизительно никто сказать не мог: было ей шестьдесят или восемьдесят, а может, и больше, ибо и дедам нашим, и отцам и даже внукам она оставалась неизменной тетушкой Тозегюль, и все тут. Тем же, кто знал ее уже много лет, казалось, что за все эти годы и платья, и калагаи, и даже синий шнурок, которым она завязывала волосы, остались прежними.

В то, что тетушка Тозегюль может помочь больному, большинство не верило, особенно молодежь, но старшее поколение считало ее чуть ли не кудесницей, способной свершить чудо. Вера в чудодействие тетушки Тозегюль порой действительно помогала больным, и они вылечивались, что поднимало ее авторитет еще больше, но подобные факты в последнее время случались крайне редко.

Итак, тетушка Тозегюль прямо у постели больного приступила к священнодействию: приблизила к себе медный поднос, соорудила на нем миниатюрный шалашик из хвороста, шелухи лука и чеснока, не торопясь развязала узелочек носового платка, извлекла из него несколько кусочков свинца, чиркнула спичкой и поднесла к хворосту. Огонь вспыхнул молниеносно и осветил безжизненное лицо больного. Когда огонь уже догорал, тетушка Тозегюль, снова не торопясь, взяла кусочки свинца и бросила их в огонь. Затем произнесла имя бога — Худо, будто испрашивала у него разрешения, поднялась и, подняв поднос над головой больного,

стала совершать им круговые движения, сопровождая все это заговором:

— Худо имя твое, создатель! Во имя Твое, во имя огня, во имя солнца, во имя света! Слушай и вспомни: может, дьявол тебя напугал, может, сатана в человечьем обличье внушил тебе страх, может, ужаснулся крика и он запал тебе в душу, может, слово ввергло тебя в трепет? Может быть, сон навеял страх? Человека ли, собаку ли, кошки ли испугался, неожиданно в темноте натолкнувшись на дерево, его ли устрашился, может, жена внушила тебе страх, может, известие тебя устрашило? Ради Худо, великого и всемогущего, пусть этот страх превратится в волосок и упадет с твоей головы!

Тетушка Тозегюль, поворачивая поднос над головой Шемея-портного ,один раз громко, другой раз шепотом, третий раз мысленно, затем медленно, а потом скороговоркой, и так раз семь повторила свой заговор, перекладывая поднос из одной руки в другую, и при этом пристально глядя на огонь, будто мысленно просила его о помощи. Порой пламя огня делало лицо ворожеи чистым и светлым, в глазах ее появлялся блеск, словно они, женщина и огонь, вели задушевную беседу лишь на только им двоим понятном языке.

Когда огонь потух, тетушка Тозегюль поковырялась в золе и извлекла из нее расплавившиеся кусочки свинца. Теперь она никого от себя и больного не отгоняла, разрешая всем рассматривать причудливые фигурки из свинца, в которых, мол, и спрятана причина болезни Шемея-портного.

— Ты взгляни, Шекер, — показывая на фигурки, обратилась она к взволнованной жене больного. — Дай Бог твоему сыну живым и здоровым вернуться домой. Взгляни, это же человек, и притом молодой человек...

И хотя фигурка из свинца не совсем была похожа на молодого человека, все же Шекер, Либо, Седеф и Бобоил-жестянщик были согласны с тем, что она очень напоминает сына.

Среди кусочков свинца, найденных в золе, оказались и такие, которые очень напоминали винтовку, солдатскую фляжку и прочее. Собрав все эти кусочки в тот же носовой платок, тетушка Тозегюль завязала узелок и, в последний раз произнеся заговор, привязала его к безжизненной руке Шемея-портного. Потом, полу-

чив за работу, она так же пыхтя и волоча ноги, покинула этот переполненный переживаниями и надеждой дом.

Вечером того же дня, с именем сына на устах, Шемей-портной умер...

* * *

Ближе к вечеру непривычную тишину леса вдруг нарушила такая канонада, будто разверзлась земля, и на той стороне, где готовился к наступлению враг, взрывам не было конца. Стреляли из всех видов артиллерийских орудий, опрокинув на голову ошеломленных фашистов тысячи и тысячи тонн смертоносного груза. Заговорила вся оборонительная система Москвы. После тяжелого и изнурительного отступления советское командование, впервые с начала войны, решило пойти в наступление, это была переломная часть Великой Отечественной войны. По всей линии фронта взрывались вражеские бункера, дзоты, артиллерийские орудия, замаскированные танки и пулеметные расчеты. В воздух взлетали выкорчеванные деревья, столбы земли, огромные глыбы бетона оборонительных сооружений и растерзанные тела непрошенных «гостей»...

Услышав приказ командира, Мунош со своими бойцами где скрытно, где по-пластунски, устремились через заснеженное поле в сторону врага. У всех взводов одна задача — в течение первого получаса, пока враг придет в себя от такого артиллерийского штурма, пока он все еще прячется в своих укрытиях, незаметно, быстро перебраться и занять их передовые окопы и рубежи, особенно опушку леса. А затем, мобилизовав силы, закидать гранатами сохранившиеся огневые точки и дзоты, и под крики «Ура!» оттеснить и отбросить врага с занятых им позиций. Главное, не дать ему опомниться, собраться для ответного удара.

Стояла морозная погода, холодный ветер завывал, как голодный волк. Руки бойцов, замерзая, прилипали к автоматной стали. Хотя и кусается морозец, хотя большинство бойцов у этой «куликовской» поляны с Кавказа и им с непривычки особенно трудно, все же боевой дух их высок и они стремительно рвутся вперед. И в первых рядах солдаты из взвода Муноша. Их рвение настолько велико, что они словно не слышат ни воя

снарядов, ни свиста пуль. Кругом смерть, но каждый солдат знает: его задача — тихо, внезапно напасть на врага и двигаться вперед. Многие из них волоком тянут за собой накрытые простынями сани с пулеметами — там они очень пригодятся. До опушки, до укрытия рукой подать: шестьдесят, сорок, двадцать метров, вот уже и вражеский дзот виден, сейчас...

Однако солдатам второго взвода незаметно осуществить свой план не удалось. Когда приближающиеся бойцы были обнаружены, враг ощетинился и открыл страшный огонь, заговорили даже те дзоты, о существовании которых ничего не было известно. Поляна простреливалась настолько интенсивно и точно, что каждое движение было чревато смертью. То здесь, то там на снегу оставались кровавые следы, в вечерних сумерках они казались красными гвоздиками на сазане поля. Смерть не щадила никого, она выскочила из жерл пулеметов и начала свою пляску, свой жуткий танец.

Бойцы понимали, что тот, кто станет участником этой «пляски», кто не испугается ее, кто, преодолев страх, выстоит, тот непременно до конца будет бить врага, мстить за поруганную землю свою, за превратившиеся в пепел города и села, за оставшихся без отцов и матерей сирот, за вот этих товарищей и друзей, которые сейчас, оставляя кровавый след, смертельно раненные, вздрогнув на миг, падали и навеки оставались на этом поле.

Заметив, что бой разгорается, главным образом, в районе второго взвода и там труднее всего, Мунош со своими бойцами приблизился к смертоносному дзоту врага и бросил в него связку гранат. Дзот замолчал, но как только бойцы, встав во весь рост, бросились вперед, другой дзот, который до этого, не выдавая себя, молчал, заговорил со страшной силой. В этот момент справа от Муноша богатырского сложения боец, встав на колени, метнул в дзот связку гранат. Оглушительный взрыв потряс воздух. И с возгласами «Ура!» бойцы бросились вперед. Но каким-то образом вражескому пулеметчику, видно уже в агонии, удалось выстрелить в последний раз, и тот самый боец-гранатометчик вдруг вздрогнул, на родном Муношу языке тихо вскрикнул: «Ой, мама!» — и, все еще с поднятой правой рукой, опустил голову, медленно согнулся и упал на снег.

Услышав это родное слово, Мунош вздрогнул. «Кто

это может быть? — невольно подумал он и, подбежав, повернул раненого на спину. — Наверное, из новобранцев...»

— Эй, ты жив, браток? — очищая лицо солдата от снега, спросил Муиош. Но заметив у самого сердца бойца зияющую смертельную рану, заскрежетал зубами и тихо добавил: — Жаль тебя, герой! Да, видно еще одно материнское сердце сейчас защемит и заплачет...

Потом, не теряя времени, чтобы не отстать от ушедших вперед своих бойцов, Муиош, мысленно попросив прощения у убитого, извлек из его кармана документы, поднял свой автомат и побежал догонять товарищей.

С того дня противник уже в себя не приходил, хотя и огрызался, как затравленный волк, хотя делал все усилия устоять, не упасть, но с этого поворотного события под Москвой он уже вперед не шел, а медленно, но неуклонно скатывался назад... Правда, отступать до своего проклятого логова — Берлина он будет еще три с половиной года, оставляя за собой руины городов и сел, и трупы, трупы, трупы...

На рассвете, когда враг был отброшен из своих расположений и передовые подразделения армии, не давая ему передышки, шли за ним по пятам, на упомянутой поляне установилась непривычная тишина, и рота, в которой служил Муиош, выкопав у опушки леса огромную яму, стала хоронить убитых товарищей. С начала войны Муиош уже много раз закапывал своих фронтовых друзей в такие вот братские могилы. А в первые дни отступлений даже хоронить не удавалось...

...В тот незапамятный день, вынужденно покидая Дербент, Муиош не знал, да в сущности, и не мог знать, что его ожидает в будущем, как повернется его судьба.

Жизнь не баловала его. Уже в пять лет он лишился отца и вся тяжесть содержания семьи: его и двух сестер легла на плечи рано состарившейся матери. Поесть досыта никогда не удавалось и в стремлении заработать для детей на хлеб, мать не гнушалась никакой работы, иногда и унизительной. В тринадцать лет Муношем заинтересовался бездетный музыкант-сосед, азербайджанец по национальности, который, обратив внимание на его способности, стал учить мальчика игре на таре. Уже в восемнадцать лет, благодаря тому, что сосед не только учил одаренного мальчика, но, по существу содержал его, Муиош стал первоклассным тари-

стом и, благодаря протекции учителя, поступил в известный по тем временам Бакинский инструментальный ансамбль, где за короткое время стал ведущим тари-стом. Природа одарила его красивой внешностью, и Мунош очень рано стал понимать, что нравится женщинам и они готовы оказывать ему внимание. Он не преминул этим воспользоваться, не зная о том, что в мусульманском городе, где мужчины свято чтут чистоту своих жен и сестер, переступить адаты шариата — то же самое, что пройти по лезвию ножа. Очередная любовная история Муноша, тогда уже хотя и молодого, но известного музыканта, закончилась тем, что он под страхом смерти должен был покинуть город.

Он вернулся в Дербент и стал играть на свадьбах. Ценой огромных усилий, порой лишая себя многого, помог сестрам выйти замуж, но приобретенные привычки распутника оставались неизменными, правда проявлялись здесь с некоторой осторожностью. Но шила в мешке не утаишь. Иногда он сам становился себе противен. Неглупый от природы, обладающий незаурядными способностями, он понимал, что отравляет жизнь матери и близким, покрывает себя позором, и делал попытки остановиться, но... Ранняя смерть матери потрясла его, и, может быть, одной из причин его вынужденного согласия уехать из города была именно эта...

Теперь же, чем дальше уходил он от дня своего позорного бегства, тем чаще вспоминал голубоглазую Седеф, ее доверчивую нежность, ее первую любовь. За то короткое мирное время, что он прожил в Москве, ему, весьма симпатичному молодому мужчине, не раз встречались ошеломляющие красивые женщины, молоденькие и постарше, но ни одна из них не могла вычеркнуть из его памяти милую Седеф. Наоборот, безграничное сожаление о содеянном, чувство стыда и потери чего-то очень важного в жизни не оставляли его. Он был похож на человека, который не оценил чудесный родник, пока в нем не высохла вода.

За свое предательство, безнравственность и беспечность он был наказан сполна, и прежде всего, самим собой.

Он не раз вспоминал, как, живя в Дербенте, ветрено, необдуманно допускал глупости и при этом не считался с традициями и адатами своего народа, как своим поведением очень огорчал больную мать, которая за три

месяца до его выдворения из города, не выдержав страданий, покинула этот мир, так и не сумев простить сыну позора.

Теперь он понимал, что слишком легко брал от жизни ее богатства, не задумываясь над тем, что их потом и возвратить надо. А возвращать все же пришлось, с горечью ощущая невосполнимость утрат. Ему сполна пришлось испытать чувства человека, который, испробовав на себе тяготы жизни, только потом понял и оценил, как много прекрасного он имел и как беспечно всего лишился. Он казнил себя за это, но, как говорится, пролитую воду уже не соберешь...

Будучи блестящим музыкантом-исполнителем, Мунош, конечно же, не пропал бы, нашел бы какой-то выход. Но он ехал в Москву — огромный город, где по существу никого не знал, да и денег оставалось совсем немного, ибо в первый же день пути он познакомился в вагоне с какими-то шулерами из Баку и проиграл им большую часть полученных от Симона денег. В перспективе ничего доброго не предвиделось. Все это ввергло его в серьезные раздумья. Он ехал в неизвестность, и этим было сказано все. Однако за несколько часов до Москвы пожилой пассажир, сосед по купе, заметив его удрученность и висевшую на крючке зачехленную тару, заинтересовано спросил:

— Извини, сынок, ты — музыкант?

— Да, — нехотя ответил Мунош.

— Музыканты народ веселый, а у тебя, видно, беда какая, что-то грустный больно? — снова участливо спросил он Муноша.

«У моей грусти слишком много причин, — ответил Мунош самому себе. — За короткую жизнь я немало грязи за собой оставил, так что веселиться мне не от чего...», но заметив участие и внимание старика, его искреннее сочувствие, он вздохнул и как-то незаметно для себя выложил ему всю свою несуразную жизненную историю, будто снял с себя тяжелую ношу и положил рядом с собой.

— Куда же ты теперь направляешься? — спросил сосед, словно для себя уже что-то определенно решив.

— Не знаю даже, — разведя руками, безысходно ответил Мунош. — Знакомых в Москве у меня нет, думаю пойти на службу в армию...

— Очень хорошо, и совершенно правильное реше-

ние, сынок, — согласился мужчина. — А на счет квартиры на первое время думать не надо, живи у меня, человек я одинокий, квартира большая, зовут меня Кочергин Сергей Иванович. А тебя?

— Мунош Худодатов, — ответил Мунош.

Заметив стеснительность и нерешительность Муноша, его нежелание доставить ему какие-либо неудобства, мужчина решительно заявил:

— Ты не стесняйся, сынок, мне тоже пришлось в жизни нечто подобное испытать и мне помог один человек. — Вспомнив о чем-то заветном, мужчина улыбнулся. — Может статься, и тебе когда-нибудь выпадет счастье кому-то помочь... В жизни, сынок, так и должно быть, люди должны друг другу помогать. Так что решили, будешь жить у меня и готовить документы в военкомат...

— Большое спасибо, — ответил Мунош, — но мне кажется, я вас все же стесню, Сергей Иванович...

— Никакого стеснения.., — решительно заявил Сергей Иванович. — Вот мы уже и подъехали. Вставай, Мунош, забирай свои вещи, и ко мне...

Две недели этот прекрасный русский человек был ангелом-хранителем Муноша, словно сыну создав ему в своей квартире все условия. Проблем оказалось немало, старик дал согласие прописать его на своей площади, затем Мунош был взят на военный учет и только после этого решился вопрос его призыва. Затем, оформив документы, военкомат направил Муноша на службу в район Смоленска. И, не ведая о том, в день свадьбы Седеф и Шенде Мунош впервые, надев солдатское обмундирование, стал на караульный пост...

Вероломное нападение фашистских полчищ было настолько стремительным, что уже через пятнадцать дней они оказались под Смоленском. Войска Западного фронта, в составе которых служил и Мунош, в ряде оборонительных, а иногда и наступательных операций, несмотря на отсутствие в достаточном количестве боевой техники и численное превосходство противника, остановили наступление немецко-фашистской группы армий «Центр» на рубеже Ярцево, Ельня, реки Десна и сорвали вражеский план молниеносного захвата Москвы. И все же войска Западного фронта в кровопролитных боях, теряя тысячи и тысячи солдат, отступали назад. Были оставлены города Ярцево, Вязьма, Гжатск,

Дурыкино, Можайск и Дорохово. И вот здесь, между Москвой-рекой и Рузой, Ставка поставила задачу остановить врага и начать контрнаступление.

В боях на подступах к Ярцево отделение Муноша сражалось героически, нанося врагу ощутимый урон. После гибели командира взвода, обратив внимание на умение Муноша быстро ориентироваться в обстановке, на смелость и отвагу, командир роты награждает его медалью и назначает командиром взвода. И за то время, что они, отступая, дошли до Старой Рузы, во взводе Муноша из 54 солдат в живых осталось всего семь.

В этом огне войны, под обстрелом сотен и тысяч артиллерийских орудий, в смертельных схватках, иногда и врукопашную с ненавистным врагом, Богу было угодно, чтобы Мунош остался жив, он не был даже легко ранен. Правда, в черной волнистой шевелюре пробилась седина, будто весенний майский сад вдруг припорошило снежком.

* * *

Похоронив товарищей, Мунош устало сел за самодельный столик в блиндаже и, вспомнив о погибшем земляке, извлек из кармана его документы. Просматривая их, Мунош обратил внимание на выпавшую из красноармейской книжки маленькую фотокарточку. Он нагнулся, поднял ее и, взглянув на изображенное на ней лицо, замер, словно его ударила молния. На него смотрела улыбающаяся Седеф. «Седеф?!» — забывшись, выкрикнул он и испугался своего возгласа. Потом, придя в себя, открыл книжку солдата и прочитал: «Офтумов Шенде... Шенде? Не может быть! Значит, погибший твой муж, Седеф?» Он вдруг вспомнил, как Седеф доверчиво рассказывала ему, как будучи еще подростком, защищала своих подружек от несправедливости мальчишек, как, несмотря на наличие братьев, «заработав» в драке синяк, не любила ябедничать, старалась защитить себя сама. Уже тогда она смело защищала свои интересы, не боялась проявления своих чувств. Мунош вспомнил, как она впервые подставив ему губы, нежно вернула поцелуй. А ведь в городе, где придерживаются строгих адатов и традиций, узнай тогда кто-нибудь об их встречах, все могло кончиться для нее крайне трагически. Она верила ему и любила его, а он... Мунош

встал и нервно заходил по блиндажу, только сейчас поняв всю глубину своей потери. «Я предал, — думал он, — мне пощады нет.., как же ей было тяжело осознать это, девушке в 17 лет, обмануться в первой любви... Теперь судьба нанесла ей еще один удар — не успела выйти замуж, а уже вдова, вдова в восемнадцать лет! Бедная Седеф! Прости меня, грешного...»

В эту минуту, когда он переосмысливал свое прошлое, когда воспоминания о Седеф захлестнули его сознание, в блиндаж вошел командир роты капитан Маслов. Мунош, встав, приветствовал его и, протянув завернутый в бумагу пакет, произнес:

— Товарищ капитан! Это документы и вещи наших погибших товарищей. Среди них красноармейская книжка того героя, который ценой собственной жизни уничтожил последний дзот врага. — Мунош ненадолго умолк, а затем дрогнувшим голосом добавил: — Это мой земляк, он был единственным у отца и матери...

— Ты знал его? — удивился командир роты.

— Да, — опустив голову, ответил Мунош. — Мы из одного маленького городка в Дагестане.

— Такие дела, брат.., — тихо произнес такой же молодой, как и Мунош, командир роты и на скулах его выступили желваки...

* * *

Смерть мужа подорвала силы и без того не блиставшей здоровьем Шекер. Сорок дней не покидала она дом — так предписывает адат. К этой боли прибавилась и другая, еще больше щемящая материнское сердце — второй месяц не было вестей от Шенде. Правда, пока, по случаю траура по мужу, с ней рядом все эти сорок дней были родственницы, подруги, да и другие женщины, приходившие выразить соболезнование, она порой забывалась, тревога по сыну отходила, малость притуплялась. Когда миновал сорокадневный траур и люди разошлись, ей стало гораздо тяжелее, сердце ее разрывалось на части, а думы лишали сна. Ее бы не столько убивала смерть мужа — все на этом свете не вечны, думала она, если бы хоть какая-то радостная весть от сына. И потому каждый раз, вспоминая его, она, словно волчица, потерявшая детенышей, одиноко выла в своем логове. Видно, не напрасно ныло материнское сердце.

Дня через два по окончании траура, когда все посторонние должны покинуть дом покойного, в воскресное утро Шекер неожиданно навестила ее давняя подруга и после настойчивых уговоров повела ее на кладбище. Кладбище и сегодня располагается в южной части города, в двух верстах от центра. В воскресные дни туда ходят большей частью женщины, вспомнить своих близких, поплакать и отвести душу у могилы. Хотя на улице был февраль, день выдался солнечный. Тяжело пройдя по двору, Шекер в черном платье только было вышла за ворота, как в этот момент пролетевшая над головой черная ворона неожиданно каркнула. «К добру бы», — подумала она тревожно, а вслух с надеждой добавила: «Дай Бог хороших вестей!»

Не знала бедная женщина, не ведала Шекер, в каких в эти минуты горьких раздумьях была тринадцатилетняя девочка-почтальон, которая заменяла в эти дни больную мать. Не знали люди, как переживала эта девочка, принося к ним в дом страшные известия о гибели близких и дорогих людей, как каждый раз после этих писем-треугольников, видя горе и плач невест и матерей, навзрыд рыдала она, не сомкнув до утра глаз. Во многих домах побывала она с подобными вестями, вместе с женщинами этих семей сама пролила немало слез, но все эти годы никто не знал, она скрыла это от больной матери, что в самом начале войны пришла печальная весть о гибели отца. Одна она знала, что отца уже нет, не вернется он домой, — не возьмет ее, как раньше, на руки, не приласкает...

Где вы, милые, рано повзрослевшие, познавшие горе и нужду лихих годин, маленькие письмоносцы, несправедливо забытые, заслужившие памятник!

Да, в тот солнечный февральский день она не отдала Шекер «печальный треугольник», побоялась мудрая девочка, что не выдержит больное материнское сердце, что эта весть убьет ее. Она дождалась, пока Шекер вышла из дома и отнесла письмо Седеф. «Она моложе, — подумала она, — выдержит...»

Передав Седеф извещение, девочка-почтальон пристально посмотрела ей в лицо. Седеф, взяв письмо, взглянула на почерк, потом протянула его обратно, почерк был ей незнаком, не похож на почерк Шенде. «Это письмо нам? — удивленно спросила Седеф. — Ты не ошиблась адресом?..»

— Нет, не ошиблась.., — изменившись в лице, печально заявила девочка, потом повернулась, чтобы не видели ее слез, и выбежала со двора...

«В боях за Родину ваш сын, Офтумов Шенде, геройски погиб близ Старой Рузы под Москвой...» — думы Седеф были настолько далеки от заключенного в письме смысла, что она вначале не поняла, о чем идет речь, какая беда пришла в их дом, какое несчастье обрушилось на ее голову. Но когда еще раз прочла: «... погиб..,» она будто онемела, сердце вдруг тревожно забилось и, осознав всю глубину потери, девушка горько, навзрыд заплакала.

«Ой, Худо! Что ты опять наделал со мной?! — плача, причитала она. — Бедный Шенде! Я уж стала привыкать к тебе, что же ты так рано ушел, дорогой?! Как же теперь сообщить все это твоей несчастной матери, как вложить это известие в ее больные, обессиленные руки? Ой, Худо! Ты соединил судьбу этого несчастного парня с моей, что же теперь отнял его жизнь, а меня оставил на перепутье?..»

Плача, она быстро оделась и стремглав бросилась к своей матери, Либо.

— Боже мой, что случилось, дочка? — увидев полные слез глаза дочери, испуганно, сразу потеряв голос, спросила Либо. — На тебе лица нет, глаза ввалились, губы без кровинки, — может, скажешь, что случилось?

— Из-вес-тие от Шен-де.., — икая от плача, еле выговаривая слова, Седеф показала матери письмо. — Пишут, что по-гиб...

— Шенде погиб?! Горе мне, дочка! — обессилев, села на свое место и стала плакать Либо. — О, Шемей! Получив это известие, твое сердце разорвалось бы еще раньше! Нет теперь твоего любимого мальчика! О мой дорогой сынок! А где Шекер, ее нет дома?..

— С утра ушла на кладбище, — чуть успокоившись, но все еще плача, отвечала Седеф.

— Теперь наше место с ней тоже на кладбище! — плача, говорила Либо. — Ой, Шенде, сынок! Горе нам, убил ты нас, оставил без надежд, сынок! — Она все ходила из одного угла комнаты в другой и причитала... — Какая же пуля могла свалить такого богатыря как ты, сынок? Чтобы сдох твой враг, сынок!..

Умудренная жизнью, Либо понимала, что плачь, не плачь, а погибшего уже не вернуть, в таких случаях

надо думать об исполнении траурных традиций и адатов, и потому вытерла слезы и приказала дочери:

— Вставай, доченька, надо срочно сообщить о постигшем нас горе твоему отцу, да и Шекер надо предупредить, дом привести в порядок, люди станут приходить... Горе мне, горе, доченька, лучше бы мне умереть, чем стать свидетелем твоего несчастья, доченька...

Когда Шекер возвращалась с кладбища, над ее головой снова каркнула и пролетела ворона. Подняв голову, она тревожно заметила:

— Что-то уже три-четыре недели, как эти бесстыжие твари каркают надо мной, к добру бы...

— Наши предки говорили, что вороны каркают перед дождем, мол, они предвещают непогоду, — чтобы успокоить подругу, заметила Сироти, мать одного из друзей Шенде, призванного с ним в один день. — Если бы от карканья вороны что-то зависело, мы бы каждый день слышали какую-либо новость...

— Не-е-т, я не поэтому, — ответила Шекер нетерпеливо, — просто мне что-то не по себе сегодня, давайте побыстрее пойдем домой...

Три дня Шекер, после того, как узнала о смерти сына, не приходила в себя, можно сказать, была между жизнью и смертью. Словно парализованная, с открытым ртом, отрешенная от всего мира, она лежала на постели, как срубленное дерево. Она не слышала ни плача женщин в другой комнате, не замечала их прихода и ухода. Врачам чудом удалось вывести ее из этого состояния, и она, придя в себя, не переставая плакала, до конца иссушив и глаза, и сердце. Бледная, как смерть, похудевшая до неузнаваемости, она походила на собственную тень. Но недаром говорят, что женщину родили «крепкие крепости и могучие стены их», велика женская жизнестойкость.

По прошествии траура и по сыну, Шекер стала неузнаваемой. Всегда уравновешенная и спокойная, она стала нервной, вспыльчивой, невыдержанной, как говорится, зажигалась без всякой причины. Еще в большей мере она стала таковой после того, как какая-то недобрая сплетница (а такие стервы иногда встречаются) внушила ей дикую мысль, что во всех бедах ее семьи виновата не кто иная, а только Седеф, ее невестка, что это с ее приходом в их дом здесь стали господствовать печали и смерть, что, войдя в него, Седеф никогда, мол,

не смеялась, а лишь хмурилась и грустила, чем напугала домового — хранителя счастья и радости. И если раньше Шекер души не чаяла в невестке, жили, как говорится, душа в душу, то теперь она стала ее ругать, почем зря, требовала немедленно покинуть ее дом. Не удовлетворившись этим, Шекер стала распространять о своей невестке всякую чушь, гадости, сплетни, что, мол, еще до замужества Седеф встречалась с молодыми людьми, целовалась с ними, и все прочее.

Бобоил-жестянщик и Либо, услышав о злой болтовне Шекер, отнесли это за счет ее горя, тяжелого нервного расстройства, некоторого безрассудства и пришли к ней успокоить, попросить не говорить необдуманные вещи, не позорить их дочь и ее невестку, однако Шекер, словно обезумевшая, стала кричать и на них:

— Это вы превратили мой мирный дом в ад, вы, надев на змею платье невестки, пустили сюда!..

Потом, вдруг успокоившись, села и стала плакать...

Родственники, друзья и знакомые, встречаясь с Шекер, советовали ей здраво все осмыслить, стыдили за то, что она говорит о невестке непристойности, позорит ее, говорили, что женщине в трауре некрасиво вести себя подобным образом. Бывали дни, когда Шекер и в самом деле успокаивалась, не устраивала ссор, однако через некоторое время она, словно сумасшедшая, вновь начинала оскорблять невестку, призывая на ее голову все проклятья.

Что касается Седеф, то она страдала не только от обрушившихся на ее голову несчастий, но еще больше от оскорблений и проклятий свекрови, от перемен, которые произошли в ее жизни. В восемнадцать лет, думала она, девушка — не девушка, вдова — не вдова. Что делать дальше, как быть? Оставаться в доме свекрови нельзя, да и не имеет смысла. Она теперь здесь чужая. А куда идти? Женская доля всегда тяжела, жизненная дорога всегда с препятствиями. Она и в доме свекрови чужая, теперь, видно, и в своем тоже. Всегда так было, во все времена, сто лет назад, и тысячу лет тоже. Эти раздумья невольно напомнили ей давний случай, когда отец рассказал в ее присутствии притчу о том, что недалеко от наших мест решил один знатный купец построить себе дворец и пригласил для этого известного мастера-каменщика, которому установил царскую плату: пять золотых монет в месяц и выплачивать

их на двадцать девятый день каждого месяца. Шло время, и по мере того, как строился дворец, ежемесячно, в установленный день, хозяин выплачивал мастеру установленную плату.

Но однажды опоздал купец с выплатой, не успел вернуться домой к установленному дню, случилось непредвиденное — заболели вьючные животные и караван задержался в пути еще на одну неделю. И каково же было удивление хозяина, когда мастер, получая на этот раз плату, высказал неудовольствие.

— Что? Ты недоволен, мастер? Я плачу тебе ежемесячно пять золотых, их хватит не на одну семью. Куда же ты их тратишь?

— Двумя золотыми я ежемесячно возвращаю долг,— ничуть не смутившись ответил мастер, — один золотой даю в долг, один выбрасываю, а один трачу на себя.

— Ты говоришь загадками, мастер, — снова удивился купец. — Может быть, ты все-таки объяснишь?

— Что ж, объясню, — ответил мастер. — В моей семье в добром здравии живут мои отец и мать, они вскормили и вырастили меня. Так вот, двумя золотыми я ежемесячно возвращаю им сыновний долг, один золотой я, как каждый родитель, отдаю в долг сыну, четвертый золотой я расходую на приданое своей дочери, считай, выбрасываю, ибо все это вместе с ней уйдет в другой дом, а пятый, дорогой хозяин, я расходую на себя и свою жену...

Вот так, заключила Седеф свои невеселые мысли, как ни крути, дочь—чужая в любом доме. Она горько улыбнулась. До тех пор, пока ты в доме отца — все нормально, как только ты его покидаешь, ты уже не своя, отрезанный ломоть. Если муж пьяница, картежник, — терпи, если бьет нещадно — не смей кричать, если от свекрови и свекра доброго слова не услышишь, от их несправедливостей сердце разрывается — ни в коем случае не смей им перечить, сказать грубое слово или, не дай Бог, оскорбить их. Вот от этого, от такой жизни не просыхают порой слезы невест, нет улыбок на их вчера еще счастливых лицах. И таких девушек на своем коротком жизненном пути Седеф встретила немало...

Теперь вот и она сама оказалась на перепутье, испытывает муки безысходности. Убежать из города и покрыть себя позором она позволить себе не могла, ибо к

сплетням свекрови добавилось бы и это, как масло в огонь. А потому, решила она, надо возвращаться в отцовский дом...

Ночь, опустив свое покрывало, окутала город сплошной темью. Неспокойно кругом, во многих домах слышится плачь по погибшим сыновьям, мужьям и отцам. Однако время неумолимо, у него своя походка, свои манеры: несмотря на людские беды, буйно расцвел миндаль, очаровав землю своим сиреневым цветом. С моря подул легкий ветерок, внеся в город запах соли и рыбы. Повсюду запахло весной.

Не найдя другого пути, не сменив одежды, в чем была с утра, Седеф, понурив голову, вернулась в отцовский дом...

ГЛАВА 3

Война, будь она неладна, все еще продолжалась. Захватив опушку леса, где располагались раньше передовые позиции противника, рота капитана Маслова, преследуя врага, перешла лесной массив и ненадолго остановилась. Сражение, начавшееся в лесу, теперь продолжалось на открытом месте, среди полей, болот и небольших холмов, поросших кустарником.

На этот раз командный пункт помещался не в палатке, а занимал офицерский блиндаж — прекрасное, солидное сооружение, крытое толстыми бревнами в четыре наката и обложенное сверху дерном.

Ротные разведчики высмотрели этот блиндаж еще тогда, когда он находился в немецком расположении и в нем еще жили немецкие офицеры. Засекая немецкие огневые позиции, они на всякий случай засекли и этот блиндаж, который им уже тогда понравился.

Посередине стоял вбитый в землю крепкий обеденный стол. В углу томилась докрасна раскаленная печка и рядом с ней был небольшой запасец дров, приготовленный тоже немцами. Видно, устраивались они здесь прочно, рассчитывая зимовать.

Поскольку блиндаж был большим и хорошо укрепленным, командир роты Маслов решил левую половину полностью выделить под полковой лазарет, где неутомимый врач-хирург Гафуров Али Мамедович, которого медицинский персонал за глаза называл «Алимедови-

чем», в этот вечер проводил легкие операции и перевязки раненых. Изредко слышались невольный стон и ласковый возглас медсестры: «Потерпи, милый, потерпи!..»

В правой, меньшей части блиндажа, вместе с командиром роты разместились командиры взводов и группа разведчиков. В эти несколько часов передышки каждый был занят своим делом. Устроившись в углу, Мунош читал накануне полученное от Сергея Ивановича Кочергина письмо. Это было третье письмо старика, который сыграл в судьбе Муноша немалую роль и проникся к нему отцовской любовью: «...прежде всего, хочу тебе сообщить, сынок, — писал Сергей Иванович,— что из состава ополчения меня в связи с ранением отчислили. Рана уже зажила, так что причин для беспокойства нет. Спасибо тебе за письмо, я горжусь тобой и рад, что ты жив и здоров. Дай-то Бог! От твоей сестры, Ханум, я недавно получил письмо, пишет, что у нее и у другой сестры все хорошо, правда, вот уже 2 месяца нет известий от ее мужа с фронта. Будем надеяться, что Бог будет милостив к нему...»

Мунош вдруг подумал о том, как удивительна и неповторима его родина, как люди разных вер и национальностей становятся друг другу братьями и даже больше чем братьями, как судьба какими-то, только ей известными путями, порой сводит совершенно разных по возрасту и характеру людей, и как эти связи становятся иногда крепче родственных. Ну как он может забыть Сергея Ивановича, этого славного русского старика, который бескорыстно, почти два месяца отрывал от себя еду и отдавал ему, в самую трудную минуту жизни протянул руку помощи. Да и теперь, будучи раненым и немощным, не забывает, пишет ему самому и поддерживает связь с сестрами... А скольких братьев он приобрел и потерял здесь, в этом аду, кровавом военном месиве...

Мунош принимал участие в военных действиях, выполнял задания, хоронил товарищей, но одна мысль неотступно преследовала его все эти дни: как там теперь Седеф, как сложилась ее судьба? Маленькая фотокарточка Седеф, которую он нашел среди документов ее убитого мужа, на которую он смотрел теперь каждую свободную минуту, уводила его в мир надежд и ожиданий.

Однажды предав и казнив себя за это, он теперь на что-то надеялся. Недаром говорят, что надежда умирает последней...

* * *

Для Бобоила-жестянщика наступили тяжелые времена. Его сильно огорчала судьба горячо любимой дочери, ее немилосердная доля, на которую в немалой степени повлиял и он сам. Правда, о Муноше он и слышать никогда не желал и в том, что отвадил его от Седеф, Бобоил считал себя правым, но не такой судьбы желал он ей, не такой... Кроме того, его раздражали, а порой доводили до бешенства злословие и толки этой выжившей из ума Шекер, вчерашней еще свекрови дочери, и злые языки ее подружек-кумушек, болтающих о его хрустально чистой Седеф разную чушь, позорящую ее честь и достоинство. Не терпящий несправедливости, никому и никогда не позволявший безнаказанно себя оскорблять, Бобоил-жестянщик, конечно, мог заткнуть глотку Шекер и всей ее своре, но его останавливал адат и неписаная традиция: мужчине не пристало унижаться до подобного разговора с женщиной, не подобает мужчине свою папаху ставить рядом с женской шалью, для него унизительно даже подобное сравнение. Вот почему, хотя его больно и задевали эти женские сплетни, он был в какой-то степени рад, что Седеф сама нашла выход из создавшегося положения и вернулась в отцовский дом.

Однако при виде заплаканных печальных глаз дочери, ее бледного, осунувшегося лица, сердце старого отца сжималось, превратившись в маленький комок страданий и печали. Он забыл даже о воевавших на фронте двух сыновьях.

— Ну, доченька, теперь уже убиваться смысла нет, — успокаивали ее отец и мать, — пролитую воду не соберешь. Что теперь делать, чтобы ослеп враг, чтобы житья ему не было, что нанес нам такое зло! Успокойся, доченька, все образуется, Бог накажет ненавистных фашистов за наши страдания. Судьбу каждого, доченька, решает только Бог и все в его руках...

Хотя огненные всполохи войны до самого Дербента

не дошли, хотя бомбы сбрасывались в ста-ста пятидесяти километрах от него, все же жители города жили в неимоверно трудных условиях, в большинстве своем. в холоде и голоде, в постоянном страхе за ушедших на фронт близких и родных. И нет-нет, да приходили в дома печальные вести, и то здесь, то там, слышался плач матерей, жен и сестер. Горе ходило по городу, как и по всей стране.

Бобоил-жестянщик в эти дни войны, хотя работы по специальности почти не было, все же себя не потерял, нашел себе занятие. Вынужденное возвращение дочери в родной дом будто придало ему еще больше сил и старый жестянщик с утра до вечера стал возиться в в огороде, вспомнил свои мальчишеские годы, можно сказать, в нем снова проснулся крестьянин. Распахав землю, он засеял ее луком, морковью, сельдереем, кинзой, петрушкой и капустой, посадил и помидоры. Зелень быстро пошла в рост, и уже к маю Бобоил положил на свой стол первые пучки кинзы, петрушки, лука, а потом и капусту. Удалось, кроме этого, кое-что продать из домашних вещей, и, таким образом, купить кое-какие продукты для поддержания семьи. Жизнь стала дорогой, килограмм хлеба доходил до ста рублей, а все, что не годилось для питания, даже золото, упало в цене. Многие, чтобы не умереть с голоду, сохранить детей, продавали мебель, посуду, одежду, собственные дома. Накопленное за много лет исчезало в считанные месяцы. «Да черт с ними, с вещами, — думал старый Бобоил, — вещи и потом можно будет приобрести, лишь бы сохранить жизни...» И, заметив, что дочь стала потихоньку приходить в себя, что в глазах ее появился блеск и вырос интерес к жизни, старик еще больше уверился в правильности своих поступков.

Хотя Бобоилу-жестянщику было уже за шестьдесят, чувствовал он себя хорошо, на здоровье не жаловался. Высокого роста, широкоплечий, он обладал и красивой внешностью. Правда, справедливости ради следовало сказать, что от перенесенной в детстве оспы, лицо его в трех-четырех местах было обезображено красноватыми шрамами, но в целом они его не портили. Несмотря на то, что седина рано покрыла его голову, серебряная шевелюра его нисколько не поредела и больше украшала, нежели старила жестянщика. Легко воспламеняющийся, он все же грубостью не отличался, в народе

слыл уважительным, терпеливым и мудрым, но, встретившись с несправедливостью, лживым, обманчивым человеком, своего отрицательного отношения к нему не скрывал, с подобными не общался, не говоря уже о дружбе с ними.

Человек труда, Бобоил-жестянщик к людям, кто в поте лица зарабатывал свой хлеб насущный, относился с пониманием и уважением. К представителям же интеллигенции относился с осторожностью, с недоверием, ценя при этом, как он выражался, «человека-специалиста».

Своей специальности жестянщика Бобоил научился, как ни странно, в селении Хошмензиль, где жила семья отца. Никто не знал, какие жизненные коллизии вынудили много лет назад русскую семью переехать сюда из Воронежской области, каким образом замечательный мастеровой вместе с женой рискнул на такое переселение. Это осталось тайной. И если первое время сельское мусульманское население относилось к иноверцам с подозрением и недоверием, то потом, заметив их трудолюбие, степенность, умение филигранно работать с железом, дружелюбие к окружающим, изменили свое отношение, и молодая семья была принята местными радушно и навсегда стала «своей».

Николаю, так звали мастерового, очень понравился живший по соседству смышленый пятнадцатилетний Бобоил, который мог часами наблюдать за его работой. И потому он пригласил его в ученики и исподволь, день ото дня, стал учить юношу своему ремеслу кузнеца и жестянщика. А жена Николая, тетушка Настя, обучала Бобоила и русскому языку. Двух лет оказалось Бобоилу достаточно, чтобы овладеть премудростями теперь уже своего ремесла, и Николай все больше доверял ему выполнение поступающих заказов.

Но одна сторона «железного дела» увлекала Бобоила все больше и больше, ему нравилось заниматься с жестью, создавать красивые, вычурные фигуры и украшать ими крыши и крыльца домов. В селе быстро обратили внимание на его способности в этом деле, а Николай, так не мог нахвалиться своим учеником.

Однако, когда умерла мать Бобоила, отец, недолго думая, в срочном порядке решил уехать с семьей в город. Почему он так поступил, что послужило причиной того, что после сорока дней со смерти жены, продав за

бесценок дом старшему брату, отец Бобоила, собрав в узел домашний скарб и постельные принадлежности, и, бросив все это на арбу, — словно от стихийного бедствия, в спешном порядке уехал в город, — это осталось тайной. Во всяком случае, никогда отец об этом не говорил, лишь печаль в глазах свидетельствовала о его душевных муках и еще, как выяснилось впоследствии, о физических. С первых же дней пребывания в городе Бобоил, по инициативе отца, взял в аренду небольшое подвальное помещение и стал заниматься жестяным делом. И в скором времени жители древнего города заговорили о нем, как об умелом мастере-жестянщике. К нему посыпались заказы: кому крышу дома покрыть, кому изготовить водосточные трубы с красивыми, вычурными лейками, а кому и печку для обогрева квартиры. Слово «жестянщик» накрепко прилепилось к его имени и осталось с ним навсегда.

Вместе с работой прибавились и доходы, через три года, перед самой смертью отца, Бобоил-жестянщик купил тот самый дом, подвал которого когда-то взял в аренду, чем очень обрадовал уже безнадежно больного отца. Даже умирал старик с улыбкой на устах, с единственной улыбкой за последние несколько лет.

В семье отца Бобоил был самым старшим, за ним следовали две сестры и младший брат. И поскольку, по установившейся традиции, все заботы по содержанию младших сестер и братьев всегда ложатся на старшего сына в семье, то расходы на похороны отца тоже тяжелым бременем легли на его плечи. И надо сказать, что Бобоил-жестянщик денег на это не пожалел, даже влез в долги, чтобы похоронить отца со всеми почестями.

Не повезло и младшему брату, в возрасте семи лет он заболел корью, так во всяком случае утверждали врачи, и умер. Вслед за смертью отца безвременная кончина младшего братишки принесла семье много горя. Бобоил внутренне обвинял и себя, что поверил участковому врачу, не уделил мальчонке должного внимания, не показал другим врачам, но теперь уже было поздно, смерти не прикажешь.

За год до Октябрьской революции, в возрасте 37 лет, Бобоил-жестянщик женился сам, а до этого повыдавал замуж сестер. А через год, накануне революционных праздников, у него родился первенец Симон, потом, с

разницей по 2 года, Шамаил и Истахар, а уже через 3 года после последнего сына — Седеф.

Многие удивлялись тому, что Бобоил-жестянщик, человек солидный и богатый, женился так нетрадиционно поздно, по этому поводу шли всякие пересуды, благо дело, сплетниц и кумушек в городе хватало, говорили о каких-то никому неизвестных его мужских недостатках, о несуществующих болезнях, но лишь Бобоил сам знал и сам избрал себе такой путь, ибо надо было прежде всего рассчитаться с долгами, которыми он обзавелся в связи с двумя смертями близких и дорогих ему людей, затем выдать замуж сестер. И лишь тот, кто справляет свадьбы дочерей и сестер, знает, в какую кругленькую сумму выливаются расходы по свадьбе, а самое главное, на приданое. Затем потребовались еще несколько лет на приобретение подарков будущей жене и на саму свадьбу.

И когда после свадьбы у Бобоила-жестянщика стали рождаться сыновья и дочери, сплетни прекратились, словно их и не было.

Теперь же, через много лет, он был в тревожных раздумьях о судьбе своих трех сыновей, которые так же, как зять Шенде ,ушли на фронт и лишь редкие весточки от них радовали отцовское сердце. Да, зятю не повезло, фашистская пуля унесла его жизнь. А в какой семье нет сегодня горя, думал старик, кому легко в это лихое время? Лишь бы дети вернулись в целости и сохранности, а там, Бог даст, все образуется, пойдет своим чередом.

Был летний день. Этой, покрытой зеленью и овеянной покоем, южной части земли были неведомы взрывы и огненные всполохи на другой ее части. Как и везде, здесь царствовали жизнь и смерть, две родные сестры от одной матери, каждая из коих в эти часы делала на земле свое дело: одна —красивая, светлая, счастливая и радостная результатами своего труда, летит и дарит всему живому из своего неиссякаемого источника частичку самой себя, а другая — костлявая и злая, синегубая и косоглазая, набросив острую косу на плечо, торопится отобрать у них тот божественный подарок, которым одарила их сестра. И как бы ни торопилась вторая, ей никогда не обогнать первую...

Пошел третий месяц, как Седеф вернулась в отчий дом. Заметив, наконец, спокойствие на лице дочери,

Бобоил-жестянщик воспрял духом и крайне обрадовался. Взяв стул, он вышел во двор, сел у сбитого во дворе стола и позвал дочь.

— Седеф, дочка!

— Да, папа, что-нибудь надо? — выйдя во двор, откликнулась Седеф.

— Приготовь, пожалуйста, чай, что-то я сегодня никак не могу утолить жажду...

— Сейчас, папа, — Седеф взяла со стола чайник, наполнила его из крана водой и пошла в комнату, к плите. В этот самый момент во двор вошла девочка-почтальон и протянула старику письмо:

— Дядя Бобоил, вот письмо для Седеф...

«Письмо? От кого это?» —удивился про себя старик, но, не подав виду, спокойно произнес:

— Дай, доченька...

Отдав старику письмо, девочка-почтальон вышла со двора. Письмо было солдатское, но почерк был незнакомый. Сердце старика тревожно забилось за сыновей, но тут же успокоилось, поскольку адресовано оно было Седеф. Хотя Бобоил-жестянщик особой грамотой не обладал, но уроки русского языка, полученные у жены Николая, его учителя в юношестве, обеспечили ему возможность читать и, хотя бы коряво, писать. И потому он с трудом и не сразу прочитал и понял, что письмо от так ненавистного ему Муноша.

«Седеф, дорогая, здравствуй! Знаю, что после позорного бегства и подлого поступка мне прощения нет. Во всяком случае, я себя не простил. Если судьба сложится так, что еще встретимся, я обо всем расскажу. Но об одном умолчать не могу, не имею права — это о том, что в том бою, когда геройски погиб твой муж Шенде, когда он, бросив гранату на вражеский дзот, уничтожил его и ценой собственной жизни спас десятки жизней своих товарищей, принимал участие и я. В этом кровавом бою погибли многие наши друзья и товарищи, и мы, оставшиеся в живых, хоронили их на опушке леса, у Старой Рузы. Я помню это место.

Война — суровый урок, критический момент в жизни каждого человека, когда на весах судьбы твоя жизнь и смерть. На этом уроке прожитое осмысливается четче, ошибки анализируются осязаемо, будто они совершены тобой сейчас, сегодня, и потому от них становится больно и стыдно во сто крат больше, чем в обычное

время. Война — это еще и неизвестность — останешься ли живым после очередного боя.

Но Бог меня милует. И если я останусь живым, я обязательно вернусь к тебе, если только ты позволишь...

Твой ответ я приму как надежду на новую встречу, на продолжение нашей дружбы, которой я очень дорожу теперь ,не оценив ее прежде...

Твое молчание... это конец, это значит, что веревка оборвалась навсегда... Я тешу себя надеждой, что этого не случится, судьба снова сведет нас. В моей памяти ты останешься такой, какой я тебя знал! Мунош».

«Вы поглядите на этого подонка, — разозлился про себя Бобоил-жестянщик. — Он, видите ли, тешит себя надеждой... Удивительное дело, никак не отстанет!.. С самого начала, если бы не слезы да плач, может быть, и не случилось бы эти несчастья, не свалилось бы горе на голову моей дочери! — еще больше обозлился он, мысленно обрушившись на Муноша. — Ты, бессовестный, негодяй, даже сейчас, будучи в кровавом пекле, не уймешься... неизвестно еще, останешься ли в живых... «Судьба сведет вас!» Жди с моря погоды! — Бобоил-жестянщик криво улыбнулся. — Нет, голубчик, вылитую воду снова не собрать, не дам я тебе Седеф! Именно судьбе было угодно, чтобы твое письмо попало ко мне. Не видать тебе моей дочери...»

— Ты с кем это говоришь, отец? — удивленно спросила Седеф, ставя перед ним стакан-армуды с чаем. — Что это за письмо принесла сюда почтальон?

— Письмо? — жестянщик вдруг замер, не зная вначале что сказать, потом, сообразив, ответил: — Да это с моей прежней работы, пишут, что молодежь на фронте, работать некому, просят вернуться, придется завтра пойти в контору...

И в самом деле, утром, когда жестянщик шел на базар, ему повстречался директор жилкомхоза, где он работал до выхода на пенсию, и очень просил вернуться, мол, мало того, что люди живут в голоде и холоде, не хватает еще, чтобы оказались в воде и сырости. Объяснил ,что крыши домов многих жильцов прохудились и до осени, до дождей, надо их отремонтировать. Бобоил-жестянщик очень был рад этой просьбе, ибо безделье было для него невыносимой пыткой.

— Мне показалось, что девочка-почтальон назвала мое имя? — неожиданно спросила Седеф у отца.

— Что-о? Нет, дочка, нет, это тебе показалось, — опустив голову, ответил Бобоил-жестянщик, пряча от дочери глаза.

Седеф села рядом с отцом и удрученно сказала:

— Не знаю, куда себя подевать, отец! Я сейчас как загнанная в клетку птица, все кажется, что кто-то откроет дверь и войдет, а порой, будто меня кто-то зовет и я, как сумасшедшая, выбегаю во двор... Ты занят, мать ходит по траурным домам, общается с людьми, а я брожу по этим комнатам и вою, словно загнанная волчица... Раньше хотя бы подружки приходили, а нынче и они на работе...

— Что же ты хочешь? Ты плохо себя чувствовала и мы старались оградить тебя от трудностей, от царящей вокруг беды...

— Знаю, отец, спасибо. Но я больше сидеть дома не могу, хочу устроиться на работу, сейчас многие женщины работают в артели, вяжут для фронтовиков варежки и журабы...

Бобоил-жестянщик понимал, что Седеф с ее характером очень трудно сидеть целыми днями дома, но и отпустить ее на работу не хотел, боялся дать волю, ибо для молодой, красивой женщины много соблазнов вокруг. И потому сказал:

— Ты и дома нужна, дочка. За день небось работы хватает: и убрать, и постирать, и обед приготовить... Теперь уже и я с завтрашнего дня выхожу на работу, так что и моя доля дел ляжет тебе на плечи...

— Нет, отец, я больше не могу, домашние дела пусть делает мама, а я завтра поищу себе работу... — и заметив недовольство отца, мягко добавила: — Не сердись, отец, я так не могу...

С того дня, как пришло письмо от Муноша, Бобоил-жестянщик был в раздумье, его сердце вступило в спор с разумом, и этот диалог не давал старику покоя. Бывали минуты, что он даже за работой, забывшись, говорил сам с собой. Он, словно свидетель на суде, не знал, чью сторону принять и поддержать, сердце говорило, что безрассудно и преступно отлучать молодых друг от друга, что нет ничего важнее любви, что закрыть судьбе дорогу то же самое, что совершить большое зло. Умудренный жизнью старик понимал и в немалой степени чувствовал, что зов сердца — извечный призыв самой природы и надо идти ему навстречу, но когда в

спор вступал разум и начинал приводить доводы вопреки сердцу, Бобоил-жестянщик удерживал вожжи своих порывов и снова впадал в задумчивость, ибо эти доводы были от знания жизни, от опыта и отцов и дедов, были легки для понимания, шли в ногу со временем...

Так и не приняв ничью сторону, жестянщик решил ничего не говорить Седеф о письме, но и не мешать ей в осуществлении своих желаний...

* * *

Мирвори, соседка покойного Шемея-портного, хотя и испытывала все тяготы войны, зачастую кроме кукурузной лепешки ничего и не ела за целый день, все же, вопреки всему этому, цвела, словно молодая вишенка ранней весной. В первое время после свадьбы Шенде она не находила себе места, не могла свыкнуться с мыслью, что красавец-сосед не сдержал слова, ничего не сделал наперекор отцовскому желанию, Полюбившая его сразу, с первой встречи, она возненавидела его потом за это предательство и не могла простить ни ему, ни своей подруге Седеф. Но она не сломалась, выдержала. Оплакав свою первую любовь, Мирвори взяла себя в руки, отказалась от других предложений выйти замуж и пошла на работу в новый цех женской артели, где вязали теплые шерстяные журабы для фронтовиков. И за несколько месяцев, благодаря своей сноровистости и умению, стала бригадиром.

Весть о смерти Шенде ее потрясла. Хотя обида девушки и была велика, но смерти Шенде она, конечно, не желала. И все дни траура в свободное от работы и сна время она вместе с матерью заходила в соседний двор теперь уже для того, чтобы оплакивать совсем еще недавно любимого человека. Такова жизнь: никто не знает, что с ним будет завтра, как повернется его звезда на небосклоне бытия...

Война вошла не только в жизнь городов и сел, она вошла и в души людей, заставила их по-новому взглянуть на мир, заново переоценить многое. Не обошла она и Мирвори, не оставила ее равнодушной к горю и страданиям людей. Мирвори вдруг по-новому взглянула на положение Седеф, в прошлом своей близкой подруги, на ее отчаянное состояние, на незаслуженные оскорбления и сплетни ее свекрови, Шекер, в адрес ни в чем

не повинной невестки, поняла, что подруга нуждается в поддержке. Такой была Мирвори, по природе добрая, отзывчивая, не желавшая людям зла и беды, а наоборот ,готовая по зову сердца прийти близким на помощь. А однажды, став свидетельницей того, как обезумевшая Шекер в очередной раз стала выливать на невестку ушат грязи, она не выдержала и стала стыдить ее:

— Как вам не стыдно, тетя Шекер! Зачем вы стараетесь очернить Седеф? При чем здесь она? Разве Седеф виновата в ваших бедах?

Когда Мирвори поняла, что положение Седеф в семье погибшего мужа безнадежно и безысходно, она уговорила подругу покинуть дом свекрови и вернуться в отцовский. И в ту же ночь именно она тайком проводила Седеф в родительский дом.

...Война, оставляя кровавый след и разрушения, катилась на запад. А на улицах городов и сел, куда этот молох, эта страшная ненасытная сила все же не дошла, непривычно часто стали появляться «чулохи» — люди на костылях, без одной ноги, а то и без двух — живые обрубки на подшипниковых колясках, однорукие и с черной повязкой на пробитом пулей глазу. Возвращение домой с войны даже в таком, искалеченном, состоянии воспринималось родственниками за «благо», ибо почти не было дома, где бы не оплакивали погибших в боях близких и дорогих им людей. Что и говорить, жизнь она и есть жизнь!

Это особенно радостно воспринималось в середине войны, когда в городах и селах не хватало мужских рук, когда смертельно уставшие от работы, измученные ожиданием женщины были в отчаянии. Это особенно остро ощущалось и в нашем маленьком древнем городке, в первые дни осени третьего года войны, накануне уборочной страды, когда созревшие гроздн винограда на плантациях колхоза налились соком и звали людей к уборке. Каждая пара рук, даже одна рука, в такую пору были для колхоза большим подспорьем.

Вот в такой именно осенний вечер, когда нетерпеливые ночные сумерки вкупе с нависшими тучами обволокли и покрыли город, в жизни наших героев произошло событие, которое стало для них определяющим. Дело в том, что когда в это время Мирвори возвращалась с работы и шла мимо почты, вдруг разразилась гроза, бурное ненастье, с громом и молнией, и вслед за

этим хлынул такой проливной дождь, что она была вынуждена вбежать в помещение почты, чтобы не промокнуть до нитки. В зале никого не было, кроме работницы почты, что-то усердно писавшей за перегородкой, и одноногого молодого человека, который силился и не мог поднять с пола оброненный им конверт, мешал неуклюжий протез. Заметив это, Мирвори подняла конверт и протянула хозяину. Это был Обо, а с ним, дорогой читатель, вы уже знакомы. Вспомните июньский день 1941 года и юношу на призывном пункте города, когда отправляли на фронт первую группу дербентцев, и этот юноша, сняв с себя пиджак, передал его матери, Сироти. Да, теперь, по возвращении с фронта, мечта Обо сбылась, он действительно стал бригадиром своего родного колхоза, где на 400 гектарах выращивали виноград. Однако мечта его сбылась с «небольшой» поправкой — с войны он вернулся калекой, без правой ноги. Теперь за глаза его называли не иначе, как «одноногий» и с этим прозвищем-лагамом, подаренным ему войной, он продолжал свой жизненный путь.

Тогда, уезжая на фронт после окончания сельскохозяйственного техникума, он обещал матери вернуться именно накануне уборки урожая винограда. Так оно и случилось, но до этого он в течение трех месяцев не подавал о себе вестей. И Сироти, его мать, наученная войной, понимала и страдала от этого молчания, ибо по опыту знала ,что вслед за долгим отсутствием вестей приходят треугольные письма с чужим почерком или попросту «похоронки». Сердце матери, израненное и изболевшееся, свернувшись в кулачок, боязливо и трепетно ожидало известий. Сироти понимала и знала, что война, уходя все дальше на запад, оставляла за собой кровавый след и потому молила Бога, чтобы он смилостивился над ней и ее единственным сыном, которого вырастила без рано ушедшего из жизни мужа, ценой огромных усилий и лишений. Она была готова встретить его даже калекой, в каком угодно состоянии, но живым, чтобы жизнь ее приобрела хоть какой-то смысл.

И потому, когда в последний день марта Обо, с палкой в руке, выбрасывая вперед ногу с протезом, тяжело шагая, открыл дверь и вошел в квартиру, Сироти вначале обомлела от неожиданности, а потом, стеная и плача, словно от боли, бросилась на шею сыну и замерла

на его груди. В тот день она, словно сумасшедшая, до самого вечера то плакала, то смеялась...

Да, в отличие от многих своих товарищей по первому призыву, Обо малость повезло, хоть и калекой, но все же вернулся домой. Но никогда ему не забыть своего фронтового друга Васю-белоруса, веселого богатыря, который, крепко перетянув ремнем верхнюю часть раздробленной ноги, бросил его на плечо, словно куль, и, оставляя кровавый след на земле, тяжело дыша, пыхтя и кряхтя, вынес его из-под обстрела и пригацил прямо в санчасть. Даже для этого здоровяка ноша оказалась почти непосильной. Тогда Обо всего этого не знал, от шока и потери крови он был без сознания и не приходил в себя еще целую неделю. Целую неделю врач и медицинская сестра не отходили от его койки, боролись со смертью и вырвали-таки его из ее костлявых рук. Его спасли, но ногу сохранить не удалось, ибо начавшаяся гангрена угрожала его жизни.

Да, Обо повезло, ибо Сироти, его мать, все же дождалась сына, хотя малость и тронулась от радости. А вот Василий, добрый сын Белоруссии, в то время, когда врачи боролись за жизнь Обо, в очередном бою погиб. И мать этого доблестного воина не дождется сына, не вернется он в свою родную деревушку, не обнимет любимую, которой каждую неделю писал нежные, ласковые письма. Скорбная земля Родины, словно родная мать, за годы войны приняла в свои объятия не одного такого героя...

Через три недели после возвращения с фронта, в самом начале весны, когда буйно расцвел миндаль, Обо, малость укрепив здоровье, пошел в свой колхоз. Председатель был очень рад его возвращению и, крепко обняв его, недолго думая, назначил бригадиром колхоза. С этого дня Обо спокойствия не знал и не искал, с утра до вечера, словно заведенный, он метался по виноградным плантациям, бросал бригаду то на очистку от сорняков, то на полив, то на обрезку кустов, то, ценой неимоверных усилий, находил серу и купорос, чтобы вовремя опрыскать виноградники и спасти их от болезней. На одной ноге он проходил в день по 25—30 верст, мобилизовывая людей на ратный труд.

...Да и теперь, когда у Обо уже посеребрилась голова, а внуки, небось, и не знают, через какие муки прошел их дед, сколько сил и энергии молодости, не жалея, от-

дал служению Родине, он не изменился, остался таким же энергичным и бодрым, правда... гримаса боли порой появляется на его почерневшем от солнца лице...

...Итак, в упомянутый осенний вечер, накануне уборки урожая, пошел сильный дождь. Такие дожди в это время года идут порой и день, и два, а то и больше, вызывая тревогу виноградарей, считающих, что от излишней влаги гроздья набухают, осыпаются и гниют, а это, в конечном итоге, приводит к немалым потерям. Но старые, опытные виноградари этого не боятся, они уверены, что от ранних осенних дождей виноград еще больше наливается соком и становится слаще, надо только быстро его убрать.

Ливень хлынул именно в тот момент, когда Обо уронил конверт и все попытки поднять его ни к чему не привели. Он уже решил было отказаться от намерения завладеть конвертом ,как вдруг какая-то девушка, невесть каким образом оказавшаяся рядом, подняла его и протянула ему:

— Возьмите, пожалуйста, — мягко, с сочувствием сказала она, и на Обо глянули удивленные карие глаза.

— Спасибо, милая, — ответил Обо и не мог отвести от девушки глаз. — «Где же я ее видел? — подумал он, — уж больно знакомое лицо...»

— Вы же Обо, друг... Шенде?! — не столько вопросительно, сколько утвердительно спросила она.

— Да, верно. А тебя я никак не вспомню, хотя уверен, что знаю.

— Я — соседка... Шенде...

— Ах, вот как! Дай-ка вспомню... кажется, Мирвори, так?

— Верно, — улыбнувшись, ответила Мирвори, отчего четче обозначились ямочки на ее яблоневых щеках. — Ой, кажется, дождь перестал, мне надо торопиться...

— Подожди, пожалуйста, секунду, я тебя проведу, — сказал Обо, затем быстро положил в надписанный конверт уже подготовленное письмо и бросил в почтовый ящик. — Вот я и готов...

— Да что вы, — запротестовала девушка, — вам со мной не по пути, не стоит утруждать себя...

«Красавица-газель, не беги, охотник ранен и не догнать тебя ему», — вспомнил Обо строки знакомой песни и, взглянув на свой протез, горько улыбнулся. Од-

нако сердце, словно орел на привязи, делало попытку взлететь и кричало: «Останови ее, не дай уйти!»

«А ты куда торопишься? — спрашивала сама себя Мирвори. — Красивый и умный молодой человек, ну и что из того, что нет одной ноги? Согласись, ведь не осталась равнодушной к нему?.. Да что это я? — решительно заговорил теперь ее разум. — Не дай Бог, кто увидит нас здесь, потом от сплетен беды не оберешься...»

— Нет, нет, я тебя одну не отпущу, уже темно... — убеждал ее Обо, идя вслед за ней, — Я ведь тоже недалеко от вас живу...

— Ну, если так... — смягчилась Мирвори и зашагала рядом с ним.

Спокойно, не торопясь, обходя лужи, они шли и говорили... обо всем. Дважды прошли мимо ее дома, уже не раз останавливались в проеме ворот между конторой колхоза и школой, в которой учились и, наконец, договорившись о завтрашней встрече в такое же время, попрощались.

Целый месяц, в начале каждой ночи, они встречались друг с другом, чтобы потом навсегда соединить свои судьбы. По истечении этого времени, Сироти, мать Обо, как это положено по адату, послала в дом Мирвори сватов.

* * *

За два месяца до этих событий Бобоил-жестянщик, во время ремонтных работ, подскользнувшись, упал с крыши одноэтажного дома. В последнее время старик был сам не свой, то, уходя в себя, становился молчаливым, словно воды в рот набрал, то, не замечая окружающих, говорил сам с собой, как школьник, заучивающий в уме таблицу умножения. Всегда неторопливый, осторожный, уравновешенный, на этот раз он, забыв о том, что на крыше, а не на земле , работал с такой быстротой, будто убегал, а кто-то гнался за ним, чтобы причинить ему зло. В жизни подобные вещи так и происходят, в тот день и час, когда с человеком что-то должно произойти, он теряет над собой контроль, делает такое, что в другое время никогда бы себе не позволил, словно им руководит рок. О таких обстоятельствах говорят, что Бог дает человеку об этом узнать.

Хотя высота одноэтажного домика была и не столь велика, но Бобоил-жестянщик упал уж очень неуклюже, прямо на остатки каменного забора, сооруженного когда-то из больших рваных камней, отчего одна нога его сломалась в нескольких местах и старик получил еще многочисленные ушибы.

На стон жестянщика выбежали не только Либо и Седеф, но и соседи. Скорая помощь отвезла его в больницу, где старику сделали операцию ноги, затем положили в гипс, а на ушибленные места наложили тугие повязки, но спасти ногу врачи не обещали, ибо была сильно повреждена коленная чашка. Из их слов старик понял, что если даже месяца через два он и встанет с постели, в общем будет здоров, но без палки ходить не сможет.

Вот так, нежданно-негаданно, как говорится, на ровном месте, Бобоил-жестянщик лишился возможности заниматься своим ремеслом, И это когда? В самый тяжелый период войны, когда за стакан кукурузной муки приходилось платить большие деньги, когда осталась невспаханной сотка земли, когда пришла пора обновить во дворе деревья. Да, что говорить — не ко времени пришла к Бобоилу-жестянщику беда, некстати свалилось на него несчастье.

Однажды, сидя у изголовья больного отца, Седеф как-то невзначай, чутко, тактично, но в то же время настойчиво, заговорила с ним о проблемах их семьи, мол, братья на фронте, он сам лежит в постели, а она — здоровая, молодая женщина сидит, сложа руки, не работает, тогда как нет такой семьи в городе, где бы женщины не работали, даже их невестки, и те работают. Мол, что в этом зазорного? Бобоил-жестянщик и сам понимал, становиться в позу нынче не годится, что не работать — это значит жить впроголодь, тем более, что и от него сейчас пользы мало, а потому, скрепя сердце, дал, наконец, дочери согласие найти работу по душе.

Однако куда пойти, какую выбрать себе работу, Седеф не знала. Вот почему она пришла к мысли, что лучше всего по этому поводу поговорить с самой близкой подругой, Мирвори, которая посоветует, а может быть, и поможет устроиться в свою артель вязать варежки и журабы, благо дело, этому она была приучена с детства. Необходимость во встрече с Мирвори возник-

ла еще и потому, что почти во все время болезни отца они не виделись, не считая мимолетной встречи, когда Мирвори, узнав о падении Бобоила-жестянщика, забежала спросить о его состоянии. Тогда она и сообщила Седеф, что они получили правительственное задание, в связи с приближением зимы вдвое поднять производство варежек и журабов.

Единственное, чего боялась Седеф, направляясь к подруге домой, что, не дай Бог, ненароком встретится со своей бывшей свекровью, тогда скандала и шума с ее стороны не избежать. Вот почему она шла крадучись, прикрыв лицо шалью. Но каково же было ее удивление, когда, войдя во двор Мирвори, она увидела скопление разодетых людей. В недоумении она подошла ближе, Мирвори ее заметила и, побежав ей навстречу, радостно приветствовала подругу.

— Как хорошо, что ты пришла, моя дорогая! — обнимая Седеф, зарделась Мирвори и, прижавшись к ее уху, вполголоса радостно сообщила: — Только что к нам пришли сваты... Я же тебе об Обо, сыне тетушки Сироти рассказывала, вот за него...

— Да, говорила, я очень рада, дорогая, дай Бог счастья! — еще раз обняв подругу, поздравила ее Седеф.

— Уже договорились, через неделю свадьба, ой, так неожиданно все получилось.., — не скрывая радости, тараторила Мирвори. — Дай Бог и тебе счастья, родная!

Потом, вспомнив о чем-то, Мирвори по-мальчишески хлопнула себя по лбу и спросила:

— Обо всем забыла, дуреха! Как там дядя Бобоил, слышала, идет на поправку?

— Сейчас уже лучше, — озабоченно ответила Седеф. — Но врачи говорят, что ногу его вылечить уже невозможно, без палки теперь не обойтись...

— Надо же, нежданно-негаданно... — удрученно заметила Мирвори и неожиданно спросила: — Ты-то что собираешься делать, на работу не хочешь пойти?..

— Честно говоря, я потому и оказалась здесь, — облегченно вздохнув, ответила Седеф. — У вас в артели для меня работа не найдется?

— Надо же! Когда я предлагала, ты молчала, а теперь.., мы только два дня назад приняли пятнадцать человек, — словно сердясь на себя, сказала Мирвори.—

Ну, ничего,.. я завтра поговорю с нашим директором и вечером дам тебе ответ...

— Да, да, подруженька, ты уж постарайся, — попросила ее Седеф и, спохватившись, добавила: — Ну, я пойду, а накануне свадьбы обязательно приду помогать...

Обняв подругу, Седеф незаметно выскользнула из ворот.

Всю дорогу домой, прячась от людей (хотя в темноте ночи ее было не видать), Седеф бесшумно плакала над своей судьбой, над преследующим ее невезеньем. Будто и красива, и не глупа, и не из робкого десятка, и среди подруг видная, а вот не повезло в жизни, и все... казалось бы, все родственники, близкие только и просят Бога за нее, дать ей счастливой участи, оградить от злого духа, от глаза вредного, от бед и несчастий, а вместо этого ее преследуют то горе, то беда...

В свое время Седеф, конечно, знала, что Мирвори любила Шенде, что ее замужество для подруги оказалось, как нож в сердце, но она не сумела переубедить отца, не хватило духа, да и Мунош оказался предателем, подлецом, разбил ее сердце и оставил на произвол судьбы. И в результате такой конец: в школе не доучилась, хотя училась в классе лучше всех, радости нет, а теперь девушка — не девушка, жена — не жена, так, Бог знает кто...

Такие невеселые мысли преследовали ее, не давали покоя, превращая жизнь в сплошной ад. Но Седеф не была бы сама собой, если бы долго поддавалась подобным настроениям, не показала свой бойцовский характер. Уже у самого дома, она по-мальчишески встряхнула головой и словно приказала себе: «Не хнычь, девчонка, брось плакать, жизнь продолжается..!»

* * *

Теперь, дорогой читатель, я должен познакомить вас с еще одним героем, ибо без него мое повествование было бы неполным, как, скажем, сущность без логического конца, яйцо без желтка, колодец без воды или начало пути без его конечного пункта. Как верно решила Седеф, жизнь продолжается, а жизнь — это путь-дорога, которой нет конца.

Зовут нашего героя Бебейхуне, что дословно озна-

чает — отец дома, отец семьи или глава семьи. Ничего здесь мудреного нет, ибо сын в семье считается наследником, а если их много и семья большая, то старший сын, идя на смену отцу, становится главой семьи.

Надо полагать, что Бебейхуне был назван так с дальним прицелом, с расчетом на то, что в будущем, после смерти отца именно он возглавит семью, но к тому времени, как он стал взрослым, у него не осталось в живых не только родителей, но сестер и братьев. Последнего брата из трех родившихся он похоронил совсем молодым два года назад, поскольку от рака еще никого не удавалось спасти. Во всяком случае, автор другими сведениями не располагает. Что же касается самого Бебейхуне, то своим успехом он был обязан только себе, а о том, что он был удачливым и деловым можно судить и по тому, что в городе он слыл человеком известным и редко можно было встретить того, кто бы его не знал.

32-х лет от роду, Бебейхуне выделялся яркой внешностью. Его черные курчавые волосы всегда блестели под лучами южного солнца, а слегка загорелая кожа обтягивала скульптурно вылепленные черты. Но главным в его облике были высокий лоб и мерцающие черные глаза, отражающие прирожденный ум и смесь какой-то авантюрной лукавости и непредсказуемости. Он умел говорить в такой завораживающей манере, будто с его губ лились не потоки обычных слов, а ручейки горного меда и сливочного масла. И эта манера сбила с толку не одного доверчивого человека.

Лет шесть назад, когда жена принесла ему первенца, долгожданного сына, какая-то неведомая болезнь скрутила и свалила ее в постель. Бебейхуне по-своему любил жену и справедливости ради надо сказать, что в первое время он, забыв даже о своих делах, предпринимал немало мер, чтобы вылечить ее: приглашал на помощь из Махачкалы и Москвы лучших врачей, привлек даже умельцев рефлексотерапии, что тогда стоило немалых денег, но узнать природу ее болезни, отчего молодая женщина таяла день ото дня, не сумел. И когда понял, что все его усилия ни к чему не привели, с ним произошла какая-то метаморфоза, от заботливого мужа не осталось и следа, он вообще перестал обращать на умирающую всякое внимание, будто она не его жена, не мать его ребенка. А иногда, под видом работ-

ниц министерства, стал приводить женщин прямо домой. Таким был Бебейхуне, если человек становился ему ненужным, не приносил ему пользы или не удовлетворял его желаний, такой человек переставал его интересовать, он просто забывал о нем. Если же от кого-либо зависело нужное ему дело и это дело могло принести ему пользу, доход или выполнение его желаний, то здесь Бебейхуне мог пойти на что угодно.

После смерти жены Бебейхуне в течение года носил траур, на людях выражение скорби не сходило с его лица. Глядите, мол, я никогда не был безразличен к своей жене, сделал все, чтобы ее спасти, видит Бог, я не жалел ни денег, ни усилий... А в том, что Бебейхуне был состоятельным человеком, имел и деньги, и золото вкупе с бриллиантами, что его дом был полон достатком, никто не сомневался. И потому люди за глаза называли его «миллионером».

О его дружбе с некоторыми руководителями города знали многие, знали также, что в их среде он был своим человеком, а когда у кого-нибудь возникала необходимость решить какой-либо жизненно важный вопрос, они напрямую ходили именно к Бебейхуне. Например, кого-то взяли за спекуляцию или в драке применено холодное оружие, такие и другие вопросы мог решить только Бебейхуне. И люди города, зная об этом, шли к нему с просьбой, молили спасти их близких от нависшей угрозы. И Бебейхуне, если видел, что в этом вопросе и ему немало перепадет, шел навстречу просителю. Правда, в таких случаях, он вместо одних расходов брал с просителей в два, три раза больше, как говорится, брал за горло. Но справедливости ради следует сказать, что дело он решал основательно, иными словами — марку свою держал.

Иногда же, когда он ставил перед собой другую, более утонченную, задачу, за подобные услуги он денег не брал, готов был даже сам оплатить возникшие расходы, но своего, чего бы это ему ни стоило, добивался. Скажем, в затруднительное положение попала молодая женщина, не женщина, а редкой красоты и совершенства газель, в данном случае Бебейхуне превращался в безжалостного охотника и делал все, чтобы она оказалась в его постели. Таков уж был он — если на что глаз положит, то непременно своего добьется, не упустит. Такие понятия, как стыд, честь, намус — были ему

непонятны, всерьез он не утруждал себя подобными мыслями, за исключением тех случаев, когда вокруг были люди, здесь он соблюдал осторожность. Его и честью, и совестью, и намусом, и целью были деньги.

Да, чуть не забыл. Бебейхуне выполнял еще и государственную службу. Хотя особого, а еще точнее, высшего образования не имел (несколько лет назад он каким-то, только ему известным путем, получил диплом об окончании техникума), Бебейхуне работал директором крупного рыбного магазина. Во время войны, хотя многие магазины пустовали, у него прилавки были полны товаром: лососина свежая и копченая, черная икра, знаменитые на всю страну каспийские заломы, свежий и сушеный кутум — всего этого у него было вдоволь. И, конечно, часть этих изысканных продуктов он в качестве подарков отправлял своим высокопоставленным друзьям. Как говорится, не убавится!

Хотя время было голодное и холодное, хотя большинству жителей города жилось крайне трудно, он недостатка ни в чем не имел, но людям старался этого не показывать. Держался всегда одинаково скромно: не хорошо, но и не плохо.

Еще в детстве, когда рубил во дворе дрова, он случайно, забыв об осторожности, топором почти до основания отсек себе указательный и средний пальцы правой руки и потому его в свое время не призвали в армию, а потом и на войну. Если в эти годы с фронта возвращались инвалиды-чулохи, отдав родине свой сыновний долг, то Бебейхуне стал «чулохом» еще в мирное, довоенное время. Многие, потерявшие в войну своих близких, видя перед собой этого рослого «бугая», чувствующего себя, как петух в курятнике, писали и жаловались на этакую несправедливость, намекали, что Бебейхуне, мол, всех подкупил и что бронь у него липовая. Создавались комиссии в городе, дважды его вызывали на республиканскую военную комиссию в Махачкалу, но каждый раз он возвращался домой, ибо его призыв в армию решался не желанием или нежеланием конкретных людей, а буквой закона.

Надо сказать, что свою дружбу с власть имущими он особенно не афишировал, старался решать свои дела без позерства, втихомолку, шумных компаний избегал, крикунов и балагуров сторонился. Но с теми, кого

уважал или же считал нужным, мог и выпить, и в карты поиграть.

Короче. Бебейхуне чувствовал себя независимым, сытым, довольным жизнью, человеком основательным, и, казалось, крепким, как дуб на мощных корнях. Иногда, когда бывал довольным собой или успешно, доходно провернутым делом ,он любил шутливо выговаривать: «Клянусь честью, иметь, гораздо лучше, чем не иметь! Хи... хи...» От таких шуток, чтобы показать преданность ему, хихикали и его подхалимы, как в былые времена при виде улыбки шаха тут же смеялись его многочисленные подданные. Для тех, кто работал в его подчинении, для подхалимов и лизоблюдов, которые ходили за ним по пятам, чтобы в любой момент выполнить любую его прихоть, он и в самом деле был шахом.

Порой Бебейхуне, чтобы его считали благодетелем, оказывал помощь и своим далеким и близким родственникам. И бывал горд и рад, когда подобные его деяния становились достоянием не только родственников, но и остальных соплеменников. И те, которые не знали корысти и расчетливости Бебейхуне, от таких его благодеяний приходили в восторг , молились за него, просили у Бога здоровья и процветания ему, считали его своим спасителем. О тайных замыслах Бебейхуне почти никто не знал, ибо слово было сладким, а дело — коварным.

В тот самый день, когда Седеф случайно оказалась свидетелем сватовства своей подруги Мирвори, среди приглашенных близких родственников семьи Мирвори оказался и Бебейхуне, ибо он был сыном брата матери засватанной или ее двоюродным братом. Правда, еще год назад он совершенно не обращал внимания на трудности этой семьи. Но с тех пор, как умерла его жена, он вдруг, ни с того ни с сего, воспылал к семье Мирвори родственной любовью, стал захаживать в их дом и каждый раз приносил с собой кульки с мясом, рыбой и фруктами. Надо полагать, поэтому мать Мирвори считала Бебейхуне очень близким родственником и благодетелем.

Конечно, ничего в этом зазорного нет, ибо родственник на то и есть родственник, чтобы навещать своих, и иногда, по возможности, и помогать им. Но Бебейхуне таковым не был, он ничего так просто, без заранее обдуманных целей, не делал. Дело в том, что он послед-

ние несколько месяцев не спускал с Мирвори своих похотливых глаз, ему все больше и больше нравилась эта действительно восхитительная девушка, ее смеющиеся карие глаза и ямочки на яблоневых щеках. Иногда он настолько впивался взглядом в ее стройный стан, подколенную ложбинку красивых ног, в округлость плеч и нетронутых грудей, что забывал обо всем на свете, как голодный волк не может отвести глаз от жирненького ягненка. И тогда Мирвори, заметив на себе этот хищный взгляд, чувствовала такой дискомфорт, что не знала, куда себя девать. Но через несколько секунд Бебейхуне, улыбнувшись, отводил взгляд, будто всего этого и не было.

Бывали моменты, когда страсть его к Мирвори становилась настолько сильной, что он готов был плюнуть на все условности, на разность в возрасте и просить ее руки, но... подумав немного, он задумчиво смеялся над собой, над своей страстью. Цель, которую поставил перед собой Бебейхуне, по своему коварству не имела себе равных и выражалась она в том, чтобы в эти дни сватовства и свадьбы оказаться рядом с девушкой, с ее семьей, стать для нее незаменимым человеком, помогать и материально, приблизить ее к себе... а там птичка, как говорится, все равно попадет в его сети...

Вот о чем думал Бебейхуне в тот вечер сватовства, когда во двор Мирвори вошла Седеф...

«Боже мой! — увидев Седеф, подумал Бебейхуне, словно его ударила в этот момент молния. — Откуда эта лань? С какого райского дерева этот плод? Бывает же на свете красота!..»

Он готов был тут же вскочить со своего места и вслед за Мирвори помчаться навстречу Седеф, однако, набравшись терпения, остался сидеть на своем стуле, задумав непременно разузнать все об этой девушке.

— Э, Мирвори, сестренка, — ласково улыбаясь, обратился Бебейхуне к Мирвори, которая, проводив Седеф до ворот, вернулась в комнату. — Кто та девушка, которую ты сейчас провела?

— Седеф, моя подружка, — ответила Мирвори, не ведая о тайных мыслях Бебейхуне, — она дочь дяди Бобоила-жестянщика...

— Вот как..? Да, да, теперь узнал... — Как чувствует себя ее отец, слышал, что он упал с крыши?

— Сейчас уже лучше, — ответила Мирвори.

— Седеф! Какое красивое имя! — вслух размышлял Бебейхуне. — А чем она занимается? Работает где-нибудь?

— Нет, как раз поэтому она и приходила ко мне, — ответила Мирвори, — она хочет устроиться к нам на работу, но мне кажется, у нас уже мест нет.

«Стоп, друг мой! — подумал он, не скрывая своей радости. — Не торопись, перестань улыбаться, кажется, рыбка сама плывет ко мне».

— Сейчас найти хорошую работу крайне трудно, — начал Бебейхуне издалека. — Люди даже ценой больших расходов не могут устроиться на любую работу.., но я по твоим глазам вижу, что тебе хочется ей помочь, не так ли, сестренка? — улыбаясь, спросил он девушку.

— Конечно! — также улыбаясь, ответила Мирвори. — И если я тебя попрошу, ты не откажешь..?

— Ра-ди мо-ей кра-си-вой сестре-ночки, — ласково и с улыбкой растягивая слова, ответил он, — я готов этой девушке помочь!

Мирвори не могла сдержать своей радости:

— Спасибо, братец! А когда ей прийти к тебе?

— Когда ты хочешь.., хоть завтра!

* * *

...Судьба Седеф вновь, вопреки ее воле, совершила поворот.

ГЛАВА 4

С начала войны о душевном состоянии Либо, матери Седеф, было известно лишь только Богу и ей самой. В отличие от людей, которые готовы тут же, первому встречному, выплеснуть свои переживания и радости и при этом не утруждать себя мыслями, что они не всем интересны, она еще больше уходила в себя , изнуряя свое больное сердце самобичеванием. В самом деле, есть такие равнодушные, что сейчас хохочут и смеются, через минуту заливаются плачем, а уже через полчаса забыли обо всем, будто не было ни беды, ни радости. Подобные люди почти никогда не болеют и живут дол-

го. Либо же, скупая на слова, терпеливая в поступках, прятала свои заботы и переживания в глубине своей души, будто была сделана из камня. Для хранения тайны лучшего человека, чем эта женщина, было не найти.

Любившая шутку, понимающая юмор и сама порой умеющая иногда пошутить и посмеяться, она терпеть не могла женщин-пустозвонок, которые за глаза могли оклеветать и наговорить, а потом вести дружескую беседу. Может быть, поэтому она трудно сходилась с людьми, и в отличие от других женщин, не имела многих подружек.

Аккуратная и чистоплотная, в доме у нее все блестело, а о ее кулинарных способностях друзья мужа, не раз побывавшие у них, отзывались с нескрываемой похвалой. В отличие от некоторых жен друзей мужа, гостей она встречала всегда с радостью, с улыбкой на устах, старалась так угостить их, чтобы они унесли в душе самые добрые воспоминания. Вот почему Бобоил-жестянщик любил жену и гордился ею.

Навалившиеся на дочь горе и переживания Либо воспринимала как свои собственные, в некоторых случаях винила за это и себя, считая, что должна была в свое время убедить мужа повременить с замужеством дочери, не торопить события, не идти наперекор ее желанию. Может быть, думала она, и обошло бы горе ее любимую дочь, не искалечилась ее судьба. Вот почему, видя печаль и огорчение в ее глазах, сердце матери еще больше обливалось кровью, ибо дочь она любила по-особому, растила доброй и отзывчивой, но в то же время, в важный момент, умеющей постоять за себя и не могла даже думать о подобной ее участи.

Еще больше, чем смерть зятя, ее огорчало и возмущало поведение свекрови дочери, этой дурной и взбалмошной женщины, которая горе и беды своей семьи связала с именем Седеф, порочила и оскорбляла ее, как могла. Эта женщина в истерике не могла управлять собой и выкрикивала такую чушь, что даже видавшие виды горожане осуждали и стыдили ее за грязную клевету и наговоры. Но все равно Либо к Шекер не пошла, не унизилась до объяснений с ней. Даже в добрые времена она не любила общества Шекер, ее дешевых шуток и кликушеского поведения. Лишь дважды в последнее время: в дни траура по зятю и Шемею-портному, она посещала ее дом, ибо все сорок дней

траура она считалы себя обязанной быть там. «Горе твоей матери, доченька! — плача, думала она в эти дни, видя ее побледневшее и осунувшееся лицо. — И мое сердце болит и стонет. Какая разница: сын ли, зять ли, сердце болит одинаково...» Тогда, оплакивая зятя, Либо в не меньшей степени оплакивала и судьбу дочери, которая оказалась такой несчастной.

— Либо очень хорошо понимала и знала, что Седеф, в ее теперешнем положении вдовы, словно белый лист бумаги, легко уязвима для помарок и пятен, особенно в таком маленьком городе, где зависть и сплетни порой могут привести человека к самому краю пропасти. Поэтому, когда дочь пошла на работу в рыбный магазин, она переживала еще больше. Конечно, Либо знала, что во время войны, когда отцы, мужья и братья на фронте, большинство женщин, от молодых до пожилых, работают, что-то зарабатывают, стараются хоть как-то прокормить свои семьи, а что касается работы Седеф, то судя по всему, ей повезло, об этом говорит хотя бы зарплата, что она приносит, однако сердце матери неспокойно, она была против того, чтобы дочь оказалась рядом с таким пройдохой, как Бебейхуне, ее тревожили предчувствия. Но сказать дочери об этом она не решалась, не хотела ее без причин обидеть...

Иногда, проснувшись ночью, Либо, как встревоженная птица, вставала с постели и бежала в спальню дочери, садилась у ее изголовья и просила у Бога, чтобы он оградил ее дочь от новой беды, не дал запятнать ее честь. Осматривая лицо спящей Седеф, прислушиваясь к ее дыханию, к движению ее губ, она старалась узнать о ее думах и трудностях, помочь преодолеть их. Она готова была и жизнь свою отдать, лишь бы обошли ее любимую дочь все беды и несчастья, ничто не омрачило ее будущего.

В первые дни работы, возвратившись из магазина домой, Седеф ужинала и, перекинувшись несколькими словами, шла в свою спальню, как уставшая лошадь в свое стойло. Тогда, понимая, что с непривычки стоять целый день на ногах дело непростое и трудное, Либо и сама не старалась задержать дочь за столом и расспросить о ее работе. Да и Седеф, видно, особенно не о чем было говорить, ибо о том, что ей нелегко, можно было прочитать на ее лице. Однако в последнее время Седеф, всегда имевшая усталый вид, совсем преобрази-

лась, с работы стала возвращаться в бодром, приподнятом настроении, в глазах появился блеск, а на лице удовлетворенность.

Видя эти перемены в настроении дочери, Либо, с одной стороны была рада, ибо после стольких месяцев переживаний и горьких раздумий, на губах дочери, наконец, появилась улыбка, она успокоилась, нашла свое место в жизни. Но, с другой стороны, Либо остерегалась, лучше сказать, боялась за нее, что, не дай Бог, новое испытание подорвет ее жизненные силы.

Вот почему ее материнское сердце было неспокойно и, выбрав как-то момент, когда она оказалась наедине с дочерью, Либо, не вытерпев, спросила:

— Как твои дела, доченька? Что-то ты ни о чем не рассказываешь?

— Мои дела идут нормально, мама, — улыбаясь, ответила Седеф. — Бебейхуне, наш директор магазина, моей работой доволен...

— Будь осторожна, доченька! — услышав имя Бебейхуне, насторожилась Либо. — Не забывай, что вокруг нас ходят разные люди: завистники, сплетницы, подружки твоей бывшей свекрови, которые так и рыщут, чтобы опозорить нас, небось, и в магазин заглядывают, а они, когда захотят, и в желтке яйца волос отыщут... Смотри, доченька, чтобы известная «слава» Бебейхуне не прилипла к твоему честному имени...

— Не беспокойся, мама, знаю, что можно, что нельзя... — поняв намек матери, твердо ответила Седеф. — И кроме этого, я уже за прилавком не стою, мое присутствие там и не видно...

Хотя терпение матери истощалось, тревога за судьбу дочери не давала ей покоя, все же Либо своими невеселыми думами с мужем не делилась, боялась, что, узнав о ее тревогах, вспыльчивый и горячий Бобоил может наговорить ей ненужных слов, ненароком обидеть ни в чем неповинную дочь...

Тревожилось сердце матери...

* * *

После длительной болезни Бобоил-жестянщик, наконец, покинул надоевшую ему постель и, взяв старинной работы трость, ибо без нее уже ходить не мог, вышел в город. Ему было обидно, что на старости лет, не по-

бывав на войне, он стал инвалидом. Мало того, стал предметом разговоров всяких болтунов и бездельников. Человек неспокойный, он любил рано вставать с постели и в то время, когда большинство горожан видело третьи сны, он уже, сделав покупки или продав что-нибудь, возвращался с базара. Теперь же, познав «прелести» вынужденного безделья, он с радостью шел в городской парк, чтобы здесь среди вековых деревьев продолжить свой нескончаемый мысленный спор.

Изменения в поведении дочери заметил и он. Он видел, как дочь в последние дни стала перед уходом на работу тщательно одеваться, прихорашиваться, ходила не так, как раньше с опущенной головой, она теперь выпрямилась, осанка стала стройной, как у молодой березки весной. Но в чем была причина этих перемен, не знал и невольно тревожился. Для этих тревог у него была еще одна причина — это явно выраженное беспокойство жены, затаенный страх в ее неравнодушных глазах, ее тайные «охи» и состояние апатии. Но раньше времени открываться не хотел, решил проявить терпение, пока жена сама, не выдержав, расскажет обо всем. А то, что так и произойдет, Бобоил-жестянщик не сомневался, за много лет совместной жизни он хорошо изучил характер жены.

Он был уверен, что беспокойство жены связано с Седеф, но он не сомневался в дочери, в ее стойкости и мужестве, в ее умении защитить свою честь и достоинство, знал, что она не очернит, не унизит фамильную гордость и честь семьи. Еще в детстве он заметил в ней черты своего бойцовского характера и за это любил ее даже больше, чем сыновей. Нет, не верил Бобоил, что Седеф может причинить новую боль, хотя, видит Бог, он и сейчас не считал себя виноватым в том, что в свое время оторвал ее от порочного Муноша.

Он вдруг ясно представил себе дочь: ее поразительную схожесть с матерью, выражение непреклонности и решительности на лице в предсвадебные дни, трогательной заботливости и нежности в дни его болезни и невольно воспоминания унесли его в далекую юность, в косовицу... Либо уже была засватана, и они вместе с ее братьями пошли убирать хлеб. К вечеру коса притупилась и он, отточив ее, прилег к стогу скошенного сена. Вдруг он услышал тихий смешок и, приподняв веки,

увидел прямо перед собой чьи-то ноги... чуть выше подол платья, руки, девичью грудь, а затем лицо Либо...

— Эй, Либ-о-о!..—донесся издалека зов ее братьев.— Мы пошли домой, зови Бобоила, догоняйте нас...

Повернувшись назад, девушка согласно кивнула.

Бобоил снова направил свой полуопущенный взгляд к ее ногам, к ложбинкам коленного изгиба и они были так красивы, так призывны, что в нем вдруг проснулось дикое желание, первозданный инстинкт природы, и он, не вытерпев, схватил Либо за руку и притянул к себе.

— Что ты делаешь?.. — испуганно произнесла Либо, задохнувшись от его крепких объятий. — Ты что, озверел? Оста...но...вись, на..до домой идти.., братья мо..тут верну..ть..ся...

Но Бобоил, забыв обо всем на свете, отдался во власть страсти. Обняв девушку, он жарко целовал ее алые губы, голубые, как небо, глаза, шею, нетронутые груди. Вначале Либо старалась вырваться из горячих объятий своего жениха, но потом, почувствовав желание, затихла, по всему ее телу прошла сладостная истома, которая уносила ее в неведомый ранее мир наслаждений и счастья...

Весна жизни уже давно прошла, осень вручила ему инвалидную трость, да и зима, кажется, уже стучится в дверь, но на всю жизнь осталась в памяти Бобоила-жестянщика та далекая косовица...

Думы снова вернули его назад, в сегодня: «Да, верно, — думал он, — иногда сердце сильнее разума, чувства порой ничем не остановить, они совершают чудеса. И потому, кто может знать, предугадать, предусмотреть заранее, на что способно сердце? А Седеф молодая, неопытная, что стоит этому Бебейхуне обвести девочку вокруг пальца...» Думы не давали покоя. «Может быть, не стоило прятать от нее письмо Муноша, может быть, за это и наказал его Бог, может быть, надо было тогда послушать совета Либо, не торопиться со свадьбой, может быть...».

Однако, продолжая размышлять, Бобоил гнал от себя подобные мысли, все больше убеждаясь в правильности своего решения. Нет, такие чистые, как Седеф, не для таких, погрязших в грехе, как Мунош, и потому у них не может быть одной судьбы, ибо такому браку будут противиться и разум, и чистое сердце. Ничего,

найдется на небосклоне жизни и для нее счастливая звезда!

Но Бобоил-жестянщик не был прожектёром, он не мог оставить дочь без внимания, на волю судьбы, он твердо решил быть на страже любой беды или неприятности, которая могла свалиться на ее хрупкие плечи. Он очень любил свою единственную дочь и поставил перед собой цель узнать причину произошедших с ней перемен...

* * *

О переживаниях и тревожных думах отца и матери Седеф не знала. Она была тем слепцом, который вдруг увидел свет и перед ним открылся мир со всеми своими яркими, волнующими красками. Она все больше стала понимать, что мир похож на сундук, в котором, кроме горьких переживаний, есть еще радость и счастье. Если раньше дни походили на силуэты черных птиц, то теперь они стали похожи на вспорхнувших белых лебедей, если раньше она просила у Бога, чтобы ночи не кончались и боялась света солнца, то теперь ее радовала утренняя заря. Она улыбалась рождению нового дня. Жизнь Седеф стала совершенно иной...

Вначале Седеф и сама не могла понять причину перемены в себе, такой смены настроения, но потом... от радостного стука в груди, от веры, что завтра будет еще лучше, чем сегодня, от понимания того, что она, Седеф, уже не та, поникшая и убитая горем молодая женщина, что та Седеф умерла вместе с ее прошедшим горем и печалями, она радовалась все больше и больше, и счастье наполняло ее.

С первых же дней пребывания Седеф в магазине Бебейхуне ее из виду не терял, был постоянно начеку, чтобы в любой момент прийти ей на помощь. И потому, когда видел, что она устала и стоит уже без сил, он мягко спрашивал:

— Ты устала? Ничего, это со всеми так бывает в первое время... Пойди сядь на мое место, я тебя заменю...

Ничего в этом удивительного не было, ибо Бебейхуне в свое время заменял порой каждого из пяти работающих продавцов. Правда, Седеф он замещал чуть дольше, несколько раз в течение недели, но делал это тактично, каждый раз находя какой-либо предлог. Своей

цели он не раскрывал, осторожничал, считая, что нельзя срывать с дерева несозревшую сливу, нельзя пить недобродившее вино. После месяца работы Бебейхуне втайне от работников, кроме зарплаты, дал Седеф еще и дополнительную плату, якобы в качестве премии. Но когда Седеф проявила недовольство, мол, она ничем не лучше остальных, и отказалась взять эту «премию», Бебейхуне вначале удивился ее щепетильности, а потом, словно заботливый отец, мягко, с вниманием, уговорил ее не отказываться от денег под предлогом того, что план они выполняют и в прошлом месяце премию получили остальные. И говорил он так красноречиво, таким сладким языком, с такой любовью, что девушка не устояла.

Надо отдать должное и самой Седеф, она освоила дело быстро: покупателей обслуживала вежливо и внимательно, никогда им ни в чем не отказывала, голоса не повышала, всегда находила с ними общий язык, как бы ей тяжело ни приходилось. Да и покупатели, видя ее заботу и доброжелательность, отвечали ей тем же. Естественно, это радовало Бебейхуне и все больше убеждало его, что дорога к цели сокращается, а потому, чтобы приблизить ее к себе еще больше, он порой, уходя из кабинета куда-нибудь по своим делам, вместо себя оставлял ее. И уже через несколько месяцев никто не удивился, когда Седеф навсегда осталась в его кабинете в качестве помощницы.

Никто, кроме двадцатидвухлетнего продавца Севи, который с первого взгляда влюбился в Седеф и всегда старался ей помочь. Когда выдавалось несколько минут свободного времени, он тут же оказывался рядом с Седеф, предлагал ей то стакан горячего чая, то конфеты, то еще какую-либо услугу. Несколько дней назад он, как заботливый друг, невзначай сказал ей:

— Седеф, ты не обидишься, если я кое-что скажу тебе?

Седеф удивленно взглянула на парня и дружелюбно ответила:

— Конечно, нет, говори, я тебя слушаю...

Севи подошел ближе и, оглянувшись по сторонам, произнес:

— Ты особенно не доверяйся сладким речам нашего директора, будь осторожной...

— Ты о чем, Севи? — не поняла Седеф.

— Не маленькая, догадайся сама...

Седеф знала, что Севи, атлетического сложения красавец, с такими же голубыми глазами, как у нее, был неравнодушен к ней, постоянно оказывал ей знаки внимания. не раз предлагал проводить ее после работы домой, намекая, что был бы счастлив иметь такую подругу жизни. Свое отношение к ней он ни от кого не скрывал, но делал это тактично, трогательно, иногда неуклюже, но так, чтобы, не дай Бог, не навлечь на нее глупые подозрения городских сплетниц. По правде сказать, и Севи ей нравился, нравились его дружеская забота и внимание, но относилась она к нему не так, как женщина к мужчине, а больше как к брату, как к другу.

Что же касается Бебейхуне, то он подкрадывался к Седеф бесшумно, мягко и нежно, точно так, как это делает змея, подкрадываясь к своей жертве. Свои отношения с ней он строил таким образом, чтобы никто не заподозрил его тайных устремлений, чтобы на Седеф не упала даже тень чьих-либо подозрений, чтобы, как говорится, не разбудить спящих. А наоборот, чтобы все убедились, что продвижение Седеф в помощники директора сделано только лишь благодаря ее заслугам и умению.

Однако перемены происходили и в самом Бебейхуне, как ни странно, он стал думать о ней и днем и ночью. Навязчивая мысль овладеть ею не покидала его почти постоянно. Каждое утро, когда Седеф заходила в его кабинет, ему казалось, что вошла утренняя заря, что жизнь повернулась к нему своей светлой стороной. И хотя девушка ни о чем и никогда его не просила, он готов был дать ей все, что угодно, удовлетворить любую ее просьбу. В такие дни Бебейхуне превращался из опытного ловеласа в пылкого влюбленного, не знающего, как завладеть ею. И вот в майский день, дождавшись ее прихода на работу, он с сияющей улыбкой подошел к ней, вручил букет ярких красных роз и восхищенно произнес:

— Дорогая Седеф, я... горжусь, что у меня есть такой милый помощник. От всего сердца поздравляю тебя с днем рождения и желаю счастья!

Седеф сперва опешила (она уже и забыла, когда в последний раз отмечала день своего рождения), затем вся зарделась от такого внимания и тихо произнесла:

— Спасибо! Я, честно говоря, и забыла.., — Седеф

подняла глаза и увидела его восторженный взгляд, сердце ее впервые екнуло...

— Позволь мне подарить тебе это красивое платье, которое к лицу только такой красавице, как ты! — И Бебейхуне преподнес ей небольшую упаковку.

Седеф снова опешила от неожиданности, несколько секунд была в оцепенении, а потом, резко отстранив от себя сверток, решительно произнесла:

— Подарка я не возьму, мне его брать нельзя!

— Да ты что, Седеф?! — притворно удивился Бебейхуне, понимая, что возьми она подобный подарок, пути к отступлению в будущем у нее бы не осталось. — Что здесь такого, на день рождения всем делают подарки?..

— Но не такие, — Седеф мягко отстранила его руку. — Поймите, кто я вам? Потом позора не оберешься! Не надо, прошу вас...

Седеф, конечно, не хотела обидеть Бебейхуне, нет, наоборот, несмотря на разницу в возрасте, он нравился ей и это чувство неудержимо росло, занимая в ее пылком сердце сперва маленькое, в мизинец, а потом все большее место. В то же время она понимала и обратную сторону подобного подарка: прежде всего, расспросы родителей, мол, откуда, кто и за что, во-вторых, все это неминуемо станет достоянием сперва своих же работников, а потом и всего города, а это чревато новыми сплетнями, а за ними — новыми нервными расстройствами, а она устала от них.

Кроме того, она прониклась к нему искренним сочувствием, когда как-то, сидя в кабинете, он трогательно рассказал ей о трудностях своей жизни, о том, что достаток к нему пришел не по наследству, не на блюдечке, а ценой неимоверных усилий, что есть один-два негодяя-кляузника, которые постоянно пишут на него. Не забыл рассказать о постигшем его в прошлом году горе — смерти жены после родов и полугода тяжелой неизлечимой болезни. Что после этого, через три месяца умер и его крошечный мальчик, оставив его «сиротой», что имея и богатство, и все необходимое для жизни, он при этом несчастен. При этом ненароком дал ей понять, что ему ничего не остается, как снова жениться...

Он рассказывал все это, будто перед ним сидела не молоденькая девушка, которая волей судьбы, выйдя замуж, уже через несколько месяцев стала вдовой, а

взрослая, опытная женщина. Конечно, делал он это намеренно, чтобы растрогать ее и таким образом подтолкнуть в свои объятия. Он хитро рассчитывал, что однажды переболевшее сердце никогда не останется равнодушным к чужому горю, обязательно откликнется. Так оно и случилось, Седеф настолько прониклась его бедой, что готова была приласкать этого большого красивого мужчину и утешить. Только постоянные предупреждения матери, а также ее друга Севи остановили ее от проявлений этих чувств. А Бебейхуне, видя эту борьбу в душе девушки, готов был встать и, забыв обо всем на свете, прильнуть губами к ее пухленьким губам, прижать ее к своей груди.

Седеф расцветала день ото дня, от нее нельзя было отвести взгляд. И потому, потеряв терпение, не сумев удержать свою страсть, Бебейхуне как-то нарочно, схватившись в кабинете за сердце, упал в кресло и притворно застонал. Седеф, не раздумывая, кинулась к нему на помощь, налила из графина воды в стакан и, протянув ему, умоляюще произнесла:

— Выпейте, пожалуйста, вам станет легче..!

А Бебейхуне, выпив воду, взял девушку за руку, притянул ее к себе и прильнул к ее чуть приоткрытым губам. Он целовал ее жадно, страстно, как человек, который, припав к долгожданному источнику, стал утолять жажду.

— Седеф, радость моя, от твоей воды стало легче не только моему сердцу, но и душе, — говорил он вслед за этим и, не дав ей опомниться, целовал ее глаза, губы, шею, приговаривая: — Я полюбил тебя... и без тебя не представляю свою будущую жизнь!..

Была ли готова к этому Седеф? Наверное, да, наперекор всем предупреждениям, вопреки постоянным приказам разума, страху перед адатом и злым людским языкам, да, сердце Седеф было готово к любви, оно вынашивало это чувство, как зреющий день ото дня плод.

Она боялась этого чувства, боялась, что снова будет обманута, что еще раз ее сердце этого не вынесет. Чувство же оказалось сильнее. Но то, что это произойдет здесь, в кабинете, и так стремительно, неожиданно, без предшествующих слов объяснения, она не ожидала и потому вначале лишилась даже дара речи. Потом же, придя в себя, вся покраснела, и, мягко высвободившись из его пылких объятий, тихо сказала:

— Ты что, с ума сошел, сюда могут войти?..

— Не волнуйся, дорогая, я ведь так или иначе женюсь на тебе... — снова целуя ее, отвечал Бебейхуне.

— Но это же не так делается, — уже отталкивая, пыталась вразумить его Седеф, — у меня есть родители...

— Через неделю, в субботу я пошлю к вам сватов,— посадив ее на диван и снова продолжая целовать, говорил Бебейхуне. — Я люблю тебя, солнышко мое, люблю больше жизни, и мы скоро будем вместе навсегда...

Он продолжал говорить нежные ласковые слова, страстно целуя ее податливые сладкие губы, затуманенные от желания глаза, при этом его руки творили чудеса: они виртуозно сняли с нее жакет, расстегнули пуговицы платья, устремились к ее круглым, словно мяч, грудям, соски которых тут же набухли и затвердели. Бороться против его крепких объятий было бы сущим безумием. Уверенные, властные действия Бебейхуне отняли у Седеф волю, полностью уничтожив всякое стремление к сопротивлению. Странный жар распространился по ее телу, она чувствовала страстное желание подчиниться его силе, растаять в его объятиях, поэтому еще теснее прижалась к нему, в то время как ее разум всячески противился этому сближению.

Затем совершенно нагая Седеф обвила его шею руками, с наслаждением ощущая близость сильного мужского тела...

Бебейхуне чувствовал себя на вершине блаженства, он был по-настоящему счастлив, что нашел такую чистую, красивую, молодую и умную девушку. Теперь он постоянно думал о ней и хотел, чтобы она всегда была рядом с ним. «Кажется, я и в самом деле полюбил ее,— думал он на следующий день, счастливо улыбаясь своим мыслям. — Может, на самом деле пора остепениться, не мальчишка уже... Да, сватовство уже откладывать нельзя...»

В последовавшие два дня Бебейхуне даже помолодел, выглядел счастливым, возбужденным. Каждое утро, приходя на работу, он нежно целовал ее и не мог оторваться от ее жаркого чувственного тела.

Седеф же светилась вся от нахлынувшего на нее счастья и радости. На лице стали видны следы блаженства и удовлетворенности, груди, плечи и руки девушки как-то округлились, как почки деревьев в весен-

нюю пору. Она стала похожа на первый весенний цветок. Если раньше глаза ее были полны печали, сердце мечтало о радости, а горькие думы не давали покоя душе, то теперь в глазах появился блеск, в сердце — надежда, в душе — вера в то, что прошлое уже позади, оно не вернется никогда.

— Ты же меня не обманешь, родной? — как-то спросила его Седеф. — Мне тогда хоть в петлю...

— Конечно, нет, любовь моя! — убежденно заверил ее Бебейхуне. — Скоро я тебя засватаю, я сам горю от нетерпения!..

И в тот момент, когда Бебейхуне, удерживая свое желание, устало сел в кресло, а Седеф, вся пунцовая от его страстных поцелуев, подошла к умывальнику и стала мыть лицо холодной водой, в дверь кабинета постучал Севи и, войдя в комнату, удивленно посмотрел сперва на Седеф, потом на какого-то удрученного Бебейхуне. Наверное, Бебейхуне стал приставать к ней, а та шлепнула ему по физиономии, злорадно подумал он, а вслух сказал другое:

— Пришли трое работников ОБХСС и хотят к вам, сюда...

— А что им надо? — нехотя спросил Бебейхуне. — Если просят чего-нибудь, дай этим попрошайкам...

— Нет, я спрашивал, — ответил Севи. — Настойчиво хотят к вам.

— Что ж, пусть зайдут.., опять, наверное, Михайлов накляузничал.., неймется негодяю...

Севи вышел и буквально через минуту в кабинет вошли трое.

— Здравствуйте, — сказал тот, который был старшим и, показав удостоверение, представился: — Капитан Гасанов. Наша группа направлена к вам на ревизию, вызванную жалобами трудящихся...

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, небось снова этот кляузник Михайлов настрочил? — спросил Бебейхуне, улыбнувшись, однако сердце его тут же екнуло, ибо только вчера он получил товар, за счет пересортицы которого уже имел немалый доход, а если заглянут глубже, то совсем беда. Он незаметно мигнул Седеф, чтобы она вышла и дружелюбно обратился к капитану милиции: — Сколько раз уже проверялись его заявления, он же ненормальный...

— Не только его, — ответил капитан. — Есть много других.

— В таком случае, я хотел бы с вами вначале конфиденциально поговорить...

— Пожалуйста, — ответил Гасанов и попросил своих товарищей на несколько минут оставить их одних. И когда те вышли, продолжил: — Так, слушаю вас...

— Дело в том, что я долгие годы был на дружеской ноге с Сергеем Николаевичем, бывшим начальником милиции города...

— Это нам известно, — криво улыбнувшись, ответил Гасанов, — что было, то быльем поросло и к делу не относится... Что вы еще хотели бы мне сказать?

— Вы, надеюсь, меня знаете не первый день, — Бебейхуне хитро подмигнул капитану. — Может, оставим все без ревизии? Я умею быть благодарным!

— Нет, уважаемый, ничего не получится. Уж больно на вас ополчились, и видно, не напрасно... Раз других вопросов нет, дайте нам документы... — он встал со стула, открыл дверь и обратился к своим товарищам:— Опечатайте магазин и начнем работу...

Бебейхуне понял, что ему пришел конец и стал лихорадочно искать выход. «Ах, Сергей Николаевич, не уберег себя, сколько раз предупреждал не жадничать, не связываться, с кем попало.., — думал он, — а мне теперь что делать, куда бежать за помощью?» Бебейхуне перебирал в памяти всех руководителей города, но каждый раз мысленно останавливал себя от поспешных действий. «Видно, не без их согласия пришли сегодня ко мне, — снова подумал он, — никак не иначе. Значит я им уже не нужен», — удрученно заключил он. В раздумье Бебейхуне ходил взад и вперед, не зная, что делать, какие предпринять шаги, понимая, что завтра, когда закончится ревизия, будет уже поздно. И вдруг его осенило: «Да, черт возьми, как же я забыл,— подумал он, — надо идти к Ишьягу Садыковичу, он директор самого крупного предприятия города, пользуется огромным уважением властей, в свое время помог мне стать на ноги...»

Наскоро собрав небольшой сверток из рыбных деликатесов, которые у него были дома, Бебейхуне, не раздумывая дальше, направился по намеченному адресу.

Дверь открыл сам хозяин:

— О, Бебейхуне, какими судьбами? — и не дожи-

даясь ответа, обратился к дочери, миловидной черноволосой, лет тридцати, женщине. — Ты посмотри, доченька, кто к нам пожаловал. Заходи, заходи...

Бебейхуне положил сверток на тумбочку в прихожей и, протянув руку хозяину, поздоровался:

— Здравствуйте, Ишьягу Садыкович! Динорочка, привет! Как поживаете?

— Здравствуй, герой, здравствуй, — пряча улыбку, ответил хозяин. — Ты совсем нас забыл, года три, наверное, даже не наведывался, не спрашивал, как мы тут живем, небось, не нужен стал старый Ишьягу? Динора! — обратился он затем к дочери. — Ты нам что-нибудь приготовь, видно, не без дела пришел к нам Бебейхуне...

— Виноват, дядя Ишьягу, но забывать, нет, никогда не забывал, — Бебейхуне стыдливо опустил голову, а потом, сев на своего конька, продолжал: — Вы же знаете, болела жена, потом сразу две смерти: она и мальчишка...

— Да, да, это я знаю.., — согласился хозяин. — Но что с тобой стало? О тебе сейчас молва по всему городу. Диноры здесь нет, потому скажу, не таясь, страна в огне войны, смерть и разрушения кругом, а ты здесь бабником заделался, как петух в курятнике, солдаток вынуждаешь к сожительству, хватаешься за каждый подол. Кругом голод, а ты шикуешь в дорогих костюмах. Разговоры идут, что ты грабишь магазин, людей обманываешь...

— Это все злые языки, завистники.., — оправдывался Бебейхуне. — Они и послали ко мне ОБХСС...

— Нет, ты послушай, а то кто тебе правду скажет! Надо взять себя в руки.., а что ОБХСС? — не сразу сообразил хозяин.

— Да вот пришли они ко мне сегодня, копают... Боюсь, дядя Ишьягу, без вашей помощи не обойтись.., — Бебейхуне виновато опустил голову. — Если что понадобится, я готов...

— Готов, готов... о завтрашнем надо думать, а не щеголем ходить! — заворчал хозяин. — Если ты окончательно не одурел, тебе надо остепениться и немедленно жениться... Найди себе молодую вдову, такую, чтобы ее родители могли тебе помочь, опорой стать...

— Вот и я жениться хочу, дядя Ишьягу, хочу полу-

чить ваше благословение.., — заговорил Бебейхуне, поняв, что хозяин готов ему помочь.

— Благословение?.. Если ты хочешь моего отцовского благословения, — глянув на него исподлобья, хитро, недвусмысленно спросил хозяин, — то я его дам, коли ты хочешь взять в жены мою Динорочку. Ты это имел в виду?

Бебейхуне понял, что он попал в им самим расставленную ловушку. Перспектива стать мужем давно знакомой ему легкомысленной, хотя и богатой, дочери хозяина его не устраивала никак. С Динорой он был знаком давно, еще до женитьбы. Она ясно давала понять, что неравнодушна к нему, и одно время он даже хотел на ней жениться. Но, узнав ее ближе, ее капризный и «командный» характер, он тихо, незаметно передал ее другу, погибшему несколько лет назад в автокатастрофе, но дружбы ни с отцом, ни с дочерью не терял. Это не устраивало его и потому, что и сердцем, и душой он прикипел к Седеф, и уже не мыслил своей жизни без нее. Он был связан данным ей словом и не знал, как выйти теперь из этого тупика. Но больше всего он страшился того, что, если немедленно не остановить работу ОБХСС, то у него не будет ни любви, ни желания, ни будущего, его ждет суд, конфискация имущества и тюрьма. Все эти мысли молниеносно пролетели в его голове, и Бебейхуне вначале замер, а потом, улыбнувшись, ответил:

— Спасибо, Ишьягу Садыкович, за доверие, я был бы счастлив стать вашим зятем!

— Так вот почему ты пришел?! — громко, чтобы слышала дочь, сказал хозяин. — Динора, доченька, иди-ка сюда...

Из кухни вышла Динора, неся в руках тарелки с нарезанной колбасой и сыром:

— Да, папа, я сейчас принесу остальное...

— Ты это успеешь, доченька. Садись, есть важный разговор...

— Какой, папа? Это связано с нашим Бебейхуне?

— Да, доченька, он пришел сделать тебе предложение выйти за него замуж...

— Бебейхуне?! Это правда? — недоверчиво обратилась она к новоиспеченному жениху. — Не скрою, не ожидала... ты сам пришел к этому?

— Да, конечно.., — ответил Бебейхуне. — Ты согласна?

— Я согласна, — ответила Динора.

— Я очень рад.., — улыбаясь, облегченно ответил Бебейхуне, хотя в душе у него творилось что-то невообразимое.

— Вот и хорошо, дети мои, и я очень рад! — не скрывая своего торжества, сказал хозяин. — Поскольку время не для шумных свадеб, да и вам это уже не подобает, в субботу соберем небольшую компанию у меня и отметим это торжество... Как ты думаешь, сынок?

— Я согласен, Ишьягу Садыкович, только как быть...

— По этому поводу не беспокойся, сынок, работников ОБХСС завтра у тебя не будет!.. — торжественно пообещал Ишьягу Садыкович и пригласил Бебейхуне и дочку за накрытый стол...

...Возвращался Бебейхуне от своего будущего тестя не радостный, как это подобает быть счастливому зятю, а в состоянии печали и разочарования, убитый сознанием того, как ему завтра смотреть в родные глаза Седеф, какими словами объяснить ей произошедшую с ним метаморфозу... Впервые в жизни радость избавления от нависшего над ним дамоклова меча шла рядом с печалью по невосполнимой утрате, страх за себя, за свое будущее оказался сильнее и выше долга и данного слова. Бебейхуне горько улыбнулся над своим выбором, тряхнул головой, отгоняя от себя так несвойственные ему раздумья и с твердым намерением найти все-таки выход из создавшейся ситуации, уверенно зашагал домой...

На следующий день сотрудники ОБХСС действительно, не завершив своей работы, из магазина ушли. Седеф и продавцы, открыв двери своего заведения, вздохнули с облегчением. Шушуканье в рядах покупателей пошло на убыль. Но Бебейхуне почему-то в этот день на работу не пришел, а на следующий день, вечером, остановив на улице уходящего с работы Севи, он похвалил его за якобы оказанную им помощь при ревизии и просил завтра, в пятницу, прийти на работу на полчаса раньше, мол, есть разговор, чем очень удивил парня.

Седеф не знала, что и подумать. Судя по тому, что

проверяющие так поспешно ушли, Бебейхуне дела свои решил основательно, а из слов Севи накануне ей стало известно, что они могли быть весьма плачевными. Тогда в чем дело? Ушел еще вчера, и его нет уже второй день. Где же он, что с ним? От предчувствия недоброго Седеф поежилась, ей стало не по себе. Неужели посадили? Нет, тогда бы ревизию не прекратили. Может, прячется от нее, не хочет на ней жениться? Да нет, до бесконечности прятаться нельзя... Но ведь через день он должен прислать сватов, они должны о многом поговорить, он обещал... Тревогой наполнилось ее раненое сердце, а из глаз невольно полились слезы.

Не в лучшем состоянии был и Бебейхуне. Не зная, что делать, что сказать Седеф, на следующий день он на работу не пошел. То лежа, то расхаживая по квартире, мучительно искал выход, но его изощренный ум ничего не подсказывал. А что, если плюнуть на все, собрать деньги и драгоценности, написать и тайком передать Седеф записку, чтобы не беспокоилась, что через несколько месяцев даст ей знать и заберет к себе; дома же оставит письмо, что решил покончить с собой и пошел в море топиться... Нет, не поверят. Начнут искать, а когда не найдут, будут расспрашивать знакомых, того же Ишьягу Садыковича, который, видимо, просил за него начальника милиции, потом Седеф, продавцов, Севи, по всему видать, тот Седеф любит и не скрывает этого от работников магазина, его ухаживания за ней настолько красноречивы, что лишних доказательств не нужно. Парень он бесхитростный, прямой, простодушный, и потому использовать его труда не составит. Так, так, размышлял он дальше, что, если сказать ему, мол, Седеф тебя любит, а ты медлишь, небось, и сам любишь ее, а дальше устроить... Бебейхуне, довольный собой, первый раз за целый день улыбнулся, сегодня вечером он с ним поговорит... Теперь, Седеф. Конечно, жаль терять ее, но делать нечего, таких красавиц еще будет немало. А Динора, хотя и была в девичестве капризной и с причудами, все же теперь не девочка: и горя хлебнула, и цену жизни, небось, знает... Хотя и не красавица, но мила и женственна...

Вечером того же дня, как было сказано, Бебейхуне остановил на улице Севи и на следующий день утром, как договорились, в назначенное время встретились в

магазине. В кабинете были лишь они одни, до начала рабочего дня было еще далеко.

— Вы, Бебейхуне Бирорович, действительно, молодец, — не скрывая своего восхищения, заговорил Севи. — Я вчера не успел вам об этом сказать... я так боялся за вас...

— Спасибо, дорогой! Да и вы все держались молодцами, вели себя достойно, — притворно похвалил парня Бебейхуне.— Этого я не забуду, и при первой возможности устрою тебе самостоятельную работу, растешь на глазах, — улыбнулся Бебейхуне.

— Спасибо, Бебейхуне Бирорович...

— Что ты по отечеству, да по отечеству,— снова притворно улыбнувшись и дружески взяв парня за локоть, он усадил его рядом с собой. — Я вот о чем подумал... Жениться тебе надо и, как я заметил, подругу ты себе выбрал. Седеф ты любишь, а все стесняешься ей об этом сказать... Из опыта своего знаю, девушки, мой дорогой, не любят стеснительных, а предпочитают, как бы тебе это сказать, решительных, настойчивых. Наблюдая за ней, я заметил, что и она к тебе неравнодушна, по-моему, любит тебя. Так что будь смелей, парень, ненароком обними ее, поцелуй, не тяни, а упустишь, из-под носа уведут... Тем более, что я сейчас пойду к начальству и до 10 часов меня не будет.

Бебейхуне встал, еще раз взял Севи дружески за локоть, потом посмотрел на часы и воскликнул:

— Да, уже время, я пошел, — и вышел из кабинета.

Спрятавшись в укромном месте, за углом, Бебейхуне заметил, как Седеф вошла в магазин, поздоровалась с работниками и направилась в кабинет. Магазин был пуст, покупателей еще не было. Через несколько минут к кабинету направился к Севи. Тихо, крадучись, открыв своим ключом заднюю, потайную дверь, Бебейхуне пробрался в маленький, полутемный тамбур, где они хранили дефицитный товар и стал смотреть в чуть-чуть приоткрытые двери.

— Седеф, милая, что с тобой? Почему ты такая грустная? — с нежностью и заботой спрашивал Севи.

— Не знаешь, где Бебейхуне Бирорович? — вопросом на вопрос ответила Седеф.

— Он по делам пошел к начальству, будет к де-

сяти... — ответил Севи. — Зачем он тебе? Не беспокойся, у нас теперь все нормально...

Севи подсел ближе к загрустившей девушке, взял за плечи и только было повернул ее лицом к себе, чтобы поцеловать, как моментально открылась дверь и на пороге оказался Бебейхуне. Седеф резко сбросила с плеч так некстати оказавшиеся на них руки Севи и, побледнев, взглянула на Бебейхуне. Севи вскочил и, ничего не понимая, спросил:

— Вы так рано... вернулись?..

— Извини, дорогой, я забыл кое-что в столе, — и Бебейхуне, не посмотрев в сторону Седеф, — направился к столу, взял из ящика какую-то безделушку и, как ни в чем не бывало, добавил: — Ничего, ничего, продолжайте, я сейчас ухожу...

Севи, весь пунцовый, выскочил за дверь и подошел к прилавку.

Седеф без кровинки в лице несколько секунд не могла произнести ни слова, затем, увидев, что Бебейхуне направляется к двери, встала у него на пути и, плотно закрыв дверь, остановила его:

— Ты не можешь так уйти, не имеешь права, — смело, взглянув ему в глаза, заявила девушка. — Поверь мне, здесь ничего не произошло!

— Если ваши горячие объятия это ничего, то что же «чего»? — ухмыльнулся Бебейхуне.

— Никаких объятий не было, я клянусь тебе... — снова стала убеждать его Седеф. — Я сидела, переживала за тебя, ведь тебя не было почти два дня, а он хотел меня успокоить...

— Вот, вот, обняв, успокоить, а потом уложить на диван... — преднамеренно усиливал давление Бебейхуне. — Меня не было всего неполных два дня, а ты тут же нашла себе «утешителя», как же это понимать?! — уже с воодушевлением выкрикнул Бебейхуне. — Как же можно жениться на такой женщине?..

Седеф, не выдержав незаслуженных оскорблений, горько заплакала и сквозь слезы еще раз просила его прислушаться к голосу разума, не делать поспешных выводов.

— Да пойми же ты, наконец, что ты ошибаешься, между нами ничего не было и быть не может, я люблю только тебя...

— Я не верю в такую любовь! Не успел я за дверь,

как ты сразу находишь себе любовника! Нет, дурить я себя не дам! — злонамеренно продолжал Бебейхуне, стараясь как можно больнее ее задеть и, таким образом, вызвать ее ответные оскорбления.

— Если ты оглох и ничего не хочешь выслушать, то я сейчас вызову сюда Севи, и он тебе скажет правду!— заявила Седеф.

— Вот, вот, если твое бесстыдство видел и знаю я один, ты хочешь, чтобы это стало известно всему городу. Ты что, хочешь позора? — стыдил ее Бебейхуне.— Нет, мне этого не надо! Теперь нам двоим здесь не место, уходи!

Седеф покачнулась, будто ей выстрелили в сердце, прижала платок к лицу, затем выпрямилась, прямо посмотрела ему в лицо и, выговаривая каждое слово, тихо сказала:

— Что ж, ты еще пожалеешь об этом, — затем повернулась, открыла дверь и, не оглядываясь, покинула кабинет...

* * *

Видя мертвенно бледное лицо дочери, ее мучительные переживания, не меньше тревожилась и Либо. Не зная подлинных причин ухода Седеф с работы, ее самовольного заточения в доме, мать догадывалась, что с дочерью произошла какая-то беда, о которой она не желает говорить.

«Ведь не слепая, вижу, — рассуждала она, — еще совсем недавно улыбалась, радовалась своим успехам, после работы в хорошем настроении помогала в домашних делах, а сейчас чего-то таится, постоянно о чем-то думает, из своей комнаты не выходит и почти ничего не ест ».

Наконец, однажды, заметив «охи» и «ахи» жены, Бобоил-жестянщик, не вытерпев, спросил:

— Что ты, жена, в какой-то тревоге?! Может, скажешь и мне, в чем дело...

— Да я и сама не знаю, что сказать, — в задумчивости ответила Либо. — Что-то в последнее время с Седеф неладно...

— Что значит «неладно»?

— Да чтобы умереть мне за нее! Не пойму, но чувствую — что-то произошло... Закрылась в комнате, не

ест, не пьет, все о чем-то думает и ничего не говорит.

— А почему она ушла с работы? Может, этот негодяй Бебейхуне не давал ей прохода, оттого она и ушла? — не унимался старик.

— Кто его знает... — разводя руками, в задумчивости ответила Либо. — Молчит, будто воды в рот набрала. — Скажу тебе по правде, муж, я очень рада, что она ушла из этого магазина, от греха подальше...

— И я так думаю, — согласился Бобоил-жестянщик, — проживем и без ее зарплаты. Да и проклятым фашистам осталось недолго, дай Бог, скоро приедут наши дети, будет совсем хорошо.

— Дай-то Бог! — взмолилась Либо.

— Да, совсем забыл, — вспомнив о чем-то, заговорил старик. — Сегодня из Ташкента приехала моя двоюродная сестра Гюльверд с сыном Овшаром, я тебе пока говорить не хотел, но по твоему виду и тревоге на лице вижу, что нашу дочь больше без внимания оставлять нельзя. Вот уже больше месяца она сама не своя, да и народ болтает всякую чушь... Мне, конечно, на подобные сплетни наплевать, не привыкать к ним, но судьбу дочери надо решать...

— Что ты имеешься в виду? — не поняла Либо.

— Дело в том, что Гюльверд остановила меня на улице и прямо, без лишних слов заявила, что хочет женить своего сына на Седеф. Я, по правде, отпускать в такую даль дочь не хотел, но и отказывать нерезонно...

— Разве ее сын не женат? — удивилась Либо.

— Был, но год назад его жену сбил грузовик и она погибла...

— Ты опять горячку не устраивай, муж, — недовольно заявила Либо. — Надо вначале поговорить с Седеф и только потом дать ответ...

Что касается Седеф, то вначале она не поверила в реальность происходящего, в то, что их отношениям с Бебейхуне наступил конец. Она считала, что Бебейхуне, увидев ее с Севи, посчитал, что они сидят чуть ли не в обнимку, пришел в ярость, наговорил кучу оскорблений, конечно, незаслуженных, а потом, как всякий здравомыслящий человек, пришел в себя и пожалел о содеянном.

Седеф и в самом деле полюбила его, считала, что Бебейхуне стал для нее и мечтой, и смыслом жизни, и

зовом сердца. Кроме того, спутником своей жизни она никого не видела и не хотела, и потому готова была пойти на любые уступки, чтобы не потерять Бебейхуне. Вот почему в субботу утром она решила пойти в магазин и еще раз, как говорится, в «остывшем» состоянии с ним обо всем поговорить.

— О, Седеф, здравствуй, дорогая! Как хорошо, что ты пришла.., — сердечно приветствовал ее Севи. — Проходи в кабинет, ты почему рассчиталась и ушла?..

— А что, хозяина нет? — осведомилась она, не отвечая на его вопрос.

— Нет, проходи, я сейчас же иду...

Надежда повидать Бебейхуне и поговорить с ним рухнула, и Седеф пожалела, что пришла. Однако желание поговорить с Севи толкнуло ее вперед, Седеф прошла в кабинет и села на свое привычное место. Следом, закрыв за собой дверь, вошел и Севи.

— Скажи мне, Севи, что это за спектакль устроил ты позавчера? — четко спросила Седеф, как говорится, с места в карьер.

— Какой спектакль? — не понял Севи.

— Как какой? Почему ты, никогда себе подобного не позволявший, обнял меня? — допытывалась Седеф.

Севи вначале опустил голову, о чем-то подумал, потом пристально посмотрел на Седеф и чистосердечно признался:

— Помнишь, накануне того дня, он на работу не пришел, ты даже спрашивала, что с ним? Вот тогда мы случайно встретились вечером после работы, и он попросил, чтобы я утром пришел пораньше.., мол, хочет о чем-то со мной поговорить...

И Севи слово в слово рассказал Седеф о своей беседе с Бебейхуне.

— Поверь, я и не думал тебя унизить, — запальчиво произнес Севи. — Я люблю тебя, дорогая, и, если ты меня тоже действительно любишь, я прошу тебя выйти за меня замуж...

Видя, что Седеф сидит, опустив голову на согнутые руки, Севи вдруг радостно добавил:

— Ты знаешь, Бебейхуне сегодня женится!..

Седеф стремительно подняла голову и удивленно воскликнула:

— Как женится? На ком?

— На дочери этого всемогущего Ишьягу Садыко-

вича. Хитрый, пройдоха!.. — улыбаясь и восхищаясь своим директором, ответил Севи.

Седеф же, побледнев, застыла на своем месте, будто выброшенная кем-то стрела попала ей прямо под лопатку, в спину. «Святая простота, — подумала она о Севи. — Сам того не понимая, ты стал орудием в руках этого негодяя, этого коварного и мерзкого человека! Ничего, подлец, Бог покарает тебя за мои надежды и слезы, за веру в тебя и за мой позор!..»

Седеф, опустив плечи, будто на них была тяжелая, непосильная ноша, встала и тихо, не ответив Севи на его предложение, пошла к выходу.

— Седеф, подожди, здесь Бебейхуне оставил ведомость и твои расчетные... — он взял все это со стола и протянул ей: — На, подпиши... Ты правильно сделала, что ушла, я бы тоже ушел из этой пороховой бочки, но у нас дома никто не работает... — Потом тихо спросил: — Так ты ничего не ответишь?..

Седеф хотела махнуть на все рукой и уйти, но, поразмыслив, подписала ведомость, взяла деньги и без единого слова покинула магазин.

Через неделю у нее появилась еще одна причина для серьезного беспокойства, страх перед будущим буквально парализовал ее. Дело в том, что в установленные критические дни у нее не оказалось свойственных женщине признаков. Сердце ее сжалось, и будто спряталось куда-то в глубину груди, как черепаха втягивает голову в минуты смертельной опасности. Неужели забеременела? Так сразу, от одного раза? Нет, не может быть, успокоила она себя в следующую минуту. Так было и после свадьбы с Шенде, она тогда тоже подумала, что забеременела, но, когда наступил следующий срок, у нее все восстановилось. Побывав тогда у врача, она узнала, что такое случается у женщин от стрессов, тяжелых нервных потрясений. Может, и сейчас от того же, может, пронесет?! Но чувство страха не покидало ее. Неминуемый позор в будущем омрачал и без того ее горькое, несчастливое существование.

Два дня и две ночи Седеф оплакивала себя, ища выхода из тупика, в который попала, но лишь утром третьего дня пришла к выводу, что ей ничего не остается, как только бежать из дома, и чем быстрее, тем лучше. Слава Богу, деньги на дорогу и хотя бы на первые два месяца у нее есть, а там — устроится на работу

и все пойдет своим чередом. Только как это сделать, каким образом дать понять хотя бы матери о ее намерении, чтобы, не дай Бог, не напугать ее. Она понимала, что ее бегство вызовет также слухи и измышления, что ляжет на их дом несмываемым позором и унижением, и это, в конечном счете, убьет и без того больных отца и мать. Другое дело, если родители распространят слух, что их дочь едет, скажем, в Махачкалу на учебу... Как убедить их сделать именно так?..

И в этот июньский день, когда она трепыхалась в безысходности, как зарезанная курица в святой кипур, к ней в комнату зашла мать и ласково, с любовью и пониманием, поведала ей о предложении тетушки Гюльверд.

— Мы с отцом, дорогая, не хотели тебя, нашу единственную дочь, от себя так далеко отпускать, но видно... судьба этого хочет... Как ты думаешь?

Седеф, так мучительно искавшая выход из расставленного ей судьбой капкана, вдруг поняла, что та же судьба теперь подбрасывает ей спасательный круг, как утопающей в бурю. Но кто он, этот ее далекий родственник, Овшор, что из себя представляет, может ли, в случае ее беременности, простить ее грех?..

— А он здесь, в Дербенте? — неожиданно спросила Седеф.

— Кто? — не поняла Либо.

— Овшор, сын тетушки Гюльверд?..

— Да, конечно, дочка. Если ты согласна, то они хотят прийти к нам поговорить...

— Мама, а можно мне вначале поговорить с Овшором? — спросила в свою очередь Седеф,

— Думаю, что можно. Я поговорю с Гюльверд...

Пожелание Седеф пришлось по душе и Овшору. Они встретились вечером следующего дня в памятном сквере, недалеко от дома.

Овшору Седеф, хотя она и выглядела побледневшей, понравилась сразу, и он старался тоже произвести на нее впечатление. На вопрос Седеф, почему они оказались в Дербенте, Овшор ответил:

— Дело в том, что на ташкентский завод, где я работаю технологом, из Баку, от руководства нового завода по переработке волокнистых веществ из нефти, пришло письмо с просьбой направить к ним на помощь знающего технолога. Меня, как уроженца этих мест, и

направили на полгода, да еще месяц отпуска дали. Вот мы и решили приехать вначале в Дербент... И я очень рад этому...

— А вы свою жену любили? — невольно вырвалось у Седеф.

Овшор опустил голову, в волнении засунул руки в карманы брюк, потом снова вытащил их, будто вопрос застал его врасплох, и тихо ответил:

— Да, любил.., но что теперь делать...

— Извините, я не хотела причинить вам боль, — поняв его состояние, ответила Седеф. — Я к тому, что я могу не подойти...

— Да нет, все будет хорошо, поверьте, я... вы ни о чем не пожалеете, Седеф.

— Вы умеете прощать чужие ошибки?— пристально глядя на Овшора, спросила Седеф. — Даже если они покажутся вам неожиданными?

— Ошибки..? — улыбнулся Овшор. — А кто из нас застрахован от них, в жизни, Седеф, всякое бывает...

— Что ж, поживем — увидим... — как-то странно взглянув на Овшора, задумчиво ответила Седеф...

Через четыре недели, устроив небольшое торжество, Гюльверд женила сына и увезла Седеф в Баку. А за два дня до брачной ночи Седеф в ужасе убедилась, что никакой ошибки не было, она беременна...

* * *

Гюльверд была восьмым ребенком и единственной дочерью в богатой по тем временам крестьянской семье, и немудрено, что родители и братья баловали ее, одаривая вначале детскими, а потом и взрослыми подарками. Надо ли удивляться, что росла она себялюбивой, крайне эгоистичной, красивой особой. В праздники или в тех случаях, когда отец или братья покупали невесткам платья, браслеты или какие-либо другие подарки, капризная Гюльверд отнимала все, и лишь выбрав самое лучшее и красивое, возвращала остальное, при этом никто ей не перечил, лишь разводили руками, мол, молодая, вот выйдет замуж и образумится. Но Гюльверд не образумилась и после выхода замуж в довольно состоятельную бакинскую семью. Она продолжала командовать и здесь, показывая образцы таких прихотей и причуд, что муж, человек без-

вольный, склонный к выпивке и картежной игре, большей частью полупьяно улыбался, выражая восхищение ее проделками. Отчасти эти черты ее характера проявлялись еще и потому, что муж, пропивая и проигрывая в карты оставленное ему отцом состояние, редкую ночь возвращался домой трезвым и спал в своей постели. Если вначале Гюльверд не обращала на это внимания, то потом, обнаружив исчезновение с прикроватной тумбочки своего ожерелья — свадебного подарка отца, она ополчилась сперва на свекровь — пожилую и больную женщину, год назад потерявшую мужа, а потом и на мужа. Возмущение проступком мужа было настолько велико, что она схватила со стола тяжелую хрустальную пепельницу и, не задумываясь о последствиях, запустила ее в мужа. Попади она в цель, и без того бледный, болезненный муж почил бы навеки.

— Или ты перестанешь пить и играть, или больше домой не приходи! — приказала Гюльверд притихшему и испуганному мужу. — Мне такой муж не нужен... — впервые за всю свою жизнь заплакала она и, закрыв глаза руками, села в кресло.

— Ну как тебе не стыдно, сынок? — устало стыдила сына и свекровь, — когда же это кончится.., взгляни на себя, на кого ты стал похож, кожа да кости.., и с работы сегодня приходил твой начальник, грозился, если не выйдешь завтра, тебя уволят... Ты посмотри кругом, люди работают, живут, радуются, а ты.., позор на мою седую голову...

— Извини, мама, черт попутал.., — просил прощения муж. — И ты меня прости, Гюльверд...

— Мне твои извинения не нужны, — злобно заявила не знавшая подобных вещей Гюльверд. — Хоть и ношу я твоего ребенка, а все равно выгоню!..

Родился мальчик, которого в честь свекра назвали Овшором, но радость от рождения первенца была омрачена смертью свекрови. Не выдержало больное сердце матери, видевшей, как сын день ото дня катится по наклонной в болото пьянства и картежных игр. Правда, сорок дней траура муж не пил, никуда не ездил, но Гюльверд видела, что он и сам уже не ходок, бледный как смерть, он полулежал в кресле и был безразличен ко всем, кто приходил в его дом, чтобы выразить соболезнование. Видно было, что какая-то хворь издавна точила его изнутри, как червоточина в теле древесины.

Приглашенные ею врачи заявили, что болезнь ее мужа неизлечима, и жизнь его может оборваться в любой момент. Так оно и случилось, через месяц муж умер. И без того вспыльчивая и капризная Гюльверд под тяжестью обрушившихся на нее бед и несчастий, без разбору озлобилась на всех и на все, как черепаха в момент смертельной опасности, ушла в себя.

В первое время, чтобы обеспечить себе и сыну сносную жизнь, она продавала из дома драгоценности и другие вещи. Потом устроилась на работу в соседнюю с ними контору, где по два-три часа убирала помещение. Но помощи не просила у родителей, потому что была обижена на них, что отдали ее в эту, как она выражалась, «чахоточную» семью.

Научившись продавать, она поняла, что рано или поздно вещи в доме иссякнут и стала сама покупать, чтобы затем перепродать с выгодой. Так Гюльверд стала заниматься спекуляцией, которая затем пожизненно стала ее ремеслом.

Несмотря на то, что всем жилось нелегко, она все же обеспечила себе и сыну сносное существование. Овшор учился в школе хорошо, не отвлекая мать от ее промысла, ибо подобное занятие в те годы было чревато серьезными тревогами и осложнениями. Что было делать, другому она обучена не была. А потому Гюльверд из когда-то миловидной, даже красивой женщины, по своей зловредности и необщительности изменилась в худшую сторону. Мало того, она совершенно перестала следить за своей внешностью, постоянно надевая старящие ее платья и платки. Однако здоровье свое берегла, как и прежде, не отказывая себе ни в чем.

Шли годы. Овшор закончил школу и поступил в институт, где о нем отзывались как об одном из способных студентов, и после окончания направили на работу на крупный оборонный завод. Даже в самый трудный период войны его в армию не призвали, ибо руководство завода обеспечило ему бронь.

Гюльверд считала, что не она живет для сына, для того, чтобы всегда быть ему опорой и подмогой, а, наоборот, сын должен жить во имя нее для того, чтобы беспрекословно выполнять все ее желания и прихоти. Подобное понимание она сделала своим кредо, своей

прихотью, и иначе себе жизнь не мыслила. Оказалось, что ее эгоизм не исчез, а дал новые ростки.

По своему желанию она нашла сыну невесту из состоятельной семьи своего соплеменника и женила его, несмотря на то, что он до самой свадьбы ее и не видел. Правда, она оказалась очень милой и умной девушкой, но факт бескомпромиссного поведения матери он увидел и поразился. Однако, не стал ее обижать отказом, судьба снова дала Гюльверд возможность проявлять свой характер...

За два года до войны Овшора направили в Ташкент, на установку и налаживание производства нового оборонного завода. Уехали они всей семьей, ибо Гюльверд не хотела, чтобы сын забыл о матери, она желала оставаться в доме сына главной, командиром, чтобы, не дай Бог, сын и невестка не сделали какой-либо самостоятельный шаг. Вынести такое она не могла. Но судьбе было угодно все повернуть по-своему. Уже на четвертом месяце беременности жена Овшора, переходя дорогу, по неосмотрительности попала под грузовик и ушла из жизни.

Овшор ходил сам не свой. Чтобы забыть о случившемся, он сутками не уходил с завода, лишь урывками, на час, на два, засыпая прямо за столом своей конторки. Благодаря его титаническому труду, примеру для остальных, завод вошел в число действующих раньше срока и начал давать первую продукцию.

Зная, что нервы Овшора на пределе, что он за версту обходит место трагической гибели жены, директор завода, Абдулла Гафурович, вручая ему правительственный орден и премию, дружески обняв его за плечи, сказал:

— Не хотел тебя отпускать, друг мой, уж больно по душе ты мне пришелся, но вижу твое состояние и пришел к убеждению, что тебе надо хотя бы на время уехать отсюда...

Овшор, ничего не понимая, удивленно взглянул на директора.

— Тем более, что есть приказ о командировании тебя на полгода на новый оборонный завод в Баку, а там...

— Даже не знаю, что вам и сказать, Абдулла Гафурович, — не то огорченно, не то с пониманием, ответил Овшор. — Здесь все стало мне родным...

— Знаю, друг мой, знаю..,—и я не хотел, да и война идет на убыль, мог даже воспротивиться, но хочу тебе помочь, а вдобавок и месяц отпуска...

— Спасибо, Абдулла Гафурович!

— Вот и хорошо. В добрый путь, дорогой!

В тот же вечер, когда он сообщил матери об отпуске и шестимесячной командировке в Баку, Гюльверд пришла в восторг и немедленно, будто только этого и ждала, потребовала поехать в Дербент.

— Да о чем ты говоришь, мама? — удивился Овшор. — У нас в Баку дом заброшен, надо поехать привести в порядок, нам там жить...

— Ничего, это недолго и не главное. Главное, тебя женить, хватит ходить холостяком...

— Не до женитьбы мне сейчас, оставь меня в покое! — никогда прежде не перечивший матери, недовольно ответил Овшор.

— Никаких «покоев»! Тебе надо жениться, да и в доме помощница нужна, мне тоже нелегко, — говорила Гюльверд. — Кроме того, я знаю, что у моего двоюродного брата Бобоила в Дербенте есть красивая дочь, Седеф ее, кажется, зовут, муж погиб на фронте, молодая вдова, тебе как раз подойдет.

— Да я ее ни разу не видел! — возмутился Овшор.— Даже лошадь так не покупают...

— Не видел? Увидишь! Не беспокойся, твоя мать плохую невесту в дом не приведет, ты уже об этом знаешь. Так что никаких отказов не принимаю и давай собираться!..

Так на следующий день, отослав некоторые вещи и постельные принадлежности в Баку, они, наскоро собравшись, уехали в Дербент.

* * *

Седеф понравилась не только Овшору, она пришлась по душе и Гюльверд. Сноровистая, красивая, ладная, умная и легко вступающая в контакт, Седеф быстро нашла общий язык со свекровью, хотя с первых же дней пребывания в их доме в Баку она поняла, что свекровь не «конфетка», с характером куда сложнее, чем у прежней. Но свекровь не выбирают, да и не это тревожило Седеф все больше и больше, она в страхе замирала при мысли, что ее беременность откроется, и

тогда ее жизнь превратится в ад. Она несколько раз пыталась иносказательно намекнуть об этом Овшору, но каждый раз он, нежно целуя ее губы, говорил:

— Седеф, милая, я так счастлив с тобой, пусть тебя ничто не тревожит!

— А вдруг ребенок у меня родится преждевременно? — не выдержав, однажды ночью в постели спросила Седеф.

— Ну и что же? — не придал значения ее словам Овшор. — Причин для беспокойства нет, дорогая, сейчас даже семимесячных выхаживают. Спи и выбрось из головы все эти глупости...

Ни разу у Овшора вопросы Седеф не вызвали не только подозрения, но и недоумения. Подобная мысль была настолько невозможной, кощунственной, даже запретной, что не вязалась с образом чистой и прекрасной Седеф. Ибо с молоком матери внушается девочкам, а тем более девушкам, что лишиться девственности до замужества — величайший несмываемый грех и позор не только для самой девушки, но и для ее семьи. Во все времена считалось, что лучше девушке умереть, чем допустить близость с мужчиной до брачной ночи. Таковы были адаты и переступить их было то же самое, что противопоставить себя семье, роду, всему джамаату. В брачную ночь жених должен был передать своему шаферу окровавленный платок — доказательство девственности, честности невесты, чтобы тот, в свою очередь, передал его ждавшим родителям невесты и получил у них подарки за это. На свадьбах девушкам посвящался торжественный свадебный марш, но если потом, не дай Бог, открывалось, что она до замужества не сохранила девственность, то на следующий день всенародно, с позором ее сажали на осла и под «обратный марш» отправляли в отцовский дом.

Если же женщина рожала незаконнорожденного ребенка, «биж», то это было клеймо не только для матери, но и для самого ребенка. Вот почему в таких случаях считалось за благо, если подобная мать, схватив своего ребенка в охапку, убегала куда глаза глядят, подальше от людей, которым был известен ее грех.

Не меньшим позором было это и для мужчины, взявшего в жены женщину, носившую в себе чужого ребенка. Это было то же самое, что изгадить слово чести, мужское достоинство, свою папаху.

Окруженная любовью мужа, покоем и благополучием в семье, Седеф старалась забыть подлость и мерзкое поведение Бебейхуне, выбросить из головы тяжелые мысли, но они, как назойливые мухи, не уходили, давали о себе знать: то толчком ребенка в животе, то ненароком брошенным кем-то словом о подобных случаях. Радость и печаль, как две родные сестры, привязались и никогда не покидали ее.

Вместо шести месяцев командировка Овшора продлилась в Баку семь. Однако по истечении этого срока его снова потребовали в Ташкент.

Седеф очень не хотела, чтобы их сопровождала Гюльверд, она всячески старалась отговорить свекровь от этого путешествия на пароходе, однако та, видя день ото дня разбухающий живот невестки, никак не соглашалась оставить их одних и была непреклонна. А на просьбу сына, на самом деле, не беспокоить себя такой поездкой по морю, тем более в конце февраля, когда Каспий неспокоен, она еще больше возмутилась и категорически заявила:

— Нет, я еду и больше меня не отговаривайте!

Огромный пароход, шедший раз в неделю, был набит битком, тем не менее Овшору удалось купить билеты на две отдельные каюты: одну, чуть большую, для себя и Седеф, а другую — для Гюльверд. Вышли в море, когда оно было сравнительно спокойным и не предвещало никаких катаклизмов, однако к утру, когда до Красноводска оставалось около тридцати-сорока миль, неожиданно море разбушевалось так, что огромный корабль стало бросать словно бревно, то в одну, то в другую сторону, и не то, что стоять на палубе, даже в каютах пассажиры чувствовали себя, как упавший из рук резиновый мяч. Качка была такая, что многих буквально выворачивало наизнанку, лица пассажиров были схожи с только что вернувшимися с того света мертвецами. Лишь Гюльверд стоически переносила эту болтанку, ощущая лишь надоедливое неудобство. На ее вестибулярный аппарат шторм не действовал, она даже старалась заснуть, крепко держась за край кровати.

Но море не успокаивалось, оно, словно разъяренный раненый див, то с шумом поднимало ввысь огромные пенистые волны, то, рассерженно, перемешав их в клубок, уносило в бездну, ветер то выл и стонал, как

больной, то кричал от избытка сил. В такое время море никого не выбирает, ни с кем отдельно не считается, перед ним все равны, оно, как прожорливое чудовище, хватает и проглатывает все, что попадается на его пути.

Вступив в единоборство с огромным кораблем, море то поднимало его на вершину своих могучих волн, то вдруг, столкнув с высоты, опускало вниз. Корабль, конечно, не боялся очередной морской прихоти, он привык к ним, и теперь, правда, несколько замедленно, продолжал свой путь. А вот у пассажиров силы были на исходе и многие из них чуть не прощались с жизнью.

Что касается Седеф, то с ней было совсем плохо. Мало того, что постоянные тошноты и рвоты отняли у нее последние силы, доведя до изнеможения, она вдруг почувствовала боли в животе, а затем и в области поясницы. Вначале они отпускали ее на несколько минут, но потом стали повторяться все чаще и чаще. Старания вытерпеть и не кричать уже не давали результатов, она все больше понимала, что ей не вынести этих мук и просила Бога поскорее освободить ее от страданий, забрать ее жизнь, избавив, наконец, ее грешную душу от позора. Другого выхода она для себя не видела. Затем она вся покрылась потом, лицо от напряжения стало пунцовым, пошло пятнами, и тогда из последних сил она обратилась к мужу:

— Про..о..сти ме..ня, до..ро..гой, ес..ли смо..жешь...

Увидев состояние Седеф, Овшор подумал, что она сейчас умрет, и в первую минуту оцепенел от страха за ее жизнь. Потом, взяв ее похолодевшие руки в свои, дрожащим голосом спросил:

— Что с тобой, Седеф, милая?

Она повернула к нему потное усталое лицо и полным печали голосом произнесла:

— Я, ка..жет..ся, сей..час ро..жу, по..зо..ви вра..ча...

Корабельному врачу досталось больше всех, он рвался на помощь по первому зову, но когда к нему примчался Овшор и, чуть ли не заикаясь, стал звать его к роженице, он, схватив свой медицинский чемоданчик, помчался за ним в каюту.

Через полчаса каюту потряс крик новорожденного мальчика, и буквально через несколько минут море стало успокаиваться, словно именно маленький челове-

чек приказал этому чудовищу прекратить свои злые игры. Когда, двадцать минут спустя, пароход, дав протяжный гудок, известил, что он подходит к пристани Красноводска, а врач, подойдя к Овшору, сочувственно сказал, что он вызвал для матери и новорожденного машину скорой помощи, Овшор понял весь подтекст слов Седеф, их спрятанный ранее смысл, и ужас предстоящего разговора с матерью сковал его мозг и парализовал движения.

Однако, взяв себя в руки, хотя в душе его скребли кошки, Овшор подошел к машине скорой помощи, где с ребенком на руках находилась Седеф, и, не глядя на нее, тихо произнес:

— Не беспокойся, я сейчас пойду за матерью...

Гюльверд, удивленная, что все покидают корабль, а сын за ней все не идет, не выдержав, взяла свой сверток и тоже пошла к лестнице, однако в этот момент ее догнал Овшор и, взяв ее ношу, стал помогать ей спуститься на пристань.

— Ой, кругом столько нечистот, небось, нелегко было людям? — оглядываясь кругом, спросила Гюльверд.

— Да, мама, было трудно...

— Наверное, и Седеф было нелегко?..

Но ее вопрос остался без ответа, ибо они уже спускались по трапу и Гюльверд издалека увидела Седеф со свертком в руках и машину скорой помощи. Сердце женщины тревожно забилось, и уже будучи на земле, она сперва посмотрела на сына, потом на врача, который уговаривал Седеф лечь на носилки и, не дождавшись ответа на свой немой вопрос, спросила:

— Чей это ребенок?

— Что вы спросили? — по-азербайджански ответил врач.

— Чей это ребенок? — в свою очередь, тоже по-азербайджански, спросила Гюльверд.

— Как чей? — сперва удивленно, но потом, показав на Седеф, улыбаясь, ответил врач: — Вот этой женщины, прекрасный здоровый ребенок, родился почти вовремя, восемь с половиной месяцев,..

— Как восемь с половиной месяцев? — не поняла Гюльверд. — Вы не ошибаетесь, доктор?

— Нет, не ошибаюсь, — твердо ответил врач.

— Овшор, сынок, ведь ты женился семь месяцев

тому назад? — вопросительно взглянула Гюльверд на сына. — Как это понять, куда деться нам от этого позора? — все больше горячилась она.

Опустив голову, Овшор вначале молчал, а потом тихо сказал матери:

— Мама, прошу тебя, не кричи, потом разберемся...

— Чт..о..о? Никаких потом! — войдя в раж, стала кричать Гюльверд, — Как же ты, бесстыжая тварь, могла такое с нами сотворить? Как ты, потаскуха, скрывая от нас своего «бижа», вышла замуж за моего чистого, как хрусталь, сына, позволила испачкать его брачное ложе? Чтобы сдохла ты со своим «бижем»! Чтобы Бог покарал тебя, бессовестная!

Седеф, одной рукой закрыв лицо, другой поддерживая ребенка, стала плакать. «Вот оно, возмездие! — подумала она, сотрясаясь всем телом. — Хорошо, хоть не дома...»

Увидев плачущую роженицу, врач быстро встал между Гюльверд и Седеф и возмущенно произнес:

— Как вам не стыдно, женщина? Нельзя на роженицу кричать!

Однако Гюльверд уже было не остановить, она снова бросилась к Седеф и, простирая к ней руки, будто хотела ее задушить, стала кричать.

— Где же ты нагуляла своего ублюдка, шлюха ты бесстыдная? Я и не догадывалась, что ты такая сука подзаборная! Правильно, ты соответствуешь своему имени: Седеф — значит пуговица, сегодня на одном костюме, завтра на другом.

Овшор бросился успокаивать мать, зная, что после такого нервного потрясения у нее может возникнуть сердечный приступ:

— Мама, прошу тебя, перестань, успокойся.., не позорь нас...

— Что..о? — снова возмутилась Гюльверд. — Позор — это не мое возмущение, сынок, позор — это когда в твоей постели оказывается потаскуха, позор — это «бижа» везти к себе домой, чего она никогда не дождется, чтобы она сдохла вместе со своим незаконнорожденным ублюдком!

Однако, несмотря на все проклятия этой сумасшедшей женщины, врач посадил Седеф в машину скорой помощи и отправил ее в больницу. Гюльверд же, малость успокоившись, приказала сыну:

— Пойдем, сынок. Нам не нужна ни эта шлюха, ни ее ублюдок. Чтоб она сдохла за наши беды, за несчастья, что она нам принесла! Чтоб покарал ее Бог!

Видя, что машина скорой помощи неумолимо увозит Седеф в неизвестном ему направлении, и он может навсегда потерять ее, чего Овшору очень не хотелось, он остановил мать у пристани и обратился к ней с просьбой:

— Подожди здесь, мама, я скоро вернусь...

— Куда ты собрался? — подняв голову, требовательно спросила она его. — Если за этой шлюхой, то можешь больше не возвращаться! Я сейчас же вернусь в Баку, умру там, но до конца жизни тебя не прощу. А теперь иди, если хочешь...

— Мама, нельзя же так! — в сердцах взмолился Овшор. — Она же живой человек, без денег, с грудным ребенком... В конце концов, она наша родственница!

— Если ты хочешь знать, она — позор всему нашему роду! И чем быстрее она покинет эту землю со своим «бижем», тем лучше нам и ее родителям. Не твое сердце должно болеть за эту сучку, а ее... да у этой мрази, поди, и сердца нет. Все эти месяцы она нас обманывала, а потому нет ей прощения! Да и ты не распускай нюни, будь мужчиной!..

Овшор, потеряв из виду отъехавшую машину скорой помощи, в задумчивости опустил голову, затем, взяв ручную кладь, направился к назначенному месту, куда за ним должна была приехать из Ташкента машина. Однако, несмотря ни на что, в душе он твердо решил: через 2—3 дня вернуться и тайком от матери привезти Седеф в Ташкент.

Машина, посланная директором завода Абдуллой Гафуровичем, оказалась на месте. Погрузив свои вещи и наскоро позавтракав у родника, они поехали домой, чтобы навсегда их пути, их жизни разошлись с несчастной, оставленной ими на произвол судьбы, Седеф...

ГЛАВА 5

Наперекор всем чертям, вопреки желанию Смерти — этой злобной и коварной старухи, любой ценой подвести его под свою косу, все же этого не случилось, будто какая-то неведомая сила, защищая его, посто-

янно преграждала ей путь, в течение пяти лет, как верный помощник, шла рядом и сохранила его до самого конца войны. Какие только хитрости ни изобретала Смерть, оставляя на его теле следы своих стараний: дважды он был тяжело ранен на полях сражений, но добиться своего не сумела, все же Мунош победил. И вот он, демобилизованный после войны, в новой офицерской форме, в погонах капитана, увешанный орденами и медалями, в жаркий летний день сошел со ступенек вагона на вокзале старого города, откуда чуть больше пяти лет назад был вынужден безоглядно бежать.

Весть о повторном замужестве Седеф ввергла его в глубокую задумчивость, заставила сердце так замереть, как это не случалось с ним даже в минуты смертельной опасности. Был такой момент, когда ему показалось, что не стоило даже ехать обратно домой, что исчез смысл всех его устремлений, как это случается с человеком, который мечтал приехать и пожить в своем родном доме, а оказался у его развалин.

Впрочем, в какой-то степени для него это не было неожиданностью, он предполагал, что встреча с ней может и не состояться, ибо Седеф на его письмо с фронта тогда не ответила. Поэтому надежда его малость поутихла, а раненая любовь, будто орлица в поисках гнезда, нашла его, и в ожидании ненадолго спряталась. Но потом, когда война окончилась и настала пора демобилизации, затихшая на время орлица, расправив крылья, вновь вылетела из гнезда — сердце Муноша снова напомнило о раненой любви, надежда его возросла, и он сделал все, чтобы, нигде долго не задерживаясь, быстрее поехать на родину. Однако перед самым отъездом полученная от сестры весточка о Седеф ввергла его в уныние. Заметив состояние Муноша, командир роты, Маслов, был крайне удивлен:

— Товарищ Худодатов, помнится, совсем недавно вы очень хотели побыстрее уехать домой, а теперь, когда приказ о демобилизации получен, вы будто и не рады ему?..

Мунош в задумчивости опустил голову и, слегка махнув рукой, ответил:

— Эх... долгая история...

— Как?. — еще больше удивился командир. — Четыре года мы с тобой, как два брата, шли на смерть,

делили хлеб и воду, не знали друг от друга тайн, а теперь... я что-то не пойму. Наша полковая докторша, чистая как роса на рассвете, красивая, словно ваша горная серна, Валентина Семеновна в тебе души не чает, вижу, уже второй год, как к нам прибыла, любит тебя, никого, кроме тебя, вокруг не замечает и не подпускает, а ты, как глухой и слепой, ни ее слов не слышишь, ни полных любви ее глаз не видишь. Что с тобой? Я бы считал для себя великим счастьем, если бы меня полюбила такая красивая и умная девушка, да что я, любой из наших офицеров и солдат хоть сегодня готов на ней жениться, а ты... Я действительно удивлен и ничего не пойму. Если у тебя на родине есть невеста и ты верен ей, то где ее письма за все эти годы, разве может так поступить девушка, которая ждет любимого? Куда девалась ее память? Что это за любовь такая?

Услышав недоуменные слова друга, Мунош поднял голову и, согласно кивнув ему, ответил:

— Ты прав, друг мой, может быть, лучше нашей Валюши и нет другой на свете, мне она тоже нравится, не слепой, вижу, иногда взглянув в ее глаза, голова кружится, но любовь.., свое сердце я побороть не могу, понимаешь, не могу ему приказать, наступить на глотку...

И Мунош рассказал своему командиру и другу недолгую историю любви и позора, веры и обмана, чистоты и безнравственности, историю девушки, которую, как выяснилось теперь, он — греховник любит так, что не может представить жизни без нее.

— Н-да!.. — выслушав его, задумчиво ответил Маслов. — Интересный ты человек! Девушка, о которой ты только что рассказал, уже второй раз замуж вышла, однако ты... Ну, да ладно, дело твое... Я о другом... две недели назад ко мне приходила Валентина Семеновна, чтобы я поговорил с тобой, но, видно.., — Маслов залез в нагрудный карман гимнастерки и протянул ему конверт, — на, это письмо она передала тебе... Я тебе друг и потому не могу умолчать о том, что та девушка, Седеф, о которой ты говоришь, если бы она тебя действительно любила, за всю войну хотя бы одно письмо написала... Подумай, не торопись, такие, как Валя, нечасто встречаются, друг мой. Смотри, не переступи через свою судьбу...

Все это вспомнилось Муношу в пути, когда он добирался через Москву к себе домой, в Дербент, с твердым намерением побывать сперва три-четыре дня у сестер, а потом поехать в Баку, чтобы поступить в консерваторию — исполнить, наконец, заветную мечту.

Сергея Ивановича Кочергина Мунош не застал, соседи рассказали, что он с нетерпением ждал его и мечтал вместе с ним поехать к нему на родину, на его свадьбу, но... судьба распорядилась иначе, не пролежав ни одного дня, старик умер неожиданно в своем любимом кресле во дворе старого деревянного дома на Красногвардейской. Случилось это 9 Мая, в День Победы, от переполнившей его больное сердце радости... Вместе с дочерью старика, приехавшей в Москву по случаю похорон отца, они поехали на Востриковское кладбище, побывали на его могиле, отдав дань уважения человеку редкой душевной красоты. Плакал Мунош на могиле своего большого друга, плакал солдат, не уронивший слезу даже в самые страшные и горькие минуты своей фронтовой судьбы, плакал мужчина, не стесняясь своих слез... «Спасибо тебе, дорогой, за все! Спи спокойно...» — тихо, сквозь слезы, произносил он святые слова.

Много сил отдал Мунош в дни своего пребывания в Дербенте, чтобы напасть на след Седеф, собрать о ней хотя бы крупинки сведений, но все его старания результатов не дали. Одни говорили что Седеф, уехав в Ташкент, туда вообще не доехала, что замужество ее якобы расстроилось, и она уехала неизвестно куда; другие же утверждали, что Седеф с мужем живет в Баку, и больше никуда поехать не могла. Умом Мунош, конечно, понимал, что Седеф вышла замуж и навсегда выставила заслон его надеждам, но сердце с этим не соглашалось, оно не хотело примириться с этим фактом, он думал, что достаточно будет ему увидеть Седеф — и все изменится, они не станут больше разлучаться, будут вместе всегда... Но найти Седеф ему так и не удалось. Вместо этого в город пришла печальная весть, что в самые последние дни войны, на подступах к Берлину, геройски погиб Симон, брат Седеф...

Сестры Муноша в эти дни без устали просили, умоляли его не уезжать из родного города, остаться хотя бы на некоторое время, жениться, а потом, если ему

очень захочется уехать в Баку на учебу, поехать туда вместе с женой. Но Мунош об этом и слышать не хотел, он был похож на орла, оказавшегося вдруг у своего разоренного гнезда и не желающего больше оставаться у этих развалин, ибо не выдерживало его сердце, ему было тесно в груди, оно хотело вырваться и улететь на свободу. Вот почему через неделю Мунош уехал в Баку.

В первый год ему пришлось испытать немало лиха: днем работать, а вечером учиться в школе, ибо в цепи его школьного образования не хватало последнего звена. Была еще одна проблема — денег, которые он получал по месту работы, хватало лишь на еду и квартплату, вот почему он еще целый год продолжал носить армейское обмундирование. Однако, вопреки всему этому, Мунош не хныкал, на трудности жизни не жаловался, ибо это был уже не тот щеголь-музыкант, который брал от жизни все легкодоступное, не задумываясь об обратной стороне, а человек, который прошел суровую школу войны, изведал немало бед, познал высокую цену жизни. Но при всем этом Мунош был рад тому, что с ним происходило: счастливым успехам и горьким неудачам, ибо последние, отбирая силы, все же наполняли его оптимизмом и придавали храбрости для новых преодолений.

Даже не зная музыкальных способностей Муноша, руководство объединения нефтяников сразу же назначило его художественным руководителем Дворца культуры, приняв во внимание лишь его заявление, что он музыкант и только что демобилизованный офицер. Но когда в течение последующих двух лет его исполнительское мастерство на таре приобрело широкую известность, а организаторские способности стали очевидны, ему, как коммунисту, предложили уже должность директора Дворца. За это время Мунош окончил школу и первый курс консерватории, а руководство объединения нефтяников, в знак признания его таланта и деловых качеств, выделило ему на улице имени Д. Джабарлы, недалеко от республиканского драматического театра, небольшую двухкомнатную квартиру.

Шло время, своим чередом проходили занятия в консерватории, а работа во Дворце увлекала и не оставляла свободного временного пространства. Но даже при всей своей занятости он постоянно помнил о

Седеф и не прекращал ее поисков. Мысли о ней постоянно преследовали его, он с нетерпением ждал каких-либо сообщений по своим запросам, мечтал, чтобы они обрадовали его скорбящее сердце, но когда через год получил известие от сестры, что Овшор и Гюльверд по неизвестным причинам, оставив Седеф на произвол судьбы в Красноводске, уехали без нее в Ташкент, это его потрясло! Тогда он бросил все силы на поиски Седеф, обращался в различные инстанции с письмами, давал телеграммы в адресные столы разных городов, но ниоткуда нужного ответа не получал. «Нет», «не проживает», «не известно» — вот и все, что сообщали эти организации об исчезновении Седеф. Ничего удивительного, ибо военное лихолетье и послевоенная неразбериха напоминали о себе везде. Вот почему найти человека в такое время было нелегко, ибо в те годы по всей великой стране, потеряв своих родных, многие упорно и долго продолжали их искать, постепенно утрачивая надежду.

Мунош не раз и не два писал своим сестрам в Дербент, чтобы они любой ценой узнали от Бобоила-жестянщика или его жены, Либо, место нахождения Седеф, о ее судьбе и сообщили ему обо всем этом. Старшая сестра, Ханум, немедленно ответила, что после смерти сына Симона и исчезновения Седеф у Бобоила-жестянщика, а тем более у его немногословной жены, узнать что-либо практически невозможно, ибо они заперлись в своем доме и с людьми почти не общаются. Но от одного из их родственников она, мол, краем уха слышала, что Седеф год назад умерла. Правда при этом сестра обращала внимание на то, что этому известию никто не верит, ибо в таких случаях в доме родителей умершей в дни скорби носили бы траур, собирался бы народ и без оплакивания не обошлось.

Однако, как бы там ни было, это известие ввергло Муноша в большую печаль и невольно вызвало воспоминание о событиях довоенной давности. И от них он долго не приходил в себя, страдал, как человек, перенесший тяжелую болезнь. Но все равно, вопреки даже таким известиям, он от своей цели не отказался, упорно и без устали продолжал искать Седеф.

Хотя Муношу и исполнилось уже тридцать два, хотя и испытал он горе и муки самой страшной из войн, не раз и не два смотрел прямо в лицо смерти, и к его чер-

ной курчавой шевелюре у висков и выше лба прикоснулись «белокрылые птицы», он все же оставался весьма привлекательным молодым человеком. Особенно неравнодушна была к нему его сокурсница, очаровательная девушка, которая старалась как можно больше быть рядом с ним, не скрывала своих чувств и желания стать спутницей его жизни. Однако Мунош, с постоянством сказочного Рустама, продолжал искать свою возлюбленную, веря, что в самом скором времени он ее все же найдет. И эта вера еще несколько лет не давала ему возможности ни забыть Седеф, ни соединить свою жизнь с другой...

Консерваторию он закончил блестяще и в день, когда выпускникам вручали дипломы, председатель комиссии по распределению, выдающийся композитор Азербайджана, предложил ему место первого тариста в государственном ансамбле народных инструментов республики. Подобной чести выпускники консерватории удостаивались нечасто. Вот почему и Мунош, и его очаровательная сокурсница, счастливая оттого, что теперь Мунош из Баку не уедет, не терявшая надежды, что когда-нибудь сердце ее друга смягчится и он направит свой взор в ее сторону, были рады этому предложению, ибо оно давало Муношу возможность выйти на широкую дорогу большого музыкального искусства. А через два года, увидев на обложке журнала «Огонек» портрет Муноша, жители древнего Дербента не скрывали восхищения своим талантливым земляком.

Теперь Мунош ежедневно шел по улице им. Д. Джабарлы к широкому проспекту, по которому, издавая мелодичные трели, катились трамваи, проходил мимо растущих в два ряда стройных тополей, потом, повернув направо, переходил трамвайные пути, выходил на дорожку сквера, а затем шел мимо чайханы, бильярдных игротек прямо к зданию филармонии. И так каждый день...

* * *

Вернувшись с матерью в Ташкент, Овшор вдруг осознал, что он совершил чудовищную ошибку, что в горячке, не простив Седеф ее проступок, остался равнодушным к ее полным слез глазам, бледному, как мел, некогда милому лицу, к свертку с ребенком в ее ослабев-

ших руках. Не сумел он тогда проявить характер, традиции старины и адаты взяли верх, он снова, в который раз в жизни, как школьник, оказался под влиянием матери, ее проклятий, не встал на защиту Седеф. Он, словно чужой, эгоистично и бессердечно оставил ее на пристани без средств к существованию, чего не имел права делать даже по отношению к совершенно незнакомому человеку. А ведь это была Седеф! Если бы так поступил кто-то другой, думал он, на того обрушились бы все его проклятья, он бы того человека никогда не простил, а здесь, как последний слюнтяй, так поступил сам!.. Конечно, что бы ни случилось, он, как мужчина, обязан был привезти ее вначале домой, хотя бы в первое время помочь, успокоившись, разобраться во всем, и потом решить, что делать. Нет, не мать, а он сам это должен был сделать! Кроме всего прочего, Седеф ведь не чужая, родственница!.. Даже если был на ней великий грех, он не имел права, хотя бы ради дяди Бобоила и тети Либо, словно луковичную шелуху, выбросить ее — роженицу на улицу, навстречу жизненным невзгодам...

Овшор проклинал себя и постоянно ходил в раздумьях, наконец, не выдержав этих пыток, он через неделю дал в больницу г. Красноводска телеграмму с просьбой сообщить ему о судьбе Седеф. Одновременно все эти дни он, не уставая, твердил матери, что они поступили по-свински, не по-человечески, как изверги, что им необходимо эту ошибку исправить. Однако, заметив непреклонность матери, впервые в жизни Овшор решил по получении сведений о Седеф поехать и, вопреки желанию матери, привезти ее в Ташкент. Иначе, считал он, ему всю жизнь не будет покоя, никогда себе этого не простит!

Из больницы пришло сообщение, что Седеф с ребенком через несколько дней выписалась и выбыла в неизвестном направлении. Получив такой ответ, Овшор долго не мог прийти в себя, словно его разбил паралич, потом пуще прежнего обозлился на мать и на себя, еще раз проклиная свои мягкотелость и безразличие. Потом, поговорив с директором завода Абдуллой Гафуровичем, и, рассказав ему обо всем без утайки, получил разрешение и уехал на поиски Седеф.

Несколько дней он обходил в Красноводске почти все места, где могла находиться мать с новорожденным ребенком, расспрашивал больных и медицинский пер-

сонал больницы, делал заявки и получал ответы из паспортного стола, собеса и других учреждений, но напасть на след своей бывшей жены не сумел. Правда, старик, что жил недалеко от пристани, рассказал ему, что он видел молодую женщину с ребенком на руках, которая в сопровождении какой-то пожилой женщины неделю назад садилась на уходящий в Баку корабль, но кто были эти люди, он не знал.

Овшор дождался указанного корабля и решил отправиться на нем в Баку. Всю дорогу он настойчиво, не уставая, расспрашивал командира корабля об интересующей его особе, но никто ничего утешительного ему не рассказал, а корабельный врач, вспомнив тот случай на берегу, когда его мать кричала на роженицу, а он, потупив взгляд, молча созерцал эту сцену, презрительно взглянул на него и не стал дальше слушать. «Знаешь, — говорил он возмущенно, — ты, оказывается, не мужчина, а сопляк... Не желаю с тобой разговаривать!..»

Так, пристыженный людьми, а еще больше самим собой, Овшор оказался в Баку. Здесь, где он знал каждую улицу и закоулок, где у него было множество друзей, он развернул широкую поисковую кампанию, в которую вовлек даже видавших виды уличных менял и шулеров, все знающих старых торговцев «тысячами мелочей», беспризорных мальчишек и участковых милиционеров, но женщину с указанной фамилией так и не нашел.

Устав от напряженных поисков и поняв тщетность своих намерений, Овшор, отчаявшись, сидел в своей давно не убранной квартире и, как человек на перепутье, не знал, в какую сторону податься: то ли ни с чем вернуться в Ташкент и навсегда забыть о Седеф, то ли уехать в Дербент, где может быть, удастся напасть хотя бы на какой-то ее след. Склонный больше ко второму варианту, Овшор все же не решался на это, ибо его мучил стыд перед родителями и вернувшимися с фронта братьями Седеф за свой бессовестный поступок. Однако, после долгих раздумий, он все-таки решился ехать в Дербент, ибо надеялся найти Седеф, выпросить у нее прощение и увезти с собой в Ташкент. «Исправить ошибку, — часто вспоминал он слова своего друга Абдуллы Гафуровича, — почти то же самое, что вообще ее не совершить...»

Домой к родителям Седеф он все же не пошел, а, дождавшись Истохора, младшего ее брата, к концу дня возвращавшегося с работы, подошел к нему, извинился и долго, путано рассказывал о себе и Седеф, потом, не дожидаясь его ответной реакции, с мольбой в глазах спросил: не знает ли он, где Седеф и что с ней.

Нет, ни Истохору и никому из близких о судьбе Седеф ничего не было известно, кроме слухов о том, что она, брошенная мужем, чуть ли не наложила на себя руки. По словам брата, эта весть пришла к ним именно в те дни, когда семья оплакивала погибшего Симона, тогда, по существу, траур носили по брату и сестре вместе.

Несмотря на то, что история Седеф, рассказанная Овшором, поразила Истохора своей трагичностью и неправдоподобностью, ибо все это не вязалось с образом сестры, он все же уговорил Овшора пойти к ним домой и пересказать ее отцу, который день ото дня терзал себя мыслью, что во всем, что произошло с дочерью, в немалой степени виноват он сам, отчего старик медленно угасал, как свеча.

Ничего не утаил Овшор и от Бобоила — ни того, как на корабле родился ребенок, как возмущенная Гюльверд кричала на Седеф и оскорбляла ее, не скрыл и своего малодушия, а также того, что оставили ее на произвол судьбы на пристани. То бледнея, то багровея, обливаясь потом, как на исповеди, он рассказывал, как потом искал ее и корил себя за содеянное. Потом встал, извинился и ушел, оставив старика и плачущую Либо в глубокой печали.

Бобоил-жестянщик и так был уже не жилец — слишком много горя и страданий выпало на его долю, но после услышанной позорной истории дочери старик совсем согнулся, будто неведомая тяжесть придавила его к земле, оказалась для него непосильной. Старик вдруг охнул, словно в него выпустили очередь из автомата, и как вкопанный замер на месте. Все эти месяцы после второго замужества дочери они с женой надеялись на добрые вести от нее, радовались, что на этот раз ей, наконец, повезло, тревожились и сами себя успокаивали, что она за все это время ни разу не дала о себе знать, всего ожидали, но только не такого известия.

Правда, где-то подсознательно и Бобоил, и Либо не

скрывали тревоги, когда Седеф в какое-то время как-то преобразилась, похорошела, а потом замкнулась в себе и почернела лицом, у них не раз возникали подозрения в отношении Бебейхуне, ибо этот проходимец был хорошо известен своей похотливостью и лицемерием. Старик видел, что с дочерью что-то неладно, но не решался спросить и ненароком обидеть ее. Теперь же понимал, что не напрасно тревожился, что не смог уберечь ни дочь, ни самого себя от позора унижения.

Если через некоторое время слух о Седеф постепенно перестал быть для жителей города темой для сплетен и персудов, стал затихать и забываться, то Либо и Бобоил забыть о нем не могли. Что же касается Либо, то создавалось впечатление, что печальная весть о дочери была для нее вовсе не в новинку, будто она давно догадывалась, что подобное вполне могло произойти, и потому она сперва испуганно замерла, как слепая, уткнулась в одну точку, будто весть эта лишила ее всякой способности говорить и чувствовать, потом же, придя в себя, как сумасшедшая, кинулась собирать в дорогу свои и мужа вещи. Она не верила, что ее любимая дочь умерла, ее материнское сердце не могло смириться с этой мыслью, и потому, решила она, необходимо срочно броситься на ее поиски и, пока не поздно, спасти ее. Что бы она ни натворила, какая бы молва ни преследовала ее, на чужой роток не накинешь платок: она, мать, обязана найти дочь и привезти домой. О том, что жена обладает такой уверенностью и энергией, что долг матери для нее выше всяческих адатов, не догадывался даже Бобоил-жестянщик.

Сперва Баку, затем Красноводск и Ташкент, жаркие дороги через пустыню, мили соляных копий Кара-Богаз-Гола, беседы в кишлаках и аулах Даглинских районов Азербайджана — через все это прошли два вообще-то старых и больных человека. Всегда и в любых случаях жизни опрятная Либо теперь забыла о своей внешности, тихо плача и постанывая, продолжала искать, не давая покоя ни себе, ни мужу. Но тщетно...

Когда уже глаза Либо стали слепнуть от слез по пропавшей дочери, когда вся мужская половина семьи потеряла всякую надежду найти Седеф, когда прошло уже почти два года со дня отъезда ее с Овшором, нежданно-негаданно, как солнышко в пасмурный день, от Седеф пришло письмо. На конверте не было ни обрат-

ного адреса, ни почтового штемпеля, и кто бросил его в старый почтовый ящик, никто не видел и не знал.

«Дорогие отец, мама и братья! Уверена, что вы считаете меня уже мертвой: в прямом и переносном смысле. Нет, я не умерла, жива-здорова, обо мне не беспокойтесь. Лишь сердце мое обливается кровью и не заживает рана по Симону! Дорогой и любимый отец, знаю, что мои злоключения стали для тебя позором и унижением, будь я дома, ты мог бы и убить меня. Да, я это заслужила, ибо оказалась доверчивой и обманутой... Прости и ты меня, мама, я и тебя опозорила!

После долгих мытарств и унижений Бог ниспослал мне прекрасную женщину, которая в самый трудный период моей жизни оказалась рядом и протянула руку помощи, заменила мне и мать, и сестру, и няньку для моего малыша. Теперь я днем работаю, а вечером учусь. И хотя мне сегодня очень трудно, все же я своего добьюсь, смою с себя черное пятно прошлого. Поверьте мне, я это сделаю!

Прошу вас, обо мне не беспокойтесь и не ищите. Каждый месяц я буду посылать вам письмо. Так надо, я должна сама найти свою дорогу, все осознать, устроить свою жизнь, вырастить сына и окончить институт. И когда я всего этого добьюсь, я приеду к вам.

Еще раз прошу вас меня простить. Любящая вас Седеф».

В ту ночь Либо, положив перед собой письмо дочери, долго плакала, чтобы навсегда выплакать все оставшиеся слезы, плакала за горемычную и несчастную долю дочери, за безжалостную ее судьбу, за трудную участь горской женщины, у которой почти никогда не было ни счастья, ни везения: оказавшись у родника — не могла утолить жажду, а у костра — всегда сгорала первой. За мученицу-дочь, мечтавшую хотя о единственном счастливом дне, плакала Либо в ту ночь...

Если бы на пути человека, шагающего по трудным, ухабистым дорогам жизни, вдруг не встретился друг, если бы израненному и голодному кто-то не протянул добрую руку помощи, жизнь показалась бы человеку сплошным адом, и он проклял бы ее навсегда. Бог свершает все это руками своих ангелов — добрых, отзывчивых, неравнодушных людей. И слава Богу, что таких людей на земле немало, они — цветы земли, зер-

но колоса, плод дерева, они — добро и радость, они — памятники народа!

Именно таким ангелом-хранителем оказалась для Седеф пожилая женщина, которая, увидев ее в тот день, когда она с трудом поднималась с ребенком на руках по трапу корабля, бросилась к ней, поддержала и помогла. Можно не сомневаться, дорогой читатель, не будь там этой женщины, была бы другая или другой, рядом оказался бы другой ангел в человечьем обличье, ибо они всегда ищут и находят тех, кто в них нуждается, кому ноша жизни тяжела и непереносима.

Женщина не могла пройти мимо глубоко запавших, усталых глаз Седеф, ее бледных, помертвевших щек, ибо она сама когда-то прошла через это, ей знакомо было такое состояние и потому, не сказав Седеф ни слова, она взяла у нее ребенка, и поддерживая другой рукой, помогла подняться по трапу на корабль. Потом повела с собой в каюту, усадила и сама села рядом, уложив ребенка между матерью и собой. Ее речь была удивительно заботливой и милосердной, внимание и забота к ребенку — сердечной и родственной, будто женщина все это делала не для совершенно незнакомого человека, а для родной дочери. От такого внимания расслабилось даже окаменевшее сердце Седеф. Оказавшись в компании этой доброй, сердечной женщины, которая назвалась красивым именем Гюльбоор, Седеф расчувствовалась и будто родной матери рассказала ей о своей жизни, раскрыла ей свое сердце и призналась, что идти ей некуда, что она на перепутье и не знает, что делать дальше...

Гюльбоор ласково погладила ее по голове и успокоила:

— Ни о чем не думай и не переживай, доченька, все в руках Бога. Я — одинокая женщина, есть небольшая квартирка в Баку, так что заживем прекрасно...

— Ребенок нарушит ваш покой, он что-то плачет много, — смущенно отвечала Седеф.

— Нет, дорогая, никакого беспокойства не будет,— не соглашалась с ней Гюльбоор. — Наоборот, вы украсите мою жизнь... Я теперь, доченька, одна, сын погиб на войне, — Гюльбоор кашлянула в кулак и с трудом проглотила подступающий к горлу комок.

— Даже не знаю.., — опустив голову, задумчиво

говорила Седеф, — мне, право, неудобно, вы меня не знаете...

— Все люди когда-то друг друга не знали, — улыбаясь, отвечала Гюльбоор, — зато потом становятся очень близкими. Уверена, и у нас так будет, ты мне понравилась сразу, доверься мне, доченька...

— Спасибо вам..,—Седеф с благодарностью взглянула на эту чудесную, Богом посланную ей женщину. Меня, наверное, будут искать, но я... очень бы не хотела, чтобы меня нашли, хочу сама, своими руками построить свою жизнь, но... боюсь... Вы бы могли помочь мне поменять фамилию? — неожиданно спросила она.

— Конечно, могу, — уверенно ответила Гюльбоор. — Я очень дружна с паспортисткой нашего района и попрошу ее, если хочешь, записать тебя на мою фамилию, Садыкову?

— Ой, как было бы здорово! — вырвалось у Седеф восторженно.

— Вот и хорошо, доченька, приедем и решим...

И уже на подступах к Баку Гюльбоор, в свою очередь, доверчиво рассказала ей о своей жизни, о том, как в возрасте 32 лет с четырехлетним сыном осталась без мужа, умершего от тяжелой болезни, как она, отправив на фронт двадцатисемилетнего сына, год назад получила известие о его гибели и как после этого, обессиленная от горя и слез, три дня не ела и не пила и могла бы тоже умереть, если бы не девочка-соседка, случайно решившая ее проведать и поднявшая тревогу на весь квартал о ее состоянии...

Как выяснилось потом, у Гюльбоор оказалась весьма неплохая квартирка с двориком: одна большая комната, длинный, в двадцать квадратов коридор, отдельная кухонька и совмещенная с санузлом душевая. Располагалось все это на Даглинской улице, у мечети «Новый мир», устремившей в небо два своих минарета. Каждое утро и вечер мулла во весь голос провозглашал молитву, призывая верующих совершить намаз и очистить душу, дважды в день красивый голос его слышался на этой старой улице славного Баку. Это была улица выходцев с гор — из Хизи, Шемахи, Кубы, много десятилетий назад прибывших в столицу их родины. Здесь, на этой улице, где во дворах еще сохранились тандыри, пышногрудые женщины выпекали для продажи чуре-

ки из сары-бугда или аг-бугда, здесь черноволосые и черноглазые мальчуганы на разные голоса предлагали зажаренные на огне каштаны, у этих дворов, раскинув широкие кроны, пышно росли тутовые деревья — живые свидетели прошлого, под которыми в жаркие летние дни жители-даглинцы, покинув душные квартиры, пили чай из армуды-стаканов и оживленно вели беседы. Здесь, на этой улице и жила теперь Седеф со своим сыном. Здесь и поняла она, что должна продолжить учебу, независимо от работы и домашних дел, ибо другого не дано, решила она, другой судьбы у нее нет. Присмотреть за ребенком, приготовить еду в ее отсутствие, безоговорочно взялась Гюльбоор, став для Седеф верным помощником и подмогой, она ни в чем не отказывала так полюбившейся ей Седеф. Гюльбоор нравилось в ней все: аккуратность и заботливость, чистоплотность и ум, и потому Седеф стала ей больше, чем дочь. Кроме того, увидев и оценив, что, несмотря на свою редкую красоту и молодость, Седеф совершенно не склонна к разного вида гуляньям, к мужским компаниям, Гюльбоор еще больше полюбила ее, ибо такое поведение было созвучно ее мировоззрению. С не меньшей любовью относилась к Гюльбоор и Седеф, уже через несколько месяцев она стала называть ее «мамой».

Ознакомившись с трудовой книжкой Седеф, директор ковровой фабрики предложил ей должность учетчицы, а когда узнал, что у нее грудной ребенок, проявил понимание и разрешил ей через 4—5 часов работы уходить домой. Так, днем работая, а вечером обучаясь, Седеф через три года успешно закончила школу. На радость ей и бабушке Гюльбоор подрастал и сын.

Обратив внимание на знания и способности Седеф, в скором времени на фабрике ее перевели на более высокую должность бухгалтера, а это, естественно, сулило большую зарплату и материальное улучшение их жизни.

С каждым днем здоровье Седеф улучшалось, ибо ее радовали не только работа и успешная учеба, но и мальчик, который становился светом ее очей. Все дальше и дальше отходили горести и невзгоды, мрачные думы и печали. Теперь, как и в прежние годы, Седеф стала такой красавицей, что от нее было невозможно отвести взгляда — природа взяла свое. С ней случалось такое, когда мужчины, увидев ее, забыв о своей

дороге, продолжали идти за ней, однако Седеф или обидным словом, или неприязненным взглядом так отпугивала их, что на следующий день они старались не попадаться ей на глаза. Но как бы там ни было, человек не может пройти мимо подлинной красоты, мимо яркого весеннего цветка. Таким цветком была и Седеф.

Пошел уже второй месяц, как Седеф сообщила родителям о своем местонахождении, и они не преминули этим воспользоваться, сразу же приехали к ним в гости. Радости отца и матери не было границ. Внук стал их любимцем, в первый же раз они привезли ему, дочери и Гюльбоор массу подарков и было видно, что если бы квартира оказалась чуть побольше, они бы месяцами не покидали их. Особыми подарками — шерстяной шалью и платьем-гобо одарили Бобоил и Либо заменившую их дочери всех родных Гюльбоор, она стала родителям Седеф самым близким и дорогим человеком. И хотя оставаться долго они не могли, однако, радуясь ею и внуком, родители стали навещать дочь почти каждый месяц, забыв обо всем на свете, будто не было ничего.

Сразу же после окончания школы Седеф поступила на экономический факультет Бакинского института народного хозяйства. И теперь каждый вечер, возвратившись с работы, она направлялась в институт. Шла мимо Драматического театра, площади имени Физули, фонтана, чайной, потом поворачивала направо, на улицу имени Басина. Пожилые мужчины и молодежь, расположившиеся в чайхане, не пряча похотливых взглядов, с восхищением провожали ее взглядами. Седеф же, не обращая на них внимания, вообще не замечая их, неторопливо шла по красивой улице Басина к железнодорожному вокзалу, мимо растущих в два ряда стройных тополей, мимо магазинчиков выходцев из Лохиджа, лудильщиков из Дагестана, золотых дел мастеров из Кубы, которые, словно муравьи, терпеливо и кропотливо, не уставая, занимались своим ремеслом. А рядом с ними, разместив на паласах «тысячу мелочей»: изделия из дерева и кости, наперстки и иголки, нитки разных сортов и расцветок, да еще многое другое, сидели коробейники, неторопливо перебирая пальцами бусинки четок.

В первые дни Седеф останавливалась возле коробейников и разных умельцев-мастеров, заинтересованно

разглядывала их товары. Но когда заметила на себе их сладострастные взгляды, старалась больше не задерживаться, проходила мимо. Шла через улицу направо, иногда одновременно с поворачивающим в ту же сторону трамваем, тогда она и трамвай направлялись к консерватории. На одной стороне улицы была консерватория, на другой — ее институт.

Этот путь ежедневно проделывал и Мунош, правда, в отличие от Седеф, он шел по левой стороне. Может быть, случалось и так, что на этой улице они оказывались в одно и то же время, может быть, шли вместе по противоположным сторонам, но ни видеть друг друга, ни встретиться им не удавалось, ибо улица была довольно широкой и с обеих сторон в ряд росли низкорослые и широколистные клены, кроме того, постоянно трезвоня, в обе стороны двигались трамваи. Иногда у Драмтеатра Седеф и Мунош, возможно, вместе садились в трамвай, чтобы добраться до своих учебных заведений, может быть, даже в один вагон, но ни разу в течение многих лет судьба не свела их вместе. Лишь однажды...

Но прежде чем рассказать об этом «однажды», я должен вернуться еще к одному герою нашего повествования, ибо без него оно стало бы незаконченным. Кроме того, этот герой приложил немало усилий, чтобы оказаться на этих страницах, проявил поистине героическое терпение, чтобы добиться поставленной цели. За несколько лет учебы в институте он стал для Седеф верным товарищем и другом, потом, построив в ее недоверчивом сердце гнездо, навсегда поселился в нем, чтобы принести этому сердцу любовь и счастье. Зовут этого человека Шори, что дословно означает «радость».

Ему понадобилось целых пять лет, чтобы смягчить окаменевшее сердце Седеф, ибо она настолько возненавидела мужчин, что за версту обходила их, никому из них не доверяла. Демобилизовавшись с фронта, Шори, так же, как Седеф, днем работал, а вечером учился в одном с ней институте, на одном и том же курсе. В первое время он останавливался в недоумении, когда Седеф не отвечала на его приветствия, будто не слышала их, удивлялся ее настороженности, когда она, словно пугливая газель, сразу же после занятий стремглав бежала домой. Вначале он думал, что она замужем и потому не решался к ней подойти, но потом, по-

думав, решил, что в таком случае муж хотя бы раз за год должен был ее встретить. В своей догадке он лишний раз убедился, когда однажды ночью, возвращаясь из института, увидел, как в трамвае к Седеф стал приставать подвыпивший мужчина, который бесстыдно хватал ее то за руки, то лез ее обнять. Шори ничего не оставалось, как схватить пьянчугу за шиворот и на остановке вытолкнуть из трамвая. Расстроенную Седеф он проводил до дома, но снова ничего вразумительного от нее не услышал, кроме благодарного: «Спасибо». Правда после этого случая она стала отвечать на его приветствия, но не больше этого. Но после того, как однажды сокурсница, которой все было известно невесть каким образом, рассказала ему о судьбе Седеф, Шори от нее уже не отходил. Неназойливо, не говоря лишних слов, не навязываясь, Шори становился ее тенью. Сокурсники так и прозвали его «тенью Седеф».

Седеф также все больше думала о Шори, была к нему неравнодушна. Хотя он и не был особенно красив, все же был человеком умным и аккуратным, людей болтливых не любил и сам многословием не отличался, степенный и несуетливый, легкомысленных друзей не заводил и сторонился таких. То, что Седеф ему нравилась, он не скрывал, и постоянно об этом не говорил, был терпелив и ждал того момента, когда его мечта станет мечтой Седеф, когда их чувства станут обоюдными. Потом, через несколько лет, они поняли, что должны соединить свои судьбы, но не решались признаться друг другу, обо всем говорили глаза и улыбки при встрече.

Наступил день, когда Седеф и Шори должны были вручать дипломы об окончании института. Они были рады и счастливы, что, наконец, мечты их сбылись, этого дня, этой радости они ждали долго, терпеливо, преодолевая все трудности жизни. Для радости была еще одна причина, они дали друг другу слово, что с этого дня и дальше они будут всегда вместе, поэтому этот день был для них особенно счастливым...

Вот уже полчаса, как Шори ждал Седеф в сквере у консерватории. Они договорились, что здесь встретятся, а потом вместе пойдут в институт на вручение дипломов. Нет, Седеф не опаздывала, просто у Шори не хватало терпения, он пришел немного раньше, ибо сердце оказалось нетерпеливее его самого. Вот-вот, с ми-

нуты на минуту должна была подойти и она, Седеф, а вместе с ней и ее сынишка, он дал матери слово, что отпросится в интернате и непременно придет ее поздравить. Эту встречу Седеф решила устроить и еще с одной целью, она хотела познакомить сына с Шори, а потом рассказать ему о предстоящем замужестве. Как видно, и мальчик был в пути...

* * *

В автобусе было немноголюдно. На переднем сидении справа, у входа, сидел мальчик лет восьми, а слева, через проход, тоже на переднем сидении, за спиной водителя, расположился мужчина лет 40—45 с седой прядью в черной шевелюре. Всю дорогу он молча не сводил глаз с сидевшего рядом мальчугана, будто где-то видел его раньше и теперь силился вспомнить об этом. Такое в жизни бывает часто, то ли это называется зовом крови, то ли родственным чутьем, но вот тянет одного к другому, и ничего с этим сделать нельзя. Именно такое чувство появилось у мужчины к этому мальчику, будто это был не сторонний, незнакомый человек, а близкое, родное существо. Заметив на себе пристальный, но довольно доброжелательный взгляд мужчины, мальчик вначале стыдливо опустил голову, но потом искоса, чуть приподняв подбородок, стал наблюдать за ним. Наконец мужчина, не вытерпев, напрямик спросил его:

— Ты откуда, сынок?

— Я..? — переспросил мальчик как-то растерянно. — Я из Баку...

— А отец, мать есть у тебя?

— Мать есть, — уже уверенно ответил мальчик. — Я сейчас еду к ней, чтобы ее поздравить, она сегодня окончила институт... У меня, кажется, и отец есть, но он нехороший человек...

— Почему? — спросил мужчина.

— Считай, его и нет, —как-то серьезно ответил мальчуган. — По-моему, отец должен жить с семьей. Я его никогда не видел, но если увижу... прокляну и не стану разговаривать за то, что бросил нас с матерью...

Мужчина был удивлен недетской рассудительностью и твердостью ребенка, ему показалось, что даже голос ему знаком.

— Как тебя зовут, сынок?

— Бебейхуне... — ответил мальчик.

— Как? — удивился мужчина и замер.

— Бебейхуне! — еще раз ответил мальчик и встал, чтобы выйти на очередной остановке. — До свидания, дядя, я уже приехал, вон моя мама... — и мальчик показал на стоявшую в ожидании автобуса женщину.

Мальчик, поддержанный матерью, вышел, а автобус поехал дальше.

«Бебейхуне...» — мысленно повторил мужчина, огорченно и низко опустив голову. Он, конечно, узнал Седеф, мать этого чудного мальчика, хотел остановить автобус, броситься к ней, обнять ее и своего сына, или же крикнуть и позвать их к себе, но слезы, катившиеся из его глаз, не давали возможности ни говорить, ни кричать, они душили его...

Да, дорогой читатель, вы узнали этого человека, это был небезызвестный нам Бебейхуне. Как он оказался в Баку? Дело в том, что он здесь бывал и раньше, когда в свое время был директором рыбного магазина в Дербенте и приезжал сюда не только за товаром, но и погулять, как говорится, покайфовать. Теперь же он приехал, по своим старым связям, в крупные торговые точки Баку, чтобы здесь кое-что купить, а в Дербенте подороже продать... Конечно, Бебейхуне никак не ожидал вдруг, неожиданно встретить здесь неизвестного ему, своего и Седеф сына, который с места в карьер в двух словах свершил над ним суд, вынес ему безжалостный приговор. Хотя мальчик и не плюнул ему в лицо, чего он, конечно, заслуживал, все же оценка такого отца, как он, была хуже плевка.

В настоящее время Бебейхуне своей жизнью был недоволен, хотя марку свою старался не уронить: за одеждой своей следил и ходил по-прежнему с высоко поднятой головой, правда, прежнего блеска теперь во взгляде не было, больше преобладали печальные нотки. Через два года после его оскорбительной выходки в отношении Седеф (о том, что она была от него беременна, он не знал) и скоропалительной женитьбы, которая лишь оттянула на время ожидавшее его возмездие, все же народные контролеры, которых он презирал, добились своего, вызвали из Махачкалы неподкупных ревизоров и завеса его тайных афер была приподнята. Суд приговорил Бебейхуне к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, которое он полностью спрятать

не успел. За это время жена ушла от него и успела выскочить замуж еще раз. Совершенно опустошенная квартира ждала своего хозяина, смеясь над ним всеми своими прорехами.

Испив чашу до конца, похудевший и упавший духом, он вернулся год назад, зная о проделках жены, ибо, еще будучи в лагере, послал ей согласие на развод. Вернулся с надеждой на то, что спрятанные драгоценности помогут ему встать на ноги. Однако здесь его ждала подлость людей, которым он оставил эти богатства, они присвоили значительную их часть, говоря, что он в свое время дал им столько, сколько они теперь ему возвращают. Совершив немало подлостей в прошлом, теперь Бебейхуне, встретив то же самое от других, начал возмущаться и кричать, что с ним поступили несправедливо. Он еще не раз убедится в жизни, что зло возвратимо.

Ни тогда, много лет назад, ни особенно теперь Бебейхуне не мог забыть Седеф, проведенных с ней счастливых, радостных дней, не мог простить себе подлости в отношении ее, кусал, как говорится, локоть за то, что навлек на милую, прекрасную девушку людские сплетни и грязь. Узнав ближе свою испорченную и избалованную вторую жену, Бебейхуне очень жалел, что проявил малодушие, стараясь избежать справедливой кары, упустил тогда Седеф, которая любила его так, что ждала бы его возвращения из тюрьмы, если бы он тогда на ней женился. За все эти, мягко сказать, свои ошибки он теперь проклинал себя и не мог простить.

Он не мог простить себя еще и за то, что остался у разбитого корыта. Прожито больше сорока лет, а позади ни семьи, ни особенного богатства, ради чего он взял на душу столько греха — ни детей, ни уважения людей. Даже единственный сын не считает его своим отцом, он навсегда умер для этого мальчика. Сидя в уходящем от прекрасной Седеф и сына автобусе, Бебейхуне страдал как никогда, он считал свою жизнь бесцельной, никчемной, не стоящей даже луковичной шелухи. Сейчас он еще раз убедился в своей бессердечности и безжалостности к Седеф, которая оказалась настолько мужественной и сильной, что, не сказав ему ни слова о своей беременности, не попросив помощи, родила сына, перенесла муки ада, одна в совершенно незнакомом городе вырастила его и теперь ходит с гордо поднятой головой. Он понял и убедился еще в том, что Седеф любила его

больше жизни, прошла через все, но ни имени его, ни дел его не опозорила, ребенка от него не бросила, и, кроме того, дала ему имя отца. А он, будучи хозяином целого состояния, оказался подонком, услыхав о мытарствах Седеф, не бросился ее искать, оставил своего сына без отца, наступил на собственное счастье и растоптал его.

«Теперь плачь, Бебейхуне! — говорил он самому себе, будто приказывал постороннему. — Плачь над бессмысленным своим существованием — ни семьи, ни детей, ни жены. Плачь, оплакивай себя, свое несчастье, невезение, ведь сам растоптал собственную судьбу, став убийцей своей любви! Если разобраться, тебе и этого мало!..»

* * *

Взяв сына за руку и радостно ему улыбаясь, Седеф рассказывала о предстоящей встрече с Шори, к которому они направлялись. Она уже издалека увидела своего суженого и весело помахала ему рукой. Седеф сегодня была очень счастлива и лицо ее светилось от переполнявшей ее радости, словно вылетевшая на свободу голубка, она устремилась вперед, к дорогому ей и любимому человеку. Через столько лет ее многострадальное сердце снова пело свою счастливую песню.

Однако неожиданно прямо перед ней оказался Мунош.

— Седеф?! Ты где это пропадала все это время? — не скрывая своей радости, сразу же спросил он. — Здравствуй, дорогая, я так долго тебя искал...

— Искал? Почему? То, что ты искал, ты давно потерял, Мунош! — смело взглянув ему прямо в глаза, ответила Седеф. — Нельзя искать того, от кого много лет назад отказался и, подло бросив, убежал, а ведь я тебя любила тогда, ты был моей первой любовью.., — тут, увидев на его груди планки многих военных орденов и медалей, Седеф не стала его обижать, а просто добавила: — А теперь прощай, меня с сыном ждут!

Она взяла сына за руку и хотела уйти, но Мунош, опомнившись, сказал:

— О том, что тогда со мной произошло, думаю, теперь не стоит рассказывать, что было, то прошло, но где ты была все эти годы?

— Здесь, в Баку, работала, училась, вот сейчас иду в институт получать диплом...

— В институт народного хозяйства? Удивительно, мы столько лет ходили рядом, я ведь окончил консерваторию...

— Поздравляю, будь счастлив... — сказала Седеф и решительно направилась к подходившему к ним Шори.

— Ты замужем? — неожиданно спросил Мунош.

Седеф ненадолго задумалась, потом, взяв за руку подошедшего Шори, смело ответила:

— Да, вот мой муж! Мы завтра всей семьей едем в Дербент, к своим родителям.

— Что ж, видно такова судьба. Желаю вам счастья! — и Мунош, попрощавшись, направился к терпеливо поджидавшей его миловидной девушке. Однако он еще раз обернулся назад и, махнув им рукой, улыбнулся. Через много лет он, наконец, нашел Седеф, чтобы навсегда потерять. Он вдруг понял это, и от осознания этой истины ему стало и грустно, и в то же время радостно. Грустно, потому что он все же потерял свою любовь, радостно же оттого, что та Седеф, которую он любил и берег в своем сердце, не умерла, она счастлива и продолжает по-прежнему украшать мир своей красотой!

Любовь! Бывает так, мой дорогой читатель, что она, словно раскрывшаяся весной первая роза, расцветает в двух жаждущих ее сердцах и, несмотря на трудности и невзгоды, помогает им преодолеть все, радует, делает их жизнь светлой и счастливой. Великое счастье, когда люди находят в мире свою пару и до конца идут вместе по только ими избранному пути! Но бывает и по-другому, когда любовь одного никак не находит взаимности, когда ей что-то или кто-то ставит подножку. Эта любовь, как незаживающая рана, до конца жизни ноет и терзает чье-то сердце. Может случиться, что такому человеку в чем-то другом и повезет в жизни, может, у него будут и радостные дни, но рана эта всегда и везде будет о себе напоминать...

А вот и они: Седеф, Шори и их сын, взявшись за руки, счастливые и радостные, идут к себе домой. Наконец судьба смилостивилась над Седеф. Доброй ей дороги!

ПРИТЧИ И РАССКАЗЫ

ТАЙНА

Рассказывают, что в далекие времена, когда цари иранские, встревоженные набегами гуннов и хазар, между горами Кавказскими и морем восточным строили великий город с дивными каменными стенами, жил неподалеку от тех мест коварный бек. Решил он в горном ущелье, у берега говорливой реки, что стремительно стекала с крутых вершин, возвести на земле отцов подобающий ему дворец.

Строили его три известных в округе каменных дел мастера, которые с рассветом приступали к работе и лишь на закате возвращались в свои села. Среди гор, где человека с рождения до самой смерти сопровождают скалы, выросло немало искусных мастеров по камню, чьи филигранные творения по сей день изумляют потомков.

Но стал замечать бек, что один из мастеров был каким-то особенным, не похожим на двух других: камни кладутся им в стену ровно и с одного раза, он не тороплив, но и не медлителен, от товарищей не отстает, смотрит и говорит с достоинством, без подобострастия, впечатляет основательностью, подобно дереву с могучими корнями или дворцу на крепком фундаменте. Каждый день после работы он неторопливо умывался у родника, без суеты приводил себя в порядок, и если его товарищи стремглав бежали домой, он шел спокойным шагом уверенного в себе человека. Удивлялся бек таким вельможным повадкам райята, его горделивой уверенности,

и в глубине души порой возникали въедливые сомнения. «Вельможа», — с насмешкой называл он его про себя, решив, что есть во всем этом какой-то секрет...

И с твердым намерением открыть эту тайну вознамерился бек побывать в домах своих мастеров.

Начал он с двух других, а «вельможу» решил посетить последним, помня, что истина познается в сравнении.

На следующий день, когда каменщики приступили к обеденной трапезе, бек, переодевшись в нарядный костюм, направил своего коня к дому одного из райятов. На стук в дверь вышла жена мастера, красивая женщина средних лет, одетая, необычно для будней, в нарядное голубое платье.

— Извините, ханум, — заметив неподдельный испуг в ее глазах, заговорил бек. — Я и мой конь устали с дороги, — он показал на привязанного к дереву иноходца. — Не разрешите ли вы отдохнуть у вас часок-другой?

— В доме нет хозяина, — стыдливо опустив голову, проговорила женщина.

— Я ненадолго, — с какой-то вкрадчивой мягкостью сказал бек и протянул золотой дерхем. — Вот, возьмите, пожалуйста, за постой...

Увидев золото, женщина оторопела: долг замужней — не пускать в дом чужого мужчину — в этот миг боролся в ней с природной жадностью, но желание иметь много денег и возможность запросто, без особых затрат, получить их одержали, наконец, верх, и она не устояла.

Проводив гостя в кунацкую, она принесла ему чай и направилась было уходить, когда у самой двери бек мягким окликом остановил ее:

— Извините, ханум, вы не скажете, как проехать до местечка N?

Не поднимая головы, женщина ответила.

А потом доброжелательный и душевный тон гостя, его щедрость (за чай он выбросил на стол еще один золотой!) настроили ее на откровенность, и она рассказала, что у нее подрастают двое детей, которые сейчас забавляются нехитрыми играми на бахче, за домом, что муж-каменщик работает нынче за какие-то гроши у местного бека, что радостей в жизни почти нет...

Прощаясь, бек попросил разрешения завтра в это же время, на обратном пути, побывать здесь еще раз, и женщина без колебания согласилась. В знак благодар-

ности и неподдельной теплоты бек вложил ей в ладонь еще один дерхем, чем окончательно расположил к себе хозяйку дома, и как бы невзначай погладил ее упругое плечо.

К обеду следующего дня жена каменщика уже ждала гостя: накрыла стол яркой, нарядной скатертью, приготовила вкусный обед, а детей тем временем отправила к своей матери. Бек обратил внимание на ее изящный наряд и притворно похвалил ее, отчего хозяйка вознаградила гостя кокетливой улыбкой. Гость давал ей один дерхем за другим: за теплоту и внимание, за вкусный обед, потом за трепетное рукопожатие, вслед за этим за поцелуй, потом еще... И так в каждую новую страницу их совместной истории он вкладывал по золотому, пока с жаром не дочитал ее до конца...

А жена второго каменщика оказалась угрюмой и неословоохотливой. Отказавшись от платы, она все же приняла гостя и предложила ему кунацкую, а затем вкратце поведала, что нажила с мужем четверых детей, а тот теперь тайком бегает к другой. По ее морщинистым щекам текли горючие слезы, и беку по-человечески стало жаль эту преждевременно постаревшую женщину...

В дом третьего мастера бек ехал в трепетном ожидании нового приключения. Он строил разные предположения, а потом сам же их отметал. Но то, что ему довелось увидеть на пороге дома «вельможи», превзошло все ожидания: перед ним стояла редкой красоты молодая женщина...

В первую минуту бек стоял как завороженный и не мог отвести глаз, потом, словно в забытье, произнес:

— Вот это лань!

Женщина, словно горная серна, стремительно взбежала на порог и хотела захлопнуть дверь перед этим неизвестно откуда взявшимся нахалом, но бек, опомнившись, не дал закрыть дверь и взволнованно заговорил:

— Красавица! Поверь, я объехал все от Балха до Тавриза, во всей Албании для меня нет неизведанных уголков, но, клянусь этим светом, такого чуда нигде не встречал. Скажи, как тебя зовут?

Женщина, испугавшись, сперва попятилась назад, потом молниеносным движением схватила висевший на стене ятаган и возмущенно воскликнула:

— Или ты сейчас же уйдешь, душман, или я убью тебя!

— Ханум! — окончательно придя в себя и ухватив женщину за руку, мягко заговорил бек. — Не бойся, я не причиню тебе зла...

Ему стоило немалых усилий отобрать у нее ятаган. Когда обессиленная этой неравной борьбой несчастная и оскорбленная женщина осталась безоружной, она устало села на стул и заплакала.

... В комнате было чисто и уютно. В очаге горел огонь, кипел казан, видно, хозяйка готовила к вечеру ужин. В углу играл годовалый мальчуган, и когда он увидел плачущую мать, с трудом встал на ноги и, похоже, впервые в жизни, качаясь и широко расставляя непослушные ножки, пошел к матери; устав с непривычки, упал на руки ей, потом сел у подола материнской юбки и настороженно, с удивлением посмотрел на бека.

— Вы потеряли намус, человек, — плача, говорила женщина. — Ворвались в чужой дом...

Даже слезы были ей к лицу: бледность щек озаряла ее лицо больше, чем синий ночной небосвод айвовая луна, а за мокрыми ресницами, как два яхонта, еще ярче сверкали вишенки глаз.

— Но, ханум, я же не сделал тебе ничего плохого! — с величием и достоинством проговорил бек. — Я только хочу тебе помочь! Такой цветок не для этого бедного, заброшенного сада. Ты оглянись вокруг себя, здесь немудрено и завять скоро... Я богат, ханум! Я брошу к твоим ногам лучшие украшения. Ты — редкий алмаз, ханум, но не для этой бедной оправы! — Бек развел руками, указывая на ее окружение. — Поверь, я хочу спасти тебя...

— Меня? Спасти? — удивилась женщина, словно только последние слова и слышала. — От чего? От счастья? Да знаешь ли ты, душман, что я самая счастливая женщина?! Каждая вещь здесь, пусть самая дешевая, напоминает мне о любви и радости, вот и это дитя — плод нашей любви — моей и мужа, а того, кто дарит мне это счастье, кого я люблю больше жизни, я каждый вечер жду, как праздника! Уйдите, недобрый человек, мне не нужны ваши украшения...

Смущенный бек, поняв всю тщетность своих уговоров, нарочито взорвался:

— Да знаешь ли ты, раба, с кем говоришь? Я твой

Бог и судья, и все, все, что на этой земле: ты и твой муж, что строит мне дворец, сотни тысяч голов скота и райяты, идущие по моему приказу на смертный бой, — все принадлежит мне, беку! А ты, несчастная, вздумала мне перечить?! Я долго уговаривал тебя, а сейчас собирайся, поедешь в мой гарем...

Женщина вскочила с места, бросилась к его ногам и стала просить бека пощадить ее очаг, не гасить его огонь. Она слезно умоляла не растаптывать хрупкую чашу ее любви.

— Ты сейчас же поедешь со мной! — настаивал коварный бек.

— Нет! Не-е-т! — вскричала вдруг женщина. — Не бывать этому... лучше смерть! Убей, душман, или я... сама...

В следующую секунду она подбежала к очагу, схватила нож и направила его к своей груди. Лишь чудом успел бек перехватить ее руку и предотвратить роковой удар.

— Не надо, ханум, — мягко сказал он, поразившись ее непреклонности. Потом, улыбнувшись, добавил: — Открою один секрет: я шел сюда с тайными мыслями и, увидев твою красоту, чуть не потерял рассудок, но теперь склоняю голову, ханум...

Бек возвращался на своем иноходце неторопливо, словно уставший после тяжелого боя воин. Только теперь понял он, в чем тайна того искусного мастера-каменщика...

БОЛЕЗНЬ

Три месяца длилась ее болезнь, и лишь к исходу зимы хворь стала проходить. Женщина блаженно замирала от яркого солнца, от робкой радости и надежды на прибавление сил и улыбалась безо всякой причины.

Словно вместе с природой пробуждалась и она сама.

Сегодня она попросила открыть окно, тяжело приподнявшись, села на постель и оперлась спиной на большие пуховые подушки, услужливо подложенные ей любящим мужем.

Глинистый бугорок за домом озолотился бодрыми цветочками мать-и-мачехи: листьев нет, а на каждом

мясистом стебельке по желтой шапочке. Сирень проклюнула набухшие почки. Расцвел миндаль.

Усталыми, но лучистыми глазами смотрит женщина сейчас в окно и радуется солнцу, первой зелени, веселой болтовне пернатых, возвращающейся к ней жизни.

Несмотря на причуды молодой жены, особенно в последнее время, муж любил ее и старался быть предупредительным. Жили они дружно и в среднем достатке. Семилетняя дочь-первоклашка и годовалый мальчуган украшали их жизнь, наполняя ее смыслом и радостными хлопотами.

— Ой! — воскликнула больная однажды, увидев за окном знакомую женщину, и обратилась к мужу: — Вон видишь Гюльсюрх? Какой на ней красивый плащ! Я такой хочу!

— Хорошо, дорогая, — ответил муж, обрадованный ее выздоровлением.

Через день плащ был куплен.

— Ой! — воскликнула она в следующий раз. — Вон, Шекер, соседка наша. На ней шаль японская, я тоже такую хочу...

И эта просьба была удовлетворена.

Со временем просьбы женщины становились самыми невероятными; мир, открывшийся вдруг ее взору, вызвал в ней такое обилие желаний, что она, словно балованное дитя, требовала порой их немедленного исполнения, не считаясь ни со временем, ни с возможностями, обвиняя мужа при этом и черствости, эгоизме и жадности.

Но когда прихоти ее стали одна причудливее другой и они разорили вконец семейный бюджет, супруг оказался в тупике. После очередной просьбы он ласково взял ее руку, подсел к ней ближе и сказал:

— Ты знаешь, дорогая, я тебя очень люблю и готов сделать для тебя все, что ты пожелаешь, даже жизнь отдать. Но выслушай меня, я расскажу тебе старую притчу, ты же любишь разные истории...

— Да, дорогой, рассказывай...

— Так вот, слушай... Была у падишаха единственная дочь и наследница его неслыханных богатств и царского престола, радость всей его жизни, да вот так же, как и ты, заболела...

— Спасибо, дорогой, за сравнение, — улыбаясь, проговорила женщина, ласково погладив руку мужа. При этом айвовые губы и щеки ее слегка порозовели.

Он тоже улыбнулся, но от тайной мысли, которая вдруг пришла ему на ум: «Вот что делает с женщиной даже косвенное сравнение», — а вслух продолжил:

— Тому, кто вылечит его дочь, падишах обещал целое состояние — хурджин золота...

— Наверное, желающих оказалось немало, — словно в забытье произнесла жена, а потом, спохватившись, вдруг добавила: — Извини, дорогой, я совсем разболталась...

И в самом деле, до самого конца рассказа она не проронила ни слова.

— Да, — подхватив ее мысль, продолжал муж, — желающих заполучить такое богатство было немало, но подлинных лекарей, знатоков человеческих недугов, среди них не оказалось. И потому затужил падишах и с ледяным в сердце страхом ждал скорой развязки. Но однажды... Ты не улыбайся, в жизни, наверное, так и бывает: однажды к поэту приходит нужное слово, к гению — великая идея, ребенок, чтобы стать человеком, неожиданно произносит первое слово, тонущий хватается за счастливую «соломинку», невесть каким образом вдруг оказавшуюся рядом... Так и здесь. Выискался вдруг лекарь, который взялся вылечить дочь падишаха и... вылечил. Счастливый шах приказал вызвать своего казначея и выдать спасителю дочери обещанную плату. А тот обратился вдруг к падишаху со странным вопросом:

«Великий падишах, позвольте обратиться к вам с просьбой?»

«Да, сын мой, — ответил с улыбкой счастливый отец, — говори, я буду рад выполнить любую твою просьбу».

«Могли бы вы, мой падишах, изменить условия нашего договора?»

«Все, что угодно! — с готовностью ответил шах. — Но что ты хочешь?»

«Вот носовой платочек, с небольшим узелочком. — Лекарь показал его шаху. — Я прошу вас выдать мне столько золота, сколько он будет весить...»

«Что с тобой, сын мой, твоя просьба — одна-две монеты, — удивился падишах, — а я дам тебе в тысячи раз больше. Ты, наверное, шутишь?»

«Не шучу, падишах, нет, — отвечает лекарь, — так вы согласны исполнить мою просьбу?»

«Странный ты человек, — сказал вконец озадаченный шах. — Что ж, будь по-твоему... Казначей, исполни его просьбу!»

Принесли весы, положили на одну сторону платочек лекаря с узелочком, а на другую чашу — одну, две, три, десять, сто золотых монет, но платочек все перетягивал.

Удивился шах, засуетилась вся его свита, краснел от злости вначале ухмылявшийся казначей.

На весы были положены все монеты казны, в ход пошли золотые слитки, потом драгоценные изделия, а конца все не было — платочек оказывался тяжелее. Не выдержал уже и возмущенный шах:

«Да что же в этом платочке, лекарь? Не колдун ли ты, не дьявол ли в человеческом обличье? — Но, заметив невинный взгляд молчавшего лекаря, приказал: — Неси, казначей, все, что есть в казне! Слово есть слово!»

И когда на весы были положены все золото и драгоценности казны, когда по свите шаха прошел шепот недовольства и возмущения, когда коварный визирь намеревался уже арестовать этого «нахала», осмелившегося так жестоко надсмеяться над шахской доверчивостью, опасную ситуацию исправил сам лекарь.

Он взял платочек, развязал узелочек, и все, увидев его содержимое, ахнули от удивления...

— Что же было в нем? — не выдержала жена рассказчика.

— Глаз, дорогая, ненасытный человеческий глаз!..

ОКРОВАВЛЕННЫЙ МЕШОК

Колеса поезда стучали монотонно и нудно, как старая заигранная пластинка. Ритм этот никак не вязался с моим внутренним настроением, и потому было как-то не по себе. Несмотря на уговоры двух молодых людей распить с ними бутылочку сухого вина, я наотрез отказался и взобрался на полку. Нет, не мирилось мое сердце, не принимало сознание — хотя я был тому свидетель, — что моего друга уже нет. Как это он однажды, узнав о моей болезни, запыхавшись, прямо с вокзала, влетел ко мне в кабинет и крепко обнял. «Что, пошаливает? — весело спросил он тогда, а потом тихо добавил: — Береги себя...» А себя не сберег, не берег, не умел этого делать... Не о нем ли сказал мудрый поэт:

Я стал нередко думать, став старее,
Что жизнь вершит порой неправый суд,
Что умирают лучшие скорее,
Что лучшие себя не берегут...

О нем, наверное. «Да, удивительно хрупка и уязвима человеческая жизнь, — подумал я. — Словно мыльный пузырь из ребячьей трубочки: летит, блестит всеми цветами радуги, а потом — бух! И нет...»

Внизу раздался резкий звук граненых стаканов, и молодой голос произнес:

— Давай выпьем за верность нашу!

Друзья снова чокнулись и выпили.

— Э-хе-хе! — тяжело поднимаясь со своего ложа, заговорил четвертый пассажир нашего купе — седой, с морщинистым лицом старик. — Хорошие слова говорите, сынки мои, хорошие...

— Садитесь с нами, отец, — пригласили его молодые.

— Я уже свое выпил, — улыбнулся старик и, поглаживая седые усы, добавил: — Да, выпил...

Он удобно сел на полку, посмотрел в окно, словно искал там что-то, потом, повернувшись к молодым, хитро улыбнулся им и продолжил:

— Кхе... кхе... В молодости, ну, когда я был таким, как и вы сейчас, много у меня было друзей. Молодость, сынки, словно молния, быстра на все. Пришел я как-то раз к отцу и говорю: «Дай мне, отец, денег, я хочу выпить с друзьями». Дал он мне денег. В семье у нас так было заведено: все в один котел, и если надо — бери. Хорошо погуляли мы тогда с друзьями, весело... Пришел я к отцу второй раз, говорю: «Дай мне, отец, денег, я хочу выпить с друзьями». Посмотрел отец на меня как-то пронизывающе-пристально, но снова, не сказав ни слова, дал денег. Я и их истратил с новыми друзьями. И так много раз я брал у отца деньги, чтобы пить и гулять с друзьями, а их у меня становилось все больше и больше... Кхе... кхе...

И вот однажды, когда я в очередной раз попросил отца дать мне еще денег для новой встречи с друзьями, он усадил меня рядом с собой и осторожно спросил:

«Ты уверен, сын, что все те, с кем ты проводишь весело время, верные твои друзья?»

«О чем ты говоришь, отец? — удивленно спросил я его тогда. — Конечно...»

«Они будут с тобой как в радости, так и в беде?» — не унимался отец.

«Конечно! — снова уверенно отвечал я. — Да это же... такие ребята!..»

«Очень рад, сын, очень рад... В таком случае, — говорит он мне тогда, — ты можешь выполнить одну мою просьбу?»

«Конечно, отец, — снова удивился я, — о чем речь...»

«Вот и хорошо, спасибо, сынок, — сказал отец. — Там, во дворе, окровавленный мешок, в нем только что освежеванный мною баран. Ты видел его?»

«Нет», — снова, не понимая загадок отца, ответил я.

«Ничего, увидишь. А просьба моя вот какая, — продолжал отец, словно излагал соучастнику план намеченной операции. — Мы с тобой запряжем сейчас наш фаэтон, положим туда этот мешок и поедем к любому из твоих друзей...»

«Зачем?..» — невольно вырвалось у меня.

«Слушай дальше, — словно не замечая моего удивления, продолжал отец: — Я арабачи, так сказать, лицо постороннее... Ты же зайдешь к своему другу и скажешь ему, что ты убил человека, и убитый, мол, в этом мешке, и пришел ты к нему за помощью: мол, надо спрятать этот мешок... Идет?»

«Но зачем, отец, этот маскарад?» — ничего не понимал я.

«Ты обещал исполнить мою просьбу?—хитро взглянув на меня, спросил отец. — Так исполняй... Только, чур, все должно быть вполне серьезно».

Сказано — сделано. Запрягли мы фаэтон, отец бросил в него указанный мешок, и мы поехали в соседнее село к моему другу, с которым мы недавно пили.

Оставив отца во дворе, я постучался к другу в дверь сакли. Говорил я с ним недолго и вернулся удрученный.

«Он сказал, что в этом деле помочь не может, — стыдливо опустив глаза, ответил я на немой вопрос отца, — но ты не огорчайся, отец, мы сейчас поедем к другому моему другу, это здесь недалеко, мы только вчера вместе пили, он точно поможет».

Где-то в полночь мы приехали к дому моего нового

друга. Но и от него я вернулся ни с чем. И так несколько раз в эту ночь друзья отказывались помочь мне в беде. Отец молчал, а я был в отчаянии, готов был заплакать от гнева и обиды.

Вот тогда, поняв мое состояние, заговорил отец:

«Знаешь, сын, не горюй, есть у меня друг в Мюшкюре, правда, много лет мы с ним не виделись. Поедем, может, он чем поможет...»

На рассвете мы подъехали к дому друга отца. На стук он сам открыл ворота и, увидев отца, ахнул от изумления.

«Вах! — улыбаясь, говорил он, обнимая сперва отца, потом меня. — Сколько лет, сколько зим! Заходите, дорогие, какая радость!..»

«Нет, подожди, — сказал отец, — дело есть...»

«Дело? — удивился хозяин, — говори, дорогой...»

«Беда случилась: в честном бою я убил своего недруга, вот он, в этом мешке. — Отец показывает на мешок в фаэтоне. — Помоги его спрятать».

«Вах, о чем речь, если ты убил, значит, этот негодяй заслуживал этого, — решительно говорит хозяин и берет лопату. — Вот, где я стою, тут мы его и спрячем». И начинает рыть яму...

Тогда-то впервые за всю эту долгую ночь отец улыбнулся, обнял своего друга и с волнением произнес:

«Спасибо, дорогой, я и не сомневался, но дело не в тебе. Так, проверка одна требовалась. — Он снял с фаэтона мешок, развязал его и вынул баранью тушу. Потом, обращаясь ко мне, добавил: — Вот что, сын, друзей найти в жизни очень легко: сел, выпил — вот тебе и друг. А вот сохранить дружбу, быть верным дружбе, нести в сердце великое слово «друг» — трудная задача, и не каждый ее может решить. Верные люди, сын, о дружбе не говорят , ее молчаливо делают! Кхе... кхе...»

Старик закончил свой рассказ и умолк. Колеса поезда стучали монотонно и нудно, как старая заигранная пластинка. Я вдруг с болью и горечью вспомнил, что моего друга уже нет...

ЛЕКАРЬ

Цари персидские, кои в течение долгих веков господствовали на землях древней Албании, для укрепления своих границ не жалели ни средств, ни людских жизней. Могучие стены вырастали на путях северных варваров, «железными воротами» называли их неприятели, а на вершинах гор вечными памятниками народным умельцам воздвигались маленькие башни-крепости, огнем своих факелов извещавшие о приближении врага. Вот и была построена тогда редкой красоты башня — крепость Кемах, откуда прошлое смотрит в сегодня глазницами полуразвалившихся бойниц...

Жил, говорят, в этой крепости лекарь Худодот, голубоглазый красавец, с душой чистой как горный родник, а умением — равного не было в целой округе. Травами и кореньями, водами редких родников или словом добрым он исцелял умирающих, поднимал немощных, давал силу ослабшим, и со всех окрестных сел шли к нему так, как все живое тянется к свету.

Молва есть молва, иногда она правдива, а порой преувеличена, но очевидцы рассказывали, что видели у его дома раненого барса с перевязанной лапой и что понимал лекарь языки и повадки зверей.

В тот год и пришла в Кемах недобрая весть, что у ширванского шаха тяжело больна единственная дочь, несравненная Гюльбоор, что со всех концов вилайета пригласил шах знахарей, врачей да лекарей, но помочь больной никому не удалось. В траур, говорили, одет шах и его приближенные, и тому, кто вылечит дочь-наследницу, обещана великая награда.

«Что ж, попробую и я, — решил Худодот. — Да поможет мне великая сила добра!» И с твердым намерением попасть к ширванскому шаху в Кебал собрался в путь.

...Снаряжали лекаря всем аулом: кто свежий чурек испек ему в дорогу, кто вкусный овечий сыр принес и положил в хурджин, кто бурдюк вина, чтобы путник мог утолить жажду. Так в горах наших было всегда — добро возвращалось добром.

Какими дорогами шел лекарь Худодот, где останавливался на ночлег и сколько дней был в пути, об этом никому не ведомо, но людская молва утверждает, что пришел он к шахскому дворцу уже под вечер, после того,

как мулла пропел вечерний азан и городские ворота закрылись...

Надвигалась звездная летняя ночь, и уставший путник наш с сожалением отошел от закрытых ворот, присел у чинар, что росли здесь в три ряда, утолил голод остатками еды из хурджина и облокотился о широкий ствол. Никем не нарушаемая тишина и тусклый свет шафрановой луны, пробившийся сквозь листву деревьев, окутали лекаря покоем, и он блаженно заснул.

Вот тогда и произошло невероятное, то, чего лекарь никогда ранее в себе не замечал и не мог объяснить в течение всей своей жизни: у спящего Худодота нежданно-негаданно заговорили ноги.

— Друзья, — торжественно произнесли они. — Завтра утром откроются городские ворота, наш хозяин пойдет к шаху, вылечит красавицу Гюльбоор, и его ждет великое будущее. И знаете, благодаря кому? Нам, ногам! Не было бы нас, не смог бы он прибыть сюда, значит, не могло быть и всего остального. Вот и получается, что мы — самые главные у человека. Недаром говорят: ноги кормят человека. И потому просим к себе почтения!

— Ну и ну!.. — возмутились руки. — Вы от скромности не скрючитесь! Почтения?! Да знаете ли вы, хвастунишки эдакие, кто такие руки?! Если хотите знать, именно руки создали самого человека! Если бы вместо рук были лапы, наш хозяин, словно зверь какой, ходил бы на четвереньках, и даже тот же трусливый волк одолел бы его. Да если у него не будет рук, как он будет прикасаться к больной, чувствовать ее кожу, органы, варить собранные травы и давать ей? Великим он станет только благодаря нам и никому другому. Главные — мы!

— Вот слушаем мы ваши речи и диву даемся, прямо сороки-балаболки, — заговорили уши. — Где вы спрятали совесть, без которой даже ангелы превращаются в дьяволов? Мир звуков, — мечтательно продолжали они, — мир музыки, чудесный мир любимых звуков и трелей соловья, и вдруг этого лишить человека... Представьте себе: наш хозяин глухой, а в крепость пришла весть о больной дочери шаха — первая ситуация; больная жалуется ему, что-то говорит — это вторая ситуация. Глухой мог услышать все это? Что же вы мол-

чите? Так вот, если логически рассудить, приоритет за нами!

— Что ни говорите, но без меня тоже не обойтись,— проговорил нос. — В отличие от вас, я — один, и не могу говорить в два голоса, но я за себя постою. Я — защитник хозяина, главный санитар его армии. Не было бы меня, он бы погиб, задохнулся, его легкие погибли бы от грязи, пыли и вредных микробов. Без меня он был бы лишен величайшего чувства обоняния, запаха нежных цветов, морской воды, хвойного леса, весенней горной полыни. А скольким вредоносным пылинкам я преграждаю дорогу, охраняя своему господину жизнь! Я страж...

— Когда коня подковывают, и осел свою ногу сует,— ухмыльнувшись, сказал кто-то из спорящих, прервав речь носа в самом ее апогее.

— Вечно ты суешься, куда не следует, — горделиво вступили в спор глаза. — Недаром говорят: «Глаза невзлюбили друг друга, и между ними вырос нос». Ты однажды воспользовался нашим разногласием и влез между нами, как «друг семьи»... А теперь молчи, когда говорят старшие, младшие должны сопеть в н..., в сопилку. — Они умолкли на секунду, а потом, собравшись с мыслями, продолжили: — Слепой хозяин — это горе и рукам, и ногам, и тебе, сопливому носу, и ушам, и всей братии, которая тоже норовит что-то сказать здесь. Человек — это частица зелени лесов, сини морей и океанов, небесной голубизны, айвовой луны, мигающих, как глаза красавиц, звезд, белой березы и прекрасного огня. И только тогда он чувствует себя как дитя природы, когда все это видит! Жизнь — свет, темнота — отсутствие жизни. И потому мы надеемся, что вы поняли, какую великую миссию выполняем мы, служа человеку!

Установилась неловкая тишина, руки от предутренней прохлады ухватились друг за друга и теснее прижались к телу, ноги потерлись пятками, фыркнул и нос спящего, выбросив из своего волосяного бора какой-то застрявший ненужный комок.

— А обо мне вы почему-то забыли!— нарушив вдруг звенящую тишину ночи, заговорил язык. — Все вы так красиво и долго говорили о своей службе хозяину, словно поэты какие. — Да, правда ваша, вы слуги человека, а вот я... я — его господин!

— Ах ты, нахал, паразит, трутень, лентяй! — возмутились все разом. — Живешь в тепле, ни жары, ни мороза не знаешь, ни труда, ни усталости, защищен, обласкан, неженка избалованная! Надо же набраться нахальства и нам такое заявить... «Господин!» Мы тебе дадим, «господин»...

Умолк язык, глубоко затаив обиду за унижения свои.

Забрезжил рассвет: черные краски ночи сменились на серые, зашелестели листья на верхушках чинар, чирикнула птичка, обронив на голову спящего лекаря свою нужду. Мулла, поднявшись на минарет, пропел утренний азан, и городские ворота открылись.

Кебал! Великий город древнего Ширвана. Голубые купола мечетей устремились к небу, ажурные окна роскошных дворцов улыбаются многочисленным гостям, ароматные запахи караван-сараев зазывают проголодавшийся люд, говорливо журчат живительные родники. И двух глаз не хватит человеку, чтобы охватить всю эту красоту.

Умывшись у родника, лекарь привел себя в надлежащий вид и направился к шахскому дворцу. Ждать пришлось недолго, здесь искренне рады были каждому, кто брался вылечить больную дочь шаха.

— Откуда ты, путник? — устало спросил вконец потерявший всякие надежды шах, когда лекаря привели к нему. — Ты молод и берешься лечить людей?

— Я из крепости Кемах, — с достоинством ответил Худодот.— Независимо от возраста, накопленный опыт помогает мне возвращать людям здоровье.

— В этом дворце побывали великие лекари мира, сын мой, но, как видишь, все безрезультатно... Что же ты собираешься делать? — снова спросил шах.

— Я... я пришел... — В этот момент с бедным лекарем произошло что-то невероятное, он побледнел, как-то неестественно вытянулся, словно неведомая сила сковала и одурманила его мозг, и он, не выдержав этого напряжения, вдруг ослабевшим голосом произнес: — Я пришел убить вашу дочь, падишах!

Слуги и приближенные шаха всполошились и бросились на лекаря.

— Да он сумасшедший! — возмутился шах, — дайте ему хороших плетей и бросьте пока в подземелье... А завтра решим, что с ним делать дальше. Надо же...

Избитого, полуживого лекаря бросили в подземелье, чтобы завтра же отправить на эшафот.

— Ох! — стонали израненные и кровоточащие ноги. — Еще бы немножко — и нас бы эти палачи вконец изломали! Ох!..

— Ой, ой, ой, — завыла рука, что сползла с груди лекаря и ударилась о каменный пол подземелья. — Что они с нами сделали, эти негодяи?! Ой, сил больше нет...

Тихо стонало изрезанное ухо, видно, плеть не пощадила и его, когда хозяин хотел лягнуть одного из палачей. Задыхался от возмущения и боли разбухший нос, у ноздрей которого накопилась засохшая кровь. Слезясь, расплылся опухший глаз. И ему было несладко.

И вдруг, в этом коловороте стонов и жалобных причитаний, наполнивших подземелье, раздался громкий хохот.

— Ха-ха-ха! — смеялся язык. — Что? Больно? Стонете? Так вам и надо, дураки! Это за вашу самонадеянность, — выговорил он всем больным членам хозяина.— Я говорил, что я господин над человеком, а вы не только не поверили, а оскорбили, унизили меня. Что смотрите, словно с луны свалились? Да, да, достаточно мне было сказать шаху правду, что пришел не убить, а вылечить его дочь, как все бы изменилось: вы, ноги, не были бы изранены, ты бы, рука, не была вывихнута, а ты, нос-хвастунишка, так уродливо не растолстел, да и другим бы не досталось. Ну, теперь вы убедились?

— Да! Да! Убедились! — в один голос заговорили раненые. — Ты действительно господин! Ты всемогущ!..

— Я и сейчас могу все изменить! — уверенно заговорил язык и с высоты своего положения горделиво взглянул на них. — Я могу человека и великим падишахом сделать, и несчастным рабом!..

Все хором стали его просить, умолять, не забывая при этом расхваливать вчерашнего «нахала».

Лекарь не спал: боль во всем теле не давала ему возможности заснуть. Он с открытым от удивления ртом слушал весь этот разговор и не верил своим ушам. И когда его вдруг пронзила мысль о скорой гибели, он, собрав весь запас своих жизненных сил, подполз к дверям своего каземата и здоровой рукой стал стучать и звать стражу.

— Ты еще живой, ненормальный? — удивилась стража. — Что, еще хочешь получить? Ха-ха-ха...

Лекарь стал просить их отвезти его к шаху, он взывал к их совести, во имя их матерей и детей просил о сострадании, приводил сотни доводов, десятки примеров и, наконец, заключил: «Даже смертнику разрешают сказать последнее слово!» И убедил: у этих, казалось бы, бессердечных людей вдруг открылся затаенный ларец сочувствия и его повели к шаху.

— О мой справедливый шах! — начал лекарь свое слово. — Я передаю вам диковинный разговор, невольным свидетелем которого стал на каменном полу вашего подземелья. Я поведаю вам о тайне, о существовании которой и не подозревал...

Он говорил с таким вдохновением, красноречием, что все, кто слушал эту речь, были поражены. Казалось, перед шахом был не простой лекарь, что пришел сюда в поисках удачи и счастья, а умудренный жизнью оратор, трибун, равного которому не было во всем свете.

И шах поверил лекарю...

ВСТРЕЧА

Зима в тот год выдалась на редкость снежная, но чтобы в первый день марта в наших южных краях пошел такой густой, все обволакивающий снежный вал, такого не помнили и старожилы.

И надо же такому случиться, что именно в этот день мне, городскому землеустроителю, было дано задание побывать в единственном предгорном колхозе нашего в общем-то равнинного района, окружившего город кольцом садов и виноградников.

Заведующий фермой этого колхоза...

Нет, прежде о самой ферме: от центральной усадьбы колхоза, где размещались контора и другие учреждения, она находилась на отшибе, в отдалении, приютилась себе у самой подошвы горы, откуда одна дорога, верст на десять, вела наверх, в село, а другая — в город, куда ежедневно старая, еще военных времен полуторка доставляла на завод парное молоко.

Так вот, заведующий этой фермой, уже немолодой человек, низенького роста, словно сказочный мужичок с ноготок, но с непропорционально росту длинными пышными усами, придававшими ему довольно мужественный

вид, заметив неподдельный страх в моих глазах, с нехитрой улыбкой заметил:

— Первый раз, наверное?..

— Да, — стыдливо признался я, как нашкодивший школьник, — никогда на коня не садился...

— Не бойся, — уверенно успокоил он меня, — конь смирный, дорогу к конторе знает, привычный... Другим транспортом сейчас туда не добраться, мокрынь, дорогу разнесло. Да вон еще и небо заволокло. Садись, не тушуйся, я помогу.

Мне бы тогда отказаться, отложить командировку на день-другой, покуда все утихнет, небо прояснится, угомонится, так сказать, природа — не случилось бы приключений всяких, неприятных неожиданостей, но... Нет, все же я благодарен судьбе, что, несмотря на все пережитое, подарила мне эту незабываемую встречу...

А приключилось со мной вот что: не успел отъехать от фермы и трех верст, как начался такой снегопад, какого мне в жизни видеть не приходилось. Все вокруг затуманилось, завихрилось, покрылось сплошной белой скатертью. В течение нескольких минут дорога и виноградники на обочинах слились в сплошное поле с торчащими кое-где черными спинками мокрой лозы, которые со временем тоже исчезли под белым снежным покровом.

Все бы ничего — не так уж долго предстояло ехать до села, всего лишь несколько верст, да вот беда — мой конь стал спотыкаться, проваливался то в какую-либо яму, образовавшуюся после осенней вспашки виноградников, то, зацепившись за невидимую, полегшую наземь крепкостволую лозу, порой почти полностью терял равновесие.

Ничего мудреного: моя смирная коняга потеряла дорогу, попросту говоря, заблудилась...

Уж как я не вылетел из седла, как, неумейка, ухитрялся попасть в такт движениям коня, — непостижимо! Порой, казалось, падение неминуемо, но во мне просыпался вдруг зов предков, пробуждалось великое чувство самосохранения, помогающее так вцепиться в коня, что никакая сила не могла сбросить меня с него.

Однако в следующее мгновение конь ушел передними ногами куда-то глубоко, видно, почти к самому корню лозы, сделал усилие подняться, но, зацепившись за корягу, вдруг весь задрожал, сделал судорожное движение

вперед, пошатнулся и... я, вылетев из седла, угодил бедром прямо в твердое тело виноградной лозы.

Уж как коню удалось упасть на другой бок, как и каким образом он всей своей огромной тушей не придавил меня, не знаю! Лишь много лет спустя мне рассказали, что кони, если они смертельно не ранены, если в них теплится хоть малая толика жизни, на седока своего не упадут...

Я рванулся встать, вылезти из снежного плена, даже привстал было, однако в следующую секунду острая боль в бедре пронзила все тело и я упал... «Слава Богу, не головой, — успокоил я себя, ощупывая место ушиба, — нет, кажется, поломки нет...» «Так тебе и надо, дурень, — вдруг заговорил мой недовольный двойник,— тебе и этого мало, все геройствуешь, не мог переждать...»

Я горько усмехнулся над собой, все же поднялся, взял понурившегося, будто чувствующего вину коня под уздцы и, тяжело ступая (ушиб все же давал о себе знать), медленно пошел по направлению к селу.

Снегопад прекратился так же внезапно, как и начался. Стало светлее. По деревьям и кустам ежевики, как мне казалось, сориентировался на местности. Однако видимые на местности предметы меня основательно подвели, и я мог в таком состоянии еще долго плутать, и тогда не миновать было большей беды, если бы не встреча...

Мой встречный в ста метрах от меня ехал на коне совершенно в другую сторону, нежели я, и был весьма удивлен моим маршрутом.

— Эй! — крикнул он мне вдогонку. — Вы куда идете?

Я назвал село.

— Так это же не туда! — еще громче крикнул он.— Вы заблудились, друг мой, подойдите ко мне, я как раз еду в это село. Да на вас лица нет, — встревожился он в следующую минуту, когда я приблизился к нему, — что с вами? Так это вы?

Мы были знакомы. Я коротко рассказал о своих приключениях, да о том, что уже второй час после пурги плутаю и не могу найти нужную дорогу. Он же, спешившись, помог мне сесть на коня и дал выпить из своего походного термоса кружку горячего чаю. Несмотря на тупую боль в бедре, ехать все же было легче, чем идти, и мы двинулись в путь.

Моим спасителем оказался такой же, как и я, молодой человек. Ну, может быть, года на два-три моложе. «Неуемный», — как о нем говорили, секретарь райкома комсомола, который ехал в этот же колхоз уполномоченным от райкома партии на отчетно-перевыборное собрание.

Молодежь района любила его, шла за ним. О его поразительной целеустремленности и деловитости не раз говорили с высоких трибун, однако он молчаливо обходил похвалы, будто они его вовсе не касались. Я вспомнил, как он однажды, через несколько дней после своего избрания, поехал на комсомольское собрание в овощеводческий колхоз и до полуночи собирал комсомольцев на объявленное накануне собрание, загнав партийного и комсомольского секретарей до седьмого пота. А потом, когда все комсомольцы все же были собраны в стареньком колхозном клубе, куда прибежали и возмущенные мужья, жены которых непривычно вынуждены были покинуть теплое супружеское ложе, он поднялся и строго бросил в зал:

— Кто не желает оставаться в комсомоле, прошу написать заявление.

С этого дня комсомольцы района почувствовали, что к ним пришел настоящий вожак.

— А ты молодец, — оборвав мои воспоминания, обратился мой попутчик. — Не испугался такого натиска природы, когда повалил снег, я как раз был там, внизу, на ферме.

Я понимал, что говорит он это, чтобы приободрить меня, придать силы, и поэтому был ему вдвойне благодарен.

— Поскольку природа внесла в твои землеустроительные планы свои коррективы, давай примем участие в колхозном собрании, предчувствую, что там сегодня разгорятся страсти...

Несмотря на то, что дела в этом сравнительно неплохом колхозе в последние два-три года шли все хуже, бюро райкома партии все же решило рекомендовать колхозникам оставить председателя еще на один срок. Провести в жизнь это решение и было поручено моему попутчику.

Однако часть колхозников, судя по их письмам в партийно-советские органы, была настроена весьма критически и требовала замены председателя. Другая же

часть была за него. Вот почему, понимая весьма трудную миссию своего попутчика и ожидая действительно поучительного разговора, я принял его предложение.

...Собрание было бурным и шумным: то верх брали сторонники головы колхоза, то вдруг поднималась волна бескомпромиссной критики в его адрес, отчего его ковчег с гребня волны вдруг оказывался в пучине, готовый вот-вот потерпеть крушение.

Казалось, падение председателя неминуемо, однако равновесие сил не давало шансов ни одной из сторон. Выступил и уполномоченный. Он обратился к старшему поколению колхозников, говорил, что колхоз в недавнем прошлом был одним из лучших в районе и сегодня, когда производственные показатели снизились, нельзя всю вину возлагать только на председателя, надо взять ее и на себя, хотя, конечно, ослабление требовательности со стороны председателя явно налицо. Но злоупотреблений у него нет. Об этом же говорят, мол, и выступающие. Так не лучше ли оставить его еще на один испытательный срок, чем выбирать нового, которому надо еще долго входить в курс дела.

Тогда с первого ряда кресел встал один из аксакалов — среднего роста худощавый старик — и неторопливой походкой направился к трибуне. В зале все затихли. Наступил тот момент, который и должен был решить судьбу председателя.

— Я думаю, товарищи, наш уполномоченный прав,— начал аксакал, четко выговаривая каждое слово. — Он, хотя и молод, говорит мудро. Не пристало нам все валить на голову колхоза, некрасиво получается. Выходит, когда дела идут хорошо — заслуга наша, а когда дело чуть захромало — виноват голова...

По залу прошел легкий смешок, а старик, не обращая на это внимания, продолжал:

— Вот мы тут и решили, — он рукой показал на сидевших в первом ряду стариков, — что оставим нашего голову колхоза еще на один срок... Но, чур, председатель... — Старик хитро улыбнулся и, показав на него указательным пальцем, добавил: — Возьмись за голову, ибо колхоз в следующем году голову потеряет...

Это и решило исход собрания: по залу сперва прошел дружный смех, а потом аплодисменты.

И хотя приближалась ночь, люди расходились по домам не торопясь, все еще продолжая говорить о со-

годняшнем снеге и пользе от него виноградникам. Мы собрались было в обратную дорогу, когда к моему товарищу подошел тот же старик, что так круто повернул ход собрания, и спросил:

— Скажи, сынок, не внук ли ты незабвенного Келебебе, известного мастера-виноградаря?

— Да, — ответил он, несколько озадаченный. — Вы что, его знали?..

— Ты сегодня мой гость, сынок, — с улыбкой ответил старик. — Вот дома я тебе и отвечу...

С молоком матери впитывается в нас чувство уважения к старшим, их благоговейное почитание, и потому я сразу понял причину замешательства, в которое вдруг пришел мой товарищ, ибо он намеревался немедленно вернуться домой, успеть отпраздновать в эту ночь день рождения дочери.

— Ты не волнуйся, — по-своему поняв его замешательство, снова заговорил старик, — тебя и твоего товарища домой отвезет на санях мой сын...

Тут уже пути к отступлению не было. Однако в следующие минуты, когда мы вошли к нему во двор, мой товарищ был удивлен еще больше — прямо перед ним, как говорится, у ног, по беглому жесту старика сыновья тут же прирезали барана и стали свежевать его на шашлык. На Кавказе это — знак особого уважения к гостю. И потому мой товарищ был не только удивлен, но и немного сконфужен.

После прочих процедур гостеприимства, которые и сегодня свято соблюдаются в горах, нас пригласили в небольшую комнату к накрытому столу.

Старик приказал сыну открыть шампанское и разлить в бокалы. Приступили к трапезе.

— Я вижу, сынок, ты крайне озабочен, — заговорил старик, обратившись к моему молодому товарищу. — Вопреки обычаю и даже в его нарушение, — улыбаясь, продолжал он, — я, старый человек, за одним столом с молодыми не только выпью этот бокал шампанского, а буду и вас просить выпить со мной...

Старик выпрямился, по-молодому заискрился его взгляд.

— Я этого дня ждал... можно сказать, всю жизнь ждал, и потому, не пряча радости, говорю, что у меня сегодня праздник, праздник откровения, праздник души...

Мы тоже было повскакивали со своих мест (не при-

стало молодым сидеть, в то время как стоит старший), но старик мягким жестом усадил нас на место.

— Нет, нет, дети, вы сидите и послушайте, что скажет вам прошагавший большое поле жизни аксакал... Родился я почти в одно время с новым веком, лишь на месяц он опередил меня. И хотя рождение мальчика у нас считается событием, все же мое появление в семье особую радость не вызвало. Да и о какой радости могла идти речь, если кругом бегала голь перекатная, бедность накрепко привязалась к нашей старой , покосившейся крестьянской сакле, а голод так и норовил унести одну жизнь за другой...

Старик как-то глухо кашлянул, ненадолго умолк, не выпуская из рук, поставил на стол бокал, потом оценивающе посмотрел на нас, словно взвешивал, можно ли нам рассказывать дальше, и продолжал:

— Мальчишкой ушел в город, нанялся к местному богачу в работники... Был у них небольшой сад у самого дома, так вот в этом саду с утра до вечера пахал и сажал, убирал да выхаживал, добавьте к этому еще: колол дрова на топку целого дома, нянчил барчуков, таскал полные корзины продуктов, э... э... всего и не перечислишь... А тут такое началось... сперва пришла весть, что в Москве сбросили царя, потом чехарда началась и у нас в городе. Сначала разбойничали турки, потом банды Деникина вкупе с англичанами... Когда пришла Советская власть, мне было уже девятнадцать. Хотя мы, безграмотные дети гор, тогда многого еще не понимали, смутное было время, все же слышали и видели, что власть эта за бедняка, в его защиту, и радовались этому. Да и не только радовались, а как могли помогали. А мой хозяин, озлобленный этими переменами, увидев однажды мое сочувствие новой власти, пришел в ярость, люто возненавидел меня и дал от ворот поворот...

Старик улыбнулся своей тайной мысли, кашлянул в кулак и продолжал:

— Так я без гроша в кармане, в одной рубашке и старых, прохудившихся чарыках оказался на улице. В то время виноградные сады оставались еще в частной собственности, а незанятых рабочих рук было с избытком, и людям ничего не оставалось, как снова идти к частнику. Подался и я к ним, но быть бы мне не солоно

хлебавши, если бы не твой дед, сердцу моему дорогой Келебебе...

Голос аксакала чуть задрожал и осекся, глаза увлажнились и, чтобы спрятать это, он на секунду прикрыл их рукой. Потом, преодолев волнение, твердо добавил:

— Жизнью своей, счастьем своей семьи обязан я незабвенному Келебебе и, покуда жив, помнить буду об этом... Был он старше нас, молодых, лет на шесть-семь, детей имел, трудолюбием же отличался неимоверным... Вот он и уговорил садовладельца взять и меня в свою бригаду... Накануне же я обошел многие дома, а работу не нашел, зато попал под дождь, промок до нитки, голодал, заболел и был в отчаянии... Обогрел и приютил меня Келебебе в своем доме, целый год учил виноградарскому делу, а был он мастер великий в этом деле... Но душевная щедрость и благородство Келебебе этим не ограничились.

Старик внезапно умолк, будто силился вспомнить что-то очень сокровенное, и также внезапно заговорил:

— Я в жизни встречал разных людей: добрых и злых, душевных и черствых, щедрых и скупых, встречал высокопорядочных, честных и открытых, но такого благородного в самом высоком смысле этого слова, как Келебебе, встретить больше не пришлось. Он оставил во мне такой след, что все, что я делал потом в жизни, я всегда соразмерял с тем, что бы сделал в подобных ситуациях он...

Посудите сами... Ровно через год отец из села послал ко мне с поручением гонца, чтобы я вернулся домой, да чтобы непременно с деньгами, заболел, мол, и потому намерен свадьбу мне сыграть, женить меня, значит... А у меня, — старик горько улыбнулся, — у меня же за душой, как говорится, кот наплакал, малость приоделся за тот год и все... Что делать, как быть, не знаю. Хожу сам не свой, заговариваться стал, впору свихнуться. Через неделю за обедом, в присутствии жены и детей своих, Келебебе обнимает меня за плечи и тихо так, ласково говорит: «Не тужи, друг мой, и не горюй, в селе отец ждет тебя, к свадьбе все готово...» «Как?» — спрашиваю. «А так, — отвечает, — обедай и собирайся, сейчас арба подъедет, в село тебя заберет...» — «Откуда же все взялось?» — недоумеваю я. «Там все узнаешь...» — отвечает он и улыбается...

Старик опустил седую голову и ненадолго умолк, лишь в волнении дрожали его жилистые натруженные руки...

— Два говола муки, два хюма вина, три чанаха сушеной рыбы, пуд риса да невесте подарки послал тогда Келебебе к отцу в село от моего имени, мол, все это к свадьбе... А ведь в то время это все стоило немалых денег. Отдал, видно, все, что накопил, да у друзей позаимал немного...

Прошли годы, пятерых сыновей и семерых дочерей вырастили мы с женой, внуков и внучек две дюжины, добрых дел у каждого из нас немало: ореховый сад у подножия села — заложил его я, теперь он колхозный, родники, что сохранены и постройкой украшены в округе — тоже дело рук наших, живем счастливо и в ладу с совестью... И всем этим, я считаю, обязан незабвенному своему другу, Келебебе...

Так уж случилось, при жизни друга не сумел сказать ему всех этих слов и вот почему обрадовался, сын мой, узнав, что Келебебе — твой дед, я устроил этот вечер, чтобы вспомнить и воздать должное Доброму Имени достойного человека!..

У каждого человека в жизни бывает три имени: первое, которое дается ему при рождении, второе — это даже не имя, а кличка, приобретенная походя, третье же — это имя, которое ты заработал жизнью. Келебебе называли Светлым. Его уже нет, но добро его помыслов и дел по сей день светит всем, кто его знал.

Старик замолчал, пригубил шампанское, затем устало, но величественно сел на услужливо подставленное ему кресло.

Ели молча, видимо, никто не хотел первым нарушить состояние воцарившейся торжественности. Я искоса поглядывал на своего товарища, который сидел, словно наэлектризованный, то краснел от нахлынувшего вдруг потока похвал в адрес деда, то, поминутно вытирая потный лоб, становился бледным, будто оказывался на краю обрыва. Ему было нелегко. Я же благодарил судьбу за этот вечер и за эту встречу...

Затем сам же аксакал шуткой разрядил обстановку. За столом стало оживленней и проще.

Спокойствие вернулось и к моему товарищу, и он перед отъездом попросил слова.

— Спасибо вам, дорогой аксакал, за приглашение

и добрые слова в адрес моего дедушки. Сегодня вы преподнесли нам, молодым, добрый урок. Ничего особенного в жизни я еще не совершил, лишь стараюсь быть полезным. Это больше старания, чем дело... Но, как видите, очень часто пользуюсь вниманием и доброжелательностью окружающих меня людей. Это не потому, что я заслужил, нет, это не моя заслуга, я лишь пользуюсь плодами доброго имени своих предков. Всю жизнь я буду стремиться к тому, чтобы дети наши, так же как и мы, пили из родника Доброго Имени своих отцов...

РЫБАЧКА

Вот уже много лет, обнажая причудливое каменистое дно, отступает Каспий. Огромные камни у берега оголились совсем и омываются лишь у основания, а те, которые чуть дальше в море, стоят словно в ряд, где по пояс, а где с головой в воде, выпячивая в тихую погоду покрытые морской зеленью скользкие спины.

Рыбакам стало вольготно, они становятся теперь на эти вылезшие со дна камни и закидывают свои удочки и спиннинги как можно дальше в море, где гуляют прожорливая тарашка и хитрая шамайка. Те же, кто смелее, в бахилах, ловко балансируя по скользким телам этих окаменевших чудовищ, идут дальше в море, чтобы получить еще больший простор.

Вопреки традициям на берегу появились и рыбачки. Их мало. От суетливой морской братии их отличают усердие и терпеливость. Молодая рыбачка непривычно ловко закидывает спиннинг и участливо слушает словесную перепалку рыбаков. Спор их разгорелся незаметно, как доселе дремавший, а потом вдруг вспыхнувший костер.

— По соседству с нами, — подхватив чью-то неслучайную реплику, выворачивая наизнанку голенища мокрых бахил, говорил промокший до нитки большеголовый, широкотелый, с белой проседью на висках черноволосый рыбак, — жил один, лучше сказать... Хомяк. В войну нажил он, по нынешним временам, огромное богатство, барствовал, глумился над солдатками, как петух в курятнике. — Он тяжело вздохнул и ненадолго умолк. — Мужики все были на фронте, а этот... ущерб-

ностью прикрылся. Кривой-то кривой, а вот хитрости был особой, поганец. Умер он несколько лет назад в старости да в достатке, а отпрыски после его смерти, при дележке награбленного отцом состояния, чуть было горло друг дружке не перегрызли. Ах, возмутился я тогда, засомневался в справедливости Всевышнего, слепой и глухой ты, говорю ему про себя, как же ты, всевидящий, под самым, можно сказать, своим носом столько мерзостей не заметил, ну и так далее... — Он, ловко прикрывшись полотенцем, переоделся в сухие брюки и, выжав мокрую рубаху, расстелил ее на камне. — Короче, конфликт у меня с ним вышел. Вспомнил я свое голодное и холодное детство, горькую долю матерей наших, и такая меня злость одолела, не мог примириться, что этому негодяю такой благополучный конец выпал.

Октябрьское солнце хотя и светило ярко, а все же море дышало свежестью.

— Гриша, а Гриш, — окликнула его рыбачка и бросила ему рубаху. — На, переоденься, не гляди, что солнце, прохладно небось...

— А-а, Соня, спасибо, дружище. — Рыбак быстро надел брошенную ему рубаху и согласно добавил: — Да, как говорится, осень идет и холод за собой ведет...

— Может, у Хомяка-то твоего не так уж и ладно все было? — подсев к рыбакам, спросила Соня.

— Представь себе, — в задумчивости ответил черноволосый Гриша, прыгая с одной ноги на другую и таким образом согреваясь, — самое невероятное случилось потом, прямо черт-те что... Сперва, где-то через год, умер его сын, хороший, в общем, парень... Не прошло и двух месяцев — в автомобильной аварии погиб и второй сын... Ах, думаю, гад ты поганый, сам напакостил, а дети теперь за тебя расплачиваются...

— Эй, Григорий, кончай физкультуру-то, садись чайком согрейся, — заметил его друг и протянул ему чашку дышавшего паром чаю. — Ты пей и рассказывай...

Григорий взял чашку, уселся в проеме скалы, где сидели промокшие рыбаки, отпил несколько глотков и продолжал:

— В течение трех лет по его семье словно проклятье пронеслось. После трагической гибели сыновей у одной дочери дом сгорел, у другой все украли, короче, все пошло прахом, будто какая-то слепая сила, спохватив-

шись вдруг за ранние промашки свои, разом решила все исправить...

— В жизни все так, — облокотившись о выступ скалы, глубокомысленно сказал уже немолодой, с широкой рваной осколочной раной на щеке, рыбак. — Ни добро, ни зло безответными не остаются... Жаль только, что за злодеяния одних приходится расплачиваться другим... кхе... кхе...

Он как-то гулко, с хрипотцой кашлянул и провел ладонью по ущербной щеке.

— Да-а, — задумчиво протянул самый молодой рыбак и, глубоко вздохнув, задумчиво добавил: — Надо же...

— Вы, мужики, не серчайте, что баба в разговор влезла, — приподнявшись и встав для удобства на колени, заговорила вдруг Соня, — хочу рассказать вам о своем отце, можно? — Она сразу умолкла и вопросительно взглянула на рыбаков.

— Валяй, чего там... — кто снисходительно, кто с улыбкой, разом зашумели рыбаки. — Ты, Соня, свой парень, рассказывай...

— Ну, спасибочки, милые! — Соня разом всем благодарно улыбнулась, отчего четче обозначились нежные ямки на ее щеках.—Было мне лет пять-шесть, а в семье нас было семеро, когда мы всем гуртом перебрались в другое село... До сих пор для меня остается тайной, почему отец тогда, в лихую годину войны, перебрался в новый аул...

— Может, от военкомата?.. — с ехидцей заметил один из рыбаков.

— Не-е-т, — совсем без обиды ответила Соня, — хром он был... А вот мастер был большой, каменщик, что называется, золотые руки... У кого домик развалился, тому развалюху починит, кому коровенку от лютой зимы прикрыть негде, тому сарайчик сварганит, когда же единственный мост, без которого аул оставался отрезанным от всего мира, начал рушиться, он дни и ночи, один — мужики почти все были на фронте — восстанавливал его... Э-э, что там говорить, не было такой семьи в ауле, кому бы он не помог, а сам, со всей нашей оравой, был без дома, жил в сарайчике одного доброго хозяина...

— Что же он, каменщик, не мог себе домик построить? — удивленно спросил молодой рыбак.

Соня как-то странно, больше даже снисходительно посмотрела на него и ответила:

— Некогда было, наверное... для себя некогда было, кругом столько трудностей и горя, что о себе он, видно, забывал, работал, лишь бы людям помочь, да и нам на хлеб заработать... Скажу вам по правде, — Соня вдруг оживилась и улыбнулась своим воспоминаниям, — и люди для отца ничего не жалели, платили ему добром... Помню такой случай: голодно было, а отец привез мешок кукурузной муки, радость-то какая была... Привез и положил у дверей сакли, домой не заносит... Мать ему говорит, ты чего, мол, домой-то не несешь, а он в ответ, мол, подожди малость, а сам подзывает соседских детей и каждому дает по полной миске. Половину мешка раздал. Мать ему говорит: «Ты что, шальной, делаешь, дети голодные!» А он отвечает: «Сею!» «Что?» — ничего не понимает она. А он хитро улыбается и снова отвечает: «Сею!» Признаюсь вам, мужики, мы все тогда в семье думали, что отец наш малость того, с причудами, не от мира сего...

— Ну ты молодец, Соня! — улыбаясь, проговорил молодой рыбак, зачарованно разглядывая раскрасневшуюся от волнения рыбачку.

— Да, да, — подтвердила Соня, — к тому же он в самом конце войны заболел и слег. — Вначале еще кое-как ходил, но через пару месяцев его разбил паралич и он слег окончательно... Можете себе представить, с горем одних рядом радость других, у некоторых мужья и сыновья домой возвращаются, а мы... без своего угла да еще с парализованным отцом в чужом доме...

— Что же люди? — с какой-то надеждой спросил рыбак с изуродованной щекой.

— Люди? — переспросила Соня. — О них и речь... Втайне от нас они вскоре собрали сход и всем аулом решили построить для нашей семьи дом... и построили, переселили нас в него и до тех пор, пока мы подросли... мы постоянно находили у своего порога то мешок муки, то баранью тушу, то сыр, то корм для нашей коровы, которая тоже была преподнесена в дар...

«Видишь, жена? — узнав о заботе аульчан, со слезами радости на глазах сказал как-то отец накануне своей смерти... Ты спрашивала меня тогда, что я делаю? Сеял я, всю жизнь сеял...»

Соня умолкла, незаметно смахнула накатившую-

ся на глаза слезинку, приподнялась и отошла к своему воткнутому в расщелину скалы спинингу. Каспий плескался о прибрежные камни, выбрасывая на них мириады брызг. Слышен был лишь шум начавшегося прилива.

— Да-а, видно, так и есть, — нарушил молчание черноволосый Григорий. — Что посеешь, то и пожнешь...

ЧУМА

Анаит и Зулейха жили по соседству. Дома их, прижавшись друг к другу, четырьмя большими окнами смотрели на улицу, а дворовым фасадом были повернуты каждый к своей полоске приусадебной земли, между которыми в обнимку росли два ряда инжировых и гранатовых деревьев, где безраздельно, не признавая границ, господствовала детвора той и другой стороны.

Село, в котором жили Анаит и Зулейха, расположено в Армении, в сорока верстах от Азербайджана. Но границы здесь никакой нет, если не считать каменистой гряды, через которую добрые руки людей проложили дорогу, да с обеих сторон от нее посадили большой плодовый сад, названный потом «Райским садом».

Больше половины жителей села — армяне, другая же часть — азербайджанцы. В нем никогда не было ни церквей, ни мечети, но это не мешало его жителям верить своим богам и в то же время жить в дружбе и согласии. А в последние годы все чаще заключались смешанные браки, лишний раз говорившие о том, что из всех богов наиболее почитаемой стала здесь великая богиня жизни — Любовь.

От отцов и дедов к сыновьям и внукам, как эстафету, передавали здесь легенду о том, что много веков назад два доблестных сына этих орлиных краев, два закадычных друга Сурен и Ахмед отвоевали у каменистой гряды лоскут земли и начали крестьянскую жизнь, что первые дома здесь построены именно из тех камней с красными жилами гранита, которые когда-то, давным-давно, от причуд природы посыпались с вершин соседней горы и рассыпались по всей округе. Вот с тех пор и селились здесь те, кто умел трудиться и знал этому цену.

Нелегкая крестьянская жизнь не оставляла времени для досужих разговоров и пересудов. Труженик всегда думает о насущном, ему некогда лясы точить. Но зато горе и радость здесь были общими и делились на всех поровну. А о человеке судили по его труду, леность осуждалась и служила поводом для насмешек, трудолюбие же и мастерство приносили славу и уважение. Что же касается интеллигенции села, которая по природе своей любит порой наводить, как говорится, тень на плетень, порыться в выброшенном и забытом, как ненужном, то и она была своя, доморощенная — с детства приученные к труду сыновья и дочери тех же крестьян.

У Анаит было двое детей — круглолицый Ашот и большеглазая Соня, после которой врачи предостерегли Анаит от деторождения. А вот Зулейха принесла в в семью четверых сыновей: Мирзу, Гусейна, Мамеда и Тофика да двух дочерей: Лейлу и Беневшу. Сурен же, муж Анаит, и Ахмед, муж Зулейхи, считали, что у каждого из них пятеро сыновей и три дочери, и не мыслили жизни без совместных вечерних чаепитий и праздничных застолий, не уставая повторять при этом, что «близкий сосед лучше дальнего родственника».

...Война вошла в их жизнь в одночасье, когда Сурен и Ахмед, накинув на плечи вещевые мешки, отошли от ворот, сели на старенькую полуторку и прощально помахали рукой.

— Га-р-р! — зловеще гаркнула тогда пролетевшая рядом ворона и вселила в трепетные сердца верных и любящих жен тревогу за судьбу покинувших дом мужей.

— Будь ты неладна! — смахивая слезу, сказала Зулейха, и было непонятно, кому адресовала она это проклятье: войне, внезапно изменившей жизнь ее семьи, или так некстати пролетевшей мимо черной вороне.

Да, не напрасно встревожилась тогда Зулейха, не обмануло ее больное сердце предчувствием. Вскоре, вслед за солдатскими треугольниками, пришла печальная весть, что ее Ахмеда больше нет... Изменилась женщина в лице, восковыми стали ее некогда вишневые губы, сильнее прижала к материнской груди младшего сынишку и замерла в ужасе. Нет, не сумела она заплакать, не было слез в ее потускневших глазах, словно не весеннее солнце светило вокруг, а мрак махал ей черными крыльями.

— Ахмед, дорогой! — впервые за все время болезни тихо произнесла Зулейха и в тот самый день, когда она проводила мужа на войну, отдала Богу душу.

Соседских детей Анаит не оставила одних, да и как было их оставить, коли старшему было четырнадцать, а младшему — три. Не нарушила Анаит данного Зулейхе обещания, все продолжалось как прежде: она учительствовала, дети учились и помогали ей в домашних делах — жили одной семьей. Когда кругом были ликование и радость по случаю окончания войны и возвращались в село оставшиеся в живых солдаты, а Анаит с детьми со дня на день ждала возвращения мужа, немилосердная судьба двадцатого мая преподнесла им еще один коварный сюрприз — в одной из немецких деревень вражеская пуля унесла жизнь и Сурена...

— Мамочка, родненькая, не умирай! — кинулись к убитой горем матери ее осиротевшие дети и сквозь горькие слезы причитали: — Мы тогда тоже умрем...

И Анаит выстояла, ибо в шестнадцать испуганных жизнью глаз на нее смотрели восемь несчастных детей. Они требовали заботы, но они же и помогали ей преодолеть все трудности послевоенной жизни. «Птенчики мои дорогие...» — мысленно радовалась она детям.

Вскоре подросли и окончили школу Мирза и Ашот. Первый уехал в Баку, поступил в институт, второй же — в Ереван, стал учиться на врача. Затем стали вылетать из родного гнезда остальные ее «птенчики»: Гусейн и Мамед окончили ремесленное училище и уехали работать в Сумгаит, в Агдам вышли замуж Лейла и Беневша, а возмужавший Тофик поступил в Бакинское военное училище.

Шли годы, но никогда не теряли дети связи с матерью, а связующим звеном этой большой уже, выросшей цепи, оставалась ласковая большеглазая Соня, теперь уже сама ставшая матерью.

И вдруг снова война, теперь уже не там, на западе, а здесь рядом, в собственном доме... Чума национальной розни охватила города и села, она шла страшной волной, не щадила вековые устои и тысячелетнюю дружбу, унося в своих смертельных объятиях десятки и сотни жизней. Теперь уже свои лиходеи травили одних на других, сеяли семена вражды между армянами и азербайджанцами, выискивая пятна на чистом знамени двух братских народов. Радовалась эта свора, что ценой

жизни многих сотен ни в чем не повинных людей она сумела отвести удар от своих воровски нажитых миллионов...

— Что же вы делаете, дети мои? — призывала к разуму своих, взявших в руки оружие вчерашних учеников старая Анаит. — И Христос, и Мухаммед всегда звали людей к милосердию, а здесь христианин убивает мусульманина и наоборот. Ничего не понимаю...

В эти дни национальной скорби и умерла Анаит, не вынесло раненое сердце матери еще одну войну...

И та полоса земли на каменистой гряде, которая называлась раньше «Райским садом», где и межи не было, вдруг стала «границей», будто земля эта рождала по весне не нежный цвет абрикосов и миндаля, а плоды недоверия, подозрительности и вражды. Многих трудов стоило мужественной Соне сообщить своим братьям и сестрам в Азербайджан о смерти матери и дне ее похорон.

А на следующее утро к никем не охраняемой и безопасной раньше границе со стороны Азербайджана подъехал автобус с траурными лентами по бокам. В нем были Мирза и Гусейн, Мамед и Тофик, Лейла и Беневша— с женами, мужьями и детьми, все вместе, всей большой семьей, они торопились в свое родное село, на похороны.

Весть об этом молниеносно пронеслась по округе, прекратились выстрелы, замерли в задумчивости суровые лица одурманенных ложью людей.

— Не стрелять! — пронеслось меж ущелий и гор. — Не стреляйте, ребята! — прозвучала команда на двух языках.

И через живой коридор до самого села автобус скорби тронулся в путь.

Хотя и был декабрь, но было не холодно, крупными хлопьями шел скорбный снег. Хоронили Анаит всем селом. И вот, когда на край могилы положили гроб, вдруг среди собравшихся пронесся вздох удивления — это с соседней горы спускались к могиле попрятавшиеся в расщелинах скал безоружные парни, чтобы проводить в последний путь свою старую учительницу.

— Дорогие мои сельчане! — завершил прощальный митинг безрукий учитель истории старый Рубен. — В этот скорбный час прощания с нашей Анаит мне хочется рассказать вам притчу. Говорят, возвращался после

долгих поисков Счастья к себе в село один бедняк. А тут навстречу ему Богатство. Обрадовался бедняк и спрашивает того, куда, мол, ты идешь.

«Туда, где есть дружба!»

Не смог бедняк пригласить его к себе, потому что не было в их селе дружбы. Пошел огорченный бедняк дальше и встретил Силу. Обрадовался и спросил ее:

«Сила, куда ты идешь?»

«Туда, где есть дружба!»

Не смог он предложить и Силе поселиться в своем селе, ибо не было там дружбы.

С тоской и грустью продолжал он идти, как вдруг навстречу ему долгожданное Счастье.

«Счастье, куда ты торопишься, я так долго тебя искал!» — воскликнул бедняк.

«Туда, где есть дружба!»

Понял бедняк, что не уговорить ему Счастье, так как не было в их селе дружбы.

Старый Рубен вдруг внезапно умолк и с грустью посмотрел на собравшихся.

У могилы армянки-матери плакали ее дети-азербайджанцы...

ПЛАТОЧЕК

Несчастье обрушилось на ее семью не вдруг, как пожар или тайфун, и даже не как лавина с гор, хотя с лавиной как раз и следовало бы сравнить, ибо и она исподволь накапливается, набирает силы, чтобы обрушиться потом в какой-то миг.

Именно так и произошло в семье этой молодой женщины с тремя малолетними детьми после того, как запил муж. Ушел в запой, и надолго. А началось все с семейных вечеринок с друзьями, потом с кружечки пива на улице, ну а дальше все пошло как по маслу: остограммивался по случаю и без случая, окилограммивался с каждой получки и зарплаты.

Беда была и в том, что спокойный и немногословный в трезвом состоянии, в пьяном разгуле он становился разъяренным, как разбушевавшийся Каспий, и «клято» ругался с женой, доводя свои выражения до самой, как говорится, «высшей мате-мати-ки».

И в результате нормальная в прошлом семья распадалась на глазах, и от прежней любви, что принесла им три живых плода, теперь не осталось и следа.

Не выдержала женщина этой обрушившейся на нее беды, не смирилось ее сознание, что яркое счастье, которое еще вчера освещало жизнь ее семьи, вдруг стало гаснуть и исчезать, как догорающая восковая свеча. Воспротивилась вся ее жизненная сила, восстав против пьянок и матерщины мужа. Она возмущалась, старалась вразумить его, объяснить, что семья не выдержит такого несчастья, распадется, как разбитый кувшин. Но когда, несмотря на все это, муж все же продолжал пить и сквернословить, она взрывалась, посылая на его голову все проклятья, что могут родиться в голове возмущенной женщины.

В порыве гнева и негодования она, порой, переходила в такую словесную атаку, от чего муж, в свою очередь, в пьяном угаре еще больше закипал и переходил от слов к избиению.

Наконец женщина пришла к выводу, что так дальше продолжаться не может, что совместная жизнь с мужем дошла до той самой критической точки, за которой обрыв, пропасть, бездна, что эта семейная связка тянет к гибели не только ее, но и подвергает опасности жизнь ее детей, что эту связку надо немедленно оборвать...

— Нет, мама, я больше не могу! — в слезах говорила она матери, к которой пришла вместе с детьми в гости. — Кажется, наступил предел моему терпению. Каждый день пьяный... не просыхает, а матерится, уши вянут, теперь еще и бить стал...

Она говорила и плакала — горько, навзрыд, обессиленная навалившейся на нее бедой. Еще недавно казавшаяся вечно молодой, она вдруг как-то состарилась, опустились плечи, склонилась к земле некогда гордая, красивая голова, в волосах чуть заметно стала пробиваться горькая проседь, в уголках рта пролегли глубокие борозды.

Зная ее вспыльчивый характер, мать все же старалась успокоить дочь, просила не доводить, как говорится, воду до кипения. Однако в следующую минуту дочь резко достала из сумки платочек, вытерла слезы и, как человек, принявший твердое решение, заявила:

— Нет, мама, я с ним больше жить не буду! Хватит!..

— Да что ты, дочка! — старалась урезонить ее убитая горем старая мать. — Как же дети без отца? Да и ты без мужа... Не торопись, дочка. Обрубишь веревку, потом как бы ни старалась, все же узел на ней не спрятать...

Но когда заметила, что решение дочери непреклонно, задумалась старая женщина и неожиданно сказала:

— Ты помнишь, дочка, старика Худодота, соседа нашего?

— Да, помню, — непонимающе ответила дочь.

— Схожу я к нему, посоветуюсь... Человек он мудрый, не одному помог в жизни. Потерпи день-два. Ломать — не строить, дочка, а может, еще и не поздно что-то исправить.

Старый Худодот встретил соседку у себя во дворе очень приветливо, расспросил о житье-бытье, о дочери и внуках, что дало повод обеспокоенной за судьбу дочери старой матери, не откладывая разговор в долгий ящик, сразу взять быка за рога.

— Вот это и привело меня к тебе, дорогой Худодот, — сказала она, усевшись на услужливо предложенный ей стул. — Беда у нее, а что делать, как ей помочь — не знаю...

Внимательно выслушал Худодот рассказ старухи, поглаживая свою ухоженную седую бороду. На нем был бешмет из серого сатина, легкие брюки из темного ситца, а голову украшала бухарская папаха, которую он, сняв, положил рядом с собой на стол...

Когда старуха, расстроенная исповедью, закончила ее, Худодот угостил ее чаем и сказал:

— Скажи дочери, пусть она сегодня придет ко мне. Попробую ей помочь...

Одаренная добрым словом, старуха стала его без конца благодарить, поминутно улыбаясь от радости.

В тот же день Худодот принял и ее дочь. Подробно расспросил, выслушал ответы, потом встал, хитро улыбнулся, и как полководец, задумавший тайный тактический ход, смело направился к своей комнате.

Молодая женщина сперва опешила от вопросов старого Худодота, в какой-то миг она внутренним чутьем, только им, женщинам, понятным, уловила в глазах старика даже осуждение в свой адрес, однако вопросы мудреца были настолько разнообразными, затрагивали такое обилие жизненных ситуаций, что она так и не су-

мела понять и найти между ними логической связи.

— Скажи, дочка, — спросил старик, — твой муж раньше выпивал?

— Нет, — ответила она, — пьет чуть больше двух лет.

— А когда он пьяный возвращается домой и ругается с тобой, — снова спросил Худодот, — что ты делаешь?

— Я? — переспросила она. — Что я делаю? Я говорила ему, что это вредно, что так можно спиться, что это к добру не приведет. Я и молчанием, и криком старалась разбудить его разум, да куда там...

Вот после этого ответа и встал Худодот со своего места и шагом уверенного в своих действиях человека направился зачем-то в свою комнату.

Вернулся он, держа в руках завернутый в целлофан женский носовой платок, который протянул женщине.

— Вот, дочка, это тебе и, если хочешь помочь себе, выполни одно условие...

— Я все сделаю, как вы велите, — в недоумении ответила она, — только я ничего не пойму...

— Все поймешь потом, — твердо сказал старик, — а условие такое: когда твой муж придет пьяный домой и начнет сквернословить в твой адрес, ты возьми этот платочек в рот и зажми его зубами.

— Как?.. — не поняла женщина.

— А так! — И показал старик, как это следовало сделать. — И до тех пор, пока он не успокоится, зубов не разжимай. Иначе я тебе не помощник. На, возьми этот платок и помни о нашем уговоре.

Женщина с надеждой взяла платочек и направилась домой.

Как и следовало ожидать, муж и в этот вечер вернулся домой, мягко сказать, навеселе и уже с порога, заметив жену с ребенком на руках, заплетающимся языком запел знакомую песню:

— А-а, мо-я до-ро-га-я стер-вуш-ка, ждешь, когда я по-дох-ну?

Женщина молниеносно выхватила спрятанный на груди платочек и зажала его в зубах. Муж тупо, выпученными от выпитого, невидящими глазами глянул на это непривычное действие жены, криво ухмыльнулся, пальцем покрутил у виска, мол, никак жена свихнулась, и, повернувшись к ней спиной, пошатываясь, пошел к

дивану, продолжая при этом материться, переходя от мажорных тонов к минорным, доходя порой до фальцета.

На второй день пьяный муж был слегка шокирован, ибо и на этот раз он полностью не осознал происшедшей в жене перемены, когда увидел, как жена после первых же его вульгарностей зажала в зубах платок, со страхом ожидая его дальнейших действий. Он остановился рядом с ней, качаясь, почти невидящими глазами уставился ей в лицо, ухмыльнулся и нечленораздельно произнес:

— Ин-тер-рес-но...

После этого он еще дважды делал шаг вперед, потом поворачивался в сторону жены и произносил тупо и тоскливо:

— Ин-тер-рес-но...

Но действий не последовало.

По утрам, заметив внимание жены: вычищенные и выглаженные брюки и рубашку, готовый завтрак на столе, он как-то виновато опускал голову, завтракал и будто пристыженный устремлялся на работу с твердым намерением не пить и разгадать это невероятное и непонятное действие жены с платком.

Но как ни ухитрялся он улизнуть от назойливых друзей, пару кружек пива он все же выпивал и возвращался домой навеселе, хотя назойливая мысль о действиях жены сбивала его с «кайфического» настроения и переносила к раздумьям.

Однако и на этот раз, при виде накрытого к ужину стола, чисто убранной квартиры, в его больном мозгу вдруг шевельнулась дикая мысль: вспыхнуло подозрение к жене, что, мол, не зря все это, что-то подлое задумала эта змея, которая поедом ест его в последнее время, и он с криком выплеснул на нее целый ушат такого мата и сквернословия, что только уши затыкай да беги из дома.

Но женщина... Ах, женщины, где вы берете столько мужества?! Женщина снова схватила платочек и так крепко зажала его в зубах, что невольно полились из глаз ее горькие слезы.

— Ты чего? — слетело у него с языка, будто просветлело вдруг в его затуманенном мозгу. — Что с тобой? — недоумевая, спрашивал он молчавшую женщину,

но лишь слезящиеся испуганные глаза ее смотрели с укором и затаенной болью.

Что тогда произошло с ним, какое счастливое событие высветилось в его памяти, что вспомнил, чего устыдился — никому не ведомо, но что-то в нем надломилось, его всколыхнуло и словно взрывной волной выбросило на чистый берег, мгновенно протрезвел его лихорадочно возбужденный мозг... С этого дня он перестал пить, стал избегать дружеских пирушек, «пьяных» лавок на улицах, веселых встреч у пивных... Потекла нормальная семейная жизнь, в дом вернулось счастье...

— Вот видишь, дочка, как порой не надо спешить,— радовалась старая мать, слушая рассказ счастливой дочери. — Надо бы отблагодарить мудрого Худодота, надо же — одним платочком.

На следующий день старая женщина достала из своего сундука незамысловатый подарок, купила сладостей для внуков Худодота и направилась к мудрому старику в гости.

Выслушав старуху, Худодот был крайне обрадован таким исходом, угостил гостью чаем, однако последний вопрос старухи вконец развеселил старика.

— Ты знаешь, Худодот, я всегда восхищалась твоей мудростью, умением найти выход из самого трудного положения, — возвращая платочек, говорила она воодушевленно, — но одно не могу взять в толк: что означает этот платочек, который зажимала в зубах моя дочь? — И, заметив веселые искорки в глазах Худодота, старуха просительно добавила:—Ты извини меня, старую, но никак не могу взять в толк...

Старик, подавив улыбку, убежденно ответил:

— Нет, соседка, не платок она зажимала в зубах, а чуть было не потерянную свою... выдержку.

ВОЛЧИЙ ПИР

Нас трое. Или, как называют нас за глаза, «дружная тройка». Живем мы на селе и учимся в десятом классе. В прошлом году, на летних каникулах, за хорошую работу в колхозе — втроем мы убрали за сезон свыше пятидесяти тонн винограда — нас наградили двухнедельными экскурсионными путевками в Ленин-

град. А потом мы несколько месяцев только и знали, что рассказывали всем о красотах этого дивного города: об Эрмитаже, Исаакиевском соборе, о фонтанах Петродворца и поразивших наши взоры богатырях — атлантах, державших на своих могучих плечах огромные дворцы...

— Как это?.. — никак не могла сообразить наша бабушка. — Они что, живые?

— Кто? — спрашиваю.

— Ну, эти атланты?

— Нет, — говорю улыбаясь, — это статуи, поддерживающие перекрытие здания, ну, как столбы, которые держат нашу крышу...

— И сколько их под каждой крышей? — не унималась бабушка.

— Где как, — отвечаю, — бывает по четыре, бывает и больше...

Мы так и не смогли бы понять, почему бабушка, никогда в жизни не обучавшаяся и, естественно, не прочитавшая ни одной книжки, так заинтересовалась этими атлантами, какие ассоциации вызвали они в ее любознательной голове, если бы не случай.

Нынешней весной, когда враз пошла травка на лугу, нашу «дружную тройку» родители послали на ночную пастьбу коров. Завтра воскресенье, решили они, на учебе нашей это ночное бдение не отразится: мол, успеем уроки сделать да поспать, и единодушно поручили нам принадлежащее колхозникам стадо. Мы, конечно, были этому очень рады, еще бы, впереди была целая ночь, и мы могли вдоволь наговориться...

Перво-наперво мы пригнали коров на отведенную колхозом богатую травой «клетку», за пределы которой нам строго запретили выходить. Прежде всего, потому, что там начиналась опушка леса, где по ночам выходили «на охоту» голодные волки и, видимо, еще, чтобы не затоптать травостой новой «клетки», куда намечалось вывести это же стадо на следующую неделю.

Мы пустили коров по зеленому ковру, развели с трех сторон костры и стали следить, чтобы наши буренушки не нарушили «территориальной конвенции», не перешли установленную границу. Коровы, которым были невдомек наши опасения, сразу пошли щипать зеленую траву, и хрупкую ночную тишину нарушило их мерное пожевывание.

Вначале мы, разговаривая, ходили от одного костра к другому, подбрасывали новые сучья, чтобы не потух огонь. Затем, положив в золу несколько картофелин, собрались у одного костра, но зорко следили за стадом и за другими кострами. Когда была съедена картошка и вконец надоела болтовня, решили разойтись по кострам и, поддерживая их, изредка окликать друг друга, чтобы тепло огня никого не сморило.

Ночь перешагнула за вторую половину. Каждый из нас резвился у костра, прыгал, пел песни, плясал и сразу откликался на зов товарища. Потом, видно утомившись, прилегли поближе к теплу и в надежде, что товарищ бодрствует и при надобности окликнет, все трое— кто раньше, кто чуть позже — заснули...

Проснулись мы от отчаянного лая собак. Забрезжил рассвет, догорала последняя звездочка. Никак сразу мы не могли взять в толк, откуда здесь взялись собаки? Однако в следующую минуту я заметил, как почти под самым моим носом, у опушки леса, две озверевшие от лая собаки набросились на загубившего одну из наших коров матерого волка.

Стадо, сбившись от страха в круг, дико мычало. Костры наши потухли. Волк, изредка огрызаясь на дворовых собак, продолжал свой кровавый пир. Лишь когда на него с дубинкой накинулся и хозяин собак, такой же как и мы пастух из соседнего села (да и мы бросились на помощь), волк нехотя оторвался от своей разодранной жертвы, схватил окровавленный кусок, еще раз оглянулся кругом и стремглав кинулся в лес...

Потом тот же пастух рассказал нам, что он решил уже возвращаться домой со своими овцами и мог пройти мимо, если бы его собаки не учуяли беду и не подняли тревогу. Они кинулись к опушке, увидели огромного волка и от страха подняли страшный лай, отчего он и кинулся сюда. Заметив наше состояние, пастух сперва стал нас успокаивать, потом, разобравшись в ситуации, недовольно покачал головой: был крайне удивлен, как это мы, все трое, бездумно могли оставить стадо на произвол судьбы. Мы, пряча от стыда глаза, пришли в еще большее отчаяние.

Не стану дальше рассказывать о нашем позоре, но в селе только об этом и говорили. Наши родители, сложившись, купили хозяину загубленной коровы другую, так у нас заведено— кто виноват, тот и расплачивается.

Но не могу умолчать о моей встрече с бабушкой после злополучной пастьбы.

— Ну что, внук, — пряча улыбку в уголках морщинистого рта, спросила она меня, — рухнул твой дом? Тяжело было?

— Какой еще дом? — ничего не понимая, спросил я.

— Ну, тот, который вы втроем держали? — снова улыбаясь, сказала она.

— Ты что-то путаешь, бабуля, — сказал я в ответ и хотел было уйти от нее прочь, но бабушка, крепко схватив меня за руку, усадила рядом.

— Ты подожди, внук, не торопись убегать, сумел напакостить, сумей и выслушать. — Она строго посмотрела на меня и добавила: — Помнишь, ты рассказывал о тех атлантах, которые держат на своих плечах большие дома?

— Помню, — в недоумении согласно кивнул я.

— Так вот, внук, крепко запало мне это в душу, — продолжала бабушка, — подумалось мне, что если они живые, как ты или как твои товарищи, тяжело им всю жизнь держать эти крыши и... вот однажды ночью один из них подумал: дай, мол, я выйду из-под своей ноши, освобожусь ненадолго, а мои друзья подержат...

— Ну ты даешь, бабуля! — удивленно и весело заметил я, зачарованно взглянув на бабушку.

— Ты слушай и не перебивай, — строго одернула она, положив на колени свои жилистые натруженные руки. — Сказал это один из атлантов и сделал — вышел из-под крыши, бросил свое дело, возложив его на другого, расправил плечи и пошел гулять... Не знал, не ведал он, что о том же, в то же время подумали и другие атланты и сделали то же самое. И дом, который они держали, рухнул, внук...

Только сейчас понял я намек моей мудрой бабушки и от тяжести вины своей опустил голову.

— Запомни, внук, — заметив мое состояние, уже мягче продолжала бабушка, — если каждый из нас будет с душой выполнять свое дело, дома наши никогда не рухнут...

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Обо всем рассказал нам на годекане старик-дровосек, или «бешчи» из аула Джалган, что расположен на одной из вершин Кавказского хребта, откуда хорошо видны воздвигнутые сасанидами стены древнего города. Начав с шутливой побасенки насчет «некоторого царства и некоторого государства», он без околичностей сразу перешел к рассказу о тех временах, когда семеро его детей были мал-мала меньше и когда хлеб насущный добывал для них своим нелегким ремеслом.

С утра отправлялся он в лес, рубил дрова, разжигал костры, изготавливал уголь, набивал им большой мешок (говол), клал его в легкую двухколесную коляску, которую прятал в тайнике, запрягался в нее, тянул через лес и горные кручи по одному ему известной тропинке, а там, взвалив на спину объемистую ношу, спускался вниз, в город.

И как только на улицах города раздавался хриплый, простуженный голос дровосека: «Беш-ш! Беш-ш! Куьмуьр!» — так сразу же из дворов высыпали женщины и нарасхват раскупали его немудреный товар.

Так ежедневно, распродав уголь и хворост, отправлялся он на базар, делал нужные покупки и снова с ношей или налегке совершал по горным кручам многоверстный путь обратно в аул.

— Когда старшему сыну исполнилось пятнадцать лет, — хитро пряча улыбку, продолжал старик, — обрадовался я, думаю, вот и помощник подрос, и взял его с собой в лес. Навалили дров, разожгли костры, приготовили и загрузили мешки углем и, взвалив каждый свой на спину, отправились в город...

Старик хмыкнул, кашлянул в кулак, вынул из кармана старый затертый портсигар и затейливую самодельную трубку из дуба, неторопливо извлек сигарету, разорвал и высыпал ее содержимое в ладонь и, беря большими огрубевшими пальцами по щепотке махорки, стал набивать трубку... Затем так же неторопливо достал коробок, зажег спичку и жадно, чмокая губами, втянул в себя несколько глотков ароматного дыма...

«Небось, и трубка с «тех» времен!» — разглядывая потускневшие от никотина узоры стариковской самоделки, подумал я, но рассказ дровосека не прервал, ибо не ве-

лят традиции молодым вмешиваться в разговор аксакалов.

— Не знаю, что тогда с ним произошло, — продолжал старик, — устал сынишка мой или в самом деле заболел, не знаю, но не прошли мы и версту, как заявил он, что у него разболелся живот и дальше пойти не сможет... Что было делать? Вытащил я из тайника коляску, бросил один мешок, потом второй, поверх всего этого посадил сына и поволок.

Старик выпрямился, раздвинул широкие плечи, отчего сползла с них, видно, не по размеру пришедшаяся бурка, и снова поднес он трубку к губам.

— Скрипит коляска под непривычной тяжестью, с трудом тяну,проклятую, навстречу ветру, а у самого дума из головы не выходит: как с этим грузом до города добраться...

Вдруг по всему лесу пронесся шум: ш-ш-ш... и то тут, то там раздавался сухой скрипучий треск...

«Что это за шум, отец?» — спросил меня сын.

«Это ветер, сынок, — отвечаю, — растревожил деревья, расшатал их, вот им и больно...»

Отвечать-то отвечаю, а самому от встречного ветра тоже нелегко. Однако не успел сделать сотни шагов, как издалека донесся тоскливый протяжный вой.

«Что это, отец?» — снова встревоженно спрашивает сын.

«Это шакалы, сынок, голодные, наверное, вот и воют...»

Уже у самой опушки вдруг где-то совсем рядом, словно морзянкой простучал кто-то по широкой лиственнице: тук-тук, тук-тук...

«Кто это стучит, отец?» — удивленно спрашивает с коляски сын.

«Это дятел, сынок, — с трудом передвигаясь, отвечаю, — есть птица такая, клювом корм себе добывает...»

— Не стану утруждать вас подробностями того дня, — продолжал рассказчик, — не в них дело: трудностями у нас никого не удивишь. Труженик, что твой глиняный кувшин: упал камень на кувшин — горе кувшину, упал кувшин на камень — все одно, горе кувшину... э-хе-хе... Да, скажу вам правду, хотя оба мешка мне пришлось тогда взвалить на себя, но ближе к горо-

ду сын шел уже веселее, а на улицах мешок свой нес сам. Вот так.

Через несколько дней я снова взял сына с собой в лес, но на сей раз с тайной мыслью испытать его... Деды и прадеды наши нередко устраивали нам подобные испытания, и, согласитесь, они служили добрыми уроками в жизни, обязательно оставляли след...

На этот раз сын работал расторопно. Скоро нашли мы сухие мертвые деревья, порубили, разожгли костер и, когда древесина обуглилась до нужного предела, сбросили все еще горячие обрубки в заранее заготовленную яму, а потом накрыли ее тонким слоем земли. Готовить древесный уголь, скажу вам, дело нелегкое. Кроме труда, оно требует еще сноровки, умения, да что я вам объясняю!..

Набрали мы в свои мешки все еще тепленькие, но уже безжизненные угли, загрузили ими коляску, как тут я, охнув, схватился за ногу и, будто от боли, присел на пенек.

«Что случилось, отец?» — встревоженно бросился ко мне сын.

«Я, кажется, подвернул ногу, — как можно естественнее ответил я и твердо добавил: — Бери свой мешок и иди в город, я останусь здесь...»

«Что ты говоришь, отец? — недовольно сказал сын.— Я тебя одного в лесу не оставлю...»

«Как же быть?» — растирая мнимо подвернутую ногу, спрашиваю я.

«Садись на коляску, — отвечает сын, затем помогает мне сесть на край коляски,—я попробую дотащить ее до тропинки, а там видно будет...»

Хотя незаметно для сына, отталкиваясь ногой, я и помогал ему тянуть коляску, все же чувствовал, что силенок у парня маловато. Однако начатую игру решил довести до конца. И когда раздался в лесу перестук дятла, я притворно спросил его:

«Кто это стучит, сынок, ты не знаешь?»

«Дятел, кажется», — нехотя ответил он.

Потом где-то вдали завыли шакалы.

«Кто это воет, сынок?»

«Шакалы воют. Сам же говорил», — недовольно отвечал сын.

А когда я в третий раз спросил его, что это за птица,

которая взлетела прямо рядом с нами, он в сердцах вскричал:

«Что да что! Я тут еле коляску тащу, а ты вопросами сыплешь! Слазь, не могу больше». — И он устало сел на землю...

Я поднялся с коляски, прихрамывая, подошел к нему, сел рядом, положил левую руку на его хрупкие плечи и, продолжая правой массировать ногу (игру надо было довести до конца), сказал:

«Один отец, говорят у нас, семерых сыновей вырастит, на ноги поставит, а у семерых сыновей для одного отца сил не хватит...»

Опустил голову и задумался мой сын, задумался... А я, вспомнив древнюю притчу, прижал сына к своему уставшему от труда и забот телу и продолжил:

«Недалеко от этих мест, может быть там, в нашем древнем городе, решил один севдегер построить себе дворец и пригласил для этого одного известного мастера-каменщика, которому установил царскую плату: пять эршефи в месяц и выплачивать их на двадцать девятый день каждого месяца. Шли месяцы, и по мере того как строился дворец, ежемесячно, в установленный день, хозяин выплачивал мастеру пять эршефи.

Но однажды опоздал севдегер с выплатой мастеру, не успел вернуться домой к установленному дню, случилось непредвиденное — заболели вьючные животные и караван задержался в пути еще на одну неделю. И каково же было удивление хозяина, когда мастер, получая плату, высказал неудовольствие.

«Что? Ты недоволен, уста? Я плачу тебе ежемесячно пять эршефи, и их хватит не на одну семью. Куда же ты их тратишь?»

«Два эршефи — я ежемесячно возвращаю долг, — ничуть не смутившись, ответил уста, — один эршефи даю в долг, один выбрасываю, а один — съедаю сам».

«Ты говоришь загадками, уста, — снова удивился севдегер. — Может быть, ты все-таки объяснишь это?»

«Что ж, объясню, — ответил уста. — В моей семье в добром здравии живут мои отец и мать, они вскормили и вырастили меня. Так вот, в два эршефи я ежемесячно возвращаю им сыновний долг, один эршефи я, как каждый родитель, отдаю в долг сыну, четвертый эршефи я расходую на приданое своей дочери, считай, выбрасываю, ибо все это вместе с ней уйдет в другой дом,

а пятый, дорогой севдегер, я расходую на себя и свою жену...»

На годекане установилась тишина, которую нарушил лишь глухой старческий кашель.

— Знаю, знаю, — улыбнулся старик, обнажив изъеденные жизнью остатки зубов. — Вас так и порывает спросить, как, мол, сын, оправдал ли отцовские надежды? Не скрою свою радость: с того дня, когда сыну впервые открылась изнанка жизни, он никогда не сказал мне слова против и достойно исполняет свой сыновний долг...

ШАХСКИЙ ПЛОВ

Они росли вместе, на одной сельской улице, босоногие лазили через общий дворовой забор и одинаково получали затрещины за краденные с колхозной бахчи дыни и арбузы, учились в одном классе и окончили одну сельскую школу, вместе оплакивали своих отцов, когда получили похоронки с войны, вместе голодали в годы учебы в институте и считали великой удачей, когда удавалось в рабочей столовой досыта наесться хлебом с горчицей, вместе окончили сельсхозяйственный институт и даже женились потом на сестрах из соседнего села. Одного звали Шолум, другого — Пинхас.

Но как это часто случается в жизни, если Шолум был несколько горяч, нетерпелив, то Пинхас был уравновешен и трудолюбив, если первый мог порой едко надсмеяться над товарищем, смотрел на всех свысока, то второй был, наоборот, добр и дружелюбен. Если Шолум учился легко и считал, что дело не в знаниях, а в дипломе, мол, важен результат, то Пинхас учился, как говорится, на совесть, всего добивался своим «горбом» и окончил институт с «красным» дипломом.

Правда, в жизни не всегда так бывает, но случилось, что Пинхаса избрали в родном селе председателем колхоза, а Шолум стал его агрономом. И снова вместе, засучив рукава взялись за колхозное дело, впряглись в этот тяжелый воз. И хотя с натугой, не сразу, с годами, но все же потянули его в гору.

Появился достаток и у сельчан: дома ставят двухэтажные, наверху жилье, а внизу загон для скота, нарядней стали женихи и невесты, некоторые механизаторы обзавелись даже собственными автомашинами. Да

что говорить! Люди стали жить лучше. И как результат, народ потянулся в колхоз, сердцем почувствовал в нем опору.

Почет и председателю. За дела добрые, за заботу о людях и к нему с вниманием: премии и ордена, депутатом избрали, в столицу стал ездить посланником колхоза.

Но... с некоторых пор стали наезжать в колхоз не только делегации за опытом, но и проверяющие... Кто-то слал отсюда письма тревожные, что, дескать, цифры в отчетах председателя дутые, обманывают, мол, всех; что не множит, а разбазаривает он добро народное: «верхам» — подарки и сам наживается; что придирками «измордовал» людей, ни с кем не считается, а совсем недавно выгнал из колхоза лучшего механизатора... И писем таких становилось тем больше, чем лучше шли общие дела.

Приезжали комиссии, проверяли, отрывали от дела людей, дотошно до всего доискивались, а потом в недоумении разводили руками и уезжали ни с чем — поклеп на председателя не подтверждался. Правда, факт отстранения пьяного тракториста «имел место», но над этим «фактом» смеялись потом и члены комиссии, и, стыдливо пряча глаза, сам «пострадавший».

Однако поток жалоб, а вслед за ними и комиссий не уменьшался. Стало ясно, что какой-то завистник решил довести Пинхаса до белого каления, извести его и выжить. Расчет был верным: верхушку, хотя они и поддерживают председателя, жалобы эти, наконец, выведут из себя, всем эта канитель надоест, и председателя переизберут. Поняли это колхозники и обратились в компетентные органы — вывести тайного писаку на чистую воду. И вывели. Им оказался... агроном колхоза Шолум.

Первым узнал об этом уже под вечер председатель колхоза Пинхас и, распереживавшись, до утра не сомкнул глаз. Он ждал чего угодно, только не этого. Не мирился его ум, не принимало сердце, что Шолум так жестоко мог оскорбить их дружбу, вот уже несколько лет подло и тайно «стрелял» ему в спину. Он много выстрадал за эту ночь...

Несмотря на то, что виновник его сердечных болей и бессонных ночей, наконец, был найден. Пинхас все же не хотел его всенародного обсуждения, его доброе, больное сердце было против подобной кары для своего быв-

шего друга, даже если он и оказался столь подлым и коварным, однако колхозники были непреклонны...

— Когда-то мы с тобой сидели за одной партой, помнишь? — обратился к Шолуму на общем собрании колхозный весельчак Лути-пути. — Теперь же ты мне и руки не подаешь, как же, королевской крови!..

Волной прокатился смешок, колхозники удовлетворенно задвигались.

— Тебе все мало, к власти лезешь, — совсем невесело продолжал Лути-пути, — председательское кресло любым путем, пусть подлостью, коварством, жестокостью, все равно... Была бы твоя воля, ты бы и через нас перешагнул, никого б не пожалел. — Он вдруг умолк, тяжело опустил голову, словно не Шолум, а он был виновен в происшедшем, нервно сжал кулаки и так же внезапно, выговаривая каждое слово, громко добавил:— Что ты за фрукт, мы хорошо знали, много прощали, наверное, так надо, ибо все мы — люди, не без щербинки, но такое простить нельзя, нет больше нашей веры!

По залу прокатился гул одобрения! Возмущенные голоса требовали исключить Шолума из колхоза и предать суду за клевету, за нарушенный покой. Чувствовалось, что колхозники настроены воинственно, не намерены прощать виновника, обстановка накалилась до предела, слишком долго испытывали их терпение и так бесцеремонно пренебрегли их доверием...

Опустив голову, пряча от людей глаза, сидит у стенки, в самом конце первого ряда Шолум. Только сейчас осознал он... Нет, не глубину своего падения, не меру подлости и предательства, а тяжесть нависшего над ним возмездия. И все нутро его затрепетало, содрогнулось, в поисках выхода заставило лихорадочно заработать мозг, приготовить к действию сильное, холеное тело. Шолум понял, что если его сейчас простят, то потом все обойдется... и он встал. Жестикулируя руками, с гримасами отчаяния, он начал было что-то объяснять, стараясь спасти себя в этот критический момент... Однако в следующую минуту из первого ряда поднялся высокий старик, и словно по мановению волшебной палочки в зале установилась тишина. Замолк и Шолум. Старик сперва кашлянул, отвернулся от Шолума, словно его и не было в зале, и заговорил:

— Когда человек объясняет свою подлость, это вдвойне подло! Но я не об этом, я о сути хочу сказать.

Ты не возражаешь, председатель? — обратился он вдруг к Пинхасу.

— Пожалуйста, дедушка Худодот, — ответил Пинхас и жестом пригласил его к трибуне.

— Нет, нет, спасибо, сынок, я вот отсюда, с места.

Старый Худодот снова кашлянул и начал рассказ:

— Однажды один бедняк шел мимо шахского дворца и остановился, пораженный, у его ворот — его чуткий нос уловил вкусный запах богатых приготовлений. Не в силах оторваться и уйти, он стоял и вдыхал этот гипнотизирующий аромат. Случилось так, что в это время шах стоял у окна и заметил у ворот подозрительного человека.

«Эй, визирь! — крикнул он. — Там, у ворот, какой-то человек, приведите его...»

Воля шаха была тут же исполнена.

«Что ты там, у ворот, делал? — сурово спросил шах бедняка. — Никак обворовать меня собрался?»

«Да что ты, мой великий шах, — упав ниц, отвечал бедняк. — Я прихожу к твоему дворцу, чтобы вдыхать вкусный запах твоих редких блюд, и не только сам насыщаюсь, но, выдыхая дома, кормлю и детей... Я весьма благодарен тебе, мой господин...»

«Ах, так, — поразмыслив, отвечал шах, — в таком случае я окажу тебе еще одну милость». — И он приказал визирю ежедневно давать бедняку целый казан еды.

«Откуда это?» — спросила бедняка удивленная жена, когда тот первый раз принес домой еду с шахского стола. И была крайне обрадована, когда узнала о величайшей милости.

Заметив почтительность бедняка, шах решил пойти еще дальше, он решил сделать из него богатого вельможу, и, когда тот пришел в очередной раз за едой, шах приказал визирю наполнить казан золотыми монетами, а сверху прикрыть пловом. И вот, когда бедняк шел с казаном домой, ему повстречались два человека.

«Слушай, — сказал один из них бедняку, — угости нас пловом, больно вкусно пахнет, тебе все равно столько не съесть...»

«Э-э, нет, — отвечал бедняк и, взглянув на просителей свысока, добавил: — Такую пищу едят только два человека: я и шах!»

«Ну-у? — удивились те. — Тогда продай этот казан с пловом...»

«Нет», — отвечал бедняк.

«Два золотых!» —предложил тот.

«Нет», — был ответ.

«Пять!»

«Нет», — снова отвечал бедняк и продолжал идти дальше.

«Десять золотых!» — не унимались просители.

«Не-е-т», — уже нерешительно отвечал бедняк, и, когда те предложили ему двадцать золотых, — не устоял...

— Отдал казан? — вдруг вырвалось у одного из колхозников.

— Ш-ш... ты, — зашикали на него со всех сторон, и все снова успокоились.

— Когда же он и на следующий день появился в шахском дворце, — продолжал старый Худодот, — шах вызвал его к себе и презрительно бросил в лицо:

«Я хотел тебя вельможей сделать, думал, есть в тебе добрый зачин, но, видно, рабскую душу твою не переделать... Ступай и больше здесь не появляйся, иначе будешь висеть на том столбе у ворот, откуда тебе так милостиво улыбнулось счастье!..»

Старик умолк, медленно, нехотя повернулся к Шолуму и негромко, но сурово сказал ему:

— Ступай от нас, видно, твою мерзкую душу не переделаешь...

КОВАРНЫЙ БЕК

— Ты вот что, Биарор, — деловито сказал бригадир, подозвал к себе смуглого и черноволосого молодого рабочего, а потом, спохватившись, вдруг удивленно спросил: — Кстати, что ты здесь делаешь? Вся бригада там, на участке, — он кивком показал в сторону работающих виноградарей, — а ты здесь разгуливаешь?..

— Не гуляю я, — обиженно опустив голову и исподлобья глядя на бригадира, ответил черномазый. — За секатором ходил. — Он протянул руку и показал инструмент. — Мой поломался...

— Извини, коли так, — миролюбиво сказал бригадир и добавил: — Вон, видишь, у склада машина стоит? На ней опрыскиватели привезли, в ящиках, тяжелые,

черти, одному не сдюжить: штук по десять в каждом... Беги туда, поможешь Бобоилу... Да вы, кажется, друзья?.. — вспомнил он вдруг.

— Ну?! — то ли утвердительно, то ли с оттенком некоторого недовольства ответил Бирор.

— Вот и хорошо, — не обратив внимания на его тон, продолжал бригадир, — поможешь ему разгрузить машину, вдвоем сподручнее... Дал бы еще подмогу, да некого... — Он удрученно развел руками и показал в сторону работающих на соседнем участке товарищей. — До них не дозваться, а шофер торопит...

Бирор, не дослушав последних слов, направился к приютившемуся меж высоких пирамидальных чинар складу, рядом с которым, вся из стекла и железа, блестела под солнцем отделенческая столовая, где ближе к обеду собираются обычно рабочие совхоза. А бригадир, взглянув на часы, торопливо зашагал к работающим на винограднике товарищам...

Не по-весеннему припекало солнце. Время шло к обеду. Это было видно и по тому, как, оставив работу, меж виноградных рядов неторопливо шли к столовой рабочие. Шли не вместе, а каждый по своему ряду, кто по привычке прихватив с собой хурджин с домашней едой, а кто с намерением отведать совхозных харчей.

В одном из рядов, неуклюже припадая на обе ноги, словно обезьяна, свесив не по росту длинные, натруженные руки, двигался рыжебородый поливщик Одом, балагур и весельчак. Он на ходу рассказывал скабрезный анекдот, отчего в соседних рядах слышались громкий смех и одобрительные возгласы.

— Слушай, Одом! — смеясь, говорил обрезчик Мунош. — Ты хоть при молодых не рассказывай этой похабщины...

— Э-э, друг мой, — вспомнив о чем-то, серьезно, без улыбки отвечал Одом, — эти молодые, к сожалению, давно потеряли целомудрие... так что не беспокойся...

Шла к концу и разгрузка опрыскивателей. Бирор и Бобоил, в мокрых от пота рубашках, дружно потащили к краю кузова последний ящик, спрыгнули с машины, подхватили груз с двух сторон, как вдруг Бирор дико взвыл и выпустил из рук ношу. Ящик ударился об угол кузова, резко накренился в сторону Бобоила, придавил ему пальцы левой руки и, к счастью, не упал на парня всей своей тяжестью, а грохнулся к самым его ногам.

Все бросились к пострадавшим, чтобы оказать им помощь, и оторопели от недоумения, когда увидели, что Бирор, хотя и вскрикнул от боли, вовсе не пострадал и мог несколько секунд выдержать, не подвергая друга смертельной опасности. Бобоилу же наскоро перевязали опухшие и посиневшие пальцы смоченной в холодной воде тряпицей и отправили в больницу.

— Ты что же это?.. — удивленно спросил Бирора бригадир. — Как ты мог отпустить ящик? Ведь он может теперь пальцев лишиться...

— Что-то врезалось в руку, не вытерпел... — опустив голову, виновато отвечал Бирор.

— «Не вытерпел», «врезалось»... — недовольно передразнил Бирора бригадир, а потом, схватив кисть его руки, выставил напоказ: — Вот, даже царапинки нет... У-у, откуда только вы такие беретесь, а еще говорит «верный друг», «всегда подставлю свое плечо». — И резко, отбросив чужую руку, добавил: — Не верю я такой верности...

Он устало сел на скамейку под чинарой, взял из сумки термос, нервно отвинтил крышку, налил в нее чаю, глотнул и, словно продолжая давнишний с кем-то спор, убежденно сказал:

— Не-е-е, не верю я такой верности. Вот наши матери — это да, остались верны своим мужьям до конца, до могилы... вырастили детей за двоих, подставив свои хрупкие женские плечи, несли после войны тяжелую семейную ношу... Верность — это... если хотите знать, стойкость и неизменность во всем: в большом и в малом. — Он вспомнил о чем-то, и его лицо просветлело от улыбки. — Вот дед мой рассказывал, в одном из наших сел полюбили два друга одну красивую девушку...

Он положил руку на плечо присевшего рядом рыжебородого поливщика и, оглядев собравшихся вокруг товарищей, продолжил:

— Представляете, они были... даже не как эти два чинара, — он взглядом показал на устремившиеся ввысь деревья, — а как... две руки одного тела, как две кроны одного дуба. Да что там, лучше сказать, как две половины одного целого... Втайне друг от друга полюбили одну... А она, сами понимаете, сердце свое отдала лишь одному из них... И вот перед самой свадьбой случилась беда...

— Неужели друг убил жениха? — вырвалось у Одома.

— Ш-ш... ты, — зашикали на нетерпеливого.

— Нет, друзья мои, — ответил бригадир, — случилось самое невероятное. Каким-то непонятным образом местному беку стало известно о редкой красоте невесты, и он... за долги ее родителей приказал привезти ее ему в жены.

— Как?!—вырвалось сразу у нескольких слушателей.

— А вот так! — продолжал свой рассказ бригадир.— Послал своих нукеров, и все тут... Ну жених, конечно, взорвался, огонь был парень, собрал всю молодежь села и пришел к беку... Так, мол, и так, бек, прикажи сделать все что угодно, а от своего намерения откажись, иначе такого петуха пущу по твоему хозяйству, что жить не захочешь...

— Молодец, парень, не струсил, — сказал кто-то из виноградарей, но на него тут же прикрикнули.

— Бек, было, сперва взбесился, — допив свой чай, продолжал рассказчик, — а потом, поразмыслив, решил не играть с огнем. Хорошо, говорит, коль ты такой смельчак, и хитро улыбается. Село, говорит, ваше лежит меж двух горных вершин, а на одной — скала. Так вот, говорит, привяжу тебя к скале, и если, мол, ночь выдержишь, то невеста — твоя... Жениху, как вы понимаете, отступать было некуда.

— Вот сволочь! — выругался обрезчик Мунош.

— Да, — согласился бригадир. — Коварный бек все рассчитал, знал, что если орлы не заклюют привязанного к скале человека, так тот окоченеет от лютого ночного холода на вершине. Смерть была неминуема...

— А что же его друг? — снова спросил нетерпеливый Одом.

— Вот об этом и весь сказ, — подхватив вопрос Одома, продолжал бригадир. — Вначале друг, было, обрадовался такому повороту событий. Подленький червь эгоизма, видно, точил его изнутри: мол, мне не повезло, так пусть же и тебе, дружочек, она не достанется. Не обессудь, мол, чем я хуже тебя и так далее...

— Да как он мог? — возмутился было Одом.

— Ты подожди, сабурсуз, не перебивай, — остановил его бригадир, — дай дорассказать... Так вот, потом стал, видно, проклинать себя за такие мысли, не находил себе места, думал, метался, его мучили угрызения совести,

что в этот трудный час он ничем не может помочь другу... В самом деле, как ему поступить? Пробраться к скале и накрыть друга чем-нибудь теплым — значит погубить и его, и себя: все пути к скале охраняли нукеры бека. Не допустить к нему хищных птиц он тоже не мог, и потому, как голодный волк, он выл от безысходности, от осознания своего бессилия...

— Неужели погиб парень? — обеспокоенно спросил один из рабочих.

— Нет, друзья, не погиб, — озадаченный таким участием собравшихся, улыбнулся бригадир, — свершилось чудо. Когда утром, злорадствуя и смеясь, на вершину скалы поднялись нукеры бека, они были поражены мужеством джигита...

— Остался жив? Как? — недоумевающе спрашивают бригадира разом несколько виноградарей.

— Вот что было дальше, — отвечал бригадир.

«Как ты выжил, молодец? — несколько удрученный, но все же пораженный мужеством парня, спрашивает бек. — Никому еще этого не удавалось...»

«Меня согревал костер, бек!» — пряча усталую улыбку в уголках рта, смело отвечает джигит.

«Как?!» — вскричал бек и свирепо взглянул на притихших нукеров.

«Нет, бек, они не виноваты, — успокаивает его джигит, — они верно тебе служат. Я грелся от костра, который горел в эту ночь на другой стороне села, на противоположной вершине...»

«Шутишь? — угрюмо сказал бек. — Тебе шутить можно, ты отвоевал свою невесту...»

— Да, друзья мои, — заключил рассказчик, — как выяснилось потом, это друг жениха разжег на той вершине большой костер, до утра не давал ему погаснуть, чтобы хоть таким образом помочь ему выжить...

ИСТИНА

К концу рабочего дня по району пронеслась весть, что умер брат известного в районе председателя колхоза и похороны уже состоялись. Кое-кто из работников собрался и уехал в село сразу, а мы с секретарем и предриком решили поехать на соболезнование завтра с утра.

Село, в которое мы должны были поехать, расположилось в предгорье, в живописном ущелье, и имело уникальное по нынешним временам кладбище. Дело в том, что несколько столетий назад в нем жило в общем-то однородное по этническому составу население, но одна его честь поклонялась Магомету а другая — Яхве. Хоронили тех и других на одном кладбище, и лишь невидимая черта разделяла могильные камни, записи на которых высекались на древнеарабском и иврите. А на другой стороне от кладбища, одиноко, словно высохший ствол погибшего дерева, торчал из земли камень, на котором не было ни рисунков, ни записей, будто у умершего не было ни имени, ни рода. Здесь был захоронен арестованный и расстрелянный сельчанами гачаг, загубивший в свое время немало безвинных людей, имени которого теперь никто не знал. Так люди раньше наказывали преступников.

Уже у въезда в село мы спохватились, что не знаем дома умершего, и сконфузились от мысли, что дом председателя колхоза мы знаем, бывали в нем не раз, а где и как живет рядовой колхозник, даже в таком маленьком селе, нам неведомо. Вот так, живем среди людей, с высоты своего положения разговариваем порой с ними, а не знаем их. Слепота какая-то.

Первым, кого мы встретили, был лет девяти мальчуган, который, тяжело согнувшись в одну сторону, нес домой с родника ведро с водой.

— Скажи, сынок, — обратился к нему предрика, — где дом похороненного вчера колхозника?

— Во-о-н там, — протянул руку мальчик и показал на... кладбище.

Мы застыли вдруг от навалившейся на нас великой правды бытия.

КОШКА ЕСТЬ КОШКА

Было время обеда. Рабочие завода, оставив душные цеха, высыпали во двор, расстелили на лужайке незамысловатые «скатерти», вывалили из сумок домашние приготовления, расселись удобно, по-азиатски, поджав под себя ноги, и начали трапезу. Вчерашние колхозники, а сегодня уже рабочие первого в городке крупного

промышленного предприятия, они все еще оставались детьми природы со свойственным им притяжением к зелени земли и ласковому свету солнца.

В одной из групп слышится заливистый говорок губастого молодого рассказчика и прерывистый смех остальных. Рядом греется на солнышке большая ленивая кошка.

— Вызывает к себе директор торга ларечника, — травит чубатый, — и говорит ему: «Дошло, мол, до меня, что ты рублевые сигареты за два продаешь... Ты что, мол, не знаешь, что сейчас перестройка, демократия, гласность, да еще к нам комиссия едет, поймают — под суд пойдешь...»

«Да что ты, дорогой, — отвечает ларечник, — если я правильно дам сдачу, меня же на весь город осмеют».

Собравшиеся смеются.

«Нет, нет, настаивает директор, — продолжает рассказчик, — кто-нибудь пожалуется, беда будет. Слушай, что тебе говорят!»

— На следующее утро, — продолжает чубатый, выбрасывая в траву окурок, — к ларьку подходит покупатель и, протянув трехрублевку, просит пачку сигарет. Ларечник, не моргнув глазом, возвращает ему два рубля сдачи.

«Да что ты, дорогой, — возвращая один рубль, возмущенно говорит ему покупатель, — если я правильно возьму сдачу, на меня все будут пальцем показывать!»

— Привычка! — смеясь, замечает один из дружины чубатого, молодой узколобый парень. — Инерция...

«Нет, нет, — успокаивает покупателя ларечник, — не возьму, дорогой, сейчас перестройка, демократия, гласность! Покупатель удрученно кладет деньги в карман и отходит. Потом, вдруг спохватившись, возвращаются к ларьку.—Слушай,—говорит,—дорогой, а где сигареты?»

«А вот сигарет нет, дорогой! — отвечает ларечник...»

Раздается взрыв смеха, от чего вскакивает и бежит даже заснувшая и согретая солнцем кошка. Заметив кошку, узколобый хватает с земли камень и бросает в нее.

— Ты чего? — удивляется чубатый. — Кошка-то при чем?

— А в прошлом году кошка утащила у нас целый

кусок сушеной баранины, — возмущенно ответил узколобый...

— Может, это совсем и не та кошка, — замечает чубатый.

— А-а, — решительно махнув рукой, заключает узколобый. — Кошка есть кошка...

ЦЕНА СЛОВА

Двухлетний внук, привезенный дедом за месяц до описываемых событий, привыкал к отсутствию родителей долго, и потому, проснувшись в этот день рано, капризно потянул бабушку не в спальню деда, а во двор, где утренний воздух был наполнен ароматом цветов, весело щебетали птички и яркими бутонами горели розы. Не подозревая о случившемся, малыш будто еще на некоторое время хотел оттянуть наступление роковой минуты.

В то время как бабушка привычно накрывала к завтраку стол, внук весело бегал за хитрым котом, стараясь ухватить того за пушистый хвост. Кот, видно, тоже был не прочь поиграть с малышом, то близко подпускал его, то перед самым носом увертывался и уходил прочь.

— Мунош, родненький, позови дедушку к завтраку,— громко сказала бабушка, больше стараясь быть услышанной не внуком, а мужем, который что-то сегодня непривычно долго не покидал постели. — Вставай, скажи, деда, завтрак готов...

— Де-да! Де-да! — дважды четко и звонко выкрикнул внук, однако ответа не последовало.

— Что-то дедушка проспал сегодня, — говорила бабушка, неторопливо кормя внука только что приготовленной манной кашей. — Слушай, Диана, — обратилась она к дочери,— позови отца, потом будет ругаться, что не разбудили его...

— Папа! Иди завтракать! — позвала и младшая дочь, школьница, на ходу засовывая в портфель бутерброд с колбасой, но отец снова не отозвался.

Когда, уже накормив внука и пустив его гулять, жена вошла в его спальню, то ничего необычного вначале не обнаружила, если не считать несколько странной позы,

в которой спал муж: тело его слегка было повернуто на бок, правой стороной лба он бодливо уперся в подушку, носком же правой ноги — в край матраца, а согнутой в локте рукой придавил под себя постель: видно, смерть настигла его неожиданно, когда он силился встать.

Все еще не осознавая случившегося, но с настороженной опаской, она дотронулась рукой до его плеча и тут же в ужасе, с криком, отдернула ее назад, отчетливо почувствовав холод лишенного жизни тела...

Весть о смерти председателя известного на всю округу пригородного колхоза «Рассвет» Хуби Хубиева облетела город с молниеносной быстротой и вызвала множество толков и пересудов совсем не потому, что предколхоза обязан был, как говорится, жить до цветения камней. Вовсе нет, все мы смертны, и каждому суждено в свое время быть отнесенным на плечах близких и родных. Народная молва была вызвана тем, что сердечный и отзывчивый, полный сил и энергии Хуби Хубиев еще вчера был совершенно здоров и никак не собирался ночью лечь, а утром не встать со своего ложа.

Именно поэтому внезапная смерть ошеломила всех и вызвала множество догадок и предположений о ее причинах. В первую очередь естественными оказались разговоры тех, кто усомнился в «здоровости» теперь уже усопшего и на этом основании предположил, что его давно, видно, точила какая-то хворь. И хотя внешние признаки были вполне нормальными, однако, мол, внутренняя червоточина исподволь, незаметно вела хозяина к гибели.

Однако когда стало известно заключение экспертной комиссии о том, что смерть в общем-то всегда уравновешенного и спокойного на вид предколхоза наступила совсем не от болезней, а от инфаркта, тут уж предела народной фантазии не было.

Смерть закономерна. Но она всегда нежеланна, тем более, когда усопший совсем не стар и добропорядочен. Поэтому неожиданная кончина Хуби Хубиева вызвала подозрительные толки, прежде всего соседок, не преминувших заметить, что во всем повинна зловредная председательша, которая поедом ела мужа по каждому случаю и без случая, немало испортила ему нервов и крови, а накануне, видно, устроила ему очередной «разнос», отчего тот и отдал концы. Некоторые мужчины подхватили эту вполне реальную версию и на ее основе при-

шли к выводу, что женщинам волю давать нельзя и держать их, с..., надо в «ежовых рукавицах». Однако это предположение особой поддержки не нашло, так как более точные источники их тут же опровергли, заявив, что, во всяком случае, последние десять лет Хубиевы жили, что называется, душа в душу, трогательно растили внука и в общем-то причин для ссор у них в семье не было.

Вот тогда, перебирая весь его вчерашний день, выяснили, что накануне Хуби Хубиев был приглашен на заседание горкома и там его, как говорят, «допекли» за нежелание сдать кормовое зерно в госпоставку. Узнали даже о том, что покинул он это злополучное заседание бледным и издерганным, наотрез отказавшись выполнять это нелепое указание.

Нашелся и тот, кто оказался попутчиком предколхоза, когда тот после заседания направлялся домой и жаловался на бесконечные трения с руководством и невозможность работать и жить в такой обстановке. О понуром и подавленном его настроении накануне смерти говорили потом и родственники, а жена его так прямо и заявила, что, вернувшись домой, муж в сердцах бросил на стол папку с бумагами и назвал кого-то «вредителем», а ночью не мог заснуть, даже закурил, чего не делал никогда в жизни.

В назначенное время проводить усопшего в последний путь пришло много народу. Это и неудивительно: отдать долг памяти в этот час, выразить соболезнование родным и близким считает необходимым почти каждый. И после того как покойника обмыли, завернули в саван, положили на специальные носилки, траурная процессия двинулась к кладбищу...

Так или иначе, преждевременная смерть доброго человека не могла пройти бесследно, не вызвав сочувствия и скорби у близких и знакомых. Больше всех сокрушался молодой комбайнер колхоза Келе, большеголовый, с выпуклыми, словно удивленно смотрящими на мир глазами, прозванный поэтому лупатым, парень, который еще неделю назад был приглашен к председателю в кабинет, где и был обрадован решением правления о премировании автомашиной «Москвич» за ударную работу на уборке хлеба.

— Сволочи! — непритворно возмущался Келе. — Довели человека!..

Он вспоминал о своей встрече с председателем, рассказывал подробности разговора с ним, будто о жизни, в то же время осознавая, что того уже нет и никогда не будет.

— Дядя Бирхие! — уже неоднократно обращался Келе к своему предпенсионному бригадиру: — Что же ему такое сказали, что он не выдержал? Разве можно словом убить?..

— Э-эй, сынок, — отвечал ничуть не меньше скорбевший бригадир, уже после похорон усевшись на специально отведенное во дворе усопшего место для намаза, — еще как можно! Да будет мир ему и спокойствие, покойный дедушка рассказывал...

— Говори, говори, Бирхиё, — обратились к нему несколько мужчин, собравшихся, по обычаю, на вечернюю молитву, — и мы между делом послушаем...

— Коли так, слушайте.

Бирхиё погладил свою короткую, уже поседевшую бородку, с таинственной улыбкой оглядел собравшихся и начал свой рассказ:

— В одном селе жил старик-дровосек. Он только тем и занимался, что каждый день с веревкой на поясе ходил в лес, приносил вязанку хвороста, продавал на базаре и на эти деньги кормился. Однажды нес он на спине дрова и вдруг услышал какой-то шорох. Посмотрел и видит, что идет на него медведь, как сама беда.

«Как дела, дровосек?» — спрашивает медведь.

«Э-эй, что говорить? — отвечает дровосек испуганно. — Стар стал, сил уже нет, глаза почти не видят, слезятся, колени дрожат, поясница отнялась... Вот хожу за дровами, этим и живу...»

«Не бойся меня, старик, — говорит медведь, — давно вижу, не сладко тебе живется, вот и решил помочь. Пригони сюда завтра пять-шесть ослов, а я нагружу их дровами».

«Эх, брат, — отвечает старик, — откуда я достану ослов?»

«Да неужто нет у тебя соседей, разве не делился ты в детстве с кем-нибудь хлебом да солью? Разве нет у тебя родственников? Попроси у кого-нибудь, уж, наверное, кто-нибудь пожалеет и поможет».

Пришел старик и попросил у родных ослов. Дали ему одного, двух, трех, четырех, стало десять ослов. Пошел он с ними к медведю. Не прошло и половины дня, как

медведь наломал леса, да нарубил дров, навязал вязанок, навьевич их на ослов и поставил погонщиком старика.

Так день за днем прошел целый год, и старик разбогател. Теперь уже ходил за дровами не с чужими ослами, а со своими. Жизнь повернулась к нему солнечной стороной, преобразился и сам дровосек: прибавилось сил, малость пополнел телом, в глазах появился этакий счастливый блеск, в движениях — уверенность.

В очередной раз, нагрузив уже двадцать ослов, дровосек обратился к медведю:

«Брат мой, что если ты придешь завтра ко мне в гости?»

«А можно?» — переспросил медведь.

«Да, конечно, — обрадовался дровосек, — буду очень рад...»

«Ладно, — ответил медведь удовлетворенно, — приходи завтра, потом вместе и пойдем».

На следующий день за трапезным столом, насытившись угощениями дровосека, как бы между прочим медведь спросил:

«Ты, друг, меня вначале испугался, но как видишь, мы, звери, в дружбе постоянны. Не так ли?»

«О да! — ответил дровосек, раскрасневшись от выпитого. — Твои добрые дела меня к жизни вернули, я очень тебе благодарен...»

«В таком случае, я хочу тебе задать один деликатный вопрос», — сказал медведь.

«Пожалуйста, о чем речь», — ответил дровосек.

«Скажи только правду: дружба со мной тебя ничем не смущает?»

«Что ты, друг, я очень тобой доволен, — поспешно ответил дровосек, — благодаря тебе я разбогател, но, если сказать правду, малость лицо у тебя гадливое...»

— Ну и свинья неблагодарная! — вызвалось у слушавшего этот рассказ Келе.

Однако на него тут же зашикали и попросили бригадира продолжать свой рассказ. Согласно кивнув головой, тот продолжил:

— Рассердил и огорчил медведя такой ответ. Расправил он шерсть у себя на груди и говорит дровосеку:

«Принеси топор!»

И когда дровосек подошел с топором, медведь приказал:

«А теперь изо всех сил ударь топором вот сюда». И подставил свою грудь.

«Нет, друг, я не сделаю этого! — запротестовал дровосек. — Что ты от меня требуешь?!»

«Если ты не сделаешь этого, — сурово сказал медведь, — я сейчас же раздавлю тебя и отдам шакалам на съедение...»

— Неужели ударил? — вырвалось снова у Келе, но он тут же спохватился и виновато добавил: — Извини, дядя Бирхиё, просто невероятно...

— Ты лучше слушай и на ус наматывай, — нравоучительно заметил его сосед, изворотливый, как угорь, широколицый и толстозадый колхозный завскладом.

— На ус, которого нет, — с насмешкой добавил Шевенё, известный в городе балагур и весельчак.

Рассказчик терпеливо молчал, но все же с укоризной посмотрел на нетерпеливых слушателей и, когда те, смущенные, притихли, продолжал:

— Испугался дровосек, сжалось у него сердце. Взял он топор, закусил губу да так стукнет! Зажмурился медведь от боли, тяжело поднялся и, облизывая кровоточащую рану, пошел к себе.

Прошел год, прошел другой, ушло богатство из рук дровосека, снова дряхл и немощен он стал, и все та же веревка на пояснице. И встретил вдруг опять медведя.

«Как дела, дровосек, здоров ли?»

«Здоров как будто,..»

«Глаза не подводят?»

«Нет как будто...»

«В таком случае, подойди поближе и посмотри на мою грудь, нет ли на ней какого-нибудь следа? Не бойся, я не трону...»

Посмотрел дровосек и говорит:

«Никакого следа нет».

Три раза заставлял его медведь:

«Посмотри лучше».

«Никакого следа не вижу», — отвечал дровосек удивленно.

«Вот видишь, — сказал тогда ему медведь, — рана от удара твоего топора зажила, и следа не осталось, а рана от обидных слов твоих в моем сердце кровоточит по сей день...»

Так и ушел дровосек непрощенный.

Собравшиеся задумчиво молчали, определяя на весах раздумья цену слова...

САДОВАЯ ПИЛА

Обо и Бобо, два старых виноградаря, жили в селении на одной махале, всего несколько домов отделяли их друг от друга. Если Обо был словоохотливым и говорливым, то Бобо был полной ему противоположностью — степенен и молчалив, первый мог соврать не моргнув и глазом, второй же даже на старости лет смущался и по-мальчишески краснел. Если Обо был скуп и жаден, то Бобо даже на последние деньги мог хорошо угостить друга. Но зато в работе Обо всегда оказывался впереди, его виноградники давали щедрые урожаи, словно он заговаривал их или колдовал над ними.

Все это и служило предметом споров, а иногда и ссор между ними, но независимо от этого они, как сабля без ножен, не могли быть друг без друга. И каждое утро, направляясь на работу в колхоз, здоровались неизменным: «Себэхьтуь э хэйрбу!» — и крепко пожимали друг другу мозолистые руки.

Бывало и так, когда палящее солнце становилось над самой головой, они, оставляя работу, направлялись к хайвану и каждый раскладывал прихваченную из дома еду. Заметив на общем столе свежий тандырный чурек и душистый овечий сыр щедрого друга, Обо, не торопясь освободить свой хурджин, разливался соловьем, что, мол, его старая еще с раннего утра готовила чуду из молодой крапивы, а потом неторопливо раскладывал черствый хлеб и уже ржавую тощую селедку.

...В это воскресное весеннее утро Обо проснулся с твердым намерением сделать обрезку винограда у себя во дворе, боясь холодной зимы, он расчетливо до весны оставил их в покое. Плотно позавтракав, он подозвал к себе восьмилетнего внука и наказал сходить к старому Бобо и попросить у того садовую пилу.

Бобо долго не мог взять в толк, как это Обо, старый виноградарь, не имеет дома садовой пилы, без которой не обходится ни один уважающий себя сельчанин. Потом, почувствовав во всем этом подвох, отказал в прось-

бе, сославшись на то, что у пилы отломилась ручка и он отдал ее в ремонт.

— Ну и скряга! — выслушав внука, возмутился Обо. — Пожалел пилу! — Потом удрученно добавил:— Делать нечего, внук, ступай в подвал и принеси нашу новую пилу...

СВАДЕБНЫЙ ВЫСТРЕЛ

О трогательном единстве Келебебе и Келеде дей на нашей махале ходили многочисленные легенды. Никогда за всю долгую совместную жизнь никто не видел их ссоры и не слышал бранного слова в адрес друг друга. В семейном согласии растили они кучу детей, молча переносили трудности, а маленькие радости умели превращать в большие праздники.

На свадьбах и при семейных раздорах их ставили в пример, учили молодых любить и уважать друг друга, как это умели делать они.

Так уж заведено на миру — богов и кумиров творят для себя люди сами.

Но по мере того как шло время и мельничные жернова жизни перемалывали нашу нетерпеливость, перетирали семена нашей молодой безоглядности в муку опыта и терпения, авторитет их оставался бесспорным.

Однажды, когда молодая семейная пара из нашего тухума опомнилась после очередной ссоры, которая, словно ураган, сорвала и выбросила с розы их любви еще несколько нежных алых лепестков, они встревожились и невольно бросились к Келеде дей за советом, как утопающий хватается за спасительную соломинку.

— Скажи, бабушка, — словно вскрик больного сердца, сорвалось с уст новобрачной, — как это вам удалось прожить с дедушкой долгую жизнь в мире и согласии, а мы вот, едва успев пожениться, все ссоримся?..

— Наше счастье в опасности, бабушка, — опустив голову, признался и молодой муж.

Заискрились вдруг помутневшие от времени глаза Келеде дей, лукавинка жизненной мудрости залегла в уголках ее поблекших губ, показалось, будто и морщины сгладились на ее старческом челе.

— Как?.. — словно в забытье, переспросила Келедедей.

— Да! Как? — вырвалось у молодых в отчаянии. — Откройте нам свою тайну, помогите, бабушка...

— Садитесь, дети мои, — пригласила их Келедедей и, когда те поудобнее устроились возле нее, задумчиво продолжала: — Вы, молодые, нынче, слава Богу, в достатке живете... На свадьбах кортежи машин... десять, а то и пятнадцать, любите с шиком, побольше да пошумней.... А для меня было великим счастьем, когда в день нашей свадьбы он, вопреки крестьянской традиции — не тратить попусту денег, выкупил на время у барчука фаэтон и прокатил меня по всему селу...

Она взлохматила вихрастый чуб молодого мужа и погладила опущенное плечо его подруги.

— Вот такими горячими и горделивыми и мы были тогда, а меня так только Гордячкой и звали на селе, — продолжала Келедедей, пряча в уголках губ хитрую улыбку.— Красивая, видно, была, вот и гордилась этим... А он, будто необузданный конь, ух-х...

Она немного помолчала, вспоминая прошлое, нежно погладила притихшую молодую супругу и продолжила:

— Прижал он меня к себе, потянул поводья и помчал коня во всю прыть. И тут конь споткнулся... Рассердился мой жених, ударил его кнутом и сказал: «Раз!» Летим во всю прыть, еще крепче прижал он меня к своему горячему телу, прильнул губами к моей щеке, и тут, как на грех, опять споткнулся конь... Отхлестал он бедолагу и сказал: «Два!» А тут уже и дом близко: там ждут молодых, свадьба в разгаре, музыканты повскакивали с мест, еще громче полилась музыка, горят факелы, по-орлиному вскинув руки, танцуют родственники, раздаются возгласы: «Едут! Едут!» Мчится наш фаэтон к моему новому дому, и тут споткнулся конь снова. Жених резко остановил фаэтон, твердо посмотрел на коня и в сердцах сказал: «Три!» — выхватил револьвер и застрелил коня...

— Ой! — вырвалось у молодой супруги, доселе молчаливо слушавшей этот рассказ.

— «Милый,—обратилась я к своему жениху, — продолжала Келедедей, — за что же ты убил коня?» Он твердо посмотрел мне в глаза и сказал: «Раз!» Вот после этого... — Келедедей глубоко вздохнула и добавила:— Да, вот с тех пор мы живем в мире и согласии...

КРАСНОКОЖАЯ ГРУША

Случилось это в один из осенних дней, когда на сельских дорогах от частых дождей и проезжих машин отвалами лежала грязь. Осень стояла на редкость хмурая, дождливая, словно обиженная Землей, сводила с ней счеты.

Я возвращался из колхоза уже под вечер, хотя признаки наступающей темноты едва ощущались. Дорога, извиваясь темной блестящей лентой, то исчезала, то вновь появлялась, надвое прорезая не тронутую цивилизацией чащу леса. А на обочинах, образовав сплошную завесу, сплелись дикие алыча и виноград, айва и терн, ежевика, вьюны и тутовник.

Дождь, отстучав каплями-горошинами, уже прошел, и мой «Москвич» продвигался с трудом. Вокруг все замерло — даже листья-сплетники, затаив дыхание и прекратив свой интимный шепот, чутко прислушивались к нашему говорливому мотору, буравившему хрупкую тишину. Летевший навстречу желтый листок жадно припал к мокрому ветровому стеклу, словно встретил старого приятеля. Удивительно, но от этого «солнечного зайчика» в машине стало уютней, казалось, будто во всей округе это был единственный обжитой уголок.

Богатый в недавнем прошлом, колхоз в последние годы слабел, угасал, словно какая-то хворь точила его изнутри. Следы этой болезни были и у дороги: слева осталась кем-то вырубленная, очищенная от коры и потому казавшаяся истекающей кровью молодая краснокожая груша; сквозь заросли, словно ломоть ржаного хлеба, проглянуло недовспаханное поле, и тут же — оставленный под дождем разобранный трактор.

Невеселые думы, словно нудная зубная боль, не давали покоя, и я не заметил, как фары высветили впереди чью-то фигуру. Я затормозил и открыл дверцу. Это был высокий старик с длинной белой бородой и в бухарской папахе. Бешмет из черного сатина, без пояса, и длинные без манжет брюки висели на его жилистом старческом теле. Меня поразили его чистые, блестящие азиатские калоши и умение старика не запачкать их в этой непролазной грязи.

Через минуту я уже знал, что старик шел в соседнее село к сыну, а работал в том же колхозе, откуда ехал и я.

— Как вы думаете, ата,— после недолгих раздумий спросил я, — в чем причина низких урожаев в вашем колхозе?

Старик хитро улыбнулся, пристально посмотрел на меня и, погладив широкую, красивую бороду, неторопливо переспросил:

— В чем? Н-да, люди всегда причины найдут, если что-то надо объяснить. Дело не в них, сынок. Вот послушай, что я тебе расскажу.

— Давно это было. Жил, говорят, на землях плодородной Мугани великий шах. Всем одарила его судьба: и красотой сказочной, и хитростью Саида, славой и силой Мервана, но в одном все же обделила — не дала наследника. И каково же было счастье уже стареющего шаха, когда через много лет у него родился сын — единственный наследник. Целый месяц во всем его вилайете праздновали это событие. Двое суток беспробудно спали затем уставшие музыканты и захмелевший люд.

Но недолгой была радость шаха — оказалось, что руки и ноги мальчика были недвижимы. Со всего света созывал шах врачей, немало знахарок прошли через пороги его дворца, но вылечить наследника никто не смог.

Затужил шах, черной сажей покрыл свою одежду, лицо и руки. Великий траур объявили по всей стране. Замолкли во дворце нежные звуки зурны. Под угрозой смерти никто не смел смеяться.

«О великий шах! — обратился к нему тогда придворный мудрец. — Позволь сказать мне несколько слов».

Не открывая глаз, усталым движением руки шах разрешил.

«Не гневайся на своего слугу, о владыка! — взмолился старец и упал на колени. — Великого наследника можно вылечить!»

Возбужденный шах вскочил с трона и бросился к старику.

«Ты растревожил мою рану, — закричал он, как раненый зверь, — но видит Аллах, я милосерден. Но как, как спасти сына?»

«Для этого нужно выполнить одно условие», — опомнившись от страха, сказал мудрец.

«Говори, я все выполню».

Старик немного замешкался, а потом продолжал:

«Прикажи, мой шах, привести сюда трех своих подданных: визиря, наложницу и пастуха, и пусть каждый скажет свою правду».

«Что-о?» — переспросил шах.

«Правду, о владыка!» — невозмутимо ответил мудрец.

«Правду?.. Ты что, смеешься надо мной, старый осел?! Разве правдой лечат болезни?»

«Да, о шах! Правда плод родит, а не пустоцвет!»

«Эй, нукеры! — приказал шах. — Приведите визиря, наложницу и пастуха! Но знай, старик, не будет по-твоему — я прикажу... нет, я сам вырежу тебе язык и брошу собакам на съедение».

Мудрец молчал. А тем временем нукеры выполнили приказ.

«Скажи, мой верный визирь, в чем правда твоей жизни?» — спросил шах.

«Правда?» — переспросил визирь.

«Да, только правда!» — приказал шах.

«Я не могу ее сказать, о владыка!» — изменившись в лице, ответил визирь.

«Почему?» — удивился шах.

«Узнав эту правду, вы прикажете убить меня...»

«Я обещаю тебе жизнь! — выведенный из себя, вскричал шах. — Говори!»

«Все равно не могу, мой шах, — ответил визирь. — Это страшная правда».

«Я все тебе прощаю, скажи!» — приказал шах.

«Я хочу, чтобы ты и твой наследник скорее умерли, а я стал шахом — вот моя правда, о владыка!»

Не успел визирь ответить, как свершилось чудо: парализованные ноги наследника зашевелились.

«В чем же твоя правда? — спросил удивленный шах у наложницы. — Говори, не бойся, ни один волосок с твоей головы не упадет».

«Я желаю скорой смерти твоей жены, чтобы стать на ее место. Вот моя правда, о мой славный шах!»

При этих словах у наследника заработала правая рука. А вот что сказал пастух:

«Я много лет пасу твой скот на лучших пастбищах, а сам живу хуже скота. Моя правда в том, о шах, чтобы скот был на своем, а человек — на своем месте!»

После этих слов наследник был совершенно здоров.

Счастливый шах, вытирая слезы радости, говорят, на весь шахский дворец крикнул:

«Люди, являйте правду, она плод родит!»

— Останови, сынок! — неожиданно сказал мой рассказчик. — Я уже доехал. Не знаю, ответил я на твой вопрос или нет, подумай...

БЕГЛЯНКА

В одном южном городе из кассы заготовительной конторы сбежала Сторублевка. Выползла из пачки, открыла сейф, каким-то только ей одной известным способом, и пошла гулять. Ничего особенного. Такие случаи бывали здесь и раньше, и потому отсутствия ее не заметили. Беда была в другом. Совершая побег в эту мерзлую осеннюю ночь, эта взбалмошная красотка забыла прихватить с собой зонт. Да, обыкновенный японский зонт, чтобы дождь не промочил ее изящный наряд или, не дай Бог, не помял и не затянул ее в сточную канаву.

Вначале, взяв ее в охапку на углу какого-то дома, поиграл с ней ветер, потом, когда ему надоело, он выбросил ее в соседний двор. Это был первый удар по ее самолюбию. Затем, оказавшись в большом и открытом дворе, Сторублевка съежилась от холода и спряталась под навес.

Накрапывал дождь. Перспектива искупаться в луже ее не устраивала, и она постучала в светлое окно, из которого слышались плач детей и возмущенный женский голос.

— Кто там? — спросил сердитый мужской голос.

Окно открылось.

— Кого в эту слякоть привело к нам?

— Сторублевка я! — горделиво заявила избалованная неженка.

— Кто? — не понял мужчина.

— Сторублевка я! — с новым оттенком величавости проговорила гостья.

— Да как же?! — обрадовался мужчина. — Ах ты радость моя ненаглядная, заходи, дорогая, что же ты под дождем стоишь?! Подойди поближе, я подниму тебя в комнату.

— Не торопись, хозяин, — с достоинством проговорила гордячка. — Ты прежде скажи, что со мной делать будешь?

— Что я делать с тобой буду? — в задумчивости переспросил мужчина. — Если бы, милая, ты знала, как ты мне сейчас нужна! Чуешь, зима надвигается, а здесь вон семеро по лавкам бегают, им перво-наперво одежка нужна. Да и жена, стерва, все уши прожужжала, покоя не дает, то у нее того нет, то еще чего не хватает. Но наперед всего, я возьму тебя завтра с собой на базар, куплю мяса и риса, да вина четверть и досыта поедим плова, давно не ели вдоволь...

— Э-э, нет! Мне у тебя делать нечего, — сказала Сторублевка и спряталась в темноту.

— Куда ты?! — удивился мужчина, он спрыгнул с подоконника и стал искать ее в темноте. — Куда она спряталась, дура, пропадет ведь...

Тем временем Сторублевка облюбовала рядышком новый навес и тихо постучала в дверь.

— Кто там? — донесся из глубины недовольный сонный голос. — Кому это не спится?

— Сторублевка я! — торжественно заявила ночная гостья, ожидая новых ахов и охов.

— Ну и что, что ты сторублевка? — недовольно пробурчал хозяин. — Эка невидаль... Ну, чего тебе?

— Я хотела знать, — сбавив гонорок, заговорила кокетка, — что ты со мной делать будешь, если я зайду к тебе?

— О-ха-ха! — сказал хозяин, тяжело шурша шлепанцами. — Что я с тобой делать буду, спрашиваешь? Постелю на стол шали шерстяные, подогрею утюг чуть-чуть, уложу тебя на мягкую шерстяную постель и тем утюжком нежно поглажу с обеих сторон, вычищу, высушу, а потом к сестрицам твоим, в сундук...

— Вот это меня устраивает, — развеселилась жеманница и, все еще ежась от холода, скомандовала: — Открывай дверь, коли такое дело.

Заскрипел засов, приоткрылась дверь, и комнатная лампа высветила в ночи тонкий лоскут двора. И в тот момент, когда блудница шмыгнула в дверь, в полоске света заметил ее тот, первый, что выпрыгнул во двор на ее поиски.

— Эй, куда ты? — выбросив руку вперед, вскрикнул он возмущенно...

— Ой! Ой! — оторвав руку от стенки, проснувшись, застонал от боли сторож заготовительной конторы. — Надо же, приснится такое... Ишь, б... такая, к соседу, к заготовителю шмыгнула...

Он оглядел спящих разметавшихся детей, накинул на них сползшее одеяло, почесал волосатую грудь, лег на другой бок и безнадежно проговорил:

— Бедному человеку, видно, и во сне не везет...

ШЕЛБЕТ СМЕЁТСЯ

Как-то под вечер на годекане селения Мюшкюр собрались мужики. Разговор начался сразу, а поводом послужил сегодняшний случай на виноградниках колхоза, о котором с каким-то благоговением рассказывал старый Бобо.

— Сделал я, значит, обрезку последнего куста в ряду, — начал он, — думаю, на сегодня хватит, к вечеру клонит... Только собрался выйти на дорогу, смотрю —. прямо передо мной... змея. — Старик как-то прерывисто вздохнул, словно заново переживал все, успокоился и продолжал: — Огромная такая, метрах в двух от меня. Подняла голову, высунула острое жало и в упор смотрит на меня. Я так и замер, не шелохнусь. Волосы дыбом встали, вмиг пот прошиб всего. Ой, Худо, говорю про себя, почему такая смерть? Никому вреда не делал, всю жизнь трудился, сады сажал, виноградники растил, добро дарил людям. Не-е-т, думаю, не заслужил ты, старый Бобо, такой смерти... А что делать? Я на нее смотрю, а она качается из стороны в сторону, но глаз с меня не сводит. Так и разглядываем друг друга... Тут меня осенило, вспомнил я наставления дедов наших и тихо, мирно говорю ей: «Знаешь, змея, встретились мы случайно. Я тебе никогда плохого не делал, да и ты мне не делай. Иди своей дорогой, а я пойду своей!» И, поверьте, послушалась. Качнула как-то головой сверху вниз, будто в знак согласия, и уползла прочь...

— Да-а, — проговорил добродушный толстяк Бирор, — вам, дядя Бобо, очень повезло, послушалась змея, а вот старый Шемей, пусть земля ему будет пухом, рассказывал, что албиса ни за что не уговорить, не-

сговорчивый, дьявол, уж если повстречался с кем, непременно напакостит.

Стали вспоминать рассказы очевидцев, случаи, кому и когда встречались змеи, сатана и черти. Вспомнили, как однажды, накануне свадьбы в доме старого виноградаря, тот же сатана оказался в хлеву, набросился на привезенную для торжества корову и выпил за ночь всю ее кровь. Другой раз двенадцатилетний Рабо, сын хромого мельника, выйдя ночью по надобности во двор, повстречался с дружком, который утром следующего дня клялся и божился, что ночью к нему не приходил. Все уверяли, что это был сатана, так как в тот вечер умерла старая мать мельника.

И вот, когда, казалось, воспоминаниям не будет конца, в разговор вмешался сельский балагур и весельчак Шелбет-рыбак, прозванный так за постоянную удачу на рыбалке. О его дружбе с Бирором знали на селе все, хотя характерами были они совершенно разные. Бирор любил Шелбета за веселый нрав и душевную чистоту. Шелбет же и дня не мог прожить без этого молчаливого толстяка, лучшего слушателя и помощника во всех его выдумках и веселых розыгрышах. Бирор был добр и доверчив к людям и нередко страдал из-за этого. В таких случаях Шелбета раздражала в друге такая доверчивость, и он учил его быть разборчивым.

— Скажи-ка, друг мой, — заговорил Шелбет, обращаясь к Бирору, — где, по-твоему, прячется сатана: в земле, на небе или в людях?

Застигнутый врасплох, Бирор как-то добродушно улыбнулся, развел руками и простодушно ответил:

— В земле, конечно, где же ему еще быть?!

— Конечно, в земле, — уверенно подтвердил кто-то из мужиков. — В небе не спрятаться — видно все, а о людях и говорить нечего, мы бы его сразу прибили...

— А может, и в небе, — с сомнением сказал старый Бобо.

— Нет, друзья, сатана сидит в людях! — улыбаясь, сказал Шелбет. — Он каждый день среди нас. И если его поискать, он и сейчас здесь...

— Вечно ты свои штучки выкидываешь! — добродушно улыбнулся Бирор на шутку друга. — Скажешь же, среди нас...

— Вот как? —как-то хитро улыбнулся Шелбет и, обратившись к Бирору, добавил: — Ты снова ошиба-

ешься, мой друг, потому и без кошелька остался вчера на базаре. Ха-ха-ха, — расхохотался он и встал.

Все засмеялись, повставали с мест и медленно, не торопясь, враскачку, все еще под впечатлением услышанного, разошлись по домам.

«В земле! На небе! — ухмылялся про себя Шелбет, направляясь к речке Гюльгеричай, где в его хитроумных сетях барахтался усач. — Ладно, дружок, я дам тебе урок, правда, горький, но нужный...»

На следующий день Шелбет, отработав на виноградниках положенную норму, ушел с работы раньше обычного и быстро направился в село, к дому друга. На вопрос: «Есть здесь кто?» — ему навстречу вышла пышногрудая жена друга и с радостью пригласила его в дом.

— Знаешь, сестра, — начал Шелбет свою речь, — вчера ко мне приходило привидение, и я не могу не рассказать тебе о нашем разговоре. Вот уже пятнадцать лет у вас с моим другом Бирором нет детей. Так это?

— Да, верно, — ответила женщина с удивлением.

— Так вот, — продолжал Шелбет дальше, — привидению стало известно, что у Бирора на горле, ниже подбородка, большая, величиной с абаси, родинка. И оно сказало мне, что если ты, жена Бирора, ровно в полночь, когда муж твой будет спать, возьмешь бритву и срежешь с этой родинки волосинки, ровно через год у вас родится ребенок.

— Неужели? — засомневалась женщина, зная о проделках Шелбета.

— Попробуй! — твердо сказал Шелбет. — Ведь это ничего не стоит...

— Хорошо... — сказала женщина тихо. — Я сделаю.

Вскоре Шелбет встретил на краю села возвращавшегося с работы друга. Он подошел к Бирору с опущенной головой, как человек, который должен сообщить какую-то неприятную весть.

— Ты что такой грустный? — спросил Бирор удивленно. — На тебя это непохоже.

— Знаешь, Бирор, — ответил Шелбет озабоченно, — я должен известить тебя о большой неприятности. Когда на друга надвигается беда, могу я быть в стороне?

— Ничего не понимаю! Какая беда? — снова ничего не понял Бирор.

— Мне стало известно, — невозмутимо продолжал Шелбет, — что сегодня в полночь, когда ты будешь спать, твоя жена... перережет тебе горло.

— О чем ты говоришь? — с удивлением и тревогой спросил Бирор. — За что она хочет меня убить?

— Она считает, что детей у вас нет только по твоей вине, ей это надоело, и она решила от тебя избавиться.

— Не может быть! — воскликнул Бирор, сильно побледнев.

— Стал бы я тебе врать, — говорил Шелбет убежденно, — если бы не был уверен. Да это можно проверить: ты сделай вид, что ни о чем не знаешь, спокойно ложись спать. Когда же она приблизится к тебе с бритвой, тут же схвати ее за руку. А меня в качестве свидетеля заранее проведи в свою комнату и спрячь.

На том и порешили.

В полночь женщина украдкой поднялась с постели, вытащила из-под подушки бритву и осторожно подкралась к мужу, чтобы осуществить задуманное. И в тот момент, когда к родинке спящего мужа оставалось только протянуть руку, Бирор молниеносно схватил жену за руку, в которой блестело лезвие бритвы.

— Ах ты ведьма! — непривычно вскричал Бирор, вырвав из ее рук бритву. — Я тебе покажу, как убивать мужа! — И повалил жену на пол.

Вот тогда и вышел из укрытия Шелбет. Он усадил по обе стороны от себя мужа и жену, попросил у них извинения и подробно рассказал им о споре на годекане и обо всем остальном.

— Ну, скажи теперь, где прячется сатана? — улыбаясь, спросил Шелбет Бирора. — В людях или в земле?

Тот как-то нервно улыбнулся, облегченно вздохнул и добродушно ответил:

— Вечно ты свои штучки выкидываешь!..

СИНЯЯ КОСА

Однажды в полночь. накинув на свое костлявое тело серые лохмотья, расчесав шакалью шерсть на голове, Смерть взяла в руки синюю косу, надела черные очки от косоглазия и вышла в город. Повесив косу на плечо,

она хихикнула от предвкушения, потерла костлявые руки и воровато оглянулась...

Где-то рядом, в доме с настежь открытым окном, горела яркая лампа, отчего кругом было празднично светло. Внутри весело играла музыка, кто-то, по-орлиному вскинув руки, танцевал, слышались радостные голоса, смех. «Вот ты мне и нужен, голубчик! Посмотрим, что ты сейчас запоешь?!» — злорадно подумала Смерть, крадучись, подошла к окну, спряталась в тень и громко постучала.

— Эй, кто там? — откликнулся подвыпивший хозяин. — Заходи, дорогой, гостем будешь! Чего в окно стучать, у нас дверь есть, заходи!

После недолгого молчания в окно снова постучали.

— Слушай, кто это? — удивился хозяин и выглянул в окно. — Кто ты, дорогой... — снова спросил он и осекся.

Бледной синевой отблескивала острая коса.

— Смерть я, — тихо хихикая, сказало серое чудище. — Пришла за тобой...

Она хотела застать его врасплох, ждала просьб и унижений, а он, вдруг протрезвев, как джигит, гордо и весело ответил:

— Ну и что, что ты Смерть? Пришла? Заходи, не стесняйся. Чужих нет, все свои: сыновья и дочери, внуки и внучки мои. Трудом своим живем, и потому радость у нас неподдельная, душевная. Что еще человеку надобно?! Вот и все, надолго не задержу, пять минут, попрощаюсь с детьми — и бери, коли так надо!

От неожиданности Смерть опешила, не любила она, когда ей прямо смотрели в глаза, терялось чувство радости от своего ремесла, ощущения всевластия. Ей доставляло подлинное наслаждение, когда ее умоляли и унижались, в страхе теряли человеческое достоинство. Потому она снова спряталась в тень и попятилась к соседнему домику, из окна которого тускло просвечивал свет.

На стук в окно долго никто не отвечал. Впервые Смерть стала нервничать и кусать синие губы. Наконец щелкнул засов, открылась ставня и за стеклом показалась мужская голова.

— Кто там? — разглядывая темноту, спросил мужчина. — Темень какая, а не спится кому-то...

— Это я, — голосом родственника ответила смерть.— Открой окно...

Мужчина недоверчиво еще раз сквозь стекло поглядел в темноту, задумался ненадолго и открыл окно.

— Кто ты? — спросил он снова и замер в ужасе.

Заметив неподдельный страх в его глазах, смерть зацепила косой его за шею, потянула чуть-чуть и тихо, с наслаждением хихикнула.

— Я за тобой, милый, — злорадствовала она, — не ждал?.. Хи-хи-хи...

— Нет, нет, не делай этого, — вдруг лихорадочно заговорил смертник, упал на колени и стал целовать ее зловонные костлявые ноги. — Умоляю тебя, Смертушка, не делай этого. Я всю жизнь... слышишь, всю жизнь страдал, не знал радости, поедом ел жену и детей, во всем им отказывал, лишнюю копейку не тратил, берег, лишил себя даже маленьких радостей, никого не приглашал, и сам в гости не ходил, не кутил, не транжирил, друзей не имел, все копил, копил, думал: вот теперь заживу.

Смерть поправила очки, хихикнула от наслаждения и чуть потянула к себе косу.

— Ой, ой, ой! — плача заголосил мужчина. — Не убивай! Умоляю! Я жить хочу, я только сейчас начал жить... Босиком по миру пойду, поститься буду, только бы жить... У меня, ой, совсем забыл, много денег, целое богатство. Слышишь? Возьми сколько хочешь, все возьми, только оставь...

Смерть в злорадной усмешке скривила тонкие губы.

— Взятка? — хихикнула она и еще больше посинела от злости. — Привык, видно? Не-ет! Мне взятки ни к чему.

В ночной темноте сверкнула синяя коса и звякнула об оконную раму. Смерть обтерла косу о свои лоскуты, проверила ее острие на палец и не спеша поплелась со двора.

— Эй, старая, куда ты? — звал ее вдогонку джигит. — Я же жду!

— Ну тебя, живи пока! — ослабевшим голосом сказала Смерть и добавила: — Я свое уже сделала...

ЯЗЫК МОЙ — ВРАГ МОЙ

Мне рассказывал ее дед, ему — его дед, и сколько раз в нашем роду от деда к внуку передавалась эта сказка, не знаю, но говорят, что когда-то, давным-давно, в далекой Персии жил Великий шах, о неслыханном богатстве которого ходили легенды.

Маленького роста, тщедушный, но умный и хитрый шах не жалел средств, чтобы слава о его богатстве и могуществе проникла во все уголки земли, и его визири и векили усердствовали в этом один больше другого.

Предмет болезненного самолюбия шаха — вопрос о его богатстве, ловко поддерживаемый не менее хитроумными векиль-визирями и, в сущности, давно уже решенный, никогда не забывался, а тем более не оспаривался на шахских сборищах и торжествах. И потому случай, который произошел во дворце Великого шаха, был дерзким и неслыханным, хотя имел трагическое начало и...

Не станем забегать вперед.

Однажды за трапезой пресыщенный и горделивый шах, поглядывая на своих верных помощников, разомлевших от принятых яств и облокотившихся на мягкие подушки, каким-то едва заметным знаком остановил и выпроводил очаровательных танцовщиц, и назидательным тоном заговорил:

— Мир велик, дети мои, и одному Аллаху ведомо все, что делается кругом. Вот я и думаю, сомнения точат мой мозг, не дают покоя: может быть, есть такая земля, куда не ступали мои доблестные полководцы и не шагали караваны моих купцов, на которой живет другой падишах — богаче меня! Как вы думаете?..

— О Великий шах! — заголосили выведенные из состояния покоя, умудренные жизненным опытом подчиненные шаха. — О чем вы говорите? О несметных богатствах ваших слагают песни поэты и поют ашуги, нет такой земли, где на устах райята не было бы вашего великого имени...

— А может быть, и есть такой падишах, кто его знает, — вдруг задумчиво проговорил главный визирь и осекся...

— Да-а? — переспросил уязвленный шах, взглянув на главного визиря сначала с удивлением, а затем с ненавистью. В глазах шаха сверкнул такой дикий блеск,

отчего главного визиря вдруг пробрал холодный озноб, будто черная смерть тенью стала у его изголовья, и он понял всю безысходность своего положения. — Вот как? У тебя возникли сомнения? — чеканя каждое слово, выговаривал шах.—Я... повелитель великой державы! Мои полководцы не знают поражения! В моих руках... полмира. В моих сундуках несметные богатства, я—Великий шах!!! И ты, ничтожный червь, смеешь в этом сомневаться?! — Шах вдруг успокоился, исчез дикий блеск в его свирепых глазах и на лице его явилась хитрая улыбка, та хитро-хищная улыбка, которая появлялась у него, когда он принимал зловещее решение. — Ну что ж, сорок дней тебе сроку: найдешь и назовешь мне имя человека, который богаче меня, и будешь жить, а нет — голову сниму! Ступай!

Оставим Великого шаха в его дворце, пусть он продолжает так неудачно прерванную трапезу и веселье, а мы пойдем за несчастным визирем, чья жизнь и смерть теперь только в руках Аллаха. Поруганный и побитый, словно пес цепной, он мертвенно побледнел и с поникшей головой поплелся в свои хоромы.

Не стану рассказывать о том, какие горькие слезы и вопли вызвало у домочадцев сообщение визиря, скажу лишь только то, что, дав кое-какие поручения сыновьям своим, удрученный визирь выбрал себе лучшего коня и на рассвете отправился в путь.

Много стран и городов объездил визирь, пересекал моря, преодолевая горные вершины, скакал по ущельям и долинам, видел богатые и дивные дворцы, прекрасные сады и цветники, в шелка и золото убранные царские троны, но даже при имени Великого шаха эти государи — одни с трепетным почтением, другие с уважением — вскакивали со своих мест и низко кланялись визирю. «Богаче Великого шаха? — с удивлением переспрашивали они и тут же отвечали: — Нет! Таких не знаем!»

Долго и упорно расспрашивал визирь вездесущих дервишей, всезнающих купцов, хитроумных предсказателей, великих мудрецов и странствующих ученых, но никто не успокоил трепетную душу визиря, не исцелил его страждущее сердце радостным сообщением.

Сороковая ночь застала его в нескольких километрах от шахского дворца, на вершине горы, куда уставший конь донес своего поникшего хозяина. Он был по-

хож на узника, которому завтра отрубят голову, на беглеца, понявшего всю безнадежность своего положения и отдававшего себя в руки безжалостного правосудия. Ничто уже не радовало визиря, ни вот эта лунная ночь, ни сверкающие звезды, которые с высоты кажутся близкими и еще более яркими, ни умиротворенность природы, ни травка зеленая под копытами уставшего коня, ни хрупкая ночная тишина с лаем пастушеских собак, ни красота чабанского костра. Все, и мир с его красками, с блаженством, которому еще совсем недавно, казалось, не будет конца, исчезнет все, завтра — смерть...

— Эй, путник! — вдруг услышал визирь совсем рядом звонкий голос. — Ты так устал, что спишь прямо в седле, так и беды не миновать...

Визирь поднял голову и в свете яркого костра увидел высокого, двухметрового роста чабана, с висящим кинжалом на поясе, в широкой бурке, папахе, — недюжинного богатыря с длинной пастушеской палкой в руках.

— Не торопись, путник, — снова заговорил чабан, подойдя к визирю ближе. — Не проходи мимо моего костра, слезь с коня, сядь рядом, раздели со мной скромный ужин, отдохни, а завтра продолжишь свой путь...

— Нет, спасибо, чабан, — отвечал несчастный визирь, на миг остановив коня. — Зачем думать о завтра человеку, для которого этого завтра уже нет...

— Видно, беда с тобой приключилась, — сочувственно проговорил чабан, — но не отчаивайся, Аллах поможет. Не торопись, отдохни со мной, поделись горем своим, может, чем и помочь можно...

— Э-э, нет, — горько усмехнулся визирь, — ты моему горю не помощник...

Долго уговаривал чабан этого странного ночного пришельца, то горько усмехавшегося от какой-то своей затаенной думки, то вдруг безнадежно и безысходно умолкавшего, но все же уговорил...

Горел чабанский костер, на ореховых шампурах жарился шашлык, на вывернутой высохшей бараньей шкурке лежали кусочки сыра, луковицы и чурек.

— Вот, садись сюда. — Чабан помог визирю помыть руки и усадил его рядом с собой. — Отведай моего ужина, отдохни и, если захочешь, отведи душу, расскажи о своей беде...

И так, коротая ночь у этой скатерти из овечьей шкуры, визирь за все время беседы, хотя и был голоден, съел кусочек сыра с чуреком и рассказал чабану, кто он и чем увенчались его поиски. Он рассказывал чабану о райских уголках земли, о диковинных деревьях, на которых растет хлеб, о говорящих птицах, о вещих колдунах, о заманчивых предложениях некоторых царей жениться на их дочерях и остаться в этих далеких странах...

Узнав, что этот ночной пришелец — главный визирь Великого шаха, один из мудрейших людей Великой державы, чабан с подобострастием не вскочил с места, не стал бить челом визирю, перед которым трепетали целые народы, а с еще большим почтением стал ухаживать за своим пока еще великим гостем. Чабан был гордый человек.

— Так и не нашел я человека богаче нашего Великого шаха! — закончил свой рассказ, опустив голову, визирь.

— Богаче нашего Великого шаха? — переспросил чабан и тут же громко захохотал: — Ха-ха-ха...

Следом ночную тишину прорезало далекое эхо: «А-а-а...» Залаяли и умолкли чабанские собаки.

— Если только в этом твоя беда, то бери ешь, поспи под моей буркой, — став серьезнее, заговорил чабан, — а утром я назову человека, который богаче Великого шаха.

— Ты?.. — изумился визирь.

— Да, не волнуйся, я знаю человека богаче Великого шаха.

— Да о чем ты говоришь, безумец, — разволновался визирь, — все эти огромные стада, которые ты пасешь, великолепные пастбища, и ты, и тот пастушок, что виден там, в долине, и эти горные вершины — все это принадлежит Великому шаху. Как ты можешь знать более богатого человека?

— Ложись, поспи, — постелив визирю бурку, уверенно сказал чабан, — утром я пойду с тобой к Великому шаху и назову имя этого человека.

— У меня сердце разрывается, — взмолился визирь, приподнявшись и сев на предложенную ему бурку. — Не томи, чабан, и не мучай. Речь идет о моей жизни и смерти, о благополучии моей семьи, о будущем моих детей. Назови мне имя этого человека!

— Э-э, какой ты нетерпеливый! — недовольно пробурчал чабан, — терпение — лекарство от всех болезней, видно, его тебе не хватило с самого начала. Я же сказал, пойду с тобой к Великому шаху и там назову. Да тебе, во всяком случае, больше ничего не угрожает... Великий шах, если я не окажусь прав, велит казнить не тебя, а меня... так что спи, и я отдохну малость...

Визирь снова улегся на бурку, прилег и чабан. Но не спится визирю, неспокойно на душе, сомнения мучают его. «Как? Я объездил весь мир, видел великих царей и могущественные государства, а этот чабан дальше этих вершин нигде не был. Нет, не может он знать... просто успокаивает меня...»

— Эй, чабан! — окликнул визирь, садясь у костра.— Ты не спишь?

Но чабан, что-то пробурчав во сне, поворачивается на другой бок. Спит чабан, спит уставший за день человек.

Визирь подбрасывает в костер хворосту, накидывает на плечи бурку и снова задумывается. «Спит спокойно, — думает он, поглядывая на чабана. — А ведь если не докажет, что есть человек богаче шаха, в самом деле могут казнить, могут... а я спасен... так ли? Не подумает ли шах, что я, спасая свою жизнь, уговорил этого несчастного стать жертвой вместо меня? Может и так быть... Но ведь не сумасшедший же этот сорокалетний богатырь, вполне нормальный человек, и умирать, как видно, он не собирается... Ничего не понимаю...»

Визирь от отчаяния ухватился за голову. Его взбунтовавшийся мозг искал выхода, как волк, попавший в капкан.

— Эй, чабан! — невольно вырвалось у него снова.

Чабан встрепенулся и повернулся к визирю.

— Ради Аллаха, не мучай, назови этого человека, иначе не могу уснуть, — взмолился визирь.

— Эк-кий... ты, однако,— пробурчал чабан недовольно, — спи... — И снова повернулся на другой бок.

Трудно себе представить, что пережил в эту ночь визирь, какие перенес муки, сколько передумал дум. Лишь поседевшие за ночь виски могли поведать об этом.

Чуть задремавшего от усталости, так и оставшегося сидеть у потухшего костра визиря разбудил утром чабан.

— Ну, визирь, вставай, позавтракаем — и в город, к Великому шаху...

— А-а, — встрепенулся визирь и, сообразив в чем дело, вскочил на ноги. — Чего время терять, чабан, там позавтракаем...

— Нет, чабану так нельзя, — уверенно ответил чабан. — Завтрак наш не ахти какой, много времени не займет.

Наскоро перекусив, чабан аккуратно собрал остатки еды в торбу, завернул в овечью шкуру и повесил на сук. Затем, заложив два пальца в рот, пронзительно свистнул, отчего собаки подняли лай. Через несколько минут к чабану подбежал лет восьми пастушок.

— Я пойду, сынок, в город, смотри за отарой, — тоном, не терпящим возражения, сказал пастушку чабан. — Скоро вернусь.

Мальчик согласно кивнул головой.

...Уже через час они подъехали к шахскому дворцу. Поручив лошадей нукерам, визирь повел чабана к Великому шаху...

Весть о возвращении главного визиря облетела дворец с быстротой молнии, со всех концов к приемной шаха стекались его подручные, одни со злорадством, другие с сочувствием ждавшие развязки. Никто не знал, какую весть принес с собой этот некогда могущественный человек, и потому каждый встречный кланялся ему в пояс.

— Доложите Великому шаху о моем возвращении, — спокойным голосом заявил шахским слугам главный визирь.

Через несколько минут всех пригласили к шаху.

— Ну? С какой вестью вернулся? — пронзив взглядом главного визиря, спросил шах. — Нашел ты человека богаче меня?

— Я объездил весь мир, о Великий шах, — поклонившись в пояс, ответил визирь. — Пересекал моря, преодолевал горные вершины, быстроногие скакуны носили меня по ущельям и долинам, я видел богатые и дивные дворцы, радующие глаз фруктовые сады, я долго и терпеливо расспрашивал вездесущих дервишей, всезнающих купцов, хитроумных предсказателей, великих мудрецов и странствующих ученых, я беседовал с царями великих стран, которые трепетали от одного

только вашего имени, но... нигде не нашел человека богаче вас, о Великий шах!

Довольный шах, погладив свои маленькие черные усы, злорадно улыбнулся. В огромной приемной шаха прошло брожение. Противники визиря обменивались многозначительными взглядами, полными злорадства и самодовольства, кто-то прыснул от смеха, кто-то, закрыв глаза, задумался.

— Но вчера, о Великий шах, подъезжая к городу,— не меняя тона, продолжал визирь, — в нескольких верстах отсюда, на вершине горы, я случайно встретился с этим чабаном. — Визирь знаком подозвал к себе стройного богатыря, который, подойдя к визирю, сделал шаху низкий поклон. — Видит Аллах, я не вру, он заявил мне, что знает человека богаче вас.

Удивленный шах чуть привстал с места. В рядах собравшихся раздались возмущенные голоса, неприкрытый смех и появились улыбки на лицах.

— Как? — вскочил маленький шах со своего трона и, обратившись к чабану, спросил: — Ты знаешь человека богаче меня?

— Да, мой Великий шах, — твердо ответил чабан.

— Ты, чабан, который вместе с овцами, что ты пасешь, с землей, на которой пасешь, принадлежишь мне, ты знаешь человека богаче меня? Ха-ха-ха, — разразился хохотом шах. — Кто же этот человек?

— Я, — ответил чабан.

Громко, на весь шахский дворец, раздался смех собравшихся. И сквозь этот шум прозвучал голос чабана:

— Стойте! Ничего смешного я не сказал, мой Великий шах. Я слышал, что вы мудрый падишах. Если это так, если ваша мудрость выше человеческих страстей и необузданных действий, выслушайте меня и исполните одно мое маленькое желание.

Шах сел на свое место. Не скрывая своего удивления, еще раз взглянул на этого сказочного богатыря, одетого в чабанскую бурку, и тихо молвил:

— Говори, чабан, я слушаю...

— Пригласите сюда вашего портного, мой Великий шах, — попросил чабан. — Вот мое желание.

Через минуту нукеры всемогущего шаха привели испуганного, ничего не понимающего портного.

— Скажи, портной, — заявил чабан, — если случится, что Аллах призовет нашего Великого шаха, все мы

смертны перед Аллахом, сколько потребуется ситца, чтобы сшить ему саван?

Портной смерил взглядом, этого двухметрового богатыря, покосился на шаха и, заметив его утвердительный кивок, пролепетал:

— Ме... метра четыре!

— А для меня сколько потребуется на саван?

Портной смерил взглядом этого двухметрового богатыря и самодовольно ответил:

— О-о, метров двенадцать, не меньше!

— Вот видите, мой Великий шах! Это все, что принадлежит нам в итоге, это и есть наше с вами богатство, во имя которого люди убивают друг друга! Так кто же из нас богаче, я или вы, мой Великий шах?..

ОТКРЫТИЕ

— Что самое сладкое на свете? — спросил однажды дед, собрав вокруг весь свой тухум.

Задумались сыновья и внуки старика. Нельзя торопиться с ответом, не одобряет старость поспешности молодости. «Торопливая речка до моря не добежит»,— гласит народная мудрость.

— Самое сладкое — это сон, дедушка! — сказал один из внуков, пристально взглянув на деда.

Тот молчал.

— Слаще жизни ничего нет! — убежденно заговорил младший сын. — Мне кажется, я ответил правильно, отец?

— Нет, сын, это только часть правды, — ответил старик и добавил: — Бывает и смерть слаще жизни...

— А я знаю, что самое сладкое, — торжественно и весело заявил семилетний внук. — Самое сладкое, дедушка, это... халва.

Ответ мальчика вызвал улыбки и смех.

— Извини, отец, — сказал старший сын, — но коли возник вопрос, то должен быть и ответ. Я думаю, что слаще всего жен...

— Не надо продолжать, — остановил его старик. — То, что ты хотел назвать, тоже не вся правда... Сладостная истома любви — великая сила, на ней жизнь держится, но...

— Власть! Есть ли что ее слаще? — воскликнул средний сын старика и восторженно продолжал: — Быть властелином целого мира, ощущать величие свое, сладость силы и могущества своего — это великая сладость!

Но, заметив, что слова его никого не убедили, умолк.

— Наверное, — начал старший внук, — точнее всех на вопрос деда отвечу я. Жизнь, как известно, диалектична и познание истины коренится в борьбе противоположностей. Вот почему для того, чтобы ответить на вопрос, что самое сладкое на свете, надо знать, что является антиподом сладости. И потому я думаю, что самое сладкое — это горечь, ибо, не познав горечи, не узнаешь и сладости.

— Ну ты загнул! — заговорили разом братья и дяди. — По этому принципу можно считать, что голод гораздо слаще, нежели сытость...

Собравшиеся снова засмеялись.

— Дети мои, успокойтесь, — заговорил дед. — Каждый из вас был по-своему прав, отвечая на мой вопрос. Конечно, сладка и жизнь, и сон, и власть, и прочее. Но самое сладкое на свете, дети мои, — торжественно продолжал старик, будто открывая великую тайну бытия,— это то необдуманное, незаслуженно обидное слово, которое ты хотел сказать другому и не сказал... Когда пройдет время, лишь тогда вы ощутите на языке великую сладость этого невысказанного слова...

ВДОВУШКА

Жила в нашем селе красивая и дородная вдовушка. Не баловала эту женщину жизнь своими радостями, давно уже не одаривала минутами счастья, а наоборот, как могла, вредила — раньше срока лишила мужа дорогого, а теперь и на дитя ее, сынишку малого, болезнь напустила.

Сохнет мальчик день ото дня, догорает, как свеча восковая.

Умоляет и просит Бога вдовушка спасти дитя ненаглядное, радость очей ее, от хвори пакостной, от сглазу вредного, не дать безвременно закрыться глазкам дорогим.

И где бы она ни бывала: на людях или без них, взволнованно и покорно, как Матерь Божья, вскинув очи вверх, молитвенно обращалась она к Всевышнему:

— О, всемогущий и всевидящий! Исцели сынишку моего, все его хвори и болезни тяжкие перенеси на меня. Убей меня, Господи, а сыну дай жить!

И эта молитва ее громогласная вызывала в людях участие и сочувствие: какая-то бабка трав принесла лекарственных, что пошло, говорят, на пользу малому, кто-то врача известного на дом пригласил без затрат для вдовушки.

Так и шло время.

Домик ее стоял на краю села и был из двух комнат. В дальней комнате на тахте лежал больной мальчишка, в передней коротала свое время убитая горем вдова. Во дворе, в хлеву, привязан был ослик, послушное и доброе животное, помощник вдовы в хозяйских делах.

И утром ранним, и в вечерних молитвах своих умоляюще просила вдова исцеления сыну, хотя бы ценой собственной жизни.

Однажды ветреной темной ночью, когда, как обычно, вдова спала в передней, ослик освободился от привязи и ненароком толкнул головой в хозяйскую дверь.

Дверь с треском раскрылась, и в ее проеме вскочившая от шума вдова вдруг в ужасе увидела светящиеся глаза и огромную страшную голову. В темноте ночи ей показалось, что это ангел смерти Азраил пришел за ее душой, что минуты ее сочтены, и она, в молитве став на колени, вскрикнула:

— Нет! Нет! Больной не здесь! Он в соседней комнате!..

БЕЛЫЙ ДОМ

Асфальтовая лента дороги перерезала виноградники совхоза на две неравные части: малую — предгорную, ибо разместилась она у подножья Кавказских гор, и большую — приморскую, поскольку приблизилась почти к самому берегу буйного Каспия. «Предгорные» виноградники закреплены за одной бригадой, а «приморские» — за тремя.

Чтобы быть ближе ко всем бригадам, поскольку телефонной связи между ними нет, по заданию руководства совхоза местные умельцы выстроили у самой дороги красивую, подобную китайской пагоде, беседку и покрасили ее в белый цвет. Здесь в конце рабочего дня планируют задания на следующий день или «чистят» нерадивого работника. Совхозные острословы тут же прозвали беседку Белым Домом.

Сегодня в Белом Доме шумно. Главный агроном совхоза, большеголовый, широколицый богатырь, совсем не упырь-злодей, каким кажется на первый взгляд, а добрый и милый человек, собрал начальников отделений, агрономов и бригадиров, чтобы подвести итоги осенне-зимних работ и выставить напоказ к делу небрежных. В частности, бригадира предгорной бригады — худощавого, как таркал, лопоухого увальня. Зовут его Локатор, и он охотно на этот зов откликается, привык. За оттопыренные уши приклеилось к нему это прозвище еще со школьных времен, и вот уже более трех десятков лет сопровождает его повсюду.

Однажды случился курьез: ревизор поднял целую бучу, обнаружив в ведомости на выплату премии «мертвую душу» — в списке работников совхоза в отделе кадров документов человека по фамилии Локатор не оказалось, а он получил большую сумму. Смеялись долго — бухгалтер бригады при составлении ведомости по привычке вместо фамилии бригадира написал: «Локатор», а тот преспокойно расписался.

— Скажи, Локатор, — спросил его главный агроном, — в чем дело, уже весна стучится, а у тебя до сих пор не завершена обрезка кустов?

— Опоздал малость, наверстаем, — хлопая глазами, отвечает Локатор.

— Когда? — наседает главный. — Скоро сокодвижение начнется, а у тебя четверть площадей нетронутой стоит.

— Наляжем всей бригадой, — снова парирует бригадир.

— Ты и в прошлом году вот так же обещал, а плана не выполнил, — вмешивается начальник отделения совхоза, в подчинении которого бригада Локатора.

Тот молчит.

— Смотри, выгонят тебя рабочие из бригады, — замечает главный агроном, — подведешь...

— Нет, не подведу, все сделаю, обещаю, — снова заверяет Локатор.

И тут случилось удивительное: главный агроном, выслушав перепалку с Локатором, сотрясаясь всем своим огромным телом, стал смеяться, взахлеб, до слез.

— Вы чего? — хлопая удивленно глазами, спросил Локатор. — Чего смеетесь-то?

Это развеселило уже всех присутствующих.

— Я вспом... — отдышавшись от смеха, заговорил главный агроном. — Ты знаешь, Локатор, я вспомнил одну историю... Однажды волку пообещали, что его со следующего дня назначат пастухом большой овечьей отары. Услышав эту весть, волк стал плакать. Ему говорят, что это ты, мол, плачешь, наборот, радуйся, что счастье тебе привалило, теперь, мол, в твоем распоряжении будут сотни баранов, только успевай: дави и ешь, не жизнь, как говорится, а малина, кайфуй...

— Я тоже так думаю, — согласился Локатор.

— Вот-вот... — продолжает главный. — Волк же отвечает: «Я знаю, что мне будет хорошо, даже очень прекрасно, прямо как в раю, но одного я боюсь...»

«Чего?» — спрашивают волка.

«Что это обещание будет обманом...» — отвечает он.

Главный агроном ненадолго умолк и с каким-то тайным смыслом добавил:

— Вот и я этого боюсь, бригадир. Лучше горькая правда, чем ласковый обман...

ЧЕМОДАН

Мудрость приходит с годами, она — опыт прошлого: пройденного, прочувствованного и передуманного. У молодости, как и у всякого начала, всего этого еще нет, поэтому она спешит, торопится изведать неизведанное, пройти намеченное, ей незачем оглядываться, у нее там, позади, ничего нет. А у старости, наоборот, все или почти все позади, есть над чем подумать, поразмыслить, сделать выводы из опыта прошлого, ибо дорога подошла к концу, даже не столько дорога, а время — каждому, как говорится, отведен свой век.

Молодость и старость — родник жизни, как одно целое, как продолжение начала, и если бы старость не

имела надежды на идущую ей вслед молодость, а последняя безумно отвергала бы опыт и мудрость старости, иссяк бы родник жизни, мир потерял бы стремление к действию.

Мудрость — еще и умение отобрать главное из всего многообразия мироощущений, найти ту грань алмаза, которая особенно ярко отражает свет: это — редкое сито, которое, просеивая, не потеряет в шелухе ни одно полезное зерно. И если это умение приходит к человеку не в конце пути, а где-то хотя бы в середине его, то родник преображается, пульс его становится наполненным и стремительным, как у бегуна, когда он преодолевает критическую точку и путь к победе кажется ему легко преодолимым.

Мой сосед, седеющий толстяк, учитель астрономии, говорил обо всем этом с сожалением и грустью, как человек, который в суете жизни упустил что-то очень важное, словно золотых дел мастер среди лома не увидел и не оценил металл драгоценный...

— Представь себе, мой друг, — рассказывал он откровенно, — при жизни мы как-то не замечали в отце ничего особенного: отец как отец, заботливый — да, трудолюбивый — да, малость вспыльчивый, когда дело касалось подлости — тоже да, и как будто все... А он еще много лет назад преподнес нам такой урок, глубину мудрости которого мы постигли лишь сегодня.

Он вдруг оживился, в глазах его появился радостный блеск, словно он — астроном, разгадавший, наконец, тайну далекой звезды.

— Однажды в воскресенье меня разбудил крик недовольства матери,— продолжал он, таинственно улыбаясь, — которая сердито выговаривала отцу: «Ты что, слепой? Ну как ты мог купить этот чемодан... он же весь изодранный, совершенно ненужная вещь... за него не только платить, этот хлам и домой принести равносильно позору... Деньги выбросил на ветер... Нет, ты окончательно белены объелся...» Когда, умывшись и одевшись, я зашел в сарай и увидел покупку отца, я ахнул от изумления, потому что это был не чемодан и даже не подобие чемодана, а так, обклеенный дерматиновыми лоскутами ящик.

Отец был кровельщиком, хлеб добывался нелегко, и такая «покупка» отца была нами воспринята как одна из его причуд. На очередные упреки матери он махнул

рукой и вконец выведенный из себя произнес: «Знаешь что, это не твоего ума дело...»

Шло время, и страсти вокруг чемодана сменились шутками. Теперь уже история эта подавалась нами в компании родственников и друзей для потехи, как десерт после вкусного обеда. Отец не сердился, а лишь еще больше щурился, глядя на рассказчика, как дегустатор на очередной бокал...

Вскоре об этом курьезном происшествии забыли. Однако я его забыть не смог. Не укладывалось в моем сознании, что отец — человек труда, в поте лица добывавший свой кусок хлеба, мог так легко выбросить деньги. Я верил, что за «причудой» кроется какая-то тайна, щепетильный случай, о котором отец вспоминать не хотел. И я не ошибся...

Сосед мой потянулся за пачкой сигарет на столе, с волнением достал одну, помял ее в пальцах, прикурил и глубоко затянулся.

— Да, я не ошибся, — повторил он уверенно. — Послушай дальше, тебе будет интересно... Но прежде о другом... Я много думал вот о чем... В царской России самыми высокооплачиваемыми были знаешь какие профессии? Врача, учителя и юриста... А у нас, у нас их труд самый дешевый. И что имеем в результате? Во врачевании мы потеряли главное — милосердие, в воспитании и обучении — нравственное начало, в юриспруденции — справедливость. Без этих трех китов человеческое общество жить не может, оно «болеет», наше общество... Так вот, в суматохе, в этой «бесконечной битве» мы потеряли еще одно ценное качество нашего старшего поколения — благородство. Сегодня это редкость, дефицит, скажу прямо — роскошь; найти благородного человека — то же самое, что отыскать звезду в закрытом тучами небе... А говорю я об этом вот почему. Однажды мы остались с отцом наедине, и я напомнил ему о том злополучном чемодане... О-о, что было, что было... Он поведал мне историю, которая привела меня в такую растерянность, что я по сей день стыжусь и покрываюсь краской от воспоминания о ней... Отец, как правило, поднимался на рассвете и уже к 4 часам утра был в чайхану. Там, как тебе известно, подают не только ароматный чай, но и все последние новости, даже те, о которых не знают еще ни милиция, ни спящие горожане. И вот на пути к чайхане он встре-

тил на улице своего фронтового друга, о котором было известно, что он вот уже шестой месяц болеет и редко покидает постель. Расспросив того о житье-бытье, он узнал, что больной находится в крайней нужде, что семье его прямо худо и за неимением более стоящей вещи он несет на базар этот чемодан, авось хотя бы за пару рублей кто-то купит.

«Вот так, взять и дать ему денег я не решился, — рассказывал отец, — этим я его мог унизить, а я не хотел ему причинять еще и душевную боль... Вот я и решил с ним поторговаться... Я стал его убеждать, что он ошибается, что чемодан его стоит гораздо дороже, стал говорить о его достоинствах: о ручке, пряжках, замках и прочем, что отдавать его за 2 рубля — это расточительство, и предложил ему 15 рублей...»

Он отдал своему другу 15 рублей — с великим трудом заработанных денег, отдал, чтобы, не унизив, не оскорбив, поддержать его в трудную минуту, а чемодан... чемодан принес домой и выбросил в сарай...

Вот и вся история, мой друг. Я же в раздумье с тех пор: мы, новое поколение, идущее вслед за отцами нашими, не растеряли ли в пути то, что так бережно несли они?..

КИСЛОЕ МОЛОКО

Одни утверждают, что тетушка Ханум жила в Ширване, даже называют улицу, где она проживала, другие клянутся светом Божьим, что она нигде не жила, кроме как в Баку, ничуть не меньше, а мои патриотичные горожане, готовые биться за истину с кем угодно и на любом уровне, твердо считают, что тетушка Ханум конечно же коренная жительница Дербента и при этом говорят о таких подробностях из ее жизни, что им может не поверить лишь неверующий.

Худо лишил ее почему-то детородства, но зато во сто крат увеличил ее любовь к детям, а те, в свою очередь, души не чаяли в ней: послевоенные, страждущие, голодные, безродные и даже имеющие родителей тянулись к ней, как замерзший тянется к теплу. Вся голытьба городская, и малые и большие, столовались у нее, будто приходили в собственный дом. При этом ребята

не только не встречали отчуждения, наоборот, находили бесконечное сострадание и внимание. Нуждающихся тетушка Ханум чувствовала нутром, узнавала по глазам или по только ей одной известным приметам и непременно приходила на помощь. По существу, все в ее доме отдавалось им.

Тетушка Ханум — дородная, крупная, можно сказать, пышная женщина средних лет, была, вопреки ее полноте, очень подвижной и решительной. На единственном городском рынке, которым она руководила уже много лет, хитроумные торговцы боялись ее как огня и ублажали всячески. При этом, заметив угодливое выражение лица ублажателя, она язвительно говорила:

— У-у, бесстыжая морда, так и норовишь у ног распластаться...

Так в ней и уживались презрение и высокомерие к рыночным дельцам, порой даже жестокость к некоторым из них, и трепетная любовь к сиротам и страждущим детям, для которых она находила и открывала свои тайники нежности и заботы.

Студент Садык, племянник тетушки Ханум, родители которого лет десять назад были репрессированы как «враги народа», у нее теперь находил материнскую заботу. Однажды парень застал тетку бледной, лежащей, скорчившись, на диване. Периодические отрыжки, видно, дали о себе знать, вызвав острые боли, и бедная женщина, схватившись за живот, тихо стонала.

— Тетушка, что с вами? — встревожился племянник.

— Ничего, ничего, не беспокойся, — успокаивающе, но все еще постанывая, отвечала тетушка Ханум, — садись, отравилась, наверное...

— Так я сейчас за доктором сбегаю, — с готовностью говорил племянник. — А где дядя?

— Доктора не надо, — отвечала больная, — дядя побежал за кислым молоком.

Как раз в этот момент в комнату вбежал муж тетушки Ханум с банкой кислого молока. Он торопливо схватил со стола ложку и кинулся к ней.

— Ай, муж, — сказала тетушка Ханум, — дай тарелку...

— Зачем? — не понял муж, — ешь прямо из банки, вот ложка...

Женщина отвела руку мужа и решительно сказала:

— Садыку отлей немного, ему полезно...

МЕЛЬНИЦА

Старик Шомоил, мой давний знакомый, — высокий, малость сутулый, большеголовый, с грубыми крупными чертами лица, на котором жизнь оставила и борозды морщин, и рубцы шрамов — следы кинжальных и пулевых ран, с большими кистями рук, которые при необходимости готовы превратиться в огромные кулаки. Он каждое утро, неторопливо отгоняя на пастбище единственную корову и десяток овец, проходит мимо моего дома и искренне приветствует:

— Себехьтуь э хэйр бу, хелефме! Чуь хэбери? — И, выслушав ответ, так же неторопливо идет дальше.

На этот раз он шел как-то очень трудно, словно был под тяжелой ношей, лучше сказать даже, не шел, а волочил и без сапог тяжелые, мослатые ноги.

— Как жизнь, отец? — ответив на приветствие, спросил я его. — Что-то запоздал сегодня...

— Устал, сынок, — опершись на большую суковатую палку, доверительно ответил старик. — Давно пора на покой, а вот... — Большим корявым пальцем он показал в сторону сердца: — Все неймется, стучит и стучит...

Маленькое стадо старика тоже остановилось. Овцы стали тереться друг о друга, а корова, отгоняя хвостом назойливую муху, обнаружила невесть каким образом выросший у дома зеленый куст и стала щипать его.

— У нас, в Мюшкюре, один пришлый построил мельницу, а утром следующего дня его, утопшего, нашли на берегу Гюльгеричая. В народе говорили тогда, что «водяной подать взял»... — продолжал старик с лукавинкой. — Это я к твоему вопросу все... Мертвого-то, как водится, предали земле, а вот как мельницу остановить — никто не знает: льется вода сверху, крутит колеса, а там, в свою очередь, вовсю работают жернова... Один было полез с палкой, так его так шарахнуло, что думали, всё, погиб парень... Ну тут его родственники рассердились, полезли с кинжалами, стреляют в колеса из пистолетов, а мельница грохочет жерновами, и все... Нашли старую пушку с самопалом, три ядра, килограммов по десять каждое, как бухнули — крышу снесло, от колес щепки полетели, думали, всё, остановится неуемная, так нет же, вся израненная, кинжалами да

пулями побитая, ядрами пробитая, работает, шельма, и все тут...

Старик тихо кашлянул, выпрямился, крепче сжал свой суковатый посох и добавил:

— Вот и я, старая кляча, как та давняя мельница, весь побитый да израненный, а вот не остановиться никак, не остановиться... Будь здоров, сынок!

Старик пошел дальше навстречу новому дню, который и сегодня будет бить и стрелять в его мельницу...

СЕЛЬСКИЙ ХЕМИНГУЭЙ

О Келебебе-богбоне можно говорить не уставая. Келебебе — это значит отец или дедушка, а богбоном его назвали за то, что в нашем селе он слыл лучшим садовником и только у него в саду росли редкие деревья, вкусными плодами от которых он не раз угощал и нас. Как-то купил я в магазине портрет Хемингуэя и повесил на стену. Наша бабушка долго разглядывала его, а потом задумчиво говорит: «Послушай, внук! Видно, Келебебе-богбон был, действительно, большим человеком, если его портреты в магазинах продают». Это поразительное сходство сбило с толку не одну нашу бабушку, но и многих наших соседей, которые, не разобравшись вначале, в один миг раскупили в магазине все портреты. Умудренный жизнью добрый взгляд с портрета был точно как у Келебебе-богбона.

Жил он в соседнем дворе, и мы, мальчишки, почти каждый вечер бегали к нему слушать овосуне или притчу, которые он умел мастерски рассказывать. Зачастую, забывшись, он настолько вживался в мир своих сказок, что возмущался несправедливостью падишахов или тяжело переживал беду своего полюбившегося героя. Сидя на тахте и поджав под себя ноги, он сажал одного из нас на одно колено, второго — на другое, остальных рассаживал вокруг себя, поглаживал свою седую бородку и после недолгого молчания начинал...

* * *

В Ардебиле, древнейшем городе Ирана, жил падишах. Это был город изумляющей красоты, окруженный райскими садами, в которых распевали свои неумолка-

ющие песни влюбленные соловьи. А из его хавузов утоляли жажду многочисленные путники, ибо здесь, через этот город, проходили главные караванные дороги в сказочный мир богатейших стран юга. В караван-сараях славного Ардебиля останавливались на отдых купцы, которые держали путь в Экбатан, Хорезм и Индию, и, возвращаясь, считали своим долгом отвесить ему поклон. Сюда заходили путешественники и странствующие дервиши, здесь находили приют поэты и ашуги.

Так вот, жил в этом городе падишах, с сердцем мягким и нежным, душой мечтательной. Ни одного купца или путешественника не оставлял он без приглашения, устраивал в их честь пиры, подарками одаривал каждого, а потом терпеливо расспрашивал о житье-бытье в других вилайетах, об интересном и захватывающем, о чудесах и диковинках, что видели и слышали они в дальних странах.

И однажды купцы иранские, которые возвращались с северной стороны, рассказали ему о невероятном городе, что повстречался им на пути.

— О солнцеликий падишах! Да будет жизнь твоя сладостна и долговечна! — обратился к нему один из купцов. — Город этот, словно одноглавый дев, улегся поперек большого караванного пути головой на вершине, а хвостом в море. Дворцы его прекрасны, земли плодородны, а воды целительны. Но, великий падишах, дело совсем не в этом...

— Так в чем же? — нетерпеливо вскрикнул падишах.

— Дело в том, великий падишах, — продолжал купец неторопливо, — что в нем нет... дураков.

— Нет дураков? Одни мудрецы? Ха-ха-ха! — расхохотался падишах, а потом, успокоившись, недоверчиво переспросил: — А как же дворцы... без дураков? Кто же... правду скажет?! Это что же, никого не проведешь, не обманешь? Не-е-т!— не поверил падишах. — Что-то вы здесь напутали. Государи без дураков не могут!

— Великий падишах! Воля ваша, верить нам или нет, — с достоинством заговорил снова купец, — но мы говорим правду. Люда всякого там немало, говорят на разных языках, но живут дружно, без ссор. И потому врагам недоступен этот город. Мы же, если на то будет воля Аллаха, скоро снова поведем свои караваны в те

края, если великий падишах пожелает, пошлите с нами своего человека, пусть посмотрит...

Скоро ли то было или не скоро, но однажды доложили падишаху, что купцы иранские, которые на север держат путь, всемилостиво просят его величество их принять. Понял падишах, кто были те купцы, и вышел им навстречу в одежде дервиша.

— Не удивляйтесь, купцы дорогие, — улыбаясь, сказал падишах, — заскучало мое сердце в этих стенах, на волю просится. Вот и решил я не посылать никого, а сам пойти в тот город...

Долго ли шли они, коротко, о том неведомо, но рассказывали, что по берегу моря Хазарского шли они на север, преодолевая реки бурные, через долины мюшкюра, цветущего по подножию Великих гор. Шли медленно, не торопясь, ночью под светом нежной и чистой луны, а днем прячась от палящего солнца под кронами могучих дубов.

К городу тому подошли на рассвете. Ворота были закрыты, за ними слышался могучий храп стражи. Где-то вдалеке торжественно заголосил петух, потом слух уловил заунывную мелодию, прочел молитву муэдзин, открылись ворота...

«Как же я здесь распознаю жителей? — вдруг подумал падишах-дервиш и задумчиво остановился. — Как отличить умного от дурака? Иногда падишахи делают такие дурости, что у райятов только желваки трясутся, а попробуй хоть один из них даже заикнуться об этом. Вот тебе и отличи... Ладно, не буду ломать голову, — решил падишах, — заговорю с первым встречным, а там видно будет...»

И первым, кого встретил падишах-дервиш, войдя в ворота, был мальчик лет семи или восьми. Сидя верхом на длинной палке из инжира, он весело погонял своего послушного скакуна, хлестал его хворостинкой по бокам.

— Мальчик! — сказал падишах-дервиш, остановив его. — Здравствуй, сынок!

— Здравствуй, дядя! — запыхавшись от бега, ответил мальчик.

— Знаешь, сынок, я впервые в этом городе и никого здесь не знаю, — заговорил дервиш. — Что-то у меня горько во рту, вот тебе абаси, купи мне что-нибудь сладкое. Я тебя здесь подожду.

Мальчик внимательно посмотрел на странника, услужливо взял монету, повернул своего скакуна и весело куда-то помчался. Он не стал искать лавки уста-халвачи, не поскакал к тем мастерам, которые делают вкусный щербет, а направил своего иноходца прямо на базар, в лавку мясника. Подав ему монету, он попросил мясника дать ему того мяса, которое висело на последнем гвозде. Приняв сверток, мальчик устремился к месту свидания и отдал дервишу ношу.

Не взглянув даже на то, что ему принесли, дервиш поблагодарил мальчика и обратился к нему с новой просьбой:

— Извини, сынок, со мной что-то приключилось. Теперь во рту у меня приторно-сладко, прямо невыносимо. Вот тебе еще абаси, купи мне что-нибудь горькое.

Мальчик слегка улыбнулся и, забрав монету, стремглав бросился снова в мясную лавку. Попросив у озадаченного хозяина лавки того же мяса, не задумываясь, вернулся к страннику.

Тот раскрыл первый сверток, потом второй — и удивился!

— Сынок! — озадаченно сказал падишах. — В первый раз я просил тебя купить что-нибудь сладкое, второй раз — горькое, а ты и в том и в другом случае принес... язык?

— Ах, дядя́! — ответил мальчик сочувственно. — Самое сладкое и самое горькое и есть у вас в руках! Разве вы этого не знаете?.. До свидания, — сказал он через секунду, повернул своего деревянного скакуна и помчался прочь, оставив в задумчивости великого падишаха Ардебиля.

«Да-а! — подумал падишах. — Если в этом городе даже такие мальцы — мудрецы, что говорить о других?!»

* * *

Сказка осталась, а Келебебе-богбона давно уже нет в живых. И каждый раз, когда я вспоминаю его доброе имя, жалею, почему тогда не расспросил его подробнее о городе того мальчугана с деревянным скакуном, и ловлю себя на мысли, что уж больно похож он на мой древний Дербент...

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

Кому первому пришла мысль об организации этой встречи — никто не решился сказать, но, будто сговорившись, все в один голос утверждали, что предложение это, конечно, исходило от дедушки Келебебе. Так это было или не так, но в последний день весны под огромным тутовым деревом во дворе мудрого Келебебе собрался весь его тухум.

Намечали эту встречу еще год назад — разбежались сыновья и внуки старика по белу свету, пораскинула их судьба в разные края, города и села великой страны нашей, и немало трудов стоило кунчоли — младшему сыну Келебебе, тоже отцу большого семейства — собрать всех сегодня под это старое, как и сам хозяин, немало повидавшее на своем веку могучее дерево. Приехали все, за исключением либо тех, кто занят на службе, либо тех, у кого произошло какое-нибудь чрезвычайное событие.

Семеро сыновей и одна дочь Келебебе принесли ему сорок семь внуков и внучек, а одиннадцать из них, в свою очередь, произвели его в прадедушки. Не было среди них ни одного, кто бы не почувствовал ласку и внимание Келебебе, кого бы не знал старик в лицо и чье-либо имя забыл. Всех держал в памяти мудрый Келебебе и не преминул спросить о чем-то, только ему известном, каждого, кто подходил приветствовать его в этот солнечный майский день.

Расстелены на земле красочные ковры табасаранских мастериц, разложены на них маленькие мягкие подушки для сиденья, здесь же убранная тахта, на которой восседает основоположник рода — Келебебе. Рядышком расставлены столы, на которых, блестя, красуются четверти с сухими винами собственного производства, много сортов зелени, свежеиспеченный тандырный чурек, зажаренный на сковороде свежий усач и с блестящей жирной спинкой уже высушенный мартовский кутум. Чувствуются запахи ароматного плова и шашлыков — сыновья и внуки старика, весело переговариваясь, священнодействуют, готовят в углу двора.

Встреча родственников — одна кровинушка, как говорится, все свои, словно ветви и побеги могучего ствола.

— А-а, вот и мой Мунош приехал,—улыбаясь, приветствовал Келебебе одного из младших сыновей. — Здрав-

ствуй, здравствуй! Ну-ка, садись, душа моя, рассказывай, как твоя диссертация, защитился? Что говорят ученые, можно с виноградной чумой, то бишь с филлоксерой воевать?

— Да, отец, твои методы приняты наукой, — утвердительно кивает головой тот.

— Ну, ну, мои, скажешь тоже, они, душа моя, столько же и твои, десять лет бригадирствовал, ночами не спал... — Потом, довольный, старик добавил: — Молодец, своего добился, я рад за тебя... Ну, а ты, Содуг, душа моя, почему изменил земле, на завод пошел работать? — пожимая руку внуку, с иронией обратился Келебебе к голубоглазому юноше. — Я здесь его расхваливал, а он...

— Не сердись, дедушка, — обнимая старика, отвечал Содуг, — и на заводах работать нужно, сам же учил: главное — дело свое делать по-человечески... А земле, кстати, я не изменял, рядышком с домом развел маленький палисадник, так что, дедушка, зелень едим свою...

— И здесь экономит, душа моя, узнаю внука... — пошутил старик.

Шутка деда вызвала смех.

— Здравствуй, дедушка, рад тебя видеть бодрым и здоровым! — как-то неестественно торжественно приветствовал старика Мугдоши, словоохотливый внук Келебебе, а потом представил ему своего товарища: — Вот, познакомься, дедушка, со мной приехал друг, он журналист...

Старик пожал руку гостю.

— Газеты пишешь, значит, душа моя, — весело уточнил Келебебе. — Как нынче, верят тому, что пишут?..

— По-всякому бывает, — уклончиво ответил гость и, воспользовавшись возможностью поговорить со стариком, неожиданно спросил: — Скажите, пожалуйста, дедушка, сколько вам лет?

— Тебе, душа моя, наверное, мои сыновья и внуки столько наговорили обо мне, что ты возомнил, что, мол, Келебебе стар и мудр, спрошу-ка его о чем-нибудь, не так ли? — хитро, вопросом на вопрос, ответил старик.

— Да я и сам вижу, что не так прост дедушка Келебебе, как кажется на первый взгляд, — весело ответил гость.

Собравшиеся вокруг старика родственники согласно закивали.

— Задавший вопрос ждет ответа, не так ли, душа моя? — улыбнулся старик.

— Да, дедушка, не из праздного любопытства спрашиваю, — отвечал молодой гость.

— Вот как? — задумался хозяин дома. — А как мне тебе ответить?.. Говорят, когда одного гостя повели на старое кладбище, он был весьма удивлен тем, что на могильных камнях значились короткие надписи об усопших, мол, такой-то прожил 3 года, 5 лет, 2 года и т. д.

«Что это, детское кладбище?» — спросил тогда обескураженный гость.

«Нет, — ответили ему, — здесь похоронены люди разных возрастов: и молодые, и старые...»

«Как же тогда понимать эти надписи?» — ничего не понял гость.

И ему пояснили, что каждая цифра на этих могильных камнях означает тот срок, который человек счастливо прожил за свой век. Так вот, душа моя, одни считают, что человеку столько лет, сколько он прожил в удовольствии. Другие же, есть и такие, ведут счет своей жизни со дня ухода на пенсию. Они пришли к убеждению, что правильно жил лишь тот, кто к шестидесяти годам сохранил здоровье: не надрывался, не усердствовал, не нервничал... Вот так, душа моя...

Старик прервал рассказ, погладил бороду в раздумье и, обратившись к гостю, неожиданно предложил:

— Тебя, душа моя, я приглашаю вместе посчитать, сколько же мне лет... Вон, рядом с тобой, сидит мой первенец... Много он нам хлопот доставил, пока рос: часто болел, плохо спал, от его крика в соседнем дворе не спали, а нам и подавно было не до сна... Потом драчуном стал, часто с шишками приходил, потом... а-а, что рассказывать, ему скоро шестьдесят будет, и всю жизнь за него у меня сердце болит... За ним, вон, второй стоит. Правдоискателем был и остался навсегда, а честному, правдивому человеку, душа моя, не сладко живется... Били его много, с должностей гнали, травили, как могли... Вот и за него все его 58 лет сердце стонет, прибавь к первым 60 вторые 58... Третьему моему недавно 56 исполнилось, нефтяником в Тюмени работает, а там холода, трудности, так что вестей от него жду с нетерпением, сердце готово вырваться и полететь к нему, когда он

долго не пишет, весь издергаешься, а он, поганец, забывает об этом...

— Прости, отец, виноват... — признался «обвиненный».

— Молчи и на ус наматывай, — многозначительно отвечал ему старик, — знаю, что и твой пострел подолгу домой не пишет, весь в тебя... Так вот, душа моя, будем считать дальше. Четвертому моему 50, пятому — 48, а между третьим и четвертым родилась и дочь моя, Шекер. За каждого из них ежедневно, ежечасно у меня душа болит. Тревожусь я обо всех внуках, не могу оставаться равнодушным по сей день к судьбе правнуков, близких и родных своих. Сосчитал, сколько годков набирается? Так вот, душа моя, до тех пор, пока мое сердце болит за близких мне людей, пока я не равнодушен к их судьбам, столько я и живу...

ЧТО ДАШЬ, ТО И ВОЗЬМЕШЬ

Произошло это еще до войны, в Мюшкюре, большом разноязычном селении на берегу Гюльгеричая — красавицы-реки, котрая берет свое начало в горах древнего Орага, стремительно, словно бегущая на зов жениха невеста, несется по кручам Кавказа, легко увлекая за собой гладкобокие голыши, устилая ими свое русло на равнине, и, найдя, наконец, своего возлюбленного, бросается в объятия могучего Каспия.

Здесь, в устье реки, рядом с лесным массивом, на нанесенной ею плодородной илистой почве образовались тогда зеленые луга с сочным травостоем, кое-где островками — плантации камышовых зарослей, да чистые, будто родниковые, малые разливы, куда заплывали весной жирные блестящие кутумы и усачи с розовыми хвостами и плавниками и где метали икру, а затем, одухотворенные содеянным, теряли чувство опасности, становились сонливо-ленивыми и оттого были легкой добычей для обрадованных рыбаков.

Здесь, подальше от людских глаз, назначали встречи влюбленные, здесь укрывались на зиму уставшие и отставшие от стаи перелетные птицы, сюда же, на обильно поросшие травой луга, отправляли сельчане своих лошадей на ночную пастьбу.

Однако картина эта будет неполной, если не упомянуть еще об Авдале, живом придатке этих мест, двадцатилетнем увальне — трудолюбивом и молчаливом добряке, который почти круглый год пас здесь свою, такую же, как сам, неторопливую лошадку, рыбачил и тут же на костре, в старом закопченном, невесть каким образом приобретенном им причудливом медном казанке варил себе уху, приправляя ее пахучим сельдереем, мятой, диким луком и редким анисом, кои произрастали здесь обильно и почти повсюду.

Работал Авдал объездчиком в лесничестве и нес свою службу исправно: без надобности никого не обижал, но и самовольных рубок не позволял, а вот одинокой беспомощной старушке какой, бывало, сам привозил и молчаливо забрасывал во двор подобранный в лесу валежник, при этом на похвалу не отвечал, а неловко добродушно улыбался и тут же уезжал.

На ночлег в свою саклю он заглядывал, можно сказать, лишь в зимние дни, в другое же время спал Авдал прямо на лугу, под открытым небом, подложив под себя видавшую виды шубу из овчины, а под голову — сумку с неприхотливой едой. Тут же рядом паслась и его лошадка.

Жители села относились к Авдалу с лукавинкой, как к человеку с причудами, мол, что с него взять — чудак, и все тут. Порой были не прочь и подшутить над ним. Его незлобивость, немногословие и простодушие некоторыми его сверстниками принимались за тугодумие и даже за глупость. И это выдавало у них желание посмеяться над ним, а иной раз чуточку и унизить. Однако Авдал оставался к этим нехитрым выходкам товарищей безразличным, лишь добродушно улыбался и не обращал на них внимания. Вот таким он был, это дитя природы. Хотя справедливости ради следует сказать, что старшим импонировали его трудолюбие и доброта, и они зачастую ставили Авдала в пример своим оболтусам.

Однажды, когда Авдал спал на лугу, устав после трудного дня, один из его сверстников, молодой колхозник Писер, которому поручено было пасти в эту ночь колхозных коней, решил в очередной раз над ним подшутить. Он спрятал лошадку Авдала в камышах, стреножил ее, а потом принялся его будить: мол, что же ты, соня, спишь, когда твоего «вездехода» украли...

Когда же, наконец, шутнику удалось расшевелить

спящего Авдала и сообщить ему о пропаже, тот полуоткрыл глаза и спросонья ответил:

— Может, это к добру. — Повернулся на бок и снова заснул.

Покуражившись недолго, заснул затем и «злоумышленник». А утром стало известно, что ночью и в самом деле украли всех лошадей, кроме... лошадки Авдала, которая была упрятана в камышах незадачливым товарищем...

К полудню того же дня лошадей нашли в сорока верстах по берегу, в соседнем заповеднике... и не без помощи того же Авдала, кинувшегося на своем «вездеходе» по каким-то только им замеченным следам вдогонку непрошенным ночным пришельцам...

— Как ты мог, — с укоризной говорил удрученному Писеру отец, старый колхозник, уважаемый на селе человек.—в одну ночь и столько всего... напакостить? Разбудить усталого после работы человека, нарочно спрятать его лошадь, чтобы он потом нервничал, а значит, причинить вред, совершить зло... Мало всего этого, оставить на произвол судьбы колхозных лошадей и спокойно лечь спать... Да кто же ты после всего этого? — все больше распалялся старик.

— Я же пошутить хотел, — сгорая от стыда, оправдывался Писер, — я не хотел, отец....

— Не хотел!.. — возмутился старик. — Запомни, сын, подлое, злое деяние, совершенное нами, нас самих не минет никогда! Оно, как бумеранг, брошенный в другого... возвращается и ранит нас самих... — И заметив, что сын и сам осуждает себя за содеянное, успокоился и уже с назиданием продолжил: — Вот послушай, я расскажу тебе об этом... Несколько веков назад, недалеко от Дербента, у самого края Джалганской горы, располагалось селение Або-Собо. Жила в нем измученная горем, несчастная мать семерых сирот, уходившая с рассветом в город, чтобы выпросить у сердобольных граждан хлеб насущный и накормить голодных детей. Выпрашивая кусок чурека или лепешки сухой, она благодарно причитала:

«Дай вам Худо! Все, что сделаете, вам же и вернется!»

Не минула нищенка и семью городского богача. Положив в суму протянутый богатой хозяйкой хлеб, нищенка и ей неизменно повторяла:

«Дай вам Худо́! Все, что сделаете, вам же и вернется...»

Не нравились эти причитания хозяйке богатого дома, они вызывали в ней бурю негодования, а порой даже дикой злобы. «Ишь, ведьма, — говорила она про себя,— мало того, что я ей хлеб даю, она мне такого же «хлеба» и желает...»

И обозленная богачка решила нищенку извести.

— Убить? — удивленно спросил Писер.

— Да, сын, — не сразу ответил старик, выбитый неожиданным вопросом из колеи своего рассказа. — Слушай дальше... К следующему приходу нищенки хозяйка приготовилась заранее, испекла чурек и положила в него яд... Выпеченный чурек на удивление оказался красивым и аппетитным. И когда нищенка вновь пришла за подаянием, возмущенная хозяйка, услышав снова ненавистные ей причитания, уже не раздумывая, взяла с подноса приготовленный ею свежеиспеченный чурек, от которого исходил вкусный запах сарыбугды, и положила той в руки...

— Это же надо, — возмутился Писер, — убить бедную несчастную женщину...

— Не перебивай, сын, — недовольно заметил старик, — умей выслушать до конца... Так вот, в то время как нищенка пошла просить подаяние дальше, с охоты в город возвращались два молодых всадника. Оба красивые, статные, богато одетые, в полном охотничьем снаряжении, чуточку удрученные неудачной охотой, они гнали своих уставших лошадей, намереваясь еще засветло попасть домой.

«Скажу тебе честно, — признался первый охотник второму, — есть хочу, прямо сил нет...»

«Потерпи малость, скоро будем дома», — успокоил друга второй.

«Стыдно признаться, — сказал первый, — попадись сейчас нищий с сумой, я даже у него попросил бы кусок хлеба...»

«Возьми себя в руки, — стал стыдить друга второй,— вот уже крепость видна, до дома рукой подать...»

И надо же такому случиться, как раз в этот момент им повстречалась та самая нищенка, которая, согнувшись под тяжестью своей сумы, возвращалась в село.

«А вот и моя спасительница, — весело воскликнул

молодой всадник и поехал навстречу нищенке, — у нее я и попрошу кусок хлеба...»

«Уймись ты, дуралей, — беззлобно заметил другой,— неужто у нищей хлеба попросишь?»

«Да, честное слово, есть хочу, — ответил он другу и весело, как избалованное дитя, обратился к нищенке:— Тетушка, вы не могли бы дать мне немного хлеба?»

Нищенка остановилась и удивленно спросила:

«Вы меня?»

«Да, тетушка...»

Нищенка посмотрела на богато одетых молодых людей, на дорогое убранство их коней и, подумав, что не подобает давать таким людям куски разного хлеба, протянула молодому человеку свежеиспеченный аппетитный чурек.

«На, сынок, ешь на здоровье...»

Всадник поблагодарил женщину, удивился было, что и в нищенскую суму попадают порой такие вкусные караваи, и, разломив чурек на две части, протянул другу одну половину:

«На, поешь, и ты, небось, голоден...»

«Нет, — отказался второй, — я потерплю...»

Первый еще раз полюбовался чуреком, поднес кусок к носу, вдохнул чудный запах горной пшеницы, аппетитно откусил... и замертво упал с лошади...

— Умер? — ошеломленный услышанным, спросил Писер.

— Да, сын, — ответил старик, — и знаешь, кто оказалась его матерью? Та самая богатая хозяйка, пожелавшая отравленным чуреком убить непонятую ею нищенку...

СМЕРТЬ АДИЛЬШАХА

Было ли так или не было, но Келебебе рассказывал, что в давние времена был один город, а в том городе жил некий шах, которого по традиции отцов и дедов называли Адильшахом, что значит «справедливый». От отца к сыну, а от него другим потомкам по наследству передавался шахский престол и не обрывалась эта цепь многие годы, пока однажды...

— О шахзаде! — обратился однажды визирь к сыну

Адильшаха. — Вас зовет к себе падишах, больной желает сказать вам что-то очень важное...

Когда семнадцатилетний шахзаде оказался у изголовья отца, всем остальным было приказано покинуть их. На шахском ложе, словно свеча, догорал великий падишах.

— Сын мой, я умираю!.. — чуть слышно, но внятно произнес падишах, устремив усталый взгляд на шахзаде. — Тебе быть Адильшахом...

— Да что вы, отец! — воскликнул сын в отчаянии.— Вот-вот прибудут лучшие лекари Индии и Китая, они вас вылечат...

— Не перебивай... — тяжело продолжал падишах.— Слушай, сын мой, я открою тебе тайну нашего рода... Моя болезнь неизлечима, она не во мне, а в нас, в моем правлении...

Он сделал попытку протянуть руку к стакану с водой, но силы покинули его, и рука тяжело упала на подушку. Шахзаде, заметив это движение, приподнял ему голову и дал воды. Отпив глоток и отдышавшись, падишах продолжил:

— Нас, Адильшахов, называют справедливыми... и мы, падишахи, живем до тех пор, пока умеем держать в узде страсти своих сардаров и вельмож, пока в государстве нашем царит справедливость... — Устало закрыв глаза, падишах умолк, чтобы, собравшись с силами, снова продолжить свою исповедь: — Вот уже семь поколений нашего рода не могут дожить до старости. Как только в шахстве верх берут ложь и несправедливость, когда под видимым благополучием подданных скрывается гнет и деспотизм сардаров, над нами нависает рок справедливости и мы, падишахи, гибнем... — Он нервно глотнул, испуганно отвел безумный взгляд от какой-то точки над головой и, собрав последние усилия, продолжил: — Ты молод, сын мой, у тебя и наследника нет, и потому род наш в опасности... Помни о спра-ведли-вости... — Падишах замер, неестественно вытянулся, запрокинул голову вверх и умер...

Во всех уголках вилайета своего побывал молодой Адильшах, на дорогах ли городов или шумных базарах, в кишлаках или на полях разберов — всюду, где встречал падишах своих подданных, расспрашивал их о житье-бытье и жестоко карал тех, кто был несправедлив к мирянину. Долго и упорно боролся Адильшах за

торжество справедливости в своем царстве, по каждому сигналу с мест посылал своих приближенных с требованием без жалости наказывать сардаров, которые вместо праведных и справедливых дел, наоборот, сами чинили бесправие кругом... Зол и немилосерден был к ним Адильшах, без жалости заточал в тюрьмы, а некоторых сардаров и вельмож отправлял даже на плаху...

Велеречиво, на все лады уверяли Адильшаха сардары и приближенные, что во всем его великом вилайете воцарились мир и спокойствие, что никто никого не обижает, что мирно пасут стада чабаны, спокоен на поле ражбер, шествуют по странам купцы, процветает в городах ремесло, доброжелательны и великодушны на местах его сардары.

И горе было тому, кто пытался уверить падишаха в обратном...

Лишь однажды, когда Адильшах в сопровождении свиты приближенных вышел на очередную прогулку по красочному и шумному базару своей дивной столицы, ему дорогу преградил... смелый человек.

— О великий падишах! — обратился к нему этот смельчак. — На вашем челе я вижу следы тяжелой болезни!

В свите Адильшаха началось замешательство, кто-то выхватил саблю и подстегнул вперед коня, чтобы изрубить этого дерзкого райята, но падишах, подняв руку, остановил взбесившихся вельмож.

— Кто ты и откуда, сын мой? — доброжелательно спросил он скромно одетого смельчака. — И как ты осмелился остановить моего коня?

— Я лекарь, мой падишах, и кому, как не мне, знать людские недуги...

Адильшах спешился с коня, жестом приказал нукерам расположить под кроной огромного тутовника его кресло с балдахином.

— Подойди ближе, сын мой, — устало усевшись в кресло, сказал падишах лекарю и продолжал: — Мои приближенные уверяют, что я совершенно здоров...

— Самим провидением мне дано знать вашу тайну, мой падишах, — приблизившись с поклоном, заговорил лекарь, — и потому я не вправе молчать.

— Да как смеешь ты, райят! — взбесился хитроумный векиль на своем беспокойном скакуне, который так и норовил раздавить лекаря копытами своего коня. —

Гоните прочь этого колдуна, мой падишах, он сумасшедший...

Адильшах жестом остановил его.

Лекарь же даже не дрогнул, он лишь печально взглянул на разноликую толпу падишаха и опустил голову.

— Возвращайтесь все во дворец, — приказал Адильшах визирю и другим вельможам, — я скоро вернусь.— И, заметив замешательство своих приближенных, добавил: — Не медлите, ступайте, здесь останутся нукеры...

И когда те, недовольные и злые, двинулись в путь, Адильшах снова обратился к лекарю:

— Я слушаю, говори, лекарь...

— В вашей груди бьется доброе сердце, мой падишах, и потому я не боюсь сказать вам правду...

Адильшах, схватившись за ручки кресла, подался вперед и, устремив на лекаря свой пытливый взгляд, взволнованно сказал:

— Ты не таись, лекарь, не бойся, говори, я ведь и сам чувствую, что от меня что-то скрывают, прячут, но дознаться не могу... Что? Плохо моему народу?

— Да, великий падишах, худо людям на местах, — с чувством отвечал лекарь, — поставленные тобой сардары, вместо того чтобы исполнить волю твою и сеять добро и справедливость, от твоего же имени чинят зло и несправедливость, бесправие царит почти везде, великий падишах...

— Как же так? — в недоумении воскликнул Адильшах, услышав рассказ лекаря. — Ты в своем уме? Я почти каждый день хожу по улицам и площадям города и не вижу того, о чем ты говоришь...

— О да, великий падишах! — ничуть не смутившись, ответил лекарь. — Здесь, рядом с вами, в столице, куда со всех концов света приезжают гости, сардары свой пыл укротили, они видят ваш гнев и боятся меча справедливости...

— А как же мои визири и вельможи, разве они всего этого не видят? — снова удивленно и недоверчиво спросил Адильшах.

— Им, мой падишах, — тут же отвечал лекарь, — не до тревог и забот народа, они отгородились от него, живут во дворцах огромных, в достатке великом, на всем готовом, и им не хочется менять этот порядок. Подумайте, мой падишах, зачем им бороться с сардарами, нервничать, прибавлять себе хлопоты, если их и так все

устраивает. Они, наоборот, как раз против всяких перемен. И если Адильшахи при этом не доживают до старости, вашей свите все равно: чем чаще будут меняться падишахи, тем меньше будет перемен в их жизни.

— Это что же, я один, а остальные против меня? — недоверчиво и в то же время с тайной болью спросил Адильшах.

И этот вопрос не застал врасплох лекаря, он будто заранее знал о нем и тут же ответил:

— Не думаю, что вы одиноки в своей борьбе, великий падишах. Есть люди, преданные вам, но в таком великом вилайете их так ничтожно мало... Порой сардары на местах стараются и их сбить с толку, пускают пыль в глаза, а когда не удается смирить какого-либо смельчака, так его гнут и ломают. Я только что пришел из соседней сатрапии, где известного ашуга Дуьзгуьна бросили в темницу. За что? Только за то, что он в своих достанах поет о тяжкой доле народа, о гнете и деспотизме сардаров... Человека, который всем сердцем и могучим талантом служит тебе и твоему делу, великий падишах, сардары объявили врагом твоим и твоего шахства. Правду и справедливость бросили в темницу, великий падишах.

Падишах слушал и приходил в ярость. Он то порывался встать и устремиться вперед, то устало откидывался на спинку кресла, в задумчивости устремив взгляд куда-то в крону раскинувшегося тутовника.

— И что же, положение, выходит, безвыходное? — багровея от негодования, спросил Адильшах. — А почему я тебе должен верить?!

— Верить? — смело переспросил лекарь. — Вы даже можете убить меня, великий падишах. Но самим провидением мне приказано сказать вам об этом. А вот как поправить положение, вам виднее. Знаю только, что справедливость ни убить, ни заточить нельзя, она, словно птица счастья, дорогу себе найдет... только спешите, великий падишах, время не терпит...

Адильшах вдруг приказал нукерам подать ему коня и, бледный от гнева и возмущения, поскакал ко дворцу, оставив на дороге своего смелого осведомителя...

А во дворце начался переполох. Во все сатрапии поскакали «проверяющие», коим вменялось в обязанность разобраться в положении на местах и доставить во дворец провинившихся сардаров. Переполнились тюрьмы,

пошли в ход розги и разного рода пытки, а конца все не было. Ожесточившись на своих неверных подручных, Адильшах чинил сейчас над ними расправу, страдали и виновные, и безвинные. Не ведал падишах, что так справедливости никогда не восстановить...

Не пожалел он и притеснителя ашуга Дуьзгуьна, послал и его под смертельные розги.

Всполошилась свита Адильшаха, бросила весь арсенал хитростей на спасение своих устоев, на сохранение своих привилегий. Они стали уверять Адильшаха, что его тревоги напрасны и он совершенно здоров, что случай с ашугом — ошибка, от которой в такой большой стране никто не гарантирован, что лекарь этот сумасшедший, маньяк, которому каким-то чудом удалось бежать из сумасшедшего дома, и дабы не натворил еще какой беды, он снова водворен на место. Что он и сейчас не в своем уме, уверяет своих товарищей по палате, что в скором времени он будет падишахом. И если он, Адильшах, желает, может в этом убедиться сам...

Тем временем вездесущие агенты высокопоставленных вельмож разыскали несчастного смельчака и действительно поместили в сумасшедший дом. А так как лекарь стал сопротивляться и отрицать свою болезнь, подговоренные эскулапы надели на него смирительную рубашку и после многодневных «исследований» пришли к выводу, что у «больного» нарушена связность психических процессов, что он представляет опасность для окружающих и требует изоляции... Никакие требования и просьбы лекаря не возымели действия, так как при той системе, которая установилась в шахстве, добиться правды было чрезвычайно трудно...

Если лекарь просил о встрече с кадием, то ему сначала вежливо отказывали, а потом, когда просьбы эти стали настойчивыми, встречу эту ему устроили, заранее предупредив кадия, что этот сумасшедший утверждает, что он не болен, что он якобы лекарь и что он целый час беседовал с самим великим Адильшахом и у них есть общая тайна. И встреча с кадием, естественно, ничего не дала. Когда же лекарь кричал и требовал, чтобы его выпустили, его попросту били. Но даже в этом отчаянном для себя положении он надежды не терял, верил в торжество справедливости...

А Адильшаха терзали сомнения: глядя в зеркало, он вдруг понимал, что лекарь был прав, что бледность на

его челе вовсе не признак здоровья, скрывают, видно, вельможи и сардары следы своих преступных дел, не всегда доходят до него просьбы и жалобы райятов, но в то же время у него не было оснований сомневаться в преданности своей свиты: в визире, во многих вельможах, да и в сардарах тоже. Ну а если кое-кто из них порой забывает о своем долге, что ж, люди есть люди...

И чтобы принять окончательное решение, Адильшах в сопровождении своих вельмож поехал посмотреть на лекаря.

В палате было шумно. Оставаясь незамеченным, сквозь решетку окна Адильшах заметил что-то оживленно рассказывающего лекаря. Больные слушали его внимательно, лишь некоторые из них оставались безучастными к происходящему. Вот к ним вошел отправленный для беседы с лекарем врач.

— На что жалуетесь, больной? — обратился врач к лекарю.

— Я не болен, черт возьми, я совершенно здоров, — с волнением произнес лекарь.

— Что вы еще скажете? — поинтересовался врач.

— А то скажу, что вы надо мной издеваетесь! — снова с возмущением ответил лекарь и добавил: — А великий падишах знает, что вы заточили меня в сумасшедший дом? Он что, забыл, что ему угрожает?!

— Да, ему известно, что вы больны и находитесь здесь, — невозмутимо ответил врач. — И мы вас вылечим...

— Меня? — с иронией переспросил лекарь и запальчиво добавил: — Да вы и те, кто над вами, не то что в меня, вы каждый день стреляете в падишаха, поите его ядом, режете его сердце, делаете так, чтобы все осталось по-старому...

— Мы убиваем падишаха? — нарочито громко спросил врач.

— Да, вся ваша свора хищников, — словно в безумии, отвечал лекарь. — Но не радуйтесь, недолго вам осталось торжествовнть, придет новый падишах...

— И кто же? Не вы ли? — преднамеренно провоцируя лекаря, спросил врач.

— Да, я, я буду падишахом! — величаво и торжественно заявил лекарь. — И тогда придет время великой справедливости! Запомните это...

— Смотрите на нового падишаха! — с иронией вос-

кликнул врач, показав рукой на лекаря. — Падайте перед ним ниц!

Раздался смех, кто-то бросился к ногам лекаря, словно просил прощения у государя. Но были в этой компании и безучастные к происходящему.

— Вы, мой падишах, убедились теперь, что он ненормальный? — обратился к Адильшаху векиль. — Этот оборвыш мнит себя падишахом.

Молчаливо, но с каким-то недобрым предчувствием возвращался во дворец Адильшах. Тяжко стало ему и невыносимо грустно от увиденного, словно оборвалась нить его жизненной силы. Невеселые думы, словно хворь, точили его сердце, и через неделю молодой Адильшах умер...

По обычаям этой страны, поскольку у Адильшаха не было наследника, выпустили «птицу счастья», чтобы того, кому на голову сядет эта птица, избрать падишахом. Трижды выпускали птицу, и трижды садилась она на голову... лекаря.

В первый раз она долго кружила над городом, словно искала кого-то в этом огромном человеческом водовороте, а потом стремительно полетела к открытой двери больничной палаты и, влетев, тихо села на голову лекаря. Взбесившиеся таким выбором птицы кадии и тайные советники, мечтавшие о шахском престоле векили, наглухо закрыли двери лекарской обители и потребовали повторить испытание. Но, отпущенная на волю, птица вновь вернулась к прежнему месту и, пробравшись сквозь решетку окна, уселась вновь лекарю на голову. И когда тайные враги лекаря закрыли на этот раз и окно и, злорадно ухмыляясь, стали дожидаться, что же предпримет птица в третий раз, они были поражены тем, как бесстрашная птица бросилась в печную трубу и полуживая, но гордая своей победой, снова оказалась на голове многострадального лекаря...

Лекарь стал падишахом.

МААФЕ

Над городом нависла сиреневая ночь. В синем небе купались желтые звезды. Затихли звуки, предоставив власть хрупкой тишине.

И когда город затих, а тусклый свет далеких звезд просачивался в окно, пробитое у самого потолка одной из холодных комнат мечети, в ней заговорили два маафе, поведав друг другу свои сокровенные думы.

— Как прошел твой второй день, друг мой? — спросил один другого, как умудренный жизнью старик спрашивает молодого, начавшего познавать мир.

— Так же, как и вчера! — нехотя, махнув деревянной рукой, ответил молодой маафе. — Только не пойму я ничего, странные люди живут на земле...

— Почему? — удивился первый.

В раздумье молодой медленно подошел и встал под окно, поднял голову к свету, будто там, в бескрайних далях Вселенной, хранилась земная тайна, так взволновавшая его:

— Я вчера рассказывал вам, — начал он тихо, взвешивая слова, как будто на весах судьбы лежало его деревянное тело. — Да вы лучше меня знаете, что люди все умирают... Так вот, вчера на мне несли человека, чьи добрые руки четверть века воздвигали дома, мостили улицы, а потом растили для людей цветы... Я был горд и за того, кого несли, и за себя. А сегодня...

Он нервно заходил по широким каменным плитам, будто пробрал его холод, охладив мысли и сковав язык — источник величия и падения людского.

— ...а сегодня, — продолжал он, — на мне же несли другого. О нем даже при жизни, не то что после смерти, никто доброго слова не сказал... Неужели не могут люди покрасить, скажем, одного из нас в красный цвет, а другого — в черный, желтый, серый, да мало ли цветов для отражения людских пороков... Чтобы все видели, что тот человек, что в красном, не напрасно прожил на земле, а другой... другой должен был умереть еще в утробе матери. Вот и обидно мне стало. Значит, люди, осознавая все, несправедливость сами над собой чинят. Для чего же они живут?!

Выслушав, первый маафе улыбнулся, как улыбается мудрец, заметив робкие мысли своего ученика, и спросил:

— Что говорили о вчерашнем, сын мой?

— Добро делал людям...

— А о другом, сегодняшнем?

— Что собственное брюхо было ему дороже брата...

— Кто же говорил все это? — снова спросил первый.

— Как «кто»? — переспросил молодой и, подумав, сам ответил: — Люди. Да, люди...

Звезды слушали, мигая в небе. Они-то знали, что все в этом мире суета сует...

ТВОЙ ПАПА НА ЗУРНЕ ИГРАЛ?

Собрание коллектива театра было несколько необычным, оно больше напоминало репетицию очередного спектакля по уже известному сценарию, с небольшой лишь разницей в том, что всем ходом событий руководил не режиссер, который, будучи очень недовольным и удрученным всем происходящим, сидел в углу большого кабинета, а директор театра, весьма самодовольный и, как выяснилось по ходу собрания, мстительный немолодой человек.

На «ковер» был вызван самый талантливый актер театра Семендеров за то, что тот, видите ли, нашел в себе смелость и всенародно назвал актера Неметова, как тот действительно того заслуживал, бездарью. Неметов от неожиданности вначале растерялся, но потом, придя в себя, тут же незаметно для остальных отпарировал, выругав обидчика по-матерному, за что Семендеров, опять же при свидетелях, дал ему еще и пощечину.

У «оскорбленного» оказались защитники. Бездари — народ особый, они легко узнают друг друга по каким-то только им известным приметам: по низкопоклонству, завистливости, «дублености» кожи, и с молниеносной быстротой объединяются, тем более, если в жертву надо принести полную свою противоположность — легко ранимого ,талантливого и принципиального человека. На сторону «обиженного» стал и директор театра, которому крайне не по душе был независимый характер Семендерова, его порой правдивые и довольно колкие замечания в его адрес.

Именно благодаря ему собрание было заранее спланировано и мастерски разыграно.

— Скажите, уважаемый Семендеров, — с ехидцей спрашивал директор, — за что вы ударили своего коллегу? — И, не дождавшись ответа, продолжал: — Как вы могли в этом храме культуры заниматься рукопри-

кладством, вы, который, по вашим словам, печетесь о порядочности, выдаете себя за человека честного, нравственно чистого. Как вы могли вот так просто, как говорится, ударить по морде...

В адрес Семендерова за мишурой «чистоты рядов и высокого долга советского актера» лилась, что называется, самая неприкрытая грязь. Подготовленные ораторы по бумажкам говорили о том, что Семендеров несносен, неуважителен к коллегам, кичлив и задирист, и если что не по его, так сразу бросается с кулаками, и, мол, пора решить вопрос о его дальнейшем пребывании в «нашем дружном» коллективе.

Справедливости ради следует сказать, что «заговорщикам» разыграть комедию до конца не удалось. В защиту Семендерова выступили лучшие силы театра — известные деятели искусств, подлинные мастера сцены. От их едких, наполненных сарказмом замечаний некоторым «правдолюбцам» становилось не по себе, они, как мыши, искали, куда бы спрятаться. Особой «похвалы» заслужил и директор «за так великолепно разыгранный спектакль».

И когда директорская команда явно почувствовала свое поражение, слово попросил «обиженный».

— Друзья! — начал он с милой подкупающей улыбкой. — Честно говоря, когда я писал заявление, вовсе не хотел, чтобы уважаемого Семендерова, как здесь требовали, выгнали из театра. Как и любому уважающему себя человеку, мне было обидно за то, что Семендеров не только при всех ударил меня, но и стал материться в мой адрес...

— Да он не только бездарь, — вдруг услышали все возмущенный голос не желавшего ранее выступать Семендерова, — он к тому же отъявленный негодяй!

Семендеров сделал попытку встать с намерением то ли вообще покинуть кабинет, то ли еще что-то сказать, однако друзья, видя его состояние, уговорили его успокоиться и сесть на место.

А Неметов как ни в чем не бывало продолжал:

— Даже после этих оскорблений я не держу зла на Семендерова. Мы — коллеги...

— Когда лошадь подковывают, и осел норовит копыто подставить,— с юмором заметил один в адрес беззастенчивого оратора.

Кто-то прыснул, с трудом удержав смех, а кто-то молча спрятал улыбку.

Неметов же, проглотив и это, продолжал:

— Да, да, друзья, мы — коллеги уже несколько лет, работали в трех спектаклях, вместе принимали заслуженные аплодисменты благодарных зрителей, каждый в меру своих сил старался...

— Ну, хватит! — оборвал разговорившегося Неметова главный режиссер, который все это время сидел в своем углу, то краснея, то бледнея перед этим невиданным нахальством. — Садитесь, Неметов, теперь я продолжу рассказ о ваших успехах, о которых вы так красноречиво говорите. Я и не знал об этой стороне вашего таланта...

Раздался взрыв смеха, словно прорвалась, не выдержавшая водного натиска, плотина.

— Я уже не молод, многое в жизни повидал и опыт имею будто бы немалый, а все же меня поражает то, что здесь некоторые, мягко говоря, «коллеги» и говорили как будто красивые и нужные слова, а вот спрятать себя за ними не смогли. Наверное, это и невозможно. И вот что мне в связи с этим вспомнилось...

Много веков назад жил-был один падишах, равного по богатству и уму которому не было во всем мире. Как и все падишахи, он был не только сыт, но и пресыщен жизнью. Его уже не волновали красивые танцовщицы и мелодии искусных музыкантов, не могли рассмешить придворные шуты и приглашенные клоуны, у него не вызывали интереса рассказы странствующих дервишей и поэтов — словом, ничто не радовало падишаха, словно он жил не в самом красивом и полном жизнью дворце, а в застоявшемся болоте. А сердце падишаха, как у любого нормального человека, жаждало веселья, он хотел от души засмеяться или хотя бы улыбнуться...

И тогда было объявлено его повеление, мол, тот, кто рассмешит великого падишаха рассказом или словом единым, будет щедро вознагражден мешком золота, а тот, кто не сумеет этого сделать, — будет лишен жизни.

Как вы сами понимаете, — продолжал, улыбаясь, режиссер, — желающих заполучить этакое богатство оказалось немало, но всех ждала расправа на плахе, ибо падишах оставался равнодушным, как и прежде.

Но однажды в ворота шахского дворца постучал один авдал, которому тоже захотелось заполучить обещанное

богатство. Его не волновал вопрос, как ему удастся это сделать, нет, его коротенький умишко об этом не задумывался. Хочу, и все...

На настойчивый стук авдала долго никто не откликался. Наконец, когда терпение авдала стало уже иссякать, ворота открылись и у порога появилась стража.

«Ты что стучишься, оборванец?» — набросился на авдала начальник стражи.

«Вы объявление вывешивали?» — вопросом на вопрос спросил авдал.

«Какое объявление?» — не понял начальник стражи.

«Ну, о том, кто рассмешит падишаха, — ответил авдал, — вот я и пришел...»

«Ты-ы? — удивился шахский стражник. — Ха-ха, да ты в своем ли уме? Ты взгляни на себя: грязный, оборванный, тут не до смеху, от тебя затошнить может. Убирайся отсюда, не то...»

«Нет, не имеешь права, я пришел по объявлению. — Авдал был настойчив, не думая о том, что его могут избить и выбросить. — Иди и доложи...»

Настойчивость авдала не знала границ, и стража, а затем векиль и визирь были вынуждены, предварительно искупав его, провести к шахскому престолу.

Надо полагать, что в те времена демократия все же имела силу.

И когда авдала усадили у ног великого падишаха, тот поднял голову и без всякого смущения (он не знал, что это такое) спросил повелителя:

«Скажите, мой шах, ваш папа на зурне играл?»

«Нет», — удивленно ответил шах.

«Ты знаешь, — добродушно сказал авдал, словно всю жизнь был знаком с шахом, — мой папа тоже не играл».

Услышав эти слова, шах сначала улыбнулся, затем начал смеяться, а потом смех перешел в хохот. Смех тряс его утомленное ожиданием тело, и он прослезился...

И знаешь отчего, Неметов? — вдруг обратился главный режиссер к «обиженному». —. Нет? Я так и знал. Шах смеялся оттого, что авдала отец вдруг оказался «коллегой» его отца...

ЗАБЫВЧИВЫЙ

Мышонок в последнее время почувствовал прилив сил, малость пополнел и обленился. Видно, найденные запасы съестного обеспечили ему вполне беззаботную жизнь. Если раньше в поисках пищи он не знал покоя, голод не тетка, и он заставлял преодолевать всевозможные преграды, порой доводя до крови десны маленьких крепких зубов и источая коготки быстрых, юрких ножек, то теперь движения его стали медлительны, лучше сказать — размеренны. Теперь он в минуты покоя позволял себе даже встать на задние ножки, этак с высоты горделиво оглядеть окружающий мир, с достоинством подбочениться, как часто случается и с людьми, которые после длительной полуголодной жизни вдруг незаслуженно оказываются в райском изобилии.

Именно в таком кайфовом состоянии духа оказался Мышонок на узкой лесной тропе, почти в двух шагах от шедшего навстречу Льва. Царь зверей вдруг остановился и без всякого злого намерения, дружелюбно сказал:

— Эй, Мышонок, сойдя со дороги, дай мне пройти, пожалуйста.

— Сойди с дороги сам! — встав в позу, с достоинством ответил Мышонок. — Я тоже тороплюсь.

— Ты что, белены объелся? — удивился Лев такому нахальству Мышонка. — Я ведь Лев!

— Ну и что? — не унимался Мышонок. — А я Мышонок, чем я хуже тебя?

От эдакой наглости Лев малость опешил, а потом, чуть повысив голос, вразумительно сказал:

— Уйди с дороги, дурак, не то...

— Не уйду! — смело ответил Мышонок, прямо глядя на Льва.

— Так ведь, сделав шаг, я раздавлю тебя, — предупредил Лев. — Уйди, тебе говорят!

Мышонок, нахально ухмыляясь, не сдвинулся с места.

Лев сделал шаг, и Мышонок оказался под его огромной лапой.

Уже собираясь уйти, Лев взглянул на раздавленного Мышонка и заметил у него вывалившееся из заднего прохода нечто похожее на сало.

— Так вот в чем дело! — наконец сообразив, прого-

ворил озадаченный Лев. — Оказывается, он малость зажирел!

ПЯТНЫШКО

Никто из них ни вначале, ни потом не мог объяснить, с чего все началось: «...где ступили не так и сказали не то, на каком трижды проклятом месте» случился разлад, жестоко и неумолимо уводивший их в разные стороны. Как случилось, что дружеский упрек воспринимался как обида и даже оскорбление, а милые знаки внимания, которыми еще совсем недавно они одаривали друг друга, вдруг забылись, будто их и не было? Как случилось, что горечь разлада вдруг вычеркнула годы счастливого прошлого, а холод отчуждения все больше и больше леденил бунтующее изредка половодье чувств? Ни он, ни она этого объяснить не могли...

А ведь не так давно все было иначе. Были он и она, были, как утоляющие жажду родники, радостные встречи, белые ночи в Петровском саду, словно чудища, открывшие пасти, мосты на Неве, потом падающие, кружась, желтые листья, первые снежинки на ее лице, как утренняя роса на розе. Были неожиданные прикосновения, теплые рукопожатия и жаркие, до одури, поцелуи. Любовь казалась беспредельной, а счастье — бесконечным. В целом мире были только он и она...

Правда, был еще третий — великий мудрец Уильям Шекспир. Он был всегда с ними: в мыслях, смехе и спорах. И он и она мало сказать любили, они поклонялись создателю изящных комедий и глубоких философских трагедий, могли часами говорить о его королях и принцах, лордах и шутах. В сущности, с него все и началось, их первая встреча в театре...

Шел «Гамлет». На сцене кипели страсти. А в третьем ряду партера, вся подавшись вперед, словно в ожидании чуда, сидела хрупкая, тонкая девушка с непомерно толстой косой за спиной. Взгляд ее больших черных глаз устремился на сцену, и, казалось, она, а не принц Датский, предлагает своим незадачливым друзьям сыграть на флейте, а не на нем, не на его сердце. Он

взглянул на нее и замер, как счастливый охотник, пораженный близостью добычи...

В антракте он накупил пирожных и лимонаду и стал торопливо есть. И если существует на свете судьба, то именно судьба взяла ее за руку и подвела к его столику. В буфете пирожных уже не было, и она купила только лимонад. Он узнал ее, радостно улыбнулся и, пододвинув к ней пирожное, простодушно сказал:

— Берите, ешьте, пожалуйста! У меня много, видите... — И снова мягко улыбнулся.

Она не отказалась.

— Поужинать не успел, из института — бегом сюда, физик я... — одним духом выпалил он. — А вы?..

— Учительница, — улыбнулась она, заметив, как он успевал и говорить, и, запивая лимонадом, есть пирожное. — Только вот первый год, литературу преподаю.

— О, как здорово! — по-мальчишески воскликнул он. — Я в детстве мечтал стать учителем, потом, как отец, хотел актером стать, потому и Шекспира люблю, а стал вот физиком...

И еще раз улыбнулся.

Она подняла голову, и глаза их встретились. Казалось, весь порыв молодости, все его чувства неудержимо понеслись к этой милой черноволосой девушке. Он еще что-то сказал ей, она что-то ответила. Но что сказали глаза, какую тайну души поведали они в этот миг, почему эти двое доверились друг другу? Она после спектакля молчаливо надела с его рук пальто, дождалась, когда он сам оденется, и вместе вышли из театра.

Ах, эта дивная зимняя ночь, «шекспировская ночь»— назвали они ее потом, полная смутных ожиданий и взаимопознания.

Спустя два года, в ночь свадьбы, беспредельно счастливый, он, как великую тайну, открыл ей давнюю мечту: первого сына назвать Уильямом. А за трехлетним мальчиком потом, как две капли воды похожая на отца, на свет появилась белокурая девочка. Радостный от переполнявших его чувств, он самодовольно повторял, что, по поверью, сын, похожий на мать, а дочь — на отца, будут счастливыми.

Да, тогда, казалось, ничто не угрожало их ладной жизни. Так что же случилось потом? Когда же образовалась та скрытая, предательская трещина, послужив-

шая угрозой их совместной жизни? Год, два года назад, может быть, еще раньше, но на фоне той большой любви и дружбы, которыми щедро пользовался, он не придал значения отдельным проступкам и «шалостям», что позволял себе иногда. Пользуясь источником веры и любви, он и не представлял, что этот источник может истощиться. Как и многие люди, он не проявлял заботы о колодце, из которого утолял жажду, до той поры, пока он не высох.

Он мучительно искал ответа и, не находя, еще больше отчуждался от нее...

Может быть, это началось тогда, когда он почти до утра просидел с друзьями за преферансом, а она прождала всю ночь — накрыла праздничный стол, приготовила его любимые блюда, надела подвенечное платье — в день пятой годовщины их свадьбы она решила преподнести ему сюрприз... Куда только не звонила она в эту ночь! И лишь узнав, что он у одного из друзей, измученная ожиданием, так и забылась сном в кресле.

Нет, извинений не было. Он пришел чуть навеселе и сразу лег спать. А утром, стыдливо опустив голову, ушел на работу. И она его не упрекнула, не сказала обидных слов, но что-то тогда с ней произошло, что-то надломилось, словно буйный ветер побил яблони в весеннем саду. В глазах, которыми она смотрела на мир с радостным удивлением, вдруг появился страх, будто жизнь напугала ее своей обратной стороной.

Возможно, нечто подобное было и раньше, в жизни всякое бывает: где-то обидел словом, когда-то забыл поздравить, не похвалил, не поддержал или еще что-то другое, но тогда так велико было ощущение бесконечности любви, так было много радостей, что в этом водовороте счастья она не придавала им значения, прощала ему — женщины умеют прощать. Но обиды эти не забылись, а тайнописью отложились на белом листе ее памяти. Людям свойственно забывать все и не забывать ничего...

А вот в ту ночь незаметно, невзначай, он переступил черту, сотканную из невидимых нитей, рожденных интуицией и тактом, нежностью и любовью, уважением и заботой, хрупких и чистых, как души младенцев. Видно, оборвалась тогда одна из них, без которой стали немыслимы и все остальные, как без основы немыслимо соткать ковер.

Он понимал, что сильно обидел ее, но ни завтра, ни потом не признался в этом. Ее молчаливый протест задевал его мужское самолюбие и вызывал в нем ответное молчание. Не стоило, считал он, из мухи делать слона, превращать все это в трагедию, мол, этим он обижен трижды. Ах люди, люди-человеки! Сколькие же из нас, обидев однажды, из-за гордыни не нашли в себе мужества признать свою вину и теряли потом близких и дорогих себе людей! Ведь неспроста в писании сказано: «Если сделаешь шаг навстречу ближнему своему, он к тебе побежит, если же предстанешь перед ним исполненный желания искупить свой грех, почувствуешь готовность простить тебя».

Между тем корабли их все дальше и дальше уходили в разные стороны. Теперь уже на смену молчаливому протесту пришла раздраженность. Он перестал переносить некогда милые шалости детей, их говорливые игры, а когда Уильям ненароком брошенной игрушкой сделал больно сестре, он вскочил, отшлепал мальчонку по рукам, отчего заплакали дети теперь вместе. Подавленный этим, он схватил плащ и выбежал на улицу.

Однажды, уходя на работу, он рассердился, что чайник на кухне кем-то переставлен с привычного места, потом он, взбудораженный, выронил в ванной комнате электробритву, и когда, услышав шум, она подошла и посмотрела на него с укором, он еще больше обозлился и впервые ушел на работу небритый.

Жизнь стала мукой. Угрюмое молчание родителей передалось и детям, они тоже, словно в ожидании чего-то страшного, перестали бегать и веселиться, их игры стали бесшумными, будто в комнате был покойник. И если, забывшись, кто-то из них громко смеялся, тут же спохватывался и, стыдливо опустив глаза, умолкал. Дети понимали, что с родителями произошло что-то неладное.

Теперь он допоздна не приходил домой, не мог вынести ее молчаливого, полного укора, взгляда. Его это раздражало и злило, и он стал делать все наперекор. Если она просила, чтобы он сегодня не задерживался, мол, надо пойти на собрание, он нарочно возвращался в полночь, если она просила отвести Уильяма к врачу, он, уходя, зло бросал, что она может сделать это и сама.

Выведенная из себя, она однажды бросила ему в

лицо оставленную им на столе зарплату. Некогда полная сил и энергии красивая молодая женщина, она вдруг осунулась и почернела, зловещие тени бессонных ночей пролегли под глазами. Если раньше вынужденно она и нарушала молчание, то теперь он для нее перестал существовать, превратился в небытие, в воздух. Она старалась вычеркнуть его из жизни...

Разлад был полный. Для него было мукой возвращаться с работы домой, для нее — видеть его и слышать шаги рядом. Однако на измену они не шли, оба понимали, что, переступив эту черту, ускорят конец. Ни он, ни она на это не решались, потому что каждое утро на них смотрели с укором испуганные глаза детей, которые ничего не понимали. Да, ради детей они не шли на разрыв, пока были силы...

В предновогоднюю ночь он оставил записку: «Приду поздно, ключ в дверях не оставлять». Это выбило ее из сил, и в томлении духа она не находила себе места, затем, будто невзначай, села к трельяжу, и, посмотрев на себя в зеркало, невольно подумала: «Что же ты с собой делаешь, милая?» Потом рука непроизвольно потянула к себе дверцу шкафчика, и она увидела никем не тронутую блестящую сумочку-косметичку, а рядом брошенный неделю назад пригласительный билет на бал-маскарад.

С твердым намерением пойти на карнавал она уложила детей, сделала маникюр, чуточку подкрасила губы, чего не делала никогда, на нежданно появившуюся морщинку у губ поставила «родинку», надела красивое белое платье — последний подарок матери, — которое еще ни разу не надевалось, белые туфельки на низких каблучках и словно школьница-выпускница, сбросив тяжкий груз минувшего, пошла на бал...

Во дворце культуры было царство красоты и радости: все кружилось, смеялось и пело, и в этом водовороте всеобщего веселья к ней вернулось вдруг хорошее настроение. Она смело направилась в костюмерную, взяла напрокат корону с диадемой, маску на глаза, длинные, до самых локтей, белые перчатки и накинула на плечи тонкую пелерину. «Прямо Люцнана шекспировская, — подумала она у зеркала, — только Антифола не хватает...» — горько улыбнулась она вдобавок и без всяких церемоний дала себя закружить первому кавалеру, пригласившему ее на танец.

Из репродуктора лилась песня Ободзинского:

... Музыка, песни, фейерверк и смех —
И среди всех ты сегодня красивее всех.
Я бы с тобой даже тысячи лет танцевал,
Только бы не кончался наш карнавал.

— А ведь Ободзинский о вас поет, — признался ей партнер. — Вы на самом деле сегодня красивее всех...

— Спасибо, — поблагодарила она, но от его повторного приглашения отказалась.

После второго и третьего танца она устала и облокотилась о колонну, решив немного отдохнуть. «Отвыкла, — подумала вдруг, — а ведь была лучшей танцовщицей института...»

Но маски находили ее и наперебой приглашали на танцы. Маска-медведь, увалень, косая сажень в плечах, так взял ее за талию, что она, кружась в танце, не доставала ногами до пола. Потом от души смеялась, когда он мягко ее приземлил.

Уже где-то к полуночи на танец пригласил ее Тигр. Танцуя, она недоумевала, где ее партнер мог найти такой костюм. Он был сшит из мягкой и легкой синтетической ткани, и так искусно была сделана маска, что невольно вызывала восторг. Но в следующую секунду маска заговорила совсем не по-тигриному:

Прекрасная! Как вас зовут, не знаю,
Не ведаю столкнувших нас чудес;
Вы сами чудо: прелесть неземная
Велит вас счесть посланницей небес...

Голос был с хрипотцой, словно что-то мешало говорившему быть ясно услышанным. Она вдруг замерла:

— О маска-тигр, вы знаете Шекспира?

— Так что ж Люциана ответит Антифолу? — последовал вопрос.

Люциана
Безумны вы, что говорите так.
Антифол
Я ослеплен, и сам не знаю как.
Люциана
Так пусть порок вам не слепит очей.

Антифол
Я ослеплен игрой твоих лучей, мой
дивный свет!
Люциана
Спешите же к жене!
Антифол
Любовь моя! Во мраке слепнуть мне?

Танец закончился, и он ненароком наступил ей на носок туфельки, оставив на ней черное пятнышко.

— Простите, ради Бога, — сказала маска и нагнулась, чтобы вытереть пятнышко.

Однако это ему не удалось.

— Да нет, что вы! — искренне сказала она и отстранилась от него.

— Как... вы... говорите... — Маска-тигр остановился вдруг в задумчивости. — Ваш голос... нет, не может быть... Куда же вы, постойте, прошу вас... — крикнул он ей вдогонку в следующую секунду.

Она посмотрела на часы и испугалась — время неумолимо перешагнуло за полночь. Взглянув в сторону костюмерной, она поняла, что там сейчас уже никого нет, и с намерением сдать завтра взятые напрокат вещи, направилась к выходу. Снова пел Ободзинский:

Кто тебя выдумал, праздничный карнавал,
Кто это шумное чудо влюбленным дал.
Верю, что мы сохраним с тобой навсегда
Этот волшебный, добрый наш карнавал.

У самого выхода Тигр нагнал её:

— Я провожу вас...

— Нам не по пути... — ответила она и взялась за дверную ручку.

— Нет, не Антифол, а я скажу вам снова: «Я ослеплен игрой твоих лучей, мой дивный свет».

— И я отвечу тоже,— улыбнулась она. — «Спешите же к жене!»

Он остановился в задумчивости, пораженный ее непреклонностью, а она тихо добавила:

— Спасибо вам за вечер. Прощайте, мне пора... — И ушла.

Усталая, но словно воскресшая за эту ночь, она вернулась домой. Дети спали. Его еще не было. «Наверное,

опять играет в преферанс», — подумала она, сняла туфельки у кровати, бросила на стул взятые напрокат вещи, разрыдалась от вдруг нахлынувших на нее чувств и бросилась на кровать.

Вернулся он, держа в руках какой-то пакет, и крадучись, прошел к своей кровати. Сквозь облака пробилась полная луна, и ее лучи осветили вдруг их спальную комнату. Его взгляд невольно упал на пару белых туфелек, стоявших возле кровати жены, и на одной из них, на самом носке, родинкой выделялось до боли знакомое черное пятнышко. Он замер от неожиданности, и тут же увидел ее маску и корону с диадемой...

— Люциана! — негромко вскрикнул он и, развернув пакет, быстро откинул маску и влез в костюм тигра.

Она проснулась от таинственного оклика и удивленно посмотрела на мужа:

— Ты?...

— Моя Люциана! — В костюме тигра он бросился к ней, забыв в эти минуты обо всем на свете...

Утром дети заметили, что родители, как и раньше, шутят и улыбаются, и, быть может, впервые за последние месяцы счастливо улыбнулись сами. Ах эти дети, они все замечают...

ИСПОВЕДЬ

Таких дворов в старой части города и сегодня немало. Уложены они широкими каменными плитами, где-то сбоку поставлена чугунная водяная колонка, невесть как отлитая старинным мастером, и тут же — сбитый коммунальщиками общественный туалет. От ворот с обеих сторон вверх к общему на весь второй этаж балкону уходят деревянные лестницы.

Летними вечерами, когда палящее солнце скрывается за высокими стенами старой крепости, жильцы второго этажа выходят из своих душных гнезд и, облокотившись на перила балкона, увлеченно делятся новостями: начиная с последних хоккейных событий и истощения рыбных запасов Каспия до многоженства в Турции. Но чаще всего говорят о раби Овруме, жильце первого этажа, который вот уже много лет каждый вечер возвращается домой, мягко говоря, навеселе, и, стоя у ко-

лонки на коленях, как бы совершая намаз, подставляет голову под холодную струю, а потом уже весь мокрый, то ли от принятого душа, то ли еще невесть от чего, бормоча что-то, плетется в свою конуру.

Появление пьяного раби Оврума вызывает негодующий возглас с балкона.

— Вот, полюбуйтесь на этого субчика! А мы еще удивляемся, чего это наши дети пьют...

Это возмущается высокий, худощавый, седой мужчина, старый грузчик городского комбината, сын которого в последнее время пристрастился к вину.

— Твой-то, пожалуй, пьет не поэтому, — с ехидцей замечает полная, пышногрудая соседка, известная на всю улицу сплетница.

— Чья бы... мычала, — не выдержала болезненная жена грузчика. — Тоже мне правдолюбка нашлась, ведьма...

— Ты сама ведьма, чахоточная! — вспыхнула пышногрудая. — Невестку-то выжила, житья не дала, а теперь за собственного сына принялась...

— Ну, ну, замолчи, балаболка, — вмешался грузный, жирный сосед, между головой и телом которого, казалось, не было шеи. И, намекая на ее стремление выдать свою перезрелую дочь за соседского сына, добавил: — Знаем мы, отчего у тебя за чужого сына душа стонет, ха-ха-ха!..

— А ты заткнись, старый боров, — вмешалась жертва косметики — раскрашенная дочь пышногрудой. — Лучше бы работой занялся, чем языком чесать...

— Ах, так! — возмутилась жена толстяка и пошла на молодую фурию: — Чучело ты гороховое, крыса заморская, финтифлюшка несчастная, бижа неизвестно от кого понесла, теперь под соседского сына подмазываешься?!

Шум. Скандал. Из насиженных гнезд повыскакивали остальные соседи, посыпались недовольные возгласы: «Отдохнуть не дадут!», «И в собственном доме покоя нет!»

В течение нескольких минут у поругавшихся соседей не осталось тайн друг от друга, ложь и сплетни приобрели силу правды, зло восторжествовало над привычным добром, но... к утру все забудется, и все пойдет своим чередом.

А виновник этого дворового спектакля, раби Оврум,

тем временем, как говорится, без задних ног в одном исподнем давал храпака.

Шел уже третий год, как раби Оврум был выдворен из храма. Приставка к имени давно уже ничего не выражала, но оставалась при нем как принадлежность к «предмету». Раби Оврум, и все: фамилии его давно уже никто не произносил, да и редко кто знал ее, ибо за всю свою жизнь он нигде не работал.

Выдворению раби Оврума из храма Господня предшествовала довольно неприглядная история, которую служители храма постарались сохранить в тайне, не предать гласности, но избавились от скомпрометировавшего храм служителя по той причине, что в последний раз раби Оврум, поднявшись на амвон, предварительно не остограммился, как обычно, а окилограммился, и вместо того, чтобы сказать прихожанам «аминь», применил к ним «высшую мате-матику».

Эта версия была наиболее правдоподобной, ибо о дружбе досточтимого раби с зеленым змием знали в городе почти все...

Так раби Оврум на склоне лет оказался на улице. Не пощадили «братья», даже пенсию ему не определили.

Зарабатывать трудом раби не мог, никто его этому не учил, слава Богу, деньги сами шли к нему, как муравьи к щербету. А разраставшаяся жажда к горькой требовала средств, и раби стал исподволь, ежедневно продавать свои личные вещи и тут же пропивать их. Последнее кресло работы искусного мастера-краснодеревщика он пропил на исходе второго года и оказался ни с чем. Больше продавать было нечего. Старую кровать с клопами да треногий стол никто не брал, даже за пол-литра тутовой сивухи.

Раби ходил сам не свой, опустошенный, разбитый, небритый, в давно не чищенной одежде. Оставшемуся без денег, ему перестала стирать и старушка-соседка, старания которой держать его хотя бы в чистоте оказались тщетны.

Знавшие его близко то ли из сострадания, то ли еще невесть по какой причине, давали ему на «чай», чтобы он тут же в компании собутыльников пропил и это. В пивнушках, заметив его жадный взгляд, такие же сердобольные выпивохи иногда давали ему выпить, и он, алчно схватив стакан, тут же опрокидывал его в свою

жаждущую утробу. Но после очередного привода в вытрезвитель и неприятной беседы с участковым ему уже никто выпить не давал.

И тогда он пошел по родственникам. К несчастью, их было мало. Он стал уверять их, что не станет больше пить, что это было в последний раз, пусть, мол, они дадут ему немного денег на первое время, он пойдет работать, хотя бы переплетчиком в типографию, и тогда все пойдет по-другому, он снова вернет прежнее уважение людей, не подведет, не унизит своих родственников. Говорил он умильно и трогательно, будто это был не горький пропойца, а сам посланец Бога, белокрылый ангел, с чистой и прекрасной душой младенца.

Ему поверили, дали денег. Он и эти пропил.

Были два дня сплошных «охов», жадного стремления утолить жажду. И он снова пошел к родственникам. Упав на колени — в свою излюбленную позу, он стал умолять их о прощении, что это не он, а бес его попутал, дьявол свел с истинного пути, пусть его покарает рука Господня, если он еще раз притронется к этому захриману-вину, изобретению сатаны, а сам он уже хотел было пойти на работу, вот и заявление лежит в кармане, поверьте в последний раз и дайте денег, хотя бы на первое время...

Поверили. Родственники наскребли кто что мог и дали ему денег.

После недолгих колебаний он и эти пропил...

На этот раз идти уже было некуда. Все пути отрезаны. Несколько раз бил челом в храме Господнем, но там его и слушать не захотели...

Проснулся он в полночь от удушающей жажды. Быстро схватил со стола чекушку, но она была пуста. Вышел во двор и жадно выпил банку холодной воды из колонки, но и это не отрезвило. Утроба настоятельно требовала зелья. А куда идти в такую пору?

Спал город, утомленный трудовым днем.

Отчаяние охватило раби Оврума, его больной мозг лихорадочно работал в поисках выхода. И невольно взгляд его упал на ученическую чернильницу и ручку, которой в былые времена заполнял пресловутую кассовую книгу в храме. Он сел за стол, залил в чернильницу воды и стал писать. Лицо его приняло лик святого, одухотворенно и умиленно он посмотрел в потолок и, как человек, принявший твердое решение, начал...

В отчаянии и с надеждой обращаюсь к Тебе! В тяжких грехах утопает раб Твой! И потому, став на колени перед всевидящим оком Твоим, молю о прощении и помощи, о Господи!.. Ибо люди, в которых вдохнул Ты толику божественного разума и которым доверил власть над другими, именем Твоим прикрываясь, чинят расправу и несправедливость кругом. Не живут они заботами прихожан, не обременяют себя службой, а в вечных разъездах и пиршествах, себе в наслажденье, проводят время свое.

Вот исповедь моя, послушай, Господи!

Еще мальчишкой, пятнадцати лет, безотцовщиной, услышав всевышний зов Твой, пришел я в лоно Твое. Безгрешный, как ангел, чистый, как родник, я боялся даже запаха этого захримана-вина. Не раз дьявол вводил меня в искушение, строил всякие козни, но я не поддался. Шли годы, я делал в храме все: убирал, мыл и подметал, переплетал старые книги, и тут же учили меня по Твоим творениям. Я понял, что это Ты, создавший меня, хотел этого и из своих неиссякаемых сокровищниц мудрости, без жадности и сожаления, посылал мне одну за другой. Понемногу я стал постигать великую истину Твоего наследия — я стал раби.

Пришло уважение прихожан, земные блага полились ко мне, как из рога изобилия. Меня стали приглашать на торжества и праздники, на рождение и смерть, семейные раздоры и примирения, совершеннолетие или составление завещания, на святое резание животных...

Но почему-то, прости раба своего за прямоту и простодушие, Господи, с этого времени и начались все мои невзгоды. Мне пришлось делать то, чего мне делать не хотелось и не нравилось. Но я делал, ибо все это не противоречило Священному Писанию.

Посуди сам. Умер человек — в течение семи дней каждый вечер раби должен пить первый стакан вина. На седьмой день, когда обычно умершему ставят памятник, раби обязан выпить вино опять первым. Потом сорок дней — снова пить.

При регистрации брака, по воле Твоей, о Господи, раби обязан увековечить союз молодых выпиванием. При рождении ребенка и при его совершеннолетии раби

непременно должен выпить, ибо в противном случае все это не принимает установленной обрядовой формы.

Что же мне было делать, как не выпивать? Мог ли я перечить воле Твоей, не исполнять правил великого Писания Твоего?

Противное вначале, вино стало приобретать потом приятные вкусовые оттенки, поднималось настроение, повышался прилив сил, говорить и трактовать Твои непреложные истины становилось легче и лучше.

Как-то, хорошо выпив по случаю регистрации брака, я был после этого приглашен на благословение покойника в последний путь. И там, перепутав, назвал покойника именем живого его брата, который стоял рядом со мной, чем привел в замешательство собравшихся.

О Господи! Ты, наверное, знаешь этого негодника, грузчика заготовительной базы, шутника Бирора. Однажды на поминках бедного Ханамила он крепко напоил меня, а потом, взвалив на спину, через весь город, людям на посмешище, приволок и, как куль, бросил на дворе. Другой раз, накануне свадьбы в доме старого виноградаря, я, нализавшись этого захримана-вина, стал резать овцам не шею, как это принято делать, а курдюки, отчего поднялся такой переполох, что хозяева, надавав мне хороших тумаков, отправили туда, где Макар телят не пас.

Я бы мог рассказывать еще и еще, но не стану отнимать Твое драгоценное время описанием моих злоключений. А хотел бы спросить, Боже милостивый, виноват ли я? Не случилось ли со мной это несчастье, когда я выполнял волю Твою, поэтому справедлива ли та тяжелая кара, которую мне присудили?

Но есть на мне и тяжкий грех, каюсь, перед людьми и государством виноват, Боженька! Соблазну поддался. Но опять-таки, доля вины моей во много раз меньше, чем других «братьев», а наказан да посрамлен я один. Посуди сам. Как-то вызывает меня к себе старший раби, я в то время кассиром работал, и говорит:

«Что бы тебе, друг мой, не завести вторую кассовую книгу, так сказать, фиктивную...»

«Для чего?» — ничего не поняв, переспрашиваю.

«Как для чего? — удивляется он, — экий ты недогадливый. Финотдел к нам ходит? Ходит! Проверяет наши доходы, берут подоходный налог. А ты во второй книге не пиши всех доходов, как делаешь в первой. При-

дет проверяющий — подай вторую книгу. Недоданный налог подели пополам».

Чего греха таить, понравилось мне это предложение, а потом закралось сомнение.

«А не опасно ли это?» — спрашиваю.

«Да что ты, — улыбается старый раби и говорит:— Мы как у Бога за пазухой».

Как мне было не согласиться?

Через два года все это раскрылось, разницу всю государству вернули. До прихожан, правда, все это не дошло, «братья» оставили в тайне, а меня... а мне Ты, Боже справедливый, спустив с неба свою вседостающую длань, дал такую пощечину, силу которой помню и сейчас.

Воля Твоя, Всевышний! Но почему Ты наказал только меня одного, раба своего верного? Разве я не служил Тебе верой и правдой все эти годы?

Прости меня, Господи, если я, в порыве душевного расстройства, сказал что не так, не кощунствуя, а токмо справедливости ради.

Теперь, когда исповедь моя позади и ты знаешь все мои невзгоды и унижения, прошу Тебя, Боженька, об одном одолжении. Тебе это ничего не стоит, для Тебя это пустяк, а для меня — вопрос жизни и смерти. Мне на закате жизни, на склоне лет, очень даже нужно, чтобы Ты его исполнил, дабы минули бы меня унижения и оскорбления. Господи! Вышли мне тысяч пять денег! Ну, если Ты по какой-либо причине не можешь это сделать сразу, за отсутствием наличности, прошу Тебя выслать пятьсот рублей. А если Ты и этого сделать не можешь, то пошли мне хотя бы рублей пятьдесят.

Ты, о Всевышний, единственный, к кому я еще могу обратиться с надеждой и ожиданием, ибо, в противном случае, жизнь моя вообще теряет смысл.

Увидев заботу Твою и внимание, может, и жизнь моя повернется в сторону праведную, может, бес и сатана перестанут строить против меня свои дьявольские козни. Вечно буду благодарить Тебя, Господи, и еще раз взываю к Твоей милости.

Верящий в Тебя
раби Оврум».

Запечатав письмо в конверт, раби тем же нетвердым почерком вывел: «Господу Богу!» — и надписал свой обратный адрес.

Через день почтальон сочла почему-то нужным отнести письмо в милицию и вручить участковому. Там, собравшись в круг, долго смеялись над незадачливым раби Оврумом, кое-что выписали из письма себе для дела, а потом по предложению того же участкового сложились — кто сколько мог (кто его знает, может быть, действительно человек решил изменить свою жизнь!) — и послали раби Овруму не пятьдесят, как он просил, а сорок рублей, шутливо дописав: «От Господа Бога через участкового».

Естественно, перевод очень обрадовал раби Оврума, и на радостях он стал пропивать и эти деньги. Когда они подходили к концу, он сел писать Богу повторное письмо.

«Боженька, здравствуй!

Дошел-таки крик души моей до Твоего слуха! Спасибо Тебе, Господи, за перевод! Я уж было стал сомневаться, терять веру, что Ты откликнешься, а без веры, сам понимаешь, какой смысл жить...

Думаю, что это не случайность, а Божественный дар за верную многолетнюю службу мою.

Прошу Тебя, Господи, вышли мне еще рублей пятьдесят, видно, так Тебе удобней. Только в следующий раз не делай этого через нашего участкового, этот хитрец десять рублей себе оставляет...

Верный Тебе
раби Оврум!»

ТАЙНА ТЕТУШКИ БАСМАТ

Вот уж поистине душа человеческая — потемки. Проживешь с человеком, можно сказать, целую вечность и соли немало съешь с ним, а не узнаешь его. Да чего там... Лучше уж я все по порядку расскажу.

История эта приключилась с нашим старым дворником, тетушкой Басмат. Рассказывали, что много лет

назад Басмат, молодая и красивая вдова, вышла замуж за богатого старика. Но уже через год, оставив ей крохотного сынишку, старик ушел догонять своего покойного отца.

Жила она в самом конце прямой и шумной улицы, в маленькой комнатке. Там стояла старая никелированная кровать, рядом — небольшой шкафчик и небольшой круглый стол, на котором обедала и ужинала тетушка Басмат.

Еще скромнее были ее расходы. Покупала тетушка Басмат все самое дешевое: мятые помидоры, протухшую селедку, а мясо не ела от одной Пасхи до другой. Однажды долго упрекала себя, что купила на рынке сыр, который в магазине стоил дешевле: «Вот дура старая, — ворчала она, убирая улицу, — проморгала». А по одежде мы ее узнавали издали. Носила она старое заплатанное платье и черную косынку.

Соседи по двору знали о ее скупости и не раз донимали ее расспросами.

Особенно усердствовал шестнадцатилетний Рабо — жизнерадостный и трудолюбивый мальчик, взваливший на свои неокрепшие плечи всю заботу о больной матери и маленькой сестре. Сравнивая свою семью и тетушку Басмат, Рабо никак не мог постигнуть житейскую премудрость хитроумной соседки и иногда, шутя, спрашивал ее:

— Наверное, тетушка Басмат, вы немало деньжат накопили?

— Накопила? — серьезно переспрашивала старуха. — Да откуда? Если бы у меня были деньги, разве я бы так жила?! Вот ты, наверное, думаешь, что тетушка Басмат одинока, какие у нее расходы? Не-е-ет, ошибаешься, милый, хоть и одинока я, но расход у меня немалый. В день, скажем, нужна буханка хлеба, зелени пучок, сахарок, ну там керосин и прочая мелочь... Раньше, когда сынок мой, Давид, был жив, пусть земля ему станет пухом, так он мне и чувяки покупал, и платья дарил, а сейчас... — И она вздыхала, точно человек, потерявший целое состояние. Потом, немного помолчав, тетушка Басмат добавляла: — Вот вы, наверное, поговариваете: мол, тетушка Басмат денежки прячет. А услышит это какой-нибудь вор, да и поверит, что у меня деньги есть. Зря беду на меня наводите, нехорошо это.

— Неужели вы воров боитесь? — улыбаясь, спрашивает Рабо.

— Да как мне, старой женщине, воров не бояться,— отвечала тетушка Басмат.

И в самом деле, она почему-то очень побаивалась воров. Как только солнце прятало свои лучи и прохожих на улице становилось меньше, тетушка Басмат накрепко, на засов, закрывала дверь, а ставни единственного окна почти всегда оставались закрытыми.

На это были причины, особые причины. Тетушка Басмат была не только дворником, но еще занималась и другим делом — ростовщичеством. И знал об этом только один человек — посредник, через которого она совершала свои операции.

Доход ее был немалый. И каждую неделю, склоняя седую голову над столом, при свете тусклой лампы она подсчитывала деньги, подолгу перебирала их. И, подводя окончательный итог, старуха аккуратно складывала накопленное в мешочек, а потом прятала под плитой никогда не топившейся печки в стене.

Когда тетушка Басмат бывала довольна своим доходом, а это в последнее время случалось редко, она с хорошим настроением поднималась раньше обычного и с усердием убирала двор, а потом улицу. Но когда доходу бывало маловато, что случалось чаще, она почти ни с кем не разговаривала, а уборку делала из рук вон плохо. В такие вечера она ложилась без ужина и, глубоко вздыхая, закутывалась в одеяло с головой.

Каждый раз, перед тем как ложиться, тетушка Басмат снимала с плиты конфорки, извлекала мешочек и бережно прятала его в изголовье. Иногда, проснувшись ночью, она хваталась за подушку — уж не пропало ли что! Ей постоянно виделись дурные сны. Уходя из дому, она прятала мешочек во внутреннем кармане, у груди — так надежнее.

Нередко на улице или при разговоре с людьми рука ее сама тянулась к карману. Но если старуха замечала, что на нее смотрят, она принималась усердно почесывать себя под мышкой. Однако через несколько минут рука опять, точно нечаянно, подбиралась к карману.

И вот что стряслось однажды с тетушкой Басмат.

Была пятница. После уборки двора, когда старуха по привычке, от которой не могла отучиться, поднесла руку к карману, она так и застыла с приложенной ру-

кой к груди. На лице ее появилось выражение, какое бывает у человека, которого неожиданно схватил тяжелый сердечный приступ...

Маленького сатинового мешочка в кармане не было. Сперва тетушка Басмат сама себе не поверила. Однако, пощупав карман еще несколько раз подряд, остолбенела от изумления.

«Неужели пропал? — подумала тетушка Басмат. — Но как это могло случиться? Уж не в другой ли карман я положила?» Рука судорожно полезла к другому карману и нащупала несколько монет, которые она отложила на расходы — не было только мешочка.

Старуха не могла прийти в себя. Она отлично помнила, что утром мешочек был в кармане, он был в кармане и во время уборки двора и улицы. Да, да, она это помнила хорошо.

— Но, может быть, я и ошибаюсь, наверное, я его оставила дома и забыла.

Ей показалось, что мешочек — под подушкой. С этой мыслью она, семеня согнутыми в коленях ногами, прибежала домой, тяжело дыша, открыла огромный замок и влетела в комнату.

Прежде всего тетушка Басмат бросилась к изголовью кровати. Под желтой пропотевшей подушкой было пусто.

— Куда же он мог упасть?

Начала искать под матрацем: не завалился ли туда из-под подушки. Но когда тетушка Басмат осмотрела все и под матрацем, ею овладело отчаяние — мешочка не оказалось и тут.

«Уж не под кроватью ли он?» — эта мысль показалась тетушке Басмат настолько вероятной, что она тотчас нагнулась, встала на колени, засунула голову под кровать и принялась вытаскивать оттуда старый изодранный чемодан, чайник без ручки и еще много разного барахла, но мешочка не было нигде.

— Куда же он мог провалиться? Удивительно! — повторяла тетушка Басмат, вытирая грязным платком вспотевший морщинистый лоб.

Потом ей показалось, что мешочек она выронила утром, когда убирала двор.

«Однако после уборки он был при мне», — подумала старуха, но все же обошла двор, улицу, обшарила все места, где стояла и проходила. Затем направилась

к мусорному ящику — как знать, возможно, с мусором выбросила туда.

Уже много лет сюда сносили мусор со всех квартир, здесь он гнил, распространяя зловоние. Хоть и могла тетушка Басмат убедиться, что потеряла мешочек не здесь, однако, подобно каждому, кто теряет свое добро, она верила в возможность невозможного и все же пошарила в мусоре.

— Что случилось, тетушка Басмат? — спросил Рабо, который только что вернулся с работы.

Над горем не смеются. Но старуха не могла рассказать о своем горе из боязни, что ее осмеют на весь город. Ну кто поверит ей, бедной женщине, что она потеряла целое состояние? Скажут, что с ума сошла на старости лет. Поэтому недолго и размышляла, как бы половчее ответить любопытному парню.

— Да кто-то совок мой бросил сюда...

Искала она до самых сумерек. Мешочка не было нигде. Когда уже совсем стемнело, тетушку Басмат охватило такое отчаяние, какое испытывает голодный с больным зубом, усевшись перед вкусным пловом. С каждой минутой отчаяние ее возрастало. Что делать, где искать? Ведь была же она уже везде и всюду, все, кажется, высмотрела. Наконец тетушка Басмат поискала и в печке: уж не там ли он? Нет, не там!

Усталая, убитая горем, не раздеваясь, она бросилась на кровать...

* * *

— Что-то тетушка Басмат проспала сегодня, — удивился сосед, обращаясь к жене. — Сходи-ка посмотри, что она там делает.

Женщина постучала:

— Тетушка Басмат, а тетушка Басмат, вставай, двор убирать пора!

Никто не отвечал.

Опять стучит женщина, а потом и сосед, но опять нет ответа.

Наконец всем двором с трудом открыли дверь и, войдя, нашли тетушку Басмат лежащей на полу. Старуха была мертва. А рядом с ней, среди разбросанных изодранных подушек и разного ненужного хлама нашли туго набитый деньгами маленький сатиновый мешочек.

Все так и ахнули. А Рабо, приложив ладонь к щеке, удивленно воскликнул:

— Вай, мама! Зачем же она так жила?..

СВЯТОЙ МУЖ

Несколько лет назад жил с нами по соседству дядюшка Сосун. Да простит меня Бог, потому что я, нарушив адат, все же решил рассказать о человеке, давно умершем. Знаю, что на том свете не простят мне этот тяжкий грех, но что поделаешь, если у меня такой дурной характер и болтливый язык, что любая тайна так и рвется из меня, как птица из клетки.

Как говорят, да не знать вам его теперь! Но уверяю вас, не знать дядюшку Сосун вы не могли, ибо ежедневно, с раннего утра до самого вечера, он не покидал наших шумных торговых рядов. И если когда-либо вы покупали там редкую вещь, то непременно купили ее у дядюшки Сосун.

Не могу умолчать еще об одном его достоинстве: любил старый скупщик давать покупателям клятвы. И чаще всего клялся могилой отца, если чувствовал, что нашелся, наконец, стоящий покупатель.

Не без основания слыл он и человеком сердобольным. После смерти сестры скупщик (да зачтет ему Бог это в добродетель!) привел в дом пятнадцатилетнюю племянницу, молчаливую и никогда не улыбающуюся. И хотя легла на нее вся домашняя работа (ах, да кто из нас не работает!), люди радовались за нее и воздавали хвалу дядюшке Сосун. И было за что, ведь не каждому выпадало такое счастье!

Жить бы и жить в этой полной чаше, расти на радость дядюшке Сосун. Ан нет, неблагодарная, не прожив и года, сбежала. Забрала свои пожитки — старое платьице да изношенные туфельки — и ушла, оставив в недоумении горожан и в нескрываемой печали дядюшку Сосун.

Надо ли говорить, что это событие послужило поводом для новых пересудов. Одни говорили (чтоб языки у них отсохли!), что, мол, дядюшка Сосун приставал к девушке. И скажут же! Другие же больше сходились на том, что девушка не выдержала полуголодной жиз-

ни. Это в доме-то дядюшки Сосун? И как только языки поворачиваются говорить такое?! Да у него после обеда даже дворовая собака икала!

А соседки (да спасет вас Бог от их злых языков!), захлебываясь, рассказывали, что не раз были свидетелями, как дядюшка Сосун посылал на голову жены, больной и старой Сироти, все беды земные за то, что та раз в год позволяла себе какую-либо обновку. Ох эти сплетники! Да будь жизнь дядюшки Сосун прозрачна, как хрусталь, и чиста, как душа младенца, — и то бы говорили.

И добро, если бы только это. Ко всему еще добавляли, что дядюшка Сосун терпеть не мог старую Сироти, а она его не желала видеть. Так всю жизнь и прожили вместе, будто собака и палка.

Не знаю, как вы, а будь моя власть, я бы наказал этих сплетников за оскорбление старого человека.

О, простите! Я проговорился — дядюшка Сосун вовсе не был стар, хотя ему было за шестьдесят. Глядя на черную как смоль полукруглую бороду да завидную энергию, трудно было поверить, что у скупщика уже взрослые внуки.

Да что там толковать...

Однажды направился я к дядюшке Сосун за покупкой. Шел я, как человек, который давно уже знает, куда и к кому идет. Но был крайне удивлен, когда скупщика на месте не оказалось. Куда же, думаю, он девался? Не перешел ли на другое место?

Стал искать. Но убедившись, что найти дядюшку Сосун невозможно, что он пропал, как известная игла Шолума-портного, я направился в конец торговых рядов, где сидел обычно старый перс, продававший «тысячи мелочей», без которых не обходится ни одно хозяйство.

— Дядя Гофор, — спросил я его, — вы не видели дядюшку Сосун?

Старик вдруг так удивленно на меня посмотрел, будто я, как Шемей-нюгдинец, вернулся «с того света».

— Ты что, из Касумкента? — спросил он меня.

— Нет, — говорю, — коренной житель Дербента.

— Не может быть! — отвечает старый перс, но вижу, что глаза его смеются.

Я знал, что персы, не лишенные чувства юмора, лю-

били и понимали шутку, и поэтому, ожидая новых известий, улыбнулся.

— О сын мужчины! — сказал старый Гофор. — Как же ты, будучи дербентцем, не знаешь, что дядюшка Сосун после смерти своей жены, Сироти, лежит дома тяжело больной? Вот уже два месяца...

Я был крайне удивлен, как же так, думаю? В тот день после похорон дядюшка Сосун вместе со мной живым и здоровым вернулся домой. Даже волосок с его головы не упал. Правда, понервничал, когда сыновья наперекор отцу положили в могилу ее гобо (перед смертью мать завещала детям сделать это). И потому дядюшка Сосун тихо пробормотал тогда, что, мол, если продать гобо — тоже были бы деньги.

Э-э, думаю, у этих торговцев и за деньги правду не купишь, поищу-ка я еще дядюшку Сосун. Не поверил я старому персу. Обошел еще раз торговые ряды, заглянул в каждый угол и, убедившись, что скупщика нигде нет, прямо направился к нему домой.

И что же? Своим глазам не поверил. Лежит дядюшка Сосун желтый, как спелая айва, кости так и торчат из его тела. И лицо прячет, словно боится в глаза глянуть. Некоторые полагали, что заболел дядюшка Сосун из-за смерти жены, мол, тяжелое нервное потрясение. Другие же больше сходились на том, что все это обман, видимость, что скупщик и не думал болеть. Словом, пошли пересуды...

Но дело, конечно, было ни в том, ни в другом. Дядюшка Сосун заболел совсем по другой причине...

Простите меня, люди. Теперь, когда прошло много лет, я решил раскрыть эту тайну.

...Через несколько дней после смерти жены приснилась дядюшке Сосун в белом одеянии, как привидение, Сироти.

— О мужчина! — обратилась она к мужу. — Как это ты согласился положить в мою могилу новое гобо?

— А что случилось? — спросил в свою очередь дядюшка Сосун.

— Знаешь что, — ответила Сироти, — теперь не стану скрывать от тебя. Под поясом гобо я спрятала золото и забыла сказать тебе. Только смотри, чтобы никто об этом не знал...

— О женщина! — крикнул дядюшка Сосун, намере-

ваясь спросить ее еще о чем-то, но Сироти внезапно исчезла.

Проснулся скупщик от собственного крика. Он приподнялся и, свесив длинные тонкие ноги, уселся на кровати, испуганно озираясь по сторонам.

— Тьфу, харамзаде! — опомнившись, тихо выругался дядюшка Сосун. — Эта змея как при жизни, так теперь после смерти мне покоя не дает!

Уже в третий раз снилась жена спящему скупщику. А у татов есть поверье: если человеку трижды приснится один и тот же сон, он сбудется.

Эта мысль взбудоражила дядюшку Сосун, и от волнения в горле у него пересохло. В нижнем белье он подошел к большому глиняному кувшину напиться. Но, задумавшись, остановился.

— Как это, в самом деле, я мог потерять голову? Подсказывало мне сердце, что не следует оставлять гобо в могиле... Потерял золото...

Забыв о воде, дядюшка Сосун снова сел на постель.

— Вот ведьма! — обозленный на жену, произнес он. — Зачем было золото в гобо прятать? Хотя бы перед смертью призналась, нечестивая. Благодарю тебя, Бог, что создал меня не женщиной! — Прочитав молитву, дядюшка Сосун провел ладонью по лицу. — Просто не знаю, что теперь и делать... Разрыть могилу нельзя. Не могу же я нарушить обычай предков. Да и люди не простят мне этого, скажут: «Чтоб без бороды он остался, мертвая еще и остыть в земле не успела, а он могилу разрыл». Нет, нет, ни за что.

Дядюшка Сосун снова задумался.

— А если оставлю золото там?.. Те же люди, узнав, дураком меня назовут. Слава Богу, меня еще никто так не называл и, если будет воля Всевышнего, не назовут. Как же быть? — размышлял снова и снова дядюшка.

От захвативших его дум дядюшка Сосун всю ночь не сомкнул глаз. И, наконец, задолго до рассвета, не выдержав переполнивших его мыслей и дум, вышел на тихую, безлюдную улицу. Да и кто мог быть на улице в такой ранний час?! Спали все, даже страдавшие бессонницей петухи и злые собаки.

И подобно лунатику, дядюшка Сосун оказался у чайной.

— Сосун! — удивился чайханщик. — Каким ветром

тебя занесло в такую рань? Я еще и чай не успел заварить.

— Не спится что-то, — задумчиво ответил скупщик.

Поняв состояние дядюшки Сосун по-своему, чайханщик стал его успокаивать:

— Не волнуйся, друг. Ну, умерла жена... Все мы в этом мире гости.

Дядюшка Сосун молчал.

Утром, покинув чайхану, он по привычке пошел к торговым рядам, оттуда в городской парк, но не мог скупщик забыть вчерашний сон. Он захватил его всего, как в тиски, не давая покоя ни на час.

В полдень, когда спрятаться от палящего солнца было невозможно, дядюшка Сосун вернулся домой. В эту минуту невестка накрывала на стол, разложила тахту, зная, что свекор любит после обеда час-другой поспать.

Но есть дядюшка Сосун отказался. Он думал. И думы уносили его не в заоблачные выси, а в мир самых будничных дел. «Пенсию государство мне не даст, — размышлял он, — ибо за всю жизнь так нигде и не поработал. На перепродаже тоже теперь много не заработаешь...»

Размышления дядюшки Сосун прервала невестка, снова предложившая ему поесть. Но то ли он не понял ее, то ли думы привели его к грустному итогу, настроение скупщика испортилось, и весь мир, казалось ему, был настроен сейчас против него.

«Теперь, — думал про себя дядюшка Сосун, — если дети захотят, я буду кушать, если нет — ходи голодный. Посчитают нужным купить мне рубашку, купят, а нет...»

Дядюшка Сосун горько улыбнулся.

«А если у меня будет золото, — продолжал он развивать свои мысли, — я ни от кого не зависим. Живи как хочешь, ты — хозяин самому себе! И если после смерти под моей подушкой найдут немного золота, люди скажут, что не напрасно Сосун жизнь прожил...»

Эти мысли не давали ему покоя, он не находил себе места.

«А если меня кто-нибудь увидит на кладбище? — мелькнула новая мысль у него в голове, как внезапная вспышка молнии. — Нет, нет, я не пойду на это, если там даже мешок золота... А кто, в самом деле, меня

увидит среди ночи? — успокаивает себя дядюшка Сосун. — Ночь темна, люди спят...»

Скупщик снова задумывается.

Ночь проплывала без шума, словно знала о думах дядюшки Сосун. Кто знает, сколько дум передумал за эти часы старый скупщик. Одному Богу известно.

...Было уже за полночь, когда дядюшка Сосун с лопатой на плече, крадучись, словно вор, вышел со двора и торопливо направился на кладбище.

В тихую ночь под звездным небом могильные камни походили на замерзших людей. Город давно уже крепко спал. Ни голосов, ни огней. Кое-где одиноко лаяли собаки. Бесшумно шептались засохшие листья. Дядюшка Сосун остановился у могилы жены, напрягая слух и зрение.

Ни души. Да и кому быть здесь в такую позднюю пору, кого потянет ночью на кладбище? Дядюшка Сосун еще раз осмотрелся, взглянул на могилу — от палящих лучей солнца земля высохла и потрескалась.

Нерешительно, колеблясь, он то отходил, то снова подходил, крепко сжимая в руках лопату.

Вот он опять у могилы.

И через несколько минут скупщик рыл ее.

Работал он усиленно, напряженно, а когда лопата его стукнулась, наконец, о доску, он глубоко вздохнув, начал рыть с удвоенной энергией. И вот осталось земли только пальца на три, подхватывая ее лопатой, дядюшка Сосун осторожно отбрасывал комья.

Схватив за конец доски, скупщик поднял ее, но от вырвавшегося тяжелого запаха чуть не потерял сознание. Обессиленный, прислонясь к могильной стене, в холодном поту, дядюшка Сосун стоял, приходя в себя.

И в тот момент, когда он, затаив дыхание, нагнулся и вытащил из-под могильных досок гобо, кто-то крепко, двумя руками схватил его за плечи. Дядюшка Сосун замер. Ему показалось, что это какой-то мертвец или же сам ангел смерти пришел за его душой — словом, он в руках смерти. Но смерть молчала. Страх охватил скупщика, он обессилел. И вдруг он издал страшный крик и с таким отчаянием вырвался и вылез из могилы, что, забыв о шапке и пиджаке, бросился бежать.

Кладбищенский сторож сначала хотел было догнать бежавшего как заяц скупщика, но потом, захватив пиджак и шапку ночного пришельца, пошел в сторожку.

В тревоге дядюшка Сосун уже ни о чем не помнил — ни о золоте, ни о доме, ни о самом себе. Одна только мысль пронзала его мозг, и он леденел от ужаса: вот-вот его схватят...

С того времени и заболел дядюшка Сосун. Не мог простить себе содеянного. Страдал от мысли, что никому не может открыть своей тайны.

И наконец, не выдержал, однажды подозвал к себе сына:

— Подойди, сынок...

— Что, отец? Что тебе нужно? — заботливо откликнулся сын.

Но дядюшка Сосун снова, подавив в себе желание, устало проговорил:

— Ничего, сынок, ничего...

Много людей приходили проведать в эти дни дядюшку Сосун: многочисленные родственники, знакомые, друзья, и каждый, по-своему понимая состояние скупщика, советовал:

— Что ты, в самом деле, как маленький все равно. Ну умерла жена — Богу было угодно. Все мы в этом мире гости. Выкинь из сердца, легче станет...

Дядюшка Сосун терпеливо слушал и молчал.

Через три месяца скупщик умер.

Вам ли рассказывать, что на похороны таких людей, как дядюшка Сосун, народу собирается много. Так и в тот день: яблоку негде было упасть. А одна женщина, вся в черном, со слезами на глазах говорила:

— Не перенес, сердечный, утрату жены, и трех месяцев не прожил... Святой муж.

СОН В РУКУ

Нисим, кладовщик базы «Снабсбыт», — крупный крепыш с круглой с проседью головой, мясистым носом и толстыми вывернутыми губами — на закате дня, удобно усевшись дома за стол, в добром расположении духа приготовился к трапезе. Не спеша он налил из четверти в хрустальный бокал сухого вина домашнего выжима, с удовольствием потер друг о друга огромные пятерни и, взяв с тарелки кусок свежезажаренного кутума, отправил его в рот. Потом жадно, алчно, засунул туда же

кусок тандырного чурека, предварительно скомкав, почти пучок петрушки и одним броском залил все это сухачом.

Жевал он неторопливо, обстоятельно, с наслаждением, сочно чмокая и нечленораздельно выражая блаженство. И когда, наконец, утроба Нисима вместила тарелку хрустящей жареной рыбы, свежеиспеченный чурек, бесчисленное количество зелени и почти всю четверть сухого вина, он осоловело, с бессмысленным блеском в глазах, посмотрел на сидевших рядом сына и его товарища, и больше от избытка утробной силы, нежели от внимания, икая, весело спросил:

— О чем кукуете, дети мои, отцу знать можно?

— Вот думаем, куда поступать, — разводя руками, ответил сын, — школу ведь окончили...

— Ну, и... и что решили? — снова икая, спросил Нисим.

— Я предлагаю в сельскохозяйственный, а ваш сын— в педагогический, — ответил за сына товарищ.

— Ну и дурак, — беззлобно, но твердо и убежденно сказал Нисим, ковыряя в зубах. — Агроном-магроном, учитель-мучитель! Разве это специальности? Вы, слава Богу, не слепые, на ваших глазах этот твой учитель пирожками торгует, а агроном, так сказать, сеятель наш и служитель, тоже за прилавком стоит. Почему, как вы думаете? Соображать надо, не маленькие. Вот, возьмите меня, — оживился Нисим, — далеко ходить не надо. Чего греха таить, сколько мне пришлось потратиться — одному Богу известно, но кооперативный техникум я все же одолел, вас, шестерых, вырастил, выучил, есть во что одеться, что поесть, да и на черный день есть, слава Богу. А ты: учитель... Тьфу! — Нисим выплюнул, наконец, застрявший в зубах кусочек рыбы. — По мне, так только в торговый, и никуда иначе...

Нравоучение и жизненное кредо кладовщика несколько ошеломили молодых людей, и потому установилась неловкая тишина.

— Не помню, дядя Нисим, но где-то читал я... в какой-то стране попавшимся ворам на руке клеймо выжигают, так их после этого никуда не принимают... — словно об этом и шел разговор, неожиданно сказал молодой гость.

— А при чем здесь это? — возмутился Нисим. — У вас еще молоко на губах не обсохло, чтобы иметь право

говорить мне такое, — еще больше распалялся хозяин,— Харамзаде! Правдолюбцы, видите ли... У нас, слава Богу, таких глупых законов нет! Каждый живет как может: не пойман — не вор, и ни один подлец, в таком случае, не имеет права тебя вором назвать!.. Начитались каких-то пустых книжек и думают, что они уже пуп земли. Недаром говорят: «Буйволица отелится — никто не узнает, а о том, что курица яйцо принесла, — всей махале станет известно». Вам, молодым, жизнь кажется сплошным праздником, песнями да плясками... — Нисим развел руками, будто показывал танец.— Нет, это совсем не так. Жизнь — мельница, вот когда вас перемелют ее жернова, как следует придавит вас, вот тогда я посмотрю, как вы запоете...

Потом, заметив смущение молодых, Нисим смирил порыв своей неожиданной вспыльчивости (на людях он был образцом терпеливости и почитания), несколько успокоился и назидательным тоном заявил:

— Верьте моему опыту, дети мои, я немало повидал на своем веку. Высокие устремления, патетика слов и малиновый звон мечтаний легко улетучиваются, если этого «звона» нет в кармане... Вот вам один пример. Каждое утро, встречаясь, мы говорим друг другу: «Себэхь туь э хайр бу!» Что это означает? «Да будет утро твое с доходом!» С доходом! С деньгами! Это не я выдумал, а тысячелетний опыт народа...

Удовлетворенный своей назидательной речью, он блаженно зевнул и умиротворенно произнес:

— У кого деньги, тот и пан! Ну а теперь спать, утро вечера мудренее...

Нисим медленно, тяжело встал, удовлетворенно погладил большой круглый живот и направился в спальную комнату.

Спал Нисим, сотрясая ночную тишину могучим храпом, и снился ему сон...

После работы по дороге домой, по установившейся привычке, он зашел в будку телефона-автомата и позвонил жене. Та ответила, что дома все в порядке, если не считать, что неизвестно почему минут пять назад за ним приходил милиционер. Сердце Нисима екнуло. Охваченный тревогой, он вышел из будки и тут же увидел «того» милиционера. Он шел навстречу, а в руках его была, словно включенный ручной фонарь, большая штемпельная печать.

«Вот и конец! — побледнев, подумал кладовщик. — Застукали!»

И первое, что пришло ему на ум — бежать, бежать куда угодно, хотя бы на край света, но только миновать беду, не дать выжечь на руке это ненавистное клеймо.

«Но кто же мог это сделать, кто выдал?» — снова, заметив своего преследователя, подумал Нисим, на ходу перебирая в памяти всех работников базы, одного за другим пропуская через решето своих подозрений. Но так и не нашел виновника своих несчастий. И по мере того, как он осознавал весь ужас своего положения, им овладевал беспредельный страх, отчего леденел мозг и стыла кровь в жилах.

На какую-то секунду сознание вернуло его к реальной действительности, и кладовщик невольно подумал: «Куда же бежать?..» «Как куда? — тут же спросил Нисим себя и сам ответил: — К завскладом, конечно к нему, ведь не мне одному оставалось ворованное, и ему часть перепадала, и большая часть. Пусть находит выход, а иначе и ему не миновать этой самой печати, «благодетель», — злорадно подумал кладовщик и, тяжело дыша, еще быстрее понес свою жирную тушу.

Но преследователь, несмотря на все ухищрения кладовщика, нагонял его. Бежать у Нисима уже не было сил. Каким-то шестым чувством он ощущал прерывистое дыхание своего преследователя, слышал его предупреждающие выкрики, злорадно поворачивался, грозил ему кулаком и показывал язык.

Вот, наконец, и особняк завскладом. Нисим торопливо, что было сил, постучал в ворота. Ждать пришлось недолго. Нисим, спрятавшись за воротами, бледный, весь потный, коротко, в нескольких словах, объяснил о грозившей ему опасности и не забыл намекнуть, что такое же клеймо может оказаться и на его руке.

Хозяин сильно побледнел. Сначала испуганно, нечленораздельно, а потом внятно заявил Нисиму, что тому надо бежать к директору базы.

— Ты что думаешь, твои «взносы» мне одному остаются? — Он горько усмехнулся. — Я и директору даю... Так что беги к нему... Если не хочет влипнуть в эту историю, пусть помогает, у него там, наверху, есть свои люди...

Преследователь, потеряв сначала Нисима из виду,

на несколько секунд опешил, но, заняв наиболее выгодную позицию, стал ждать.

Нисим тем временем, ожидая, что его здесь и застукают, выглянул за ворота и, не увидев милиционера, побежал в темноту. Однако скрыться не удалось, и снова началось преследование. Бежал кладовщик, проклиная разнесчастную судьбу, на чем свет стоит клял своих благодетелей, презирал свою ненасытную утробу, свое тучное тело, которое вот сейчас, в этот критический миг его жизни, мешает ему скрыться, спрятаться, не попасть в руки безжалостного преследователя.

Сил бежать уже не было. Сейчас, через несколько секунд, его схватят — и тогда... Нет, до директорского дома не добежать. Нисим стал задыхаться. «А куда еще и директор пошлет? Может, к председателю, а может, к самому секретарю?..» — безнадежно подумал кладовщик и остановился.

Его схватили и без всяких церемоний, как преступнику, поставили на верхнюю часть кисти руки горячее клеймо, отчего Нисим по-звериному заорал и потерял сознание...

Проснулся Нисим от собственного крика и, заметив озабоченную жену у своего изголовья, испуганно спросил:

— Что со мной, я живой?

— Что с тобой, Нисим? — говорила удивленная жена. — На тебе лица нет, весь в холодном поту. Врача вызвать?

Убеждение, что это сон, что все страхи позади, придало Нисиму силы, и он облегченно вздохнул:

— Да, кажется, живой. Ну и дела-а...

Заснуть снова Нисим уже не смог. Так до утра, с открытыми глазами, он пролежал в постели, вспоминая напугавший его сон. Он вдруг четко увидел своего преследователя и узнал в нем знакомого участкового милиционера, которому, по давно установившейся традиции, давал ежемесячную взятку.

«И этот подлец меня так напугал... — с улыбкой подумал кладовщик. — Приснится же такое...»

ЗУБ

Говорят, каждый кулик свое болото хвалит. Но, честное слово, не похвалить свой городок я не только не могу, но просто-напросто не имею права. Он красив. С востока его омывает искрящееся под лучами солнца море, с запада прикрывают сохранившие на себе памятники седой старины горы, а с двух других сторон окружили город богатые сладким янтарем виноградные плантации.

Городок наш еще и маленький, и нет в нем тайны, которая бы за короткое время не становилась достоянием всех. Да и может ли быть иначе, если женщины наперечет знают родословную сотни семей, а о рождении и смерти уже через десять минут известно во всех его концах.

Вот почему не было секретом и то, что у директора завода Нахшуна Савиевича Шафадова разболелся зуб. Скажите, пожалуйста, что здесь особенного, и кто из нас хотя бы раз в жизни не испытал эти муки? А вот о зубной боли Шафадова уже через полчаса знал весь город.

Справедливости ради следует сказать, что дело здесь не в зубной боли директора завода, а совсем в другом...

В понедельник, когда Нахшун Савиевич вернулся с работы домой, он в полном здравии в кругу своей семьи приготовился к вечерней трапезе. И в тот момент, когда он подносил к губам рюмку с коньяком, ему показалось, что кто-то вероломно, исподтишка, шилом проткнул его зуб. Вначале он скривился от острой боли, затем, выпучив глаза, схватился за щеку. Глаза Нахшуна Савиевича, и без того выпуклые (за что его тайно прозвали Лупатым), сейчас вообще вышли из орбит.

С каждой минутой боль усиливалась, вызывая у Нахшуна Савиевича жалобный стон, а затем низвергла его в постель. Однако в лежачем положении ему стало еще хуже, и он, стеная и скуля, стал ходить по комнате взад и вперед, как маятник. В ход были пущены все известные в семье методы лечения: больной зуб обкладывали намоченной одеколоном ватой, потом в раскрытый рот засыпали пепел сожженной газеты, однако боль не исчезала.

В самом деле, разболелась голова — прими пирамидон, отдохни — и боли как не бывало, или, скажем, раз-

болелся живот — капли можно принять. Но зуб... к нему никак не подберешься. Недаром, когда хотят кого-то наказать, говорят: «Дай тебе Бог сто лет жизни и семьдесят лет зубной боли». Больной зуб — это... о-о-о!

Нахшуну Савиевичу казалось, что кто-то, ухватившись клещами, тянет из него жилы, вырывает изо рта челюсти, как при чистке свежей рыбы рвут и вытягивают из нее жабры. Всю ночь Нахшун Савиевич не сомкнул глаз. Видя, как мучается глава семьи, не могли заснуть и домочадцы. К утру щека его распухла и лоснилась, как свежеиспеченный тандырный чурек. Однако боль продолжалась и вынудила Нахшуна Савиевича завязать платком щеку и, чуть пошатываясь от бессонной ночи, направиться в поликлинику.

Домой Шафадов возвратился в самом радужном настроении, как человек, с которого только что сняли непосильную ношу. Успокоенного и утомленного тяжело проведенной ночью, его потянуло ко сну, и он было собрался уже лечь отдохнуть, как вдруг зазвонил телефон.

— Нахшун, дорогой, привет! Как чувствуешь себя? Как?.. Новорожденным? Ну и хорошо... Что? Откуда узнал? От своей половины, она в поликлинике работает. Будь здоров, вечером загляну. — Это звонил друг, которого Шафадов знал еще со школьной скамьи.

Настроение Нахшуна Савиевича сразу поднялось. Приятно, когда друзья помнят о тебе. И хотя опухшая щека все еще давала о себе знать, да слегка все еще побаливал зуб, Шафадов, довольный, улыбнулся. И в самом добром расположении духа направился к дивану. Однако снова зазвонил телефон.

— Нахшун Савиевич?! Вам личное письмо из министерства... А как ваш зуб?.. Нет, никто не звонил. До свидания! — скороговоркой проговорила молоденькая секретарша директора.

Шафадов был удивлен космической скоростью, с какой распространилась весть о его зубе за какие-то полчаса после возвращения из поликлиники. «Надо же! — подумал он. — О моей зубной боли уже и на заводе знают, беспокоятся... У одних и смерть проходит незамеченной, а моя зубная боль за полчаса обошла чуть ли не весь город... Значит, уважают... Однако что это за письмо?..» — вдруг вспомнил он, и смутная тревога охватила его...

Дела на заводе шли из рук вон плохо: производственные планы не выполнялись, при высокой себестоимости качество выпускаемой продукции оставалось низким. В последний раз в министерстве ему недвусмысленно заявили, что руководитель он плохой и что в ближайшее время пусть ждет замены.

«Неужели все?.. — с тревогой подумал он и, не выдержав напряжения от горьких мыслей, не обращая внимания на распухшую щеку, торопливо прибежал на завод и направился к себе в кабинет. На изумрудной глади настольного стекла лежало «личное» письмо. Нахшун Савиевич уже с порога не отводил от него глаз. Сердце трепетно билось, как у вспугнутой у водопоя газели. Он разорвал конверт и торопливо развернул лист.. Оторвавшись от письма, Шафадов обмяк, побледнел пуще прежнего и медленно сел в кресло. Как-то непривычно защемило сердце, и к нему снова вернулась зубная боль...

Надо ли говорить, что не успеет еще Нахшун Савиевич дойти до дома, как весть о его замене облетит весь город...

Вечером того же дня, одолеваемый горькими думами о навалившейся на него беде и со все еще продолжавшейся зубной болью, Шафадов, приложив платок к опухшей щеке, вышел на улицу. На душе было тяжко, ему надоело уединение, и он готов был в эти минуты излить все наболевшее в душе первому встречному и хотя бы таким путем найти облегчение.

И будто счастье улыбнулось Шафадову, ему навстречу шел экспедитор завода — всегда такой услужливый молодой человек, который, завидев директора еще за версту, мчался навстречу, с улыбкой и доброжелательностью крепко жал руку, расспрашивал о житье-бытье и всегда благодарил неизвестно за что. Шафадов был рад этой встрече и готов первым приветствовать экспедитора, остановился и стал ждать его приближения. Но.. .тот прошел мимо него, бывшего еще сегодня директором, сделав вид, что не заметил Шафадова.

Нахшун Савиевич горько улыбнулся, хотя вместо улыбки на лице его явилось такое выражение, словно он набрал в рот чего-то горького, покачал головой и зашагал дальше. Однако через несколько минут на противоположной стороне улицы увидел идущую ему навстречу секретаршу: красивую, молодую, всегда

излишне накрашенную. Шафадов остановился, попытался улыбнуться приближающейся к нему секретарше, однако и она, как и всегда услужливый молодой человек, отвернулась и прошла мимо, словно и не было никакого Нахшуна Савиевича.

А мне, свидетелю этой истории, было жаль Шафадова и хотелось крикнуть этой юной карьеристке: «Ах, девушка, девушка! Где же ваше милосердие, ведь зуб-то у него все-таки болит!»

ШУРКА

В гостинице, как всегда, мест не оказалось. Беспокоить знакомых в полночь не хотелось, и я решил пойти к морю, тем более что стояла душная июльская ночь. Я уж было ухватился за дверную ручку, чтобы выйти, как встретился взглядом со швейцаром гостиницы.

— Ба, дедушка Офтум! Вот это да, здравствуйте!

— Здравствуй, сынок, — улыбнулся старик, — признал-таки...

— Сколько лет, сколько зим... как Шурка? — невольно вырвалось у меня.

— Шурка? — угрюмо переспросил дед и, опустив голову, тихо добавил: — Нет Шурки...

* * *

Я не впервые в этом красивом южном городке, что амфитеатром расположился у подножия Кавказских гор. Я бывал здесь мальчишкой, много лет назад — сразу после войны, когда проезжающие поезда оставляли на широком перроне вокзала незнакомых людей. Сюда, в этот не тронутый войной уголок, стекались они, чтобы забыть прошлое, дать отдых изболевшимся сердцам.

Вот тогда, после войны, на одной из пыльных от зноя улиц я впервые увидел четырнадцатилетнего мальчика, Шурку. Худенький, бледный, он бы ничем не отличался от своих сверстников, переживших голод и муки лихих годин, если бы не глаза, в которых было столько тоски, что ее, казалось, могло бы хватить на целый мир.

Вел себя Шурка странно: дышал, будто всхлипывал, как это бывает с детьми после продолжительного плача, а услышав звонкий смех, он вдруг останавливался, вытягивался в струнку, да так, что на тоненькой шее набухали вены, и кричал:

— Нет! Не скажу! Ма-а-ма-а!

Давно это было. Мы тогда не знали, почему этот мальчик не любил громкого смеха и отчего он вызывал в нем такую реакцию.

Я бы так ничего и не узнал, если бы не старый Офтум...

Леса белорусские... На сотни километров тянутся они, сливаясь с горизонтом, и теряются в неоглядных далях. Широко раскинулись ели и гордые сосны в темно-зеленых шапках.

Вокруг все расцвело, зазеленело, птичий гомон и щебет наполнили лес, да невдомек пернатым, почему вот уже третье лето и днем и ночью выстрелы нарушают их неугомонное пение.

На небольшой поляне, усевшись на кочке, двенадцатилетний Шурка собирал цветы. Были здесь ромашки, незабудки и колокольчики. Мальчик тосковал по дому. Скоро год, как он не видел родных. Погруженный в свои мысли, мальчик не заметил, как к нему подошла радистка партизанского отряда.

— Пойдем, Сашок, командир вызывает.

— А зачем?

— В село пойдешь...

— Правда?! Вот тебе за это! — И мальчик, отдав радистке букет, побежал на командный пункт.

Командир недолго держал его в землянке.

— В наше родное село прибыли немцы. Надо узнать, сколько их и какое у них вооружение, дед тебе все скажет...

Шурка встал...

— Иди. — Командир крепко обнял мальчишку. — Будь осторожен. У села дежурят патрули.

...Ночь выдалась тихая, безлунная. Шурка шел знакомой тропой и скоро вышел на дорогу. Вдруг слева вспыхнул и погас желтый огонек. Мальчик поспешно ушел в кусты и замер.

Где-то рядом прозвучала немецкая речь. Шурка сообразил, что это патруль. Значит, недалеко родное село.

Когда стихли шаги, мальчик перебежал большак и на рассвете был уже у цели.

На отшибе — родной домик с маленьким садиком. Тревожно забилось сердечко: «Как там мама, дед?»

В сенях послышался шорох, сухо, точно затвор винтовки, щелкнул дверной засов. На крыльцо вышла женщина.

— Мама!

— Сыночек, родной мой!

Шурка бросился к матери, уткнулся лицом в грудь...

Уже совсем рассвело, когда сильный стук в дверь поднял всех на ноги. Кто-то ломился в дом и властно требовал:

— Открывай!

— Немцы! — глухо произнес дед.

...Юного разведчика арестовали, а вместе с ним увезли мать и деда. Все произошло случайно: мальчика заметил полицай, который на рассвете возвращался с гульбы. Жалкий трус, дезертировал в первые же дни войны. Полицай знал, что старший брат Шурки в соседних лесах командует партизанским отрядом, но все его старания узнать расположение отряда были тщетны. «Вот это удача!» — подумал предатель и побежал к немецкому офицеру...

День выдался нежаркий. Сквозь густую сетку облаков робко пробивалось солнце. Арестованных вывели на широкую площадь. Солдаты согнали сюда всех жителей села.

Шурка стоял изодранный, избитый, с кровоподтеками на лице, а рядом — коротконогий грузный офицер с крючковатым носом и большой головой на тонкой шее, которая вращалась по-птичьи, во все стороны.

— Кто послал тебя сюда? — спросил он по-русски, почти без акцента.

— Никто, я все время жил в селе.

— Врешь! Тебя послали партизаны! Где они?

Шурка молчал. Офицер подскочил к нему, размахнулся и костистым кулаком ударил по лицу. Тонкими струйками потекла по лицу кровь.

— Ты у меня заговоришь, щенок!..

Он что-то приказал солдатам. Те отвели деда к забору и направили на него дула винтовок.

— Ну-с, теперь ты скажешь?

Шурка молчал. Дед гордо выпрямился, строго взглянул на внука и отрицательно покачал головой.

— Стреляйте, звери! Будьте вы прокляты!

Раздался выстрел, и старик упал на землю. Офицер громко, заливисто смеялся:

— Ха-ха-ха-а-а!

Этот дикий смех раздавался в ушах Шурки. Мальчик рыдал, маленькие плечи его тряслись. Плакали люди.

— Ты, конечно, окажешь нам услугу,— снова заговорил офицер. — Мы не станем убивать твою маму...

Шурка вдруг сорвался с места и с возгласами: «Мама! Мамочка-а-а» — побежал к матери. Но здоровенный солдат подставил ногу, и Шурка, дважды кувыркнувшись, растянулся на земле. К матери приблизился офицер. Он что-то негромко сказал ей. Женщина отвернулась, взглянула на сына и, сжав кулаки, громко крикнула:

— Молчи, сынок! Слышишь!.. — Она повернулась лицом к солдатам. Глаза ее отчаянно блестели, губы дрожали. — Убийцы! Придет час, и вы заплатите кровью!

Шурка вскочил, вытянулся и закричал:

— Нет! Не скажу. Мамочка-а-а!

Винтовки взлетели на уровень плеч. Офицер опустил руку. Дважды, один за другим, раздались выстрелы.

Точно ветер, пронесся по толпе тяжелый стон. Шурка слегка качнулся, ноги подкосились, и он упал затылком на серый валун.

— Убить этого щенка! — злобно приказал офицер.

В полумертвого Шурку выстрелили...

Чудом уцелевшего, полуживого мальчика на рассвете нашли освободившие село партизаны, а неутомимый разведчик Офтум выходил его и в надежде вылечить привез в наш городок к себе домой...

* * *

Я снова хожу по красивым улицам этого полюбившегося мне городка, снова слышу звонкий радостный смех, и как хорошо, что детям не за что не любить смех...

ФОМКА

Фомка, легавый кобель с большой белой меткой на лбу, заболел. В помутневших роговицах глаз появились гнойные язвы, беспрестанно слезились глаза, будто оплакивал Фомка нежданно налетевшую на него беду. Признав у собаки запущенный телязиоз, ветеринар заявил хозяину, что в скором времени Фомку ждет слепота.

Уже много раз его оставляли дома. Вначале Фомка обижался и отказывался от пищи, тоскливо ожидая возвращения хозяина. Потом все же примирился, но надежды, что о нем еще вспомнят, не терял.

Вот и сегодня, когда хозяин собирался на охоту, Фомка смотрел на него полными надежды печальными глазами, прыгал возле него и ласково визжал, ожидая, что уж на этот раз его не оставят. И будто чувствуя это, хозяин, как в былые времена, посадил Фомку рядом с собой в машину и всю дорогу, задумчиво поглядывая на него, молчал.

Усыпить Фомку он все же не решился. Да и как, заключил хозяин, не он же дал Фомке жизнь, чтобы ее отнять. Вот потому он и везет Фомку в лесную глушь, чтобы там навсегда оставить эту преданно служившую ему полуслепую собаку.

...Невольно нахлынули воспоминания. Однажды вот в такую же туманную весеннюю пору, потеряв дорогу, он оказался на краю обрыва, и Фомка, схватив за полу бушлата, спас ему жизнь, не дав тогда сделать последний шаг в бездну. Другой раз из гиблого болота, весь израненный и обгоревший, Фомка принес подбитую дичь, чем привел в восторг товарищей.

Да разве можно обо всем вспомнить...

Оставив машину у лесной опушки, хозяин, долго петляя и минуя хоженые тропы, вел Фомку в самую глухомань, где, быть может, раньше и не ступал человек. Потом старым красным шерстяным шарфом завязал Фомке глаза, дал что-то понюхать, от чего тот сразу чихнул, и отпустил повод...

Фомка прыгал, тихим радостным лаем звал. Ему нравилась эта игра, в которую никогда раньше хозяин с ним не играл. Он больно ударялся о стволы деревьев, до крови исцарапал тело, но, несмотря на все это, высунув язык, весело бегал и искал...

И когда вконец измученный Фомка смог сбросить с глаз эту надоевшую повязку, ему открылась страшная картина: в нескольких шагах, прямо перед ним, жадно, алчно расправлялся со своей добычей матерый волк. Недоумение охватило Фомку: где хозяин, как он сам оказался здесь? И Фомка стремглав бросился бежать, бежать назад, где, как ему казалось, его ждал хозяин. Но того не было. В отчаянии он бежал на каждый звук леса, долго блуждал, обессилел. И тогда, собрав весь запас своих сил, Фомка громко залаял, будто умолял не оставлять его...

Потом, почувствовав боль, сел, облизывая засохшие раны. Но изредка поднимал отяжелевшую голову и, тяжело дыша, смотрел по сторонам. Не верил Фомка, не принимало его собачье сознание, что его бросили.

Он ходил взад и вперед, садился и задумчиво смотрел в одну точку. Кто знает, может быть, в эту минуту Фомка вспоминал свою прошлую жизнь...

Вдруг где-то рядом раздался сухой, резкий треск, и Фомка снова, забыв об усталости, побежал на поиски...

Осенью того же года, когда охотник, утомленный, возвращался домой, ему навстречу из чащи, счастливо визжа и лая, с всклокоченной шерстью, весь в кровоточащих и гноящихся ранах выбежал белолобый кобель.

Хозяин узнал его. А Фомка прыгал от радости, жарко облизывал высохшим языком охотнику руки, сапоги, а гноющие глаза его будто говорили о тяжких муках одиночества и бесплодных поисках, и о вере...

Да, верил Фомка, верил, что его найдут, и вот, наконец, дождался.

Охотник, не обращая на него внимания, продолжал идти, а Фомка ластился к хозяину, жадно припадал к руке, как человек, нашедший потерянного друга. Потом, вспомнив что-то, Фомка побежал снова в чащу и вернулся, неся в зубах изодранный в клочья красный шарф.

Но хозяина не было...

Фомка сперва опешил, сел, как-то весь обмяк, тихо, жалобно заскулил и заплакал. Потом тяжело поднялся и, понурив голову, не оглядываясь назад, поплелся в лес.

Фомке незачем было оглядываться...

РЫБАК

Давид и Петя вошли в вагон и заняли место у окошка. В засаленных защитных куртках, от которых сразу запахло рыбой да терпкой соленой морской водой, рядом разместились рыбаки. Они возвращались домой после весенней путины.

Паровоз дал протяжный гудок и медленно потянул за собой цепочку вагонов. Чуть кланяясь и шелестя листвой, мимо проплыли стройные тополя, затем — полосатый шлагбаум и выстроенные вдоль дороги новые многоэтажные каменные дома. Далеко позади осталась и старая крепость.

Пассажиры шумно расселись и сразу громко и весело заговорили о своих делах. Давиду и Пете, тихо сидевшим у окошка, тоже передалось бодрое настроение рыбаков. Ребята перестали даже думать о предстоящих баталиях на шахматной олимпиаде, в которой должны были принять участие, и с интересом смотрели теперь на рыбаков.

Вдруг в соседнем купе заиграла гармонь и кто-то грубым простуженным голосом запел:

Не надейся, рыбак, на погоду,
А надейся на парус тугой...

Рыбаки разом прекратили разговоры и сначала тихо, а потом как бы набирая силу, стали громко подпевать гармонисту. Хорошо пели рыбаки. Да оно и понятно: песня-то своя, рыбацкая!

Подвыпивший рыжеволосый рыбак, с изборожденным морщинистым лицом, облокотившись о полку, курил и вполголоса вторил поющим.

— Гражданин, не курите здесь! В вагоне курить нельзя! — обратилась проводница к рыбаку.

— Ш-ш-ш, — взглянув на девушку, предупредительно попросил рыбак, находившийся под впечатлением песни. — Хор-ро-шо поют, а?.. — произнес он, мило улыбнувшись проводнице.

Затем, жадно затянувшись раза два, он выбросил сигарету в окно, озорно взглянул на Давида и Петю и хриплым, простуженным голосом запел вместе со своими товарищами:

Проводница недовольно посмотрела на рыбака, прошла в соседнее купе и, обратившись к сидящим там пассажирам, возмущенно сказала:

— Вот, полюбуйтесь. Ему, видите ли, наплевать на всех. Напился и поет...

— Ну, может, у людей праздник на душе, не надо портить им настроение, — начала было одна из пассажирок, но, взглянув на возмущенную проводницу, умолкла.

— Вот, вот, защищайте, — еще более распалилась проводница. — А нам, если где пылинку какую не уберем — так сразу в книгу жалоб...

Песня прервалась так же внезапно, как и началась. Один из рыбаков, со шрамом на лице, медленно подошел к проводнице, долго и пристально глядел на нее, затем сдержанно произнес:

— Не надо, милая, не надо. Не зная человека, нельзя его обижать... — В его грубоватом мужском голосе зазвучала обида.

Удивлены и обескуражены были Давид с Петей. Они никак не могли взять в толк, чем было вызвано такое возмущение проводницы.

— А знаете вы, что это за человек? — не торопясь, медленно покачивая головой, продолжил рыбак со шрамом на лице, обращаясь к проводнице. — Знаете? Так этот человек, к которому вы так немилосердны, — герой. Вы понимаете, ге-рой! И сколько их таких, незаметных-.. — От волнения шрам на лице рыбака побагровел.

Он окинул взглядом всех обступивших купе пассажиров и хотел было махнуть рукой: что, мол, вам объяснять, но заметив двух школьников, сел напротив и, обращаясь больше к ним, чем к другим, стал медленно рассказывать:

— Давно это было. Лет двенадцать назад. Путина только начиналась. Был март. А в марте рыба в Каспии особенная! Но и море в это время проявляет свой характер, а он у Каспия крутой, суровый...

Вышли мы в море. И вдруг такой шторм поднялся, что баркас наш стало бросать из стороны в сторону, как щепку. На палубе не устоишь — волна с ревом и с огромной силой сметает все на своем пути.

В то время я был молодым рыбаком, ну и растерялся. А это и нужно было разбушевавшимся волнам. Схватили меня в охапку — и за борт. На лице чувствую какую-то тупую боль. — Рыбак провел рукой по тому месту на лице, где был шрам.— Мутит меня, крутит, аж сил нет. А море шумит, бушует, тянет в свои объятия... Вдруг слышу, кто-то неподалеку кричит. Приподнял меня гребень волны, и тут я заметил нашего бригадира, Василия. «Держись, Ибрагим! — кричит. — Держись, дружище!» Вытащил, спас меня тогда Василий, рискуя своей жизнью...

Он на минуту умолк. Окинул еще раз всех взглядом и, опять обращаясь к жадно слушавшим его рассказ ребятам, продолжил:

— Разошлись тогда наши пути-дорожки. Василия положили в больницу, я же подался в город и пошел слесарем на завод. Лет через пять после того случая как-то просматриваю газету и вижу — о Василии пишут. Рыбаков спас. Не выдержал я. Стыдно стало, что спасовал тогда, испугался моря. Вернулся к своим. Вот опять вместе...

— Дядя, извините, пожалуйста... — вдруг разом спросили Петя и Давид. — А где он сейчас, этот бригадир?

— Кто? Василий-то?

Словно очнувшись, он встряхнул головой и, кивнув на рыжеволосого рыбака, добавил:

— Вот он и есть дядя Василий...

В купе установилась неловкая тишина. А поезд шел дальше, и уже не слышна была надоедливая песня колес, словно и поезд, затаив дыхание, слушал этот недолгий рассказ о человеке...

ПОСЕТИТЕЛЬ

Было утро. Едва заведующий районным финансовым отделом вошел в свой кабинет, к нему постучали. Приоткрыв дверь, кто-то заискивающе спросил:

— Можно?

И, не дождавшись ответа, просунул в дверь голову. Показалось лицо с бегающими, как у испуганного зверька, глазами, разделенными длинным носом.

— Здрасьте, — тихо сказал посетитель у порога и медленно пошел к столу.

Заведующий что-то торопливо писал.

— Садитесь, — произнес он, не поднимая головы. Затем внимательно посмотрел на вошедшего и сказал: — Слушаю вас...

— О, извините, пожалуйста. Я вас не потревожил?— вкрадчиво заговорил посетитель, садясь на стул. — Орешков я, фотограф... В селении живу...

Он умолк и с грустью посмотрел на носки своих покрытых грязью кирзовых сапог. Потом протянул какие-то бумаги, завернутые в пожелтевшую газету:

— Хочу получить патент...

Было ему лет сорок. Седеющие волосы топорщились, а пиджак и брюки были помяты и запятнаны. Было видно, что в поисках частной работы этот человек нигде долго не задерживался и, как перелетная птица, часто покидал необжитые гнезда.

Посмотрев документы, заведующий сказал:

— Пройдите к инспектору, я сейчас распоряжусь...

Посетитель встал, положил свои документы во внутренний карман пиджака, но почему-то не тронулся с места. В волнении он мял потертую шляпу, переминаясь с ноги на ногу. Глухо кашлянул в кулак.

— Я ведь сам пришел,—наконец выдавил он из себя. — По-честному. А то как же! Хотя они мне будут мешать.

— Кто «они»? — спросил заведующий и, положив перед собой чистый лист бумаги, приготовился записывать.

— Нет, что вы! Я не потому. Нет, нет, — запротестовал посетитель.

Потом, будто опомнившись, жалко улыбнулся и заговорил:

— Вот ведь дело-то какое... Есть у нас еще фотографы, но знаете, так неудобно. Ох, совесть человеческая... Но ведь я не для себя. Я и так проживу. Я-то по закону. Но любят у нас некоторые закон обходить! А я так понимаю: зачем прятаться, обманывать. Нехорошо ведь, правда? Нехорошо! Вот, к примеру, Михайлов... Хи-хи-хи. — Он, будто в малярийной лихорадке, затрясся, дрожащей рукой полез в карман, вытер грязным платком лицо и продолжал: — Инвалид, с костылем ходит, а все туда же. Народ пошел, а? Фото-

граф... и аппарат такой — иностранный, а прячется... Я так понимаю, у веревочки все равно конец есть. Так лучше прийти, по-честному. Правда ведь, а?

Заведующий слушал и что-то записывал. Посетитель тихо зашептал:

— Ой, знаете, так неудобно. Вы никому не скажете, что я? Я ведь не для себя... Вот другой. Механик совхоза Юлдашев... Хи-хи-хи... Чудак какой-то. Собирает ребят, фотографирует. Говорит, денег не беру. Басни, конечно. Я как-то спрашиваю: ты, чего, Юлдашев, бесплатно? Тихо, мирно спрашиваю. А он глаза выпучил и отвечает: «Подлец ты, говорит, Орешков»... Хи-хи-хи... Не любит правды, поганец. А мне все же мешать будет, вы же понимаете... Если патент... Народ пошел, а?

Заведующий нервно поправил галстук и отложил ручку, а Орешков, пятясь к двери, вкрадчиво извинялся:

— Ой, разболтался я. Вы уж извините, пожалуйста...

Дверь жалобно скрипнула и закрылась...

ЛЕДЕНЦЫ

Моя пятилетняя Маринка очень любит леденцы. Ее маленькие крепкие зубки с треском ломают эти прозрачные конфетки.

И особенно Маринка любит леденцы, когда их нет у нее, а кто-то лакомится ими. В такой момент она теребит меня за рукав и тихо просит: «Я конфетки хочу...»

Так случилось и на этот раз, когда мы с товарищем, два заядлых болельщика, пошли на стадион. До начала матча оставалось несколько минут, а идти в магазин было далеко — нам с ребенком было не успеть. Но нам повезло: рядом стояла ватага ребятишек. Подозвав одного из них, я дал ему монетку и попросил купить леденцов, пообещав ждать его здесь, у входа. Не выражая отказа, мальчик взял деньги и побежал.

Шло время, а мальчика все не было.

— Ну и чудак же ты, — заметил мой товарищ, — мальчик, наверное, где-нибудь сейчас в альчики играет, а мы его ждем...

Я ответил, что он не прав, мальчик обязательно вернется. Несомненно, думал я, его что-то задержало.

Но в этот момент к нам подошел один из той же ватаги и, сощурив глаз, ехидно улыбаясь, спросил:

— Дяденька, вы все еще ждете?

И мальчик, весело гогоча, убежал.

— Ну знаешь что, пошли! — посмотрев на ручные часы, не выдержал мой товарищ. — Ждать уже нет смысла...

Где-то в глубине души я упрекал себя, что не дождался мальчика, который в любую секунду мог подойти, но все же последовал за товарищем.

— Папа, мальчик принесет конфетки? — неожиданно напомнила о себе Маринка...

— Принесет, дочка, принесет, — неуверенно ответил я.

— Я хочу кон-фе-ток.., — стала она хныкать и вырываться у меня из рук. — Папа, пойдем домой...

— Мы тебе купим много леденцов, Мариночка, потерпи малость... — стал успокаивать девочку мой друг и этим вызвал в ней еще больший протест.

Дочка стала тихо плакать и требовать, чтобы мы ушли со стадиона. Нам стоило немалых трудов ее успокоить.

Прошло минут двадцать, захваченные игрой футболистов, мы уже и забыли о своем гонце, как вдруг рядом с нами оказался посланный за конфетами мальчуган. Рукав его рубашки, у самого плеча, был распорот, брюки выпачканы известью.

— Дяденька! — с упреком проговорил он. — Что же вы не подождали? Мне пришлось через забор перелезать... Вот, возьмите, пожалуйста! — И он протянул мне кулек с леденцами.

— Ты? Какой же молодец! — Я притянул его к себе и, как родного, радостно обнял за плечи.

— Принес, принес! — запрыгала Маринка и с благодарностью приняла у мальчика кулечек с леденцами.

ГРЕХОПАДЕНИЕ

В большом дворе многоквартирного коммунального дома, который с годами за счет всевозможных пристроек и времянок сужался и терял былые красоту и раздолье, в маленькой комнатке без удобств жили две

старушки, два Божьих одуванчика, два ангела, два херувима — чистые, как хрусталь, и непорочные, как душа младенца.

Об их фанатичном служении Всевышнему ходили легенды, а вера была той путеводной звездой, которая делала их жизнь счастливой и одухотворенной, помогала преодолевать житейские трудности.

Роптать на судьбу, считали они, — грех, предаваться всевозможным соблазнам — тоже грех, а по отношению к девушкам-невестам были непреклонны, считая целомудрие и чистоту до их замужества неприкосновенной святыней.

Жили они точно так же, как и проповедовали: скромно и скоромно, избегая шумных компаний и пустословие похвал. Не любили соваться в чужую жизнь, но и в свою никого не пускали.

Однажды наши старушки заболели, грипп немилосердно свалил их в постель. Никто во дворе не остался равнодушным к богомолкам, но особую заботу проявил к ним дальний родственник, вихрастый молодой человек, а что касается главного врача участковой больницы, так тот окружил их таким вниманием, что посещал их палату дважды в день.

Вскоре старушки стали выздоравливать, но стал замечать врач произошедшую в них перемену: этакие искорки в глазах, беспричинную веселость, даже жеманность в движениях, и в нем проснулось подозрение.

— Как вы себя чувствуете? — будто невзначай, спросил он как-то старушек.

— Ой, мы просто счастливы, сынок! — весело воскликнули богомолки и стали благодарить врача за скорое выздоровление.

Но подозрение не оставляло врача, и он однажды не выдержал.

— Вы что, выпили? — спросил он одну из них.

— Да ты что, сынок?! — возмутилась богомолка. — Грех даже думать об этом...

— Мы только этот чудный компот и пьем, — весело улыбаясь, сказала другая и показала на стеклянный трехлитровый баллон на подоконнике. — Спасибо нашему «вихрастику»!.. Такой сладкий и вкусный компот, мы и не знали, что такое бывает...

Врач посмотрел на баллон и все понял. На этикетке было написано: «Слива в вине»...

РОДНИК

Дорога сворачивала в небольшой лесок, а исхоженная извилистая тропинка вела к зеленому кряжистому дубу. Стоял он завороженный тихой песней родника, бьющего из-под его корней. Холодная, прозрачная вода родника манила к себе каждого путника. Нас уже опередили. Кто-то, выпив прямо с ладони, говорит:

— Ах! Родник-то какой... Даже на душе легче стало!

Я узнаю его — это молодой тракторист Юсуф из соседнего села. Он смотрит куда-то вдаль, потом тихо объясняет:

— К учителю иду, туда... — Кивком головы в сторону он показывает на стоящий невдалеке домик. — Посоветоваться...

Полюбилась ему приезжая девушка. Год уговаривает старую мать, но она и слышать не желает, есть, мол, и свои невесты...

Вспомнив что-то дорогое, приятное, он просветленно улыбается и добавляет:

— А учитель этот душевный человек. Со всех селений к нему люди идут...

Лицо у Юсуфа широкое, загорелое, чуть с горбинкой нос, тонкие красивые усы, невысокий прямой лоб, глаза черные, добрые...

Я и мои спутники еще долго отдыхали. Солнце уже находилось в зените. За это время у родника побывало несколько путников, но вода в нем не убавилась и не помутнела...

Вдруг кто-то трогает меня за плечо. Это вернулся Юсуф.

— Был у него... Ну, душа человек! — Он весело щелкает пальцами и улыбается. — Делай, говорит, как сердце велит, мать поймет. Сказал — и душу согрел...

Юсуф быстро направляется домой. Идет легко, словно только что с его плеч сняли тяжелый груз.

Мы смотрим ему вслед. Я вспоминаю:

— Ах! Родник-то какой... Даже на душе легче стало!

МАМА

Оставляя за собой одну станицу за другой, автобус двигался к конечному пункту. Мимо проплывали небольшие хутора, вспаханные поля и одинокие старые дубы — живые свидетели лихого прошлого терского казачества.

Стояли последние февральские дни, когда солнце, устав прятаться от уходящей зимы, выплеснуло на землю накопившееся тепло, напоминая и ярким лучом, и набухшими почками яблонь о приближающейся весне.

Автобус остановился. Утомленные пассажиры поотк рывали окна и сразу заговорили кто о чем. У самых дверей сидела молодая черкешенка. Поглядывая в окно, она беспокойно искала кого-то среди стоящих вдоль дороги станичников. В следующую секунду лицо ее осветилось улыбкой, женщина поднялась.

...Тяжело дыша, семеня чуть согнутыми в коленях ногами, к автобусу торопился старик. Женщина, выглянув в открытую дверь и махнув рукой, крикнула:

— Ба-тя! Ба-тя! Я здесь...

— А-а, Лена! Здравствуй, дочка! — еле переводя дыхание, говорил старик. — Чуть было не опоздал, досталось бы мне от старухи. Вот возьми внучке подарки...

— А мама где?

— Э-э-э, полно, дочка. Разве вы, дети, помните о матерях? — И, глубоко вздохнув, добавил: — Приболела она. Телеграмму получила, обрадовалась, тебя ждала, думала зайдешь...

Автобус тронулся. Женщина села на место. В руках она держала связку вкусно пахнущих домашних кренделей и маленькую корзиночку яблок.

Женщина, приняв подарки, с грустью уставилась в окно, провожая взглядом стоявшего на полусогнутых ногах старика.

— Видать, любят старики внучек...—не столько вопросительно, сколько утвердительно сказал сидевший рядом с ней мужчина. — Не забыли...

— Да, не забыли... — в раздумье, как-то рассеянно ответила женщина. — А я вот...

Вдруг она вскочила и громко крикнула:

— Водитель! Остановите, пожалуйста!..

Машина дрогнула, проехав немного, остановилась.

Женщина сошла и быстро направилась к станции. Она торопилась к матери...

СИГНАЛ

На окраине большого города, в районе новостроек, напротив фасада шести многоэтажных домов в два ряда поставили кооперативные гаражи. Затем в проект внесли небольшую поправку, и гаражная застройка приобрела форму буквы «П», а вскоре замкнулась и четвертая ее сторона шлагбаумом и сторожевой будкой.

Каждый вечер к шлагбауму подъезжают на своих машинах члены кооператива, и каждый на свой лад требует впустить в отведенную ему каморку. В ответ радостно тявкает бдительный пес, и вечно сонный сторож поднимает шлагбаум.

Вначале всепоглощающий шум нескольких сот машин, мотоциклов и тявканье шавки вызвали буйный протест машинонеимущих, однако жалобы рассматривать не стали, напомнив жильцам, что с самого начала строительство велось не без их согласия.

Со временем страсти улеглись, люди привыкли к этому утренне-вечернему шуму, как мужья привыкают к сварливым женам, а те, в свою очередь, к мизерной мужниной зарплате. Так уж устроен человек — ко всему привыкает.

И в тот вечер, когда я был в гостях в одной из квартир на восьмом этаже, к шлагбауму стали подъезжать машины, как будто в единое русло вливаются стекающие с гор ручейки. Некоторые владельцы транспорта делали это без излишнего шума, даже без подачи сигнала, лишь у самого въезда чуть прибавляли газ, чтобы разбудить сонного сторожа. Другие легким нажатием на клаксон сигналили лишь один только миг, мол, знай, браток, если бы была возможность тебя предупредить по-иному, я бы этого не сделал.

У одних сигналы были необычные, чужеземно-мелодичные, у других — бесцветно-унылые, отечественные. У одних — задиристо-веселые, у других — скромно-приглушенные. Подъезжали «Волги» и какие-то респектабельные импортные, наши легкие, поворотливые «жигуленки» и всех выпусков и времен «Москвичи».

Предупрежденные владельцы автомашин не только сами старались не шуметь, но и порой усмиряли желавшую поиграть, от безделья расшумевшуюся шавку.

...А этот начал подачу сигнала уже метров с двадцати, да так громогласно, с такой воющей силой, будто это была не одна, а целая кавалькада машин, сопровождающая Его Превосходительство. Невольно возникла мысль, что хозяин ее не рядовой смертный...

Но самой машины было не видать.

— А-а, подкатил деятель! — со смешком заметила хозяйка нашей квартиры. — Ему все нипочем...

— «Кадиллак», наверное? — спросил я. — Небось, завбазой?..

— Не-е-ет!

— Ну тогда «Мерседес»? — снова взыграло мое любопытство. — Завскладом, это уж точно!

— Ишь, чего... — с улыбкой ответила хозяйка.

— Может, солидный директор на «нашей» «Волге»? — не сдавался я.

— Да нет же! — загадочно ответила хозяйка и весело добавила: — Инженеришка на «Запорожце», вот и шумит...

ГОСТЬ

За окном осень. С деревьев падают обреченные листья. Один припал к оконному стеклу, будто просил о помощи, потом оторвался и полетел на землю.

А в большой комнате торговой конторы шумно. Слышится перестук костяшек на счётах, тихие женские и грубоватые мужские голоса.

Не слышно лишь, как отмеривают время стенные ходики.

В узком проходе меж столов стоит сторож конторы дядя Мустафа, неторопливо пересчитывая только что полученную зарплату. Спина у него сутулая, плечи приподняты, движения медлительны. Из-под старой плешивой шапки выглядывает седина. Широкий брезентовый плащ, накинутый поверх ватника, шуршит и распространяет сырой запах моря. Лицо старика бледное, скуластое, в усах словно серая пыль, маленькие глаза спрятаны под густыми серебристыми бровями.

Сосчитав деньги, дядя Мустафа положил их в карман, но потом, вспомнив что-то, вынул их обратно. Снова полез сначала в один карман ватника, затем в другой. Положил на стол завернутые в целлофан фотокарточки, шнурки от ботинок, аккуратный сверток пожелтевших от времени писем.

...Длинную трудную дорогу жизни прошел дядя Мустафа, и эти письма — добрая память о людях, с которыми свела его когда-то судьба. Но те, с кем он работал сейчас, ничего об этом не знали.

Так уж порой бывает: живешь с человеком, кажется, целую вечность, видишься и говоришь с ним ежедневно, а не ведаешь о нем ничего.

Дядя Мустафа еще раз обшарил карманы, задумался и вдруг, будто испугавшись, стал торопливо убирать вещи со стола. Лицо его было угрюмо и сосредоточенно, отчего он казался хмурым и нелюдимым.

Работники конторы, не отрываясь от дела, искоса поглядывали на старика. А учетчица Фатьма, милая чернушка, с ехидцей спросила:

— Дядя Мустафа, вы что-нибудь ищете? Мы уже, грешным делом, подумали, не потеряли ли вы все свое богатство?

Все улыбнулись. А кто-то даже рассмеялся. По всему было видно, что не впервой подначивали конторщики молчаливого старика.

Старик нахмурился и положил широкую ладонь на плечо девушки:

— Ты, Фатьма, молода еще... — И ушел.

Все вернулись к прерванным делам, словно и не было здесь дяди Мустафы.

Рабочий день подходил к концу.

— Рамазан Гаджиевич! — вдруг обратилась к главному бухгалтеру товаровед, полная женщина средних лет. — Надо бы нашего гостя устроить на ночлег, а в гостинице мест нет.

— Какого гостя? — спросил главбух.

— Как какого? Инженера по холодильникам...

— Ах, да-а... — Рамазан Гаджиевич задумался. — У меня в городе квартиры нет... Может, ты его возьмешь?

— Я уже думала, да вот беда — ко мне приехал брат с семьей.

— Что же делать?.. Ну-ка, попробую позвонить в

гостиницу, у меня там есть знакомый товарищ. — Рамазан Гаджиевич поднял трубку и попросил гостиницу.— Гостиница? Мамедов? Салам, Рамазан говорит. Слушай, к нам инженер приехал, помоги устроить. Что? Ничего нет? А может, через «ничего», а? Сам знаешь, в долгу не останусь. Да-а... Ну ладно, пока.

Он обвел всех вопросительным взглядом, как бы прося найти выход.

— Света, может, ты, а?

Девушка покраснела:

— Тоже скажете. Я же одна...

— Ну и что же. Он молодой, симпатичный, можно и замуж выйти, — пошутил главбух, чем еще больше смутил девушку.

...Опустив голову, будто все, о чем здесь говорили, ее не касалось, Фатьма продолжала работу. Все знали, что она с матерью живет рядом.

— Как жаль, но и я не могу, — не дожидаясь, когда ее спросят, вдруг сказала она. — Неудобно как-то. Что люди скажут?

— Да-а... — невесело протянул главбух. — Что же, на улице оставлять его?

В это время в комнату быстро вошел шофер конторы и уже с порога спросил:

— Вы едете, Рамазан Гаджиевич? Дождь собирается.

— Поехать-то надо, да вот куда гостя устроить...

— Какого гостя? — не понял шофер.

— Да инженера...

— Так его дядя Мустафа к себе пригласил, только что они ушли, — ответил шофер.

В комнате установилась тишина. Лишь громко, как возвращенное к жизни сердце, стучали настенные ходики: тик-так, тик-так...

ХОЗЯЙКА ГОРОДА

Давным-давно, когда не было на свете ни тебя, ни меня, и наших дедушек и бабушек еще не было, жила в нашем старом Дербенте прославленная женщина Туту-бике.

Гордо и неприступно стояли на пути непрошеных

гостей северная и южная стены, только для людей с добрыми намерениями открывались двенадцать городских ворот. А на вершине горы, как бы связывая в узел могучие стены, стояла крепость Нарын-Кала. В этой крепости и жила хозяйка города Туту-бике, храбрая и мужественная женщина.

Больше всего на свете она любила свою родину — Дербент. За родину она готова была отдать и богатство, и счастье, и даже собственную жизнь. Но только одним она не могла поступиться даже для любимой родины — это своей совестью. Честность, прямоту и чистую совесть она почитала выше всего и этого требовала от других.

Однажды, воспользовавшись отсутствием в городе военачальника, северные варварские племена напали на город. Большая опасность нависла над ним, над его жителями. Смерть и разрушение несли с собой многотысячные войска варваров.

И тогда в трудный для родины час оборону города возглавила Туту-бике. По ее зову вооруженные отряды заняли свои места на крепостных стенах и бойницах, на защиту города встали и его жители. И там, где труднее всего, там с саблей в руках оказывалась Туту-бике. Да и народ города был боевой, храбрый и сдаваться без боя, отдавать задешево свою жизнь и свободу не хотел. И варвары, как ни бились, ничего не могли с ним поделать.

Много сотен варваров полегло в этой битве. Были жертвы и у дербентцев, среди них два юных сына Туту-бике — Ахмедхан и Шихалихан.

А в стане варваров находился в это время Гамзат— родственник Туту-бике. Это по его наущению вождь варваров решил напасть на город, это он обольстил его богатыми посулами.

И когда Гамзат понял, что затея его провалилась, что город взять не удастся, он решил схитрить: тайком темной ночью он пробрался к Шуринским воротам и умолил стражу пропустить его к госпоже.

— Что тебе, странный человек, жить надоело? — спросил начальник караула, вызванный стражей. — Как ты сюда попал?!

— Веди меня к Туту-бике , я принес для нее важные вести, — сказал Гамзат.

И нукеры повели Гамзата к Туту-бике.

Туту-бике в это время, незаметно от людей, оплакивала своих погибших сыновей. Она была матерью.

Когда к ней ввели Гамзата и он протянул ей сверток, она спросила:

— Что это такое?

Гамзат поклонился ей и ответил:

— Сестра моя, я виноват перед тобой, но решил искупить свою вину. В этом свертке план расположения войск варваров, их можно окружить и уничтожить.

Гамзат думал, что Туту-бике кинется его благодарить, забудет о его предательстве.

Но Туту-бике выслушала его молча, нахмурилась и долго не отвечала. Потом повернулась к своим нукерам и сказала:

— Свяжите этого жалкого труса.

Нукеры кинулись исполнять ее приказание.

Гамзат побледнел и, обращаясь к Туту-бике, стал кричать:

— Что ты делаешь, сестра моя? Ты меня не поняла!

— Теперь привяжите ему к шее этот сверток, а самого — к молодому ослу и гоните прочь...

Она повернулась к своим воинам и сказала им:

— Помните, друзья мои, если вам придется и в будущем воевать с сильным и мужественным врагом, надо всегда и во всех случаях полагаться на собственные силы, а не на бесчестие и предательство других.

Когда вожди варваров узнали о том, какую злую игру хотел сыграть с ними Гамзат и какое мужество и справедливость проявила при этом Туту-бике, они собрали совет и постановили: оставить город в покое и вернуться назад.

Добро и справедливость восторжествовали.

Туту-бике и двое ее сыновей похоронены на кладбище Кирхляр, слава же о храброй и мудрой женщине живет и поныне.

СТРАЖ

Светлый вместительный перрон железнодорожного вокзала был переполнен: старые и малые спали на рюкзаках и всевозможной поклаже, потерявшие терпение мужчины бегали от справочной к дежурному по вокза-

лу, ибо понять хриплый голос из репродуктора о времени подачи и отправления поездов было невозможно, а женщины, примостившись на краешки чемоданов, усталым взглядом ждали возвращения ушедших на поиски сведений мужей.

Отправление многих поездов задерживалось.

Были предпраздничные дни — люди хотели поспеть на праздник домой. За сотни и тысячи километров приехали они в столицу, чтобы купить детям одежонку, да и самим приодеться, да харчей набрать на недельку-другую... Пустые полки своих магазинов и невозможность истратить заработанные деньги гнали их в далекое «путешествие». Всеобщий дефицит изменил облик страны, превратив некогда оседлый люд в кочующие орды.

Наконец после пяти часов ожидания подали поезд. Уже через двадцать минут, когда поезд тронулся в путь, в нашем вагоне установилась непонятная тишина, словно не было во время посадки суетливых выкриков, беготни и сутолоки, наскоков и взаимных обид. Видно, устал народ от вечной суеты, поисков и ожиданий, от всего устал...

Поскольку вместо середины дня поезд подали к вечеру, уже через час многие пассажиры легли отдыхать. Однако вскоре дремотную тишину и мерный перестук колес прервала песня — в соседнем купе запели женщины. Пели негромко, вполголоса, но хорошо, задушевно, вспоминая забытые нынче песни из кинофильмов. Лились голоса, как ручейки с гор, напевно, с волнением, наполняя сердца сладостной истомой воспоминаний...

Вагон замер, прекратились даже редкие разговоры, исчезли обрывки фраз — все молча слушали негромкое пение. Но вдруг эту песенную тишину нарушил резкий стук, дверь к девчатам отворилась, и возмущенный мужской голос произнес:

— Чего вы распылись... на высь вагон?..

— А что такое? — непонимающе спросили девчата.

— Нашлы вримя, на высь вагон, людить отдыхають.

— Так время-то... еще светло, да и поем мы тихо...

— Ну и шо, пыйти для сыбя! — будто приказал пассажир и ушел в свое купе.

Поющие умолкли, словно песенную птицу подстрелили на лету...

Несколько минут я лежал подавленный, будто не песне заткнули рот, а тяжелой глыбой навалились на меня, отчего стало трудно дышать. Я спустился с верхней полки, надел шлепанцы, вышел в коридор и направился на поиски нашего стража.

Дверь его купе была открыта, пассажиры из него вышли в коридор, а тот, кто минуту назад взывал к тишине, как ни в чем не бывало лежал на своем месте и... храпел на весь вагон.

ЗЛОУМЫШЛЕННИК

Кто сказал, какой доморощенный эскулап мог открыть ему страшную тайну о его неизлечимой болезни — так и осталось тайной. Однако встретил он это известие спокойно, без надрыва, можно даже сказать, с какой-то веселостью, философской раскрепощенностью, словно мучимый угрызениями совести, выпустил на волю запертого в клетке орла.

Было ему лет шестьдесят, роста среднего, сутуловатый — не минула и его профессиональная сгорбленность, голова для такого роста казалась чуточку большой, лицо светлое, губы бантиком, глаза большие, круглые, слегка навыкат, отчего взгляд его казался удивленным, по-детски наивным. Если не считать небольшой деформации спины, никто бы не угадал его профессии. Могли предположить, что он учитель, работник прилавка, даже артист эстрады, ибо обладал он веселым нравом, любил шутки, не прочь был и пофилософствовать с этакой претензией на серьезность, однако все непременно сводилось к какой-либо шутке. А оказался он бухгалтером, представителем той «копошащейся» категории людей, которые целыми днями передвигают костяшки счётов, крутят ручки арифмометров, в лучшем случае нажимают на клавиши счетных машинок — нудно, скрупулезно считают и пересчитывают, приводят бумажный поток нашего хозяйствования в тот необходимый порядок, о котором со всех стен кричат лозунги.

Короче, пятый больной нашей палаты был человеком неординарным и самое главное — нескучным.

Он внес в нашу размеренную жизнь этакий элемент аритмии, диссонанса, неприкрытого жизнелюбия, прямого нарушения того неподвижного покоя, к которому мы в больнице привыкли и который считаем в порядке вещей. Мало того, к запахам хлорки, карболки и прочей «больничной братии», вопреки здравому смыслу, он прибавил в палату еще один запах, кощунственный, такой непривычный здесь запах водки — едва уловимый, тайный, словно запретный плод.

Приносили ее разные люди и в разное время, но в удивительно одинаковых бумажных пакетах, которые до шестьдесят первого года продавали на базаре за тридцать копеек, а сегодня всего лишь за двадцать. И всегда рядом с бутылкой, будто примостившись к ней, лежала вареная или зажаренная в духовке курочка. От нас, своих товарищей по палате, он ничего не прятал, лишь заговорщически улыбался, легкой, беззвучной, словно боялся кого разбудить, походкой приближался и клал свой пакет на стол, так же легко возвращался и ножкой стула запирал дверь, быстро мыл и расставлял стаканы, разливал водку, ею же дезинфицировал руки и быстро, умеючи разламывал курицу. Делал он это мастерски, ел аппетитно, искусно обгладывая каждую косточку, чем вдохновлял и нас.

В последний день он был особенно веселым, смеялся, напевал песни, как человек с чувством исполненного долга, продолжительно и сердечно жал руку посетившему его другу, расспрашивал о семье, детях и одухотворенно замолк, когда тот ушел.

Но, как всегда, тайное становится явным, в скором времени наш «злоумышленник» был раскрыт. И случилось это так. Чуткий нос врача при обходе не раз улавливал в палате непривычный для этого места, но удивительно знакомый запах, искал глазами порожнюю посуду, расспрашивал нянек-санитарок, медицинских сестер, однако расспросить об этом больных не решался.

Тем не менее в этот раз он без размышлений стал ревизовать содержимое тумбочек, шкафа, заглядывал под подушки и ахнул от неожиданности, приподняв матрац бухгалтера. Там одна к другой, словно сторуб-

левки в сундуке известного дербентского богача, лежали пустые бутылки.

— Не сердись, дорогой, — тут же нашелся наш бухгалтер и убежденно заявил: — Все, завтра выписываюсь, больше не принесут...

— Как? — ничего не понял врач.

— А так, — так же убежденно ответил бухгалтер и протянул ему список. — Вот, посмотри, здесь все мои друзья, дорогие мне люди... За то время, пока я здесь, они все у меня были, последний с бутылкой и курицей пришел вчера... Делать мне здесь больше нечего...

Он радостно улыбнулся и с еще большей убежденностью добавил:

— Ты знаешь, доктор, я рад, что не ошибся в них, так трудно ошибиться в близких...

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ

Захотел один человек прославиться. Что ж, ничего в этом как будто плохого нет, если он трудолюбив и талантлив, если дела его приносят людям радость и пользу. Как говорится, трудом славен человек. Но в том-то и дело, что подобных качеств в этом человеке не было, если не считать великого желания прославиться и хитрости чрезмерной.

А тут подвернулся случай... Назначили его главным «коньячным» мастером коньячного комбината одного городка на Тереке. Было это сразу после войны. Всего недостает, кругом разруха, все не ладится, а здесь, на комбинате, такие коньяки стали производить, что все ахают от удовольствия да славят «коньячного» мастера. Из городка в область, а там еще дальше—до самой столицы страны — дошла слава об этом комбинате и его главном мастере.

Прослышали об этом, говорят, в самых верхах, лично товарищ Микоян заинтересовался этим коньяком и пригласил к себе «коньячного» мастера. Шуму-то было... на всю страну. Еще бы, слава-то какая!

Собрался наш герой в дорогу. Директор дает ему поручения: непременно попросить дубовой клепки, без чего и коньяков быть не может, да денег на восстановление комбината — все же война рядом ходила, да ем-

костей, желательно дубовых, а нет, так хотя бы пару десятков цистерн, покрытых изнутри эмалью, а еще строительных материалов на жилье — в бараках спят люди, надо и им помочь.

А о поручениях жены, родственников и знакомых и говорить трудно — полный короб.

Взял наш мастер несколько бутылок своего прославленного напитка, правда, без этикеток (комбинат розливом коньяка не занимался, а изготавливал, хранил и реализовывал в бочках), и поехал в столицу. Принял его, рассказывают, Микоян очень радушно, попробовал угощение, отчего пришел в восторг — видно, был он большой знаток этого божественного напитка, расспросил о делах, о масштабах производства, а потом, хотя и было трудное время, удовлетворил почти все производственные заявки, да настолько понравилась ему деловитость нашего героя, что повысил ему зарплату более чем в два раза. И получилось в результате, что он с того времени стал получать зарплату выше директорской.

Ну тут, как говорится, прения излишни — так решило правительство! Правда, при этом была высказана просьба выслать в адрес одного из заводов Москвы двести декалитров этого коньяка.

Сказано — сделано. О нашем «коньячном» мастере стали писать в газетах, говорить по радио, его избирали в президиумы всевозможных совещаний, а потом — в депутаты области. Что и говорить, он не успевал за своей славой, и уже поговаривали, что в скором времени его назначат... Чего только не говорили! Однако через некоторое время из Москвы пришла телеграмма с заданием выслать еще тысячу декалитров коньяка...

Вначале это привело нашего героя в некоторое замешательство, однако по указанному адресу коньяк был выслан снова. Но в Москве были, мягко сказать, шокированы. Новая партия коньяка оказалась совсем не тем, на что рассчитывали, даже не коньяком, а каким-то суррогатом. Молва шла о том, что на каком-то дипломатическом приеме произошел конфуз...

И вскоре все выяснилось. Дело оказалось в том, что, в то время как гитлеровские полчища рвались к Тереку, было принято решение вывезти с комбината коньячные спирты, а потом, когда враг оказался совсем близко, эвакуировали и рабочих. Вывезли с комбината почти

все, если не считать нескольких сот пустых дубовых бочек, часть из которых сгорела потом при пожаре. Осталась еще надежда эвакуированных вскоре вернуться домой. А к этой надежде прибавилась маленькая хитрость рабочих комбината, которые среди свалки пустых бочек оставили несколько полных бочек молодых коньячных спиртов. В спешке и суматохе эвакуации эти бочки были забыты.

Когда фашистов отогнали прочь, судьба этим добром распорядилась по-своему. Эвакуированные в свое время рабочие, особенно те, которые знали об этом секрете, или погибли, или не вернулись обратно. А вновь назначенный на комбинат главный «коньячный» мастер их обнаружил и скрыл. Содержимое бочек, которые пролежали под открытым небом более двух лет, под дождем и ветром, под палящим солнцем, прошло «природную» технологическую обработку, короче, природа сама создала шедевр — великолепный коньяк.

А поскольку наш герой, кроме большого желания прославиться, ничем не обладал, его кратковременный триумф и лопнул как мыльный пузырь.

ЗАЙЧИК

Глава сельсовета уведомил налоговую инспекцию, что бывший тракторист колхоза, некий Саламат, не сеет и не пашет нынче, а страсть как к строительному делу приохотился, мол, строит-де дома большие да каменные и доход немалый загребает, а чтобы налогов не платить, утаивает это, скряга окаянный. А дабы проучить жадюгу этого, вывести этого самого Саламата на чистую воду и налог с него взыскать в двойном размере (со штрафом, значит), предлагалось срочно командировать в село инспектора, ибо как раз в эти дни тот-де строит дом главе колхоза.

Инспектор добрался до села в конце воскресного дня, когда дневное светило, совершив привычный обход, возвращалось к месту своего заката. После жаркого дня это время прохлады и удовольствия: как говорится, не день, не ночь, и даже не сумерки, а райское время суток. Вот в такие часы и любят работать строители на селе, когда и дело спорится, и оно в радость.

Строительство дома главы колхоза шло скоро. Двое

парней бойко помогали мастеру, да и сам хозяин не чурался работы, засучив рукава и надев фартук, он таскал по лесам тяжелые пиленые кубики известняка, подшучивая при этом над своим непомерно выросшим животом. Судя по потным и усталым лицам, по серой каменной пыли на темном пушке их груди, можно было догадаться, что, не посчитавшись с жарой, они сегодня работали и днем.

— А-а, к нам инспектор пожаловал, — заметив налоговика, улыбнувшись, сказал хозяин, потом устало положил камень в ряд и решительно добавил: — Милости просим, как раз к задержавшемуся обеду. Все, ребята, шабаш!..

— Обедать так обедать, — откладывая в сторону мастерок и перчатки, устало сказал мастер, высокого роста детина. Большая бычья голова на толстой крепкой шее не соответствовала узкому его лбу и хитрым бегающим глазам. — И никакого налога, инспектор, с меня не возьмешь... Денег за работу я не беру, делаю это по доброте души, как говорится, от всего сердца. Так или нет, хозяин?

Глава колхоза на какую-то секунду растерялся от неожиданности, потом нашелся и, опустив голову, словно был занят сервировкой стола, ответил:

— Да, конечно, о чем речь... наш Саламат добрейший парень. Вот и эти двое — мои племянники, на помощь пришли, у нас в селе заведено так — все друг другу помогают...

Под лохматым тутовником заботливой хозяйкой был накрыт стол: пышущие жаром куски баранины от хинкала, тонкий лаваш с насечкой, овечий сыр домашнего изготовления, зелень, свежие помидоры да приправы разные, водка да сухое вино в бутылях.

— Садитесь, дорогие, прошу вас, — пригласил всех хозяин за стол и сам приступил к трапезе. — Ты, Саламат, прямо быка за рога, — наливая ему водку, улыбаясь, говорил хозяин. — Дай инспектору опомниться, нельзя же так...

— Знаю я, — снова заговорил Саламат, — вылив в себя полстакана водки, — видно, опять этот «слуга народа» настрочил... Ну, казалось бы, чего надо-то: я ему все по-хорошему, по-людски, а он... — При этом он так зажал пальцы в огромный кулак, аж кости хрустнули...— Да, помогаю, строю людям дома, можно сказать, за

бесплатно. Что в этом плохого? — Узкие, хитрые глаза его при этом еще больше сузились. — Не буржуям разным, не капиталистам, а своим доброе дело делаю, я вообще от природы добряк. Так или нет, хозяин?..

Он улыбнулся, вылил в себя водку, жадно закусил бараниной и, не дождавшись ответа, продолжал:

— В прошлом году приключился со мной такой интересный случай... Завершаю, значит, весеннюю пахоту — под овощи, как вдруг под гусеницы моего трактора лезет маленький такой зайчонок. Ах ты, думаю, Божий дар, дитя неразумное, куда же ты лезешь или тебе жить надоело?..

— Ты кушай, Саламат, кушай... — посоветовал ему хозяин, — успеешь, расскажешь еще...

— Обидно, понимаешь, когда тебя ни за что травят... — снова, выпив и закусив, сказал он с таким простодушием и сердечностью, что инспектор вдруг засомневался в правоте заявителя. Однако через несколько секунд мастер вдруг спохватился и продолжил свой рассказ: — Да, а дальше вот что было. Остановил я трактор, уже вечерело, поймал зайчонка, а он прямо дрожит у меня в руке от страха, положил его за пазуху и домой. А дома накрошил ему капустки, морковь пропустил через мясорубку, и что удивительно, ни у кого ничего не берет, а у меня прямо с ладони ест. И так каждый день, ждет меня, как Бога. И как только я на порог дома, так мой зайчонок сразу бросается ко мне, лижет мне пальцы, ест даже из рук, прямо дитя малое.

— Надо же... — недоверчиво сказал один из его помощников. — Я-то думал, что зайцы вообще к человеку боятся прикасаться...

— Вот, вот, — подхватил разговор Саламат. — Все мои домочадцы жалуются, что зайчонок никого к себе не подпускает, а ко мне прямо душой прилип. Чует, подлец, доброту-то... они, звери, хорошего человека за версту видят. Так и растет мой зайчик. А тут, как на грех, меня пригласил на строительство дома твой сват, ну, как это, из Ухтов. Так или нет, хозяин? — Он вопросительно посмотрел на главу колхоза и, прихватив со стола почти целый пучок зелени, скомкал его, положил в рот и стал жевать.

— А-а, да, да, помню, ты ему тоже так месяца два... помогал, — улыбаясь, то ли от выпитого, то ли от какой-то тайной мысли, ответил хозяин.

— Точно, — дожевав зелень, продолжал мастер, — пробыл я в Ухтах два месяца и, возвратившись, не узнаю своего зайчонка. Вырос-то как, прямо барашек целый. Однако смотрит на меня недовольно, близко не подходит, короче, явно выражает обиду: мол, где это ты так долго пропадал... А когда я взял его на руки, ты бы слышал, как он начал кричать, капризничать, поцарапал меня всего, а потом как куснет за палец, аж кровь пошла! Обозлился я, ах ты, думаю, Божий дар, ты что же меня, своего спасителя? Взял я его за голову и свернул ему шею...

МАНДАРИНЫ

В большом светлом холле детской больницы маленького южного городка, прильнув носом к широкому оконному стеклу, в серой больничной пижаме, почесывая пальцами одной ноги другую, стоит в задумчивости двенадцатилетний Сабир. Он тоскливо смотрит на улицу, где городские мальчишки, бросив в кучу портфели и сумки, шумно и увлеченно играют в альчики.

Уже месяц как привезли его из аула сюда и ему здесь все жутко надоело. Хотелось сейчас туда, на улицу, а еще лучше — к аульским друзьям, поиграть в лапту, в чехарду или хотя бы в те же альчики, сбегать в цветущую нынче родную долину, к голубому озеру, где вода всегда чистая и холодная, питающаяся из невидимого родника, да куда угодно, только бы уйти из этой, хотя и залитой ярким солнечным светом, но все же наглухо закрытой больничной палаты.

Еще неделю назад врач с такими же, как у покойной матери, добрыми и ласковыми глазами, сказала Сабиру, что он уже, слава Богу, здоров и, мол, в скором времени за ним приедет отец — в аул дали телеграмму.

А его все нет. Сабир догадывается, что отец, шофер автобазы, наверное, опять в командировке и потому не сумел сразу за ним приехать. Такое с ним случается часто: пустые сельские магазины ждут подвоза товаров со складов, вот он и мотается из аула в аул, порой неделями не возвращаясь домой.

Он привык к долгим отлучкам отца и потому многое научился делать сам. Правда, соседские женщины пос-

ле неожиданной смерти матери не оставляют его без внимания: то обед приготовят, то одежонку постирают, да и по хозяйству, когда надо, помогут. И как будто все нормально: мальчик растет, одет, обут, слава Богу, не голоден. Но за внешним этим благополучием нельзя было не видеть, что в сравнении со сверстниками Сабир был ниже всех ростом, часто болел, что клочок земли у дома неестественно облысел, гроздья на виноградных лозах рождались теперь не полными и сочными, как прежде, а мелкими и жухлыми сережками, даже вода в колодце незаметно стала терять свой прежний вкус. Да и каким может быть хозяйство, когда полагаются на помощь других, лишенное заботливых рук самого хозяина...

Неожиданно где-то в середине дня открылась дверь и в приемную вошел, даже не вошел, а как-то осторожно, будто боялся наступить на что-то, перешагнул порог слегка сутулый, медленный в движениях, грузный для своего сравнительно небольшого возраста, в сапогах и измятом на спине пиджаке, небритый мужчина. В одной руке он держал телеграмму, а в другой сетку с мандаринами, яблоками и кульком конфет.

— Ой! — воскликнула от неожиданности дежурная врач. — Вы отец Сабирчика?

— Да! — глухо кашлянув в кулак, ответил мужчина и, виновато опустив голову, спросил: — А где он?

— Сейчас... сейчас я его позову, — сказала она и пошла за мальчиком, потом, повернувшись к посетителю, добавила: — Он вас давно ждет...

Сабир бежал навстречу отцу, выражая восторг. Глаза его радостно блестели.

— Отец, ты приехал! — обнимая и целуя отца, говорил мальчик. — Я так думал, что ты скоро приедешь...

Отец высвободился из объятий сына и протянул ему сетку с фруктами.

— Ой! — воскликнул мальчик. — Мои любимые мандарины! Сейчас я оденусь и выйду, мне сказали, что я уже здоров, — кивком показав на стоявшую рядом врача, добавил он.

— Ты подожди, сынок, — виновато пряча глаза, сказал мужчина. — Я сейчас не могу... я за тобой завтра приеду...

— Как? — не понял Сабир. — Я уже здоров, отец, домой хочу...

— Там, на улице, груженая машина... — словно умоляя сына понять и повременить, говорил отец. — Отвезу в один горный аул и вернусь. Не сердись, сын, ты же у меня терпеливый...

Он как-то неловко опустился на корточки, обнял мальчонку и тесно прижал его к своей груди. А когда почувствовал его всхлипы, угрюмо добавил:

— Ну-ну... не хнычь, брат, ты же у меня джигит...

Мужчина поднялся во весь рост, широкой, пропахшей бензином и маслом ладонью погладил сына по голове, виновато посмотрел на врача, развел руками, мол, ничего не поделаешь — работа, и твердо сказал:

— Мне пора. Завтра, Бог даст, в это же время буду. До свидания, сын. — Он поцеловал мальчика в лоб и также медленно, медвежьей походкой вышел из приемной.

Мальчик тоскливым взглядом проводил отца, потом его машину, а затем повернулся и безучастно направился в свою палату, таща за собой сетку, из которой высыпались и катились по коридору его любимые мандарины...

ЯНТАРНЫЕ ГРОЗДЬЯ

Хрустит под ногами просохшая за ночь песчаная корка. Хруп... хруп... Утро улыбается мне зарей, только что рожденной Каспием.

Вот ее лучи скользнули по берегу, по серебристой ленте железной дороги и заиграли в янтарных гроздьях виноградных плантаций.

Невольно думаю, почему даже на одной лозе гроздья, как и люди в одной семье, разные, хотя солнце, как справедливая мать, равно одаривает каждую?..

* * *

Тревожно заголосив, прошел поезд, разбудив утреннюю тишину. Впереди показалась рослая мужская фигура. Шел он неторопливой, но уверенной походкой, как человек, который давно уже знает, куда он идет и что будет делать.

Мы поравнялись. Это был пожилой мужчина. В глубоких морщинах лицо. Удивительно живые глаза. Из-под промасленной кепки серебрились сединой виски.

— Доброе утро, дедушка!

Он с любопытством посмотрел на меня и ответил:

— Здравствуй, сынок!

— Куда вы в такую рань?

— На работу. — И, глубоко вздохнув, повторил: — На работу...

Затем, будто изучая, внимательно глядел на меня и продолжал:

— А ведь на пенсию меня проводили, с почестями... Месяц сидел дома, все дела по хозяйству сделал, потом без работы оказался. Всю жизнь со старухой в мире прожил, а тут — на тебе, поругался... от безделья. Ну, думаю, старик, хватит: не тебе на печи сидеть и кости греть, не из того теста слеплен, надо идти на работу... Вот теперь опять хожу...

И, спохватившись, добавил:

— Ну вот я и дошел...

Мы попрощались. И неожиданно, широко переступая через рельсы, старик бодро зашагал дальше. Спина у него была сутулая, но шагал он привычно и легко, как человек, который немало прошел по земле. И немало пройдет...

* * *

...Недалеко от контрольного пункта колхоза я заметил две фигуры: мужчину и мальчика, с мешками. Шли они быстро, будто их кто подгонял, а из мешков капала жидкость, оставляя след.

Я хотел было пройти мимо, но, увидев лицо мальчика, страдальческое выражение его глаз, остановился.

— Дай мешок, я помогу. Из сада? — спросил я.

— Да, винограду тут набрали, подзаработать надо...

— И не боитесь? Вас же поймать могут.

— Конечно, могут... — сплюнув, проговорил мужчина. — Караульщиков много стало. Стараются...

Он тяжело закряхтел, подбросил мешок и ускорил шаг.

Меня передернуло. Я опустил груз и сказал:

— Дальше не понесу!

— Ты что, устал? Да я тебе заплачу... — Мужчина

залез в карман, вынул пачку замусоленных денег и протянул мне измятый рубль.

— Неси сам! — твердо сказал я.

— Вот тебе на... — в недоумении остановился он, пряча в карман рубль. — Ты хоть ребенка пожалей, трудно ему...

Со злостью взвалил мешок на плечо: «Ишь, заботливый какой!»

Минут пять шли молча.

— Теперь близко, — тихо проговорил мальчик и взял у меня мешок. — Спасибо.

На меня глянули его не по-детски грустные глаза...

* * *

Рядом со мной быстро шагал молодой железнодорожник, а впереди семенила сухая как жердь старушка. Она шла с базара. Ей было тяжело нести свою поклажу, и она перекладывала свою ношу из одной руки в другую.

— Разрешите, бабушка, я вам помогу, — услышал я неожиданно.

— Да что ты, сынок...

Железнодорожник взял у старушки сумку и пошел рядом.

Шли молча.

Она потянулась к сумке:

— Вот я и...

— Ничего, я вас доведу...

— Что вы! Лишнее беспокойство вам... Спасибо, сынок!

Старушка попрощалась, взяла сумку и проворно зашагала к дому.

— Знакомая? — спросил я железнодорожника, прикуривая сигарету.

— Соседка...

— Видать, добрая...

— У-у... ведьма, — весело добавил он.

* * *

День шел к концу. Где-то за старой крепостью устало пряталось солнце. Оно отслужило смену.

ГЕНИЙ

Не знаю, какая мысль точила его сознание, будоражила его утомленный мозг, но он тихо, даже не шепотом, одними только губами, кого-то в чем-то убеждал, доказывал, будто в этом и был заключен весь смысл его жизни. При этом лицо его постоянно менялось: то его корежили уродливые гримасы, то становилось похожим на лик Христа, постигшего великую тайну бытия.

Потом, утомившись, он оглядывался и тихо хихикал.

На этот раз, когда он подошел к скамейке, там уже сидели: бывший учитель математики — пенсионер Ошир, сосед по двору, молчаливый бухгалтер Аслан и шапочник Бобо — прямодушный, ворчливый старик, считавший, что жизнь оказалась для него не ласковой матерью, а злой мачехой.

— Хи-хи-хи, — усевшись к этой тройке, захихикал он и сказал: — Ты знаешь, Ошир, я хочу умереть...

— Умереть? — будто продолжая давно начатый разговор, переспросил Ошир и улыбнулся. — Ну это дело простое, брат. Привяжи к шее камень и кидайся в море, тут тебе и каюк...

— Хи-хи-хи... не-е-т, — смеясь, возразил он, — так я не умру... голова вниз, а ноги вверх... не-е-т...

— Ну, тогда прими яд, — подмигнув товарищам, предложил Аслан.

— Хи-хи-хи... — снова захихикал он, направив куда-то тупой, бессмысленный взгляд.—Так я не умру, не-е-т, внутри все сгорит, а я останусь живым. Так не умирают... хи-хи...

Рядом стоит телеграфный столб. Его врыли сегодня. На нем нет еще даже скоб и изоляторов. Прямой, ровный, он напоминает выросший из земли гвоздь.

— Вот, повесься на этом столбе! — деловито говорит Бобо, будто предлагает ему только что сшитую шапку.

Он повернулся вдруг к старому шапочнику и посмотрел на него ясными, просветленными глазами, будто с них сняли черную повязку, закрывавшую от него мир. В них были какой-то удивительный блеск, человеческая мысль — взгляд гения, который вот сейчас, сию минуту, сделал величайшее открытие. На старика Бобо

смотрели глаза поэта, нашедшего в этот миг меткое слово или нужный образ.

— Разве можно на прямом столбе повеситься? — только и спросил он.

УТЕС

У подножья горы, в оцепенении, стоит на коленях почерневший от времени утес. Глубокие морщины прорезала жизнь на его каменистом теле. Напоминает он молящего о прощении безутешного грешника, стыдливо опустившего голову, без папахи — извечного символа гордости.

Что же произошло? Какая сила заставила его преклонить колени и молить о прощении гору?

...Наверное, этот же утес, изуродованный сейчас временем, некогда стоял здесь во всем своем величии, молодой и порывистый, устремив острие своей гранитной вершины ввысь. Смеялся, видно, утес над тупым гребнем горы, едко издевался над ее верблюжьей неуклюжестью, над извилинами ее седых вершин.

Молчала гора — сильные всегда терпеливы.

...Налетали ветры, пощечиной били дожди: время сбило с утеса папаху, а потом вцепилось острыми зубами лихолетий в его отвесную грудь и спину, нанося им глубокие раны.

Боролся утес, дитя природы, не принимая ничего всерьез, считая все случайностью, дерзостью судьбы.

А жизнь... жизнь делала свое, оставляя на нем змеиные борозды морщин. Ибо мудрость — это не порыв в высоту, и даже не морщины впоследствии, а извилины.

СЛОВАРЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН, ТЕРМИНОВ, ОБИХОДНОЙ ЛЕКСИКИ

А б а с и — серебряная монета в древнем Иране и Закавказье.

А в д а л (тат.) — в давние времена так называли отшельников, а в настоящее время — неряшливых, неухоженных людей, по каким-либо причинам сторонящихся общения с другими, любящих одиночество и т. д. Иногда это прозвище становится нарицательным.

А д а т — обычное право, совокупность обычаев, которыми руководствуются народы Кавказа и Средней Азии в своей повседневной жизни.

А з а н — утренний и вечерний призыв муэдзина к молитве.

А к с а к а л — белобородый почтенный старик.

А л б а н и я (Кавказская) — древнее государство союза (в т. ч. каспийских) племен в Восточном Закавказье.

А л б и с *(тат.)* — дьявол, сатана.

А л ь ч и к и — бабки, мелкие бараньи косточки, которыми играют горские дети.

А р б а — двух- или четырехколесная телега на Кавказе.

А р а б а ч и — тот, кто управляет арбой.

А т а — отец.

А ш у г — певец, поэт.

Б а л х — богатая провинция древнего Афганистана.

Б е к — властитель, господин. В средние века у народов Закавказья и Дагестана — феодал-землевладелец.

Б е ш — лесной хворост.

Б е ш ч и — *(тат.)* — тот, кто собирает хворост.

Б е ш м е т — верхняя распашная мужская одежда из сукна, в талии собирается в складки и подпоясывается.

Б и ж *(тат.)* — незаконнорожденный ребенок, т. е. рожденный вне брака.

Б о г б о н *(тат.)* — садовод.

Б у х а р с к а я п а п а х а — шапка из шкурок бухарского каракуля, особенно ценимая в Дагестане.

Вах — возглас удивления.

Векиль — высший сановник, своего рода левая рука падишаха, второй министр.

Великие горы — так в древности называли Кавказские горы.

Визирь — высший сановник, своего рода правая рука падишаха, первый министр.

Вилайет — в простонародье — страна, применяется в основном тогда. когда речь заходит о других странах.

«Вот уже и крепость видна...» — в верхней части города Дербента, который расположен меж отрогами Кавказских гор и Каспийским морем, стоит крепость «Нарын-Кала», построенная Сасанидами — царями Персии.

Гачаг — разбойник.

Гобо — старинное женское платье с коротким рукавом и широким поясом, с нанизанными монетами.

Говол (чувал) — большой мешок.

Гунны — кочевой народ, обитавший с IV века в Прикаспийских степях, часто совершали набеги на юго-западные страны.

Дерхем — бытует мнение, что помимо арабской серебряной монеты в Иране были еще и золотые.

Дервиш — странствующий монах у мусульман, давший обет бедности. В народе дервишей называют мудрецами.

Джалганская гора — одна из вершин отрогов Кавказа в нескольких верстах к югу от Дербента, получившая название от одноименного села, расположенного на ней, или наоборот.

Достан — рукописная книга.

Душман — враг, неприятель, противник.

Железные ворота — так переводится с персидского название города Дербента (*дер* — «дверь», *бенд* — «обруч», «замок» и т. д.).

«Жить до цветения камней...» — имеется в виду, что жизнь не бесконечна.

Захриман — нечто схожее со словом «яд», употребляется в основном в случаях, когда речь идет о водке и вине.

Игла Шолума — у татов бытует легенда о знаменитой игле Шолума — портного, покинувшего своего хозяина ради путешествий.

Кабал (Кабала) — столица древней Кавказской Албании.

Кадий — священнослужитель у мусульман, выполнявший еще и роль судьи.

Казан — медный котел.

Кайф (кейф, кайфовый и т. д.) — быть в кайфе, быть в состоянии эйфории.

Караван-сарай — постоялый и торговый двор в городах и на дорогах Ближнего Востока, Кавказа и Средней Азии.

Келебебе *(тат.)* — дословно: дедушка. Наряду со значением имени собственного приобрело еще нарицательные значения.

Келеде де *(тат.)* — дословно: бабушка. Впоследствии стало также нарицательным существительным.

Кладбище Кирхляр — «Сороковник», старинное мусульманское кладбище в Дербенте, в центре которого расположена уникальная гробница, по поверью, в ней покоится Туту-бике.

«Клянусь этим светом!» — клятва тата-иудея (отголоски зороастризма), и по сей день считающего свет, огонь и солнце высшим божеством.

Кунак — гость. Для жителя Кавказа гость издревле считается самым почетным человеком.

Кунацкая — комната для гостей.

Кунчолы *(тат.)* — младший сын (образно говоря: вода на дне колодца), который, как правило, обзаводясь семьей, остается жить в доме отца, чтобы не оборвалась нить фамилии дома.

Куьмуьр (кюмюр) — древесный уголь.

Кутум — каспийская рыба семейства частиковых.

Маафе — носилки для покойников у мусульман.

Махала — в старину это было название квартала, в последующее время — улицы.

Мерван — известный полководец Арабского халифата.

Минарет — башня, с которой призывают мусульман к молитве.

Молла (мулла) — мусульманский священник.

Море Хазарское — так называлось Каспийское море во времена владычества хазар.

Море Восточное — одно из названий Каспия.

Муганъ (муган) — муганская степь, часть Кура-Аракской низменности в Азербайджане.

Муэдзин — служитель мечети, молла, с минарета призывающий мусульман к молитве.

Мюшкюр — в старину так называлась большая провинция между Азербайджаном и Дагестаном, где жили «мускуты» (как считают ученые, ираноязычный народ), а в начале XX века это название сохранилось за одноименным селением в Дербентском районе, которое затем переименовано в сел. Нюгди.

Намаз — молитва.

Намус — честь, совесть, репутация.

Нукер — шахский слуга, телохранитель, воин, дружинник.

Овосуне *(тат.)* — сказка.

Ораг — название села в Сулейман-Стальском районе Дагестана, в прошлом проживали таты-иудеи.

Отделенческая столовая — виноградарские совхозы Дагестана делятся на отделения, а те, в свою очередь, на бригады. Речь идет о столовой для рабочих отделения.

«Отнесенный на плечах товарищей...» — в маленьких городах и селах таты по сей день, традиционно, положив покойника на носилки, несут его на плечах до кладбища.

Падишах — титул монарха, царя в странах Ближнего и Среднего Востока.

Перс — иранец. Гонимые за передовые идеи из Ирана, часть из них после Октябрьской революции в России переселилась в Азербайджан и Дагестан. Некоторые из них успешно занимались мелкой торговлей.

«Птица счастья» — у татов этой птицей считают орла (гуш). По поверью, сохранившемся в фольклоре, если после смерти падишаха у него не осталось наследника по мужской линии, то выпускали «птицу счастья», и того, кому она сядет на голову, избирали падишахом.

«Покойника омыли, завернули в саван, положили на специальные носилки...» — и отнесли на плечах на кладбище. Таковы традиционные правила похорон у татов.

Раби (раввин) — иудейский священник.

Ражбер — крестьянин.

Райят — податное, зависимое от беков и ханов население.

Сабурсуз *(тат.)* — нетерпеливый.

Саид — известный полководец Арабского халифата.

Сардар — наместник.

Сарыбугда—сорт великолепной пшеницы, хлеб из которой славился аппетитным запахом.

«Святое резанье животных...» — мясо из рук раввина считается чистым, святым.

«Себэхьтуь э хэйрбу» *(тат.)* — Доброе утро. Слово «хэйр» дословно переводится как «добро» или «доход».

Севдегер — деловой человек, купец.

Секатор — инструмент для обрезки растений.

«Схватив за конец доски...» — завернутого в саван покойника, по обычаям татов, кладут в могилу прямо на землю, защитив тело перед засыпкой могилы досками или бревнами на подставках с двух сторон. В данном случае, когда Сосун, очистив могилу от земли, хотел добраться до гроб, он схватил за конец одной из досок, чтобы поднять ее.

Табасаранец — представитель одной из народностей Даге-

стана, а табасаранки — большие мастерицы по ковроткачеству.

Тавриз (Тебриз) — крупный город Ирана, основан Саса-нидами.

Тандыр — круглая глинобитная печь с узким устьем для выпечки чурека, хлеба.

Тат (таты) — небольшая народность, проживающая в основ-ном в Дагестане, Азербайджане и Иране. Татский язык относится к иранской группе индоевропейской семьи языков. При сравни-тельно небольшом диалектном различии они делятся на иудеев, мусульман и христиан.

Тахта — широкий низкий диван без спинки, покрытый ковром.

Тутовое дерево — шелковица, тутовый шелкопряд.

Тухум — примерно то же самое, что род, ряд поколений, происходящих от одного предка.

«Ты что, из Касумкента?» — селение Касумкент нахо-дится в 50 км от Дербента, естественно, сельчанин далек от городских событий. В данном случае — выражение горожанина, означающее: мол, ты что, с Луны свалился?

Усто *(тат.)* — мастер.

Фаэтон — двухколесный конный экипаж с открывающимся верхом.

Филлоксера — вредитель виноградников.

Хавуз — искусственный родник.

Харамзада — нечестивец, негодник, паршивец.

Хайван — край виноградного участка, где под тенью деревьев или у арыка в жаркую погоду отдыхают виноградари.

Хазары — тюркоязычный народ, образовавший в VIII —X веках мощный каганат (государство). В начале своего господства по своему могуществу не уступал ни Арабскому халифату, ни Ви-зантийской империи.

Халвачи — мастер по изготовлению халвы.

Ханум — уважительное обращение к женщине.

Хинкал — дагестанское блюдо — суп из баранины с добав-лением раскатанного и разрезанного на квадратные кусочки теста.

Хорезм — древнее государство Средней Азии с центром в низовьях Амударьи.

Худо *(тат.)* — бог.

Хурджин — наплечная дорожная сумка, своего рода веще-вой и пищевой мешок.

Хэлефме *(тат.)* — сын мой.

Хюм, хум *(тат.)* — глиняный сосуд для хранения вина.

Чайхана — чайная.

Чанах *(тат.)* — плоский деревянный поднос.

«Черной сажей покрыл свою одежду, лицо и руки...» — у татов, как и у других народов Востока, существовал обычай: в знак траура обсыпать себя золой или садиться на золу у холодного камина.

«Чтоб без бороды он остался...» — т. е. покрыл себя позором.

Чохо(а) — вид черкески со стоячим воротником, рукавами до локтя; подпоясывается кушаком.

Чурек— круглый хлеб, выпекаемый в тандыре.

«Чуь хэбери?» *(тат.)* — Как дела? Как живешь?

Шамайка — вид каспийской рыбы.

Шафран — ароматные желтые яблоки, цвет шафрана желтый.

Шахзаде — сын падишаха, принц.

Шемей Нюгдинец — действительный случай, который произошел в селении Мюшкюр.

Ширван — историческая область и феодальное государство в Азербайджане. Одно время была провинцией Ирана.

Шуринские ворота — северные ворота Дербента, через которые осуществлялся в старину выезд в сторону Темир-Хан-Шуры — столицы Дагестана.

Экбатан — древнегреческое название города Хамадан в Иране.

Эршефи — старинная иранская золотая монета.

Ятаган — рубящее и колящее оружие у народов Ближнего и Среднего Востока.

СОДЕРЖАНИЕ

Братья. *Роман* 7
Судьба. *Повесть* 187
Притчи и рассказы 324
Тайна 324
Болезнь 328
Окровавленный мешок 331
Лекарь 335
Встреча 340
Рыбачка 350
Чума 353
Платочек 357
Волчий пир 362
Долг платежом красен 366
Шахский плов 370
Коварный бек 374
Истина 378
Кошка есть кошка 379
Цена слова 381
Садовая пила 387
Свадебный выстрел 388
Краснокожая груша 390
Беглянка 393
Шелбет смеется 395
Синяя коса 398
Язык мой — враг мой 401
Открытие 408
Вдовушка 409
Белый Дом 410
Чемодан 412
Кислое молоко 415
Мельница 417
Сельский Хемингуэй 418

Секрет долголетия 422
Что дашь, то и возьмешь 425
Смерть Адильшаха 429
Маафе 436
Твой папа на зурне играл? 438
Забывчивый 442
Пятнышко 443
Исповедь 450
Тайна тетушки Басмат 457
Святой муж 462
Сон в руку 468
Зуб 473
Шурка 476
Фомка 480
Рыбак 482
Посетитель 484
Леденцы 486
Грехопадение 487
Родник 489
Мама 490
Сигнал 491
Гость 492
Хозяйка города 494
Страж 496
Злоумышленник 498
Мыльный пузырь 500
Зайчик 502
Мандарины 505
Янтарные гроздья 507
Гений 510
Утес 511
Словарь собственных имен, терминов, обиходной лексики 512

Михаил Борисович Дадашев

СУДЬБА

Редактор *Н. Тумбова.* Художник *М. Левченко.*
Художественный редактор *М. Левченко.*
Технический редактор *В. Гаджиева.* Корректор *Д. Багдасарова.*

Сдано в набор 10.11.99. Подписано в печать 15.02.2000.
Формат 84 X 108$^{1}/_{32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная».
Печать высокая. Усл. печ. л. 27,3. Уч.-изд. л. 28,5. Тираж 1700.
Заказ 348. Цена свободная.

Дагестанское книжное издательство
Министерства по национальной политике, информации
и внешним связям РД
367025, Махачкала, ул. Пушкина, 6

Типография им. С. М. Кирова
Министерства по национальной политике, информации
и внешним связям РД
367025, Махачкала, ул. Маркова, 51